ГЕНРИХ МАНН

УЧИТЕЛЬ ГНУС
ВЕРНОПОДДАННЫЙ
НОВЕЛЛЫ

Библиотека
всемирной литературы

Серия третья * * *

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Э.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ТЕНРИХ МАНН

УЧИТЕЛЬ ГНУС

●

ВЕРНОПОДДАННЫЙ

●

НОВЕЛЛЫ

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

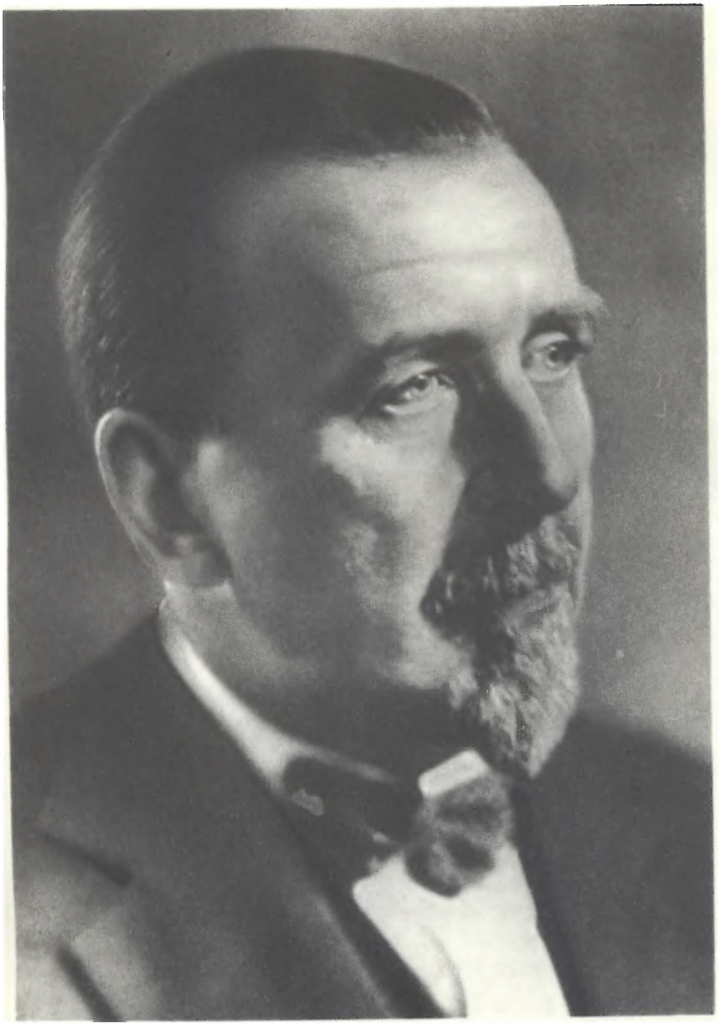
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1971

Вступительная статья
А. Дмитриева

И(нем)
М 23

Иллюстрации
Л. Корчемкина

7—3—4
Подп. изд.



ГЕНРИХ МАНН.

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

«Мы чтим в Генрихе Манне большого немецкого писателя, чье творчество было — и навсегда останется — важной частью нашего национального культурного богатства... стойкого демократа и неутомимого борца за дело прогресса... убежденного сторонника нашей справедливой борьбы за социалистический общественный строй... доброго и любящего человека, чье сердце билось за отверженных и обездоленных, кто своим творчеством и своей жизнью как истинный «учитель демократии» облегчал им путь к лучшему будущему» [1]. Этими словами Вильгельма Пика, из его речи, посвященной памяти Генриха Манна, точно определяется место великого немецкого писателя в истории национальной культуры Германии, значение дела его жизни для всего прогрессивного человечества.

Ровесник Германской империи (даты жизни писателя 1871—1950 гг.), возникшей в результате победы Пруссии над Францией Наполеона III во франко-прусской войне, Генрих Манн на протяжении всего своего жизненного пути, будь то годы вильгельмовской монархии, или Веймарской республики, или гитлеровского «третьего рейха», настойчиво и страстно боролся за демократическое развитие своей родины.

Характерной чертой творческого облика Генриха Манна, крупнейшего художника и одного из замечательнейших мастеров слова в немецкой литературе, было постоянное стремление решать вопросы политические. И, разумеется, не случайно, что в богатом творческом наследии писателя такое обширное место занимает публицистика.

Сам Генрих Манн считал началом своего творческого пути 1900 год, когда был опубликован первый его значительный роман «Земля обетованная». А в 1910 году, когда, по его словам, «кайзеровская империя была в полном расцвете и мощи», статьей программного характера с

[1] «Нейес Дойчланд», 14 марта 1950.

примечательным названием «Дух и действие» он начинает свою активную публицистическую деятельность. Резко критикуя духовную и политическую атмосферу тогдашней Германии, Г. Манн отстаивает в этой статье идею синтеза духа и действия, имея в виду прежде всего политический аспект этого синтеза. И далее, в известном эссе о Золя, написанном в начале первой мировой войны (в 1915 г.) писатель четко и лаконично формулирует свое эстетическое кредо: «У литературы и политики один и тот же объект, одна и та же цель, и чтобы не выродиться, они должны проникнуть друг в друга».

Выходец из бюргерско-патрицианской среды, Г. Манн долго сохранял веру в жизненность принципов буржуазной демократии, и с этих позиций боролся в последние годы Веймарской республики против надвигавшейся гитлеровской диктатуры. Но, несмотря на заблуждения и ошибки, с этими позициями связанные, само стремление быть последовательно верным этим принципам неизбежно раскрывало ему глаза на их ограниченность и архаичность в условиях современной общественно-политической борьбы. Так он становится убежденным сторонником социализма, союзником пролетариата, другом Советского Союза. В одной из статей 1924 года он публично и недвусмысленно заявил о своих симпатиях к Советскому Союзу и его создателю В. И. Ленину: «Отдавая должное Ленину, я не могу не признать его непримиримости. Мне стало легче это сделать после того, как я убедился в его способности подчинять свое дело насущным потребностям людей. Стало быть, он любил людей так же, как и дело, поэтому он и действовал как великий человек». Октябрьская революция в России для автора этой статьи — «великое событие», а влияние этого события было на него настолько сильным, что, вступая в резкое противоречие со своими убеждениями буржуазного демократа, он выражает уверенность в обреченности буржуазии после русской революции и заявляет, что буржуазный «идеал гражданской свободы» давно получил отставку».

Острое политическое чутье и прозорливость, редко изменявшие Г. Манну, сочетались у него с большим историческим оптимизмом, не покидавшим его и в пору гитлеровского господства, в годину горьких бедствий эмиграции, особенно тяжких для престарелого писателя во время пребывания в Калифорнии на исходе его жизненного пути. Лион Фейхтвангер, так же как и Г. Манн, вкусивший горького хлеба американской эмиграции, писал в то время в одном из периодических эмигрантских изданий немецких литераторов: «Генрих Манн раньше и острее, чем мы все, предвидел германские события, он изобразил их еще в зародыше, задолго до того, как они стали действительностью. Когда впоследствии нагрянул великий ужас и все так изменилось... многие из нас пришли в замешательство и впали в панику... Генрих Манн не дал ввести себя в заблуждение».

Литература в Германии после революции 1848 года в силу ряда общественно-политических причин — прежде всего из-за предательской роли немецкой буржуазии в этой революции, из-за слабости буржуазно-демократических слоев раздробленной нации — надолго утрачивает то мировое значение, которое она имела в эпоху Лессинга, Шиллера, Гете, романтиков и Гейне. Генриху Манну наряду с его братом Томасом принадлежит та великая заслуга в развитии немецкой национальной культуры, что они вновь вывели литературу Германии на широкую мировую магистраль. В то время, как литература Англии и Франции в XIX веке дала величайшие образцы европейского романа и новеллы, воплощавшие принципы критического реализма, литература немецкая, хотя и выдвинувшая в 70—80-х годах ряд значительных явлений (как, например, творчество Теодора Фонтане), продолжала все же оставаться на периферии этого важнейшего общественно-эстетического процесса. Братья Манны, опираясь на опыт ведущих литератур Европы, в том числе и русской, и в то же время используя национальную реалистическую традицию, впервые подняли немецкий роман критического реализма на уровень лучших образцов этого жанра.

Путь Генриха Манна, художника и публициста, общественного деятеля, отмечен сложными идейными и эстетическими исканиями. Будучи подлинным немецким патриотом, он противопоставлял кайзеровской Германии мечту о таком государственном устройстве своей родины, при котором каждая человеческая личность в условиях подлинной свободы достигнет гармонического развития, а культура полного расцвета. Он называл это идеальное общество «демократией духа», противопоставляя его современной буржуазной демократии. Писатель готов был признать революционное свержение вильгельмовской монархии как путь к справедливым общественным отношениям. Но в современной ему Германии он видел только стихийный протест народных масс против прусского империализма и соглашательскую политику правой социал-демократии. Отсюда и возникало его неверие в революционное переустройство общественной системы и противопоставление ему «революции духа», то есть постепенного преобразования общества путем воспитания масс отдельными просвещенными личностями — гуманистами, ненавидящими империалистическую буржуазию и пруссачество. Такая социальная утопия во многом способствовала утверждению писателя на позициях индивидуализма, нередко находивших довольно сильное отражение в его творчестве.

Уже на раннем этапе своего творческого пути, формируясь как художник-реалист, разрабатывая жанр социального романа, Г. Манн ведет настойчивую борьбу против эстетски-декадентских течений в искусстве, получивших большое развитие в Германии (как и в других странах Европы) в конце XIX — начале XX века. И хотя он сам отдал изве-

стную дань этим эстетическим тенденциям, вскоре он же подверг их блестящему сатирическому развенчанию в романе «Учитель Гнус» (1905). О своих ранних романах Генрих Манн говорил, что «шел в них от утверждения индивидуализма к почитанию демократии». Уже в этих произведениях некоторыми элементами своей творческой манеры (гротескный образ-маска) Г. Манн заявил себя как предшественник экспрессионизма — литературно-художественного направления, возникшего в Германии в начале 10-х годов и оказавшего значительное влияние на развитие немецкого искусства и, в особенности, литературы вплоть до середины 20-х годов. Некоторая близость к экспрессионизму обнаруживается и в более позднем творчестве писателя (роман «Голова», 1925, и связанная с ним идейно и художественно новелла «Кобес», 1923).

В формировании как духовного облика Г. Манна, так и его творческой манеры большую роль сыграли общественно-политические и культурные традиции Франции. Будучи воинствующим гуманистом, он видел, что историческая связь буржуазного гуманизма с буржуазной революционностью яснее выражена не в немецкой, а во французской буржуазной идеологии. Писатель остро ощущал засилье реакции и слабость прогрессивных сил немецкого общества на рубеже XIX—XX веков. Именно поэтому он ищет опоры и вдохновения в гуманистических идеалах французских просветителей, в революции 1789—1794 годов и во французском критическом реализме от Бальзака до Золя и Франса. Сюжеты французской революции возникают у него в ряде драматических произведений (наиболее значительным из них является драма «Мадам Легро», 1913). Эту революцию Г. Манн всегда считал существенным этапным поворотом в духовном и политическом развитии человечества. Кроме опыта французского критического реализма, немалую роль для творческой практики Г. Манна сыграл и вклад в мировую литературу, сделанный великими русскими реалистами второй половины XIX века, которым он всегда отдавал дань высокого уважения. Однако эти литературные влияния нисколько не умаляют того непреложного факта, что уже в молодые годы Г. Манн выступает как художник, наделенный ярким и самобытным дарованием. У писателей Франции он учился не приемам литературного мастерства, а созданию такой литературы, которая, изображая частную жизнь персонажей, их внутренний, душевный мир, отражала бы социальные закономерности своей эпохи, ее политические борения, то есть — созданию жанра социального романа, которого так не хватало тогдашней немецкой литературе. Общественное, гражданское назначение искусства — вот что прежде всего воспринимал Г. Манн у французских и русских критических реалистов. В то же время сколь бы ни были существенны иноземные литературные воздействия на Г. Манна, они не дают ни малейших оснований для отрицания глубоких национальных корней его творчества. Пример критических реалистов

Франции не заслонял перед Г. Манном крупнейших достижений передовой немецкой литературы. Об этом, в частности, свидетельствуют его статьи о Лессинге, Гете, Гейне. Среди еще не изданных произведений Г. Манна есть небольшая новелла «Великий современник», воссоздающая образ умирающего Гейне. Писатель отдает в ней дань восхищения мужеству и стойкости больного и старого поэта, прожившего прекрасную жизнь, полную поэзии, любви и борьбы. Сатирической линией своего творчества Г. Манн во многом продолжал и развивал традиции острейшей общественной сатиры Гейне.

Родился Г. Манн в 1871 году в старинном прибалтийском городе Любеке, некогда возглавлявшем Ганзу — торговый и политический союз северных приморских городов Германии, где еще долго сохранялся дух сепаратизма и независимости по отношению к Пруссии. Отец писателя, владелец фирмы по оптовой торговле зерном, судовладелец, консул и сенатор, принадлежал к богатой бюргерско-патрицианской верхушке города. Генрих был старшим сыном. Кроме него, в семье были две сестры и два брата. Томас Манн в романе «Будденброки», написанном в жанре семейной хроники четырех поколений богатой купеческой семьи, воссоздал атмосферу родного дома в Любеке.

Мать писателя — Юлия да Сильва Брунс, уроженка Бразилии, дочь креолки и немца, была просвещенной женщиной. Она целиком посвятила себя воспитанию детей, стремясь дать им широкое гуманитарное образование. Умеренно-консервативный дух, царивший в «доме Будденброков», сочетался с преклонением перед культурой Просвещения с ее вольнодумством и критицизмом. Богатая любекская буржуазия, гораздо более тесно связанная своими коммерческими интересами с другими европейскими странами, нежели с гогенцоллерновской Пруссией, питала явную неприязнь к вновь возникшей вильгельмовской империи, отнимавшей у нее последние привилегии прежнего вольного города. Это обстоятельство не могло не оказать влияния на формирование общественного сознания юноши. Окончив в 1889 году гимназию, Г. Манн живет в Дрездене и Берлине, где изучает книготорговое дело, а в Берлинском университете слушает курсы лекций по истории и филологии. Наблюдения над жизнью цитадели пруссачества, ставшей столицей крепнущего второго рейха, были весьма плодотворны для начинающего литератора (его первые пробы пера относятся еще к последнему году пребывания в гимназии). В 1891 году после смерти отца и ликвидации фирмы семья переселяется в столицу Баварии — Мюнхен. Независимое материальное положение, которое обеспечила Г. Манну его доля наследства (вплоть до сильнейшей инфляции, разразившейся после первой мировой войны), позволило ему избрать путь свободного литератора и присоединиться к передовой немецкой интеллигенции. Писатель лишь

наездами бывает в Мюнхене, знакомится с Францией, надолго избирает постоянным местом жительства Италию, культура которой способствовала расцвету его творческого таланта. Эти годы для Г. Манна — время упорного и настойчивого труда, внимательных наблюдений над развитием общественно-политической жизни в Германии и Европе, неустанного изучения культурного наследия, прежде всего истории и литературы Франции.

До краха Германии в первой мировой войне и создания в 1918 году Веймарской республики Г. Манн выпустил около десяти романов, два сборника новелл и несколько драм. Отвергнув принципы декадентской эстетики, он формируется преимущественно как писатель-сатирик. Его творчество этого периода значительно прежде всего огромной силой отрицания. Генрих Манн становится обличителем германского империализма, так же как его старший современник Анатоль Франс стал обличителем империализма французского. Однако творчество писателя в более поздние годы — в период Веймарской республики и эмиграции — отмечено настойчивыми и во многом плодотворными поисками положительного идеала и его художественного воплощения,— идеала, который, как правило, или отсутствует совсем, или очень слабо намечен в ранних произведениях.

Вершины сатирического мастерства в довеймарский период Г. Манн достигает двумя своими романами «Учитель Гнус» и «Верноподданный».

Содержательными и сложными были искания, приведшие писателя к этим его достижениям. Существенной вехой его эволюции был роман-трилогия «Богини, или Три романа герцогини Асси» (1903). Уже здесь четко ощутим внутренне противоречивый процесс преодоления индивидуалистической декадентской эстетики: известного воздействия ее на писателя и — одновременно — борьбы с нею, подчас остро критического ее освещения.

Началом сатирической линии в творчестве Генриха Манна следует считать первое значительное произведение писателя — роман «Земля обетованная» (1900), самим своим названием опирающийся на сатирические традиции старой немецкой литературы XVI—XVIII веков. Используя здесь опыт Бальзака и особенно Мопассана (роман «Милый друг»), Г. Манн рассказывает, как небогатый молодой провинциал Андреас Цумзее, типичный немецкий мещанин, попадает в «сказочную страну» — в окружение дельцов и спекулянтов, господствующих над всеми сферами общественной жизни в Берлине 90-х годов, с его коммерческим ажиотажем, порождавшим новый для тогдашней Германии социальный тип капиталистического хищника, распоряжающегося и прессой, и искусством, и политикой, и, уж конечно, финансами. Таким уви-

дел Берлин Г. Манн, таким он отразил его средствами острого сатирического гротеска в своем романе.

Важнейшим этапом в формировании сатирического таланта писателя был его еще более яркий роман «Professor Unrat» [1], 1905. (В последнем переводе на русский язык название романа — «Учитель Гнус».) Роман этот был написан в условиях широкого общественного подъема, охватившего всю Германию в значительной степени под воздействием русской революции 1905 года. Композиционным и идейным стержнем романа является образ Гнуса, гимназического учителя в маленьком немецком городке, отвратительного внешне и омерзительного внутренне. Ставя в комически-гротескные ситуации этого грязного человеконенавистника, мелкого тирана, претендующего на роль анархиствующего «сверхчеловека», Г. Манн не только развенчивает ницшеанскую «белокурую бестию», но и резко полемизирует с официальной пропагандой немецкого империализма.

Писателю-гуманисту, страстно защищавшему достоинства человеческого разума, был отвратителен пруссаческий идеал нерассуждающего солдата и чиновника, слепо подчиняющегося приказам сверху. Поэтому для него была неприемлема и школьная система, воспитывающая таких покорных рабов. Тогдашняя официальная пресса на все лады восхваляла прусскую школу и прусское учительство, якобы унаследовавшие традиции немецкого Просвещения. Немецкие националистические историки утверждали, что войны с Австрией (1866 г.) и с Францией (1870—1871 гг.) выиграл прусский учитель, воспитавший якобы тип человека более высокой культуры, нежели французы и австрийцы. В романе Г. Манна показывается, что́ в действительности представляли собой прусская школа и прусский учитель. Гнус, ограниченный педант, тупой и злобный (немецкая разновидность унтера Пришибеева), полновластно царит в гимназии, представляющей собой род прусской казармы. Цель Гнуса — и немецкой гимназии вообще — убить в учениках всякую способность свободно мыслить, превратить их в верноподданных. Сам Гнус, хотя он и стоит на невысокой ступеньке прусской общественной иерархии, сознает себя важной частицей государственного организма. И действительно, он во многом воплощает дух прусской государственной системы. Нравственно уродливый носитель ницшеанских идей, Гнус выступает в романе в двух совершенно различных и, казалось бы, мало совместимых ипостасях. В начале злобный и мстительный старикашка, отвратительно комичный в своих претензиях на безграничную власть, проявляет себя прежде всего как неусыпный ревнитель существующих государственных и социальных устоев. Ему всюду чудится «бунт», который якобы именно он призван

[1] Unrat (*нем.*) — нечистоты, отбросы. Действительная фамилия учителя Rat переделана его учениками в оскорбительную кличку Unrat.

подавить. Он убежденный враг рабочего движения, в каждом гимназисте он видит потенциального мятежника. Вполне естественное мальчишеское озорство и шалость, а тем более любое свободное проявление мысли, для Гнуса — бунт. Потому-то он больше всего и ненавидит изящного, свободномыслящего и не дающего никакого внешнего повода «поймать себя с поличным» гимназиста Ломана, пытающегося в своих стихах подражать Гейне. Более того: в гипертрофированном самомнении тирана Гнус воображает себя властителем всего городка на том основании, что многие горожане были прежде его учениками.

Как центральный образ Гнуса, так и весь роман в целом построены на приемах сатирической гиперболы. Гиперболичен — и в нарочитой омерзительности внешнего облика, и в остром психологическом рисунке характера — Гнус с его мелкими, но непомерно уродливыми страстишками. Гиперболична и самая фабула романа; педантичный блюститель нравственных устоев, Гнус в своем неуемном рвении охранять эти устои попадает в грязное заведение — полукабак, полупритон с откровенно насмешливым названием «Голубой ангел», где царит молодая смазливая шлюха — безголосая певичка Фрелих, которую Гнус высокопарно именует «артисткой Фрелих». И вот этот старый холостяк, уже много лет наставляющий своих учеников в правилах строгой нравственности, влюбившись в шансонетку, становится завсегдатаем грязного притона. В сообществе с «артисткой Фрелих», верным спутником и сожителем которой он становится, Гнус находит новые и еще более широкие возможности удовлетворять свои человеконенавистнические наклонности и комически гротескную жажду власти. В ядовитом злорадстве, используя в качестве приманки свою сожительницу, он развращает весь город. Видные горожане, респектабельные состоятельные бюргеры, «отцы города» усилиями Гнуса становятся растратчиками, жуликами, развратниками. Но этот второй Гнус — анархист, расшатывающий нравственные устои,— отнюдь не противоречит тиранническому охранителю тех же устоев. Разрушая теперь их, он, как и прежде, мнит себя избранной личностью, сверхчеловеком, для которого не существует филистерской морали. Свою «философию» на сей предмет он четко декларирует перед «артисткой Фрелих», заявляя, что так называемая нравственность — удел одних только рабских душ, сам же он, по его мнению, принадлежит к тем кругам, которые руководствуются совершенно иными нравственными законами. Он, Гнус, только потому «придерживался этих нравственных традиций филистерства», что не имел «повода порвать с ними». Г. Манн недвусмысленно дает понять, насколько призрачна и шатка показная мораль немецкого мещанства, если Гнусу с такой легкостью удается вовлечь в омут порока горожан с наиболее безупречной репутацией.

В раскрытии внутреннего облика Гнуса большую роль играет блестяще исполненный и глубоко индивидуализированный речевой портрет

этого персонажа. Речь Гнуса, гордящегося своим классическим гуманитарным образованием, а по сути своей человека крайне ограниченного, тупого педанта, представляет собой смесь гимназического жаргона, усвоенного им за долгие годы работы в гимназии, с латинскими и греческими синтаксическими конструкциями. Фразы его к тому же изрядно засоряются всякими паразитическими словечками вроде «конечно и безусловно», «так сказать», «ясно и самоочевидно», «суммирую» и т. п.

Роман этот убедительно свидетельствует о значительном расширении творческой палитры писателя. Прием гротескного образа-маски, использованный уже в романе «Земля обетованная», остается и здесь, но при этом насыщается гораздо более разработанным психологическим содержанием. Четче и углубленнее рисуются второстепенные персонажи. Целенаправленнее отбираются детали при обрисовке ситуаций и образов — в описании костюмов, реалий интерьера, места и времени. В целом роман является важной ступенью в творческом пути писателя. Сатира звучала и в прежних романах Г. Манна, но направлялась она преимущественно на частные объекты — отдельных капиталистических дельцов и финансовых воротил, мещанские нравы. В этом же романе писатель освещает резким светом сатирического прожектора устои вильгельмовской монархии в целом. Углубление и расширение задач сатиры характерно для романа «Верноподданный», художественно и идейно развивающего эстетические принципы романа «Учитель Гнус».

«Верноподданный» — первый роман трилогии «Империя» — самого значительного творческого свершения Г. Манна до начала эмиграции. Замысел трилогии не был намечен заранее, а формировался постепенно, по мере работы автора над отдельными ее частями. Подобно грандиозной «Человеческой комедии» Бальзака и многотомной серии романов Золя «Ругон-Маккары», отобразивших в самых различных аспектах частную и общественно-политическую жизнь Франции, Г. Манн поставил перед собой задачу дать в этой трилогии обобщающую картину вильгельмовской империи. Первый роман трилогии «Верноподданный» (1914), по определению самого Г. Манна, посвящен изображению буржуазии, второй — «Бедные» (1917) — пролетариата, третий — «Голова» (1925) — путей интеллигенции. Хотя отдельные части трилогии и неравноценны, она занимает важнейшее место в наследии писателя, в частности потому, что в ней он впервые стремится осмыслить основное противоречие своей эпохи — классовую борьбу пролетариата и буржуазии.

Наиболее совершенная часть трилогии — роман «Верноподданный», над которым автор работал с 1912 по 1914 год. На его публикацию был наложен запрет, и лишь в 1918 году он был издан в Германии. В период усиленной подготовки первой мировой войны, разгула реакции и шови-

низма и назревания острого политического кризиса в Германии Г. Манн создает свое наиболее обличительное произведение, один из лучших романов немецкого критического реализма.

Центральный персонаж романа Дидерих Геслинг — обобщающе-типическое воплощение национальных черт немецкой буржуазии. Сосредоточив основное внимание на раскрытии сущности этого социального типа, Г. Манн показывает его в самых различных общественных связях, тем самым расширяя социальные рамки романа до пределов широкой картины кайзеровской империи — того общественно-политического устройства, которое было основано на союзе буржуазии и юнкерства, союзе, объективно поддерживаемом предательской верхушкой немецкой социал-демократии. В создании образа Геслинга Г. Манн опирался не только на опыт своего собственного сатирического творчества, но и явился продолжателем лучших традиций общественной сатиры в немецкой литературе. Омерзительный, но и страшный своей массовостью немецкий буржуа-верноподданный Геслинг Г. Манна имеет своих прямых, хотя и отдаленных литературных предков в гофмановском филистере — коте Мурре и гейневском радикальном буржуа, воплощенном также в анималистском персонаже — медведе Атта Тролле. С другой стороны, разве не остается актуальным и для нашего времени этот Геслинг, ближайшие потомки которого стали опорой гитлеровской диктатуры, да и поныне продолжают быть социальной и политической опасностью в Западной Германии?

Формально действие романа отнесено к 90-м годам прошлого века (точнее, с 1890 по 1897 г.), но, по существу, в нем изображена Германия вплоть до кануна первой мировой войны.

В исследованиях об этом романе уже не раз отмечалась его композиционная стройность, отличающая в этом смысле «Верноподданного» от предшествующих романов Г. Манна, в частности и от «Учителя Гнуса». Вряд ли было бы правильно искать объяснение этому обстоятельству только в возросшем формальном мастерстве писателя. Композиционная завершенность отражает четкий идейный замысел,— глубокое, проникновение писателя в сущность того социального феномена, который воплощен в образе Геслинга. Попутно отметим, что отсутствие столь же ясного понимания других социальных сил вильгельмовской империи во многом определило и некоторые слабости — в том числе и композиционные — последних двух частей трилогии.

Роман состоит из шести глав. Первые две написаны в традициях немецкого «романа воспитания», вернее — пародируют эти традиции. Как удачно подмечено советским исследователем О. В. Егоровым, роман воспитания («Bildungsroman») превращается здесь в «роман разложения» [1]. Г. Манн последовательно показывает, как в условиях бюргер-

[1] Bildung *(нем.)* означает не только воспитание, но и формирование.

ской немецкой семьи, школы, студенческой среды, службы в армии и, наконец, всей общественной атмосферы Германии формируется социальный тип, подобный Геслингу. Геслинг-старший, мелкий фабрикант, учит малыша Диделя преклоняться перед силой и властью. Мать — типичная сентиментальная мещанка — способствует развитию в его характере лицемерия, лживости и подлости. В том же направлении его воспитывает и школа. Здесь Дидерих подличает уже не просто сознательно, но и «принципиально». Он быстро становится первым учеником, но и первым же доносчиком. Здесь, в школьном классе, он учится трепетать перед властью и рабски ей поклоняться. Далее, став студентом, он получает так называемое христиански-германское воспитание в студенческой корпорации «Новая Тевтония», где он в полной мере усваивает обширный, но немудреный комплекс реакционно-шовинистических идей. Участие в шумных корпорантских попойках и рапирных дуэлях придает ему черты наглости, фанфаронства и умение высокопарными фразами и внешне благовидными формами прикрывать свои грязные делишки. В этой атмосфере быстро раскрываются и «совершенствуются» фальш и двуличие Геслинга. Безмерно трусливый, с корыстной душой, он выдает себя за поборника рыцарской чести, за воинствующего героя, и Г. Манн, мастерски обнажая эту претенциозность Дидериха, часто ставит его в такие гротескные ситуации, которые были бы остро комичными, если бы в них не выявлялась нравственная омерзительность и социальная опасность этого персонажа. В атмосфере реакционных общественно-политических движений, в которых «новотевтонец» Дидерих принимает активное участие, у него быстро вырабатывается и устойчивое пошло-утилитарное мышление. В мечтах своих, навеянных парами пивного алкоголя во время студенческих попоек, он воображает себя владельцем «большой фабрики художественных открыток или туалетной бумаги», а Агнесе Гепель он заявляет, что витрина колбасного магазина для него лучший вид эстетического наслаждения.

Особенно очевидно обнаруживается неблаговидность нравственного облика Геслинга в его отношениях с Агнесой Гепель, обрисованной в романе сочувственно, в мягких пастельных тонах. Общение с Агнесой было для Дидериха последним и единственным светлым проблеском, который он сам же и затоптал.

После смерти отца Дидерих становится владельцем фабрики и, покинув Берлин, приступает к предпринимательской и политической деятельности в своем родном городке Нетциге. Весь роман — произведение насквозь политическое, однако в первых двух главах, стремясь показать характер героя в развитии, Г. Манн раскрывает его преимущественно в морально-этическом плане. В последних же главах (3—6) характер Дидериха, не пополняясь какими-то принципиально новыми моральными штрихами, предстает перед читателем уже в иных и глав-

ных своих аспектах — социальных и политических. Теперь все его поступки и действия определяются тем, что он предприниматель — владелец фабрики по производству бумаги — и одновременно активный политический деятель ультрареакционной монархической ориентации. И в этих своих классово-политических качествах Дидерих, в свою очередь, показан не статично. После первых неуверенных и не всегда удачных шагов на политическом поприще он становится главой монархической партии в Нетциге. Благодаря наглости и обману, а главным образом политическому шантажу против своего главного конкурента, он становится всесильным владельцем огромного предприятия. При этом Геслинг безнадежно глуп, но хитрость и подлость в сочетании с циничной политической демагогией и уменьем использовать политическую конъюнктуру делают его главным лицом Нетцига.

Нетрудно заметить, что композиционная структура «Верноподданного», в сущности, подчинена основной задаче — раскрытию эволюции Геслинга. В этой связи примечательно, что две первые главы, или тот «роман разложения», о котором мы говорили выше, представляют собой очень сжатую и динамичную экспозицию, а основное идейное содержание книги и, следовательно, основная суть характера Геслинга раскрываются в последних четырех главах. Причем с третьей по шестую каждая глава превышает по объему предыдущую, а третья — шестая главы вместе более чем в четыре раза превышают две первые. Показывая общественно-политическую панораму всей вильгельмовской империи, Г. Манн решает эту задачу не совсем обычными художественными средствами. Хотя основное действие романа сосредоточено не в столице, а в маленьком провинциальном городке,— вместе с тем это, бесспорно, роман о всей Германии. Именно в маленьком Нетциге, где, как во всяком захолустье, все на виду, особенно красноречиво обнажаются политические страсти, социальные конфликты, происходящие, однако, в масштабах, неизмеримо меньших по сравнению с общенациональными и столичными. Данные в резком уменьшении, лишенные ореола грандиозности, они нередко приобретают оттенок остро комического фарса. Благодаря этому искусному приему развенчивается мнимое величие императора Вильгельма как коронованной особы, ибо, трансформируясь в своем двойнике Геслинге, он предстает в обнаженной ничтожности своей сути. Геслинг стремится во всем подражать своему обожаемому монарху — во внешности, жестах, манере говорить. Это сходство приобретает даже некий — сатирически поданный — мистический оттенок, когда Дидерих дословно предвосхищает те речи, которые позже произнесет сам кайзер.

С перемещением основного места действия в Нетциг существенно расширяется социальный диапазон повествования. В соответствии со своим новым положением предпринимателя, к тому же пустившегося в политические махинации, Дидерих входит в тесное соприкосновение

с рабочими, местной буржуазией, чиновничье-аристократической верхушкой и теми политическими группировками, за которыми стоят эти социальные силы.

Хотя «Верноподданный» был назван самим Г. Манном романом о буржуазии, в нем широко представлена тема рабочего класса. Последнее обстоятельство свидетельствовало о плодотворности стремлений писателя постигнуть классовую структуру современного общества, ибо буржуазия изображается им в ее социальных связях и с аристократией, и, в особенности, с пролетариатом. Во всех сюжетных конфликтах с участием рабочих симпатии автора всегда на их стороне. Испытывая зоологическую ненависть к революционным рабочим («Из пушек бы по ним палить!»), Дидерих тем не менее пребывает в постоянном страхе перед ними. Г. Манн, полагавший, что справедливое общественное устройство может быть достигнуто силами «аристократии духа», не понял перспективной роли той части немецкого пролетариата, которая шла за Бебелем, Либкнехтом, Розой Люксембург. В понимании Г. Манна рабочий класс сам лишен политической силы, он лишь достойный всяческой поддержки и сострадания объект социального угнетения. Вместе с тем Г. Манн был одним из первых критических реалистов Германии, заметивших процесс обуржуазивания немецкой социал-демократии. Рабочие в романе выступают как общая масса, отдельные их представители — лишь эпизодические, мало индивидуализированные фигуры. Исключение составляет механик фабрики Геслинга Наполеон Фишер, играющий большую роль и в следующей части трилогии. При внешнем антагонизме между Геслингом и его механиком они, в сущности, союзники. Фишер — типичный предатель своего класса, помогающий Геслингу эксплуатировать рабочих, за что и получает его поддержку на выборах в рейхстаг.

Писателю нелегко было расставаться с идеалами буржуазной демократии. Сложность и противоречивость этого процесса «расчета с прошлым» отразились в романе. Главной политической силой в Нетциге по возвращении туда Геслинга является партия либеральной буржуазии, «партия народа», возглавляемая почтенным и всеми уважаемым в городе старым Буком, ветераном революции 1848 года, за участие в которой он был приговорен к смертной казни. С появлением Геслинга в городе, представляющем, по его словам, «гнездо либералов», там заметно активизируется политическая борьба между «партией народа» и «партией кайзера», главой которой вскоре становится Геслинг. Все черты характера, сформировавшиеся у него в процессе «воспитания», раскрываются теперь в полной мере на арене практической деятельности. А она, в свою очередь, складывается, как непрерывная цепь жестокостей подхалимства, подлости, хвастовства, доносов и подозрительных политических и коммерческих махинаций.

Изображение нетцигских либералов в романе определенно свидетельствует о том, что писатель достаточно хорошо знал цену немецкой либеральной буржуазии, претендовавшей на роль оппозиции вильгельмовскому режиму. Порой до острого гротеска доводит Г. Манн изображение их бесхребетности, беспринципности (бургомистр Шеффельвейс), он отчетливо видит их беспомощность в разрешении социальных конфликтов (фабрикант Лауэр, старый Бук), трусливость и половинчатость либеральных фразеров, их готовность к компромиссам с реакционерами (доктор Гейтейфель, Лауэр, редактор местной либеральной газеты Нотгрошен). И вместе с тем многие либералы обрисованы с явной долей авторского сочувствия. Особенно значителен в романе образ старшего Бука. Он, в сущности, противопоставлен Дидериху. Такая антитеза свидетельствует об известной ретроспективности и нечеткости позитивных политических идеалов автора. Старший Бук со всеми его слабостями обрисован в элегических, сочувственных тонах. Однако и автору и читателю ясно, что этот персонаж не только из-за своего преклонного возраста, но прежде всего из-за своих социально-политических убеждений весь в прошлом, что его идеалы донельзя обветшали и превратились в пустую, хотя и красивую фразу.

Автору «Верноподданного» в высокой степени присуще чувство историзма, сказавшееся, в частности, в четком отражении процесса деградации либеральной буржуазии, два поколения которой представлены в романе в лице Бука-старшего и его сына адвоката Вольфганга. При определенном уме, известной одаренности и неприязни к политической реакции младший Бук не только совершенно неспособен к политической деятельности, но не может даже определить свое место в жизни.

И, уж конечно, беспощадно сатиричен Г. Манн в изображении «партии кайзера» людей «истинно немецкого образа мыслей». Наряду с Геслингом самым крикливым верноподданным и ортодоксальным монархистом является прокурор Ядассон. Еврей по национальности, он при малейшей возможности демонстрирует свой крайний немецкий национализм и антисемитизм. В манере карикатурных масок нарисованы образы отставных офицеров майора Кунце и лейтенанта Кюнхена, ныне гимназического учителя, пастора Циллиха — мракобесов, проповедующих войну и шовинизм. Колоритнейшей фигурой в этом лагере является правительственный уполномоченный старый юнкер фон Вулков. Раскрывая социальное содержание этого образа, Г. Манн опять-таки весьма точно подметил одну из характерных особенностей общественного уклада вильгельмовской Германии — тесный союз юнкерства и буржуазии. В сцене приема Вулковым Геслинга отчетливо выявляются и основные черты этого союза. Обе стороны питают чувства живейшей взаимной антипатии. Вулков хамски высокомерно третирует Геслинга, что вызывает у того глубокое возмущение. «Высокомерные сволочи»,

«паразиты», «чванливые тунеядцы» — так в припадке немого бешенства обличает юнкерскую касту Дидерих. Но это молчаливый бунт, бунт покорного раба, который тотчас же устрашается своего гнева. Эти люди нужны друг другу в своих грязных коммерческих и политических комбинациях.

Финальная сцена романа символически выражает уверенность Г. Манна в крахе вильгельмовской империи. Пышно разодетая знать, чиновники, бюргеры, офицеры всех рангов в парадных мундирах, великосветские шлюхи — представители всей сословной иерархии тогдашней Германии собрались на торжество открытия памятника Вильгельму I. Эта пышная церемония должна стать одновременно и триумфом Геслинга. Но внезапно разражается сильнейшая гроза, обращающая в паническое бегство всю эту пеструю толпу. Не состоялся и триумф Геслинга, хотя разбушевавшаяся стихия лишь слегка потрепала его. Он не потерял своей силы и власти. Тем самым писатель как бы предупреждает о грозной социальной опасности, таящейся в этом типе верноподданного. Завершается роман опять-таки символической сценой смерти старика Бука. У одра умирающего появляется торжествующий Геслинг, давно уже ставший хозяином всего его имущества.

Генриху Манну, страстному борцу против вильгельмовской монархии, неясна позитивная программа. Не социальные потрясения, а стихийный гнев природы обрушился на это общественное устройство. Но писатель верит в светлое будущее Германии, хотя контуры его очень расплывчаты. В конце романа потерявший состояние, выкинутый из общественной жизни происками набирающих силы реакционеров, всеми презираемый старый Бук порой, однако, встречает на улицах юношей-гимназистов, почтительно обнажающих перед ним головы. И Бук, а с ним, очевидно, и Г. Манн видят в этих молодых людях надежду на будущее.

Художественный метод автора «Верноподданного» можно определить как реалистический гротеск. В портретах персонажей, в описании их манер и привычек Г. Манн сгущает и гиперболизирует социальные черты немецкого буржуа-националиста, юнкера, либерала и социал-предателя. Он создает их обобщающие типические маски. При этом всемерно подчеркивает все уродливое, отвратительное и нечеловеческое в их социальном облике. Образы буржуа Геслинга и юнкера Вулкова часто приобретают прямо-таки звериные черты — кошачьи у Геслинга и волчьи у Вулкова. Гиперболизации тесно сопутствует в романе прием контраста. Внутренняя аморальность, пустота и ничтожество Геслинга предстают в пышном одеянии хвастовства, крикливых речей, театральных жестов, многозначительной мимики. Шлюха выступает в обличье скромной пасторской дочки. Острое, язвительное оружие сатирического осмеяния для автора «Верноподданного» — путь духовного преодоления вильгельмовской Германии.

Своим антиимпериалистическим позициям Г Манн не изменил и в годы разразившейся первой мировой войны. В отличие от большинства немецких писателей, он не поддался угару милитаристской пропаганды и шовинизма. Его страстный публицистический очерк «Золя» (1915) в условиях жестокой цензуры военного времени явился не только эстетическим манифестом, прославлявшим идеал писателя-гражданина, активно борющегося за общественный прогресс, но и решительным протестом против войны и разгула милитаризма. Этот очерк вызвал хотя и временные, но глубокие расхождения между братьями Маннами — Генрихом и Томасом. Последний во время войны выступил с рядом статей, объективно оправдывавших позиции правящих классов Германии в этой войне. Поэтому он не без оснований принял на свой счет выступление брата в его очерке против немецких писателей, прославляющих германский милитаризм. В книге «Размышления аполитичного» (1918) позиции своего брата Генриха Томас Манн противопоставил позицию писателя «аполитичного», выступающего с защитой германской культуры и цивилизации, противопоставляемых разлагающему влиянию цивилизации и культуры «латинской».

Развивая демократическую тенденцию своего творчества, центральным конфликтом романа «Бедные» Г. Манн делает столкновение рабочих и буржуазии, а основным положительным героем рабочего Карла Бальриха. Законы современного общественного развития еще не во всем ясны писателю, мало знакома ему и та социальная сфера, которую он поставил в центре романа — пролетариат. Отсюда и многие недостатки романа. Борьба рабочих трактуется Г. Манном как проявление стихийного протеста, а не как организованное классовое движение. Мало правдоподобна и интрига, положенная в основу сюжета,— рабочие, в сущности, борются не за свои классовые права, а по случайному поводу — за справедливое утверждение права наследства (фабрика Геслинга построена на деньги, украденные им у одного из рабочих, и на этом основании рабочие хотят стать хозяевами фабрики). Но тем не менее роман отстаивает идею активной борьбы пролетариата против буржуазии.

Последняя часть трилогии — роман «Голова», в сущности, исторический. Действие его развертывается приблизительно в тех же хронологических пределах, что и в романе «Верноподданный»,— с конца XIX века примерно до 1916 года. «Голова» — роман о высших кругах чиновничества, офицерства, промышленников, дворянства, роман о судьбах буржуазной интеллигенции. Как и в первых романах трилогии, Г. Манн выступает и здесь непримиримым обличителем германского империализма, во многом углубляя эту тему на опыте империалистической войны и общественной практики немецких промышленных магнатов уже в годы Веймарской республики. Однако в целом последняя часть трилогии была явным шагом назад по сравнению с предыдущими,

как в идейном, так и в художественном планах. Основной причиной этого было, по существу, полное изъятие из романа проблемы народа, проблемы пролетариата. Отсюда — пессимистический тон романа в целом. Сосредоточивая поиски позитивных общественно-политических сил на «рыцарях духа», на бунтарях из среды буржуазной интеллигенции, Г. Манн недвусмысленно констатирует их бессилие перед империалистическими кругами кайзеровской Германии. Разочаровываясь, следовательно, в своей концепции «диктатуры разума», писатель не находит ей никакой альтернативы. Идейная нечеткость во многом определила и слабости художественного строя и структуры романа, испытавшего мало плодотворное воздействие поэтики экспрессионизма.

Крах вильгельмовской монархии в начале 1918 года и установление буржуазно-демократической Веймарской республики были с воодушевлением встречены Г. Манном. Эти события вызвали возрождение и усиление буржуазно-демократических иллюзий писателя. И хотя по мере развития Веймарской республики, обнажавшего ее противоречия,— прочное утверждение власти монополистического капитала вместо ожидаемого Г. Манном установления власти народных избранников,— отношение писателя к новой республике становится все более критическим, он сохраняет наивные иллюзии в возможность ее усовершенствования. Красноречивым проявлением этих иллюзий было обращение писателя в 1923 году к тогдашнему рейхсканцлеру Штреземану под примечательным названием «Диктатура разума».

Опыт Октябрьской революции в России и революционных боев 1919—1923 годов в Германии заставлял Г. Манна часто вступать в противоречие со своими собственными пацифистскими убеждениями, в соответствии с которыми он отрицал всякое, в том числе и революционное, насилие. Проникаясь все большими симпатиями к Советскому Союзу, высоко оценивая деятельность В. И. Ленина, он нередко приходит к мысли о необходимости насильственных действий для обуздания власти монополий. В своих многочисленных статьях и речах того времени (они вошли в сборники «Семь лет», 1929 и «Общественная жизнь», 1932) Г. Манн настойчиво предостерегает против опасности новой войны, призывает к бдительности перед лицом созревающей фашистской диктатуры. Уже в это время складываются антифашистские убеждения писателя.

В годы Веймарской республики Г. Манн создает целый ряд романов и новелл. В большинстве этих произведений отразились идейные заблуждения писателя: в пору разложения республики, острого размежевания политических сил в стране накануне установления гитлеровской диктатуры, он все еще стремится критиковать Веймарскую республику с позиций буржуазного демократизма. Наиболее значительными произведениями этого времени являются романы «Большое дело» (1930)

и «Серьезная жизнь» (1932). Первый из них, ставящий вопрос о судьбах молодого поколения в Германии, это опять-таки социальная сатира, направленная против империалистических кругов страны. Роман примечателен и как одно из ранних выступлений писателя против фашизма. Но пути борьбы, которые намечает в нем Г. Манн, сводятся лишь к моральному преодолению враждебных гуманизму империалистических сил. В романе «Серьезная жизнь» утверждается высокий гуманистический идеал, воплощенный в простой женщине из народа. Но и здесь мрачной атмосфере надвигающегося фашизма опять-таки противопоставляются абстрактные моральные ценности.

Уже своей борьбой против вильгельмовской монархии Г. Манн приобретает большой авторитет в демократических кругах Германии. В годы Веймарской республики этот авторитет возрастает еще более. Писатель принимает активное участие в политической жизни страны. Он требует амнистии для участников революционной борьбы 1919 года, защищает венских рабочих, выступивших против реакционной политики своего правительства, поднимает голос против казни Сакко и Ванцетти. В 1921 году Г. Манна выбирают членом прусской Академии искусств в Берлине, а в 1931 году он становится председателем секции художественной литературы этой Академии.

Веймарская республика быстро двигалась к своему концу. Пользуясь в условиях тяжелого экономического кризиса средствами социальной и политической демагогии, гитлеровская партия становится серьезной политической силой, однако ей противостоит КПГ, собравшая на ноябрьских выборах 1932 года в рейхстаг шесть миллионов голосов. Немецкие коммунисты, мобилизовавшие широкие слои народных масс на борьбу с фашизмом, заметно ослабляют его влияние. Но за свастикой стоят поддерживающие ее промышленные магнаты. Опираясь на предательскую политику социал-демократической верхушки и правых профсоюзов, 30 января 1933 года они проводят Гитлера на пост рейхсканцлера. Незадолго до этого Г. Манн совместно с Альбертом Эйнштейном и выдающейся прогрессивной художницей Кэте Кольвиц опубликовали открытое письмо с призывом к объединению социал-демократов и коммунистов в борьбе против угрозы гитлеровской диктатуры. Вскоре писателя изгоняют из Академии, а затем, на шестьдесят втором году жизни, он тайно покидает Германию и поселяется во Франции.

С началом эмиграции открывается новый период в творчестве Г. Манна. Вплоть до 1945 года борьба с фашизмом становится основной темой его творчества, главным делом его жизни. Он подвергает переоценке многие свои прежние взгляды, сближается с писателями социалистического реализма, особенно близким для него становится творчество И. Бехера. В 1933 году за границей возобновляет свою деятельность Союз немецких писателей. Своим председателем он избирает

Г. Манна. В 1936 году Г. Манн возглавляет Комитет Немецкого Народного фронта и, направляя на этом посту активные усилия на консолидацию антифашистского демократического лагеря, устанавливает контакты с руководителями КПГ и многими ее рядовыми членами. Отмечая в этой связи большие заслуги Г. Манна, И. Бехер писал в 1937 году, что в борьбе с фашизмом он представляет «совесть всех честных немцев».

Огромной важности обширная общественно-политическая деятельность Г. Манна этих лет отразилась в его яркой и страстной публицистической трилогии, представляющей лучшую часть его публицистического наследия — «Ненависть», 1933, «Настанет день», 1936 и «Мужество», 1939. Первый сборник посвящен и характеристике германского фашизма, и анализу событий, приведших к 1933 году. Так раскрывается смысл подзаголовка «Современная германская история». В отличие от многих своих собратьев по перу, Г. Манн не считал приход фашистов к власти в Германии явлением случайным. Он рассматривал его как логический итог всего исторического развития страны. Впервые он коренным образом меняет свою прежнюю оценку Веймарской республики. Он справедливо считает, что и в эти годы Германия продолжала агрессивную внешнюю политику кайзеровской империи, разжигая вражду с Францией, что Веймарская республика отказалась от проведения социальных реформ, всемерно поддерживая реакционные силы внутри страны, и тем подготовила путь для прихода Гитлера к власти. Представляя картины Германии под властью фашистов, он видит в этой диктатуре проявление самых зверских инстинктов и человеконенавистничества. Свои надежды он связывает с объединением немецкого рабочего класса, с марксистским учением. Если основной задачей книги «Ненависть» было гневное обличение фашизма, то в двух последних сборниках трилогии акцент ставится на разработке позитивных общественных идеалов. Вместе с тем писатель углубляет и критику фашизма. Разоблачая фашизм в книге «Ненависть» преимущественно в морально-этическом плане, Г. Манн стремится теперь выяснить его социальные корни. Большое место в этих книгах занимает героическая тема. Г. Манн создает целую галерею образов героев немецкого антифашистского Сопротивления, среди которых главное место занимают портреты коммунистов — Эрнста Тельмана, Рудольфа Клауса, Эдгара Андрэ и других. «Эти люди не смирились, не испугались репрессий, а стали еще отважнее,— писал он о коммунистах.— Они немцы, и это тот редкий случай, когда слово «немец» заслуживает быть произнесенным с любовью». Г. Манн заявляет о своей горячей солидарности с антифашистскими борцами в Испании. Он глубоко сожалеет, что только возраст не позволяет ему взять в руки оружие и сражаться за свободу на испанской земле в одних рядах со многими своими соотечественниками — немецкими писателями. Важнейшее место в публицистике Г. Манна занимает теперь тема Советского Союза,

последовательную миролюбивую политику которого он противопоставляет попустительству и фактической поддержке Гитлера со стороны Англии и Франции. Он призывает интеллигенцию всех стран крепить дружбу своих народов с СССР, ибо эта страна является теперь, по его словам, «единственной надеждой мира». Именно в эту пору писатель отказывается от своей прежней идеи, звучавшей еще в книге «Ненависть»,— о ведущей роли буржуазной интеллигенции в освободительной борьбе немецкого народа. Он приходит к убеждению, что основной перспективной силой современного общества является пролетариат и его авангард -- коммунистическая партия. В этой связи писатель вполне логично расстается и со своими былыми пацифистскими убеждениями. У него формируется концепция активного, воинствующего гуманизма. «Истинными гуманистами,— считает теперь Г. Манн,— являются лишь те, кто не только думает, но и сражается». Больше того, он убежден, что новый гуманизм будет только социалистическим.

В русле такой принципиальной эволюции своих общественных воззрений писатель создает историческую дилогию о французском короле Генрихе IV — романы «Юность короля Генриха IV» (1935) и «Зрелые годы короля Генриха IV» (1938). Исторический роман был в ту пору излюбленным жанром писателей немецкой эмиграции. К нему обращается и Томас Манн («Иосиф и его братья», «Лотта в Веймаре»), и Лион Фейхтвангер («Лже-Нерон», «Иудейская война» и др.), и Стефан Цвейг («Мария Стюарт», «Эразм Роттердамский», «Магеллан»), историческую тему разрабатывают и писатели-коммунисты А. Зегерс, В. Бредель, Ф. Вольф. Многие немецкие писатели того времени обращаются к эпохе Возрождения (Стефан Цвейг, Бруно Франк). Они опираются в истории прошлого на большие гуманистические традиции, противопоставляя их современному фашистскому варварству, своими историческими концепциями они стремятся опровергнуть фальсификацию истории гитлеровскими идеологами. В их произведениях, посвященных истории, критическое начало сочетается с утверждением гуманистического идеала, с пристальным вниманием к народу, к проблеме связи с ним отдельной выдающейся личности — гуманиста. Таким образом, в большинстве своем исторический роман немецкой эмиграции был тесно связан с современностью, откликался на ее актуальные проблемы.

Для Г. Манна было характерно, что он обратился к эпохе французского Ренессанса. В этом снова проявилось его глубокое уважение к французской гуманистической традиции. Действие дилогии происходит приблизительно с начала 50-х годов XVI века до 1610 года, то есть в эпоху позднего Ренессанса. То было время активных народных движений, резкого столкновения феодально-средневекового уклада с силами нового формирующегося буржуазного общества. Это был период почти не затухавших религиозных войн, время борьбы гуманистов с церковной схо-

ластикой и мракобесием. Одновременно в ожесточенной борьбе против феодальной вольницы набирала силы централизованная королевская власть. Из всех этих взаимосвязанных политических и идеологических процессов Г Манн сосредоточивает основное внимание на религиозных войнах, в форму которых в ту пору облекались основные общественно-политические конфликты, и на процессе становления абсолютизма.

В романах о Генрихе IV писатель вполне успешно решает очень сложную и противоречивую задачу: это одновременно и повествование о XVI столетии во Франции, исторически правдиво воссоздающее картину противоборства основных социальных и политических сил того времени, всю атмосферу той эпохи, и вместе с тем это произведение, ставящее в иносказательной форме проблему борьбы с фашизмом 30-х годов нашего столетия.

На первый план в идейном контексте дилогии выдвигается вопрос о взаимоотношении передовой личности и народа, и разрешает его Г. Манн более успешно, нежели буржуазно-либеральные романисты, обращавшиеся к исторической теме. Народ в его романах является мощной опорой в прогрессивной деятельности гуманиста. Духовное единение с народом позволяет Генриху IV одержать победу над мрачными силами религиозного фанатизма и феодального средневековья. Все деяния Генриха IV направлены на благо государства и народа Франции. Сам герой Г. Манна это не кабинетный созерцатель с чертами филистера, как Эразм у Цвейга. Это — гуманист-борец, с оружием в руках выступающий против реакции за торжество своих идеалов. Друзья Генриха — крупнейшие писатели, философы-гуманисты эпохи Возрождения — Монтень, Д'Обинье, дю Барта и другие — так же активны и исполнены боевого духа, как и он сам. Передовые нравственные и общественные идеалы эпохи они отстаивают и пером и мечом. Образы гуманистов в этих романах имели значение призыва, обращенного к западноевропейской интеллигенции, принять активное участие в политической борьбе народа и сражаться за его дело словом и оружием.

Политическая актуальность романов Г. Манна не означала, однако, что история подвергается в них модернизации, как, например, в романах Фейхтвангера, применявшего даже современную терминологию. Г. Манн нигде не отступает от исторического колорита эпохи, порой даже тонко стилизует манеру повествования под язык старинных французских хроник, а каждую главу первого романа завершает моралите (нравоучением) на французском языке. Но одновременно за изображением некоторых исторических конфликтов и событий отчетливо угадываются события и факты того времени, когда написаны романы.

Историческая правдивость романов о Генрихе IV не означает, однако, что Г Манн не использовал права художника не всегда в точности следовать фактам в творческом воссоздании истории. И в отдель-

ных случаях он их не придерживается, отступая, правда, от реальных событий лишь в кое-каких второстепенных моментах. Главное здесь в том, что образ французского короля Генриха IV, конечно, явно приподнят над своим реальным историческим прототипом. Исторический Генрих IV далеко не во всем был таким народным королем, каким он представлен в романе. Но эта идеализация оправдана той задачей, которую ставил перед собой Г. Манн,— противопоставить современному фашизму образ выдающегося, воинствующего гуманиста, опиравшегося на народные массы в борьбе против фанатизма и средневекового варварства. И потому в главных своих чертах образ короля Франции, созданный писателем, оставался вполне историчным. Его Генрих во многом показан реалистически правдиво, как человек XVI столетия, наделенный характерными чертами своего класса и своей эпохи.

Концепции истории Г. Манна можно было бы поставить в упрек — как это не раз делалось в советской критике — что он не изобразил народные массы в качестве основной движущей силы истории. Действительно, в дилогии не только не изображаются народные движения, но и сами люди из народа в ней — лишь эпизодические фигуры. Но вряд ли основные конфликты той или иной эпохи можно отображать, только ставя в центре произведения народные массы. Важно, что герой Г. Манна является «народным королем» в том смысле, что источник его силы — связь с народом. Конечно, сама идея возвеличения гуманиста в дилогии несет на себе отпечаток прежней авторской концепции ведущей роли интеллектуальной элиты в общественном развитии,— народ в романах о Генрихе добивается благосостояния, славы и могущества только тогда, когда его ведут светлые головы, подобные Генриху IV; плохо, когда он попадает под власть обскурантов вроде Гизов и Филиппа II Испанского. Но в таком понимании роли народных масс отразились и наблюдения писателя над ходом новейшей немецкой истории: немецкое народное движение, руководимое революционерами, было разбито в 1918—1923 годах, и широкие массы оказались обманутыми демагогом Гитлером. Г. Манн твердо верил, что это лишь временное помрачение народного сознания, и свою веру вложил в образ Генриха IV, которому удается вырвать народ из-под власти мракобесов и повести по пути прогресса. Корни некоторых действительных противоречий исторической концепции Г. Манна в дилогии, изредка в ней проступающих, следует искать в другом. Научное представление об истории как о борьбе классов, имеющих определенные экономические и политические интересы, доминирующее в дилогии, порой оттесняется абстрактно-идеалистической трактовкой истории, как борьбы сил Добра и Зла, Разума и Глупости, воплощенных в отдельных личностях. Именно такая концепция и лежит в основе исторических романов большинства немецких писателей-эмигрантов, буржуазных либералов по своим общественным

позициям. Г Манн — революционный демократ — сумел в основном преодолеть эту буржуазно-либеральную ограниченность.

Романы о Генрихе IV были качественно новым явлением в творчестве писателя. При этом они, конечно, сохраняли многие черты, свойственные его прежней творческой манере. В первую очередь здесь следует отметить, что хотя драматические произведения Г. Манна относятся к периферии его писательской деятельности, он с большим интересом работал в этой области, считая драму очень важным жанром литературы. Это обстоятельство, очевидно, и способствовало утверждению одной характерной черты в художественной структуре дилогии, свойственной и многим прежним его романам (здесь могут быть названы и «Учитель Гнус» и «Верноподданный») — большое место диалога в повествовании. Новые же моменты в творческой манере писателя обусловлены совершенно иными задачами, в этих романах поставленными, совершенно иной их направленностью. Да и само повествование об отдаленной эпохе, разумеется, требовало иных форм художественного выражения, нежели романы о современности. Нельзя сказать, что все предыдущие произведения Г. Манна были чисто сатирическими и что в них отсутствовали поиски положительного героя. Но тем не менее сатирическое начало было ведущим, и художественно наиболее совершенные произведения, созданные до начала 30-х годов,— сатирические. Положительный же герой нигде не имел такой обобщающей социальной, идейной и художественной масштабности, как в романах о Генрихе IV. При обилии отрицательных персонажей в дилогии сатирическое начало в ней приглушено общей устремленностью романов к утверждению позитивных гуманистических идей. Уверенность в торжестве этих идей, в победе сил прогресса сообщает романам философски просветленную тональность, язвительная сатира уступает место легкой и тонкой иронии писателя, умудренного большим жизненным и политическим опытом. Именно в этом ключе изображаются силы, противостоящие Генриху. Спокойный и неторопливый рассказ об интригах и других неприглядных действиях Екатерины Медичи, Гизов и их приспешников ведется в бесстрастной манере, с оттенком иронии, что убеждает нас в их отвратительности и моральной низости не в меньшей степени, чем резко гротесковая манера автора «Учителя Гнуса» и «Верноподданного». Описательный элемент сведен в романах до минимума. Г. Манн явно предпочитает силой самого художественного образа давать оценку ситуации или персонажа, а не авторскими отступлениями внушать читателю свое к ним отношение. Но романы одновременно и остро публицистичны — прежде всего своей связью с современностью, тем, что они именно ей и адресованы. Публицистическую функцию выполняют и завершающие каждую главу «Юности» моралите, которые совсем не звучат, как авторские назидания, а подводят итоги определенному этапу в развитии

характера главного героя, выявляют основной идейный и исторический смысл в той большой цепи событий, через которые проходит Генрих. Основательно изучив эпоху, писатель красочно и многопланово воссоздает исторический фон, на котором развивается остро динамичная интрига. Событийному динамизму «Юности короля Генриха IV» соответствуют коротенькие главки, четкий лапидарный стиль. В некоторых сценах Г. Манн, тончайший стилист и высокий мастер немецкого литературного языка, находит проникновенный поэтический стиль повествования (например, в истории любви Генриха к Флеретте).

Рассказ о событиях прошлого примечателен в дилогии Г. Манна одним специфическим стилевым приемом, во многом связанным с уже отмеченной тональностью философских раздумий об изображаемых событиях, соотнесением их с настоящим. Но хотя автор избегает прямого вмешательства в повествование, мы постоянно ощущаем его присутствие в романе, ту дистанцию, которую он сохраняет по отношению к объекту изображения. Это сказывается и в отмеченной выше авторской иронии, и в том, что автор часто обращается к будущему своего героя (прием, который можно было бы назвать проекцией настоящего — по отношению ко времени действия романа — в будущее). Иными словами, повествование ведется от автора, которому ведома судьба его героя в будущем. Такой манерой Г. Манн как бы сочетает в себе и художника-повествователя, строящего динамичную и увлекательную сюжетную интригу, обусловленную конкретно-исторической атмосферой эпохи, и историка, который рассказывает о событиях многовековой давности, оценивая их с высоты перспективной проекции в свою современность. В целом романы о Генрихе IV, которые Л. Фейхтвангер назвал «торжеством и славой немецкой эмиграции», являются величайшим достижением немецкого критического реализма, крупнейшим вкладом в развитие европейского романа.

Когда вслед за многими другими европейскими странами в паучьих лапах гитлеровской свастики оказалась и Франция, писатель на семидесятом году жизни должен был опять искать себе новое пристанище. С небольшим рюкзаком за плечами пройдя ночью тридцать километров через Пиренеи и далее на небольшом моторном катере обогнув побережье Испании под постоянной угрозой быть схваченным немецкими или итальянскими судами, он добрался до Лиссабона. Отправившись оттуда на греческом судне и переплыв океан, писатель высадился в Нью-Йорке. Последние десять лет жизни, так и не увидев больше родины, он провел, испытывая тяжкие материальные лишения, в Калифорнии, где и умер 12 марта 1950 года. Это была самая горькая пора его жизни, годы почти полного одиночества, особенно тяжелые для писателя, привыкшего к бурной общественно-политической деятельности.

Незадолго до смерти Г. Манн принимает предложенный ему пост президента вновь основанной в ГДР Академии искусств в Берлине. В марте 1950 года он должен был на польском пароходе «Стефан Баторий», на который он уже заказал каюту, прибыть в Гдыню, а оттуда проследовать в Берлин.

Произведения Г. Манна последних лет — романы «Лидице» (1943), «Дыхание» (1949), «Прием в свете» (издан посмертно) — следует рассматривать как определенное звено в процессе новых идейно-эстетических поисков писателя, поисков новых средств художественной выразительности. Это и тенденция к синкретичности жанра в романе «Лидице», это и попытка по-новому осмыслить художественные возможности социальной сатиры в романе «Прием в свете», во многом восходящем к раннему сатирическому роману «Земля обетованная», это и попытка вновь использовать формальный арсенал поэтики экспрессионизма. Нельзя при этом не отметить, что эти последние романы слабее лучших романов прежних лет и в идейном и в художественном отношениях, что вполне можно объяснить и известным разочарованием писателя в революционных потенциях немецкого народа, и тяжелыми условиями последних лет его жизни.

Наиболее ценной частью его творчества последних лет является публицистика и, особенно, книга «Обзор века» (1946) полумемуарного, полупублицистического характера. Эта книга, высоко оцененная, в частности Томасом Манном,— подведение жизненных итогов больших художником и общественным деятелем. В ней Г. Манн рассказывает о себе, делится мыслями о событиях и людях, современником которых он был. Антифашистский гуманистический пафос, критика немецкой реакции делают ее одним из самых заметных произведений немецкой эмиграции. Книга эта замечательна еще и тем, что, наиболее ярко выражая завершающий этап идейного развития писателя, она свидетельствовала полное признание им идей коммунизма и Октябрьской революции.

Основным жанром в творчестве Г. Манна является роман. Именно через роман наиболее полно раскрывается его творческий облик. Но наряду с публицистикой и драмой в творческом наследии писателя заметное место занимает новелла. Г. Манн обращался к этому жанру довольно часто и на разных этапах своего творчества.

Вполне естественно, что Г. Манн, романист остро социальной идейной ориентации, и во многих своих новеллах разрабатывает актуальные социально-политические темы. Среди новелл этого плана читатель настоящего тома познакомится, в частности, с новеллой «Стэрни», в остром динамичном сюжете рисующей картину нравственного разложения,

атмосферу спекуляций и коммерческого ажиотажа, охватившего побежденную в первой мировой войне Германию. Как и в некоторых романах «веймарского» периода, Г. Манна интересует здесь судьба молодого поколения. Молодой обер-лейтенант Герд Гёц Раков, вернувшийся в 1918 году с фронта и примкнувший к крайне реакционным политическим кругам, в атмосфере спекулятивной горячки становится на путь уголовных преступлений. В ряду социальных новелл особенно примечательна новелла «Кобес», очень близкая в идейном и эстетическом плане к последнему роману трилогии «Империя» — «Голова». Пользуясь художественными средствами экспрессионизма, Г. Манн в образе заглавного героя новеллы дает символическое обобщение тотальной, всепоглощающей власти монополий, подминающей под себя и людей, и всю государственную машину. Вся новелла, написанная в напряженном экспрессионистском стиле, выдержана в тонах мрачного гротеска. Гиперболизированный образ Кобеса и той неодолимой силы капиталистического Молоха, которую он воплощает, не имеют в новелле никаких сдерживающих или противодействующих сил. Поэтому новелле присуща определенная пессимистическая окраска. Но в основе своей она отражает реально сложившийся в ту пору социальный климат в Германии. При всей своей экспрессионистичной абстрактности и символичности Кобес Г. Манна имел своего реального прототипа в лице одного из крупнейших немецких монополистов того времени Гуго Стиннеса.

Другой ряд новелл, хотя они и не лишены социальной проблематики, в бо́льшей мере можно отнести к новеллам психологическим. В новеллах «Сердце», «Брат» и других, представляющих собой глубокие психологические этюды, делается явный акцент на нравственно-этических проблемах, хотя они раскрываются в весьма конкретном и подчас очень остром социальном контексте.

При известной композиционной и сюжетной незавершенности новеллы Г. Манна, как и его романы, привлекают динамичностью и остротой действия, глубиной психологической разработки образов. Знакомство с ними существенным образом расширяет наше представление о творческой манере этого замечательного художника.

Творческий путь Генриха Манна — великого писателя Германии, верного сына своего народа — яркий пример того, как лучшие художники буржуазно-демократического склада, лучшие писатели критического реализма приходят к признанию правильности марксистского учения и сближаются с литературой социалистического реализма.

А. ДМИТРИЕВ

УЧИТЕЛЬ ГНУС,
ИЛИ
КОНЕЦ ОДНОГО ТИРАНА

РОМАН

ПЕРЕВОД НАТАЛИИ МАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Фамилия его была Нусс, но вся школа называла его Гнусом. Ничего удивительного в этом не было. Прозвища учителей время от времени менялись. Обновленный состав класса кровожадно открывал в учителях комические черты, недостаточно оцененные прошлогодними учениками, и спешил заклеймить их метким словечком. Но Гнус назывался Гнусом во многих поколениях; к этому прозвищу привык весь город, коллеги иначе не именовали его вне стен гимназии, и даже в ее стенах, едва только он поворачивался к ним спиной. Учителя, державшие у себя нахлебников-гимназистов и следившие за их домашними занятиями, не стеснялись говорить об учителе Гнусе. Если бы какой-нибудь бойкий малый, внимательно присмотревшись к наставнику шестого класса, вдруг вздумал окрестить его новым именем, из этого бы ровно ничего не вышло хотя бы уж потому, что привычное прозвище и сейчас бесило старого учителя не меньше, чем двадцать шесть лет назад. Достаточно было при его появлении на школьном дворе кому-нибудь крикнуть: «Да ведь здесь пахнет какой-то гнусью!» или: «Ой-ой-ой! Что за гнусная вонь!» — старик тут же вздергивал плечо, всегда правое, которое и без того было выше левого, и бросал из-под очков косой взгляд на крикуна. Гимназисты считали этот взгляд коварным, на деле же он был только трусливым и мстительным — взгляд тирана с нечистой совестью, ищущий кинжал в складках любого плаща. Одеревенелый подбородок Гнуса с жидкой бурой бороденкой начинал ходуном ходить. Не имея возможности «уличить» крикуна, он поневоле пробирался дальше на своих тощих, искрив-

ленных ногах, глубже нахлобучив на лоб засаленную фетровую шляпу.

В прошлом году в день Гнусова юбилея гимназисты устроили факельное шествие к его дому. Он вышел на балкон и стал держать речь. И в то время, как все, задрав головы, смотрели на него, вдруг раздался чей-то противный скрипучий голос:

— Какой гнусный воздух!

Другие тотчас же откликнулись:

— Да, пахнет гнусью! Пахнет гнусью!

Учитель там, наверху, хотя предвидевший возможность такого происшествия, стал запинаться и смотреть крикунам прямо в открытые рты. Коллеги его стояли неподалеку; он чувствовал, что опять ему никого «уличить» не удастся, но запомнил все имена. Уже на следующий день учитель заверил юнца со скрипучим голосом, не знавшего, как называется деревня, где родилась Орлеанская дева, что он еще не раз сумеет «подпортить» жизнь такому нерадивому ученику. И правда, этот Кизелак остался на второй год, а заодно с ним и почти все, кто кричал тогда, на юбилее, к примеру, фон Эрцум. Ломан, правда, не кричал, но все-таки остался. Ломан облегчил задачу Гнуса своей леностью, Эрцум — отсутствием способностей. И вот поздней осенью, в одиннадцать часов утра, на перемене, предшествовавшей классному сочинению об Орлеанской деве, фон Эрцум, который и поныне был с нею не в ладах и потому предвидел катастрофу, в приступе мрачного отчаяния распахнул окно и дурным голосом крикнул в туман:

— Гнус!

Он не знал, во дворе ли учитель, да, собственно, этим и не интересовался. Бедняга, недоросль из помещичьих сынков, просто поддался желанию еще хоть на миг дать волю своим легким, прежде чем на два часа усесться перед белым листом бумаги, пустым листом, который ему предстояло заполнить словами, выжатыми из пустой головы. На беду, Гнус в это время шел по двору. Услышав крик из окна, он подскочил как ужаленный. Сквозь туман ему удалось различить контур коренастой фигуры фон Эрцума. Внизу не было никого из гимназистов, следовательно, и возглас ни от кого другого исходить не мог. «На сей раз,— торжествуя, подумал Гнус,— он имел в виду меня, и я поймал его с поличным». В несколько прыжков он взбежал по лестнице, рванул классную дверь, торопливо прошел между скамеек и, вцепившись ногтями в кафедру, взобрался на ее ступеньки. Там он остановился и перевел дыхание. Гимназисты встали, чтобы приветствовать его, и многоголосый шум

вдруг переплеснулся в почти оглушающее молчанье. Мальчики смотрели на своего наставника, как на опасное разъяренное животное, которое они, к несчастью, не вправе прикончить и на чьей стороне в данный момент имеется перевес. Грудь учителя бурно вздымалась; наконец он проговорил сдавленным голосом:

— Мне вслед опять выкрикнули некое слово, прозвище, суммируя — кличку, которую я впредь сносить не намерен. Я не потерплю такого издевательства со стороны людей, подобных вам, а вас я уже узнал, извольте это запомнить! Я буду ловить вас с поличным, где только смогу. Не говоря уже о том, что ваша испорченность, фон Эрцум, внушает мне брезгливое чувство, она теперь разобьется вдребезги о непреклонность принятого мною решения, извольте запомнить! Я сегодня же доложу господину директору о вашем поступке и сделаю все от меня зависящее, чтобы,— ясно, как божий день,— в стенах нашей гимназии больше не находились столь презренные подонки человеческого общества.

С этими словами он сбросил с себя шинель и прошипел:

— Сесть!

Весь класс сел, только фон Эрцум продолжал стоять. Его толстое веснушчатое лицо было таким же огненно-красным, как и щетина на его голове. Он хотел что-то сказать, открывал рот, но язык ему не повиновался. Наконец он выпалил:

— Это не я, господин учитель!

Несколько голосов дружно и самоотверженно поддержали его:

— Это не он!

Гнус затопал ногами:

— Молчать!.. А вы, молодой человек,— извольте принять к сведению,— не первый носитель имени фон Эрцум, которому я испортил карьеру; будьте уверены, что в дальнейшем я сумею если не окончательно сорвать ваши планы, то, во всяком случае, изрядно затруднить вам осуществление таковых. Вы, кажется, хотите стать офицером, фон Эрцум? Ваш дядюшка тоже этого хотел. Но поскольку он никак не мог дойти до конца соответствующего класса и ему всякий раз отказывали — прошу заметить — в аттестате зрелости, необходимом для поступления в вольноопределяющиеся, то он поступил в подготовительную школу, где тоже не справился с ученьем, и лишь благодаря особой милости государя ему открылась наконец военная карьера, которую он, впрочем, вскоре вынужден был прервать. Пойдем дальше! Судьба вашего дяди, фон Эрцум, станет и вашей судьбой, во всяком случае будет сходствовать

с нею. Желаю вам успеха на этом поприще, фон Эрцум. Мое суждение о вашей семье остается неизменным уже в продолжение пятнадцати лет... А теперь...— Голос Гнуса сделался замогильным.— Вы недостойны своим бездушным пером марать возвышенный облик девы, к воссозданию которого мы сейчас приступим. Марш отсюда — в каталажку!

Тугодум фон Эрцум продолжал слушать. От чрезмерного внимания он бессознательно повторял движение челюстей учителя. Когда Гнус говорил, его нижняя челюсть, в которой торчало несколько желтых зубов, точно на шарнирах, двигалась между одеревенелыми складками, залегшими около рта, так что слюна брызгала на передние парты. Он заорал:

— Да как вы смеете, мальчишка!.. Вон, говорят вам, в каталажку!

Фон Эрцум встрепенулся и стал выбираться из-за парты. Кизелак прошептал ему вслед:

— Да защищайся же, дружище!

Ломан, сидевший сзади, приглушенным голосом пообещал:

— Погоди, мы его еще укротим.

Осужденный прошмыгнул мимо кафедры в тесную и темную — хоть глаз выколи — комнатушку, служившую классной раздевальной. У Гнуса вырвался стон облегченья, когда широкая фигура фон Эрцума исчезла за дверью.

— Теперь нам нужно наверстать время, похищенное у нас этим мальчишкой. Вот вам тема, Ангст, напишите ее на доске.

Первый ученик близорукими глазами вгляделся в записку и принялся неторопливо писать. Все напряженно следили за буквами, которые выводил мелок и от которых столь многое зависело. Если это окажется сцена, которую тот или иной ученик случайно не «вызубрил», тогда он «пропал», «завалился». И еще до того, как слоги на доске приобрели смысл, все из суеверия бормотали:

— Господи, я завалился!

Наконец на доске уже можно было прочесть:

«И о а н н а. Ты произнес пред богом три молитвы...

(Орлеанская дева, действие первое, явление десятое.)

Тема: третья молитва короля».

Прочитав эти слова, все переглянулись. «Завалились» все. Гнус всех «сцапал». Криво усмехнувшись, он уселся в кресло на кафедре и начал листать свою записную книжку.

— Итак? — не подымая глаз, вопросительно произнес он, словно всем все было ясно.— Что вам еще угодно узнать?.. Начали!

Многие мальчики ссутулились над тетрадями, притворяясь, что уже пишут. Другие невидящим взглядом смотрели в пространство.

— В вашем распоряжении имеется еще час с четвертью,— безразличным тоном, но внутренне ликуя, объявил Гнус. Такой темы для сочинений не изобретал еще никто из возмутительно бессовестных учителей, знавших о печатных шпаргалках, которые давали мальчишкам возможность без труда проанализировать любую сцену из классического произведения.

Кое-кто помнил десятое явление первого действия и с грехом пополам знал первые две молитвы Карла. О третьей ни один человек в классе понятия не имел. А первый ученик и еще двое или трое, в том числе Ломан, готовы были поклясться, что отродясь ее не читали. Ведь король просил пророчицу повторить только две из его молитв; для него этого было достаточно, чтобы поверить в ее божественное предназначение. Трєтьей там, хоть убей, не было. Наверно, ее надо искать в другом месте, а может быть, она сама собой явствует из хода событий или же сбывается так, что никому и невдомек, что это сбылась молитва. Верно, они проглядели в драме какое-то место, это допускал даже первый ученик Ангст. Но так или иначе, а чего-нибудь наговорить об этой третьей молитве надо; даже о четвертой и пятой, если бы Гнус этого потребовал. Писать о вещах, в реальность которых никто ни на грош не верил — о верности долгу, о благотворном влиянии школы, о любви к военной службе,— то есть покрывать буквами положенное число страниц, их, слава тебе господи, приучали годами на уроках немецкого языка. Тема ни в малейшей степени их не интересовала, но они писали. Произведение, из которого она была почерпнута, уже месяцами служившее одной только цели — «завалить» их, давно им осточертело, но они писали.

«Орлеанской девой» класс занимался с пасхи, то есть уже три четверти года. А второгодники и подавно знали ее вдоль и поперек. Ее читали с начала и с конца, заучивали наизусть целые сцены, давали к ней исторические пояснения, на примерах из нее изучали поэтику и грамматику, перекладывали стихи в прозу и, обратно, прозу в стихи. Для всех, при первом чтенье ощутивших сверкающую прелесть ее стихов, они давно поблекли. Мелодия стала неразличима в звуках разбитой шарманки, изо дня в день скрипевшей одно и то же. Ни до кого уже не доносился чистый девичий голос, в котором вдруг начинает звучать суровый звон мечей, слышится биение сердца, больше не прикрытого панцирем, и шелест ангельских крыль-

ев, распростертых светло и грозно. Юношам, которых со временем повергла бы в трепет почти сверхчеловеческая непорочность этой пастушки, тем, что полюбили бы в ней торжество слабости, плакали бы над душевным величием бедняжки, оставленной небесами и превратившейся в робкую, беспомощно влюбленную девочку, уже не доведется так скоро это пережить. Пройдет лет двадцать, прежде чем Иоанна перестанет быть для них докучливой педанткой.

Перья скрипели. Учитель Гнус, теперь уже ничем не занятый, смотрел куда-то вдаль поверх склоненных голов. День выдался удачный, ибо одного ему все-таки посчастливилось «сцапать», и вдобавок одного из тех, что называли его «этим именем». Теперь можно надеяться, что и весь год будет хорошим. В продолжение двух последних лет ему ни разу не удалось «сцапать» ни одного из этих коварных крикунов. Плохие это были годы. Хорошими или плохими годы считались в зависимости от того, удавалось ему кого-нибудь «поймать с поличным» или не удавалось «за отсутствием доказательств».

Гнус, знавший, что ученики его обманывают и ненавидят, и сам считал их заклятыми врагами, с которыми надо построже «расправляться» и не давать им дойти до конца класса. Проведя всю жизнь в школах, он не умел смотреть на мальчиков и их дела взглядом взрослого, житейски опытного человека. У него отсутствовала перспектива, и сам он был точно школьник, внезапно облеченный властью и возведенный на кафедру. Он говорил и думал на их языке, употреблял выражения, заимствованные из жаргона школяров, и раздевальню называл «каталажкой». Начинал он урок в том стиле, к которому прибег бы любой школьник, окажись он на его месте, а именно латинизированными периодами, вперемежку с бесконечными «право же, конечно», «итак, следовательно» и прочими ничего не значащими словечками. Эта привычка выработалась у него благодаря изучению Гомера с восьмиклассниками, когда каждое словцо обязательно подлежало переводу, как бы тяжеловесно и нелепо оно ни звучало на другом языке. С годами тело Гнуса окостенело, утратило подвижность, и такой же неподвижности он стал требовать от школьников. Он забыл, а может быть, никогда и не знал о потребности молодого организма,— все равно, будь то мальчик или щенок,— бегать, шуметь, награждать кого попало тумаками, причинять боль, изобретать шалости, словом — самыми нелепыми способами освобождаться от излишка сил и задора. Он наказывал их, не думая, как думает взрослый человек:

«Вы, конечно, озорники, так вам и положено, но я-то обязан поддерживать дисциплину»,— а злобно, со стиснутыми зубами. Гимназию и все в ней происходящее он принимал всерьез, как самое жизнь. Лень приравнивалась к испорченности и тунеядству, невнимательность и смешливость—к крамоле, стрельба горохом из пугача была призывом к революции, «попытка ввести в заблуждение» считалась бесчестным поступком и несмываемым пятном позора. В таких случаях Гнус становился бледен как полотно. Когда ему случалось отправить одного из мальчиков в «каталажку», он чувствовал себя самодержцем, сославшим в каторжные работы кучку мятежников,— то есть ощущал всю полноту власти и одновременно содрогался при мысли о том, что подкапываются под его престол. Побывавшим в каталажке, да и всем, кто когда-либо задел его, Гнус этого не прощал. А так как он уже четверть века подвизался в местной гимназии, то город и вся округа были полным-полны учеников, либо «пойманных с поличным», либо «не пойманных», и все они называли его «этим именем». Для него школа не заканчивалась дворовой оградой; она распространялась на все дома в городе и в пригороде, на жителей всех возрастов. Повсюду засели строптивые, отпетые мальцы, не выполняющие домашних заданий и ненавидящие учителя. Новичок, не раз слышавший, как его старшие родичи с добродушной усмешкой вспоминают о досаждавшем им в далекой юности учителе Гнусе, попав после пасхальных каникул в его класс, при первом же неправильном ответе слышал злобное шипенье:

— У меня уже было трое ваших. Я ненавижу вашу семейку.

Гнус на своем возвышении наслаждался мнимой безопасностью, а тем временем назревала новая беда. Она исходила от Ломана.

Ломан быстро справился с сочинением и перешел к занятиям сугубо личного характера. Но дело у него не двигалось, так как он страдал за своего друга фон Эрцума. Взяв на себя роль морального опекуна этого юного здоровяка-дворянчика, он считал делом чести по мере сил прикрывать своим умом умственное слабосилие друга. В момент, когда Эрцум готовился выпалить какую-нибудь неслыханную глупость, Ломан начинал громко кашлять и подсказывал ему правильный ответ. Дурацкие ответы Эрцума он оправдывал перед товарищами, уверяя, что тот просто-напросто хотел довести Гнуса до белого каления.

У Ломана была пышная черная шевелюра, одна прядь постоянно выбивалась и меланхолически ниспадала на лоб. Лицо его отличалось люциферовой бледностью и на редкость выразительной мимикой. Он писал стихи в духе Гейне и был влюблен в тридцатилетнюю даму. Увлеченный изучением литературы, он уделял очень мало внимания гимназическим занятиям. Учительский совет, заметив, что Ломан начинает налегать на ученье только в последнем квартале, дважды оставлял его на второй год, несмотря на то что ему и вправду удавалось подтянуться в последние дни. Поэтому Ломан, так же как его друг, в семнадцать лет сидел среди четырнадцати- и пятнадцатилетних мальчишек. И если Эрцум выглядел на все двадцать благодаря своему физическому развитию, то Ломан казался старше своих лет, потому что на нем лежала «печать духа».

Какое же впечатление мог производить на такого Ломана деревянный паяц там, на кафедре, чурбан, страдающий навязчивыми идеями? Когда Гнус его вызывал, Ломан неторопливо откладывал книжку, не имеющую ни малейшего отношения к уроку, хмурил широкий, бледный до желтизны лоб, смотрел из-под презрительно опущенных век на своего жалкого и злобного наставника, на пыль, въевшуюся в его кожу, на перхоть, осыпавшую воротник мундира, и, наконец, переводил глаза на свои тщательно отполированные ногти. Гнус ненавидел Ломана чуть ли не больше, чем всех остальных, за его несгибаемое упорство и, пожалуй, еще за то, что Ломан не называл его «этим именем», а значит, злоумышлял что-нибудь еще более каверзное. Ломан при всем желании не мог отвечать на ненависть этого жалкого старика иначе как холодным пренебрежением, хотя и с некоторой примесью брезгливого сострадания. Но оскорбление, нанесенное другу, он воспринял как вызов, брошенный ему, Ломану. Из всех тридцати учеников он один счел низостью публичное поношение дяди фон Эрцума. Нельзя позволять этому шуту гороховому слишком уж зарываться. Итак, Ломан решился. Он встал, оперся руками о парту, с любопытством посмотрел учителю прямо в глаза и проговорил спокойно и сдержанно:

— Я не могу больше работать, господин учитель. Здесь нестерпимо гнусный воздух.

Гнус подскочил как ужаленный на своем кресле, простер руку, призывая к молчанию, челюсти его беззвучно задвигались. К этому он не был подготовлен — особенно сейчас, ведь он только что угрожал одному из «отчаянных» исключением из гимназии. Поймать сейчас этого Ломана с поличным? Луч-

шего и желать нельзя. Но... будет ли это считаться «с поличным»?.. В это самое роковое мгновение маленький Кизелак поднял вверх синюю руку с обкусанными ногтями, щелкнул пальцами и сердито пробурчал:

— Ломан не дает мне сосредоточиться, он все время говорит, что здесь гнусно воняет.

В классе захихикали, зашаркали ногами. Гнус, чувствуя, что повеяло ветром мятежа, впал в панику. Он вскочил, наклонился над пюпитром, стал размахивать руками направо и налево, словно отражая удары бесчисленных врагов, и заорал:

— В каталажку! Всех в каталажку!

Шум продолжался; Гнус решил, что спасти его могут только крайние меры. Никто и опомниться не успел, как он ринулся на Ломана, схватил его за руку, дернул и сдавленным голосом крикнул:

— Вон отсюда, вы недостойны пребывать в человеческом обществе!

Ломан встал и последовал за ним со скучливым и сердитым видом. У двери Гнус рванул его за плечо и попытался пропихнуть в раздевалыню; из этого ничего не вышло. Ломан почистил рукой место, до которого дотронулся Гнус, и размеренным шагом направился в каталажку. Гнус обернулся, ища глазами Кизелака. Но тот за его спиной уже протиснулся к двери и, скорчив рожу, скрылся в «арестном доме». Первый ученик вынужден был объяснить учителю, куда исчез Кизелак. Гнус незамедлительно потребовал, чтобы класс никакими происшествиями не отвлекался больше от Орлеанской девы.

— Почему вы не пишете? Вам осталось пятнадцать минут. Незаконченные работы я — опять-таки — проверять не буду.

После этой угрозы у мальчиков окончательно вылетело из головы все, касающееся Орлеанской девы, лица у них стали испуганными. Но Гнус был слишком взволнован, чтобы этому радоваться. Он жаждал сломить всякое еще возможное сопротивление, предупредить любое непокорство, усмирить все вокруг, водворить в классе кладбищенскую тишину. Все три повстанца были схвачены, но их тетради лежали на партах, и каждая страница дышала крамолой. Гнус взял эти «вещественные доказательства» и пошел на кафедру.

Сочинение Кизелака было набором вымученных нескладных предложений, свидетельствовавших разве что о добрых намерениях. У Ломана удивительно было отсутствие плана, подразделения на А, В, С и 1, 2, 3. Вдобавок он успел написать

одну только страницу, которую Гнус и пробежал глазами со все возрастающим гневом. На ней стояло:

«Третья молитва короля (Орлеанская дева. I. 10).

Юная Иоанна с ловкостью, поразительной в ее возрасте и при ее крестьянском происхождении, благодаря хитроумному фокусу проникает ко двору. Она рассказывает королю содержание тех трех молитв, которые он прошедшей ночью вознес к богу; своим уменьем читать мысли она, натурально, производит сильнейшее впечатление на невежественных придворных. Я упомянул о трех молитвах, на деле же она излагает только две, о третьей и без того убежденный ею король уже не спрашивает. И, надо сказать, на ее счастье, ибо ей вряд ли удалось бы изложить эту молитву. В первых двух она уже сказала все, о чем он *мог* бы просить господа бога, а именно: если отомщены еще не все грехи его предков, то пусть жертвою падет он, а не его народ, и, если уж ему суждено утратить царство и корону, то пусть господь сохранит ему покой, друга и возлюбленную. На главном, то есть на власти, он уже поставил крест. О чем же ему еще просить? Не будем ломать себе голову: он этого сам не знает. Не знает и Иоанна. И Шиллер тоже не знает. Поэт ничего не утаил из того, что знал, но тем не менее добавил «и так далее». Вот весь секрет, и тот, кому понятна беззаботная природа поэта, ничуть этому не удивится».

Точка. Это было все. Гнус, дрожа мелкой дрожью, немедленно сделал вывод: устранить *этого* ученика, избавить человечество от *такой* заразы — куда важнее, чем выжить из гимназии простака фон Эрцума. Он бросил торопливый взгляд на следующую страницу; наполовину вырванная, она болталась в тетради, но и на ней было что-то нацарапано. И в момент, когда он понял, что́ именно, точно розовое облако прошло по его морщинистым щекам. Он быстро, вороватым движением захлопнул тетрадь, притворяясь, что ничего не заметил, затем снова раскрыл ее, тотчас же сунул под две другие и с трудом перевел дух, истомленный борьбой.

Он отчетливо понимал: теперь пора; этот должен быть «пойман с поличным». Человек, который дошел до того, что... эту — так сказать — артистку Розу... Розу... Он в третий раз схватился за Ломанову тетрадь. Но тут зазвенел звонок.

— Сдавать тетради! — крикнул Гнус, страшно волнуясь оттого, что какой-нибудь мальчишка, не успевший закончить сочинение, в последнюю минуту еще, чего доброго, заработает удовлетворительный балл. Первый ученик стал собирать тетради; несколько человек уже осаждали дверь в раздевальню.

— Прочь оттуда! Ждать! — заорал Гнус в новом приступе страха. Больше всего на свете ему хотелось запереть дверь и продержать этих трех мерзавцев под замком, покуда их гибель не станет самоочевидной. Но тут нельзя действовать второпях, надо все обдумать и взвесить. Случай с Ломаном совершенно ошеломил его. Какая испорченность!

Ученики, главным образом те, что поменьше, в справедливом негодовании толклись вокруг кафедры.

— Наши вещи, господин учитель!

Гнусу пришлось отпереть каталажку. Из толпы один за другим выбрались три изгнанника, уже в шинелях. Ломан немедленно догадался, что его тетрадь попала в руки Гнуса, и скучливо подосадовал на чрезмерное рвенье старого дурака. Теперь уж его родителю, хочешь не хочешь, придется иметь разговор с директором!

У фон Эрцума только выше поднялись рыжие брови на лице, которое его друг Ломан называл «пьяной луной». Зато Кизелак успел в каталажке приготовиться к защите.

— Господин учитель, я ведь не говорил, что здесь гнусно воняет, я только сказал, что *он* то и дело говорит...

— Молчать! — закричал Гнус, дрожа всем телом. Он втянул, потом опять вытянул шею, овладел собою и глухим голосом добавил: — Судьба ваша вплотную — так сказать — нависла над вашими головами. Можете идти!

И все трое отправились обедать, каждый с нависшей над ним судьбой.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Гнус тоже поел и прилег на софу. Но только он уснул, как его домоправительница, по обыкновению, загремела посудой. Гнус поднялся и тотчас же схватил тетрадь Ломана; лицо его порозовело, словно он впервые читал эти постыдные и вгоняющие в краску строки. Ко всему еще тетрадь никак не желала закрываться, до того она была измята и изогнута в том месте, где находилось «Славословие фрейлейн Розе Фрелих». После заголовка шло несколько нарочито неразборчивых строчек, затем пустое пространство и наконец:

Хоть ты — талант (в том нет сомненья),
Развращена душа твоя.
Коль в интересном положенье... [1]

[1] Здесь и далее перевод стихов А. Ибрагимова.— *Ред.*

Рифму автор еще не успел подыскать. Но многоточие после третьего стиха было достаточно красноречиво. Оно наводило на мысль о личной причастности Ломана. Не исключено, что четвертый стих должен был черным по белому это подтвердить. Для того чтобы угадать этот недостающий четвертый стих, Гнус прилагал усилия не менее отчаянные, чем его класс для раскрытия третьей молитвы короля.

Этим четвертым стихом ученик Ломан как будто издевался над учителем Гнусом, и Гнус, все больше разъяряясь, боролся с учеником Ломаном; насущная потребность доказать ему, кто из них сильнейший, вовлекала учителя в эту борьбу. Уж он ему докажет!

Еще ясно не определившиеся наметки будущих действий роились в голове Гнуса. Он не мог усидеть на месте, а потому накинул свою поношенную шинель и вышел из дому. На улице моросил холодный дождь. Заложив руки за спину, со склоненной головой и ядовитой усмешкой, гнездящейся в углах рта, Гнус тащился по лужам окраинной улицы. Телега, груженная углем, да несколько ребятишек — вот и все, что попалось ему навстречу. К дверям мелочной лавки на углу была прибита афиша городского театра: «Вильгельм Телль». Осененный внезапной мыслью, Гнус устремился к ней, хотя колени его подгибались... Нет, Роза Фрелих не значилась среди исполнителей. Но ведь не исключено, что эта особа все же состоит в труппе. Лавочник, господин Дреге, вывесивший афишу в своем заведении, вероятно, в курсе этих дел. Гнус уже дотронулся до двери, но испуганно отдернул руку и пустился наутек. Наводить справки об актрисе на своей улице! Надо отерегаться сплетен, до которых так охочи его невежественные и ничего не смыслящие в гуманитарных науках сограждане. Чтобы разоблачить ученика Ломана, надо действовать умело и тайно... Гнус свернул в аллею, ведущую к городу.

В случае удачи Ломан в своем падении повлечет за собою Кизелака и фон Эрцума. А пока что Гнус не станет сообщать директору, что его опять так назвали. Позднее само собой выяснится, что те, кто способен на это, способны и на любой другой безнравственный поступок. Гнус это твердо знал на опыте со своим сыном. Он прижил его от одной вдовы, которая, в бытность его студентом, оказывала ему материальную поддержку, чтобы он продолжал ученье. Вступив наконец в должность, Гнус согласно уговору женился на ней. Вдова, суровая костлявая женщина, давно уже скончалась.

Сын, по наружности не краше его самого, вдобавок еще был крив на один глаз. Тем не менее, приезжая на каникулы в родной город, он открыто показывался с женщинами легкого поведения. Мало того что он связался с дурной компанией, он еще четыре раза проваливался на экзамене и, следовательно, чиновником мог стать разве что на основании своего выпускного свидетельства. Целая пропасть отделяла его от людей высшего полета, сдавших государственный экзамен. Гнус, решительно порвавший с сыном, понимал закономерность случившегося; более того, он все это предвидел, после того как подслушал, что сын в разговоре с приятелями называет отца «этим именем».

Значит, можно надеяться на подобную участь для Кизелака, фон Эрцума и Ломана, главное — Ломана: рок уже настигал его благодаря артистке Розе Фрелих. Гнусу не терпелось расправиться с Ломаном. Двое других померкли рядом с этим человеком, рядом с его независимыми манерами и жалостливым любопытством, появлявшимся в его взгляде, когда учитель выходил из себя. «Да и вообще, что это за ученик?» Гнус с разъедающей ненавистью думал о Ломане. Под островерхими городскими воротами он внезапно остановился и громко проговорил:

— Эти — наихудшие!

Ученик — серое, забитое, коварное существо, которое не знает в жизни ничего, кроме своего класса, и ведет нескончаемую подпольную войну с тираном: таков Кизелак; либо это рыжий придурковатый детина, которого тиран благодаря своему умственному превосходству держит в состоянии вечной тревоги: например, фон Эрцум. Но Ломан... Ломан, кажется, *усомнился* в правах тирана. В душе Гнуса все накипало и накипало унизительное чувство, испытываемое небогатым начальником, видящим, как его подчиненный щеголяет в отличном костюме и сорит деньгами. А тут его вдруг осенило — все это нахальство, и больше ничего! Нахальство, что Ломан всегда выглядит опрятным, нахальство, что у него чистые манжеты, и такая физиономия — тоже нахальство. Сегодняшнее сочинение, знания, почерпнутые этим учеником вне школы, из которых самое возмутительное — артистка Роза Фрелих,— тоже нахальство. А сейчас Гнус еще уяснил себе — нахальство и то, что Ломан *не называет* его «этим именем».

Одолеваемый такими мыслями, Гнус поднялся до конца узкой улички, застроенной домами с готическими фронтонами, к церкви, вокруг которой бушевал форменный ураган, и, придер-

живая руками распахивавшуюся шинель, стал снова спускаться под гору. Затем он свернул в переулок и в нерешительности остановился у одного из первых домов. Здесь по обе стороны двери были прибиты деревянные ящики, в которых за проволочной сеткой висели афиши «Вильгельма Телля». Гнус прочитал афишу в одном ящике, затем в другом. Наконец он решился и, боязливо озираясь по сторонам, прошел через подворотню в прихожую. Ему показалось, что за маленьким окошком, освещенным лампой, кто-то сидит; от волнения он плохо видел. В этом злачном месте он не был уже лет двадцать, и его грудь теснила тревога властелина, покинувшего свою страну: а что, если его не узнают, по незнанию неуважительно обойдутся с ним, заставят почувствовать себя простым смертным?

Он стоял перед окошком, негромко покашливая. Но поскольку ответа не воспоследовало, постучал согнутым указательным пальцем. Из окошка высунулась голова кассира.

— Что прикажете? — хрипло осведомился кассир.

Сначала Гнус только шевелил губами. Они уставились друг на друга, он и отставной актер с бритой синей физиономией и приплюснутым носом, на котором красовалось пенсне. Гнус едва выдавил из себя:

— Вот оно что! Вы, значит, ставите «Вильгельма Телля». Отличный выбор.

— Уж не полагаете ли вы, что нам это доставляет большое удовольствие? — отвечал кассир.

— Нет, я ничего такого не полагаю,— поспешно заверил Гнус, испугавшись, что этот разговор заведет его слишком далеко.

— Билеты не расходятся. А по контракту с городом мы обязаны ставить классические вещи.

Гнус счел, что уже пора представиться.

— Учитель местной гимназии Гну... Нусс.

— Очень приятно. Блуменберг.

— Я охотно посетил бы вместе со своим классом представление классической пьесы.

— Превосходно, господин профессор. Не сомневаюсь, что это известие чрезвычайно обрадует нашего директора.

— Но...— Гнус поднял указательный палец...— это должна быть одна из тех драм, которые мы изучаем в гимназии, а именно, я бы сказал,— «Орлеанская дева».

У актера отвисла нижняя губа, он поник головой и с грустной укоризной исподлобья посмотрел на Гнуса.

— Весьма и весьма сожалею, но эту пьесу нам пришлось бы репетировать заново. Неужели Телль так-таки не удовлетворяет вас? Право, весьма подходящая пьеса для юношества.

— Нет,— отрезал Гнус.— С Теллем ничего не выйдет. Нам нужна Дева. И к тому же,— настоятельно прошу вас обратить внимание,— Гнус с трудом перевел дух, так у него билось сердце,— чрезвычайно существенно, *кто* будет исполнять роль Иоанны. Это должна быть большая артистка, которая сумеет, собственно говоря, именно показать ученикам все величие Девы.

— Ну, разумеется, разумеется,— немедленно согласился актер.

— Перебирая в уме всех актрис вашей труппы, о которых мне пришлось слышать наилучшие и, надо думать, справедливые отзывы...

— Ах, что вы говорите!

— Я остановился на фрейлейн Розе Фрелих.

— Как вы изволили сказать?

— Роза Фрелих.— Гнус затаил дыхание.

— Фрелих? Да у нас нет такой актрисы.

— Вы в этом вполне уверены? — бессмысленно переспросил Гнус.

— Позвольте, я ведь не сумасшедший.

Гнус уже не смел поднять глаза.

— Тогда я, право, даже не знаю...

Актер поспешил к нему на помощь.

— Здесь, видимо, какое-то недоразумение.

— Ну да, да,— потвердил Гнус с ребяческой благодарностью.— Прошу прощенья.

И начал с подобострастными поклонами отступать к двери.

Кассир оторопел. Потом спохватился и крикнул:

— Господин учитель! Мы ведь еще не обсудили всех подробностей. Сколько вам нужно билетов? Господин учи...

В дверях Гнус обернулся; его губы скривились в боязливую улыбку:

— Еще раз прошу прощенья.

И сбежал.

Сам того не замечая, Гнус спустился под гору, к гавани. Здесь раздавались тяжелые шаги грузчиков, перетаскивавших мешки, и протяжные крики рабочих, лебедками поднимавших эти мешки в верхний этаж амбаров. Пахло рыбой, смолой, мас-

лом, спиртом. Мачты и трубы вдали на реке уже подернулись сумеречной пеленой. Среди всей этой сутолоки и делового оживления, еще возросшего перед наступлением темноты, бродил Гнус со своими неотвязными мыслями: зацапать Ломана, найти актрису Фрелих.

Его то и дело толкали дюжие мужчины в английских костюмах с накладными в руках, грузчики кричали ему: «Берегись!» Всеобщая спешка захватила и его; сам не зная, как это случилось, он нажал ручку двери, на которой было написано: «Контора по вербовке матросов» и еще что-то по-шведски или по-датски. Все помещение было завалено связками канатов, ящиками с морскими галетами и маленькими, остро пахнущими бочонками. Попугай закричал: «Прощелыга!» Одни матросы пили, другие, засунув руки в карманы, гурьбой обступили какого-то рыжебородого верзилу. Наконец верзила выбрался из тучи табачного дыма в глубине помещения, стал за стойку, так что свет от жестяного фонаря на стене залил его лысую голову, оперся ручищами о край стойки и спросил:

— Что вам от меня угодно, сударь?..

— Дайте-ка мне,— не задумываясь, отвечал Гнус,— входной билет в Летний театр.

— Чего вам? не разберу,— переспросил рыжий.

— Билет в Летний театр. На объявлении у вас в окне сказано, что здесь продаются билеты в Летний театр.

— Не пойму, что вы там толкуете, сударь.— Рыжий даже рот раскрыл от удивления.— Да ведь зимой-то Летний театр не играет.

Гнус стоял на своем.

— Но ведь у вас в окне висит объявленье.

— Ну и пусть его висит.

Не успел он это выпалить, как уже раскаялся, что проявил недостаточное уважение к господину в очках, и стал думать, как бы поубедительнее обосновать, почему сейчас закрыты летние театры. Для облегчения этой кропотливой умственной работы вербовщик легонько поглаживал стол своей рыжеволосой ручищей. Наконец его осенило:

— Да ведь всякий дурак понимает, что зимой нет летних театров.

— Я бы попросил вас, любезный...— надменно оборвал его Гнус.

Рыжий позвал на помощь:

— Эй, Генрих, Лоренц!

Матросы подошли.

— Не пойму, что с ним делается, вынь да положь ему Летний театр.

Матросы жевали табак. Теперь они вместе с вербовщиком уставились на Гнуса так, словно он явился из невесть каких дальних стран, из Китая, например, а им надо понять, что он такое говорит. Гнус это почувствовал и решил, что лучше поскорее отсюда убраться.

— Тогда, по крайней мере, скажите мне, любезный, играла ли прошлым летом в вышеозначенном театре некая Роза Фрелих?

— Да я-то почем знаю? — Рыжий вконец обалдел.— Что я, с циркачками шляюсь, что ли?

— В таком случае не откажите в любезности сообщить мне, может быть, эта дама — так сказать — собирается в текущем году порадовать нас своим искусством?

Вербовщик испугался: он уже ни слова не понимал. Зато один из матросов догадался:

— Ишь какие пули отливает; да он тебя дурачит, Питер.

Матрос закинул голову и разразился оглушительным хохотом, широко разинув черную пасть. Остальные присоединились к нему. Вербовщику отнюдь не казалось, что господин в очках дурачит его, но теперь уже дело шло об его авторитете перед клиентами — людьми, которых он поставлял капитанам вместе с галетами и джином. Он разыграл приступ ярости, весь налился кровью, хлопнул кулаком по столу, потом повелительно вытянул вперед указательный палец:

— Сударь! У меня работы по горло, и валять дурака мне не досуг: вот бог, а вот порог!

Поскольку ошеломленный Гнус не двигался с места, вербовщик собрался выйти из-за стойки. Гнус быстро открыл дверь. Попугай крикнул ему вслед: «Прощелыга!» Матросы громко ржали. Дверь захлопнулась.

Он завернул за ближайший угол, очутился на тихой улочке и стал разбираться в происшедшем.

— Я допустил ошибку,— суммирую — ошибку.

Не так надо искать актрису Фрелих. Гнус всматривался в прохожих: может, они осведомлены о ее местопребывании? Это были грузчики, кухарки, фонарщик, разносчица газет. Нет, с простонародьем не договоришься: он уже пробовал! А последнее приключение обязывало его к еще большей осторожности в общении с чужими людьми. Разумнее будет подождать, не попадется ли навстречу кто-нибудь из знакомых. И как раз из ближайшей улички вынырнул юнец, которого Гнус,

не далее как в прошлом году, яростно обучал латинским стихам. Этот малый, никогда не зубривший уроков, видимо, стал учеником в торговом деле. Он шел с пачкой писем в руках; вид у него был весьма фатоватый. Гнус двинулся на него, уже открыв рот, но счел за благо подождать поклона. Такового не воспоследовало. Бывший ученик нахально поглядел прямо в глаза учителю и прошел, едва не задев его правое, более высокое плечо, при этом поросшая светлым пушком физиономия юнца расплылась в самодовольной ухмылке.

Гнус метнулся в «теснину», из которой только что вышел его бывший ученик. Это была одна из уличек, спускавшихся к гавани: а так как спускалась она круче, чем другие, то здесь собралась целая ватага ребятишек с грохочущими самокатами. Матери и няньки толпились на тротуаре и горестно воздевали руки, зовя своих питомцев ужинать; но ребята, в нахлобученных на уши шапках, с развевающимися шарфами, разинув рот от восторга, мчались вниз на самокатах, подскакивающих по камням мостовой. При переходе через улицу Гнусу пришлось прыгать из стороны в сторону, чтобы его не сбили с ног. Лужи вокруг него брызгали грязью. Со стремительно пролетающего самоката пронзительный голос крикнул:

— Гнус!

Гнус вздрогнул. Несколько других голосов тотчас же подхватили слово. Ребята из коммерческого и городского училищ, видимо, узнали его прозвище от гимназистов, другие, толком не разобравши в чем дело, кричали просто так — за компанию. Среди этого вихря Гнус взобрался по крутой улице и, задыхаясь, дотащился наконец до Соборной площади.

Все было ему привычно: прежние ученики, которые не здоровались с ним, а только скалили зубы, уличные мальчишки, кричавшие ему вслед «это имя». Но сегодня, одержимый одной только мыслью, он ни на что не обращал внимания: сегодня он ждал от них ответа. Пусть они не знали назубок Вергилия, но ведь об артистке Фрелих могли они что-нибудь знать!

На рыночной площади Гнус прошел мимо табачной лавки; лавочник лет двадцать назад был его учеником, и теперь Гнус изредка — да, да, очень изредка — покупал у него ящичек сигар; он мало курил и редко пил, мещанские пороки были ему несвойственны...

На счетах, присылаемых табачным торговцем «господину учителю», имя адресата всегда начиналось с буквы Г, тщательно переделанной на Н. Было то преднамеренной издевкой или рассеянностью, Гнус так никогда и не узнал; но все же он не отважился зайти в лавку, хотя уже занес ногу на порог... Лавочник был строптивым учеником, которого никак не удавалось «сцапать».

Гнус поплелся дальше. Дождь перестал; ветер разогнал тучи. Газовые фонари мигали красноватым светом. Из-за островерхого фронтона нет-нет да и выглядывал желтый полумесяц, лукавый глаз, так поспешно зажмуривавшийся, что его нельзя было изобличить в насмешке.

Когда Гнус вышел на Кольбуден, перед ним ярко вспыхнули огни кафе «Централь». Гнуса потянуло зайти туда и против обыкновения выпить чего-нибудь горячительного. Сегодня он был совсем выбит из колеи. А кроме того, в кафе, наверно, удастся разведать что-нибудь об актрисе Фрелих; там ведь о чем только не болтают.

Гнус знал это с прежних времен; при жизни жены он изредка — очень изредка — позволял себе часок-другой посидеть в кафе «Централь». С тех пор как она умерла, он и дома имел довольно покоя, так что нужда в кафе отпала. Вдобавок удовольствие от этих посещений было для него испорчено новым владельцем, бывшим его учеником, после нескольких лет отсутствия вернувшимся в родной город. Самолично обслуживая старого учителя, он с такой изысканной вежливостью именовал его «Гнусом», что об изобличении нечего было и думать.

Прочих гостей это очень веселило, и Гнусу стало казаться, что его частые посещения превратились бы в рекламу для кафе «Централь».

Итак, он пошел дальше, размышляя, где еще может получить ответ на свой вопрос. Пока что ему ничего в голову не приходило. На всех лицах, вставáвших в его памяти, было то же самое выражение, что и на лице торгового ученика, только что встретившегося ему. В освещенных магазинах, совершенно так же, как в табачной лавке и в кафе, притаились мятежные школяры. Гнус злился, он уже устал и хотел пить. Взгляды, которые он бросал из-под очков на дощечки и вывески с именами его бывших учеников, в гимназии называли «ядовитыми». Все эти мальчишки сговорились злить его. И актриса Фрелих, прятавшаяся за одной из этих дверей, актриса Фрелих, которая отвлекала его ученика от школьных занятий да еще сама выскользнула из-под власти Гнуса, видно, задалась той же целью.

Время от времени ему попадалось на дощечке имя коллеги-учителя, и Гнус досадливо отводил глаза. Один назвал его перед всем классом «этим именем», другой видел его сына на рыночной площади с непотребной женщиной и разболтал об этом всему городу.

Со всех сторон теснимый неприятелем, Гнус шагал из улицы в улицу. Он крался вдоль домов, испытывая какое-то неприятное ощущение в темени; ведь каждую минуту, словно ушат помоев, вылитый на голову, могло послышаться из окна «это имя». А он никого не увидит, не сумеет «поймать крикуна с поличным».

Мятежный класс в пятьдесят тысяч учеников бушевал вокруг Гнуса.

Он стал безотчетно уходить все дальше и дальше на окраину, где в конце длинной тихой улицы высился приют для престарелых девиц. Здесь было уже совсем темно. Изредка мимо него шмыгали какие-то фигуры в мантильях с платочками на голове; запоздавшие обитательницы дома возвращались из гостей или с вечерни; они крадучись подбирались к звонку и, казалось, таяли в растворившейся двери. Летучая мышь вилась над самой шляпой Гнуса. Искоса глядя на город, Гнус думал: «Ни одного, ни одного человека!»

Вслух же сказал:

— Я еще доберусь до вас, бандиты!

Чувствуя свое бессилие, он весь дрожал мелкой дрожью от ненависти к тысячам ленивых злокозненных учеников, никогда не выполняющих школьных заданий, называющих его «этим именем», всегда готовых на любое бесчинство. Они дразнят его актрисой Фрелих, покрывают шашни ее и Ломана, и хуже того — они, точно единый, сплоченный класс, восстают против учителя. Сейчас все они сидят и ужинают, а он бегает здесь, на окраине, да и вообще,— он вдруг почувствовал,— в какое мерзкое существо сумели они превратить его за эти годы.

Двадцать шесть лет подряд видя перед собой неизменно коварные ребяческие лица, он не замечал, что с течением времени и вне стен гимназии эти лица уже не искажались злобой при упоминании об учителе Гнусе, а иногда даже принимали участливое выражение. Вечно ожесточенный борьбой, Гнус не мог понять, что старшее поколение горожан называет его в глаза «этим именем» не затем, чтобы уязвить, а просто по веселым юношеским воспоминаниям. И также не мог понять, что он — посмешище всего города и именно в силу этого обстоятельства во многих возбуждает своего рода нежность. Он не слышал, как

двое почтенных людей, первые его выпускники, остановившись на углу и с насмешкой, как он полагал, глядя ему вслед, говорили:

— Что это с Гнусом? Как он состарился!

— И стал еще грязнее!

— Чистым я его сроду не видывал!

— О, да вы просто забыли. Начинал он свою карьеру еще вполне опрятным человеком.

— Разве? Вот что значит имя! Я не могу его представить себе даже мало-мальски чистоплотным.

— Знаете, что я думаю? Он, верно, и сам не может. Такое прозвище хоть кого одолеет.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Гнус припустился вверх по тихой уличке, ибо его внезапное прозрение нуждалось в немедленной проверке. Роза Фрелих — это та самая танцовщица-босоножка, к которой прикован всеобщее внимание. Она должна была приехать в город и выступить в зале Общества поощрения искусств. Гнус теперь отчетливо вспомнил, при каких обстоятельствах рассказывал об ее приезде учитель Виткопп — член упомянутого общества. Он подошел в учительской к своему стенному шкафчику, отпер его, положил туда кипу контрольных тетрадей и объявил:

— Вот наконец и мы полюбуемся на знаменитую Розу Фрелих — босоножку, исполняющую греческие танцы.

Гнус, как сейчас, видел перед собой самоуверенную физиономию Виткоппа, его косой взгляд из-под пенсне и губы, которые он сложил трубочкой, чтобы выговорить: Роза Фрелих. Никакого сомнения! Он сказал именно — Роза Фрелих. Гнус расслышал все четыре слога, манерно произнесенные Виткоппом, и его раскатистое «р». Как это он раньше не вспомнил! Ясно, что Роза Фрелих прибыла в город и Ломан уже успел вступить с ней в связь. О, теперь он их обоих «поймает с поличным».

Он уже пробежал добрую половину Зибенбергштрассе, как вдруг на одну из витрин с грохотом опустились жалюзи; Гнус обомлел. Он чувствовал себя уничтоженным, это была витрина нотного торговца Кельнера, который обычно продавал билеты на выступления приезжих актеров и знал о них все подробности. Нет, сегодня ему, видно, не настигнуть эту пару!

Все-таки он не мог и подумать, что вот сейчас придет домой и усядется за ужин. Им овладела охотничья страсть. «Один последний заход»,— решил он. На Розмаринвег Гнус остановился, потрясенный, перед кособокой лесенкой. Она круто вела к узкой двери с вывеской: «Иоганнес Риндфлейш, сапожных дел мастер». Ни в одном из двух окон лавки не был выставлен товар; стояли только горшки с цветами. Гнус пожалел, что счастливая звезда не сразу привела его к обители этого добропорядочного и незлобивого гернгутера, никогда не осквернявшего своих уст бранью и не строившего обидных гримас; уж он-то, наверное, даст ему исчерпывающие сведения об актрисе Фрелих.

Гнус толкнул дверь. Колокольчик зазвенел; приветливый звук еще долго трепетал в воздухе. Полумрак окутывал заботливо прибранную мастерскую. Дверь, раскрытая в соседнюю комнату, служила рамкой мягко освещенной картине — сапожник за ужином с чадами и домочадцами. Подмастерье жевал свой кусок, сидя рядом с хозяйской дочерью. Малыши уплетали картошку с колбасой. Отец семейства поставил пузатую бутылку с черным пивом подле лампы, встал и вышел из-за стола навстречу клиенту.

— Добрый вечер, господин учитель.— Он проглотил кусок и продолжал: — Чем могу служить?

— Видите ли,— забормотал Гнус, застенчиво улыбаясь и потирая руки; он тоже сделал глотательное движение, хотя во рту у него ничего не было.

— Простите,— сказал сапожник,— что у нас уже темно. Мы ровнехонько в семь кончаем работу. Вечер принадлежит господу богу. Господу неугодны те, кто засиживается за работой.

— С одной стороны, это, конечно, правильно,— промямлил Гнус.

Сапожник был на голову выше Гнуса. Несмотря на костлявые плечи, под его кожаным фартуком выступало изрядное брюшко. Седеющие, несколько сальные кудерьки ореолом стояли вокруг его длинного серого лица, украшенного остроконечной бородкой и сейчас расплывшегося в улыбке. Риндфлейш все время сплетал и расплетал пальцы на животе.

— Но, с другой стороны, не это причина моего прихода,— пояснил Гнус.

— Добрый вечер, господин учитель,— проговорила с порога жена сапожника и сделала книксен.— Что вы там стоите в потемках, Иоганн? Проводи господина учителя в комнату.

Вы уж не обессудьте, господин учитель, что мы тут кушаем колбасу.

— Помилуйте, голубушка, мне это и в голову не приходило.

Гнус решился на жертву.

— Весьма сожалею, что побеспокоил вас во время ужина, но я проходил мимо, и мне пришло в голову, что вы, так сказать, можете снять с меня мерку для ботинок.

— К вашим услугам, господин учитель,— сапожница опять сделала книксен,— к вашим услугам.

Риндфлейш подумал и велел принести лампу.

— А нам, значит, прикажешь есть в темноте,— бойко возразила сапожница.— Нет уж, пожалуйте сюда, господин учитель, я зажгу вам свет в голубой комнате.

Она прошла вперед, в холодную комнату, и зажгла в честь Гнуса две еще непочатые розовые свечи в гофрированных розетках, которые отразились в трюмо вместе с двумя раковинами, лежавшими возле подсвечников. Вдоль ярко-голубых стен в праздничной торжественности стояла дедовская мебель красного дерева. Со столика, покрытого вязаной скатертью, к вошедшим простирал фарфоровые руки благословляющий Христос.

Гнус подождал, покуда госпожа Риндфлейш вышла из комнаты. Когда они остались одни и сапожник очутился в его власти, он начал:

— Итак, хозяин, теперь вам представляется возможность доказать, что вы мастер не только на мелкие починки, всегда удовлетворявшие учи... то есть меня, но можете также сшить пару хороших башмаков.

— С нашим удовольствием, господин учитель, с нашим удовольствием,— отвечал Риндфлейш смиренно и старательно, словно первый ученик.

— У меня хоть и имеется две пары башмаков, но при нынешней слякоти не мешает обзавестись еще лишней парочкой прочной, теплой обуви.

Риндфлейш уже стоял на коленях и снимал мерку. В зубах он держал карандаш и в ответ мог только мычать.

— С другой стороны, это время года всегда несет с собою что-нибудь новое для нашего города, в смысле духовных развлечений, например, а человеку они очень даже нужны.

Риндфлейш поднял на него глаза.

— Повторите еще раз, господин учитель. Да, да, человеку очень даже нужны. Наша община принимает это во внимание.

— Так, так,— буркнул Гнус.— Но я подразумеваю посещения нашего города достойными, выдающимися личностями.

— Я тоже так полагаю, господин учитель, и наша община держится того же мнения; завтра она созывает всех братьев во Христе на молитвенное собрание, на котором выступит прославленный миссионер. Вот как обстоят дела.

Гнус понял, что подобраться к актрисе Фрелих будет очень затруднительно. Он подумал и, не найдя больше окольных путей, двинулся напролом.

— В Обществе поощрения искусств нам тоже сулят, так сказать, выступление знаменитости, некоей актрисы... Впрочем, вам это известно не хуже, чем мне, любезный.

Риндфлейш молчал, а Гнус в страстном нетерпении дожидался ответа. Он был убежден, что человек у его ног начинен всеми необходимыми ему сведениями, надо только их из него выудить. Актриса Фрелих была пропечатана в газете, о ней говорили в учительской, ее имя красовалось в окне Кельнера. Весь город знал о ней, кроме него, Гнуса. Любой горожанин лучше, чем он, разбирался в жизни и в людях. Гнус, сам того не сознавая, спокон веку пребывал в этом убеждении и теперь был уверен, что сапожник-гернгутер сообщит ему все сведения о танцовщице.

— Она будет танцевать, любезный. В Обществе поощрения искусств. Воображаю, сколько туда набежит народу.

Риндфлейш кивнул.

— Люди и сами не понимают, куда бегут,— тихо и многозначительно отвечал он.

— Она танцует босиком, любезный. Прямо скажем — редкостное искусство.

Гнус не знал, чем бы все-таки пронять сапожника.

— Вы только подумайте: босиком!

— Босиком,— отозвался Риндфлейш.— О-хо-хо! Точно жены-амалекитянки, плясавшие вокруг идола!

И подхихикнул, единственно из смирения, так как темный человек дерзнул украсить себя словами Священного писания.

Гнус досадливо ерзал на стуле, как будто слушая перевод нерадивого ученика, который вот-вот «сядет в лужу». Потом уперся кулаками в спинку стула и вскочил.

— Хватит уж вам снимать мерку, любезный, скажите мне без обиняков — вперед без стесненья,— приехала уже актриса Фрелих или не приехала? Вам это должно быть известно.

— Мне, господин учитель? — Опешивший Риндфлейш выпрямился.— Мне? Про танцовщицу?

— Вас от этого знания не убудет,— нетерпеливо добавил Гнус.

— О-о-о! Да не коснется меня грех высокомерия и самовозвеличения. Я готов возлюбить во господе босоногую сестру мою и буду молиться, чтобы господь судил ей жребий великой грешницы Магдалины.

— Грешницы? — надменно переспросил Гнус.— А почему вы считаете актрису Фрелих грешницей?

Сапожник стыдливо уставился в навощенный пол.

— Ну, конечно,— заметил вконец раздраженный Гнус,— если бы ваша жена или дочь вздумали избрать себе карьеру актрисы, это было бы вам не по душе. Но в иных кругах, с иными нравами... впрочем, кончим этот разговор.

И он сделал жест, говорящий — нечего в четвертом классе заниматься предметом, подлежащим изучению разве что в восьмом.

— Жена моя тоже грешница,— тихим голосом проговорил сапожник, сплетая пальцы на животе и набожно подъемля взор к небу.— И мне самому следует восклицать: господи, вседержитель наш, прости нас, повинных в плотском грехе.

Теперь уже изумился Гнус.

— Вы и ваша жена? Да ведь вы же состоите в законном браке.

— Конечно, конечно! И все же мы повинны в плотском грехе, а господь наш дозволяет его лишь...

Риндфлейш приготовился открыть какую-то тайну, отчего глаза у него сделались круглыми и белесыми.

— Ну...— снисходительно поощрил сапожника Гнус.

В ответ послышался шепот:

— Мало кому дано знать, что господь дозволяет это лишь для того, чтобы приумножать сонм ангелов в небесах.

— Так, так,— пробурчал Гнус,— очень мило, конечно.

Он, усмехнувшись, поглядел на просветленный лик сапожника, но тут же подавил усмешку и собрался уходить. Теперь он уже верил, что Риндфлейш и вправду ничего не знает об артистке Фрелих. Риндфлейш, вернувшись мыслью к земной жизни, спросил, какой высоты делать голенища. Гнус рассеянно ему ответил, благосклонно, но торопливо откланялся его семейству и быстро зашагал домой.

Он презирал Риндфлейша. Презирал голубую комнату, презирал умственную ограниченность этих людей, их смирение, их пиетистскую экзальтацию и нравственную косность. У него в доме тоже все выглядело довольно убого, но зато, если бы вдруг

воскресли древние князья духа, он мог бы на их языке беседовать с ними о грамматическом строе их творений. Он был беден и непризнан; никто не знал, сколь важную работу выполняет он вот уже двадцать лет. Незамеченным, даже осмеянным проходил он среди всех этих людей, но в душе был сопричастен властителям мира. Ни один банкир или венценосец не был облечен бóльшей властью, чем Гнус, и не был больше его заинтересован в незыблемости существующего порядка. Он бился за всех власть имущих, в тиши своего кабинета неистовствовал против рабочих, которые,— добейся они своей цели,— вероятно, позаботились бы о том, чтобы и Гнус получал несколько лучший оклад. Молодых учителей, еще более робких, чем он сам, с которыми Гнус отваживался вступать в беседу, он мрачно предостерегал от пагубного тяготения современного духа — подрывать устои. Он хотел, чтобы эти устои были крепки: влиятельная церковь, метко разящая сабля, безоговорочное повиновение, нерушимые традиции. При этом он был атеистом, наедине с собой способным на крайнее свободомыслие. Но как тиран он знал, чтó нужно для того, чтобы держать рабов в повиновении, знал, как укрощать чернь и врага — пятьдесят тысяч строптивых учеников, досаждавших ему. Ломан, видимо, состоял в предосудительной связи с актрисой Фрелих; Гнус краснел при этой мысли, ибо не мог не краснеть. Но преступником Ломан был лишь оттого, что, вкушая запретных радостей, ускользал из-под бдительного надзора учителя. Нет, не на безнравственность ополчался Гнус...

Придя домой, он на цыпочках прокрался мимо кухни; возмущенная его опозданием, домоправительница злобно загремела горшками. На ужин она подала ему колбасу с картошкой, переваренной и вдобавок еще остывшей. Гнус ни словом по этому поводу не обмолвился: девица немедленно уперла бы руки в боки. Гнус не хотел подстрекать ее к мятежу против господина.

Поужинав, он стал у своей конторки. Из-за его близорукости она была сделана несоразмерно высокой. Так как он в течение тридцати лет держал на ней правую руку, его правое плечо сделалось значительно выше левого. «Истинны только дружба и литература»,— по обыкновению, произнес он. Почерпнув откуда-то это изреченье, он привык к нему и теперь чувствовал потребность всякий раз произносить его, приступая к работе. Что следовало понимать под словом «дружба», он так никогда и не

узнал. Оно затесалось случайно, но литература! Ведь это был его заветный труд, о котором человечество ничего не знало, давно зрел он здесь, в тиши, чтобы когда-нибудь, на диво людям, пышным цветом распуститься над его, Гнуса, могилой. Труд этот был посвящен партикулам Гомера!.. Но сегодня рядом лежала тетрадка Ломана и мешала ему сосредоточиться. Он не удержался, раскрыл ее и опять стал думать об актрисе Фрелих. Одно обстоятельство очень его тревожило: он больше не был уверен, что знаменитую танцовщицу-босоножку зовут Розой Фрелих. Эта Фрелих могла оказаться совсем другой особой. Конечно, *она* не босоножка: сомнения переросли в уверенность. Но все равно ему необходимо найти ее, иначе Ломана не «поймаешь с поличным». В борьбе с этим злосчастным мальчишкой он снова отброшен далеко назад; затаенное волнение душило его, и он закашлялся.

Внезапно, схватив пальто, он кинулся вон из комнаты. Входная дверь была уже заперта на цепочку; Гнус дергал ее, как заправский грабитель. Домоправительница выругалась, он услышал, как она затопала к двери. В последнюю минуту страх придал ему ловкости, дверь поддалась, он выбежал в палисадник и затем на улицу. До городских ворот он то трусил рысцой, то шел торопливым шагом; там он заставил себя идти спокойнее, но сердце у него колотилось.

У него было такое чувство, точно он вступил на запретный путь. Улицы были пусты, он шел вверх и вниз, но все время прямо, заглядывал в переулки и «теснины», останавливался у гостиниц и с мучительной подозрительностью всматривался в окна, где сквозь спущенные занавеси пробивался свет. Он шел по темной стороне улицы — другая была освещена полной луной. Уже вызвездило, ветер утих, шаги Гнуса гулко отдавались в тишине. У ратуши он повернул к крытому рынку и прошелся под его сводами. Среди арабесок листвы арки, башни и колодцы готическими силуэтами вонзались в лунную ночь. Непостижимое волнение овладело Гнусом, он то и дело бормотал: «Вот это было бы... Так сказать.— И затем: — Вперед, без стесненья...»

При этом он зорко всматривался в каждое окно почтамта и полицейского управления. Но, сочтя все же неправдоподобным, чтобы актриса Фрелих скрывалась в одном из этих зданий, вернулся на улицу, с которой только что ушел. В нескольких шагах светилось широкое окно кафе, многие коллеги Гнуса ежевечерне сходились там за кружкой пива. На занавеске обрисовался темный профиль с остроконечной бородкой; рот откры-

вался и закрывался. Это был один из старших учителей, зловредный тип, неуважительно относившийся к Гнусу, считавший, что он расшатывает школьную дисциплину, и возмущавшийся безнравственностью его сына. Гнус задумчиво вглядывался в этого доктора Гюббенета: что он там лопочет себе в бороду? Разгорячился, видно, от пива — зауряднейший обыватель, вот и все! Он, Гнус, не имеет ничего общего с этими людьми по ту сторону окна, ровно ничего; сейчас он это понял и почувствовал удовлетворение. Сидят там, сбившись в кучу, все у них идет как положено, а он — человек, в каком-то смысле подозреваемый, можно даже сказать — отверженный. И мысль о *тех*, в кафе, перестала больно жалить его. Он кивнул силуэту учителя неторопливо, презрительно и пошел дальше.

Опять пригород. Гнус повернул обратно на Кайзерштрассе. У консула Бретпота, видимо, бал; весь его большой дом освещен, к подъезду то и дело подкатывают экипажи, швейцар и несколько лакеев бросаются к каретам, открывают дверцы, помогают гостям выходить. На ступеньках шуршат шелковые юбки. Какая-то дама задержалась в дверях и с ласковой улыбкой протянула руку молодому человеку, подошедшему пешком. В красивом малом с цилиндром на голове Гнус узнал молодого учителя Рихтера. Он слышал, что Рихтер собирается жениться на богатой девице из видной семьи. В такие семьи учителя обычно даже доступа не имели. И Гнус, скрываясь в потемках, шипел:

— Пролаза, настоящий пролаза! — вполне достоверно.

В своей забрызганной грязью шинели он потешался над человеком со счастливым будущим, перед которым уже сейчас гостеприимно раскрывались все двери; так злобный бродяга, притаившись в темном углу, смотрит на прекрасный мир и, словно держа бомбу за пазухой, тешится мыслью об его гибели. Уверенный в своем превосходстве над Рихтером, Гнус веселился. Он подхихикивал и бессмысленно бормотал:

— Погоди, погоди, ты у меня еще сядешь в лужу — как говорится, в свою очередь,— запомни это, голубчик!

Он пошел дальше, отлично развлекаясь по дороге. Завидев на двери дощечку с именем своего коллеги или старого ученика, Гнус думал: «Вас я тоже еще поймаю с поличным»,— и потирал руки. Кроме того, он, как заговорщик, подмигивал старинным домам с островерхими кровлями, убежденный, что в одном из них укрылась актриса Фрелих. Бог ты мой, как она его взволновала, заинтриговала, выбила из колеи. Между ней и Гнусом, по пятам преследовавшим ее в ночи, установилась

своего рода связь. Гимназиста Ломана тоже надо было выследить, но этот был как бы индейцем другого племени. На школьных праздниках за городом Гнусу иногда доводилось играть в «солдат и разбойников». Он взбирался на холм, потрясал кулаком в воздухе, выкрикивал команду: «Нападай! Пора! Итак, значит, бей!» — и неподдельно волновался во время разражавшейся схватки. Ведь это всерьез. Школа, игра — это жизнь. Нынешней ночью Гнус играл в индейца на военной тропе...

Он входил все в больший азарт. Очертания домов, расплывавшиеся во мраке, щекотали его страхом и любопытством; любой угол манил и пугал его. Когда он входил в узкие переулки, ему казалось, что он пускается в опасную авантюру, любой шорох в окне заставлял его замирать на месте с бьющимся сердцем. При его приближении то тут, то там тихонько приоткрывались двери, раз к нему протянулась какая-то рука, прикрытая розовым шелком. Он весь вспотел, бросился наутек и вдруг очутился в гавани — второй раз за сегодняшний день, а ведь в эту часть города его не заносило годами. В лунном свете вздымались громады кораблей. Гнусу пришло на ум, что актриса Фрелих спит в каюте одного из них; на рассвете заревет гудок, и актриса Фрелих отбудет в дальние края. При этой мысли его потребность действовать, направлять события стала неистовой. Справа и слева, тяжело ступая, приближались двое рабочих. Они сошлись перед самым его носом; один спросил:

— Ну, куда махнем, Клаас?

Другой мрачным басом отвечал:

— Прощелыга!

Гнус задумался. Где он мог сегодня слышать это слово? За двадцать шесть лет он так и не научился понимать здешний говор. Он последовал за обоими рабочими и неосвоенными богатствами их лексики по грязным извилистым закоулкам. В одном из этих закоулков грузчики, описав дугу, пришвартовались у большого дома с громадными въездными воротами, на которых покачивался фонарь, освещая изображение голубого ангела. Гнус услышал музыку. Рабочие исчезли в сенях, один из них подхватил мотив. У входной двери Гнус приметил пеструю афишу и стал ее читать. Она сулила «вечернее представление». Дойдя до половины, он вдруг прочитал слова, от которых у него сперло дыхание, его прошиб пот. В страхе и в надежде, что тут что-то не так, он начал читать сначала. Потом сорвался с места и бросился в дом, как в пропасть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Сени здесь были непомерно широкие и длинные, настоящие сени старинного бюргерского дома, в котором теперь занимались совсем неподходящим делом. Слева из-за полуотворенной двери виднелся отблеск огня и слышался стук кухонных горшков. На двери справа была надпись: «Зал». За этой дверью стоял глухой многоголосый шум, изредка прерывавшийся резкими вскриками. Гнус помедлил в нерешительности, прежде чем нажать ручку; он чувствовал — этот шаг чреват многими последствиями... Толстый, совершенно лысый человек, с кружками пива на подносе, попался ему навстречу. Гнус остановил его.

— Прошу прощенья,— забормотал он,— я бы хотел переговорить с артисткой Фрелих.

— О чем это вам вздумалось говорить с ней? — осведомился толстяк.— Она сейчас не разговаривает, а поет. Лучше послушайте.

— Вы, я полагаю, хозяин «Голубого ангела»? Очень рад. Я учитель местной гимназии Нусс и пришел за одним гимназистом, который, видимо, находится здесь. Не укажете ли вы мне точнее его местопребывание?

— А вы, господин учитель, загляните-ка в артистическую, там какие-то молодые люди с утра до вечера околачиваются.

— Ну вот, так оно и есть,— грозно проговорил Гнус.— Согласитесь, любезный, что это ни на что не похоже.

— Э-э,— хозяин нахмурил брови,— это уж не моя забота, кто угощает артисток ужином. Молодые люди заказали вино, а нашему брату только того и требуется. Я не намерен давать по шеям своим клиентам.

Гнус переменил тон.

— Ладно, ладно! А теперь отправляйтесь-ка туда, любезный, и приведите мне этого мальчишку.

— На черта мне туда идти,— идите сами!

Но авантюристический пыл в Гнусе уже иссяк; как жаль, что он открыл местопребывание артистки Фрелих!

— Мне что ж, идти через зал? — робея, спросил он.

— А как же? Идите в заднюю комнату, вон в ту, где окно с красной занавеской.

Он прошел вместе с Гнусом несколько шагов в глубь сеней и показал ему довольно большое окно, изнутри завешенное чем-то красным. Гнус попытался заглянуть в щелку, между тем хозяин с пивом вернулся к двери зала и отворил ее. Гнус побежал за ним, простирая руки, и с отчаяньем взмолился:

— Очень вас прошу, любезнейший, приведите мне гимназиста!

Хозяин уже был в зале, он обернулся довольно нелюбезно:

— Да которого вам? Их там целая тройка! Чтоб тебе, старый дурень! — добавил он и скрылся.

«Целая тройка?» — хотел было переспросить Гнус; но сам уже оказался в зале, оглушенный шумом, ничего не видя от горячего пара, затуманившего очки.

— Закрывайте двери, дует,— крикнул кто-то рядом с ним.

В испуге он попытался нащупать ручку, не нашел ее и услышал взрыв смеха.

— Старик, видно, в жмурки играет,— проговорил тот же голос.

Гнус снял очки; дверь уже захлопнулась, он был в ловушке и беспомощно озирался по сторонам.

— Эге, Лоренц, да ведь это тот утренний дуралей, что морочил голову вербовщику.

Гнус не понял, он понимал только одно: вокруг мятеж и мятежники. В полном отчаянии он вдруг заметил свободный стул у столика рядом; оставалось только сесть. Он приподнял шляпу и осведомился:

— Вы разрешите?

Тщетно прождав ответа, он сел. И тотчас же почувствовал себя растворившимся в толпе, а не каким-то нелепым исключением. Никто больше не обращал на него внимания. Опять заиграла музыка, его соседи принялись подпевать. Гнус протер очки и приосанился. Сквозь чад едкого табачного дыма, потных человеческих тел и винного перегара он увидел бесчисленное множество голов; в тупом блаженстве они покачивались так, как им повелевала музыка. Лица и волосы были разные — огненно-рыжие, желтые, темные, красные, как кирпич, и раскачиванье этих голов, возвращенных музыкой к первобытно-растительной жизни, напоминало колеблемую ветром огромную гряду пестрых тюльпанов, которая тянулась через весь зал и где-то далеко-далеко исчезала в дыму. Сквозь этот дым нет-нет и прорывалось что-то блестящее, какой-то быстро движущийся предмет. В сиянии рефлектора мелькали плечи, руки, ноги — словом, отдельные части какого-то светлого тела и большой, молча разинутый рот. Пение мелькающего существа поглощали звуки рояля и голоса гостей. Но Гнусу казалось, что эта особа женского пола — сплошной истошный визг. Время от времени она

вскрикивала тонким голосом, но так пронзительно, что и гром не мог бы заглушить этот звук.

Хозяин поставил перед Гнусом кружку пива и пошел было дальше. Гнус поймал его за фалду.

— Итак, прошу внимания, любезный! Эта певица и есть фрейлейн Роза Фрелих?

— А то кто же? Сидите и слушайте, раз уж вы сюда заявились.

Он высвободился и ушел.

Наперекор здравому смыслу Гнус надеялся, что певица не Роза Фрелих, что гимназист Ломан никогда не переступал этого порога и что, следовательно, ему, Гнусу, не надо переходить к активным действиям. Возможно ведь, что стихи в тетрадке Ломана — чистая поэзия, не имеющая ничего общего с действительной жизнью, и никакой актрисы Фрелих не существует. Гнус уцепился за эту соломинку, удивляясь, как такая мысль раньше не приходила ему в голову.

Он глотнул пива.

— Ваше здоровье,— сказал его сосед, пожилой бюргер в шерстяной фуфайке и жилете, расстегнутом на толстом животе. Гнус уже давно потихоньку к нему приглядывался. Бюргер выпил свою кружку и бодро вытер рукой желто-бурые усы. Гнус наконец решился.

— Выходит, значит, что это фрейлейн Роза Фрелих развлекает нас своим пеньем?

Но тут раздались аплодисменты: певица как раз допела одну из песенок. Гнусу пришлось переждать овацию и затем повторить свой вопрос.

— Фрелих? — переспросил сосед.— Да почем я знаю, как зовут всех этих девок. Здесь что ни день, то новая.

Гнус хотел язвительно заметить, что ведь именно фамилия Фрелих стоит на афише, но тут опять заиграл рояль, правда менее громко, так что можно было даже разобрать слова, которые эта пестрая особа пропела, смущенно и лукаво прижимая к лицу высоко поднятые юбки:

Ведь я невинная малютка...

Гнус определил все это как идиотизм и поставил в связь с тупоумным ответом соседа. Он негодовал все больше и больше. Он вдруг очутился в мире, который являлся как бы отрицанием его самого, среди людей, внушающих ему глубочайшее отвращение, людей, которые не понимали печатного слова и слушали концерт, даже не прочитав программы. Его гвоздила мысль,—

«Учитель Гнус»

здесь собралось несколько сот человек, и все они не «записывают», не стараются «ясно мыслить», а, напротив, одурманивают свой мозг и беззастенчиво предаются «посторонним занятиям». Он с жадностью глотнул пива... «Если бы они знали, кто я!» Постепенно чувство собственного достоинства вновь утвердилось в нем, он успокоился, как-то даже размяк под воздействием пропитанного человеческими испарениями теплого воздуха — этого парового отопления, в котором воду заменяет кровь. Чад становился все гуще, смутный мир отступал куда-то вдаль... Он потер себе лоб; ему казалось, будто та особа на эстраде уже много раз пропела, что она «невинная малютка». Теперь она кончила петь, и зал захлопал, зарычал, завизжал, затопал ногами. Гнус несколько раз хлопнул в ладоши у самых своих глаз, с удивлением на это воззрившихся. Им овладело сильное, безумное, почти необоримое желанье застучать обеими ногами сразу. У него хватило сил удержаться, но искушение не озлило его. Он блаженно улыбался, мысленно решив, что таков человек. «Животное, вот и все»,— добавил он.

Певица спустилась в зал. Рядом с эстрадой открылась дверь. Гнус почувствовал, что из-за двери кто-то смотрит на него. Один-единственный человек стоял к нему лицом и смеялся; и это был — вполне достоверно — не кто иной, как гимназист Кизелак!

Убедившись в этом, Гнус вскочил. Ему показалось, что он на мгновенье забылся и гимназисты уже воспользовались его забытьем для своих безобразий. Он растолкал двух солдат, протиснулся между ними и устремился вперед. Какие-то рабочие не пожелали пропустить его, а один из них сбил у него шляпу с головы. Гнус поднял ее и снова надел, всю перепачканную; кто-то крикнул:

— Гапс! Смотри! До чего хороша шляпа!

Кизелак в глубине зала корчился со смеху. Гнус прорывался дальше, от неистового волнения у него стучали челюсти. Но сзади кто-то держал его. Он опрокинул грог у одного матроса; тот потребовал оплаты убытка. Гнус удовлетворил его требование. Теперь перед ним открылось свободное пространство в несколько шагов. В смертельном испуге, но не сводя глаз с Кизелака, он отпрянул от той бездны разврата, которая перед ним разверзалась. Вдруг он наскочил на что-то мягкое, и рослая толстая женщина в распахнувшемся коричневом манто, под которым почти никакой другой одежды не было, разгневанно повернулась к нему. Мужчина не менее плотного телосложения, тщательно причесанный, но тоже в одном трико да еще в потре-

панной куртке на плечах, подбежал и впутался в свару. Гнус, оказывается, выбил из рук толстухи тарелочку для сбора денег, несколько монет укатилось. Все кинулись на поиски; Гнус тоже помогал искать суетливо и растерянно. Возле его головы, пригнутой чуть не к самому полу, шаркали ноги; вокруг слышалась ругань, проклятия, руки каких-то наглецов тянулись к нему. Гнус выпрямился, весь красный, с зажатой в кулаке двухпфенниговой монетой. Он тяжело дышал и невидящим взором вглядывался в лица врагов. Вот уже второй раз за сегодняшний день ему в лицо дул ветер мятежа. Он стал неуклюже отбиваться, казалось, сражаясь с полчищами врагов, но в этот момент увидел Кизелака, повалившегося на рояль; все тело гимназиста сотрясалось. Теперь он уже *слышал,* как тот смеется. Тут Гнуса обуял сумасшедший страх — страх тирана, когда в его дворец врывается чернь и конец уже неотвратим. В этот миг он был способен на любое злодеяние, границ возможного для него более не существовало. Он крикнул замогильным голосом:

— В каталажку, в каталажку!

Кизелак, увидев его перед самым своим носом, повиновался. Он юркнул в дверь около эстрады. Очнувшись, Гнус обнаружил, что тоже находится за этой дверью. В глаза ему бросилась красная занавеска и рука, высунувшаяся из-за нее. Он хотел схватить эту руку, но услышал, как кто-то прыгнул. Приподняв занавеску, Гнус увидел, что Кизелак рысью бежит через сени. В то же мгновение какая-то фигура выскочила на улицу, Гнус успел разглядеть ее — фон Эрцум. Он встал на цыпочки, но окно было слишком высоко, попытался вскарабкаться на подоконник и, повиснув на локтях, услышал за спиной тонкий голос:

— Смелее, смелее, вы, видно, еще сильный мужчина!

Он плюхнулся вниз, обернулся: позади него стояла пестрая особа женского пола.

Несколько секунд Гнус смотрел на нее; его челюсти беззвучно шевелились. Наконец он выдавил из себя:

— Вы, вы — вполне достоверно — артистка Фрелих?

— Ну да,— отвечала она.

Гнус и без того знал это.

— И вы упражняетесь здесь в своем искусстве?

Он хотел, чтобы она и это подтвердила.

— Глупый вопрос,— заметила дама.

— Значит...— Гнус перевел дух и указал назад, на окно, в которое выскочили Кизелак и фон Эрцум.— Скажите, пожалуйста, а позволительное ли это дело?

— Что именно? — удивилась дама.

— Ведь они гимназисты,— сказал Гнус и дрожащим, глухим голосом повторил: — Гимназисты!

— Ну и пусть. Мне-то что?

Она рассмеялась. Гнуса взорвало:

— Вы отвлекаете их от школьных занятий и прямого исполнения долга. Вы их соблазняете!

Артистка Фрелих перестала смеяться; она ткнула себя в грудь указательным пальцем:

— Я? Да вы, верно... того...

— Так вы, значит, еще отпираетесь? — воинственно настаивал Гнус.

— А зачем? Мне это, слава тебе господи, ни к чему. Я артистка. Скажите, а принимать от мужчин цветы мне тоже нельзя без вашего позволения? — Она показала рукой на угол комнаты, где с двух сторон наклонно повешенного зеркала были заткнуты большие букеты, и, вздернув плечи, добавила:— Может, это тоже непозволительно? Да кто вы, собственно, такой?

— Я? Я учитель гимназии,— отвечал Гнус, и это звучало, как: я властитель мира.

— Ага,— уже мягче заметила она,— тогда вам тоже наплевать, чем занимаются эти молодые люди.

Подобное мировоззрение не укладывалось в мозгу Гнуса.

— Советую,— начал он,— вам и вашим присным без промедления покинуть этот город, в противном случае,— он снова возвысил голос,— я приложу все усилия, чтобы испортить вам карьеру или вовсе погубить ее. Я сумею — так сказать — заинтересовать вашими делами полицию.

При этом слове на лице артистки Фрелих изобразилось откровеннейшее пренебрежение.

— Если она до тех пор не сцапает вас, что, на мой взгляд, весьма вероятно. До меня же ей никакого дела нет. А в общем, мне вас жалко! Эх вы!

Но очевидно было, что она не сострадает ему, а все больше и больше злится.

— Скажите на милость, попал в дурацкое положение и еще куражится. Мало, что ли, над вами смеялись? А ну, живо отправляйтесь в полицию. Вас тут же и схватят. Нет, надо же набраться такого нахальства! Просто смешно, особенно женщине, привыкшей к вежливому обхождению. Вот возьму да и напущу на вас кого-нибудь из знакомых офицеров. Да от вас мокрого места не останется.

На ее торжествующем лице и вправду изобразилось сострадание.

Поначалу он пытался перебить артистку Фрелих. Но под натиском ее решительности его мысли, уже облекшиеся в слова и готовые сорваться с языка, мало-помалу стали отступать и, наконец, затерялись в недрах Гнуса. Он окаменел — эта особа не была вырвавшимся из-под его власти, заартачившимся гимназистом, которого всю жизнь надлежало держать в ежовых рукавицах, а к таковым относились все местные жители. Нет, она была чем-то новым. От всего, что она говорила, веяло странным, будоражащим нервы ветром. Она была силой посторонней, но почти равноправной. Потребуй она от него ответа, он бы уже не нашелся, что сказать. В нем зарождалось какое-то небывалое чувство, похожее на уважение.

— Ну да что там толковать!.. — Она пренебрежительно замолчала и повернулась к нему спиной.

Рояль опять заиграл. Дверь отворилась, пропуская толстую женщину, с которой у Гнуса произошло столкновение, а также ее супруга, и тотчас снова захлопнулась. Толстуха поставила на стол тарелку, и складки ее манто заходили гневливыми волнами.

— Четырех марок не набралось,— объявил супруг.— Голоштанники! Лоботрясы!

Артистка Фрелих бросила холодно и колко:

— Вот этот господин хочет жаловаться на нас в полицию.

Гнус что-то залопотал, испуганный явно превосходящими силами противника. Толстая женщина круто повернулась и смерила его взглядом. Выражение ее лица показалось ему нестерпимо наглым, он покраснел, опустил взор, который наткнулся на толстые икры в трико телесного цвета, вздрогнул и поспешил еще больше потупиться. Тут муж, стараясь говорить вполголоса, что давалось ему с трудом, заявил:

— Да ведь скандал-то поднял он! А я уж давно предупреждал Розу, что вышвырну всякого, кто вздумает устраивать сцены ревности и воображать, что он один здесь хозяин. Эх вы — соперничать с мальчишками! Вас уж небось и полиция взяла на заметку как сладострастного старикашку.

Но жена толкнула его: у нее, видимо, сложилось иное мнение о Гнусе.

— Тише ты! Да он мухи не обидит,— и, повернувшись к Гнусу, продолжала: — В бутылку полез, голубчик! Ну не беда, человек иной раз взъерепенится, сам не знает с чего. А с Кипертом лучше не связываться: он как вообразит, что я ему изменяю, так прямо на стену лезет. Садитесь-ка лучше да выпейте винца!

Она скинула со стула юбки и пестрые штаны, взяла со стола бутылку и налила Гнусу вина. Он выпил во избежание лишних разговоров.

— Давно вы знакомы с Розой? — полюбопытствовала толстуха.— Сдается мне, что я вас еще не видела.

Гнус что-то ответил, но рояль поглотил его ответ.

Артистка Фрелих пояснила:

— Он учитель тех мальцов, что околачиваются у меня в уборной.

— А-а, так вы учитель? — сказал артист. Он тоже выпил, щелкнул языком и вернулся к своему обычному благодушному состоянию.— Раз так, вы свой человек. Вы, значит, тоже будете голосовать за социал-демократическую партию. А не то придется вам ждать до седых волос повышения учительских окладов. С искусством то же самое: вечный полицейский надзор, а в кармане шиш. Наука,— он указал на Гнуса,— и искусство,— указал на себя,— одного поля ягоды.

Гнус ответил:

— Может, это и так, но вы исходите из неправильной предпосылки. Я не народный учитель, а доктор педагогических наук Нусс и преподаю в здешней гимназии.

Артист сказал только:

— Ваше здоровье!

Каждый волен именовать себя как угодно, и если кому-нибудь вздумалось играть роль доктора наук, то это еще не повод для вражды.

— Так вы, значит, учитель,— добродушно промолвила женщина.— Тоже не легкий хлеб. А сколько вам лет?

Гнус отвечал с готовностью, как ребенок:

— Пятьдесят семь.

— Ну и перепачкались же вы! Давайте-ка сюда вашу шляпу, попробую ее хоть немножко отчистить.

Она взяла у него с колен широкополую шляпу, вычистила ее, даже разгладила поля и заботливо надела ему на голову. Затем, окинув пытливым взглядом плоды своих трудов, игриво похлопала его по плечу. Он сказал с кривой улыбкой:

— Благодарствуйте,— конечно и безусловно,— за любезность, голубушка.

То, что он сейчас испытывал, было не только угрюмой признательностью властелина за добросовестное исполнение обязанностей. Эти люди, для которых он оставался инкогнито, хотя и назвал себя полным титулом, отнеслись к нему с искренней теплотой. Непочтительность он им в вину не ставил. У них

ведь явно не имелось «должного мерила». Этим он объяснял и свое желанье хотя бы на несколько минут забыть о строптивом мире, отдохнуть от постоянного напряжения, разоружиться.

Толстый актер вытащил из-под валявшихся на стуле кальсон два германских флага, фыркнул и подмигнул Гнусу, как давнему единомышленнику. Толстая актриса окончательно перестала его бояться; Гнус тем временем понял, что ее наглый взгляд — следствие темного слоя грима под глазами. Только по отношению к артистке Фрелих он не чувствовал себя свободно. Правда, она стояла в стороне, всецело занятая собой,— задрав подол юбки, пришивала к нему гирлянду матерчатых цветов.

Пианист закончил пьесу громчайшим аккордом. Зазвенел звонок. Актер сказал:

— Наш выход, Густа.

И великодушно предложил Гнусу:

— Вы бы посмотрели, как мы работаем, господин учитель.

Он скинул с плеч потрепанную куртку; жена его, сбросив манто, погрозила Гнусу пальчиком:

— Смотрите у меня, поскромнее с Розой; умерьте свой темперамент.

Кто-то приоткрыл дверь снаружи, и Гнус с удивлением увидел, что толстая чета не без грации пустилась в пляс, подбоченясь и закинув головы, с самодовольной улыбкой на устах, призывающей зрителей к аплодисментам. И правда, их появление вызвало радостный шум в зале.

Дверь затворилась, Гнус остался наедине с артисткой Фрелих. Он тревожился: что-то сейчас будет? — и шмыгал глазами по комнате. На полу, между зеркалом с букетами и столом, за которым он сидел, валялись грязные полотенца. На столе, кроме двух винных бутылок, было множество пахучих банок и склянок. Стаканы с вином стояли на нотах. Гнус боязливо отодвинул свой стакан от корсета, который толстуха швырнула на стол.

Артистка Фрелих шила, поставив ногу на стул, заваленный фантастическими костюмами. Гнус не смотрел на нее, этого бы он себе не позволил, но нечаянно увидел ее отражение в зеркале. Едва успев бросить первый испуганный взгляд в зеркало, он уже установил, что ее длинные, очень длинные черные чулки вышиты лиловым. Некоторое время он не смел поднять глаза. Затем в страхе обнаружил, что голубое шелковое платье, переливающееся под черной сеткой, не закрывает ее плеч и что всякий раз, как она взмахивает иглой, под мышкой мелькает что-то белокурое. Тут уж Гнус перестал смотреть...

Тишина тяготила его. В зале тоже стало гораздо тише. Оттуда доносились только отрывистые стонущие звуки, хрипловатые и мирные, какие обычно издают утомленные толстяки. Но вот наступило полное молчание: стало слышно, как, дребезжа, пригнулось что-то металлическое. Внезапное «гоп!» — и два тяжелых прыжка, один за другим. Затем бурная овация и перекрывающие ее крики: «Черт побери! Что за молодцы!»

— Готово дело!..— сказала артистка Фрелих и сняла ногу со стула. Цветы были пришиты.— Ну, а вы что там приумолкли?

Гнус взглянул на нее и сразу ошалел от ее пестроты. Волосы у нее были красно-розовые, даже с лиловым оттенком; в них блистала и переливалась диадема из зеленых стекляшек. Черные-пречерные брови лихо заламывались над синими глазами. Но сверкающие, обольстительно-пестрые краски ее лица — красноватые, голубые, жемчужные — были покрыты пыльным налетом. Прическа выглядела измятой, казалось — часть ее сияния отлетела в пропитанный чадом трактирный зал. Голубой бант вяло свешивался с шеи, а цветы на юбке кивали мертвыми головками. Лак на туфлях потрескался, на чулках выступили два больших пятна, шелк короткого платья переливался в разошедшихся складках. Округлые, нежные плечи, казалось, были захватаны чужими руками, и белизна ссыпалась с них при каждом торопливом движении. Гнус уже знал, что ее лицо бывает запосчивым и злым, но пока что артистка Фрелих с готовностью убирала это выражение, забывала о нем. Она смеялась над людьми, над собой.

— Поначалу вы себя выказали живчиком,— заметила она.

Гнус весь обратился в слух. Внезапно он сделал деревянный прыжок, точь-в-точь старая кошка. Артистка Фрелих, взвизгнув, отпрянула. Гнус распахнул красное окно... Увы, голова, мелькнувшая за занавеской, уже скрылась.

Он вернулся на прежнее место.

— Что вы народ пугаете? — сказала она.

Он, даже не извинившись, прямо устремился к цели:

— Вы, наверно, знаете многих здешних юнцов?

Она стояла, чуть-чуть раскачивая бедрами:

— Я вежлива со всеми, кто прилично ведет себя со мной.

— Разумеется. Да и кто бы посмел... А что, гимназисты, как правило, так сказать, понимают толк в обхождении?

— Вы, видно, решили, что я с утра до ночи вожусь с этими молокососами. Я вам не нянька из детского сада.

— Ну, опять-таки — конечно же, конечно! — И, стараясь

напомнить ей, подсказать: — Обычно они носят форменные фуражки.

— Когда они в фуражках, я узнаю, что это гимназисты. Да и вообще я не какая-нибудь дура.

Он подхватил:

— Отнюдь, отнюдь нет!

Она немедленно насторожилась.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что все знание людей...— Он испуганно и умоляюще простер к ней руку.— Я говорил о знании людей. Не каждому дается это знание — трудное и горькое.

Опасаясь потерять ее расположение, желая войти к ней в доверие, потому что она была ему нужна и потому что он боялся ее, Гнус открылся артистке Фрелих больше, чем обычно открывался толпе.

— Да, горькое, но необходимое, чтобы заставить людей служить себе, чтобы, презирая их, властвовать над ними.

Она его поняла.

— Я то же говорю. Не так-то просто получить что-нибудь с этой шушеры.

Артистка Фрелих придвинула себе стул.

— Вы понятия не имеете о нашей жизни. Всякий, кто бы сюда ни сунулся, воображает, что здесь только его и ждали. Каждому чего-то надо, а потом, даже думать противно, они еще на каждом шагу грозят нам полицией. Вот вы...— кончиком пальца она коснулась его колена,— прямо с этого и начали. Ну да нет худа без добра!

— Я ни в коем случае не позволил бы себе отказать даме в должном почтении,— заверил Гнус.

Ему было не по себе. Эта пестрая особа женского пола говорила о вещах, в которых он не очень-то разбирался. Вдобавок ее колени уже втиснулись между его колен. Она поняла, что он готов осудить ее, и в мгновение ока состроила смиренную, рассудительную мину.

— Надо выбраться из этой грязи и жить по-порядочному.— И, так как он промолчал, поспешила добавить: — А правда, вино недурное? Его притащили ваши мальцы. Они прямо носом землю роют. А у одного так и деньжонки водятся.

Она опять наполнила его стакан. И, чтобы подольститься, продолжала:

— То-то смеху будет, когда эти дураки вернутся и узнают, что вы до капельки выдули ихнее вино. Ей-богу, люблю иной раз кому-нибудь насолить. Это жизнь меня такой сделала.

— Ясно и самоочевидно,— пролепетал Гнус; держа в руке стакан, он стыдился, что пьет вино Ломана. Ведь ученик, плативший за это вино, был не кто иной, как Ломан. Ломан был здесь и удрал раньше других. Наверно, он и сейчас где-то поблизости. Гнус покосился на окно: на занавеске по-прежнему виднелся бесформенный контур чьей-то головы. Гнус знал: стоит ему подскочить к окну, и голова скроется. Внутреннее чувство подсказывало ему, что это Ломан. Ломан, худший из всех, высокомерно строптивый и даже не называвший его «этим именем». Ломан был тем невидимым духом, с которым единоборствовал Гнус. Двое других не были духами, и они не довели бы его до этих злачных мест, до необычных поступков, которые он теперь совершал, до уборной артистки Фрелих, где он теперь сидел, вдыхая запахи грима и искусительных костюмов. Но из-за того же Ломана ему надо было оставаться здесь. Уйди он, Ломан немедленно водворится на его место и будет смотреть в пестрое лицо артистки Фрелих, а она еще ближе пододвинет свой стул. При мысли, что об этом, слава тебе господи, не может быть и речи, Гнус машинально осушил стакан. Благодатное тепло согрело его внутренности.

Оба толстяка в зале, отдуваясь, закончили очередной номер программы.

Тапер громко заиграл какую-то воинственную мелодию, и два голоса, звенящих честным патриотическим восторгом, с заразительной горячностью запели:

Наш черно-бело-красный флаг,
На мачте гордо рей!
Дрожа от страха, видит враг
Тебя среди морей.

Артистка Фрелих заметила:

— Это их коронный номер, стоит посмотреть.

Она приоткрыла дверь, с таким расчетом, чтобы публика не заметила ее и Гнуса, и подтолкнула его к образовавшейся щелке. Он увидел обоих толстяков, взгромоздившихся на турник; обмотав чресла черно-бело-красными флагами, они с задорным и победоносным видом во все горло распевали:

Где ни появишься вдали
Ты над равниной вод —
Наш флаг, во всех концах земли
Встречаешь ты почет.

Ясно было, что публика взволнована до глубины души. Ряды ее колыхались, и мозолистые ладони хлопали одна о другую.

После каждого куплета наиболее хладнокровные зрители шикали, с трудом восстанавливая спокойствие. По окончании номера разразилась бурная овация. Артистка Фрелих за дверью сделала широкий жест, как бы охватывающий всю публику, и сказала:

— Ну, разве не дурачье? Ведь любой из них споет эту глупую матросскую песенку лучше, чем наша Густа со своим Кипертом. Киперт и Густа отлично знают цену всем своим штукам. Голоса у них никудышные, и слуха тоже нет. Ну, да раз уж обкрутили пузо флагами — люди и лезут вон из кожи. Если бы публика разбиралась в пении, она бы еще приплаты потребовала от наших толстяков. Что, не так разве?

Гнус с нею согласился. Они объединились в горделивом презрении к толпе.

— Смотрите, что сейчас будет,— сказала она и, прежде чем толстяки успели начать свой номер «на бис», высунула голову в зал.

— Го-го-го! — прокатилось там.

— Слыхали? — с удовлетворением спросила она.— Целый вечер пялились на меня, а стоило мне неожиданно высунуть нос, и опять ржут, как лошади.

Гнус подумал, что точно такие же звуки слышатся в классе при любом неожиданном происшествии, и решил:

— Все они одинаковы.

Артистка Фрелих вздохнула.

— Ну, сейчас мой черед, хочешь не хочешь — иди в зверинец!

Гнус заторопился.

— Так уж вы... того... закройте дверь.

И сам ее захлопнул.

— Мы отвлеклись от темы нашего разговора. Вы должны сказать мне всю правду о гимназисте Ломане. Ваше запирательство только ухудшит его положение.

— Опять за свое? Похоже, что вы маленько тронулись.

— Я учитель! А этот малый заслужил наистрожайшую кару. Исполните же свой долг, дабы преступник не избег правосудия!

— Бог ты мой, да вы, видно, собрались сделать из него котлету. Как, вы говорите, его зовут? У меня плохая память на имена. И как он выглядит?

— Лицо желтоватое; лоб, можно сказать, широкий, и он его так высокомерно морщит, и на лоб, можно сказать, спадают черные пряди. Роста среднего, а движенья у него какие-то не-

брежные и гибкие, в чем, конечно, выражается разнузданность чувств...

Гнус жестом дописал картину. Ненависть сделала из него портретиста.

— Ну и?..— спросила артистка Фрелих, двумя пальчиками дотронувшись до уголка губ. Но Ломан уже стоял перед ее глазами.

— Он — суммирую — довольно-таки фатоват и вдобавок еще вводит людей в заблуждение, заставляя их полагать, что его меланхолические и небрежные повадки — нечто врожденное, а не следствие презренного и недостойного тщеславия.

Она прервала его:

— Хватит! Рада бы вам служить, да об этом мальце мне сказать нечего.

— Вдумайтесь! Дальше!

— Увы! — Она состроила гримасу.

— Я знаю, что он был здесь; тому имеются доказательства!

— Ну, значит, вы все равно его застукаете, что тут разговаривать.

— У меня в кармане домашняя тетрадь Ломана; если я вам ее покажу, вы не сможете больше отпираться... Так как же, показать, фрейлейн Фрелих?

— Умираю от любопытства.

Он сунул руку в карман, вытащил ее, ничего не захватив, краска залила его лицо,— еще раз собрался с силами... Она читала стихи Ломана, запинаясь, как ребенок читает по букварю, и вдруг вскипела:

— Нет, это, ей-богу, низость. «Коль в интересном положенье...» Посмотрим еще, кто раньше окажется в интересном положении.— Потом задумчиво добавила: — А он не так глуп, как я думала.

— Вот видите! Значит, он вам знаком!

Она быстро поправилась:

— Кто вам сказал! Э, нет, милашка, меня не поймаешь!

Гнус кинул на нее язвительный взгляд. И вдруг топнул ногой: столь беззастенчивая ложь вывела его из себя. Не подумавши, он и сам соврал:

— Уж я знаю, я его видел!

— Тогда все в порядке,— спокойно ответила она.— Во всяком случае, теперь меня разобрала охота с ним познакомиться.

Она неожиданно наклонилась, так что ее грудь коснулась его плеча, легонько провела пальцем у него под подбородком,

дотронулась до плешивого местечка в бороде и вытянула губы, как сосунок.

— Представьте его мне, идет?

И не удержалась от смеха: лицо у Гнуса было такое, словно эти тонкие пальчики сдавили ему глотку.

— Да, ваши гимназисты шустрые ребята. Наверно, оттого, что у них такой шустрый учитель.

— Который же из них вам, так сказать, больше нравится? — со страшной тоской спросил Гнус.

Она отодвинулась, и лицо ее без всякого перехода вновь приняло смиренное и благоразумное выражение.

— А с чего вы взяли, что мне вообще нравится кто-нибудь из этих дурачков? Ах, если бы вы знали... Ей-богу, я бы отдала всех этих вертопрахов за почтенного человека, в зрелых годах, с добрым сердцем и практической сметкой, у которого не одни только развлечения в голове... Ну, да что вы, мужчины, в этом понимаете,— не без грусти добавила она.

Вернулась чета толстяков. Жена, еще не отдышавшись, поинтересовалась:

— Ну, как он себя вел?

Рояль опять заиграл.

— Пора и за работу.— Артистка Фрелих накинула на плечи шаль и стала еще пестрее.

— А вас уж, наверно, домой тянет? — спросила она.— Ничего удивительного, у нас тут не райские кущи. Но завтра вы должны прийти; ваши гимназисты, того и гляди, опять набезобразничают. Ну, да вы и сами это понимаете.

И ушла.

Гнус, окончательно сбитый с толку этим неожиданным заключением, не возражал. Артист открыл двери.

— Идите за мной следом, и все обойдется спокойно.

Гнус поплелся за ним по свободному проходу, которого он раньше не заметил. За несколько шагов до двери артист круто повернул назад. Гнус еще раз увидел промелькнувшие в глубине зала обнаженные руки, плечо, над дымом и гамом посреди пестрого вихря взблеснул ярко освещенный кусок нагого тела... Вынырнувший откуда-то хозяин с пивом крикнул:

— Доброй ночи, господин профессор! Не забывайте наше заведение! Милости просим!

В подворотне Гнус помешкал, стараясь очнуться. Под действием холодного воздуха ему уяснилось — не выпей он вина и пива в неурочный час, всей этой истории бы не было.

Едва выйдя из ворот, Гнус отпрянул: к стене жались три фигуры. Он скосил на них глаза из-под очков — да, это были Кизелак, фон Эрцум и Ломан.

Он круто повернул; позади него слышалось пыхтенье, явно негодующее; так пыхтеть могла только самая широкая из трех грудей — грудь фон Эрцума. Затем раздался скрипучий голос Кизелака:

— В доме, из которого кто-то сейчас вышел, царят гнуснейшие нравы.

Гнус вздрогнул и заскрежетал зубами — от ярости и страха.

— Я вас в порошок сотру. Завтра обо всем — так сказать — доложу директору.

Никто не отвечал. Гнус снова повернул и крадучись ступил несколько шагов среди зловещего молчания.

Потом Кизелак медленно проговорил три слова. У Гнуса за это время трижды пробежали по спине мурашки:

— И мы доложим.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ломан, граф Эрцум и Кизелак гуськом прохаживались по залу. Когда они поравнялись с эстрадой, Кизелак пронзительно свистнул.

— В каталажку! — скомандовал он, и они протиснулись в артистическую.

Толстуха что-то чинила.

— Ну? — сказала она.— Куда это вы подевались, молодые люди? Нас тут развлекал ваш учитель.

— Мы с ним не знаемся,— объявил Ломан.

— Почему так? Очень образованный человек, а главное, ничего не стоит обвести его вокруг пальца.

— Ну и обводите!

— Да что вы, смеетесь, я-то тут причем? Хотя кое-кому из нас...

Она не договорила, потому что Кизелак пощекотал ее под мышками, предварительно убедившись, что никто их не видит.

— Полегче, полегче, мальчик.— Она сняла пенсне с кончика носа.— Попадетесь на глаза Киперту, уж он вам покажет.

— А разве он кусается? — спросил Кизелак, не меняя позы. В ответ она таинственно кивнула, словно убеждая ребенка, что домовой и вправду существует.

Тут вмешался Ломан. Засунув руки в карманы, он развалился на стуле у зеркала.

— Ты нахал, Кизелак, и, несомненно, пересолил с Гнусом. Зачем тебе понадобилось дразнить его, когда он уж и без того уходил? Он ведь тоже только человек, и нечего ему приписывать сверхчеловеческую подлость. А теперь он может здорово подвести нас.

— Пусть попробует,— хвастливо отвечал Кизелак.

Эрцум сидел посреди комнаты, упершись локтями в стол; он что-то бурчал себе под нос: его красное лицо под рыжей щетинистой шевелюрой, блестевшей в свете лампы, было упорно обращено к двери. Внезапно он стукнул кулаком по столу.

— Если эта скотина еще раз сунется сюда, я ему все кости переломаю!

— Здорово! — заметил Кизелак.— Тогда он не сможет вернуть нам наши сочинения. Мое — сплошная чушь!

Ломан с улыбкой следил за ними.

— Малютка, видно, основательно вскружила тебе башку, Эрцум. В тебе говорит настоящая любовь.

В зале стихли аплодисменты, и дверь открылась.

— Сударыня, здесь из-за вас готовится убийство,— объявил Ломан.

— Оставьте при себе ваши глупые остроты,— сердито отрезала она.— Я говорила с вашим учителем; он тоже от вас не в восторге.

— Что ему надо, этому старому ослу?

— Сделать из вас котлеты — больше ничего.

— Фрейлейн Роза! — пролепетал Эрцум; с того момента, как она вошла в комнату, спина его выражала смирение, а взгляд мольбу.

— С вами тоже каши не сваришь,— заявила она.— Надо было сидеть в зале и хлопать что есть мочи. Какие-то проходимцы собирались меня освистать.

Эрцум бросился к двери.

— Где они, покажите, где?

Она потянула его назад.

— Скандальте, скандальте, господин граф. Меня сегодня же вечером вышвырнут отсюда. И вы отвезете меня в свой дворец!

— Вы не правы, сударыня,— сказал Ломан.— Он сегодня опять бегал к своему опекуну, консулу Бретпоту. Но этот мещанин ничего не смыслит в великих страстях и денег ему не дает. Эрцум, если б это от него зависело, готов был бы сложить

к вашим ногам все: имя, блестящую будущность, состояние. Ей-богу, он достаточно прост, чтобы так это и сделать. Поэтому, сударыня, грех вам злоупотреблять его простотой. Пожалейте его!

— Я сама знаю, что мне делать, трещотка вы этакая... У вашего дружка хоть и не такой длинный язык, да зато больше шансов, что он у меня...

— Дойдет до конца соответствующего класса,— закончил Кизелак.

— А вас я насквозь вижу, вы — грязный шептун.— Она поближе подошла к Ломану.— Здесь вы строите из себя недотрогу, а за спиной сочиняете про людей невесть какие пакости.

Ломан смущенно рассмеялся.

— Запомните, вы последний, кому я дам повод хвастаться тем, что я в интересном положении. Понятно вам? Последний.

— Ну что ж! Последний так последний. Я подожду,— со скучливой миной отвечал Ломан, и как только она повернулась к нему спиной, вытянул ноги и поднял глаза к потолку. Ведь он-то присутствовал здесь не в качестве заинтересованного лица, а как иронизирующий зритель. Ему до нее никакого дела нет. С его, Ломана, чувствами дело обстоит куда серьезнее, но об этом никто никогда не узнает... Его панцирь — насмешка...

Передохнувший рояль снова забренчал.

— Роза, твой любимый вальс,— сказала толстуха.

— Кто хочет танцевать? — спросила Роза. Она уже покачивала бедрами и улыбалась Эрцуму. Но Кизелак опередил мешковатого графа. Он обнял Розу, закружился с нею и вдруг коварно ее оттолкнул. Она чуть не упала. При этом он показал ей язык и исподтишка ущипнул в зад. Она испугалась и сказала сердито, но, впрочем, не без нежности:

— Если ты, шельмец, еще раз такое сделаешь, я скажу ему, и он с тебя шкуру спустит.

— Ну, это ты брось,— шепотом посоветовал Кизелак.— У меня тоже найдется, что ему сказать.

Они смеялись, стараясь сохранить неподвижные лица. Эрцум ошалелыми глазами смотрел на них; его красная физиономия покрылась каплями пота.

Ломан между тем пригласил толстуху. Роза отошла от Кизелака и смотрела на Ломана; он был хороший танцор. В его руках толстуха казалась невесомой.

Решив, что с него довольно, Ломан милостиво кивнул своей даме и, не замечая Розы, сел на место. Она подошла к нему.

— Так и быть, потанцую с вами, хоть на что-нибудь, да пригодитесь!

Он пожал плечами, придал своему лицу подчеркнуто безразличное выражение и поднялся. Она вальсировала долго, сладострастно и самозабвенно.

— Может быть, хватит? — учтиво осведомился Ломан.

Она очнулась.

— В таком случае... Я хочу пить! — воскликнула она, с трудом переводя дыханье.— Господин граф, дайте мне чего-нибудь выпить, не то я свалюсь.

— Он и сам-то едва стоит на ногах,— заметил Ломан.— И рожа у него точно пьяная луна.

Эрцум сопел, как будто бы это он все время крутил девицу. Он наклонил бутылку, задрожавшую в его руке, но из нее почти ничего не вылилось. Растерянно взглянул на Розу. Она смеялась. Толстуха сказала:

— Ваш учитель — мастер насчет выпивки.

Эрцум понял. В глазах у него помутилось. Он схватил пустую бутылку за горлышко, как палицу.

— Тс-с! — остановила его Роза. Смерив его пристальным взглядом, она сказала: — Я уронила под стол платок. Поднимите-ка его.

Эрцум наклонился, сунул голову под стол и потянулся за платком. Но колени его подогнулись; он пополз на животе,— Роза не сводила с него глаз,— схватил платок зубами и на четвереньках вылез из-под стола. Так он и замер, с закрытыми глазами, одурманенный жирным пахучим вкусом сероватой тряпки, измазанной гримом. Возле его опущенных век, почти вплотную, но недоступная, стояла женщина, о которой он мечтал днем и ночью, в которую он верил, за которую положил бы жизнь! И потому, что она была бедна, а он еще не был вправе поднять ее до себя, ей приходилось подвергать опасности свою чистоту, общаться с грязными людишками, даже с Гнусом. Страшная и странная судьба!

Налюбовавшись своей затеей, она взяла платок у него из рук и сказала:

— Молодчина, песик!

— Очаровательно! — заметил Ломан.

А Кизелак, поднеся ко рту палец с обгрызанным ногтем, задорно взглянул сначала на одного приятеля, потом на другого:

— Не задаваться! Вы все равно не дойдете до конца класса и не достигнете цели.

И подмигнул Розе Фрелих. Сам он уже достиг цели.

Ломан сказал:

— Половина одиннадцатого, Эрцум, твой пастор уже воротился из пивной, и тебе пора бай-бай.

Кизелак что-то шепнул Розе игриво, но с угрозой. Когда оба других вышли, он уже куда-то исчез.

Приятели зашагали к городским воротам.

— Я могу тебя проводить подальше,— заметил Ломан.— Мои старики на балу у консула Бретпота. А почему, спрашивается, нашего брата не приглашают? Там отплясывают гусыни, вместе с которыми я брал уроки танцев.

Эрцум что есть силы замотал головой:

— Такой женщины там не встретишь! Во время летних каникул я видел на семейном празднике всех эрцумовских барышень, не считая эрцумовских супруг, в девичестве Пюггелькрок, в девичестве Алефельдт, в девичестве Каценелленбоген...

— И так далее.

— И ты думаешь, хоть у одной из них было *это?*

— Что именно?

— Одним словом, *это*. Сам знаешь. И еще то, что насущно важно в женщине, так сказать, душа.

Эрцум сказал «так сказать», потому что застыдился слова «душа».

— И вдобавок носовой платок, какого ни у одной Пюггелькрок не сыщется,— закончил Ломан.

Эрцум не сразу понял намек.

Он прилагал все усилия, чтобы разобраться в темных инстинктах, толкнувших его на столь странный поступок.

— Не думай,— начал он,— что я устраиваю такие сцены непреднамеренно. Я хочу показать ей, что, несмотря на низкое происхождение, она стоит выше меня и что я всерьез собираюсь возвысить ее до себя.

— Так ведь она же выше тебя.

Эрцум и сам удивился этому противоречию. Он пробормотал:

— Вот посмотришь, как я поступлю!.. Эта собака Гнус второй раз живым к ней в уборную не войдет.

— Боюсь, что ему также хочется отбить у нас охоту к этим посещениям.

— Пусть попробует.

— Впрочем, он ведь трус.

Оба они тревожились, но больше на эту тему не говорили.

Они шли меж пустынных полян; летом здесь устраивались народные праздники. Эрцуму, у которого при виде ночных про-

сторов и звездного неба отлегло от сердца, сейчас казалось, что можно найти выход на свободу из мещанской дыры, из насквозь пропыленной гимназии, где томилось в дурацких оковах его большое деревенское тело. Ибо, полюбив, он понял, как нелепо выглядит на школьной скамье, когда, стараясь втянуть свою бычью шею, отвечает урок с запинками, неверно, беспомощный оттого, что худосочный, кривобокий учителишка на кафедре не сводит с него ядовитого взора да еще шипит вдобавок. Все его усмиренные здесь мускулы изнывали от бездействия, они нуждались в том, чтобы разить шпагой, молотить цепом, подымать женщину высоко над головой, останавливать мчащегося быка. Его мозг жаждал пахнущих землей и травой крестьянских помыслов, осязаемых понятий, коренящихся глубоко в почве, а не прорастающих в хлипкой атмосфере классической премудрости, от которой у него спирало дыханье; жаждал соприкосновения с нагой черной землею, налипающей на подошвы охотничьих сапог, ветра, что бьет в лицо галопирующему всаднику, гама битком набитых шинков, лая собачьей своры, дымки над осенним лесом или над только что оброненными лошадью яблоками навоза... Три года назад скотница, которую он защитил от дюжего пастуха, в знак благодарности опрокинула его на сено. Это воспоминание делало образ певички Розы Фрелих еще более волнующим. Эрцуму виделось бескрайнее серое небо, слышались громкие звуки, дразнящие запахи. Она пробуждала в нем все, что было его душой. Он же оказывал ей честь, считая это ее душой, считая, что у нее много, много души и что потому-то она и стоит так высоко над ним.

Гимназисты подошли к дому пастора Теландера. Его украшали два балкона, покоившиеся на столбах, увитых диким виноградом,— один посередине второго, другой — посередине третьего этажа.

— Твой пастор уже дома,— заметил Ломан, указывая на освещенное окно во втором этаже.

При их приближении свет погас.

Эрцум с озлоблением, но опять уже с тупой покорностью взглянул на приотворенное окно вверху — туда ему предстояло взобраться. В комнате за этим окном от его, Эрцума, одежды, от книг, от всего пахло классом. Запах класса преследовал его днем и ночью... Он прыгнул сердито, неуклюже, полез по лозам, задержался на перилах нижнего балкона и снова поглядел на свое окно.

— Надолго моего терпенья не хватит,— объявил он сверху. Затем вскарабкался выше, ударом ноги распахнул окно и спрыгнул в комнату.

— Приятных сновидений,— сказал Ломан с незлобивой насмешкой и пошел прочь, не стараясь приглушать шорох своих шагов.

Пастор Теландер, погасивший свет, чтобы ничего не видеть, конечно, не поднимет шума из-за ночной прогулки графа Эрцума, за чье содержание ему уплачивается четыре тысячи марок ежегодно.

Едва пройдя палисадник, Ломан унесся мыслями к Доре.

Итак, Дора дает сегодня большой бал. Прикрыв лицо веером, она сейчас смеется своим странным, жестоким и томным смехом креолки. Возможно, что ей вторит асессор Кнуст, возможно, что сегодняшний вечер все решит для него. Ведь с лейтенантом фон Гиршке, видимо, кончено...

Ломан втянул шею, впился зубами в нижнюю губу и стал прислушиваться к своим страданиям...

Он любил консульшу Бретпот, тридцатилетнюю женщину. Любил с того самого дня, когда — три года назад — в ее доме состоялся урок танцев. Она приколола ему котильонный орден — о, только затем, чтобы сделать приятное его родителям, он это знал. С тех пор он видел ее разве что сквозь щелку двери, на больших балах, дававшихся консулом Ломаном, на которые он не допускался,— видел ее и ее любовников. Бедняга! Дверь могла каждую секунду распахнуться, и он стоял бы там, уничтоженный, истерзанный болью; все было бы открыто. В таком случае,— это было его твердое решение,— он покончил бы с собой. Старое ружье, с которым он охотился в амбаре за крысами, лежало наготове.

Он с отеческим дружелюбием относился к ее сыну, четвероклассшику, давал ему списывать свои старые сочинения. Ломан любил ее дитя! Однажды, когда, поспешив на выручку юному Бретпоту, он ввязался в ребячью драку, ему померещились насмешливые улыбки на многих лицах. Ружейное дуло уже оборачивалось к его груди... Но нет, никто ни о чем не подозревал; он мог и впредь думать о ней, разыгрывать перед самим собой неистовое целомудрие, сладострастные муки, тщеславное, робкое, утешительное в его семнадцать лет презрение к миру, мог по ночам писать стихи на обратной стороне старого котильонного ордена...

И его, скорбящего, нежно влюбленного, такая девица, как эта Роза Фрелих, пыталась расшевелить своей любовью! Злее

насмешки не выдумаешь. Он писал стихи о ней тоже, но что с того? Разве искусству не безразличен объект? Если она полагает, что это имеет какое-то значение... Она притворилась обиженной, он рассмеялся ей в лицо, ее это только пуще раззадорило. Право, его вины тут нет; вряд ли он станет домогаться любви певички из «Голубого ангела». Там, в зале, найдется немало матросов и коммивояжеров, которых она осчастливила за сумму от трех до десяти марок.

Но, может быть, это все же льстит ему? Стоит ли отрицать? Бывали минуты, когда ему хотелось видеть эту девушку у своих ног, когда он желал ее — чтобы унизить, чтобы ощутить в ее ласках вкус мрачного порока и этим пороком запятнать собственную свою любовь, в этой на коленях молящей его девке унизить другую, Дору Бретпот, а затем упасть к ее ногам и вволю выплакаться!

Содрогаясь от этих мыслей, Ломан завернул на Кайзерштрассе, подошел к залитому огнями дому консула Бретпота и стал ждать, не промелькнет ли среди скользящих в окнах теней ее тень.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Наутро Эрцум, Кизелак и Ломан были очень бледны. Среди шумливых одноклассников каждый из них чувствовал себя преступником, делом которого уже занялся прокурор, а близкие еще ничего не подозревают. Время меж тем исчислялось минутами... Кизелак, подслушивавший у дверей директорского кабинета, уверял, что слышал там голос Гнуса. Он забыл о хвастовстве и, закрывшись рукой, сквозь зубы процедил на ухо Эрцуму: «Дело дрянь, старина». Ломан сейчас охотно поменялся бы местами с самым нищим из «нищих духом».

Гнус вошел торопливо, запыхавшись, и немедленно взялся за своего Овидия. Для начала он вызвал первого ученика Ангста и велел наизусть читать заданные стихи. За ним последовали ученики на букву Б. Затем он вдруг перескочил на М. Кизелак, Ломан, а затем и Эрцум с изумлением убедились, что их фамилии обойдены.

По переводу их тоже не спрашивали. Они страдали от этого, хотя, как всегда, не подготовились. Им казалось, что они изгнаны из общества, что их уже постигла гражданская смерть. Что он задумал, этот Гнус? На перемене они избегали друг друга: как бы кто не заподозрил, что их связывает недобрая тайна.

Три следующих урока с другими учителями они непрерывно терзались страхом. Шаги на дворе, скрип лестницы: директор!.. Но ничего не случилось. Урок греческого Гнус провел так же, как и урок латыни. Кизелак с отчаяния поднял руку, хотя ничего не мог бы ответить. Гнус его не замечал. Тогда он стал после каждого вопроса вскидывать вверх свою синюю лапу да еще щелкал пальцами в воздухе. Ломан, устав ждать, раскрыл под партой «Богов в изгнании». Эрцум, снова порабощенный, уничтоженный гимназист, как всегда, лез из кожи вон, чтобы угнаться за классом, и как всегда, отставал.

Уходя, они ждали, что служитель со зловещей улыбкой позовет их к директору. Ничего подобного: человек с колокольчиком просто снял шапку перед молодыми господами. На улице все трое переглянулись, стараясь не дать воли своему торжеству.

Но Кизелак не выдержал.

— Видали? Я же вам говорил, что он не посмеет.

Ломан досадовал на свой страх.

— Если он воображает, что ему удастся провести меня...

Эрцум его прервал:

— Погоди, неизвестно, что будет дальше.— И вдруг, рассвирепев, добавил: — Пусть попробует! Я уж знаю, что мне делать.

— Могу себе представить,— заметил Ломан.— Сначала ты вздуешь Гнуса, потом привяжешь к себе веревкой Фрелих и бросишься с ней в реку.

— Нет... не так,— удивленно протянул Эрцум.

— Ну, дети мои, вы совсем скисли,— сказал Кизелак, и они распрощались.

Ломан заметил напоследок:

— Меня, собственно, совсем не тянет в «Голубой ангел», но и труса праздновать я не намерен; теперь уж я обязательно туда пойду.

Вечером он и Эрцум почти одновременно подошли к «Голубому ангелу» и остановились, поджидая Кизелака. Его они всегда пропускали вперед; он первый входил в актерскую уборную, первый открывал рот, первый уютно там располагался. Без Кизелака у них бы ничего не получилось, им был нужен он и его нахальство. Денег у Кизелака не было, им приходилось платить за него, и Кизелак опасался, как бы они не заподозрили, что цветами, вином и подарками Розе Фрелих оплачивают его, Кизелака, тайные радости.

Наконец он появился, при виде приятелей нисколько не прибавив шага, и они вошли в дом. Хозяин сообщил им, что в уборной у Розы Фрелих сидит учитель. Они растерянно переглянулись и ударились в бегство.

Накануне ночью, благополучно добравшись до дому, Гнус встал возле своей конторки и зажег настольную лампу. Печка еще дышала теплом, часы тикали, Гнус перелистал свою рукопись и проговорил:

— Истинны только дружба и литература.

Он чувствовал, что освободился от актрисы Фрелих и что «посторонние занятия», которым предавался гимназист Ломан, ему теперь глубоко безразличны.

Но, проснувшись в предрассветной мгле, понял, что не успокоится, пока гимназист Ломан не будет «пойман с поличным». Правда, он тотчас же занялся партикулами Гомера, но дружба и литература больше не увлекали его. И никогда не увлекут,— он это ясно чувствовал,— покуда Ломан беспрепятственно сидит у актрисы Фрелих!

А как этому воспрепятствовать, его надоумила сама же актриса Фрелих; она ведь сказала: «Приходите завтра опять, а то ваши ученики здесь набезобразничают...» Вспомнив эти слова, Гнус покраснел. Они словно воскресили голос актрисы Фрелих, ее дразнящий взгляд, ее пестрое лицо и два тонких пальца, которыми она дотронулась до его подбородка... Гнус пугливо оглянулся на дверь и, точно ученик, старающийся укрыть «посторонние занятия», с лицемерным усердием склонился над своей работой.

И все это три головореза — ясно и самоочевидно — видели сквозь красную занавеску. Если он, Гнус, потащит их на суд к директору, терять им будет уже нечего, и, откинув остатки стыда, они, чего доброго, отважатся предать гласности увиденное. В списке преступлений Ломана значилось и оплаченное им вино, которое выпил Гнус... Пот прошиб его. Он в ловушке. Враги будут утверждать, что не Гнус поймал Ломана с поличным, а наоборот... Сознанье, что ему предстоит более грозное, чем всегда, единоборство с целой армией мятежных учеников, укрепило дух Гнуса, придало ему уверенности, что еще многим из них он испортит, а не то и вовсе погубит карьеру.

Исполненный страстной решимости, он отправился в гимназию.

Для того чтобы сцапать троих преступников, оснований имелось достаточно. С Ломана, например, хватило бы его бесстыдного сочинения. Перед тем как выставить недельные отметки, Гнус спросит всех троих, и спросит так, что ответить они не смогут. Он уже придумал кое-какие вопросы... Но когда городские ворота остались позади, им овладели сомнения, и, по мере того как он приближался к гимназии, будущее рисовалось ему во все более мрачных тонах.

Трое мятежников, вероятно, уже взбунтовали весь класс рассказами о «Голубом ангеле». Как он встретит своего наставника? Революция вспыхнула. Страх тирана, под которым качается престол, давил, мял его, словно беспорядочно отступающая конница. Отравленный страхом, он тревожно оглядывался на перекрестках, ища гимназистов — тираноубийц.

Войдя в класс, Гнус уже не был зачинщиком войны. Он выжидал, чаял спасенье в том, чтобы замолчать события вчерашней ночи, скрыть опасность, не видеть троих преступников... Гнус собрал все свое мужество. Он не знал, каким страхом терзаются Кизелак, Эрцум и Ломан; но и они не знали о его страхе.

По окончании занятий он, как и они, вновь воспрял духом. Ломану не придется злорадствовать. Его надо удержать вдали от актрисы Фрелих; добиться этого для Гнуса — вопрос власти, вопрос самоуваженья. Но как? «Завтра вы должны прийти опять»,— сказала она. Ничего другого ему не оставалось; осознав это, Гнус испугался. И в этом испуге было что-то сладостное.

Он был так возбужден, что отказался от ужина и, несмотря на протесты своей домоправительницы, тотчас же вышел из дому, чтобы первым прийти в «каталажку» — в уборную актрисы Фрелих. Не будет Ломан сидеть у нее и потягивать вино. Это мятеж, а Гнус не потерпит мятежа. О дальнейшем он не размышлял.

Впопыхах добравшись до «Голубого ангела», он не сразу заметил цветную афишку на воротах и несколько секунд в полнейшей растерянности искал ее... Слава богу, вот она! Значит, актриса Фрелих не уехала внезапно, чего он только что так боялся, не сбежала, не провалилась сквозь землю. Она еще пела, еще ослепляла своей пестротой, дразнила манящим взглядом. Из чувства облегчения, испытанного им, Гнус сделал вывод: удержать гимназиста Ломана вдали от актрисы Фрелих недостаточно, Гнус сам хочет сидеть у нее... Но эта мысль только вспыхнула в его мозгу и тотчас же погасла.

Пустой и полутемный зал казался огромным сараем, а бесчисленные грязно-белые стулья и столы, сдвинутые с мест, напоминали стадо баранов на лугу.

Возле печки при свете маленькой жестяной лампы сидел хозяин с какими-то двумя мужчинами; они играли в карты.

Стремясь проскользнуть незамеченным, Гнус, точно летучая мышь, жался к темной стене. Когда он уже готовился переступить порог артистической, хозяин крикнул ему, и этот возглас оглушительно прозвучал в пустых стенах:

— Добрый вечер, господин профессор, очень рад, что вам понравилось в моем заведении.

— Я только хотел... я имел в виду... артистка Фрелих...

— Зайдите туда и подождите ее, ведь сейчас только семь часов. Я принесу вам пива.

— Благодарю,— в свою очередь, закричал Гнус,— мне что-то не хочется пить... Но позднее...— он высунул голову из двери,— я, видимо, закажу хороший ужин.

С этими словами он закрыл дверь и ощупью стал пробираться в непроглядной темноте уборной. Когда ему удалось зажечь свет, он убрал со стула чулки и корсеты, уселся возле стола, на котором ничто не изменилось со вчерашнего вечера, вынул из кармана записную книжку и из цифр, проставленных вслед за фамилией каждого ученика, принялся составлять предварительную оценку успеваемости. После первых букв он торопливо перескочил на М, совсем как утром в классе. Потом вдруг начертал яростные «неудовлетворительно» против фамилий Кизелака, Ломана и Эрцума. В комнате было тихо и покойно, а рот Гнуса кривился от жажды мести.

Немного позже в зале, видимо, появились первые гости. Гнус встревожился. Вошла вчерашняя толстуха в черной шляпе с невероятно широкими полями и сказала:

— А, это вы, господин учитель! Право, можно подумать, что вы здесь ночевали.

— Я явился сюда по неотложному делу, уважаемая,— наставительно отвечал Гнус.

Но она погрозила ему пальцем:

— Могу себе представить, что это за дело.

Она сняла боа и жакет.

— Ну, а теперь разрешите мне снять кофточку.

Гнус пробурчал что-то нечленораздельное и отвернулся.

Она подошла к нему в полинялом капоте и похлопала его по плечу.

— По правде говоря, господин учитель, я ни чуточки не удивилась, что вы опять здесь. Такая уж наша Роза, и мы к этому привыкли. Кто ее узнает поближе, обязательно полюбит, тут ничего не поделаешь. Да и не удивительно, девочка-то ведь — красавица писаная.

— Весьма возможно...— опять-таки в свою очередь,— что вы и правы, уважаемая... но я не потому...

— Понятно! У ней и сердце золотое. А это ведь всего важнее. Господи, да что там говорить!..

Она приложила руку к своему сердцу под незастегнутым капотом. На лице ее изобразилось блаженство, жирный подбородок дрожал от умиления.

— Ей-богу, она готова палец себе отрезать из любви к ближнему! Наверное, это потому, что ее отец был помощником фельдшера. И вот еще что: хотите верьте, хотите нет, а Роза всегда питала слабость к пожилым мужчинам, и не только из-за...— она быстро-быстро потерла большой палец об указательный,— нет, такое уж у нее сердце. Ведь пожилые мужчины особенно ценят ласковое обхождение... Иногда, правда, она бывает добрее, чем это разрешено полицией. Я-то ведь ее с детских лет помню. От меня можете все узнать, что называется, из первых рук.

Она уселась на край стола, приперла Гнуса своими телесами к спинке стула и, казалось, с головой окунула его в атмосферу своего рассказа.

— Девчонке еще шестнадцати не стукнуло, а она уже бегала по балаганам и путалась с тамошними артистами. Что с нее взять? Артистическая натура... Ну, там... нашелся, значит, один пожилой господин, который захотел дать ей образованье. Что это за образованье, мы-то уж знаем. Начинается оно с Адама, Евы и кислого яблочка! Раз как-то прибегает ко мне Роза и ревмя ревет; выходит дело, она уже с начинкой. Я ей, конечно, говорю: не плачь, мы из старикашки все жилы вытянем, тебе ведь еще и шестнадцати-то нет, придется ему тряхнуть мошной, и основательно. А она не соглашается! Ну, виданное ли это дело, а? Жалеет своего старикашку — и ни в какую. Мало того, она опять к нему пошла по доброй воле; вот какой человек! Роза мне показала его на улице — настоящий хлюпик. Никакого сравнения с вами, господин учитель, куда там!

Она игриво ткнула Гнуса двумя пальцами прямо в лицо. И, решив, что он еще недостаточно распалился, повторила:

— Никакого сравнения! Не старик, а просто дрянь! Он скоро умер, и как вы полагаете, что он отказал Розе? Свою фото-

графию в медальоне с секретным замком. Гляди и лопайся от счастья! Нет, Розе нужен человек потороватее, и чтобы он хорошо сохранился; такой сумеет оценить девочку по достоинству, да и ей придется по вкусу.

— В таком случае, конечно...— Гнус старался найти подобающий оборот для перехода,— как бы там ни было, но тем не менее...— улыбка у него была такая смущенная, что казалась язвительной,— есть основания предполагать, что молодой человек, с одной стороны, не лишенный умственных способностей, и с другой — остроумия, будет иметь больше шансов на успех...

Толстуха живо его прервала:

— Если дело только за этим, так нечего и разговаривать. Мальчишки у нашей Розы — вот где сидят! Я-то уж знаю.

Она с изрядной силой встряхнула Гнуса за плечо, чтобы заставить его физически прочувствовать правдивость своих слов. Затем слезла на пол и заявила:

— Хватит языком чесать. Пора мне приниматься за работу, господин учитель, в другой раз я с удовольствием займусь вами.

Она уселась перед зеркалом и стала мазать себе лицо жиром.

— Смотрите лучше на что-нибудь другое, это не слишком красивое зрелище.

Гнус послушно отвернулся. Кто-то взял несколько аккордов на рояле. Зал глухо шумел, видимо, он уже наполнялся.

— А ваши гимназисты,— сквозь зубы проговорила толстуха — она что-то держала во рту,— пусть себе вытягивают шеи и лопаются от зависти.

Гнус поддался искушению и взглянул на окно. За красной занавеской какая-то тень и вправду вытягивала шею.

Из зала донеслось протяжное «го-го-го-го!..». Артистка Фрелих стояла на пороге, дверной проем позади нее заполняла внушительная фигура артиста Киперта. Когда оба они вошли в уборную, Киперт крикнул:

— Весьма польщен, господин учитель, что вы снова здесь!

Артистка Фрелих заметила:

— А-а, вот и он! Ну что ж!

— Возможно, вы удивлены...— промямлил Гнус.

— Ни вот столечко! — отвечала она.— Помогите-ка мне снять пальто.

— ...что я так быстро повторил свой визит...

— С чего б это мне удивляться?

Она подняла руки, чтобы вытащить булавки из громадной красной шляпы с перьями,— шляпа мгновенно стала походить на корзину с ручками,— и из-под полей лукаво улыбнулась Гнусу.

— Но,— он явно был в затруднении,— вы же сами порекомендовали мне снова прийти.

— Ясное дело! — Она взмахнула шляпой, точно огненным колесом, и вдруг выпалила: — Вот чудила-то!.. Конечно же, я не хочу отпускать вас, старикашечка!

Она уперла руки в боки и почти вплотную приблизила свое лицо к лицу Гнуса.

Он походил на ребенка, испуганного тем, что театральная фея вдруг обронила фальшивую косу. Артистка Фрелих это заметила и поспешила скорей покончить с приступом резвости. Она вздохнула, склонив головку набок.

— Будьте уверены, что мне было совсем не все равно, придете вы или нет. Честное слово, правда. Я все время твердила Густе: ведь он же доктор, профессор, а я бедная неученая девушка, что я могу дать такому человеку... Ну скажите, фрау Киперт, что я не вру!

Толстуха подтвердила.

— А она,— продолжала актриса Фрелих, невинно передернув плечиками,— Христом-богом клялась, что вы обязательно придете... Так оно и вышло!

Артист Киперт, переодевавшийся в углу, издавал какие-то нечленораздельные звуки. Жена делала ему знаки — потише!

— И с чего это я взяла, что вы пришли из-за меня,— снова заговорила артистка Фрелих,— вы мне даже пальто снять не помогаете. Похоже, что вы явились ради своих поганцев, которых вам надо изрубить на котлеты.

Гнус покраснел и беспомощно огляделся вокруг.

— В первую очередь, разумеется... но, собственно говоря... первоначально...

Она сердито покачала головой.

Толстуха встала из-за стола, намереваясь прийти к ним на помощь. Она уже была во всеоружии — красная блузка с низким вырезом и вчерашний ослепительный цвет лица.

— Почему вы не поможете барышне снять пальто? — осведомилась она.— Дама вас просит, а вы никакого внимания! Так не годится!

Гнус стал тянуть рукав. Рукав не поддавался, актриса Фрелих пошатнулась и упала в его объятия. Растерявшись, он замер.

— Вот как надо это делать! — наставляла его толстуха.

К ним бесшумно приблизился ее супруг, уже в трико, от бедра к бедру через весь живот у него змеилась толстая складка жира, на шее красовалась волосатая бородавка. Он поднес к глазам Гнуса маленькую газетку.

— Прочитайте-ка, господин учитель. Здорово же они разделали эту банду.

На лице Гнуса тотчас же изобразилась серьезность знатока, к этому его обязывало печатное слово. Он узнал местный социал-демократический листок.

— Что ж, посмотрим,— отвечал он,— как обстоит дело с этой статьей.

— В ней как раз идет речь об учительских жалованьях,— сказал артист.— Мы с вами вчера об этом толковали.

— Ах, брось,— решительно вмешалась его супруга и отняла у Гнуса газетку.— Жалованья с него и так хватает, ему кое-что другое нужно, а это уж не твое дело. Иди-ка лучше фигурять перед этими свиньями.

Зал хрюкал, рычал, свистел, заглушая гром рояля. Киперт повиновался. Он мгновенно придал себе тот самовлюбленный вид, что уже вчера поразил Гнуса, упругой подпрыгивающей походкой направился к двери и исчез в еще сильнее зашумевшем зале.

— Ну, этого сплавили! — заметила толстуха.— Покуда они там его переваривают, давайте-ка, господин профессор, переоденем Розу.

— Разве ему можно? — поинтересовалась актриса Фрелих.

— Надо же ему знать, как раздевают и одевают женщину. В жизни все пригодится.

— Что ж, если вы не против.— И актриса Фрелих сбросила юбку. Лиф она уже раньше расстегнула, и Гнус не без страха заметил, что под платьем она вся черная и блестит.

Но еще удивительнее было открытие, что на актрисе Фрелих не нижняя юбка, а широкие черные панталоны до колен. Ее это, видимо, нисколько не смущало, так как вид у нее был самый невинный. Гнусу же чудилось, что ему нашептывают на ухо первооткровения сомнительных таинств, скрытых под респектабельным бюргерским покровом, накинутым из уважения к полиции. И он чувствовал гордость, к которой примешивался страх.

Там, за дверью, Киперт сорвал бурные аплодисменты и начал новый номер.

— А теперь ему, пожалуй, лучше отвернуться,— сказала Роза Фрелих.— На мне сейчас ровно ничего не останется.

— Бог с тобой, детка, он же солидный, разумный человек, что ему сделается?

Но Гнус уже успел отвернуться. Он напряжённо прислушивался к шуршанию за своей спиной. Заторопившаяся толстуха что-то сунула ему.

— А ну-ка, подержите.

Гнус взял, не зная, что именно. Это было нечто черное, легко сжимавшееся в маленький комочек и странно теплое, точно живой зверек. Вдруг он выронил из рук этот предмет, ибо понял, отчего он так тепел. То были черные панталоны!

Он быстро поднял их и замер. Густа и артистка Фрелих, занятые своим делом, торопливо обменивались какими-то замечаниями чисто технического порядка. Киперт уже закончил и второй номер.

— Мой выход,— сказала его супруга.— Помогите вы ей одеться.— И, так как Гнус не шевелился, крикнула: — Да вы что, оглохли, что ли?

Гнус вздрогнул: он задремал, как его ученики во время затянувшегося урока; очнувшись, он покорно взялся за шнурки от корсета. Актриса Фрелих улыбалась ему через плечо.

— Почему вы все время от меня отворачивались? Я ведь уж давно в приличном виде.

Сейчас на ней была оранжевая нижняя юбка.

— Да и вообще,— продолжала она,— я ведь только из-за Густы велела вам стать спиной. Мне так даже интересно знать, как, по-вашему, я сложена?

Гнус ничего не ответил, и она сердито отвернулась.

— Тяните сильней!.. Бог ты мой, да говорят же... давайте сюда, где уж вам!

Она зашнуровалась сама. И, так как он продолжал стоять, беспомощно протянув свои праздные руки, спросила:

— Неужто же вы не хотите быть со мной чуточку полюбезнее?

— Я, разумеется...— в смущении бормотал он. Он долго искал слова и наконец объявил, что в черном, да, да, в черной одежде находит ее еще красивее.

— Ах вы поросенок! — ответила актриса Фрелих. Корсет сидел безупречно...

Совместный номер Густы и Киперта имел большой успех.

— Ну, теперь скоро мой выход,— сказала артистка Фрелих,— осталось только «сделать» лицо.

Она села к зеркалу и начала проворно орудовать баночками, флакончиками, цветными палочками. Гнус не видел ничего, кроме ее тонких рук, мелькающих в воздухе, перед его растерянным взглядом происходила какая-то сложная игра бело-розово-желтых линий; они рождались, исчезали, и каждая из них, прежде чем раствориться в небытии, заменялась новой. Ему было велено брать со стола и подавать ей какие-то непонятные предметы. Несмотря на свою лихорадочную деятельность, она выбирала время, чтобы топать ногой, если он подавал не то, что ей требовалось, и вознаграждать его дразнящим взглядом за проявленную расторопность. Меж тем ее взгляд становился все более и более дразнящим. Гнус наконец понял, что этому немало способствуют карандаши для подрисовки, которые он подавал; красные точки в уголках глаз, красные же линии над бровями и нечто черное и жирное, чем она мазала себе ресницы.

— Надо еще только уменьшить рот,— изрекла она.

И перед ним мгновенно возникло ее вчерашнее, отчаянно пестрое лицо. За туалетным столом сейчас сидела уже подлинная актриса Фрелих. Он был свидетелем ее возникновения и только сейчас уяснил себе это. Ему довелось бросить беглый взгляд на кухню, где изготовлялись красота, душа, сладострастие. Он чувствовал себя одновременно и разочарованным, и приобщенным тайн. Он думал: «Это все?» — и тут же: «Но это изумительно». Сердце его учащенно билось, а артистка Фрелих тем временем вытирала о тряпку руки, измазанные той самой жирной краской, которая заставляла биться его сердце.

Затем она укрепила в волосах вчерашнюю диадему... В зале неистовствовали. Она пожала плечами, покосилась в сторону зала и, нахмурившись, спросила:

— Вам это тоже понравилось?

Гнус ничего не слышал.

— Сейчас я вам покажу, что значит «гвоздь программы». Сегодня я буду петь убийственно серьезный романс, поэтому мне нужно длинное платье... Давайте-ка сюда вон то, зеленое.

Гнус сновал взад и вперед между охапками костюмов, фалды его сюртука развевались. Зеленое платье наконец нашлось, и в мгновенье ока она уже стояла перед ним в какой-то сказочной чешуе, незатянутая в талии, с гирляндой роз, вьющейся вокруг ляжек и живота. Она взглянула на него, он ни слова не говорил, но выраженьем его лица актриса Фрелих осталась довольна. Она величаво прошествовала к двери. Но, не дойдя

до нее, обернулась, вспомнив о жирном пятне сзади, которое в эту минуту созерцал Гнус.

— Ладно, я ведь не нанималась показывать его этим обезьянам,— с бесконечным презрением объявила она и, широко распахнув дверь, милостиво кивнула публике. Гнус отскочил, его могли увидеть.

Дверь осталась непритворенной. В зале кричали:

— Черт возьми! Поди ж ты, в шелковом платье! — и: — Гляди, гляди, все напоказ выставила!

И смеялись там тоже.

Рояль зарыдал. Дисканты слезливо всхлипывали, басы громко сморкались. Гнус услышал, как артистка Фрелих запела:

Плывет луна, сияют звезды в небе.
Твоя любовь на берегу морском
Оплакивает свой печальный жребий...

Звуки, как бледные жемчужины, подхваченные черным потоком, неслись из скорбных глубин ее души.

Гнус думал: «Опять, значит, в свою очередь...» Но сердце его грустило и млело. Он подкрался к двери и стал смотреть, как медленно ложатся и вновь расходятся зеленые складки на платье артистки Фрелих... Она откинула голову назад, в поле зрения Гнуса появилась изогнутая диадема на рыжих локонах и пестрая щека под высоко заломленной черной бровью. За одним из передних столиков восхищенный голос, голос широкоплечего крестьянина в синей шерстяной куртке, произнес:

— Ну и хороша же девка! Дома на жену и глядеть не захочешь.

Гнус со снисходительной благосклонностью посмотрел на крестьянина, он думал:

«Ясно и самоочевидно, любезный!»

Этот-то не присутствовал при возникновении актрисы Фрелих! Не знал, что значит красота, не был призван судить о ней, ему оставалось брать ее такой, какой она ему предлагалась, и он должен еще радоваться, что эта красота отбивает ему вкус к жене.

Куплет закончился жалобным:

Рыдаю скорбно я в своем челне —
И смехом вторят звезды в вышине.

Но среди слушателей кто-то смачно расхохотался. Гнус, выведенный из оцепенения, стал тщетно искать голову весельчака среди сотен голов. Второй куплет актриса Фрелих опять начала со слов: «Плывет луна...» В то время как она исполняла

припев «И смехом вторят звезды в вышине», засмеялось еще человек шесть или семь. Один из них, посреди зала, гоготал, точно негр. Гнус нашел его, это и вправду был негр! Чернокожий заразил смехом соседей. Гнус видел, что многие лица начинают подергиваться от смеха. У него руки чесались привести мускулы этих лиц в спокойствие. Он переминался с ноги на ногу и страдал...

Актриса Фрелих в третий раз возвестила:

Плывет луна...

— Это мы уже слыхали,— решительно проговорил чей-то громкий голос. Несколько благонамеренных людей запротестовали против возрастающего шума. Но смех черномазого оказался не в меру прилипчивым. Гнус увидел, что целые ряды уже сидят, до ушей раскрыв зияющие пасти с двумя желтыми клыками и зияющим провалом посередине или полумесяцами белых зубов, сверкающих над полукруглой морской бородкой или под щеточкой усов на верхней губе. Гнус узнал торгового ученика, бывшего гимназиста, который вчера так нахально осклабился при встрече с ним на крутой уличке, а теперь во всю ширь разевал пасть в честь актрисы Фрелих. Он почувствовал, что ярость туманит ему мозги, трусливая ярость тирана. Все, что касалось актрисы Фрелих, кровно касалось и его! Он одобрил ее, следил из-за кулис за ее выступлением, был связан с нею, можно сказать — сам вывел ее на подмостки! Те, кто не признает актрису Фрелих, наносят оскорбление ему, Гнусу! Он ухватился за дверной косяк, потому что его так и подмывало ринуться в зал и угрозами, пинками, страшными карами привести к повиновенью всю мятежную толпу беглых школяров.

Мало-помалу он высмотрел человек пять-шесть своих бывших учеников. Зал кишел бунтарями старых выпусков! Толстый Киперт и толстая Густа, расхаживая между столиков, пили из стаканов гостей,— зарабатывали себе популярность. Гнус презирал их за недостойное панибратство. На недосягаемой высоте в зеленом шелковом платье с изогнутой диадемой в волосах стояла актриса Фрелих. Но публика отвергала ее, ей кричали:

— Хватит! Убирайся! Сматывай удочки!

И Гнус не мог этого изменить! Ужасно! Он мог запирать учеников в каталажку, заставлять их писать сочинения о том, чего и в природе не существовало, подчинять своей воле их поступки, насиловать их убеждения, мог, если какой-нибудь ученик осмеливался думать, одернуть его: «Думать не разре-

«Учитель Гнус»

шаю!!» Но он не мог заставить их находить прекрасным то, что было прекрасно по его непреложному мнению. Может быть, это было последнее убежище их злобной строптивости. Деспотизм Гнуса натолкнулся здесь на предел человеческой способности к повиновению... Это было невыносимо! Задыхаясь, он ловил воздух ртом, озирался по сторонам, ища выхода из тупика своего бессилия, метался, одержимый желаньем раскроить череп хоть одному такому тупице и корявыми пальцами вложить в него понимание красоты.

И подумать только: актриса Фрелих оставалась безмятежно-спокойной да еще посылала ручкой воздушные поцелуи этим злобным крикунам! Как она величественна в своем поражении! Вот она стала вполоборота к публике и что-то говорит аккомпаниатору там, внизу. И ее лицо, веселое и приветливое, внезапно, как в кинематографе, принимает огорченное, злое выражение. Гнусу показалось, что она нарочно затягивает разговор с аккомпаниатором и все больше отворачивается от публики... Больше, но не совсем, а то станет видно жирное пятно на платье... Вдруг она вызывающе тряхнула головой, подобрала зеленое платье, задрала выше колен оранжевую нижнюю юбку и решительно запела:

Ведь я невинная малютка...

Отвага актрисы Фрелих была вознаграждена, ей аплодировали, кричали «бис».

Возвратившись в уборную и с силой захлопнув за собой дверь, она спросила, еще не отдышавшись:

— Ну как? Здорово я выкрутилась, а?

Итак, всем на радость, ошибка была исправлена; только в глубине зала, у самого выхода, прислонившись к стене, стоял Ломан, опустив мертвенный, отсутствующий взгляд на свои скрещенные руки, и думал о том, что его стихи, осмеянные чернью, несутся сейчас по воздушным волнам над темными улицами к окну одной спальни; они стукнут в него тихо-тихо, и никто не услышит их...

Толстуха Густа и Киперт вернулись в уборную. Актриса Фрелих вскинула голову и обиженным голосом сказала:

— Больше уж вы меня не уговорите выступать с дурацкой песней этого олуха.

Гнус слышал ее слова, но не понял, о чем речь.

— Публика, детка моя, народ ненадежный,— пояснила толстуха,— пора бы знать. Не будь там негра, они бы плакали, а не гоготали.

— В общем-то мне наплевать,— сказала актриса Фрелих,— если профессор позаботится о том, чтобы мы пропустили глоточек. Что у них там есть в буфете?

И, как вчера, легонько дотронулась двумя пальцами до его подбородка.

— Вина? — догадался Гнус.

— Молодчина! — одобрила актриса Фрелих.— Да только какого?

Гнус был несведущ в винах. Он озирался, надеясь на подсказку, как запнувшийся школьник.

Супруги Киперт с интересом смотрели на него.

— Начинается на *ш*,— и вправду подсказала актриса Фрелих.

— Шато,— закончил Гнус, он даже вспотел. Трактирная терминология давалась ему нелегко. Он повторил: — Шато.

— И совсем не то,— в рифму отвечала она.— Дальше идет ам, шам...

Гнус стал в тупик.

— Ей-богу, не пойму, как это вам в голову не приходит. Даже удивительно.

Внезапно лицо Гнуса озарилось наивным счастьем. Догадался!

— Шампанское!

— Наконец-то! — воскликнула актриса Фрелих.

Густа и Киперт подтвердили правильность его догадки. Артист пошел в буфет передать заказ. Когда он возвращался через залу, хозяин заведения собственноручно нес перед ним ведерко, из которого торчали горлышки двух бутылок. Киперт, затянутый в трико, раздувал щеки, и все вокруг покатывались от хохота.

В артистической уборной стало шумно. Когда наполнялись бокалы, Гнус всякий раз думал, что это *его* вино и тут уж Ломану не примазаться. Вдруг актриса Фрелих тоже сказала:

— На шампанское ваши желторотые ни разу не расщедрились.— Взгляд ее делался все лукавее: — Да я бы их и не стала просить.

Лицо Гнуса оставалось бесстрастным, и она тяжело вздохнула. Киперт поднял свой бокал.

— Господин профессор: за тех, кого мы любим!

Он подмигнул Гнусу и актрисе Фрелих, которая досадливо пробормотала:

— Вздор! Куда уж ему скумекать.

Толстухе надо было переодеться для следующего выхода,

так как после пения опять шли акробатические номера. Она заметила:

— Нет уж, любоваться тем, как я влезаю в трико, я господину профессору не позволю. Так далеко наша дружба еще не зашла.— Она поставила друг на дружку три стула и на спинки навесила платья. Высота этой стены была достаточная, но в ширину Густа ее превосходила. Из-за импровизированной ширмы то и дело выставлялись ее телеса, и присутствующие громко вскрикивали. Актриса Фрелих хохотала, уронив руки на стол; на Гнуса ее веселье подействовало так заразительно, что он, вытянув шею, нет-нет да и косился на Густу. Толстуха взвизгивала, Гнус менял позу и снова не без робости принимался за ту же игру.

Актриса Фрелих с усилием поднялась со стула, перевела дыхание и заметила:

— Со мною он бы себе такого не позволил, с места не сойти, если я вру.

И прыснула.

Публика алчно требовала искусства, пианисту уже не удавалось держать ее в узде. Толстяки поспешили на сцену.

Оставшись наедине с Гнусом, актриса Фрелих притихла. Он же окончательно растерялся. Несколько мгновений в уборной царила тишина, только пение доносилось со сцены. Она прервала молчание:

— Опять эта дурацкая матросская песенка на турнике. Вот посмотрите, я им отобью охоту ее исполнять!.. Ну, а вы-то хороши, не заметили здесь никакой перемены.

— Перемены? В ката... здесь у вас? — залопотал Гнус.

— Ну, да куда уж вам заметить... Вчера что красовалось возле зеркала? Справа и слева?

— Ах, да, да — совершенно очевидно... два букета.

— А вы, неблагодарный, не соображаете, что я ради вашего удовольствия швырнула их в печку.

Она обиженно надула губки. Гнус взглянул на печку и зарделся от радости; итак, артистка Фрелих сожгла цветы, поднесенные ей Ломаном. Вдруг страшное волнение овладело им; его осенила мысль возместить артистке Фрелих сожженные цветы и самому поднести ей два букета. Присмотревшись, он установил, что на красной занавеске не обрисовывается ничья голова, и, возбужденный желаньем помериться силами с Ломаном, начал:

— Милейшая фрейлейн,— суммирую,— вчера вечером у вас, вероятно, вновь состоялась встреча с молодыми людьми?

— А зачем вы так рано ушли? И что мне, по-вашему, было делать, раз уж они сюда приперлись? Ну, зато я им выложила всю правду, одному особенно...

— Душевно рад... а сегодня... направляясь сюда, вы, вероятно,— как говорится, в свою очередь,— встретили этих троих?

— Подумаешь, какое счастье!

— Милейшая фрейлейн, если отсутствие цветов и шампанского вы воспринимаете как лишенье, вы их получите от меня. Недопустимо, чтобы такие предметы дарились вам учениками.

Внезапно обострившееся чутье подсказало взволнованному, красному, как рак, Гнусу, что «дурацкая песня этого олуха», которую актриса Фрелих не желала больше исполнять, и есть песнь о луне, сочиненная Ломаном! Он воскликнул:

— Вам нужно отказаться не только от песни о луне, но и от каких бы то ни было песен гимназиста Ломана.

— А если я восприму это как лишенье, вы, что ли, сочините для меня песню?

Для Гнуса такой вывод был несколько неожидан, тем не менее он заявил:

— Посмотрим, что тут можно будет сделать.

— Посмотрите, пожалуйста, да и вообще... кое-что можно сделать. Только кумекать надо.

Она вытянула губы и приблизила к нему свое лицо.

Но Гнус не скумекал. Он посмотрел на нее растерянно и недоверчиво. Она поинтересовалась:

— Скажите на милость, ну зачем вы здесь?

— Гимназисты не смеют...— начал он.

— Ладно уж...— Она стала расшнуровываться.— Мне надо надеть что-нибудь покороче. Помогите-ка, вас от этого не убудет.

Гнус повиновался. Толстяки вернулись после своего триумфа, томимые жаждой. Шампанского оставалось только в одной бутылке, с полбокала, не больше. Киперт предложил свои услуги: он сходит за новой порцией живительной влаги. Гнус с благодарностью принял его предложение. В бокал артистке Фрелих вылили весь остаток, ей надо было спешить на выход. Она покрыла себя славой. Шампанское становилось все слаще, Гнус все счастливей. Артист Киперт, когда наступил его черед, вышел на сцену на руках; его встретили овацией, и он стал всякий раз применять этот способ передвижения. Темперамент артистки Фрелих возрастал от номера к номеру, соответственно

возрастал и ее успех. Гнус уже не мог себе представить, как он встанет со стула.

Последние гости разошлись. Артистка Фрелих, вся светясь довольством, заметила:

— Так-то вот мы и живем изо дня в день, старикашечка, а по воскресеньям и того хлеще.

И вдруг разразилась рыданиями. Сквозь пелену хмеля Гнус в изумлении видел, как она уткнулась носом в распростертые на столе руки и как заходила вверх и вниз ее изогнутая диадема.

— Шик-блеск это только сверху,— рыдала она,— а поглубже-то беды-горя не обобраться...

Она продолжала плакать. Гнус мучительно недоумевал: что бы такое ей сказать? Меж тем воротился Киперт, поднял его со стула и вызвался проводить до ворот. Только на пороге Гнуса осенило. Он обернулся, протянул дрожащую руку к артистке Фрелих — она уже успела заснуть — и пообещал:

— Я вас как-нибудь протащу.

Благожелательный учитель мог сказать такую фразу ученику перед окончанием учебного года, мог хотя бы подумать так. Но Гнус еще никому так не говорил и ни о ком так не думал.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Часы показывали уже четверть девятого, а Гнуса все не было. Стремясь как можно полнее насладиться нежданной свободой, гимназисты исступленно шумели и вообще неистовствовали. Все выкрикивали одно слово: «Гнус! Гнус!» Одним было известно из достоверных источников, что он умер. Другие клялись и божились, что он запер в чулан свою домоправительницу, уморил ее голодом и теперь сидит в тюрьме. Ломан, Эрцум и Кизелак в этих разговорах не участвовали.

Вдруг Гнус, откуда ни возьмись, большими шагами прокрался к кафедре и осторожно, точно у него ныли все кости, опустился в кресло. Многие не заметили его появления и продолжали орать: «Гнус!» Но Гнус, видимо, не стремился «поймать их с поличным». Лицо у него было совсем серое, он терпеливо ждал, пока ему можно будет заговорить, и ответы учеников оценивал так прихотливо, что это уже граничило с ненормальностью. Один мальчик, которого он обычно донимал придирками, в течение десяти минут вместо перевода нес сущую околесицу, а он его не останавливал. Другого злобно оборвал на

первом же слове. Эрцума, Кизелака и Ломана он по-прежнему не замечал, но думал только о них. Он задавался вопросом: вчера, на его крестном пути домой, не прятались ли они за углом, когда ему стало так дурно, что он, обеими руками цепляясь за стену дома, едва-едва тащился вперед. Кажется, он даже толкнул их и пробормотал «извините»... Впрочем, ведь его мозг и тогда работал с полной ясностью: он ни на секунду не упускал из виду, что не все виденное и слышанное им в таком состоянии духа должно стать достоянием гласности.

Отчаянный страх мучил его, ибо точно он не знал, так это было или не так. Что известно этим трем отщепенцам?.. И что произошло вчера после того, как он, Гнус, уже не в состоянии был уследить за событиями? Вернулась эта троица в «Голубой ангел»? Чего доброго, Ломан опять забрался в каталажку?.. Актриса Фрелих плакала; не исключено, что к тому времени она уже заснула. И Ломан, возможно, разбудил ее?.. Гнус всем своим существом жаждал заставить Ломана переводить самое трудное место, но трусил.

Ломан, граф Эрцум и Кизелак неустанно наблюдали за ним. Кизелаку во всем этом виделось главным образом смешное, Эрцуму — унизительное, Ломану — жалкое, но все они испытывали одно общее чувство — ужас оттого, что тайный и страшный сговор связывал их с тираном.

На школьном дворе во время перемены Ломан прислонился к теплой от солнца стене, скрестил руки на груди и, как вчера, когда он стоял у закопченной стены увеселительного заведения, вслушивался в себя — беды его слагались в стихи. Эрцум подошел к нему как бы мимоходом и сдавленным голосом спросил:

— Она лежала на столе и спала? Не может этого быть, Ломан!

— Говорят тебе, что она храпела. Он напоил ее до бесчувствия.

— Подлец! Пусть только еще раз...

Но, спохватившись, что это пустая хвальба, не закончил фразы. Пока тащишь на себе ярмо школы, остается только молча скрежетать зубами. Собственное бессилие внушало ему еще большее отвращение, чем Гнус. Он недостоин Розы...

Кизелак, пользуясь толкотней на школьном дворе, незаметно приблизился к обоим своим сообщникам, скривил рот, заслонив его ладонью, и, трепеща от тайного злорадства, зашептал:

— Помяните мое слово, он засыпется, да еще как!

И уже на ходу осведомился:

— Пойдете туда?

Оба пожали плечами. Что тут спрашивать, ведь это же само собой разумелось.

Для Гнуса посещение артистки Фрелих превратилось в обязанность, которая день ото дня становилась все более радостной. Опасаясь, как бы Ломан не опередил его, он всегда первым заявлялся в «Голубой ангел» и тотчас же принимался за дело. Приводил в порядок гардероб, разыскивал что почище из пышных юбок и штанишек, а то, что нуждалось в починке, складывал на стул у стены. Артистка Фрелих приходила в последнюю минуту, она уже привыкла полагаться на Гнуса. Он быстро научился кончиками своих серых пальцев развязывать на ней самые тугие узелки, расправлять банты, раскалывать булавки в укромных местечках. Розово-желтые взмахи ее рук, торопливо накладывавших грим, постепенно становились для него все более и более осмысленными. Он уже разбирался в палитре ее лица; усвоив названия и назначения цветных палочек и флаконч иков, жирных жестянок и баночек, коробочек и мешочков, все вокруг припорашивавших пудрой, он втихомолку, но ретиво изучал способы их применения. Артистка Фрелих отмечала его успехи. Однажды, сидя перед зеркалом, она вдруг откинулась на спинку стула и сказала:

— А ну, живо!

И он так загримировал ее, что сама она уже ни к одной краске не притронулась. Дивясь его сноровке, она пожелала узнать, как это он так быстро приобрел ее. Гнус покраснел и пробурчал что-то невнятное; любопытство ее так и осталось неудовлетворенным.

Он был в восторге от той роли, которую отныне играл в уборной артистки Фрелих. Ломану теперь нечего и надеяться заменить его. Ну, где ему, например, запомнить, что розовое болеро надо снести красильщику? Конечно, если бы Ломан упражнял память старательным заучиваньем стихов Гомера... а так, вот они, плоды лености!.. И Гнус, словно большой черный паук, двигался среди белых юбок и штанишек, разбросанных на полу и по стульям, как щупальцами, хватая их тощими, скрюченными пальцами. Смятые ткани с шуршаньем и шелестом разглаживались под его костлявыми, старческими руками. А некоторые вдруг наглядно воспроизводили тайком сохранен-

пую форму руки или ноги; Гнус смущенно косился на них, бормоча:

— При всем том, однако...

Затем он прокрадывался к двери и в щелку следил за той, чей голос дребезжал и взвизгивал под гром рояля, а руки и ноги выделывали всевозможные антраша в насквозь прокуренном воздухе на потеху дураков, чьи головы, как тюльпаны на грядках, покачивались в такт ее движениям. Он гордился ею, презирал весь этот сброд, ей аплодировавший, исходил ненавистью к нему, если он молчал, и испытывал странно волнующее чувство, слыша, как он ржет от восторга, когда декольтированная актриса Фрелих, кланяясь, щедро награждала его видом своих прелестей... В эти минуты мурашки пробегали по телу Гнуса... Но вот она на крыльях успеха влетала в уборную, и Гнус удостаивался чести слегка припудрить ей шею или накинуть на плечи ротонду.

При этом всегда было очевидно, в каком она настроении. Если она милостиво подставляла ему плечи, значит, ему предстоял приятный часок; если тыкала пуховкой ему прямо в физиономию — хорошего ждать не приходилось. Под пестрой ее одеждой ему открывалось больше, чем ее тело. Он вскоре понял, что осязать и обонять можно не только ткани и пудру, но, пожалуй, и самую душу женщины; и что пудра и ткани почти уже и есть ее душа.

Артистка Фрелих обходилась с ним то нетерпимо, то весьма дружелюбно. При дружелюбном обхождении он терял душевное равновесие. Ему было спокойнее, когда она бранилась... Время от времени она спохватывалась: ведь у нее существовал определенный план обращения с Гнусом, но проведение этого плана в жизнь докучало ей. Вспомнив назидания Гнуса, она становилась скромницей и даже сентиментальной, казалось — юная артистка ласково прикорнула у ног почтенного профессора; что поделаешь, приходится напускать на себя такой вид, если хочешь чего-нибудь добиться от серьезного человека...

И тут же — это приносило Гнусу немалое облегчение, хотя он сам не знал почему,— сбрасывала его со стула, как ворох нижних юбок.

Как-то раз она даже отвесила ему оплеуху. Потом быстро отдернула руку, пристально на нее посмотрела, понюхала и удивилась:

— Да у вас все лицо в жиру!

Он зарделся, а она расхохоталась:

— Он красится! Ей-богу, лопнуть можно! Вот почему он

так живо наловчился меня гримировать. Потихоньку тренировался на своей физиономии. Ах ты гнус!

Ужас изобразился на его лице.

— Да, да, гнус! — Она прыгала вокруг него.

И он улыбнулся счастливой улыбкой... Она знала его прозвище, знала от Ломана и других гимназистов, верно, с самого начала их знакомства; он был потрясен, но потрясен радостно. На мгновенье он заподозрил недоброе и слегка устыдился — как же это он радуется, что артистка Фрелих назвала его этим мерзким именем? И тем не менее он был счастлив. Увы, долго размышлять ему не пришлось: она послала его за пивом.

Гнус не ограничился тем, что заказал пиво; он велел хозяину, несшему кружки, идти впереди него через зал, сам же, прикрывая транспорт с тыла, тем самым предотвращал возможность расхищения его по пути. Как-то раз владелец «Голубого ангела» предложил Гнусу самому отнести пиво. Но величавое достоинство, с каким тот отклонил предложение, навек отбило у трактирщика охоту повторять его.

Прежде чем выпить, артистка Фрелих подняла кружку.

— Ваше здоровье, Гнус.— И, помолчав, добавила: — Смешно, что я называю вас Гнусом? Ну, конечно, смешно. Что мы друг другу? Да и давно ли мы знакомы? Чего только не делает привычка... Послушайте-ка, что я вам скажу! Вот, например, Киперт с женой, да пропади они пропадом — я и слезинки не пророню. А вы — дело другое...

Взгляд ее мало-помалу сделался задумчивым и неподвижным. Погруженная в свои мысли, она спросила:

— Но что все это значит? Вы-то чего *хотите?*

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Гнус никогда об этом не думал и поздно вечером, уходя от артистки Фрелих, тревожился только одним — неизвестностью относительно Кизелака, фон Эрцума и Ломана. Страх перед их тайными интригами заставил его пуститься на крайность и позабыть о границах возможного. В переулке возле «Голубого ангела» он как-то раз услыхал их шаги за своей спиной. Стараясь ступать как можно легче, чтобы они не заметили, когда он остановится, он спрятался за углом и, склонив голову набок, внезапно вышел прямо на них. Они отпрянули, но Гнус ободряюще, хотя и с ядовито поблескивающим взглядом, заговорил:

— Опять,— как говорится, в свою очередь,— решили насладиться искусством? Правильно. Пойдемте-ка и еще раз повторим все пройденное вами; у меня таким образом явится возможность узнать, сколь значительно вы преуспели в данной области.

И, так как все трое замерли на месте, явно страшась этой интимности с тираном, добавил:

— Мое приобретенное таким образом мнение о вашем общем развитии может в известной мере — я бы сказал — повлиять на отметки следующего семестра.

Он потянул Ломана за руку, а двум другим велел идти впереди. Ломан нехотя поплелся с ним рядом; но Гнус немедленно заговорил про его песнь о луне.

— Твоя любовь на берегу морском
Оплакивает свой печальный жребий...—

продекламировал он.— Любовь, как понятие абстрактное, плакать, разумеется, не может. Но поскольку вы в этом понятии персонифицируете ваше душевное состояние и поскольку вся поэтическая субстанция отделяется от вас, чтобы лить слезы на берегу выдуманного вами моря, пусть будет так. В качестве наставника я лишь позволю себе присовокупить, что упомянутое душевное состояние отнюдь не пристало ученику шестого класса, да еще ученику с весьма туманными перспективами относительно перевода в следующий класс.

Ломан, испуганный и оскорбленный тем, что Гнус своими иссохшими пальцами выхватил кусок его души, поспешил сказать:

— Все это, господин учитель, от начала и до конца поэтическая вольность. Ничего не значащий пустяк, l'art pour l'art[1], если вам известно такое выражение. Душа тут совершенно ни при чем.

— Пусть так,— отвечал Гнус.— Впечатление, которое ваши стихи произвели на публику, является — суммирую — исключительно заслугой талантливой актрисы.

Упоминание об артистке Фрелих пробудило в нем чувство гордости; чтобы не дать ему вырваться наружу, он даже задержал дыханье и поспешил перевести разговор. Попрекнув Ломана склонностью к романтической поэзии, он потребовал от него более усердного изучения Гомера. Ломан утверждал, что немногие подлинно поэтические места у Гомера давно превзой-

[1] Искусство для искусства (*франц.*).

дены. Собака, издыхающая при возвращении Одиссея, ничего не стоит по сравнению с собакой в «Радости жизни» Эмиля Золя.

— Если вы слыхали о таком произведении, господин учитель,— добавил он.

В конце концов разговор перекинулся на памятник Гейне, и Гнус, чтобы отомстить Ломану, повелительно крикнул в ночь:

— Нет! Никогда!

Они подошли к городским воротам. Гнусу надо было свернуть в сторону. Но он этого не сделал и, очутившись на темной лужайке, велел приблизиться Кизелаку.

— А вы догоните-ка своего дружка Эрцума,— сказал он Ломану. В настоящий момент его более всего тревожил Кизелак. Семейные обстоятельства этого гимназиста наводили его на подозрения. Отец Кизелака, портовый чиновник, обычно работал по ночам. Кизелак говорил, что живет у бабушки. Гнус опасался, что дряхлая старуха вряд ли способна ограничить ночные похождения внука. А ворота «Голубого ангела» еще долго будут стоять открытыми.

Кизелак, учуяв, что волнует Гнуса, поспешил заверить:

— Бабушка бьет меня.

Фон Эрцум, с которого Гнус не спускал бдительного взгляда, опустил судорожно сжатые кулаки и тихо сказал Ломану:

— Не советую ему заходить так далеко. Всему на свете бывает конец.

— Надеюсь, что конца еще не предвидится,— отвечал Ломан.— Эта история нравится мне все меньше и меньше.

Эрцум не унимался:

— Слушай, Ломан, что я тебе скажу... Мы здесь, можно сказать, одни, до дома вдовы Блос не будет ни фонаря, ни полицейского. Сейчас я обернусь и стукну этого типа,—надеюсь, вы не станете меня удерживать... Такая, такая женщина в лапах у этого негодяя, у этого спрута! Ее чистота... Сейчас я ему покажу!

Запальчивость фон Эрцума возрастала оттого, что Ломан не разделял ее. Но сегодня он не стыдился своих угроз, ибо чувствовал себя способным привести их в исполнение.

Ломан медлил с ответом.

— Если ты его убьешь, это, конечно, будет грандиозное событие, тут спорить не приходится,— устало проговорил он.— Все увидят, что кто-то наконец решился на смелый жест — распахнул двери; а то ведь наш брат только и знает, что стоять в страхе: вдруг дверь откроют изнутри и стукнут его по лбу.

Ломан замолчал, напряженно дожидаясь, что Эрцум скажет ему в лицо: ты любишь Дору Бретпот. Мысленно он уже брался

за ружье, которое лежало наготове для этого случая... Но его признание растаяло в воздухе.

— Другой вопрос,— Ломан скривил губы,— сделаешь ли ты это... Ты ведь тоже из тех, что ничего не делают.

Фон Эрцум рванулся назад. Ломан ясно увидел — фонарь вдовы Блос был теперь уже близко,— что в глазах друга мелькнуло безумие. Он схватил его за плечо.

— Без глупостей, Эрцум! — И принял равнодушный вид.— Это же немыслимое дело, к подобным вещам не относятся серьезно. Ты только взгляни на этого человека. Таких не убивают. При встрече с ним можно разве что пожать плечами. Неужто ты хочешь, чтобы тебя пропечатали в газетах рядом со стариком Гнусом? Конфузное соседство!

Горестная злоба Эрцума мало-помалу улеглась. Ломан слегка презирал его за то, что он вновь стал безопасен.

— Вдобавок ко всему,— заметил он,— ты мог бы предпринять нечто куда более благоразумное, но ты медлишь. Просил ты денег у Бретпота?

— Н-нет!

— Так я и знал. А ты ведь собирался объявить опекуну о своей страсти и о том, что лучше пойти в солдаты, чем видеть свою возлюбленную гибнущей в лапах такого мерзавца. Ты хотел добиться свободы ради нее, да, да, всего этого ты хотел.

Эрцум пробормотал:

— А много ли проку от моего хотенья?

— Что ты имеешь в виду?

— То, что денег он мне все равно не даст. А скрутит меня так, что я и видеться с Розой не смогу.

Подобный образ действий опекуна Ломану тоже показался весьма вероятным.

— Я могу тебе одолжить триста марок,— небрежно добавил он,— если ты хочешь бежать с нею...

Эрцум процедил сквозь зубы:

— Покорно благодарю.

— Нет так нет.— И Ломан засмеялся тихо и горестно.— Впрочем, ты прав. Прежде чем сделать женщину графиней, надо хорошенько поразмыслить. А на другие условия она не пойдет.

— Да я и сам не хочу по-другому,— надломленным голосом отвечал Эрцум.— А она вообще не хочет... Ах, ты ничего не знаешь. Никто не знает, что с воскресенья я пропащий человек. И просто смешно, что вы разговариваете со мной, как с прежним Эрцумом, да и сам я себя веду, как будто ничего не случилось.

Они пошли молча. Ломан был расстроен; он чувствовал, что страсти его к Доре Бретпот нанесено оскорбление; теперь и Эрцум переживает трагедию из-за этой дурехи Фрелих. Оскорбительное сходство!

— Итак? — хмуро спросил он.

— Ах да! В воскресенье, когда мы отправились к кургану, ты, я, Кизелак и... Роза... я так радовался, что она со мной, и в кои-то веки без Гнуса. Я был совершенно уверен в удаче.

— Правильно. Ты поначалу был в отличном настроении и даже по мере своих скромных сил раскапывал курган гуннов.

— Да, да... Как вспомню, так прямо... курган я раскапывал *до того,* еще совсем другим человеком... После завтрака мы с Розой остались, можно сказать, одни в лесу; ты и Кизелак уснули. Я было набрался храбрости, но в последнюю минуту струсил. Хотя она ведь всегда хорошо со мной обходилась, не то что с тобой, правда?.. И, казалось, только и ждет, чтобы я объяснился. Я захватил с собой все деньги, которые у меня были, и думал, что мы с ней вообще уже не вернемся в город, а прямо из лесу удерем на станцию.— Он умолк.

Ломан подтолкнул его локтем:

— Она что, недостаточно тебя любит, да?

— Она сказала, что еще слишком мало меня знает. Или это, по-твоему, была просто отговорка?.. Кроме того, она испугалась, что нас поймают и ее упрячут в каталажку за совращение несовершеннолетнего.

Ломан изо всех сил боролся с душившим его смехом.

— Такое благоразумие,— давясь, проговорил он,— не свидетельствует об очень уж сильном чувстве. Во всяком случае, ее любви далеко до твоей. Тебе тоже следовало бы поразмыслить, не взять ли назад хоть часть того сердечного пыла, который ты вложил в это предприятие... Не кажется ли тебе после вашего объяснения у кургана, что не стоит жертвовать ей всем своим будущим?

— Нет, мне это не кажется,— серьезно отвечал Эрцум.

— В таком случае, ничего не поделаешь,— решил Ломан.

Они подошли к дому пастора Теландера. Эрцум вскарабкался по столбу на балкон. Гнус, стоя между Кизелаком и Ломаном, смотрел ему вслед. Когда Эрцум влез в окно своей комнаты, Гнус задумчиво пошел назад. Его преследовала мысль, что фон Эрцум, если захочет, может снова спуститься... Но особенно он фон Эрцума не опасался и презирал его за простоту.

Он проводил обоих гимназистов обратно в город и сдал Кизелака с рук на руки бабушке.

Затем он дошел с Ломаном до дома его родителей, прислушался к стуку ворот, что захлопнулись за ним, посмотрел на осветившееся верхнее окно, протомился несколько минут, пока оно снова не стало темным, и на всякий случай подождал еще немного. Все было спокойно.

Тогда Гнус наконец собрался с духом и зашагал восвояси.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Гнус неумолимо отгонял всех любопытных от дверей артистической уборной. Иностранные матросы думали, что он актерский «вербовщик». Другие, считавшие, что он не похож на антрепренера, принимали его за отца актрисы Фрелих. Впрочем, среди гостей попадались и местные жители, которые знали его, те только робко ухмылялись.

Поначалу его высмеивали все кому не лень. Но Гнус, высокомерный и презрительный, не замечал насмешек. Здесь он был на голову выше их всех. И вскоре они это почувствовали. Куда уж им до него: они сидели здесь за свои гроши, а Гнус с видом причастного таинству распахивал дверь перед артисткой Фрелих, которая всем им казалась крайне соблазнительной. Они поневоле проникались почтением к Гнусу, и их попытки высмеять его становились день ото дня более робкими. Зато они всласть шушукались на его счет в задних комнатах оптовых контор. Оттуда-то и просочились в город слухи о странном образе жизни Гнуса. Им не сразу поверили. Ученики старика Гнуса сегодня утверждали, что он запер в чулан свою домоправительницу, завтра что-нибудь еще. В городе к этому уже привыкли и только посмеивались.

Но однажды молодой учитель под конвоем старейшего из преподавателей, полуглухого старца, посетил «Голубой ангел», и оба они убедились в справедливости этих слухов. На следующее утро глухой старец, обращаясь к Гнусу, произнес в учительской проникновенную речь о достоинстве воспитателя юношества. Молодой учитель скептически улыбался. Другие старались не смотреть на Гнуса или пожимали плечами. Гнус испугался: это было дерзновенное покушение на полноту его власти. Подбородок его затрясся, он с трудом проговорил:

— Это, это — несомненно и безусловно — вас не касается.

Уходя, он еще раз обернулся:

— Мое достоинство — суммирую — мое личное дело.

Он усиленно зашмыгал носом и вышел, весь дрожа. С полдороги его стало неудержимо тянуть обратно. И потом он весь день страдал оттого, что высказался недостаточно ясно. Надо было прямо заявить, что актриса Фрелих достойнее всех учителей, вместе взятых, лучше глухого профессора и нравственно выше директора. Она — единственная вместе с Гнусом возвышается над всем нечестивым человечеством, дерзающим оскорблять ее и даже сомневаться в нем.

Но мысли его шли еще слишком извилистыми, непроторенными путями, слишком были глухи и неясны, чтобы открыть их людям. Они подспудно терзали его; в тиши кабинета на него находили приступы ярости, тогда он сжимал кулаки и скрежетал зубами. А в воскресенье Гнус отправился с артистом Кипертом на выборы в штаб-квартиру социал-демократов возле Овощного рынка. Это решение было принято внезапно. Он сделал открытие — могущество касты, представителем которой был Ломан, «долженствует быть уничтожено». До сих пор он на все уговоры артиста отвечал лишь насмешливо-высокомерной усмешкой: усмешкой просвещенного деспота, который стоит за церковь, меч, невежество и косность, но о причинах, его к тому побуждающих, предпочитает умалчивать.

И вот сегодня он вдруг решил сокрушить все устои, на стороне черни восстать против кичливой знати и распахнуть перед народом двери дворца, дабы во всеобщей анархии потонули отдельные мятежники. От народного духа, дымным облаком нависшего над помещением избирательного участка, у Гнуса сперло дыханье, в нем проснулась неистовая жажда разрушения. Стуча согнутыми пальцами по столу, заставленному пивными кружками, он вопил:

— Следовательно! Я не намерен впредь все это выносить!..

Но это был хмельной порыв, на следующий день он в нем раскаивался. Вдобавок он узнал, что в то время, когда он занимался переворотом, актриса Фрелих куда-то исчезла из города. Цепенея от страха, он подумал о Ломане.

Ломана сегодня не было в классе! Какие безобразия творил он в это время? Стоило Гнусу отвернуться, как он уж был подле актрисы Фрелих. Ясно, он убежал к ней. Прячется в ее комнате. Гнус рвался увидеть эту комнату, обшарить, обыскать ее...

Все эти дни его трясло от злобных подозрений. В гимназии он беспощадно крушил карьеры шестиклассников. В артистической уборной поносил толстуху за пагубное влияние на актрису Фрелих. Она снисходительно похохатывала. Сама актриса Фрелих оправдывалась:

— Как бы не так, поеду я за город с вашими сопляками, да лучше мне на месте околеть, чем с ними канителиться.

Он в ужасе на нее уставился. Затем, в неодолимом стремлении оправдать ее, уверовать в ее невинность, снова накинулся на толстуху:

— Извольте дать мне отчет! Что вы сделали с вверенной вашему попечению артисткой Фрелих?

Та невозмутимо отвечала:

— Да вы просто смешны.— Она пошла к двери, но на пороге обернулась: — С вами никто сыт не будет.— И, уже уходя, добавила: — А уж об удовольствии и говорить нечего.

Гнус побагровел. Артистка Фрелих хохотала.

— Ему просто на ум не приходит,— пояснила она, хотя они с Гнусом остались вдвоем. Больше она ни слова не промолвила...

Но стоило только войти толстякам, как Гнус немедленно начинал задирать их. Он уже давно сурово обходился с ними. Чем значительнее становилась в его представлении актриса Фрелих, чем ретивее он защищал ее против всего человечества, тем меньше места оставалось на стульях уборной для юбок толстухи и трико ее супруга. Он не прощал им успеха, которым они пользовались, и шумливой веселости.

Однажды после акробатического номера он выгнал Киперта из уборной, потому что тот сильно потел, а потеть в присутствии такой дамы, как артистка Фрелих, не полагалось. Киперт ушел вперевалочку, добродушно заметив:

— Она не из масла, к ней запах не пристанет.

Жена его хоть немножко и обиделась, но фыркнула и подтолкнула Гнуса локтем. Гнус отряхнул рукав. Она разобиделась уже всерьез.

Артистка Фрелих хихикала, глядя на эту сцену. Она не могла не чувствовать себя польщенной. Толстяки давно уже досаждали ей успехом своей матросской песенки. Гнус без устали твердил ей, что только она — настоящая актриса. Простодушный интриган, он разжигал в ней зависть, завлекал ее в свои сети, приучая свысока относиться ко всему человечеству и искать опоры только в нем одном — неизменно верном рыцаре. Он требовал от нее глубочайшего презрения к публике в целом, успеха у которой она так настойчиво добивалась, и к каждому отдельному зрителю, которому она пришлась по вкусу. Толстуху он ненавидел главным образом за то, что она приносила из зала вести о впечатлении, произведенном актрисой Фрелих.

— Как! Как это возможно! — восклицал он.— Этот Мейер

осмеливается рассуждать, когда сам в девятнадцать лет еще не окончил гимназии и вынужден был поступить на военную службу рядовым!

Артистка Фрелих улыбкой маскировала свое смущение — рядовой Мейер ей очень нравился. Она бы и рада была, чтобы он ей не нравился. Переимчивая от природы, она, кроме того, чувствовала себя польщенной, что такой ученый человек, как Гнус, ее воспитывает. До сих пор никто ее воспитанием не занимался. Толстуху, пытавшуюся замолвить словечко за Мейера, она резко оборвала.

Случалось, что она тыкала Гнусу в нос цветы и говорила:

— Вот эта роза с червоточиной от того толстяка, что сидит возле рояля.

— Деточка,— вмешивалась толстуха,— это ведь хозяин табачной лавки на рынке, мужчина что надо, и лавка у него первый сорт, Киперт там постоянный покупатель.

— Ну, а что скажет Гнусик? — осведомлялась артистка Фрелих.

Гнус заверял, что хозяин лавки всегда был одним из худших учеников и как коммерсант тоже не дорого стоит; ни разу он не прислал счета, где бы не была переправлена первая буква его, Гнуса, фамилии. Толстуха замечала, что это еще ровно ничего не доказывает. Гнус врал, что в деловом мире табачник считается ненадежным. Артистка Фрелих, видя, что он рвет и мечет, виляла бедрами и нюхала розу с червоточиной.

— Вы только и знаете, что чернить всех и каждого,— говорила толстуха.— А какой вам от этого прок, скажите на милость? — И, так как Гнус молчал, продолжала: — Сами-то вы чем уж так хороши, может, объясните нам, а?

— Да, он все никак не скумекает.— Артистка Фрелих хлопнула себя по колену, а Гнус залился краской.

— Ну и пусть себе умничает в одиночку,— решила толстуха,— а ты уж займись кем-нибудь попроще, дураки тоже чего-нибудь да стоят, нет-нет да кой о чем и догадаются. Ты меня понимаешь, Розочка. И знаешь, почему я тебе даю такие советы? Я тоже не могу столько времени дожидаться.

И она ушла вместе с Кипертом петь матросскую песенку. Артистка Фрелих вконец расстроилась.

— Ей-богу, от нее сдохнуть можно! — Она сжала руки и, несколько успокоившись, добавила: — Все нервы мне истрепала.— И вдруг с отчаянием: — А у вас сочувствия ни на грош.

И Гнус вдруг ощутил неприметно и ежедневно растущее бремя вины и полное свое бессилие от него избавиться.

Покуда из зала доносилась матросская песенка, актриса Фрелих, стеная, металась по комнате.

— Нет, терпенье мое лопнуло... давно я сулилась напакостить толстякам. Верно ведь? А вот теперь возьму и напакощу!

И едва только чета Кипертов окончила песенку героических немецких матросов, как она стремглав выскочила на сцену и завизжала в уши еще потрясенных патриотическим восторгом зрителей:

Мой муж — бывалый капитан.
Когда домой назад
Вернется он из дальних стран,
Он мне надраит...

Сначала все замерли; потом возмущенно зашумели и, наконец, обрадовались столь резкому контрасту.

Рискованная выходка удалась актрисе Фрелих, и она вернулась сияющая.

На этот раз толстуха обиделась уже не на шутку.

— Мы оба из кожи вон лезем, чтобы показать людям высокое искусство, а вы вдруг поганите самое наше святое. Подлость, и больше ничего!

Гнус, вкупе с актрисой Фрелих, это отрицал. Он утверждал, что в искусстве правомочно любое направление; искусство создается руками великих мастеров, а святая святых искусства — это талант актрисы Фрелих. Она дополнила его умозаключение несколькими словами, обращенными к толстухе:

— Мне, если хотите знать, вообще на вас...

Тут вошел Киперт, пропуская впереди себя коренастого человека с рыжей морской бородкой вкруг красного мясистого лица. Последний, высоко вздернув брови, заговорил:

— Ай да барышня, черт подери, настоящий постреленок. Хо-хо! «Он мне надраит...» Я ведь тоже капитан, и если вам угодно распить со мной бутылочку...

Гнус не утерпел и вмешался:

— Артистка Фрелих — понятно и самоочевидно — ни с кем не пьет! Вы ошиблись, друг мой! И к тому же не учли, что эта катала... эта артистическая уборная носит сугубо приватный характер.

— Вы что, господин хороший, смеетесь, что ли? — И капитан еще выше вздернул брови.

— Отнюдь нет,— возразил Гнус.— Я только даю вам понять, что вы должны отсюда удалиться.

Это было уже слишком. Супруги Киперт не выдержали.

— Господин профессор,— зашумел уязвленный артист,— если я привожу друга, с которым только что выпил на брудершафт, то это мое и только мое дело.

Тут прорвало и его жену:

— Да на черта он нам сдался! Никому гроша не дает заработать, торчит здесь с утра до ночи, вонючка этакая, и еще людей вон выгоняет. Роза, идите-ка с капитаном!

Гнус пожелтел и задрожал.

— Артистка Фрелих,— крикнул он замогильным голосом и взглянул на нее окосевшим от страха взглядом,— не из тех, что пьют ваше пиво, друг мой!

Его взгляд буравил ее; она вздохнула.

— Идите-ка лучше подобру-поздорову,— сказала она.— Тут ничего не поделаешь!

Торжествующий Гнус — на щеках у него выступили красные пятна — подскочил к капитану.

— Вы слышите? Она сама вам это сказала. Артистка Фрелих удаляет вас из клас... Повинуйтесь! Итак, вперед, начали!

Он уже вцепился в капитана, закогтил его, потащил к двери. Дюжий капитан не противился исступленному натиску. Он только встряхнулся, когда Гнус его отпустил. Но это произошло уже по ту сторону двери, с силой захлопнувшейся перед его изумленной физиономией.

Артист что было мочи стукнул кулаком по столу.

— Старый хрыч, да вы, верно...

— А вы, мой друг...

Распаленный Гнус двинулся на него. Киперт струсил.

— Заметьте себе... суммирую... поскольку артистка Фрелих пользуется, так сказать, моим покровительством, я не потерплю, чтобы ей наносились оскорбления, так же как не потерплю подрыва своего авторитета. Рекомендую почаще повторять это себе, а также записать для памяти.

Артист что-то проворчал, но он был явно укрощен и незаметно скрылся. Артистка Фрелих во все глаза смотрела на Гнуса и вдруг расхохоталась; мало-помалу смех ее сделался тихим, ласковым и ехидным, казалось — она раздумывает о Гнусе и о себе самой: почему она гордится человеком, который смешон в ее глазах?

Толстуха справилась со своим гневом и дотронулась до плеча Гнуса:

— Послушайте-ка, старина!

Гнус, отойдя в сторонку, вытирал лоб; он уже смягчился. Ужас тирана, на мятеж ответствующего безрассудной яростью, и на этот раз сломил его.

— Вот, значит, в дверь входит Киперт, а вот Роза, вот тут вы, а здесь я...— Проникновенным голосом она воссоздавала перед ним картину действительности.— А кроме нас, был тут еще и капитан, которого вы выставили. Он вернулся из Финляндии, и дела у него идут что надо, потому что его судно потонуло, а оно было застраховано... Вы небось судна не страховали? Ну, да это не обязательно. Зато у вас разные там духовные дары. Вам надо их показать, вот и все... Розе, к примеру. Понятно? Капитан — малый видный, денежный и девчонке по душе...

Гнус в растерянности поглядел на артистку Фрелих.

— Ничего подобного,— крикнула она.

— Да вы же сами говорили.

— Господи, вот врет-то!

— Может, вы еще скажете, что ученик господина профессора, черный такой, кудрявый, не сделал вам предложения честь по чести?

Гнус взвился. Артистка Фрелих его успокоила.

— Да она со злости все перепутала. Взять меня за себя хочет только рыжий, который похож на пьяную луну. Он граф, но мне от этого толку чуть, я до него не охотница.

Она улыбнулась Гнусу ласково, по-детски.

— Ладно, пусть я вру,— согласилась толстуха.— А что вы мне должны двести семьдесят марок — это тоже вранье, Розочка? А? Видите ли, господин профессор, я в другое время лучше бы себе язык откусила, чем при вас ей про долг поминать. Ну да ведь своя рубашка, как говорится, ближе к телу. А раз уж вы всех отсюда вышибаете, господин профессор, надо бы вам быть потороватее. Бог с ними, с деньгами, я об них не говорю, но ведь такой молоденькой девчонке хочется любви, да и как не хотеть. А у вас... ничего такого не заметно, это вам, видно, и на ум нейдет. И я уж не знаю, что тут — смеяться или плакать.

Артистка Фрелих крикнула:

— Если я сама молчу, так вам уж и подавно нечего соваться, госпожа Киперт.

Толстуха пропустила ее слова мимо ушей. Гордясь своим заступничеством за благоприличие и нравственные устои, она с высоко поднятой головой вышла из комнаты.

Артистка Фрелих пожала плечами:

— Она женщина необразованная, но, в общем, не злая. Ну, да бог с ней, а то вы еще, чего доброго, подумаете, что мы на пару работаем и стараемся завлечь вас.

Гнус поднял глаза. Нет, такое предположение ему в голову не приходило.

— И вообще я ни с кем на пару не работаю...

Глядя на него снизу вверх, она рассмеялась насмешливо и нерешительно.

— Даже с вами..— И помолчав: — Ведь правда?

Ей пришлось несколько раз повторить свой вопрос. Гнус не замечал мостика, который она ему перекинула. Только ее настроение сообщилось ему, и его бросило в жар.

— Пусть так,— сказал он и протянул к артистке Фрелих трясущиеся руки. Она вложила в них свои. Ее пальчики, грязноватые и засаленные, легко скользнули в его костлявые пальцы. Ее пестрое лицо, волосы, искусственные цветы, словно размалеванное колесо, замелькали перед его глазами. Он совладал с собой.

— Вы не должны брать взаймы у этой женщины. Я решился...

Он проглотил слюну. Страшная мысль пронеслась у него в голове: а что, если гимназист Ломан опередил его в этом решении,— гимназист Ломан, отсутствовавший сегодня в классе и, возможно, прятавшийся в комнате артистки Фрелих?

— Я возьму на себя — безусловно и несомненно — оплату вашей комнаты.

— Не стоит об этом говорить,— тихонько отвечала она.— Есть кое-что поважнее. Да и комната у меня недорогая...

Пауза.

— Она здесь, наверху... Хорошая комнатка... Может, хотите взглянуть?

Она потупилась со смущенным видом — как положено девушке, когда ей делает предложение серьезный человек. И удивилась: ни малейшего желания смеяться, и сердце бьется чуть-чуть взволнованно и торжественно.

Артистка Фрелих подняла на него потемневшие глаза и сказала:

— Идите-ка вперед. Не хочу, чтоб эти обезьяны в зале нас сразу заметили.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Кизелак открыл дверь в зал, сунул в рот свою посинелую пятерню и негромко свистнул. Из зала тотчас же появились Эрцум и Ломан.

— Спеши, друг! — крикнул Кизелак каждому в отдельности и, жестами приглашая их следовать за собой, вприпрыжку направился к лестнице.— Наконец-то!

— Что наконец-то? — равнодушно спросил Ломан, хотя отлично понял, о чем идет речь, и был очень заинтересован этим.

— Они уже наверху,— гримасничая, прошептал Кизелак. Он снял башмаки и стал подниматься по деревянной пологой лестнице с желтыми перилами, которая все равно скрипела. На втором этаже была дверь. Кизелак знал ее. Он прильнул к замочной скважине. Через несколько секунд, не отрываясь от скважины, он молча и энергично закивал головой.

Ломан пожал плечами и остался стоять на первой ступеньке рядом с Эрцумом, который, разинув рот, смотрел наверх.

— Ну, как ты? — с проникновенным и сочувственным видом спросил Ломан.

— Клянусь богом, я ничего не понимаю,— отвечал Эрцум.— Не думаешь ли ты, что там что-нибудь такое происходит? Кизелак паясничает, по обыкновению.

— Ну, конечно,— из сострадания подтвердил Ломан.

Кизелак все яростнее кивал головой и беззвучно хихикал в замочную скважину.

— Ведь она же знает, что я могу убить этого типа.

— Ты опять за свое?.. А ей, может, так еще интереснее...

Фон Эрцум ничего не понимал. Представление о любви раз и навсегда было заложено в него скотницей, которая три года назад у них в имении повалила его на сено после победы, одержанной им в схватке с ражим пастухом... А тут... кособокий мозгляк; не думает же Роза Фрелих, что он его боится?

— Не думает же она, что я его боюсь? — спросил он Ломана.

— А ты не боишься? — в свою очередь, спросил Ломан.

— Сейчас увидишь!

И Эрцум, вне себя от волнения, в два прыжка перескочил через шесть ступенек.

Кизелак, оторвавшись от замочной скважины, на цыпочках исполнял победный танец. Вдруг он замер.

— Мать честная! — прошептал он, и глаза сверкнули на его бледном, одутловатом лице. Эрцум стал красен как рак и

закашлялся. Взгляды их встретились и вступили в борьбу. Взгляд Эрцума настаивал: этого не может быть. Во взгляде Кизелака сквозила насмешка, левое веко у него слегка подергивалось... И вдруг Эрцум мертвенно побледнел, согнулся в три погибели, словно получив удар в живот, и застонал от боли. Шатаясь, он спустился вниз. Ломан стоял там со скрещенными на груди руками, вокруг рта у него залегли скорбные складки. Эрцум как мешок осел на последней ступеньке и обхватил голову руками. Молчанье. Потом глухой голос:

— Ломан, скажи, в твоей голове это укладывается? Женщина, которую я ставил так высоко! Мне все кажется, что этот паршивец Кизелак валяет дурака. Тогда... да простит ему бог. Женщина с такой душой!

— Душа не участвует в том, чем она сейчас занимается. Чисто женская особенность!

Ломан свирепо усмехнулся. Этими словами он втаптывал в грязь Дору Бретпот, ставил ее на одну доску с этой Фрелих — Дору Бретпот, лучшую из женщин. Какое наслаждение!

— А Кизелак опять подглядывает...

Эрцум сидел, отвернувшись, но Ломан держал его в курсе происходящего.

— Кизелак опять закивал, да еще как... Этот Гнус... Может, пойдем, Эрцум, а?

Он силой поднял друга и потащил его к воротам. Но на улице Эрцум уперся — и ни с места; отупелый, отяжелевший, он приник к обители своей горести. Ломан на все лады уговаривал его, грозил уйти; но тут появился Кизелак.

— Вот чудаки-то! Почему вы не входите? Гнус с новобрачной уже там. Я рассказал в зале, откуда они явились, ну им и устроили встречу! Ребята, это же немыслимая штука: сидят себе в каталажке, как два голубка. Я чуть со смеху не умер! Пошли, заявимся туда все трое.

— Да ты, верно...— начал Ломан.

Но Кизелак и не думал шутить.

— Неужто вы Гнуса испугались? — возмутился он.— Он сам до того увяз, что нам уже не страшен. Скорее мы с него семь шкур сдерем.

— Меня эта перспектива не увлекает. Жалко руки марать,— заметил Ломан.

Кизелак взмолился:

— Не будь же рохлей. Ты просто трусишь.

Спор решил Эрцум:

— Пошли! В каталажку!

Нестерпимое любопытство обуяло его. Он хотел лицом к лицу встретить эту женщину, упавшую с такой высоты! Хотел с бесконечным презрением взглянуть на нее, на ее злополучного соблазнителя и узнать, выдержит ли она его взгляд.

Ломан заметил:

— Это пошлость.

Но отправился с ними.

В уборной их встретил звон бокалов. Хозяин заведения откупоривал уже вторую бутылку шампанского. Сияющие супруги Киперт чокались с Гнусом и артисткой Фрелих; «молодые» торжественно восседали рядом.

Гимназисты сначала обошли вокруг стола. Потом встали навытяжку перед Гнусом и его дамой и хором пожелали доброго вечера. На их приветствие ответили только супруги Киперт. Затем Эрцум, уже в одиночку, грубым голосом повторил приветствие. Роза Фрелих удивленно взглянула на него и, нимало не сконфузясь, прощебетала не известным ему, воркующим голоском:

— А, вот и вы! Посмотри, душанчик, вот и они. Садитесь же и выпейте с нами.

Затем ее взгляд скользнул по Эрцуму до того равнодушно, что бедняга вздрогнул.

Гнус милостиво поднял руку.

— При всем том... садитесь и выпейте по бокальчику, сегодня вы мои гости.

Он покосился на Ломана, который уже сидел и свертывал себе папиросу... Ломан, отъявленный нахал, чья элегантность унижала плохо оплачиваемого учителя; Ломан, имевший наглость не называть Гнуса его прозвищем; Ломан, не серый, забитый школяр, не дурашливый малый, но человек, который своими независимыми манерами, своим жалостливым любопытством к злобным выходкам учителя *подвергал сомнению* власть тирана. Этот Ломан к своим посторонним занятиям тщился присоединить еще и актрису Фрелих. Но здесь его злонамеренность разбилась о железную волю Гнуса. Не сидеть ему в каталажке с актрисой Фрелих,— Гнус поклялся в этом. Не обладать ему актрисой Фрелих — так оно и вышло. И мало того, что Ломан не сидел с артисткой Фрелих, с нею сидел он, Гнус... Это уже превысило первоначальный замысел Гнуса. Он сам был удивлен и вдруг ощутил жгучую радость. Из-под носа у этого самого Ломана и обоих его приятелей, из-под носа у беглых учеников

там, в зале, и у пятидесяти тысяч строптивых школьников, составлявших население города, вырвал он артистку Фрелих и теперь один царил и правил в каталажке.

Гимназисты нашли, что он очень помолодел. В его съехавшем на сторону галстуке, в полурасстегнутом мундире и всклокоченной шевелюре было что-то беспутно-победоносное, непристойно-хмельное, пропащее.

Роза Фрелих, навалившаяся на стол, чтобы поплотнее прижаться к нему, выглядела разомлевшей, усталой, ребячески умильной. Вид ее был живым укором для любого непричастного мужчины, ибо он свидетельствовал о решительном и несомненном торжестве Гнуса.

Все трое отметили это про себя; Кизелак от обиды и горечи даже принялся грызть ногти. Киперт, менее досконально во всем разобравшийся, глушил свою досаду не в меру громкими «ваше здоровье!». Толстуха непрестанно восхищалась счастливой переменой в делах Розы и праздником всеобщего примирения.

— А ученики-то ваши, господин профессор, тоже ведь радуются. И как же они к вам привязаны, просто на удивленье!

— Все же, конечно и безусловно,— отвечал Гнус.— Кажется, они и в самом деле не вовсе лишены чувства прекрасного и возвышенного.— И насмешливо осклабился.— Ну-с, Кизелак, итак, в свою очередь, вы тоже здесь? Меня несколько удивляет, что бдительность бабушки не воспрепятствовала вашему уходу из дома... У этого молодого человека имеется бабушка, которая позволяет себе потчевать его розгой,— обратился он к артистке Фрелих, с явным намерением унизить мужское достоинство Кизелака.

Но Кизелак знал, что в свое время «дошел до конца класса» с артисткой Фрелих как раз с помощью мужского достоинства. Он потер себе зад и скосил глаза на кончик носа:

— Бабушка прибьет меня, если я не найду свою тетрадь для сочинений. А я обронил ее где-то здесь...

Он внезапно нырнул под стол, схватил актрису Фрелих за ноги и под шумные разговоры супругов Киперт изложил ей свои требования. В противном случае он все расскажет Гнусу.

— Сопляк,— шепнула она под стол и отпихнула Кизелака ногой.

Гнус в это время обратился к другому ученику:

— Итак, фон Эрцум,— и вы в свою очередь? Выражение, присущее вашему лицу, заставляет предположить, что усвоение предмета дается вам здесь не менее туго, чем в классе. Говорят, вы — прошу заметить — возымели дерзость сделать официаль-

ное предложение артистке Фрелих?.. По вашим бессмысленно вытаращенным глазам я могу судить, какой вам был дан ответ. Артистка Фрелих поставила вас на место, приличествующее ученику шестого класса. К этому мне нечего добавить. Встаньте...

Эрцум повиновался, ибо Роза смеялась и ее смех сковал его, лишил воли к сопротивлению и остатков чувства собственного достоинства.

— И мы проверим, не привело ли ваше вечное пребывание в «Голубом ангеле» к тому, что вы, слабейший из учеников, вовсе не можете выполнить требований школы, либо беззастенчиво пренебрегаете ими. Скажите-ка нам текст псалмов, заданных на завтра.

Широко раскрытые глаза Эрцума блуждали. На лбу выступила испарина. Он вновь почувствовал ярмо на своей шее и затянул:

Как тебя, твой раб смиренный,
Я, господь, не воспою —
Если зрю во всей вселенной
Благость дивную твою?

Роза взвизгнула раз, другой. Госпожа Киперт благодушно закудахтала. Роза подвизгивала, с намерением обидеть Эрцума, нежным голоском — из нежности к Гнусу, руку которого она сжимала, и еще чтобы польстить ему, вознаградить его за власть над этим рыжим увальнем, который срывающимся, подобострастным голосом декламировал благочестивые стишки. Фон Эрцум прочитал еще:

Переполнено любовью
Сердце верное его...—

но вдруг потерял самообладанье. Очень уж дико повел себя Киперт. Он только сейчас начал смаковать происходящее и взревел прямо в лицо Эрцуму, изо всей силы хлопнув себя по колену:

— Вот это да! Что вы там несете? Или у вас ум за разум зашел?

При этом он подмигнул Гнусу: ему, мол, ясно, чего стоит этот граф, читающий псалмы в задней комнате «Голубого ангела», и, как человек определенных убеждений, он, безусловно, присоединяется к этой издевке над дворянством и религией. Он приоткрыл дверь, будто бы заказывая хорал пианисту. Потом сам его затянул... Но Эрцум уже молчал.

Правда, дальше он не выучил. Но, главное, он задохся от безмерной ярости к этому толстому, хохочущему, пьяному человеку. Все поплыло у него перед глазами. Он чувствовал, что умрет на месте, если тотчас не налегит на него с кулаками, не наступит коленями ему на грудь. Его передернуло раз, другой; он поднял сжатые кулаки... и бросился вперед.

Атлет, задыхавшийся от смеха, ничего подобного не ждал; таким образом, он оказался в невыгодном положении. Эрцум действовал всерьез, и у него становилось легче на душе, по мере того как он утолял свой мускульный голод. Они катались из угла в угол. В пылу драки Эрцум услыхал вскрик Розы. Он знал, что она смотрит на него, дышал глубже, крепче сжимал руками и ногами тело противника, ибо испытывал неимоверное облегчение от того, что все стало на свои места: он борется на ее глазах, как боролся тогда с пастухом за скотницу.

Тем временем Гнус, проявивший весьма мало интереса к этой схватке, обратился к Ломану:

— А что происходит с *вами,* Ломан? Вы сидите здесь и курите,— опять-таки, конечно,— а между тем в классе вы отсутствовали.

— Я был не в настроении, господин учитель.

— Тем не менее, однако, вы в настроении с утра до вечера торчать в «Голубом ангеле».

— Это дело другое, господин учитель. Сегодня утром у меня была мигрень. Врач запретил мне всякое умственное напряжение и предписал рассеяться.

— Так-с! Допустим...

Гнус пошмыгал носом. И напал на идею.

— Вот вы сидите и курите,— повторил он,— а спрашивается, приличествует ли это гимназисту в присутствии учителя?

И так как Ломан продолжал сидеть не шевелясь, утомленно, хотя и с любопытством глядя на него из-под полуопущенных век, Гнуса взорвало.

— Бросьте папиросу! — сдавленным голосом крикнул он.

Ломан не шелохнулся. Меж тем Киперт и Эрцум подкатились под стол; Гнусу пришлось спасать себя, артистку Фрелих, целый арсенал стаканов и бутылок. Покончив с этим, он заорал:

— Итак! Вперед, начали!

— Папироса,— отвечал Ломан,— гармонирует со всей ситуацией, а ситуация необычная — для нас обоих, господин учитель.

Гнус, испуганный сопротивлением, дрожал мелкой дрожью:

— Бросить папиросу, я сказал!

— Весьма сожалею,— ответил Ломан.

— Как вы смеете, мальчишка!

Ломан только отмахнулся от него своей тонкой рукою.

Вне себя Гнус вскочил со стула, как тиран с пошатнувшегося под ним трона.

— Вы бросите папиросу, или я испорчу вам всю жизнь! Я вас уничтожу! Я не намерен...

Ломан передернул плечами.

— Сожалею, господин учитель, но теперь это уже невозможно. Вы, видимо, не отдаете себе отчета...

Гнус налился кровью. Глаза у него стали, как у разъяренной кошки; жилы на шее вздулись, в провалах от выпавших зубов проступила пена, указательный палец с пожелтелым ногтем простерся к врагу.

Артистка Фрелих, еще не вполне очнувшаяся от сладостных воспоминаний и потому несколько ошалелая, прильнула к нему, осыпая бранью Ломана.

— Да что вам от меня надо? Вы лучше его утихомирьте,— посоветовал тот.

Но тут Эрцум и Киперт налетели на два отчаянно затрещавших стула и так наподдали сзади обнявшуюся чету, что те ткнулись носом в стол. Из укромного уголка за туалетным столиком Розы Фрелих раздался ликующий смех Кизелака. Он втихомолку утешался там с госпожой Киперт.

Выпрямившись, Гнус и его подруга озлились еще больше.

— Вы у меня самый последний,— кричала она Ломану.

— Я помню, сударыня, что вы мне это обещали, и заранее радуюсь.

И покуда она, растрепанная, в расстегнувшемся платье, с гримом, растекающимся по вспотевшему лицу, на все лады его поносила, его вдруг разобрало страстное желание: как сладостно унизить свою жестокую любовь темными ласками порока!

Но желание это мгновенно прошло. Гнус, корчившийся в судорогах страха, догадался пригрозить ему:

— Если вы сию минуту не бросите папиросу, я самолично препровожу вас домой к отцу!

А в этот вечер в доме Ломанов ждали гостей, в том числе и консула Бретпота с супругой.

Ломан живо представил себе, как Гнус врывается в гостиную... Невозможно обречь Дору Бретпот на такую встречу, тем более теперь: вчера он узнал, что она беременна. Его мать проговорилась... И это было причиной его отсутствия в классе. Под-

перев голову кулаками, он целый день просидел, запершись, в своей комнате, ибо мучительные мысли об этом ребенке,— то ли от асессора Кнуста, то ли от лейтенанта фон Гиршке, а возможно, в конце концов, что и от консула Бретпота,— сами собой слагались в стихи.

— Идите за мной! — орал Гнус.— Ученик шестого класса Ломан, я приказываю вам идти за мной.

Ломан раздраженно бросил папиросу. Гнус мгновенно успокоился и снова сел на свое место.

— Так-то оно лучше! Разумеется, конечно. Теперь вы ведете себя, как подобает ученику, желающему снискать благорасположение учителя... И этот учитель прощает вас, Ломан, ибо вы...— опять-таки — безусловно являетесь mente captus [1]. Это, конечно, следствие несчастной любви.

Ломан бессильно уронил руки. Он стал мертвенно-бледен, а глаза его запылали таким черным огнем, что артистка Фрелих в удивлении на него уставилась.

— Или я ошибся? — источал яды Гнус.— Ведь вы, надо полагать, сочиняете стихи именно потому, что...

— Не дошли до конца класса,— конфузливо закончила артистка Фрелих. Она переняла этот оборот у Кизелака.

Ломан думал: «Эта мразь все знает. Сейчас я встану, пойду домой, влезу на чердак и направлю ствол ружья себе прямо в сердце. А внизу за роялем будет сидеть Дора. Песенка, которую она поет, вспорхнет ввысь, и золотая пыльца ее крыльев, мерцая, усыплет мой смертный путь...»

Артистка Фрелих осведомилась:

— А вы хоть помните, что вы на меня насочиняли?

Она сказала это беззлобно, со вздохом. Ей хотелось от него кое-чего другого. Теперь она ясно вспомнила, что всегда хотела от него большего, и подумала, что он жестокий человек и не слишком сообразительный.

— «Коль в интересном положенье...» Ну, и кто же, спрашивается, в интересном положенье?

Еще и это. Они и это знали. Ломан, приговоренный к смерти, встал и пошел прочь отсюда. Уже взявшись за ручку двери, он услыхал, как Гнус говорит:

— Ясно и самоочевидно. Вы питаете несчастную любовь к артистке Фрелих, которая, однако, отказала вам во взаимности и тем самым в удовлетворении желания, высказанного вами в упомянутых бесстыдных стихах. Не удалось вам посидеть в ка-

---

[1] Сумасшедший, невменяемый (*лат.*).

талажке артистки Фрелих, Ломан. Вам остается только вернуться к своим пенатам, Ломан!

Ломан круто обернулся:

— Так это все?

— Да,— подтвердила Роза.— Все точка в точку. Что ни слово, то правда.

Старый дурак, расплывающийся от хвастливой старческой гордости, и неаппетитная девчонка — вот и все. Оба безвредны, и оба ничего не знают. Трагедию только что истекших минут Ломан пережил по ошибке, он не имел права на нее. Ему незачем идти стреляться. Он почувствовал разочарованье. Как все это по-дурацки вышло; унизительная житейская комедия, а он живет и все еще торчит в этой каталажке.

— Ну-с, фон Эрцум,— произнес Гнус,— а теперь извольтека незамедлительно очистить поле действия. А за то, что вы осмелились в присутствии учителя затеять драку, вам придется шесть раз переписать те стихи из псалма, которых вы не знали.

Эрцум, протрезвившийся и отягченный сознанием, что мускульная радость, только что им испытанная,— самообман, что победа над этим силачом ни к чему не привела, ибо победитель тут один — Гнус, не шевелясь глядел в равнодушное лицо артистки Фрелих.

— Убирайтесь вон! — рявкнул Гнус.

Кизелак хотел прошмыгнуть за ним.

— Куда? Не испросив разрешения учителя!.. Вам дается задание — выучить наизусть сорок стихов Вергилия.

— Это почему?— возмутился Кизелак.

— Потому что так желает учитель!

Кизелак исподлобья на него посмотрел, решил, что лучше не связываться, и потихоньку ускользнул.

Его приятели успели уже уйти довольно далеко.

Эрцум, чувствуя потребность презирать и унижать Розу и ее обожателя, говорил:

— На девчонке, видно, приходится поставить крест. Я уже привыкаю к этой мысли. Уверяю тебя, Ломан, я от этого не умру... Но что ты скажешь о Гнусе? Видано ли такое бесстыдство?

Ломан горько усмехнулся. Он понял: Эрцум побит и жалуется, ища утешения в традиционной морали — непзменном прибежище всех побежденных. Ломан этой морали не признавал, как бы туго ему ни приходилось.

Он начал:

— С нашей стороны глупо было являться туда и полагать, что мы его смутим. Надо было сообразить, что такого не проймешь. Он уже давно считает нас за соучастников. Ведь сколько раз мы здесь встречались. Он и домой-то нас провожал, чтобы мы не мешали ему увиваться за этой Фрелих. Неужто он не допускает мысли, что ему, пока он таскался за нами, мог помешать кто-нибудь другой?

Эти слова ранили Эрцума, он застонал.

— Право же, ты не должен строить себе иллюзий на этот счет, Эрцум. Будь мужчиной.

Эрцум дрожащим голосом стал заверять, что Роза ему безразлична и что он уже больше не интересуется, чиста она или нет. Возмущает его только грязное поведение Гнуса.

— А меня ничуть,— заявил Ломан.— Напротив, этот Гнус начинает занимать меня: в сущности, он интереснейшее явление. Подумай, в каких обстоятельствах ему приходится действовать, ведь он вся и всех восстановил против себя. Тут необходима громадная самоуверенность, я бы, например, не выдержал. Да к тому же надо быть в какой-то мере анархистом...

Все это выходило за пределы понимания фон Эрцума. Он что-то буркнул себе под нос.

— Что? — переспросил Ломан.— Да, конечно, сцена вышла мерзкая. Но было в ней что-то мерзко-величавое, или, вернее, величаво-мерзкое. Так или иначе, но величие в ней было.

Эрцум не мог больше держать себя в руках.

— Ломан, неужто она и вправду не была невинна?

— Во всяком случае, Гнус теперь прикрыл грех. А из этого ты можешь сделать вывод об ее прежней жизни.

— Я считал ее образцом чистоты. Все это какой-то тяжелый сон. Ты будешь смеяться, Ломан, но я близок к самоубийству.

— Если хочешь, посмеюсь.

— Как мне с этим справиться? Неужели еще кто-нибудь переживал подобное? Я ставил ее так высоко, по правде говоря — я даже не надеялся ее добиться. Ты помнишь, в каком я был состоянии, когда разрывал курган? И, клянусь, не от радости, я просто дрожал перед ее решением. Видит бог, я бы удивился, если бы она согласилась бежать со мной. И как мог я надеяться, чтобы женщина с такой душою снизошла... И когда жребий был брошен...

Ломан искоса поглядел на него. «Жребий брошен...» Эрцуму надо было дойти бог знает до какого состояния, чтобы заговорить так высокопарно.

— ...я и тогда чувствовал, что я пропащий человек. Но по сравнению с сегодняшним это еще было блаженство. Понимаешь ли ты, Ломан, до чего низко она пала?

— До гнуси.

— Нет, ты только подумай, ну пара ли он ей? Или уж она самая что ни на есть последняя?

Ломан не отвечал. Эрцуму, видно, насущно необходимо вознести Розу Фрелих до облаков. Этот недалекий малый внушает себе, что никогда не дерзал надеяться обладать Розой Фрелих. А цель этого самообмана — то, что Гнусу уж и подавно не подняться до нее из своей грязной лужи. Жизненный опыт в образе скотницы скрылся в туманной дали, рыжий помещичий сынок уступил место нервозному мечтателю; так было легче самолюбию Эрцума. «Вот они, люди!» — подумал Ломан.

— А когда я начинаю спрашивать себя, почему же,— продолжал Эрцум,— я не нахожу никакого объяснения. Я предлагал ей все, что только может предложить человек... Чтоб она меня полюбила, на это я, честно говоря, не очень-то надеялся. Она обходилась со мной не лучше, чем с тобой! Да и почему бы ей выбрать именно меня... Но Гнус... Можешь ты этому поверить, дружище? Гнус?!

— Женщины непостижимы,— изрек Ломан и погрузился в размышления.

— Я все еще не верю! Не иначе как этот подлец посулил ей золотые горы; он ее загубит.

И подумал:

«Может быть... тогда...»

Тут их догнал Кизелак. Он уже довольно долго крался за ними. Кизелак заорал во весь голос:

— Лопни мои глаза, если Гнус не расщедрился на десять марок; я подглядел в скважину.

— Врешь... скотина! — взревел Эрцум и ринулся на него с кулаками.

Но Кизелак это предусмотрел и в мгновение ока скрылся.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Кизелак соврал. Гнус и не думал предлагать деньги артистке Фрелих: не из деликатности и не от скупости, просто не догадался, и она это знала. Ей пришлось нередко и достаточно прозрачно намекать на неудобное жилье, прежде чем он вспомнил о квартире, которую обещал нанять для нее. Когда он на-

«Учитель Гнус»

конец завел об этом разговор и предложил ей перебраться в меблированные комнаты, она вышла из себя и без околичностей потребовала, чтобы он снял и обставил ей квартиру. Гнус был поражен.

— Поскольку ты всегда проживаешь совместно с супругами Киперт...

Он привык мыслить прочными категориями; столь решительный переворот следовало всесторонне обдумать. Мозг его напряженно работал.

— А если — прошу заметить — супруги Киперт покинут наш город?

— А если я не пожелаю с ними ехать,— немедленно возразила она,— что тогда мне прикажешь делать?

Он растерялся.

— Ну же, Гнусик, ну? — Она заегозила вокруг него и вдруг, торжествуя, воскликнула: — Тогда я останусь здесь!

Он просиял. Вот это новость! Ничего подобного ему в голову не приходило.

— Тогда ты останешься здесь, останешься здесь,— твердил он, стараясь привыкнуть к этой мысли.— Это ты хорошо придумала,— признательно добавил он. Он был счастлив, и тем не менее через несколько дней ей опять пришлось немало поворковать, прежде чем он уразумел, что должен отныне оплачивать ее стол в каком-нибудь хорошем ресторане, так как питаться в «Голубом ангеле» она больше не желает.

Сообразив наконец, чего она от него требует, он даже предложил столоваться вместе с ней. К большому его разочарованию, она это предложение отклонила, зато позволила ему оплачивать в «Шведском подворье» не только ее стол, но и комнату, покуда не будет нанята и обставлена квартира.

Гнус с юношеским пылом хватался за любую возможность вырвать Розу из ее окружения, крепче привязать к себе, всему свету противопоставить артистку Фрелих. Он торопил обойщика — ведь он работает для артистки Фрелих. Пугал мебельщика недовольством артистки Фрелих, в бельевом и в посудном магазинах внушительно толковал об изысканном вкусе артистки Фрелих. Город принадлежал артистке Фрелих; Гнус везде брал то, что достойно ее, везде произносил ее имя, не обращая внимания на неодобрительные взгляды. Нагруженный свертками, он неустанно носился к ней и от нее, с утра до вечера был озабочен неотложными и весьма важными делами, которые ему необходимо было обсудить и обдумать с артисткой Фрелих. На его землистых щеках от этой радостной деятельности пылали

красные пятна. По ночам он крепко спал, а дни его были заполнены до отказа.

Единственным его огорчением было то, что она нигде с ним не появлялась. Ему хотелось водить ее по городу, показывать королеве ее королевство, представлять ей подданных, защищать ее от мятежников: в ту пору Гнус не боялся мятежа, а даже стремился вызвать его. Но у нее либо именно в этот час оказывалась репетиция, либо она чувствовала себя усталой и нездоровой, либо толстуха ей чем-нибудь досадила. По этому случаю Гнус однажды закатил Кипертше сцену, но тут выяснилось, что в этот день она в глаза не видела артистку Фрелих.

Гнус оторопел. Толстуха многозначительно улыбалась. В полной растерянности он пошел обратно к артистке Фрелих, и ей пришлось снова его успокаивать.

Причина такого ее поведения была проста: она считала преждевременным показываться с Гнусом. Увидят его с нею и начнут на нее наговаривать. Еще не уверенная в своем безусловном влиянии на него, она боялась, что не сумеет опровергнуть то, что ему на нее наплетут. Непогрешимой она себя не считала: но у кого не водится в прошлом каких-нибудь грешков? Все это сущие пустяки, конечно, но если уж у мужчины серьезные намерения, то ему незачем знать о них. Будь мужчины поразумнее, насколько легче была бы жизнь! Она ущипнула бы своего Гнусика за подбородок и все бы ему выложила: так, мол, и так. А теперь — изволь выворачиваться. И самое скверное,— он может вообразить какую-нибудь несуразицу, например, что она остается дома, желая поразвлечься без него. А это, видит бог, не так. Этим она сыта по горло и рада-радехонька немножко отдохнуть со своим старым чудаком Гнусиком, который занимается ею столько, сколько никто никогда не занимался, и к тому же — она поглядела на него долго и задумчиво — он действительно кавалер что надо.

Но Гнус был далек от подозрений, которых она опасалась; ничего подобного ему и на ум не приходило.

Кроме того, под его крылышком она могла и не обращать внимания на людские пересуды. Он был сильнее, чем полагала артистка Фрелих. Временами его одолевал страх, он боролся с ним, а ей ничего не говорил. В большинстве случаев страх подступал к нему в гимназии.

В гимназии благодаря Кизелаку все от мала до велика были осведомлены о внеслужебном времяпрепровождении Гнуса. Кое-кто из учителей помоложе, еще не зная, какие убеждения будут

лучше способствовать их карьере, обходили его, чтобы с ним не раскланиваться. Молодой учитель Рихтер, осмелившийся ухаживать за девушкой из богатой семьи,— в такие семьи учителя обычно доступа не имели,— приветствовал его язвительной усмешкой. Другие подчеркнуто уклонялись от всякого общения со своим коллегой. Один из них в классе Гнуса говорил о «нравственной гнуси и мрази», которой не должны поддаваться гимназисты.

Это был тот самый учитель Гюббенет, который в свое время резко отозвался о нравственной неблаговидности Гнусова сына, и тоже в классе отца.

И теперь, стоило только Гнусу появиться на школьном дворе, как пкольники начинали орать:

— Ого-го! Опять понесло нравственной гнусью!

Надзиратель при этом брезгливо отворачивался, а старик приближался, и под его косым злобным взглядом шум постепенно замолкал; но тут на его пути вырастал хмурый Кизелак и произносил медленно, членораздельно:

— Вернее, мразью!

И Гнус, съежившись, проходил дальше; поймать Кизелака с поличным он не мог.

Ни Кизелака, ни фон Эрцума, ни Ломана ему уже никогда не сцапать, не «поймать с поличным»,— это он понимал. Он и эти трое гимназистов по рукам и ногам связаны между собой взаимной терпимостью. И так же точно Гнус уже ничего не мог поделать с Ломаном, который безучастно сидел на уроках, а когда его вызывали, аффектированным голосом отвечал: «Я занят». Не мог он и «посадить» Эрцума, когда тот, наскучив бесплодным корпеньем над классной работой, вырывал у соседа тетрадку и скатывал оттуда. И он молча сносил, когда Кизелак сбивал с толку других учеников, подсказывая им несусветную чепуху, громко разговаривал, без всякого на то повода расхаживал по классу и даже затевал потасовки во время урока.

Если же Гнусу случалось поддаться панике тирана, под которым шатается трон, и он отправлял смутьянов в каталажку, то дело принимало еще худший оборот. В класс доносилось хлопанье пробок, бульканье льющегося вина, громогласные тосты, подозрительное хихиканье, звук поцелуев... Гнус опрометью мчался к двери и впускал Кизелака обратно в класс. Двое других без разрешения являлись вслед за ним с угрожающими и презрительными физиономиями...

В такие минуты Гнус, конечно, выходил из себя. Но что с того? Ведь как-никак побежденными-то были они, не им досталась артистка Фрелих! Не Ломан сидел с нею в каталажке...

Едва выйдя за ворота школы, Гнус стряхивал с себя злость, и мысли его устремлялись к серому платью артистки Фрелих, которое надо взять из прачечной, к конфетам, которые он намеревался ей поднести.

Между тем директор гимназии не мог уж больше закрывать глаза на то, что происходило в шестом классе. Он призвал Гнуса к себе в кабинет и заговорил с ним о моральном распаде, который явно угрожает его классу. Он не хочет доискиваться источника этой заразы: будь там классный наставник помоложе, он, директор, разумеется, произвел бы тщательное дознание. Но почтеннейший коллега поседел на педагогическом поприще и, конечно, сумеет разобраться в самом себе и поразмыслить о том, что классный наставник являет собою пример классу.

Гнус на это ответил:

— Господин директор, афинянин Перикл — ясно и самоочевидно — возлюбленной своей имел Аспазию.

— Это обстоятельство тут ни при чем,— заметил директор.

Гнус с ним не согласился:

— Я потерял бы право на самоуваженье, если бы преподносил ученикам классические идеалы лишь как досужую выдумку. Человек, получивший классическое образование, вправе пренебрегать предрассудками низших классов.

Директор, не найдясь что ответить, отпустил Гнуса и долго сидел, погруженный в раздумье. В конце концов он решил сохранить эту беседу в тайне, дабы непосвященные не истолковали ее в смысле, невыгодном для гимназии и учительства.

Свою домоправительницу, решительно восставшую против визитов артистки Фрелих, Гнус с торжествующим спокойствием, о которое, как о скалу, разбилась ее ярость, выставил за дверь. Ее место заняла служанка из «Голубого ангела». Она была похожа на швабру и принимала в своей комнатушке приказчика из мясной лавки, трубочиста, фонарщика, словом — всю улицу без разбора.

Желтолицая портниха, к которой Гнус частенько наведывался с поручениями артистки Фрелих, держалась с ним холодно и даже сурово. Но однажды, когда Гнус оплатил довольно значительный счет, у нее развязался язык. Надо бы господину профессору прислушаться к тому, что говорят люди. В его-то годы, да и вообще!.. Гнус, не удостаивая ее ответом, сунул сдачу в кошелек и направился к двери. На пороге он обернулся и снисходительно заметил:

— Судя по тому, какой момент вам угодно было выбрать для этого разговора, почтеннейшая, вы опасались, как бы из-

лишняя откровенность не нанесла вам материального урона. Не волнуйтесь! Вы можете и впредь работать на артистку Фрелих.

И удалился.

И наконец в одно воскресное утро, когда Гнус на обороте одной из страниц «Партикул Гомера» набрасывал черновик письма к артистке Фрелих, раздался стук в дверь, и в кабинет вошел сапожник Риндфлейш. На нем был цилиндр и черный мешковатый сюртук. Риндфлейш расшаркался и, выставив свое брюшко, сказал:

— Господин профессор, доброе утро, господин профессор, покорнейше прошу разрешения задать вам один вопрос, господин профессор.

— Я жду, любезный.

— Долго я судил да рядил, очень уж неловко выходит, ну уж раз на то воля божия!

— Вперед, вперед, мой друг!

— И вообще-то я ничему такому про господина профессора не верю. Люди много чего говорят про господина профессора, да кому ж это и знать, как не самому господину профессору. Но доброму христианину таким речам верить не годится... Нет! Куда там!

— Если так,— отвечал Гнус, кивком головы давая понять, что аудиенция закончена,— то и говорить нечего.

Риндфлейш стоял, потупившись, и вертел в руках цилиндр.

— Так-то оно так, да господу богу угодно, чтобы я сказал господину профессору, что это господу богу не угодно.

— Кто ему неугоден? — спросил Гнус и саркастически усмехнулся.— Артистка Фрелих, по-видимому?

Сапожник тяжело дышал под бременем своей миссии. Его продолговатые, отвислые щеки ходуном ходили в остроконечной бороде.

— Я ведь сподобился открыть господину профессору,— от таинственности голос его понизился,— что господь бог дозволяет это, только чтобы...

— Иметь побольше ангелов. Хорошо, любезный. Я посмотрю, что тут можно будет сделать.

И все с той же саркастической усмешкой он выставил Риндфлейша за дверь.

Так жил Гнус в упоении безмятежности, пока не разразилась беда.

Некий лесной объездчик сообщил своему начальству, что курган гуннов подвергся злонамеренному разрушению. В одно

воскресенье, утром, когда, как ему думается, и было совершено это кощунство, он встретил на лесной дороге компанию молодых людей. После длительного и тщетного расследования, предпринятого прокуратурой, в один из понедельников объездчик появился в актовом зале гимназии бок о бок с директором.

Во время молебна, пока директор читал главу из Библии и потом, когда гимназисты пели хорал, сей представитель народа разглядывал собравшихся с высоты директорского подиума. При этом он то и дело вытирал пот со лба и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Наконец ему все-таки пришлось спуститься вниз и под предводительством директора пройти по рядам гимназистов. Во время этой процедуры он вел себя как человек, не по чину затесавшийся в высокопоставленное общество, ни на кого не поднимал глаз и низко поклонился Эрцуму, который наступил ему на ногу.

Когда, казалось, исчезла всякая надежда отыскать преступников в стенах гимназии, директор испробовал крайнее средство. Прочитав специально выбранную главу из Библии, он высказал уверенность, что она дойдет до сердца хотя бы одного из виновников, смягчит его душу и побудит не только явиться с повинной в кабинет директора, но и выдать своих сообщников, которые будут незамедлительно переданы в руки правосудия. В награду за это раскаявшийся гимназист не только не понесет наказания, но еще получит денежную награду... На этом молебен закончился.

Всего тремя днями позднее на уроке, посвященном Титу Ливию, когда вконец распустившийся класс занимался чем угодно, кроме Тита Ливия, Гнус вдруг подскочил как ужаленный и стал орать:

— Ломан, книгу, которая вас так интересует, вам придется дочитывать уже в другом месте! Кизелак, хватит вам мозолить здесь всем глаза своим бездельем! Фон Эрцум, скоро вы — ясно и самоочевидно — опять будете возить навоз в родных краях. Таких отпетых мерзавцев, как вы, в каталажку не запирают; для вас это слишком благородное местопребывание, но, будьте спокойны, я приложу все старанья, чтобы вы закончили свою карьеру в достойном вас обществе воров и бандитов. Недолго вам осталось пребывать среди порядочных людей, разве что считанные дни!

Правда, Ломан встал с места и, нахмурившись, попросил разъяснения; но замогильный голос Гнуса был исполнен такой необоримой ненависти, на физиономии его изображалось такое

злобное торжество, что все почувствовали себя уничтоженными. Ломан сел, сожалительно передернув плечами.

На следующей перемене ему вместе с Кизелаком и фон Эрцумом велено было явиться к директору. Вернувшись, они с нарочитым равнодушием пояснили, что директор вызывал их по поводу этой дурацкой истории с курганом. Но вокруг них тотчас же образовалась пустота. Кизелак шептал:

— И кто же это, кто на нас донес?

Ломан и Эрцум обменялись презрительными взглядами и повернулись к нему спиной.

Однажды утром все трое были освобождены от занятий; в сопровождении следственной комиссии их отвезли на место преступления — к злополучному кургану. Здесь их опознал лесной объездчик. Из-за дальнейшего расследования они еще несколько дней не показывались в гимназии и, наконец, в качестве подсудимых предстали перед судом. Первое, что бросилось им в глаза,— ядовито улыбающийся Гнус на свидетельской скамье.

В публике находились консул Бретпот и консул Ломан; товарищу прокурора волей-неволей пришлось отвесить поклон своим влиятельным согражданам. Сердце у него обливалось кровью от глупости молодого Ломана и его приятелей: и почему эти юноши не могли сами явиться в прокуратуру с разъяснениями? Там бы уж постарались, чтобы дело не получило широкой огласки. Ведь представители обвинения полагали, что все это мальчишки без роду без племени, вроде Кизелака.

Приступая к разбору дела, председатель спросил троих подсудимых, признают ли они себя виновными. Кизелак немедленно начал отпираться. Но несколькими днями раньше он признался директору и подтвердил свое признание на предварительном следствии. Выступил директор и многословно обо всем этом рассказал, после того как его привели к присяге.

— Господин директор лжет,— упорствовал Кизелак.

— Но ведь господин директор говорит это под присягой.

— Эка важность, значит, он врет под присягой.— Кизелак не сдавался.

Он закусил удила. Из гимназии его все равно выгонят. Вдобавок он был озлоблен и поколеблен в своей вере в человечество — ему не только не выдали обещанной награды, но предали суду.

Ломан и граф Эрцум признали себя виновными.

— Я этого не делал,— пискливым голосом прокричал Кизелак.

— А мы сделали,— решительно заявил Ломан. Дружба с Кизелаком в эту минуту оскорбляла его.

— Прошу прощенья,— вмешался Эрцум.— Я сделал это один.

— Этого еще недоставало! — На лице Ломана появилось сурово-усталое выражение.— Я решительнейшим образом подтверждаю свое участие в порче общественного достояния, или как там это называется.

Фон Эрцум настойчиво повторил:

— Я разрывал курган совершенно один. Это сущая правда.

— Брось молоть чепуху, дружище! — сказал Ломан.

Эрцум возразил:

— Чтоб тебя... ты же находился вдали от кургана и сидел с...

— С кем? — осведомился председатель.

— Ни с кем! — Фон Эрцум побагровел.

— Вероятно, с Кизелаком,— поспешил сказать Ломан.

Товарищ прокурора считал весьма желательным, чтобы вина распределилась между бóльшим количеством участников, тогда ее меньше придется на долю сына консула Ломана и подопечного консула Бретпота. Он обратил внимание Эрцума на неправдоподобность взведенного им на себя обвинения.

— Разрушения, которые вы будто бы произвели в одиночку, не под силу даже профессиональному силачу.

— Тем не менее...— скромно, но не без гордости отвечал Эрцум.

Председатель предложил ему и Ломану назвать имена остальных соучастников.

— У вас там, наверно, была большая и веселая компания,— благожелательно предположил он.— Назовите имена ваших соучастников. Этим вы окажете услугу и себе и нам.

Подсудимые молчали. Представители защиты обратили внимание суда на благородство такого поведения. Оба молодых человека на предварительном следствии твердо держались своего решения — никого не компрометировать.

Кизелак вел себя точно так же, но ему никто этого не поставил в заслугу. Впрочем, он только держал про запас заготовленный удар.

— Значит, с вами больше никого не было? — повторил свой вопрос председатель.

— Нет,— отвечал Эрцум.

— Нет,— отвечал Ломан.

— Неправда,— воскликнул Кизелак голоском прилежного

ученика, вызубрившего все заданные спряжения.— С нами была артистка Фрелих.

Зал насторожился.

— Она-то и надумала разворошить курган.

— Ложь,— сказал Эрцум и заскрежетал зубами.

— Ложь, от первого до последнего слова,— подтвердил Ломан.

— Это чистая правда,— уверял Кизелак.— Спросите господина учителя. Господин учитель лучше всех нас знает артистку Фрелих.

Он бросил взгляд на свидетельскую скамью и ухмыльнулся.

— Разве не правда, господин учитель, что артистка Фрелих удрала от вас в воскресенье? И поехала завтракать с нами у кургана?

Все взгляды обратились на Гнуса. Он помертвел, зубы у него стучали.

— Так эта дама действительно была с вами? — обратился один из судей к двум остальным обвиняемым. В тоне его слышалось откровенное любопытство. Те пожали плечами. Но Гнус задыхающимся голосом крикнул:

— На этом вы погорели, мерзавцы! Можете — ясно и самоочевидно — записать себя в покойники.

— Кто, собственно, эта дама? — задал чисто формальный вопрос товарищ прокурора; ибо решительно все присутствующие знали историю ее и Гнуса.

— Господин учитель Нусс даст нам необходимую справку,— сказал председатель.

Гнус ограничился сообщением, что эта дама — артистка. Товарищ прокурора возбудил перед судом ходатайство о немедленном вызове упомянутой особы, дабы выяснить, не должна ли и она быть привлечена к ответственности, как вдохновительница означенного преступления. Суд ходатайство удовлетворил, и за артисткой Фрелих был послан судебный пристав.

Тем временем молодой адвокат, защищавший Ломана и фон Эрцума, молча наблюдал за душевным состоянием Гнуса. Он пришел к выводу, что сейчас самая пора заставить его выговориться, и попросил суд заслушать показания господина учителя Нусса, могущие охарактеризовать общий моральный и умственный уровень обвиняемых. Суд и эту просьбу удовлетворил. Товарищ прокурора, опасавшийся высказываний, неблагоприятных для сына консула Ломана и подопеч-

ного консула Бретпота, тщетно пытался этому воспрепятствовать.

Когда Гнус подошел к барьеру, в зале послышался смех. Возбужденный и одновременно напуганный, с лицом, искаженным мучительной злобой, он весь взмок от пота.

— Ясно и самоочевидно,— без обиняков начал он,— что артистка Фрелих не являлась соучастницей мерзкого преступления, более того, что она вообще не принимала участия в этом нечестивом пикнике.

Его прервали, чтобы привести к присяге. Принеся таковую, он пожелал еще раз повторить то же самое. Председатель снова его прервал: от него ждут показаний только относительно трех гимназистов. Гнус с места в карьер стал потрясать руками и кричать своим замогильным голосом так, словно его загнали в тупик, из которого уже нет выхода.

— Эти мальчишки — отбросы человечества! Взгляните на них; они точно вырвались из арестного дома! С младых ногтей они не только не признавали авторитета учителя, не только смутьянили сами, но сеяли смуту среди других. Благодаря их агитации класс в большей своей части состоит из подлецов. Они пустили в ход все, все: революционные махинации, сознательный обман и прочие низкопробные средства, чтобы обеспечить себе будущность, которая теперь — несомненно и непреложно — открывается перед ними. Я всегда был уверен, что увижу их на скамье подсудимых.— И с мстительным криком смертельно раненного зверя он обернулся к трем соблазнителям артистки Фрелих.— Итак, лицом к лицу,— Ломан...

Он начал разоблачать перед судом и публикой каждого из них в отдельности. Любовные стихи Ломана, ночные вылазки Эрцума, совершаемые с балкона пастора Теландера, наглое поведение Кизелака в запретном для гимназистов заведении. Трясясь от злобы, он валил в одну кучу незадачливого дядю Эрцума, дурацкую кичливость местных богачей, пьянство опустившегося портового чиновника Кизелака-старшего.

Суд был явно поражен клокотаньем этого потока помоев. Товарищ прокурора бросал извиняющиеся взгляды на консула Ломана и консула Бретпота. Молодой адвокат с насмешливым удовлетворением наблюдал за публикой в зале. Гнус был смешон и омерзителен.

Наконец председатель прервал его, заявив, что суд составил себе достаточно ясное понятие о его взаимоотношениях с учениками. Гнус пропустил это мимо ушей и, не переводя дыханья, продолжал:

— Долго ли еще будут такие отбросы человечества, по низости превосходящие Катилину, оскорблять землю своим пребыванием на ней! И эти люди смеют утверждать, будто артистка Фрелих принимала участие в их преступных оргиях! Да, им осталось лишь последнее — запятнать честь артистки Фрелих!

Среди шумной веселости зала, вызванной этими словами, Гнус едва устоял на ногах. Ибо то, что он сказал, не соответствовало его внутреннему убеждению. В глубине души он был уверен, что артистка Фрелих, неизвестно куда исчезнувшая в тот злополучный день, была на пикнике у кургана. Более того. Торопливо проанализировав факты, до сих пор не бросавшиеся ему в глаза, он обомлел. Артистка Фрелих всегда уклонялась от совместного появления в городе. Что крылось за предлогами, которые она изыскивала, чтобы остаться в одиночестве?.. Ломан?..

Он снова обрушился на Ломана, крича, что могуществу его касты скоро придет конец. Но председатель приказал ему вернуться на место и распорядился ввести свидетельницу Фрелих.

При ее появлении пронесся шепот. Председатель пригрозил очистить зал. Публика угомонилась; артистка Фрелих пришлась ей по вкусу. Она была в сером суконном костюме, не крикливом и элегантном, с гладко причесанными волосами, только чуть-чуть подрумяненная, в шляпе сравнительно скромных размеров, с одним только страусовым пером. Молодая девушка в публике, обращаясь к матери, вслух высказала восхищение красотой этой дамы. Артистка Фрелих непринужденно приблизилась к судейскому столу; председатель склонил голову в знак приветствия. По ходатайству товарища прокурора ее не привели к присяге, и она с милой улыбкой призналась, что принимала участие в этом пикнике. Адвокат Кизелака решил, что пора ему выложить свой козырь.

— Я позволю себе обратить внимание суда на то, что правдивые показания дал только мой подзащитный.

Но Кизелаком никто не интересовался.

Товарищ прокурора высказался в том смысле, что факт подстрекательства доказан и ответственность за преступление, которую молодые люди из рыцарских побуждений хотели взять на себя, должна целиком и полностью пасть на артистку Фрелих. Адвокат Кизелака воспользовался случаем отметить, что неприятное — с этим он согласен — выступление его подзащитного является неизбежным следствием упадка нравов, к кото-

рому приводит молодежь общение с женщинами вроде свидетельницы Фрелих.

— Расковыряли они этот ваш курган или не расковыряли, этого я не знаю и знать не хочу,— непринужденно заметила свидетельница Фрелих.— А насчет упадка нравов, как сказал этот господин, могу только сообщить, что в тот самый день один из молодых людей сделал мне предложение честь по чести, а я отвечала, что мне очень жаль, однако я не могу его принять.

В публике засмеялись. Кое-кто неодобрительно покачал головой. Свидетельница Фрелих высоко вздернула плечи; смотреть в глаза подсудимым она избегала. Густо покрасневший Эрцум вдруг объявил:

— Эта дама сказала правду.

— И уж конечно,— добавила она,— между мной и этими гимназистами ничего такого не было, разве что самые пустяки.

Эти разъяснения предназначались для Гнуса; она украдкой бросила на него быстрый взгляд. Но он не поднимал головы.

— Желает ли свидетельница сказать, что ее отношения с подсудимыми никоим образом не выходили за пределы нравственных норм?

— Ну, «никоим образом» — это уж слишком сильно сказано.— Ее вдруг осенило: давая показания здесь, на суде, она, хоть и окольным путем, во всем признается своему старичку Гнусу. Вечное вранье связано с очень уж докучными и пространными объяснениями.— Я бы не сказала, что никоим образом, но, безусловно, самым поверхностным.

— Что подразумевает свидетельница под «самым поверхностным образом»?

— Вот этого,— отвечала она, указывая на Кизелака, который под устремленными на него взглядами скосил глаза на кончик носа. Он возбуждал все бóльшую антипатию: теперь еще из-за того, что ему так повезло. Правда, он попытался опровергнуть свидетельское показание артистки Фрелих:

— Врет она.

Но председатель уже не смотрел на него. Как и все присутствующие, он пребывал в возбужденном и несколько фривольном расположении духа. Ломан, глубоко уязвленный тем, что Роза заговорила о злосчастном сватовстве его друга фон Эрцума, воспользовался моментом и легкомысленно-светским тоном проронил:

— Что вы хотите, у дамы своеобразный вкус. Она откликнулась на мольбы Кизелака,— кстати сказать, я сегодня впер-

вые об этом слышу. Другой объект ее благосклонности известен шире... Зато она упорно уклоняется от чести стать графиней. Мне же, никогда не предъявлявшему на нее претензий, она неуклонно заявляет, что я иду у нее в последнюю очередь.

— Точно,— произнесла артистка Фрелих, надеясь, что Гнус это услышит и обрадуется.

В зале засмеялись. Председатель на этот раз буквально закачался в своем кресле, один из судей фыркнул на весь зал и схватился за живот. Представитель обвинения злобно скривил губы, представитель защиты поджал их со скептическим выражением. Эрцум шепнул Ломану:

— Еще и с Кизелаком, ну, теперь точка! Для меня она больше не существует.

— Давно пора... В общем, мы здорово выскочили. А Гнус влип.

— Ты только меня не перебивай, когда я буду говорить, что один натворил всю эту штуку с курганом. Мне все равно не отвертеться от военной службы.

Председатель взял себя в руки и еще раз отечески строгим голосом пригрозил очистить зал. Затем он объявил, что допрос свидетельницы Фрелих окончен, и предложил ей удалиться. Но она предпочла остаться в публике, так как не понимала, куда девался Гнус.

А Гнус улизнул, покуда все покатывались со смеху. Он припустился так, словно его хлестало градом, словно на его пути рушились плотины и вырастали огнедышащие вулканы. Все разваливалось, все увлекало его в бездну, ибо артистка Фрелих «предавалась посторонним занятиям»! Ломан и компания, те, которых Гнус считал давно поверженными и побежденными, возникли из праха, едва только он отвернулся. Артистка Фрелих, не долго думая, вступила с ними в недозволенную связь! Относительно Кизелака она уже созналась, относительно Ломана пока что отрицала свою вину. Но Гнус ей больше не верил! И растерянность его была безгранична: артистка Фрелих не заслуживает доверия! До сегодняшнего дня, до этого страшного мига, она была частью его самого, и вот нежданно-негаданно от него отделилась; рана кровоточила, Гнус это видел, чувствовал, но не понимал. Поскольку он никогда и ни с кем не был заодно, его никто и никогда не предавал. И сейчас он страдал, как мальчишка, как его ученик

Эрцум, и по вине той же самой женщины. Он страдал неумело, некрасиво и недоуменно.

Он пришел домой. Первое же слово кухарки привело его в ярость, и он отказал ей от места. Затем он опрометью ринулся к себе в кабинет, запер дверь, повалился на кушетку и взвыл. Устыдившись, он вскочил и достал свое незавершенное сочинение о партикулах Гомера. Опять он стоял у конторки, которая за тридцать лет так вздернула его правое плечо. Но то один, то другой лист оказывался на обороте исписанным черновиками записок к артистке Фрелих. Нескольких страниц недоставало; по небрежности он отослал их к ней. Внезапно он понял, что его работоспособность целиком зависит от нее, что его воля давно уже подчинена ей и в ней одной сосредоточены все устремления его жизни. Сделав это открытие, он снова забился в угол дивана.

Настала ночь, и из мрака выступило ее лукавое, капризное, пестрое лицо; он всматривался в него со страхом. Теперь он знал, что все, все в этом лице дает пищу для подозрений,— артистка Фрелих принадлежит всем. Гнус закрыл руками лицо, исхлестанное кровавыми пятнами. Поздно пробудившаяся чувственность, чувственность, исторгнутая из высохшего тела, после того как она долго и медленно бродила в нем, и наконец запылавшая неестественным, всепожирающим пламенем, исковеркавшая его жизнь, толкнувшая его на безрассудства, теперь пытала Гнуса виденьями. Ему виделась маленькая комнатка над «Голубым ангелом», призывные жесты раздевающейся артистки Фрелих, ее дразнящий взгляд. Только сейчас этот взгляд и эти жесты относились не к нему, Гнусу, а к другому, к Ломану... Гнус видел всю картину до конца, до самого конца, и она плясала перед его глазами, потому что он плакал.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Он продолжал ходить на службу, в силу многолетней привычки к исполнению долга, хотя и знал, что скоро последний раз пройдет по привычной дороге. Учителя, все до одного, точно сговорились его не замечать. В учительской, как только Гнус усаживался там со своими тетрадями, они прятались за газету, быстро вставали из-за стола или попросту плевались.

Ломан, фон Эрцум и Кизелак, все трое, гимназии не посещали. Остальных Гнус презирал и предоставлял им полную свободу.

Правда, изредка он еще шипел и приговаривал того или другого ученика к полудневной отсидке в каталажке, но потом забывал сказать педелю, чтобы приговор был приведен в исполнение.

Вдоль улиц он крался, не глядя по сторонам, не слыша ни поношений, ни одобрительных возгласов, и не замечал, когда извозчики придерживали лошадей, чтобы указать на него седокам из приезжих как на городскую достопримечательность. Где бы он ни появился, везде шли разговоры о его процессе. Для всех обвиняемым, собственно, был Гнус, его речь на суде вызывала негодование, смешанное с жалостью. Пожилые господа, выпускники первых годов его педагогической деятельности, у которых с Гнусом связывались нежные, позлащенные временем воспоминания, завидя его, останавливались и качали головами.

— И подумать, во что превратился наш Гнус! Ведь что стал выкамаривать на старости лет!

— Да разве годится учителю так шельмовать мальчишек? Хорош воспитатель юношества! А чего стоят его выпады против купечества, против лучших семейств нашего города! Да еще перед судом! Срам, да и только!

— Уж если в этом возрасте позволяешь себе такие штуки, так, по крайней мере, сиди тише воды ниже травы. В ратуше еще будет обсуждаться вся эта история, и я знаю от Бретпота, что в гимназии его больше терпеть не хотят. Пусть убирается вместе со своей актрисой.

— А девчонка-то первый сорт!

— Что правда, то правда!

Господа посмеивались, при этом у них блестели глаза.

— И как это он сообразил?

— Я же всегда говорю, против такой гнусной клички в конце концов не устоишь, теперь он настоящий старый гнус.

Другие вспоминали его сына, открыто показывавшегося в городе с непотребной женщиной. Говорили, что яблочко от яблони недалеко падает, и, по примеру учителя Гюббенета, утверждали, что нравственное падение отца было неизбежно. Задним числом всем стало ясно, что Гнус всегда был угрюмым, опасным нелюдимом, так что и речи его на суде, направленной против самых уважаемых горожан, удивляться не приходится.

— Этого старого поганца давно следовало прикончить,— изрек при появлении Гнуса табачный торговец Мейер, стоявший в дверях своей лавки, тот самый, чьи счета на имя учителя Нусса всегда начинались с зачеркнутой буквы Г.

Владелец кафе «Централь», заметив однажды утром Гнуса, кравшегося вдоль стены, обратился к кельнерам, которые подметали пол:

— Нравственную нечисть и гнусь тоже надо выметать!

Но нашлись и оппозиционно настроенные горожане; они от души приветствовали эмансипацию Гнуса, видели в нем своего единомышленника, восхищались его враждебным отношением к существующему порядку и устраивали собрания, где обсуждался его смелый выпад против привилегированного сословия. На этих собраниях просили выступать и самого Гнуса. Лозунг устроителей гласил:

«Шапки долой перед таким человеком!»

Гнус оставлял без ответа их письменные приглашения, а посланных за ним людей даже не впускал в дом. Он сидел взаперти и с тоской, ненавистью и злобой думал об артистке Фрелих, о том, как заставить ее убраться подальше из их города. Ему вспомнилось, что при первой встрече он именно этого требовал от нее. Если бы она тогда его послушалась! А то вот и вышло, что она натворила уйму бесчинств и бед! Теперь Гнусу в его безграничной мучительной жажде мести единственно желанным представлялось, чтобы артистка Фрелих окончила свои дни в каком-нибудь дальнем и темном чулане.

Днем он тщательно избегал улиц, на которых мог ее встретить. И только ночью, в час, когда за занавешенными окнами пивной уже не могли мелькнуть силуэты учителей с прыгающими челюстями, прокрадывался в ту часть города, где она жила, и робко, исполненный вражды и горькой похоти, кружил возле «Шведского подворья».

Однажды из темноты выступил человек и поклонился ему: это был Ломан. Сначала Гнус отпрянул, ловя воздух ртом. Затем растопырил руки, пытаясь схватить в эти клещи Ломана, но тот увернулся. Опомнившись и уже твердо стоя на ногах, Гнус зашипел:

— Так вы, негодяй вы этакий, еще смеете показываться мне на глаза! И где? Как раз возле квартиры артистки Фрелих! Опять предаетесь посторонним занятиям!

— Уверяю вас, господин учитель,— мягко возразил Ломан,— вы ошибаетесь. Самым роковым образом ошибаетесь.

— Так зачем же вы здесь околачиваетесь, подлый мальчишка?

— Сожалею, что не могу вам это объяснить, господин учитель. Поверьте лишь, что ваших интересов мое пребывание здесь ни в какой мере не затрагивает.

— Я вас в порошок сотру,— завопил Гнус, и глаза у него засверкали, как у разъяренной кошки.— Будьте готовы к позорному и постыдному изгнанию из гимназии...

— Буду рад, если это принесет вам удовлетворение, господин учитель,— сказал Ломан без всякой насмешки, скорей даже печально, и неторопливо пошел дальше, преследуемый проклятьями Гнуса.

Ему не хотелось издеваться над Гнусом. Теперь, когда на старика обрушилось столько бед, он считал бы это низостью. Он даже испытывал сострадание к этому человеку, грозившемуся выгнать его из гимназии, в момент, когда уже решено его собственное увольнение,— состраданье и даже известную симпатию к старому одинокому человеконенавистнику, против которого восстал весь город, к своеобразному анархисту, неожиданно себя обнаружившему...

Его вечная подозрительность в отношении Ломана и этой Фрелих была жалка и трогательна; а если сопоставить ее с тем, что выгнало Ломана из дому этой ночью, то и полна трагической иронии. Ломан возвращался с Кайзерштрассе. Госпожа Дора Бретпот сегодня вечером разрешилась от бремени. Потаенная нежность Ломана прильнула к ложу страдалицы. Его сердце, этот бесплодно и смиренно тлеющий огонек, жаждало согреть маленькое трепещущее существо, явившееся в жизнь, может быть, благодаря асессору Кнусту, может быть, благодаря лейтенанту фон Гиршке, а может быть, и благодаря консулу Бретпоту... Сегодня ночью Ломан подошел к дому Бретпотов и благоговейно приложился к запертой двери.

Через несколько дней все нерешенные судьбы определились. Ломану, ничуть в этом не заинтересованному, дозволено было до отъезда в Англию посещать гимназию; у него была слишком влиятельная родня, чтобы всерьез говорить о его исключении. Кизелак своим исключением был обязан не столько истории с курганом, сколько своему недопустимому поведению на суде, но прежде всего — связи с артисткой Фрелих, так бесстыдно ею афишированной и, разумеется, недопустимой для гимназиста-шестиклассника. Фон Эрцум ушел добровольно и поступил в военное училище. Гнус получил отставку.

Ему было предоставлено право до осени не прекращать своей педагогической деятельности. Но он сам по соглашению с местным учебным ведомством решил с нею покончить. В один из первых свободных дней, когда Гнус уныло и праздно — уже

до конца своих дней — сидел на диване, к нему пришел пастор Квитьенс. Он давно наблюдал, как этот смертный все глубже погрязает в грехах и блуде. Теперь, когда он был уже втоптан в прах, пастор Квитьенс решил, что пора вернуть заблудшую овцу в лоно церкви.

Закурив сигару, точно обыкновенный посетитель, он стал сокрушаться по поводу бедственных обстоятельств Гнуса — его одиночества, вражды, которую он возбудил к себе в лучших людях города. Так жить невозможно, надо выходить из положения. Если бы Гнус хоть продолжал заниматься своим привычным делом. Отставка, можно сказать, довершила его несчастья, ведь теперь он всецело отдан во власть горестных размышлений... Сказать «безнадежных» — все-таки будет преувеличением. Ему, пастору Квитьенсу, несомненно, удастся восстановить репутацию Гнуса в глазах лучших людей, более того — он наверняка сумеет протащить его в некий политический союз, а также в кегельный клуб. Конечно, при условии,— пастор, видимо, относился к этому условию, как к необходимому злу, ибо в голосе его послышалось сожаление,— что Гнус перед богом и людьми покается в своих прегрешениях и навсегда покончит с ними.

Гнус, собственно, ничего на это не ответил. Предложение пастора его не интересовало. Партия в кегли не могла возместить ему утрату артистки Фрелих.

Тогда пастор Квитьенс перешел к некоторым обобщениям. Он стал сокрушаться о юношестве, на заре жизни отравленном таким примером; и подумать только, что пример этот подан человеком, призванным быть пастырем юношества. Он имеет в виду не одних шестиклассников, отнюдь нет, и не только гимназистов, но также юношество вне стен гимназии, всех бывших ее питомцев, словом — весь город в целом. Все они — пастор Квитьенс даже не замечал, что его сигара потухла,— усомнившись в уроках, преподанных им в прежние годы, не могли не поколебаться и в своей вере в господа бога. Неужели Гнус не боится взять это на свою совесть? Мальчик Кизелак уже попал в беду, и нельзя ведь отрицать, что Гнус несет большую долю ответственности за несчастье сего младенца. Но это, разумеется, не единственное зло, порожденное отступничеством такого человека, как он, от веры, от законов нравственности...

Гнус оторопел. Он впервые слышал о расправе с Кизелаком и в глубине души ликовал оттого, что был причиной его несчастья. Мысль о том, что его пример опасен для других и может посеять зло в городе, тоже ни разу ему в голову не при-

ходила. Перед его взволнованным взором открылись широчайшие горизонты — теперь он отомстит. Лицо у него пошло красными пятнами; затаив дыхание, углубленный в самого себя, он пощипывал редкие волоски на своих щеках.

Пастор Квитьенс ничего не понял и обрадовался, что Гнус принял его слова так близко к сердцу. А если вспомнить, из-за кого Гнус вверг себя и других во все эти неприятности, то его faux pas [1] станет самоочевидным.

Гнус осведомился, не имеет ли пастор в виду артистку Фрелих.

Разумеется. Ведь после ее публичных показаний на суде у Гнуса не могли не открыться глаза. Любовь слепа,— тут пастор Квитьенс опять раскурил свою сигару,— этого нельзя не признать. Но, с другой стороны, Гнусу полезно будет вспомнить о студенческих годах в Берлине, да, там они оба чего-чего только не насмотрелись. А так как они и сами-то не зевали — хи-хи! — то подобных дамочек знают как свои пять пальцев. И, право же, ради них не стоит калечить свою и чужую жизнь. Да, как вспомнишь Берлин...

Пастор Квитьенс блаженно улыбнулся и совсем уже собрался поинтимничать. Гнус, беспокойно ерзавший на диване, внезапно прервал его. Не подразумевает ли пастор под «этими дамочками» артистку Фрелих? Пастор удивился и отвечал утвердительно. Тут Гнус вскочил как ужаленный, зашипел и глухим угрожающим голосом, брызгая в пастора слюной, стал выкрикивать:

— Вы оскорбили артистку Фрелих. Эта дама находится под моим покровительством. Извольте незамедлительно — ясно и самоочевидно — покинуть мой дом!

В испуге пастор подался назад вместе со стулом. Гнус помчался к двери и распахнул ее. Когда он, дрожа от ярости, еще раз подскочил к своему визитеру, тот окончательно перетрусил, рванулся и вместе со стулом вывалился за дверь. Гнус ее захлопнул.

Он еще долго бегал из угла в угол, тяжело дыша. Волей-неволей Гнус сознавался себе, что несколько минут назад призывал все беды на голову артистки Фрелих. Каких только мерзостей он о ней не передумал! Но у него свои права, пастору Квитьенсу они не даны. Артистка Фрелих выше пастора Квитьенса. Она выше всех — единственная и недосягаемая перед лицом человечества. Как хорошо, что благодаря пастору к

[1] Ложный шаг (*франц.*).

нему вернулась способность правильно оценивать вещи! Артистка Фрелих от него неотделима. Тот, кто не воздает ей должного, наносит оскорбление ему, Гнусу! Трусливая ярость тирана валила его с ног; ему пришлось ухватиться за первый попавшийся предмет, как в тот вечер, когда публика в «Голубом ангеле» насмехалась над ней. Насмехаться над той, кого он собственноручно гримировал! Посягать на ее искусство, можно сказать — выношенное им! Конечно, она не очень-то хорошо показала себя у кургана гуннов и причинила ему немало страданий! Но уж они как-нибудь сочтутся, он и артистка Фрелих. Сейчас он пойдет к ней, больше он эту встречу откладывать не намерен!

Гнус схватил шляпу, но тут же повесил ее обратно.

Конечно, артистка Фрелих его предала, но, с другой стороны, разве она тем самым не погубила гимназиста Кизелака? И разве это не служит ей оправданьем? Пока еще нет! Но если она погубит и остальных гимназистов?

Гнус замер на месте и опустил голову, лицо его стало багровым. Покуда он стоял неподвижно, жажда мести и ревность боролись в нем. Победа осталась за жаждой мести. Артистка Фрелих была оправдана.

И Гнус размечтался о гимназистах, которых ей предстояло сгубить. Какая обида, что табачный торговец с рынка уже давно окончил гимназию, и торговый ученик, который вместо приветствия строит ему рожи, и многие другие горожане! Артистка Фрелих сгубила бы их всех! Их всех со стыдом и позором выгнали бы из гимназии! Другого вида гибели Гнус себе не представлял. Просто не догадывался, что есть катастрофы пострашнее вылета из гимназии...

Когда он постучался в дверь артистки Фрелих, она появилась на пороге в пальто и шляпе.

— Хо-хо! Вот и он! А я уж собралась к тебе. Ты, конечно, не поверишь, а вот провалиться мне на этом месте, если я вру.

— Пусть так,— сказал Гнус.

На этот раз она действительно не врала.

После того как Гнус перестал показываться ей на глаза, артистка Фрелих сказала себе: «Нет так нет!» — и приняла решение: в собственную квартиру не перебираться, продать подаренную ей мебель, прожить некоторое время вроде как на

ренту, а затем подыскать себе новый ангажемент. Супруги Киперт к этому времени уже уехали из города. Видит бог, она питала самые дружеские чувства к своему старикашке Гнусу. Ну, да ведь насильно мил не будешь! Не хочет — и не надо! У нее была своя философия. Легче обвести человека вокруг пальца после того, как чего-нибудь набедокуришь, чем заставить его верить, когда ты и вправду ни в чем не провинилась. Мало ли что было раньше, а с таким, как Гнус, не вылезешь из вранья; подумать, что он взъелся на нее из-за такой ерунды, как эта история с курганом! Да разве после знакомства с ним она заведет шашни с первым встречным? Ну и, конечно, она ему все-таки не чета. Случается ведь человеку ошибиться, и ничего тут худого нет. На улице иной раз увяжется кто-нибудь за тобой и бежит, а потом решится, обгонит тебя, заглянет в лицо, да и отстанет. Так вот и Гнус, видел ее только со спины, а заглянул в лицо — и конец! Ну что ж, нет — и не надо!

Но время шло, она скучала, деньги были на исходе, и артистка Фрелих решила, что глупо просто так взять и поставить крест на этой истории. Старик, верно, конфузится, дуется и ждет, чтоб она хоть палец ему протянула. Ладно, дело поправимое! Он ведь старый ребенок, упрямый и с придурью. Она засмеялась, вспомнив, как он выставил за дверь капитана и даже поругался из-за этого с Кипертом. Но тут же ее глаза приняли то застывшее, задумчивое выражение, с которым она нередко смотрела на Гнуса. Ясное дело, он ревнив, а ревность внушала ей уважение. Может, он сидит сейчас злющий, как паук, и мучается из-за нее. И желчь у него, верно, разлилась, так что он и есть ничего не может. Вот беда-то! Доброе сердце артистки Фрелих дрогнуло. И она собралась в путь, не только корысти ради, нет, но еще из сострадания и из уважения тоже.

— Давно мы с тобой не виделись,— начала она, хоть и насмешливо, но нерешительно.

— На то имелись свои причины,— произнес Гнус.— Я был — суммирую — занят.

— Ах, вот как! А чем, собственно?

— Увольнением меня из состава педагогического персонала местной гимназии.

— Понятно. Это упрек в мой адрес?

— Ты заслуживаешь оправдания. Ведь гимназист Кизелак тоже удален из гимназии, и тем самым для него навеки закры-

ты перспективы, открывающиеся перед человеком с законченным образованием.

— И поделом этакому стервецу!

— Теперь остается только пожелать, чтобы аналогичная участь постигла множество других гимназистов.

— А как нам с тобой это устроить? — Она двусмысленно улыбнулась. Гнус налился кровью. В молчанье она ввела его в комнату и усадила. Потом скользнула к нему на колени, уткнулась лицом в его плечо и затараторила шутливо-смиренным голоском:

— Так Гнусик больше не сердится на свою артисточку Фрелих, правда? Ведь в чем я на суде призналась, это все; больше ничего не было. Чуть было не сказала: бог тому свидетель, да разве это поможет. Но ты уж мне поверь.

— Пусть так,— заключил он. И, стремясь к душевной близости с ней, пустился в обстоятельное обсуждение происшедших событий: — Мне — конечно и безусловно — хорошо известно, что так называемая нравственность в большинстве случаев теснейшим образом связана с глупостью. Усомниться в этом может разве что человек, не получивший гуманитарного образования. В нравственности заинтересованы лишь те люди, которые, сами не обладая ею, подчиняют себе людей, попавшихся в ее сети. Я утверждаю и берусь доказать, что от рабских душ следует неуклонно требовать так называемой нравственности. Но это сознание — ясно и самоочевидно — никогда не мешало мне понимать, что существуют общественные круги, управляемые нравственными законами, которые разительно отличаются от нравственных законов пошлых филистеров.

Она слушала — вся внимание — и удивлялась.

— Да неужто? Какие такие круги? Ты не врешь?

— Я сам,— продолжал Гнус,— придерживался этих нравственных традиций филистерства. Не потому, что я высоко их ставил или считал себя неразрывно с ними связанным, но потому что — суммирую — у меня не было повода порвать с ними.

Он старался сам подстегивать себя во время этой речи и тем не менее запинался, краснел и сгорал от стыда, излагая свое дерзостное мировоззрение.

Она восхищалась его словами и чувствовала себя польщенной тем, что ей, именно ей говорил он все это. Когда же он добавил: «Признаться откровенно, я никак не ожидал, что твой образ жизни окажется согласованным с моим мировоззрением»,— она, удивленная и растроганная, состроила гримаску

и чмокнула его. Не успела еще артистка Фрелих отвести свои губы, зажимавшие ему рот, как он уже продолжал:

— Что, однако, не помешало...

— Ну, что там еще? Что чему не помешало, Гнусик?..

— ...мне очень страдать в данном конкретном случае, хотя факты, с которыми я столкнулся, казалось бы, отнюдь не противоречили моему мировоззрению. И объясняется это, по-видимому, моим исключительным расположением к тебе.

Она приблизительно отгадала, что он такое хотел выразить, и приблизила к нему лукаво склоненную набок головку.

— Ибо я считаю тебя женщиной, обладанье которой не так-то легко заслужить.

Она стала серьезной и задумчивой.

Гнус заключил:

— Пусть будет так,— но тут же, под натиском страшных воспоминаний, воскликнул: — Только одного человека я бы тебе никогда не простил, и от него — ясно и самоочевидно — ты обязана воздержаться, его ты больше не должна видеть. Этот человек — Ломан!

Она видела, что он весь вспотел и совсем обессилел, и не понимала, в чем дело, так как ничего не знала о страшном видении, однажды посетившем его,— она в объятьях Ломана.

— Ах да,— заметила она,— из-за этого мальца ты всегда бесился! И собирался сделать из него котлету. Ну и делай себе на здоровье, милый мой Гнусик, только на меня не сердись. Меня, ей-богу, такие глупые мальчишки не интересуют. Если б я только могла тебе это вдолбить! Но ты ведь никаких резонов не слушаешь, прямо хоть плачь.

Ей и вправду хотелось плакать, оттого что она сама не верила в свое равнодушие к Ломану, оттого что в глубине души ее все-таки к нему тянуло — недаром ее уверенья звучали неубедительно,— оттого, что Гнус, это неразумное старое дитя, так часто и так неловко касался этого ее чувства, и еще оттого, что в жизни, видимо, не существовало покоя, которого она всем сердцем жаждала.

Но так как Гнус не понял бы, отчего она плачет, а ей не хотелось без нужды еще больше запутывать положение, она отказала себе в этом удовольствии.

Вообще же теперь наступила счастливая пора. Они вместе ходили по городу, пополняя обстановку и приданое артистки Фрелих. Каждый вечер в выписанных из Гамбурга туалетах

она сидела бок о бок с Гнусом в ложе городского театра. Гнус со сдержанным удовлетворением перехватывал завистливо-возмущенные и злобно-похотливые взгляды, на нее направленные. Вдобавок открылся еще и Летний театр, а значит, можно было сидеть в саду среди зажиточных почтенных горожан, есть бутерброды с лососиной и радоваться, что ближние тебя осуждают.

Артистка Фрелих больше не боялась постороннего влияния на Гнуса. Опасность миновала; из любви к ней он принял унизительную отставку и навлек на себя всеобщее презренье.

Поначалу ей было страшновато. Как это так вышло, размышляла она в тиши, что ради нее человек взвалил на себя столь тяжкое бремя? А потом стала пожимать плечами: «Чудаки эти мужчины!»

Мало-помалу она пришла к заключению, что он был прав, что она стоит этих жертв и даже еще бóльших. Поскольку Гнус с утра до вечера настойчиво твердил ей, что она вознесена на недосягаемую высоту и что человечество недостойно ее лицезреть, она под конец и впрямь стала относиться к себе с сугубым почтеньем. До сих пор никто не принимал ее до такой степени всерьез, а потому и она сама себя всерьез не принимала. Она была благодарна Гнусу за то, что он открыл ей глаза, и чувствовала, что, в свою очередь, должна ценить человека, вознесшего ее столь высоко. Более того, она силилась его полюбить.

Однажды она заявила, что хочет учиться латыни. Он немедленно приступил к занятиям. Во время уроков она его не перебивала, но отвечала невпопад или не слышала вопросов, и только смотрела на него, занятая другими, более важными вопросами, обращенными к самой себе.

— Скажи-ка, Гнусик, что труднее затвердить: латынь или греческий? — осведомилась она на третьем уроке.

— Большинству труднее дается греческий,— отвечал он, и она воскликнула:

— Так я буду учить греческий.

Гнус пришел в восторг и спросил:

— А почему, собственно?

— Потому, мой Гнусик.

Она поцеловала его, и это выглядело как пародия на ласку. А намерения у нее были самые добрые. Он сделал ее честолюбивой, и она ему в угоду пожелала изучать греческий, потому что греческий труднее. Это было любовным признаньем —

вернее, предвосхищением такового; она старалась заставить себя его полюбить.

Но любовь к старичку Гнусику давалась ей нелегко. Не легче, чем греческий язык. Она то и дело гладила рукой, словно затем, чтобы привыкнуть, его одеревенелое лицо, трясущуюся челюсть, угловатые глазницы, из которых его глаза злобно косились на весь мир и только на нее смотрели с ребяческой преданностью. Этот взгляд возбуждал в ней сострадание и нечто вроде нежности. Его жесты и слова, нелепый комизм первых и обстоятельная высокопарность вторых — все это ее трогало. Она нередко думала, что он, бесспорно, заслуживает уважения. Но дальше — ни с места.

Чтобы загладить неудачу с чувствами, она иногда старалась на уроках греческого языка собрать все силы своего разума.

Гнус покрывался красными пятнами и, содрогаясь от блаженства, мчался навстречу партикулам. Когда он раскрыл Гомера и она впервые стала читать его, когда эти возлюбленные звуки слетели с премило подкрашенных губок, шевелившихся на пестром лице артистки Фрелих, сердце его затрепетало. Ему пришлось отложить книгу, чтобы прийти в себя. Все еще прерывисто дыша, он взял со стола пухлую и всегда немножко сальную ручку артистки Фрелих и заявил, что впредь ни на одну минуту не желает с ней расставаться. Он намерен сделать ее своею женой.

Сначала у нее задрожали губы, как у человека, который вот-вот заплачет. Потом она прочувствованно улыбнулась, прижалась щекой к его плечу и стала слегка раскачиваться вместе с ним. Это раскачивание перешло в подергиванье; не в силах больше сдерживать своего восторга, она стащила Гнуса со стула и закружилась с ним по комнате.

— Я буду госпожой Гнус! Ей-богу, сдохнуть можно. Госпожа профессорша Гнус — э-э, нет, дудки, Нусс, а не Гнус, молодые люди!

И немедленно изобразила почтенную даму, опускающуюся в кресло. Потом она заговорила вполне разумно: теперь ей не стоит перебираться на новую квартиру, тем более что значительную часть мебели она продала. Она переедет к Гнусу в его дом у городских ворот и там все устроит по-новому. И вдруг опять разразилась смехом. Наконец она успокоилась и только еще задумчиво произнесла:

— Чего-чего с человеком не случается!

Когда он спросил, рада ли она, и посулил, что все это очень скоро сделается, она лишь рассеянно улыбнулась в ответ.

Все последующие дни она казалась ему какой-то отсутствующей. Временами у нее бывал очень озабоченный вид, но она решительно это отрицала. Она часто куда-то уходила и сердилась, когда он хотел идти вместе с нею. Он был убит и чуял какую-то мрачную загадку. В один прекрасный день он столкнулся с нею на улице: она выходила из третьеразрядной гостиницы. Они молча пошли рядом, наконец она таинственно сказала:

— Человек предполагает, а бог располагает.

Он встревожился донельзя, но она ничего ему объяснить не пожелала.

Еще через несколько дней, когда Гнус одиноко и печально тащился по пустынной в обеденный час Зибенбергштрассе, к нему подошла маленькая девочка, вся в белом, и пролепетала:

— Пойдем домой, папа!

Гнус в изумлении остановился, глядя на протянутую к нему ручонку в белой перчатке.

— Пойдем домой, папа,— повторил ребенок.

— Что это значит? — спросил Гнус.— Где ты живешь?

— Там.— И она указала куда-то назад.

Гнус взглянул в этом направлении: на углу стояла артистка Фрелих, умильно склонив головку набок: рука ее, опущенная чуть пониже бедра, казалось, умоляла о прощении и еще о чем-то.

Гнус растерянно задвигал челюстями.

Но тут же все понял и взял протянутую к нему ручку в белой перчатке.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Семейство выехало на близлежащий морской курорт. Они поселились в лучшей гостинице и получили в свое пользование кабину на взморье. Артистка Фрелих одевалась в белое: белые туфли, легкое белое платье и белое боа из перьев. Она выглядела свежей и воздушной в шляпке с развевающейся на ветру белой вуалью и с белой девочкой, которую вела за руку. Гнусу тоже был куплен белый костюм. Когда они проходили по дощатому настилу вдоль дюн, из всех кабинок на них направлялись бинокли и кто-нибудь из горожан непременно рассказывал приезжим их историю.

Если дочка артистки Фрелих играла сырым песком, ей надо было крепко держать свои формочки; едва только одна из них грозила затеряться в песке или быть смытой волнами, как на помощь уже бросался какой-нибудь элегантный господин и вручал ее — не ребенку, но артистке Фрелих. Затем он с поклоном представлялся Гнусу. Таким образом, семейство вскоре по приезде уже распивало кофе в своей пляжной кабинке в обществе двух гамбургских коммерсантов, юного бразильца и фабриканта из Саксонии.

Эта разношерстная компания совершала прогулки на парусных яхтах, во время которых все мужчины, кроме Гнуса, страдали морской болезнью. Он и артистка Фрелих улыбались друг другу. Девочку с утра до вечера закармливали конфетами, задаривали корабликами, деревянными лопаточками и куклами-голышами... Все пребывали в наилучшем настроении. Компании полюбились еще и прогулки на ослах, и Гнус, потеряв стремена и уцепившись за ослиную гриву, галопом проносился мимо раковины для оркестра как раз во время концерта. Артистка Фрелих взвизгивала, девочка восторженно кричала, а гости за столиками обменивались кислыми взглядами и замечаниями.

Когда к этой компании пристал еще берлинский банкир вместе с венгерской танцовщицей, то «шайка Гнуса» заполонила весь курорт; они поднимали невообразимый шум за табльдотом, требовали от капельмейстера исполнения номеров, с которыми, в бытность свою на сцене, выступала артистка Фрелих, по собственному почину устраивали фейерверки, все переворачивали вверх дном, сея вокруг веселость и возмущение.

Гнус был загадкой для всех, кто приближался к нему ради его жены. Он выглядел ряженым в своих английских костюмах, с неприличной жадностью уничтожал дорогие кушанья, как-то раз шлепнулся во время вечеринки с танцами,— словом, впечатление производил самое жалкое, но в то же время комическое и вряд ли мог служить серьезным препятствием. Казалось, он только для того и создан, чтобы оставаться в дураках. И тем не менее поклонник, беззаботно флиртовавший с его супругой, вдруг чувствовал на своей спине его холодный, язвительный взгляд. Когда Гнус рассматривал браслет, подаренный его жене, у дарителя вдруг появлялось ощущение, что он влип. Он умел так пожелать спокойной ночи, что даже тот, кому удалось во время уединенной вечерней прогулки, пока муж сидел за пуншем с остальной компанией, добиться у жены почти

решительных успехов, чувствовал себя осмеянным и сомневался в окончательном достижении цели.

И правда, никто этой цели не достигал. Всех искателей супруг уничтожал и развенчивал в глазах артистки Фрелих. Оставшись с ней наедине, он подражал энглизированному выговору обоих гамбуржцев. Пожимал плечами, вспоминая, как прыгают по воде монеты, которые бразилец бросал в море вместо плоских камешков, передразнивал величавые движения господина из Лейпцига, когда тот закуривал сигарету или откупоривал бутылку. И артистка Фрелих покатывалась со смеху, хотя доводы Гнуса не убеждали ее в том, что все это достойно презрения. Тем более что основной его довод был — греки вели бы себя по-другому. Но она всегда испытывала благодарность к тому, кто давал ей возможность посмеяться. Кроме того, она невольно подчинилась его непоколебимому и в этой непоколебимости почти величественному убеждению, что нет на свете людей, которые бы чего-нибудь стоили по сравнению с ним и с ней. Завороженная его властной силой, она тоже приобрела чувство собственного достоинства и важную осанку. Когда бразилец на уединенном утесе, ломая руки, упал перед ней на колени, она сказала тоном бесстрастного наблюдателя:

— Оказывается, вы обыкновеннейший пустобрех.

А ведь ей было очень лестно, что этот молодой человек, гостивший здесь в семействе видных горожан, забросил всех своих знакомых, чтобы гонять с ней по окрестностям и сорить деньгами. Но Гнус заклеймил его пустобрехом.

Гнус никогда не расспрашивал, где она пропадала. Он не выказывал беспокойства, когда она одевалась так, что у поклонников дух захватывало от прозрачных тканей и кружев ее летних платьев. Напротив, пока эти господа дожидались ее на улице, Гнус помогал ей наводить красоту и даже гримировал ее, как некогда в «Голубом ангеле». С ядовитой усмешкой он замечал:

— Народ в нетерпении. Надо бы выпустить пианиста, чтобы они успокоились.

Или:

— Если ты сейчас, даже не подкрасив губ, неожиданно высунешь головку в дверь, они загогочут, как тогда.

Отъезд с курорта не обошелся без скандала. На станции собралась вся «шайка Гнуса». Не успел молодой бразилец отойти в сторону, чтобы перекинуться несколькими словами с артисткой Фрелих, как на перрон, прихрамывая и отдуваясь, вышел старый маклер Фермолен, родственник молодого иност-

ранца, и попытался наложить руку на коробочку, которую держала артистка Фрелих.

Это был почтительный дар бразильца, только что ею полученный.

Гнус ринулся отстаивать права супруги. Покуда переконфуженный юноша на все лады отрекался от своих родственников, старик Фермолен взволнованно растолковывал чете Гнус, что в их компании племянник давно растранжирил все свои деньги. Эту брошку он бы уже не мог купить, но, к сожалению, ему удалось выпросить деньги у слабохарактерной тетки; это деньги Фермолена, и потому сделка объявляется недействительной.

На это Гнус спокойно и внушительно возразил, что деньги у господина и госпожи Фермолен, надо думать, общие, что он не намерен вдаваться в подробности семейной жизни господ Фермоленов и, наконец, что уже третий звонок. И, накрепко вцепившись своими серыми пальцами в футляр, другой рукою подсадил в вагон артистку Фрелих. Все стали размахивать шляпами, кроме Фермолена — он грозил палкой.

Артистка Фрелих нерешительно пробормотала что-то относительно неприятного происшествия и его возможных последствий. Гнус разъяснил ей неосновательность ее опасений и добавил, что у маклера Фермолена есть сыновья, бывшие его ученики, которых ему ни разу не удалось «поймать с поличным». Фермолены состоят в родстве с многими именитыми горожанами.

Артистка Фрелих успокоилась. Она стала показывать свои украшения девочке, смеялась вместе с ней и говорила:

— Все эти побрякушки я отдам Мими, когда Мими понадобится приданое.

Гнус ликовал, что ученики Фермолены наконец «пойманы с поличным». И начал задумываться: в данном случае для учеников Фермоленов и их широко разветвленной семьи зло не явилось следствием каталажки или исключения из гимназии. Следовательно, зло — конечно и безусловно — так же, как и большие неприятности, можно чинить не только исключением из гимназии, но и другим путем. Новым путем, ранее ему неведомым...

Дома, в городе, опять все пошло по-прежнему. Но им недоставало общества. До вечера, когда они отправлялись в театр или в ресторан, артистка Фрелих только и знала что валяться в капоте на диванах. Гнус предложил развлечь ее уроками гре-

ческого языка. Она наотрез отказалась. Как-то вечером, сидя в театре, она узнала в актрисе, исполнявшей роль кухарки, свою старую знакомую.

— Ей-богу, это же Гедвиг Пилеман! И подумать, что они ее взяли, таланту у нее ни на грош!

Она рассказала пропасть всяких гадостей из жизни подруги и в заключение добавила:

— Слушай-ка, пусть она к нам придет!

Пилеман пришла раз-другой, и артистка Фрелих, желая пустить ей пыль в глаза, стала потчевать ее изысканными завтраками и ужинами. Теперь на диванах возлежали уже две дамы вместо одной; они курили и предавались давно надоевшим воспоминаньям. Гнуса мучила совесть из-за того, что они скучают. Он чувствовал себя обязанным развлечь их, но не знал как, да и заботы его одолевали. Едва у дверей раздавался звонок, он вскакивал и бросался в прихожую. Дамы заметили, что он никогда не позволял горничной открыть дверь.

— Одно из двух,— решила артистка Фрелих,— либо он готовит мне сюрприз, либо мне изменяет. Мой старикашка — малый не промах!

В один прекрасный день пришло письмо из Гамбурга от обоих приятелей. Осенью они собираются поехать морем к берегам Испании и дальше до Туниса. Гнус и его супруга непременно должны составить им компанию.

— Что же,— сказала артистка Фрелих,— и это дело. Двинем к дикарям. Ты тоже должна поехать с нами, Пилеман, выпроси себе отпуск. Выкрасимся коричневой краской, завернемся в простыни, а я еще надену диадему, в которой я выступала, когда была артисткой.

Пилеман не трудно было уговорить. Гнуса вообще не спросили, дамы только удивлялись, что он не выказывает воодушевления. Он отмалчивался, покуда не ушла Пилеман, а затем откровенно признался: у него нет денег.

— Не может быть,— крикнула артистка Фрелих.—Как это так — профессор и без денег!

Гнус смущенно заулыбался. У него имелись сбережения — тридцать тысяч марок. Но они разошлись: меблировка квартиры, туалеты, развлечения. Текущие расходы значительно превышают его пенсию. Гнус выложил на стол перехваченные у дверей письменные напоминания о долгах от всевозможных поставщиков, рестораторов, портных. Задыхаясь от ненависти и унижения, он рассказывал об уловках, к которым вынужден

прибегать, чтобы оттянуть приход судебного исполнителя — теперь уже ненадолго.

У артистки Фрелих был испуганный и виноватый вид. Право же, она ничего дурного не думала. Ну, теперь всему этому крышка, а те два дурака могут одни отправляться к дикарям. Сегодня на обед будет только суповое мясо, хотя на кухне уже жарится гусь, на ужин они обойдутся кровяной колбасой; кроме того, она опять начнет учиться греческому языку, так как это всего дешевле. Гнус умилялся и заверял, что он — ясно и самоочевидно — помнит о своей обязанности доставлять артистке Фрелих все, что ей требуется.

— Ах да,— вспомнила она,— бронзовые туфли за полсотенки.

Она немедленно послала Пилеман письменное извещение: «Мы сидим без денег». На худой конец и это было разнообразием.

Пилеман решила: Гнус должен давать уроки.

— Да, но моего мужа здесь все поголовно ненавидят,— заметила артистка Фрелих.

Пилеман, гордясь возможностью быть полезной, объявила:

— Я пришлю ему своего друга, пускай общиплет его хорошенько. Я ничего не буду замечать.

— Лоренцена, виноторговца? Ни черта не получится. Это бывший ученик Гнуса, он мне им все уши прожужжал. Он говорит, что против тебя ничего не имеет, но твоего дружка на порог не пустит... А если я даже его уговорю, то Лоренцен сам не захочет с ним связываться.

— Ну, ты меня не знаешь,— возразила Пилеман.— Я поставлю вопрос: или — или.

Гнусу было объявлено, что Лоренцену необходим греческий язык, потому что он торгует греческими винами, а следовательно, Гнус должен давать ему уроки. Гнус очень встревожился, но не возражал. Взволнованный, с коварной усмешкой на устах, он заговорил о многочисленных провинностях и попытках к мятежу ученика Лоренцена, который тоже называл его «этим именем», но сцапать Лоренцена Гнусу никогда не удавалось.

— Ну что ж,— вдруг перебил он сам себя,— время еще не ушло.— И обращаясь к жене: — Ты помнишь, душенька, людей, что подняли такой шум при нашем бракосочетании и даже увязались за экипажем...

— Да ладно,— прервала его артистка Фрелих. Ей не хотелось, чтоб он при Пилеман об этом распространялся.

Гнус не дал себя остановить:

— ...банду, которая — опять-таки в свою очередь — бежала за нашим экипажем, дебоширила и предавалась посторонним занятиям у самого подъезда ратуши; помнишь булыжник, который испачкал твое атласное платье, когда ты садилась в карету? Так вот, мне удалось твердо установить, что среди этих головорезов, бесстыдно выкрикивавших мое имя, был и ученик Лоренцен.

— Ну, я ему задам! — вмешалась Пилеман.

— К сожалению, мне не удалось его сцапать,— продолжал Гнус.— У меня не было доказательств. А теперь пусть изучает греческий. Мне многих не удалось сцапать. Пусть бы все занимались греческим.

Лоренцен явился и был благосклонно принят. Под предлогом розысков недостающего карандаша или тетрадки Гнус то и дело призывал артистку Фрелих и умело втягивал ее в разговор. Сначала ей пришлось похвалиться перед Лоренценом своими познаниями в греческом языке, затем завязалась беседа на более современные темы. Тон у Лоренцена был снисходительно-иронический. Мало-помалу он от него отказался, увидев, с какой непринужденной грацией движется среди своей солидной буржуазной мебели артистка Фрелих; она была одета лучше его жены, которая всегда так возмущалась ею в театре, а легкий грим, известная примесь уличного жаргона и небольшая доза комедиантства были, право же, недурной приправой к семейным будням. Ну и ловкач этот Гнус! Его уж, конечно, не тянет ни в клуб, ни в какие-нибудь там злачные места. Высокомерие Лоренцена по отношению к чете Гнус сменилось липучей угодливостью.

Он испросил разрешения в следующий раз захватить с собой бутылочку-другую вина своей фирмы, заодно принес сладкий пирог, и легкий завтрак заменил урок греческого языка. Когда надо было принести что-нибудь из соседней комнаты, туда отправлялся Гнус. Сначала он ходил за штопором, а потом, когда вино было выпито и ученик Лоренцен явно повеселел, за множеством других предметов.

Такие встречи стали повторяться, и артистка Фрелих высказала мысль, что, если бы народу приходило побольше, то, пожалуй, было бы еще веселей. Ученик Лоренцен стоял за интимность, но Гнус поддержал супругу. Лоренцену пришлось привести кое-кого из приятелей. Пилеман явилась с товаркой по театру. На мужчин возлагалась обязанность приносить пирожные, закуску, фрукты. Зато хозяйка угощала чаем. Гостей

«Учитель Гнус»

всякий раз тянуло на шампанское, и Гнус замечал со сдержанной усмешкой:

— Как вам известно, почтеннейшие дамы и господа, я — заслуженно или незаслуженно, этого мы сейчас обсуждать не будем — выбыл из состава педагогов местной гимназии.

Ему давали договорить и покатывались со смеху. Затем мужчины устраивали складчину и посылали за шампанским. Иногда Гнус отправлялся самолично. В окно они видели шествие — впереди рассыльный с корзиной, а сзади Гнус, добросовестно охраняющий транспорт, как некогда в «Голубом ангеле».

Когда общее настроение уже заметно повышалось, артистка Фрелих снисходила к мольбам и исполняла свои любимые песенки; однажды, выпив больше обыкновенного, она запела «Песню о луне». Гнус немедленно ее прервал, а гостям предложил удалиться. Они удивились, заартачились, наговорили дерзостей. Но, увидев, что Гнус пыхтит и никаких доводов не слушает, разошлись. Артистка Фрелих смиренно просила прощения у мужа. Она и сама не знает, с чего это ей взбрело на ум.

В гости к Гнусу ходили главным образом молодые люди, завсегдатаи «Голубого ангела». Покуда их было немного, они, не привыкнув обходиться с Гнусом, как со всеми остальными людьми, держались трусливо и нахально, втихомолку над ним потешались, а когда приходилось держать ответ за эти подшучиванья, впадали в ученическое раболепство. В скором времени число гостей приумножилось, и каждый в отдельности стал чувствовать себя непричастным зрителем. Сборища эти больше не носили семейственного характера. Казалось, будто Гнус со своей труппой просто перекочевал в менее обширное заведенье, где удобнее общаться с дамами. Вдобавок это заведенье закрывалось позднее, и только тогда, когда гости сами решали разойтись по домам. Как-то раз,— была уже ночь и народу оставалось мало,— Лоренцен предложил сыграть в баккара. Гнус заинтересовался, потребовал, чтобы ему объяснили правила игры, и, усвоив их, сел метать банк. Он выиграл. А перестав выигрывать, тотчас уступил место банкомета другому. Лоренцен в качестве инициатора счел своим долгом внести в игру большее оживление. Он одну за другой вытаскивал из кармана стомарковые кредитки. Некоторые, войдя в азарт, сожалели, что имеют при себе мало денег. Счастье опять перешло к банкомету. Артистка Фрелих, стоя за спиной мужа, шептала:

— Видишь, видишь? Ну почему ты перестал метать, разиня несчастный?

Гнус отвечал:

— Считай, душенька, что шляпа за восемьдесят марок уже твоя. А у меня появилась возможность на первых порах заткнуть глотку ресторатору Цеббелину. Пока ограничимся этим.

И он спокойно созерцал, как кредитки Лоренцена исчезают в чужих карманах. Важно, что Лоренцен их теряет; Гнус даже запыхался, ему казалось, что путь к триумфу, колеблющийся от легких подземных толчков, уже открылся перед ним. Когда Лоренцен наконец отрезвел и с дурацким видом уставился на свой пустой бумажник, Гнус подошел к нему и сказал:

— На сегодня, Лоренцен, будем считать наш урок греческого языка законченным.

Вскоре по городу поползли слухи, что у Гнусов устраиваются оргии. Мужчины на бирже, в клубе, в торговых конторах и в пивных заслушивались смачных и несколько преувеличенных рассказов своих холостых собратьев. Слабое эхо этих рассказов доносилось до семейных домов, жены шушукались и жаждали подробностей. Что такое этот канкан, который отплясывает Гнусиха? Супруг не отваживался на обстоятельные разъяснения, и дамам рисовались картины невообразимого разврата. А игры, которыми забавляются у Гнусов! Фанты, например. Все рядком ложатся на пол, обязательно мужчина возле дамы, и укрываются по шею большим одеялом. Покуда одеяло не шевельнется, никому дела нет, что под ним происходит, но как только оно зашевелилось, он или она платят фант. Эта игра пленяла воображение всего города. Путаные рассказы о ней дошли до молодых девушек; они часами пытались проникнуть в ее смысл, и глаза их выражали испуг и любопытство. Кроме того, им хотелось дознаться, правда ли, что у Гнусов женщины разгуливают обнаженные до пояса. «Ужас, до чего неприлично!» А все-таки интересно.

Лоренцен привел несколько офицеров, покупавших у него вино для офицерского клуба; среди них лейтенанта фон Гиршке. Асессор Кнуст был одним из первых представителей избранного бюргерского общества у Гнусов. Он стал яростно оспаривать артистку Фрелих у молодого учителя Рихтера. Рихтер после долгого ухаживания был наконец помолвлен с девушкой из богатого дома,— партия для учителя неслыханно блестящая, но жениховство скверно на нем отзывалось. Он сделался раздражителен, жаждал плотских утех, часто утрачивал свою чиновничью степенность и здравомыслие. Соблазненный примером Лоренцена, он за один вечер у Гнусов проигрывал несколько

своих месячных окладов, заключал нелепейшие пари, в пылу настойчивых домогательств забывал о всякой сдержанности с хозяйкой дома. В учительской уже шли недоброжелательные разговоры о его посещениях Гнуса, считавшегося позорным пятном учительского сословия.

Гнус, как и всякий игрок, переживал то падения, то взлеты. Однажды артистка Фрелих получила тысячное манто из шиншиллы, и ее пестрая головка соблазнительно выглядывала из серого пушистого меха. А через несколько дней Гнусу приходилось, заслышав шаги гостей, укладываться в постель, так как ни один ресторатор ему ничего больше не отпускал. Назавтра он отправлялся к озлобленным кредиторам и красноречиво доказывал, что на его катастрофе они ничего не заработают. Возразить против этого довода было нечего, и ему продлевали кредит до нового выигрыша.

Артистка Фрелих редко понтировала, но, сев за карточный стол, прекращала игру, только когда у нее уже гроша за душой не оставалось. Однажды вечером ей повезло так, что ее противнику Лоренцену оставалось лишь очистить поле битвы... Он побледнел и ретировался, на ходу выкрикивая угрозы. Артистка Фрелих сидела, обессилевшая от счастья, точно ребенок, осыпанный дарами деда Мороза, держа в дрожащих руках груды кредиток и золотых монет. Кавалеры почтительно предложили ей свои услуги по подсчету выигрыша — он равнялся двенадцати тысячам марок... Она сказала, что хочет спать. А оставшись наедине с Гнусом — глаза у нее лихорадочно блестели,— пролепетала сладким, срывающимся голоском:

— Ну, моя Мими опять с приданым. Мы хоть и загнали мои побрякушки, но теперь к нам все вернулось и Мими не будет такой, как ее мама.

Но уже на следующее утро их дом подвергся штурму кредиторов, почуявших деньги, и хотя артистка Фрелих собственным телом защищала приданое дочки, у нее это приданое вырвали.

В скором времени распространился слух, что виноторговец Лоренцен прекратил платежи. Гнус немедленно помчался собирать сведения; вернулся он весь взмокший, бледный, не в состоянии слова вымолвить. Наконец, задыхаясь, с трясущейся челюстью, сказал:

— Он обанкротился! Ученик Лоренцен обанкротился.

— А мне какой прок от этого? — отвечала артистка Фрелих; совсем поникшая, она сидела на оттоманке и покачивала руки, опущенные между колен.

— Ученик Лоренцен обанкротился,— повторил Гнус.— Ученик Лоренцен повержен в прах, и ему уже не подняться. Его карьера — ясно и самоочевидно — закончена.

Он говорил тихо-тихо, словно боясь взорваться от собственного ликования.

— Мне-то что с того? Приданое Мими все равно ухнуло.

— Наконец-то ученик Лоренцен пойман с поличным. Все-таки мне удалось его сцапать и предать той участи, которую он заслуживает.

Она видела, что он мечется по комнате как одержимый. Дрожащими руками он машинально хватался то за одну, то за другую вещь. Артистка Фрелих продолжала высказывать свои соображения, но он в ответ только шептал трясущимися губами:

— Ученик Лоренцен повержен во прах!

Мало-помалу она стала к нему присматриваться. Его душевный порыв, своей силой значительно превосходивший ее собственные переживания, заставил ее позабыть о них. Она пристальным взглядом следила за мужем, бессознательно испуганная этой страстью, словно из нее вот-вот должно прорваться безумие, и в то же время покоренная ею, еще крепче привязанная к своему старикашке Гнусу благодаря сладостному ужасу, который вызывала в ней эта страсть, эта грозная и хищная сила.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В число гостей Гнуса затесалось даже несколько молодых людей, еще не покинувших школьной скамьи. Один из них, долговязый блондин, проигрывал значительные суммы. В самом конце сезона, уже весной, в субботний вечер, Гнус увидел на пороге своего дома учителя Гюббенета, врага, злобно отозвавшегося о его сыне и перед лицом его, Гнусова класса, распространявшегося о «нравственной гнуси, вернее грязи». Теперь он стоит здесь, вызывающе приосанившись, и Гнус встречает его ядовитой усмешкой. Он давно уже ожидал прихода коллеги; ученик Гюббенет играл очень крупно, а значит, в доме учителя не все шло как положено.

Гюббенет, красный как рак, направился к сыну и приказал вконец смешавшемуся юнцу следовать за ним. Затем он, ни к кому в отдельности не обращаясь, присовокупил, что сделает все от него зависящее для устранения порядков, насаждаемых здесь бессовестными авантюристами; порядков, направленных на соблазн и искушение слабовольных молодых людей; порядков,

которые поддерживаются воровством у родителей и прочими грязными, даже кровавыми делами.

Какой-то офицер торопливо шмыгнул за дверь. Один сильно обеспокоенный участник пиршества подошел к возмущенному педагогу и вразумительно разъяснил ему, сколь неумно было бы в данном случае поднимать шум. Он считает это собрание подозрительным? Так пусть получше присмотрится, из кого оно состоит. Видимо, ему неизвестно, кто этот седоватый господин, вон за тем карточным столом у окна? Консул Бретпот. А этот, кто хмуро оглядывается на Гюббенета? Полицмейстер Флад собственной персоной. Неужели Гюббенет рассчитывает, что его бунт против существующего положения вещей увенчается успехом, если такие лица заинтересованы в обратном?

Гюббенет не рассчитывал, это было видно по его лицу. Правда, он проговорил еще несколько слов в Катоновом духе, но уже упавшим голосом; затем он начал отступление. Никто его больше не замечал. Только победоносный и сияющий Гнус побежал за ним, предлагая любезному коллеге освежиться каким-нибудь напитком, а когда тот движеньем плеч указал на разделяющую их моральную дистанцию, гостеприимно крикнул вслед, что двери его дома всегда раскрыты для Гюббенетов, отца и сына.

Снова наступил купальный сезон. На этот раз Гнус и его свита, точно ураган, налетели на маленький приморский городок. Гнусы сняли меблированную виллу. Скромный семейный диван они покрыли японскими вышивками, на столике перед ним водрузили рулетку, в стаканы с надписью «На память о приморье» полилось шампанское. «Шайка Гнуса» нового набора ночи напролет предавалась картежной игре и распутству, по утрам отправлялась на взморье любоваться восходом солнца, а по воскресеньям завтракала под звуки хоралов, исполняемых курортным оркестром. Многие ночи проводились вне дома. Из уваженья к платежеспособным спутникам артистки Фрелих, приморский ресторатор, равно как и содержатель кафе, гостеприимно распахивал перед нею двери своих заведений в любое время суток.

Артистка Фрелих была неистощима на выдумки. День и ночь таскала она за собой свору поклонников; одному бросала палку, чтобы он принес ее обратно, другому — аппетитную косточку и все время лукаво поглядывала на Гнуса, а тот потирал руки от удовольствия. Каждого из своих обожателей она подвергала испытанию. Один из них, жирный и розовый, получил

приказ после обеда — кстати говоря, состоявшего из шести блюд — доплыть до песчаной отмели.

— Бог ты мой, да ведь вас хватит удар,— заметил ему другой, более благоразумный.

Артистка Фрелих его перебила:

— Таких, что собираются получать удар, мне вообще не нужно. Пускай сматывают удочки. Верно ведь, Гнусик?

— Разумеется,— подтвердил супруг,— пусть сматывают.— И добавил: — Ученик Якоби всегда был весьма искусен в гимнастических упражнениях. Так, уже после окончания гимназического курса он перелез через стену, чтобы посредством шланга впустить в окно классной комнаты, где я как раз давал урок, струю прокисшего овечьего молока. В помещении несколько дней стояла вонь. Не сомневаюсь, что он окажется хорошим пловцом.

Эта речь вызвала бурное одобрение, и молодой человек под всеобщий хохот решил подвергнуться испытанию.

Когда он вышел из кабинки, в компании, собравшейся на берегу, стали заключаться пари. Какой он жирный и розовый!

На полпути его подобрала лодка, сопровождавшая заплыв, и в бессознательном состоянии доставила на берег.

Попытки вернуть его к жизни возбудили всеобщее участие. Проигравшие первое пари хотели возместить себе урон и заключали новое — выживет или не выживет Якоби. Дамы были в страшном напряжении; одна из них забилась в истерике. Прошло пятнадцать минут, а несчастный все еще не двигался; зрители присмирели и стали расходиться. Гнус остался.

Он вглядывался в неподвижные бескровные черты ученика Якоби и воскрешал в памяти это же лицо, насмешливое и непокорное. Якоби был одним из *тех*. И вот *те* лежат сраженные, сраженные навек. Их нельзя больше ни победить, ни покорить. У него защемило под ложечкой. Усыпанный розами путь триумфатора чуть-чуть качнулся у него под ногами. На этой безумной высоте у тирана закружилась голова...

Но Якоби открыл глаза.

Оба гамбуржца, бразилец и господин из Лейпцига, крайне раздраженно отзывались об этом происшествии. Правда, тут был элемент личной обиды: на них не обращали ни малейшего внимания. Они не понимали, чем это вызвано. Вместо прошлогодней добродушной девчонки перед ними была артистка Фрелих, усвоившая дерзко-повелительный тон признанной краса-

вицы, которой со всех сторон курят фимиам. А ведь до красавицы ей было далеко! Прошлогодние друзья считали это дурацкой комедией, но с каждым днем становились все более активными ее участниками. Сначала бразилец попытался восстановить былую близость; затем научился робко вздыхать на почтительном расстоянии.

Ближе других к цели оказались асессор Кнуст и учитель Рихтер; у них кошелек был набит всего туже. Первый был холостяк и едва ли не лучший жених в городе; второй был уже помолвлен. Артистка Фрелих пребывала в нерешительности. Кнуст — личность более почтенная, зато история с Рихтером носила бы широковещательный характер. Его невеста действовала ей на нервы; туалеты этой девчонки здесь, на курорте, побивали туалеты великой артистки Фрелих.

Она потребовала, чтобы в следующую среду Кнуст подошел к первому попавшемуся господину, чье имя взбредет ей на ум, и влепил ему оплеуху. Благодушное, одутловатое лицо Кнуста расплылось в улыбке; он ответил, что с ума еще не сошел. В таком случае между ними все кончено,— заявила артистка Фрелих; тот, кто имеет на нее известные виды, должен ради нее быть готовым на все, на все решительно.

Рихтер и был готов на все решительно, до такой степени его измучило жениховство.

Однажды под вечер, во время музыки, Рихтер, сидя на осле позади артистки Фрелих и спьяна на нее навалившись, прогалопировал мимо изумленной публики, в первых рядах которой находилась его невеста.

Тотчас же после ужина артистка Фрелих, взяв под руки Гнуса и Рихтера, сладким голоском объявила, что сегодня она рано ляжет спать. Ее проводила домой целая процессия с бумажными фонариками; несколько кавалеров спели серенаду под ее балконом. Когда все стихло, Гнус, уже полураздетый, позвал жену. Он думал, что она на балконе. Ничего подобного. Он искал ее, звал; ему хотелось разделить с ней свое торжество, ведь теперь пробил час и коллеги Рихтера; дальнейшая его карьера, слава тебе господи, находится под неотвратимой угрозой. Но в пустых комнатах его ликование развеялось как дым. У него стало нехорошо на душе.

Ему был известен ее капризный нрав; не иначе как она пошла на взморье. Гнус уселся возле кроватки Мими с поднятой сеткой и стал отгонять от девочки комаров.

Опять какой-нибудь простофиля дает себя дурачить артистке Фрелих и радуется возможности обменять свои браслеты

и несессеры на часок-другой лунного сияния. Но в глубине души — впрочем, в эти глубины Гнус предпочитал не заглядывать — он знал, что спутник артистки Фрелих — Рихтер и что Рихтер сейчас отнюдь не в дураках.

Гнус ворочался на постели до полуночи. Затем вылез из-под одеяла, торопливо оделся и вслух сказал себе: «Надо разбудить горничную, пусть приведет людей с фонарями; с артисткой Фрелих, чего доброго, стряслось несчастье». Он схватил свечу, направился на чердак, где спала девушка, и уже на самом верху лестницы опомнился, стряхнул с себя самообман, задул свечу, боясь, как бы его не выдал свет, и ощупью вернулся в спальню.

В слабом мерцанье луны перед ним предстала пустая кровать артистки Фрелих. Гнус не спускал с нее глаз, дыханье его становилось все прерывистей. Наконец он весь скорчился и заскулил, но, испугавшись собственного голоса, нырнул под одеяло. Минуту спустя он решил вести себя как мужчина; опять оделся и стал раздумывать над тем, как ему встретить артистку Фрелих. Он решил сказать: «Небольшая прогулка,— ясно и самоочевидно. Подумай, какое совпадение: мне сегодня тоже не хотелось спать, и я только что вернулся». Он с добрый час бегал из угла в угол, репетируя эту речь. Когда у наружных дверей послышался легкий шорох, он как сумасшедший сорвал с себя одежду и бросился в постель. Он прислушивался, судорожно сжимая веки, к приглушенным шагам артистки Фрелих, к осторожному шороху ее падающих юбок, к тихому скрипу кровати, когда она улеглась; потом услышал слабый вздох и, наконец, знакомое милое похрапыванье.

Утром они оба притворялись спящими. Первой решилась зевнуть артистка Фрелих. Когда Гнус повернулся к ней, он увидел страдальческое лицо женщины, которая вот-вот заплачет. Она прильнула к его плечу и, всхлипывая, начала:

— Ах, если бы мой Гнусик знал! Вот уж правда, что человек предполагает, а бог располагает.

— Пусть так,— сочувственно проговорил Гнус, а она еще сильнее заплакала, оттого что он так удивительно добр и удовлетворился ее дурацкой сентенцией.

Целый день они провели взаперти; у артистки Фрелих от истомы все валилось из рук, а глаза ее, подернутые дымкой нежных и сладостных воспоминаний, заставляли Гнуса стыдливо отворачиваться.

Под вечер заглянуло несколько человек из их компании;

всех разбирало любопытство, известна ли Гнусам последняя новость. Нет, они даже из дому сегодня не выходили.

— Помолвка Рихтера расстроилась.

Взгляд артистки Фрелих молниеносно обратился на Гнуса.

— Он конченый человек,— оживленно продолжал один из гостей.— Тому, кто так себя скомпрометировал, уже не подняться. Семья его бывшей невесты сумеет позаботиться, чтобы его уволили из гимназии. Они хотят выжить его из города, чтобы меньше было сраму. Пусть отправляется куда глаза глядят.

Артистка Фрелих видела, как порозовело, а потом вновь покрылось бледностью лицо Гнуса; видела, как он переминается с ноги на ногу, сплетает и вновь расплетает пальцы; видела, как он втягивает воздух, словно желая вобрать в себя всю сладость этих слов, высосать из них все счастье. Но и на верху блаженства он страдал.

На сей раз ему пришлось платить за свой триумф; не без угрызений совести читала она на его лице чувства, которыми он расплачивался.

Когда он наконец вышел из комнаты, она, выдумав какой-то предлог, покинула гостей и скользнула за ним.

— Ты рад? — спросила артистка Фрелих с притворным недовольством.— Но ведь это же свинство радоваться, что человек вляпался в такую беду.

Гнус сидел на балконе, стиснув руки и вперив отсутствующий взгляд в море, видневшееся сквозь листву буков; казалось, он всматривается в бескрайние горизонты, путь к которым лежит через бездны мук. Артистка Фрелих что-то смутно почуяла; теперь настал ее черед утешать страдальца.

— Ничего особенного не случилось, Гнусик. Главное, что ему каюк. Ты ведь этого хотел.

Она вздохнула, ибо, вспомнив о том, что было несколько часов назад, почувствовала себя неблагодарной по отношению к бедняге Рихтеру. И как, собственно, все это случилось? Рихтер обходительный, приятный кавалер, но если бы не Кнуст, которому ей хотелось насолить, ни до чего бы у них не дошло. Ну, да черт с ним! Вот Гнус — другое дело. Ей-богу, от него иногда прямо жуть берет. С каким видом он сидит и смотрит на нее!

— Ладно, мы ведь на пару постарались.— И она протянула ему руку.

Он взял ее, но при этом изрек:

— Одно мне уяснилось: тот, кому дано взобраться на сияющие вершины, должен пройти через страшные разверстые бездны.

Они вернулись в город, где их ждали с нетерпеньем. В клубе холостяки говорили:

— Слава тебе господи, теперь скуке конец.

На следующий день после приезда Гнусы уже принимали гостей, и в городе только и разговоров было: кто явился первым, что подавали на ужин, какой обновкой блеснула артистка Фрелих. В последующие вечера женатые коммерсанты стали получать неожиданные известия: то что-то стряслось в гавани, то в конторе оказалось срочное дело, и они поспешно уходили из дому.

Нашлись, конечно, и такие, что к Гнусам не заглядывали: в силу своих моральных убеждений, либо холодного темперамента, либо из бережливости. Зевая, сидели они в пустом казино или в Обществе поощрения искусств; сначала они негодовали, потом, когда их можно было пересчитать по пальцам,— изумлялись, а последние блюстители нравственности и вовсе почувствовали себя в дураках.

Городской театр продолжал существовать только благодаря доброхотным даяниям. Порядочного варьете в городе не было. Пять или шесть дам полусвета, имевшихся к услугам высокопоставленных господ, надоели им до одури, а радости, которые они могли предложить, при мысли о доме Гнуса и его хозяйке казались невыносимо пресными.

В этом старомодном городе, где от безысходной скуки добропорядочной семейственности можно было спастись разве что грубым и не менее скучным развратом, дом у городских ворот, в котором крупно играли, пили дорогие вина, встречались с женщинами, не совсем уличными, но и отнюдь не матронами, дом, хозяйка которого, замужняя дама, супруга учителя Гнуса, пела соленые песенки, непристойно танцевала, а если умело к ней подойти, не отказывалась и от других утех,— этот удивительный дом у ворот постепенно окутывался сказочной дымкой, мерцающим серебристым сиянием, какое окружает замки фей. И надо же такому случиться! Каждый вечер мысли горожан уносились к дому Гнуса. Кто-нибудь из знакомых при встрече торопливо шмыгнет за угол, пробьют часы на башне — и каждый думает: «Сейчас там начнется». Горожане ложились в постель усталые, сами не зная, откуда взялась эта усталость, и вздыхали: «А там самый разгар веселья».

Конечно, считанные джентльмены, вроде консула Ломана, который провел молодость за границей, в Гамбурге чувствовал

себя как дома и время от времени наведывался в Париж и Лондон, не проявляли ни малейшего интереса к приемам, дававшимся старым полоумным учителем и его молодой женою. Но жители пригородов, торговцы рыбой и маслом, в продолжение тридцати лет ни разу не высунувшие носа за пределы пяти-шести городских улиц, нежданно-негаданно нашли блистательное применение своим деньгам. Какая великолепная награда за долгие труды! Теперь они знают, для чего жили на свете. Другие, побывавшие в больших городах и чувствовавшие, что на родине им все понемногу приелось,— к таким принадлежал и консул Бретпот,— поначалу решали довольствоваться малым, а потом входили во вкус и уже ни о каких сравнениях не помышляли. Бывших студентов, как, например, судей на процессе о кургане или пастора Квитьенса сюда приводили сентиментальные воспоминания о веселых кельнершах из студенческих кабачков. Пастор Квитьенс в конце концов тоже был не хуже других. Горожанам помелкотравчатей, вроде владельца кафе «Централь» или владельца табачной лавки на рынке, льстило общенье со сливками общества: в доме Гнуса они, казалось, поднимаются на высшую ступень социальной лестницы. Таких здесь было большинство, и именно они задавали тон.

А тон был очень уж вульгарный. Только этим он и был плох. Все эти люди пребывали в ожидании необыкновенных двусмысленных изысков какого-то неслыханного промежуточного состояния, когда любовь не выдается сполна, а между тем никому не скучно. Но как раз присутствие этих людей и придавало веселью достаточно определенный характер.

Если они не вели себя добродетельно, как в своей семье, то вели себя низкопробно, как в публичном доме. Иначе у них не получалось. Сначала они, конечно, старались, но выпив, а то и проигравшись, начинали разговаривать по-свойски, «тыкали» дам, переругивались. Это отзывалось и на манерах представительниц прекрасного пола. Они привыкли к разнузданности. Пилеман стала неузнаваема. Фантазия ее так разыгралась, что однажды, пробыв наедине полчаса с одним из гостей, она велела целой компании подвыпивших мужчин с барабанным боем провожать ее в комнату, где шла картежная игра. Артистка Фрелих была вынуждена признать, что в прошлом сезоне Пилеман не решилась бы отмочить такую штуку.

Сама артистка Фрелих в какой-то мере продолжала соблюдать внешние приличия. Разумеется, она-то имела дело только с избранными, возможно — с консулом Бретпотом да еще, пожалуй, с асессором Кнустом: в точности это никому не было из-

вестно. В ее доме за ней ничего такого не замечалось. Как настоящая дама, артистка Фрелих для своих прелюбодеяний использовала весь арсенал предосторожностей: двойные вуали, экипажи с занавешенными окнами, свиданья за городом. Все эти церемонии делали ее рангом выше, и никто бы не решился поставить ее в ряд с другими дамами хотя бы уже потому, что никому не было достоверно известно, кто в данный момент ей покровительствует и какова мера его терпенья. Приходилось считаться и с тем, что Гнус вообще ничего бы не потерпел. Однажды, находясь в самом мирном настроении, он вдруг накинулся на какого-то господина, случайно обронившего за его спиной замечание относительно хозяйки дома. Гнус шипел, брызгал слюной, не слушая никаких оправданий, и после жаркой схватки вытолкал за дверь рослого, тучного человека; несчастный был изгнан навеки. А это был крупный игрок, сказанное же им об артистке Фрелих, несомненно, было самым безобидным из всего, что можно было о ней сказать. Итак, зная, чего можно ждать от Гнуса, когда дело касалось артистки Фрелих, все соблюдали осторожность.

В остальном можно было устраивать любую кутерьму: Гнуса это не трогало. Он потирал руки, когда кто-нибудь, а отнюдь не он сам, срывал банк и от стола поднимались истомленные жаждой наживы, потные, ошалелые лица и глаза, бессмысленно уставившиеся в пустоту. Он благосклонно взирал на мертвецки пьяных, проигравшимся в пух и прах злорадно желал всяческого благополучия, иронически усмехался, когда какую-нибудь парочку заставали на месте преступления, и переживал мгновенья подлинного счастья, узнав, что кто-нибудь из его гостей обесчещен. Один молодой человек из хорошей семьи попался в нечистой игре. Гнус настоятельно потребовал, чтобы его не выгоняли. Разразилась буря возмущения, многие в знак протеста удалились. Спустя несколько дней они явились снова, и Гнус, ядовито усмехаясь, предложил им сыграть с молодым шулером.

Другое происшествие носило еще более драматический характер. У одного из игроков пропала пачка банкнотов, лежавшая перед ним на столе. Он поднял крик, потребовал закрытия всех дверей и поголовного обыска. Гости этому воспротивились, начали ругаться, грозились избить потерпевшего; в течение пяти минут все без исключения подозревали друг друга. Но вот шум перекрыл замогильный голос Гнуса. Гнус брался назвать тех, кого следует подвергнуть обыску; согласны ли присутствующие действовать по его указаниям? Разгорелось любопытство; кроме

того, каждый желал показать, что он вне подозрений, и все закричали «да!». Тогда Гнус, по-гусиному вытягивая и втягивая шею, назвал лейтенанта фон Гиршке, Кизелака и консула Бретпота. «Бретпота? Бретпота?» Да, Бретпота. Гнус стоял на своем, воздерживаясь от каких бы то ни было разъяснений. А Гиршке, офицер? Это еще ничего не доказывает,— утверждал Гнус. Разъяренному же лейтенанту, приготовившемуся к обороне, назидательно заметил:

— Большинство против вас, и они вас обезоружат. Отдав саблю, вы будете обесчещены, и вам останется только пистолет — ясно и самоочевидно,— чтобы пустить себе пулю в лоб. По-моему, уж куда веселей подвергнуться обыску.

Поставленный перед таким выбором, Гиршке покорился. Гнус ни в малейшей мере не подозревал его; он просто хотел втоптать в грязь его гордость. Впрочем, в эту самую минуту поймали Кизелака; он пытался выбросить в окно пресловутую пачку банкнотов. Консул Бретпот незамедлительно призвал Гнуса к ответу. Но тот, вплотную к нему приблизившись, неслышно для других шепнул одно имя, только одно имя, и Бретпот утихомирился... Он пришел на следующий день и снова сел играть. Фон Гиршке не появлялся в течение целой недели... Кизелак зашел разок и сделал безуспешную попытку отыграться. Несколько дней спустя в податное ведомство, где Кизелак занимал скромную должность, пришла его бабка и заявила, что внук ее обокрал. Наконец-то его можно будет уволить. Скандал за карточным столом не был достаточным поводом. Гимназист Кизелак очутился на дне. Гнус торжественно это отметил,— про себя, конечно.

Он наслаждался с коварной сдержанностью. Среди этой толпы, взапуски несущейся к банкротству, к позору, к виселице, невозмутимый Гнус со своей ревматической походкой был все тем же старым учителем, который из-под очков следит за разнузданным поведением класса и мысленно отмечает имена зачинщиков, чтобы впоследствии снизить им годовую отметку за поведение. Они осмелились возмутиться против власти тирана и вырвались на свободу, так пусть же теперь наминают друг другу бока и шеи. Тиран превратился в заядлого анархиста.

Он явно тщеславился приливом новых сил и восхищался почти юношеским цветом своего лица. Двадцать раз на дню он

вытаскивал карманное зеркальце, вправленное в коробочку с надписью «bellet».

По ночам, среди шума, сутолоки и безобразий, он часто вспоминал свои прежние ночи. Осмеянный в кафе «Централь», он плетется домой. Из какого-то темного закоулка в него, словно ком грязи, швыряют «это имя»... Была только одна-единственная ночь, когда он чего-то хотел от людей. Хотел, чтобы они ему сказали, кто такая артистка Фрелих, где ее найти и как — это было самое важное — помешать ей вступить в связь с тремя гимназистами, из которых самым отпетым был Ломан. И ни один человек ему ничего не открыл. Он встречал только ухмыляющиеся лица под шляпами, которые никто даже не трудился приподнять. Он прыгал из стороны в сторону среди самокатов, с грохотом несущихся под горку, и визгливые детские голоса на все лады выкрикивали «это имя». Пробираясь мимо ярко освещенных витрин, он уже не решался заговорить ни с одним из бунтовщиков; он крался мимо домов, скрывающих в своих недрах пятьдесят тысяч смутьянов, и голова у него стыла в предчувствии, что на нее из какого-нибудь окна, словно ушат помоев, выплеснут «это имя»! Спасаясь от непрестанно терзавших его нервы преследований, от издевательств и насмешек, он добежал до приюта для престарелых девиц, находившегося в самом конце захолустной, тихой улички; летучие мыши вились вокруг его шляпы, и даже здесь, даже здесь боялся он услышать «это имя».

«Это имя»! Теперь он сам себя так величает, носит его, как венок победителя. Одного до нитки обобранного гостя он похлопал по плечу и сказал:

— Да, да, я самый настоящий гнус.

Гнусовы ночи! Вот каковы они теперь. Его дом освещен ярче других, взоры всех горожан прикованы к этому роковому дому. Сколько страха, алчности, подобострастия, сколько фанатической жажды самоистребления разжег Гнус вокруг себя! Повсюду дымятся жертвенники. И люди спорят за право возжечь их, за право самозаклания. Их толкает сюда невежество, тупость, свойственная тем, кто не получил гуманитарного образования, дурацкое любопытство, сладострастие, едва прикрытое моралью, жажда наживы, похоть, суетность, сплетение самых различных интересов. Разве не его, Гнуса, кредиторы тащат сюда своих родичей, друзей, клиентов, чтобы вновь сделать его платежеспособным должником? Разве не корыстные жены посылают сюда своих мужей, в надежде, что и они схватят хоть одну из носящихся в воздухе кредиток? Другие являются по

собственной воле. Ходят слухи, что на маскараде в доме Гнусов под масками скрывались порядочные женщины. Озабоченные мужья будто бы шныряли в толпе, разыскивая своих жен. Молодые девушки перешептывались о том, что матери куда-то исчезают по вечерам, не иначе как в «дом у городских ворот», и вполголоса мурлыкали отдельные фразы из песенок артистки Фрелих. Эти песенки втихомолку распевал весь город. Таинственная игра в фанты, когда пары ложились на пол под одеяло, проникла в семейные дома; ее затевали даже барышни на выданье, к которым родители приглашали молодых людей на вечеринку с танцами. Молодежь хихикала, обмениваясь мнениями о «доме у ворот».

Еще до наступления лета три дамы из лучшего общества и две молодых девушки внезапно и, как утверждали их добрые знакомые, весьма преждевременно выехали за город. Произошло три новых банкротства. Мейер, владелец табачной лавки на рынке, подделал векселя и удавился. Пошел шепоток и о консуле Бретпоте...

Этот разврат, охвативший целый город и никем не останавливаемый, потому что слишком много было соучастников, исходил от Гнуса и творился во имя его торжества.

Страсти, втайне потрясавшей его иссохшее тело и прорывавшейся наружу разве что в ядовито-зеленом поблескивании глаз и легкой усмешке, этой страсти подчинился весь город. Гнус властвовал и мог бы быть счастлив.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

И он был бы счастлив, если бы власть его еще укрепилась, если бы в решительную минуту жизни, всецело посвященной человеконенавистничеству, он не предался артистке Фрелих. Артистка Фрелих была оборотной стороной его страсти; он хотел все отнять у других и отдать ей. Она заслуживала только забот и внимания, тогда как все другие заслуживали уничтожения. На ней сосредоточилась вся нежность человеконенавистника Гнуса. Для него это было плохо; он и сам это знал. Он говорил себе, что артистка Фрелих, собственно, только капкан для поимки гимназистов и орудие их последующего истребления. Но вышло так, что перед лицом человечества она стояла рядом с Гнусом, священная и недосягаемая, а он был вынужден любить ее и страдать от своей любви, бунтующей против служенья

ненависти. Любовь Гнуса была посвящена защите артистки Фрелих и ради нее шла даже на грабеж: это была истинно мужская любовь. Но тем не менее и такая любовь привела к слабости...

Случалось, что по возвращении домой артистки Фрелих он прятался и до вечера не показывался ей на глаза. Она вела с ним переговоры через дверь щебечущим и сострадательным голоском. Но он даже к ужину не выходил. Надо же вернуться к научным трудам. Она дружески предостерегала, как бы такая усидчивая работа не отозвалась на его здоровье, и затем со вздохом решала переждать, пока кончится приступ. Наверно, он опять перетряхнул весь ее гардероб и рылся в ее грязном белье. А может быть, сегодня утром ему попалась на глаза записка. В таких случаях на него находило умопомрачение, он не мог больше видеть ее измятое лицо; красный от стыда, бессмысленно тыкался во все углы и, наконец, удалялся. А она расстраивалась! Ну уж, конечно, так совсем, совсем всерьез она его выходки принимать не могла. Для этого она сама слишком много играла. Во-первых, играла замужнюю даму: иначе она к своему браку относиться не умела. Как она тогда подослала к старикашке Гнусу свою Мими — вот это было здорово, хоть и страху она натерпелась немало. А вся эта возня с мужчинами, все эти фигли-мигли, покуда не дойдет до дела, это вечное притворство — только бы Гнус не узнал, а Гнус все знал не хуже ее самой. Она была очень благодарна за то, что он подыгрывал ей в этой комедии и разводил столько церемоний из-за ее постоянных интрижек. Не то бы — с тоски пропасть! Смешно только, что он не мог привыкнуть... А ведь он был во всем этом заинтересован больше, чем она сама. Временами он бывал как одержимый — такая его обуревала жажда уничтожить того или иного. Он просто сгорал от нетерпенья. «Рекомендую тебе ученика Фермолена. Обрати внимание — опять-таки — на ученика Фермолена». Что это должно было обозначать? Тут и спрашивать нечего. А как он приставал, чтобы она поскорее управилась с консулом Бретпотом!

Артистка Фрелих пожимала плечами.

Гнус, подхваченный вихрем страсти, стихийным, как звездопад, был ей непонятен. Любовь, которой он ежедневно наносил раны для того, чтобы питать свою ненависть, разжигала эту ненависть в неукротимое пламя. Ненависть и любовь, взаимодействуя, становились безумными, всепожирающими, страшными. Гнусу мерещилось измученное, молящее о пощаде челове-

чество; потоки крови, его город, разрушенный и обезлюдевший; груды золота, испепеленные светопреставленьем.

Затем его снова мучила галлюцинация — артистка Фрелих, любимая другими. Картины чужих объятий душили его: в этих видениях у всех мужчин было лицо Ломана! Все наихудшее, все самое ненавистное навеки слилось для него в чертах Ломана — ученика, так и не пойманного с поличным, более того — исчезнувшего из города.

После таких приступов бессильного отчаяния им овладевало сострадание к себе и к артистке Фрелих. Он принимался утешать ее, сулил, что скоро все это кончится, что они уедут отсюда и будут спокойно жить на то, «чем эти люди вынуждены были для тебя поступиться».

— А много это, по-твоему?...— раздраженно спросила она однажды.— Ты помнишь только то, что мы от них получаем. А сколько они у нас отбирают назад — это у тебя из головы вон. Разве не из-за них у нас вывезли мебель? А за теперешнюю мы еще ни одного взноса не сделали, заруби это себе на носу. Нашего здесь только подушка на диване да рама на той идиотской картине — вот тебе и весь разговор!

Артистка Фрелих была в злобном настроении; устав от вечной погони за мужчинами, она потеряла вкус к жизни и теперь срывала свою злобу на том, кто был у нее под рукой. Но Гнус воспринял ее слова с полнейшей серьезностью.

— Моя обязанность заботиться о твоем благе. И я докажу, что умею справляться со своими обязанностями... Они мне за все заплатят,— вдруг прошипел он.

Но она его не слушала и, в раздражении ломая руки, металась из угла в угол.

— Надеюсь, ты не думаешь, что я веду эту дурацкую жизнь тебе в угоду; плевать мне на то, расправишься ты со своими оболтусами или нет. Если бы не Мими... для Мими я должна зарабатывать. Не хочу, чтоб она жила, как ее мать. Ах, боже ты мой...

Она притаскивала девочку в белой ночной рубашонке и закатывала истерику. Гнус сидел как в воду опущенный. Потом его отсылали, и артистка Фрелих укладывалась в постель. К приходу гостей она уже снова была на высоте; старалась загладить свою вину перед Гнусом, ласкалась к нему; то и дело отзывала его в сторонку и что-то ему шептала — пусть гости видят, что он все равно остается для нее самым главным; высмеивала вместе с ним как раз тех господ, которые могли быть у него на подозрении; любыми способами старалась внушить ему, что

ничего серьезного тут не было. В такие минуты он льстил себя безумной надеждой, что достиг всего, чего добивался, ничем за это не заплатив. В глубине души он в это, конечно, не верил, но убеждал себя, что можно поверить, ибо нет никаких доказательств противного. Ведь надо же было вздохнуть после перенесенных мучений.

В ясный весенний день, первый ясный день после всех тревог и терзаний, Гнус и артистка Фрелих вдвоем отправились в город. Гнус наслаждался сознанием, что, как бы там ни было, а они все-таки союзники: избранные, единственные. Артистка Фрелих, вместе с уроками греческого языка отказавшаяся и от честолюбивых попыток полюбить мужа, черпала самоуважение и ясность духа в искренне дружеском чувстве к нему. Поэтому оба они только улыбнулись, когда господин Дреге, бакалейщик, при их приближении распахнул двери своей лавки, стал грозить им кулаками и выкрикивать вслед какие-то бранные слова. Завидев их, торговка фруктами тоже вышла из равновесия. Она даже пыталась уговорить господина Дреге, чтобы он направил на чету Гнусов струю из шланга для поливки. Последнее время такие инциденты неизменно сопровождали появление этой четы на улицах. Они всем кругом задолжали, хотя швыряли деньги направо и налево; и громче всех, конечно, вопили поставщики, чуть не силком навязавшие им кредит. Как правило, выписанные из Парижа туалеты артистки Фрелих были оплачены вперед, а булочки, съеденные в прошлом месяце, еще не являлись законной собственностью супругов. При этом артистка Фрелих считала, что экономит для своего ребенка, а Гнус — что грабит для артистки Фрелих. Каждый визит судебного исполнителя — всегда безрезультатный — вызывал в доме Гнусов ярость, отчаяние и уныние. Ну кто бы мог подумать, что он опять явится! Артистка Фрелих давно уже потеряла представление о своих счетах и долговых обязательствах. Гнус заботился о причинении убытков другим, а не о поддержке собственного благосостояния. Разложение, которое они вносили в дела других, перекинулось и на их собственные. Обманутые и загнанные в тупик, они тешили себя зыбкой надеждой на неправдоподобно крупный выигрыш или на внезапную кончину всех кредиторов. Втайне они чувствовали, что почва колеблется у них под ногами, и в последние свои минуты старались учинить как можно больше зла.

На Зибенбергштрассе им пришлось выдержать сцену с мебельщиком; он утверждал, что они перепродали часть еще не

оплаченной мебели, и грозил судом. Гнус с ядовитой усмешкой пригласил его зайти и взглянуть, так ли это. Артистка Фрелих вмешалась:

— Можете распрощаться с вашими надеждами,— мы, знаете ли, тоже себе на уме.

Тут возле нее послышался звон сабли. Она вздрогнула и быстро отвела глаза. Какой-то голос громко произнес:

— Черт подери!

И другой удивленно, но небрежно:

— Вот так встреча!

Артистка Фрелих больше не слушала, что говорит мебельщик. Минуту спустя она повернулась к нему спиной и пошла дальше, но уже неуверенной и шаткой походкой. Только поравнявшись с кондитерской Мумма, она обратила внимание на то, что Гнус молчит. Ощутив нечто вроде укора совести, она защебетала, стараясь утешить его после того, что они сейчас видели. На душе у него потеплело, и он предложил ей зайти в кондитерскую. Пока он заказывал что-то у стойки, она прошла в соседнее помещение. Тут послышался стук в окно. Из предосторожности она не подняла глаз; впрочем, она и так знала, что это снова Эрцум и Ломан.

Гнус даже вечером не мог успокоиться. Он шмыгал среди гостей, отпускал иронические и нелепо-злобные замечания, твердил: «Я подлинный гнус»,— и пояснял:

— Моего здесь — что правда, то правда — только подушка на диване да рама вон той картины.

Когда артистка Фрелих на минутку забежала в спальню, он пошел за нею и возвестил:

— Ученик Бретпот в ближайшее время своего добьется.

— Крышка? — спросила она.— Да нет, Гнусик, он опять набит деньгами.

— Все может быть. Но откуда он берет эти деньги,— вот вопрос, заслуживающий самого досконального рассмотрения.

— Ну, а дальше-то что?

Он вплотную подошел к ней с вымученной, казалось, через силу пробившейся наружу улыбкой.

— Мне все известно, я подкупил его кассира. Это деньги Эрцума, опекун обкрадывает своего подопечного.

Артистка Фрелих остолбенела от изумления, а он продолжал:

— Ловко, ничего не скажешь. Да, стоит еще жить на свете. Итак, уже второй из трех. Ученик Кизелак повержен и рас-

топтан. Ученик фон Эрцум уже трещит и скоро рухнет. Остается еще только третий.

Она не выдержала его взгляда и крикнула в смятении:

— Да о ком ты толкуешь? Я не пойму.

— Третий еще подлежит поимке. Он должен быть и будет пойман с поличным.

Она робко на него поглядела и вдруг заговорила вызывающим тоном:

— Это, наверно, тот, что тебе поперек горла встал; мне даже посмотреть в его сторону нельзя,— ты сразу на стенку лезешь.

Он понурил голову и часто задышал.

— Я, конечно, не расположен...— глухо проговорил он.— И тем не менее этот ученик *должен* быть пойман. И будет.

Она передернула плечами.

— Что ты глаза таращишь? У тебя, верно, жар. Тебе, Гнусик, надо лечь в постель и хорошенько пропотеть. Я велю тебе сварить ромашковый настой. Очень уж тебя разбирает, смотри — перекинется на желудок, а тогда... раз — и нету человека. Ты слышишь, что я говорю?.. Ей-богу, как бы беды не приключилось.

Гнус ее не слушал. Он сказал:

— Но не ты, не ты его поймаешь!

Он проговорил это с отчаянной мольбой, какой она никогда не слыхала в его голосе; от зловещего предчувствия мурашки пробежали у нее по спине. Так ночью просыпается человек от бешеного стука в дверь его спальни.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

На следующее утро артистка Фрелих долго ломала себе голову, за чем бы ей отправиться в город, и когда ее наконец осенило, немедленно вышла из дому. Она косилась на свое отраженье во всех витринах: ведь сегодня два с половиной часа было потрачено на туалет. Сердце ее торопливо билось в ожидании. В начале Зибенбергштрассе она остановилась у лавки книготорговца Редлина — первый раз в жизни смотрела в окно книжного магазина,— склонилась, рассматривая книги, и в затылке ощутила какое-то щекотанье, словно вот-вот кто-то до нее дотронется. Вдруг сзади послышался голос:

— Итак, мы снова встретились, сударыня.

Она постаралась обернуться с медлительной грацией.

— Ах! Господин Ломан! Вот вы и опять в родных краях.

— Надеюсь что вам это не неприятно, сударыня.

— Нет, почему же? А куда вы девали своего приятеля?

— Вы говорите о графе фон Эрцуме? Ну, у него своя дорога... Не пройтись ли нам немного, сударыня?

— Вот как! А что нынче поделывает ваш приятель?

— Он авантажер. Теперь приехал сюда в отпуск.

— Ах, что вы говорите? И что, он все так же мил?

Подумать только, что Ломан остается спокойным, хотя она все время спрашивает о его друге. Ей даже показалось, что он над нею подсмеивается. Впрочем, ей это казалось еще в «Голубом ангеле». Ни один человек, кроме Ломана, не наводил ее на такое подозренье. Артистку Фрелих бросило в жар. Ломан предложил ей зайти в кондитерскую. Она с досадой ответила:

— Ступайте один! Я спешу.

— Для зорких глаз провинциалов мы, пожалуй, слишком долго стоим на этом углу, сударыня.

Он распахнул дверь, пропуская ее вперед. Она вздохнула и вошла, шелестя юбками. Он слегка замедлил шаг, дивясь, как это платье красиво подчеркивает ее длинную талию, как хорошо она причесана, как изящно и небрежно управляется со своим шлейфом, как вообще не похожа на прежнюю Розу Фрелих. Потом он заказал шоколад.

— За это время вы стали здесь весьма известной особой.

— Пожалуй.— Она поспешила перевести разговор: — А вы? Что вы все это время поделывали? И где вас носило?

Он с готовностью стал рассказывать. Сначала он учился в коммерческом училище в Брюсселе, затем проходил практику в Англии, у одного из старых клиентов отца.

— Ну и здорово же вы, наверно, веселились,— заметила артистка Фрелих.

— Нет! Я не охотник веселиться,— сухо отвечал Ломан, и на лице его появилось знакомое ей презрительное и чуть-чуть актерское выражение.

Она с почтительной робостью посматривала на него. Ломан был весь в черном и не снял с головы котелка. Лицо его, чисто выбритое, казалось еще более желтым, черты заострились; взгляд его из-под темных и треугольных век был устремлен куда-то в пустоту. Она хотела, чтобы он взглянул на нее. Кроме того, ей ужасно хотелось знать, по-прежнему ли падает ему на лоб непокорная прядь.

— Почему вы не снимаете шляпу? — спросила она.

— Сам не знаю, сударыня.— Он послушно снял ее.

Да, шевелюра у него по-прежнему пышная, а на лоб ниспадает вьющаяся прядь. Наконец-то он пристально на нее посмотрел.

— Во времена «Голубого ангела» вы меньше обращали внимания на внешние приличия, сударыня. Как все меняется. Как изменились мы. И за какие-нибудь два года.

Он снова отвел глаза и так явно задумался о чем-то другом, что она не посмела возражать, хотя его замечание и укололо ее. Может быть, он вовсе не ее имел в виду! А ей только померещилось.

Ломан имел в виду Дору Бретпот и думал сейчас, что она оказалась нисколько не похожей на ту, что он носил в своем сердце. Он любил ее как светскую даму. Она и была первой дамой города. Как-то раз в Швейцарии она познакомилась с английской герцогиней, и это знакомство, казалось, сообщило и ей отблеск благодати. Отныне она как бы представляла в городе герцогиню. В том, что английская знать — первая в мире, никто не сомневался. Позднее, во время путешествия по Южной Германии, за нею волочился ротмистр из Праги, и австрийская знать тотчас же заняла место рядом с английской...

И как он этому доверился, как позволил внушить себе такую чепуху! Удивительно! Но самое удивительное, что с тех пор прошло всего-навсего два года. Теперь весь город как-то сжался, словно он был из резины. Дом Бретпотов стал вполовину меньше, и в нем обитала заурядная провинциальная дамочка. Ну разве чуть-чуть повыше. Конечно, эта головка креолки и сейчас еще кажется вычеканенной на медали, но местный диалект в этих устах!.. И наряды по прошлогодней моде, вдобавок неправильно понятой. И еще хуже — неудачные попытки проявить собственный вкус и артистичность. Манера встречать вернувшихся из чужих краев так, словно они отовсюду навезли ей поклонов. И неоправданная претензия стоять выше толпы. От всего этого его коробило. А раньше, почему это не коробило его раньше? Правда, раньше она его и словом не удостаивала, едва его замечала. Гимназист! А теперь он мужчина, с ним кокетничают, стараются завлечь его в кружок, группирующийся вокруг собственной изящной особы... Горечь подступала ему к горлу. Он вспоминал о старом ружье, всегда лежавшем наготове в ту пору, всерьез наготове, если кто-нибудь проникнет в его тайну. Он и сейчас еще испытывал меланхолическую гордость при мысли об этой мальчишеской страсти, которую он пронес до самого порога зрелости, пронес сквозь стыд, смехотворность, даже известную брезгливость. Вопреки

Кнусту, фон Гиршке и другим. Вопреки многочисленному потомству любимой женщины. В ночь последних ее родов он благоговейно целовал дверь ее дома! Вот это было чувство, им и сейчас еще можно жить. Он понимал, что был тогда много лучше, много богаче. (Как мог он в ту пору чувствовать усталость? Вот теперь он устал.) Лучшее из всего, что он имел, досталось этой женщине, ни о чем даже не подозревавшей. А теперь, когда на сердце у него пусто, она его домогается... Ломан любил ради смутных отголосков, что остаются в душе. Любовь — за горькое одиночество, которое ее сменяет, счастье — за удушливую тоску, которая потом сжимает горло. Эта женщина, с душой без света и тени и плоско-претенциозными замашками, была ему нестерпима, в таком несоответствии находился ее образ с его тоской о былом чувстве. Он все ставил ей в вину, даже черты упадка, проступавшие в ее гостиной,— пока еще не в ней самой. Он знал о тяжелом положении Бретпота. Какие груды нежности сложил бы он к ее ногам, случись это двумя годами раньше. Теперь он видел только ее поползновения сохранить изящную непринужденность среди растущей нужды и заранее стыдился недостойного зазнайства, с которым она будет прятать и отрицать свою бедность. Он чувствовал себя оскорбленным, когда смотрел на нее, оскорбленным и униженным, когда ему уяснилось, что творится в нем самом. Чего только не делает с человеком жизнь! Он пал. И пала она. Уходя от нее, он с ужасающей ясностью ощутил, как быстро проходят годы; понял, что сейчас захлопнулась дверь за любовью, равнозначной юности.

Это случилось утром, после его приезда. Выйдя от Бретпотов, он столкнулся с Эрцумом, а потом оба они встретили Гнусов на Зибенбергштрассе. В маленьком городке это было неизбежно. Как ни кратко было его пребывание здесь, до него уже дошли толки о Гнусе, и прыть этого старца вновь пробудила в нем интерес к людским странностям. Он понял, что Гнус дал созреть всему, что два года назад только чуть пробивалось в нем. Но еще великолепнее развернулась артистка Фрелих. От певички из «Голубого ангела» до демимонденки высшего полета! Во всяком случае, с первого взгляда она таковой казалась. При ближайшем рассмотрении в ней проступала мещанка. Но так или иначе она совершила все, что могла. А сколько прохожих снимали шляпы при встрече с этой четой! И какая унизительная похотливость везде, где слышался аромат ее духов! Она и город — ее публика; тут, видимо, шло какое-то обоюдное надувательство. Она стала строить из себя признанную

красавицу, постепенно внушила это окружающим, а потом и сама им поверила. Не так ли обстояло в свое время и с Дорой Бретпот, претендовавшей на светский шик? Какая злая ирония, если он теперь займется этой Фрелих. Ему еще помнилось время, когда он воспевал в стихах их обеих и думал, что марает Дору Бретпот, когда, стремясь отомстить за свои страдания, с ее образом в сердце принимал порочные ласки другой. Порок? Теперь в сердце у него не было любви и он не понимал, что такое порок. Ожесточенье его против Доры Бретпот уже не будет на пользу госпоже Гнус. Ничто не шевельнется в его душе, когда они вдвоем пройдут мимо бретпотовского дома. Просто это будет значить, что он прогуливается с элегантной кокоткой по городу, в котором уже не обитает божество.

Эрцума лучше не брать с собой. Эрцум, едва завидев эту особу, начал отчаянно греметь саблей, и голос у него совсем охрип. Того и гляди, опять начнет прежнюю канитель. Для Эрцума все всегда остается как было, Ломан же, сидя в еще поутреннему пустой кондитерской бок о бок с артисткой Фрелих, потягивал из своей рюмки только смутные воспоминания о былом.

— Не подлить ли вам немножко коньяку в шоколад? — осведомился он.— Получится очень приятный напиток.— И добавил: — Чего-чего только я не наслышался о вас, сударыня.

— Что вы хотите этим сказать? — встрепенулась артистка Фрелих.

— Говорят, что вы и наш старый Гнус перевернули вверх дном весь город и вызвали прямо-таки массовое бедствие.

— Ах, вы вот о чем! Ну, каждый делает что может. Людям у нас весело, хотя хозяйка я не ахти какая, хвалиться не буду.

— Да, говорят. И никто не понимает, что, собственно, движет Гнусом. Предполагают, впрочем, что карты служат ему источником существованья. Я лично думаю иначе. Мы-то с вами, сударыня, лучше знаем его.

Артистка Фрелих смешалась и не отвечала.

— Он тиран, и ему легче погибнуть, чем снести ограниченье своей власти. Насмешливая кличка — она и ночью проникает за пурпурный полог его кровати, лишает его сна, синие пятна выступают у него на лице, и, чтобы смыть их, ему нужна кровавая баня. Это он изобрел понятие «оскорбление величества»,— во всяком случае, изобрел бы, не будь оно придумано до него. Найдись человек, преданный ему с безумной самоотверженностью, все равно он будет ненавидеть его как крамольника. Человеконенавистничество — мука, которая его гложет.

Уже одно то, что человеческие легкие вдыхают и выдыхают воздух, который не он отпускает им, доводит его до нервного расстройства. Малейший толчок, случайное стеченье обстоятельств, вроде разрушенного кургана и всего, что из этой истории проистекло, иными словами: неожиданное пробужденье — может быть, благодаря женщине — дремавших в нем задатков, и охваченный паникой тиран призовет чернь во дворец, подстрекнет ее на поджог, на убийство, провозгласит анархию.

Артистка Фрелих сидела разинув рот, что доставляло Ломану немалое удовлетворенье. Дам, подобных ей, он любил занимать так, что им только и оставалось сидеть с разинутым ртом. Ломан и сам скептически улыбался. Ведь он лишь до крайности заострил абстрактную возможность, а вовсе не рассказал историю смешного старика Гнуса. Вдобавок он и посейчас смотрел на него снизу вверх — с парты на кафедру,— и ему трудно было представить себе в роли чудовищного человеконенавистника того, кто диктовал ему дурацкие измышленья относительно Орлеанской девы.

— Я отношусь к вашему супругу с глубочайшей симпатией,— улыбаясь, объявил Ломан, чем поверг в окончательное замешательство артистку Фрелих.— Ваша домовитость вызывает всеобщее восхищенье,— присовокупил он.

— Да, дом мы устроили прямо-таки шикарно! И вообще...— В артистке Фрелих взыграло тщеславие, и она оживилась.— Для гостей мы ничего не жалеем, и у нас иногда просто дым коромыслом стоит, вот бы вы посмеялись! Ах, если бы вы пришли, я бы в вашу честь спела песенку об обезьяньей самке! Вообще-то я ее не пою, потому что она, знаете ли, слишком уж смелая.

— Сударыня, вы бесподобны!

— Вы опять надо мной смеетесь?

— Вы меня переоцениваете. С той минуты, как я вас увидел, у меня прошла охота шутить. Да будет вам известно, сударыня, что в этом городе, кроме вас, ничто не заслуживает внимания.

— Ну и что дальше? — спросила она, польщенная, но, впрочем, нимало не удивляясь его словам.

— Уже один ваш туалет восхитителен. Суконное платье цвета резеды — это высший шик. И черная шляпка превосходно к нему подобрана. Разрешите мне одно только замечание: накидок из point lacé [1] в этом году больше не носят.

---

[1] Вид кружев (*франц.*).

— Неужто? — Она придвинулась к нему поближе.— Вы наверняка знаете? И подумать, что этот поганец чуть не силком мне ее навязал. Хорошо еще, что я с ним не расплатилась.— Она покраснела и быстро добавила: — Заплатить-то я, конечно, заплачу, но носить — дудки! Сегодня в последний раз, можете быть уверены.

Она была счастлива возможностью ему поддакивать, подчиняться. Осведомленность Ломана касательно Гнуса довела ее почти до экстатического восторга. А теперь он оказался сведущим еще и по части дамских мод. Ломан опять заговорил с изысканной галантностью:

— Воображаю, чем вы должны были стать для этих провинциалов, сударыня! Властительницей над их жизнью и достоянием, боготворимой погубительницей сердец! Семирамидой, да и только! В чаду восторга все так и рвутся в бездну, верно? — И, так как она явно ничего не поняла, добавил: — Я хочу сказать, что мужчины, вероятно, не заставляют себя долго просить, и вы, сударыня, надо думать, от всех без исключенья получаете больше, чем вам нужно.

— Ну, это вы через край хватили. А вот что правда, то правда, мне здесь везет и многие меня любят.— Она пригубила из стаканчика: пусть знает! — Но если вы думаете, что я много чего себе позволяю, то уж простите меня и не воображайте,— она посмотрела ему прямо в глаза,— что каждый встречный и поперечный может вот так сидеть со мною за чашкой шоколада.

— Но мне-то ведь это разрешено? Значит, теперь пришел мой черед?

Он закинул голову и нахмурился. Смущенная артистка Фрелих не видела ничего, кроме его опущенных век.

— А ведь, если память мне не изменяет, я у вас должен был быть последним? Разве в свое время вы не сулили мне именно эту долю, сударыня? Следовательно,— он бросил на нее наглый взгляд,— надо полагать, что остальные уже свое получили?

Она не обиделась, но огорчилась.

— Ах, глупости вы выдумываете, мало кто что брешет. Возьмем хоть Бретпота: говорят, что я его до нитки обобрала. А теперь он будто бы еще и деньги Эрцума на меня... ах, боже мой!

Она слишком поздно спохватилась и в испуге уставилась на свой шоколад.

— Да, это уж самое скверное,— жестко и мрачно отвечал Ломан. Он отвернулся, наступило молчанье.

Наконец артистка Фрелих, не без робости, начала:

— Тут не я одна виновата. Если бы вы знали, как он меня упрашивал. Ей-богу, точно ребенок. Старый хрыч, из него, можно сказать, песок сыплется. Вот вы не поверите, а ведь он хотел, чтобы я бежала с ним. И с его сахарной болезнью! Благодарю покорно!

Ломан, уже сожалевший, что поддался порыву благородного негодования в самый разгар столь занимательного спектакля, сказал:

— Хотел бы я посмотреть на вечера, которые вы даете.

— В таком случае милости просим,— торопливо и радостно отвечала артистка Фрелих.— Приходите, я вас жду. Но сейчас мне пора идти, а вы оставайтесь здесь. Ах, бог ты мой, ничего у нас с вами не выйдет! — Она заметалась из стороны в сторону и горестно всплеснула руками.— Ничего не выйдет, потому что Гнус объявил: точка, новых гостей он принимать не будет. Один раз он мне закатил скандал. Поэтому, ах, да вы и сами понимаете...

— Отлично понимаю, сударыня!

— Ну, ну, уж он и губы надул! Можете прийти ко мне, когда никого не будет. Хотя бы сегодня в пять часов. А теперь до свиданья.

И она, шелестя юбками, торопливо скрылась за портьерой.

Ломан сам не понимал, как это случилось; как случилось, что его разобрала охота туда пойти. Или все гибельное неизбежно притягивает нас? Ведь Эрцум уже на краю гибели из-за этой забавной маленькой Киприды с ее незлобивым простонародным цинизмом. Эрцум все еще любит ее. Но Эрцум за свои деньги, по крайней мере, будет счастлив. А он, Ломан, идет к ней без малейшей искорки в душе. Идет, чтобы занять место своего друга, которому оно принадлежит по праву долголетних мучений. Два года назад он не был бы на это способен. Ему вспомнилось, что в ту пору он испытывал даже нечто вроде сострадания к Гнусу,— старик, чья участь была уже предрешена, грозился выгнать его из гимназии,— и это было искреннее состраданье, лишенное какого бы то ни было злорадства. А теперь он идет к его жене. «Чего только не делает жизнь с человеком»,— еще раз гордо и меланхолически подумал Ломан.

Из глубины квартиры доносилась громкая брань. Смущенная горничная распахнула перед ним дверь в гостиную. Глазам Ломана представилась артистка Фрелих в сильнейшем волнении и какой-то очень потный мужчина с листом бумаги в руках.

— Что вам здесь нужно? — спросил Ломан.— Ах так! И сколько же? Пятьдесят марок? И из-за этого такой шум?

— Я, сударь мой,— отвечал кредитор,— уже пятьдесят раз приходил сюда, по разу из-за каждой марки.

Ломан расплатился, и тот ушел.

— Не гневайтесь, сударыня, на мое вмешательство,— сказал он несколько натянутым тоном. Он оказался в ложном положении: то, что ему предстояло получить, теперь носило бы характер «услуги за услугу». Надо хотя бы увеличить сумму; пятьдесят марок — для этого он слишком тщеславен.— Поскольку я уже повел себя дерзко, сударыня... мне говорили,— не знаю, так это или не так,— что вы сейчас испытываете денежные затруднения...

Артистка Фрелих судорожно сцепила и тотчас же расцепила пальцы. Растерянно повела шеей под высоким воротником своего tea-gown [1]. Нескончаемая возня с поставщиками, любовниками и процентщиками, наполнявшая всю ее жизнь, внезапно возникла перед ее глазами; а тут ей протягивают бумажник, плотно набитый банкнотами!

— Сколько? — спокойно спросил Ломан, но тем не менее добавил: — Я сделаю все, что в моих силах.

Артистка Фрелих прекратила борьбу с собой. Нет, она не желает, чтобы ее покупали, а тем более Ломан.

— Все это неправда,— отвечала она,— я ни в чем не нуждаюсь.

— Пусть так. В противном случае я считал бы себя польщенным...

Он подумал о Доре Бретпот, о том, что она тоже нуждается теперь... Как знать? Не исключено, что и ее можно купить. Не желая лишать артистку Фрелих возможности выбора, он положил открытый бумажник на стол.

— Давайте-ка сядем,— сказала она и, чтобы переменить разговор, заметила: — Однако бумажничек-то у вас тугой!

И, так как он холодно промолчал, добавила:

— Трудно вам будет отделаться от такой уймы денег, ведь вы даже колец не носите.

— А я, верно, и не отделаюсь.— И, не заботясь о том, понимает она его или не понимает, сказал: — Я не плачу женщинам, потому что считаю это для себя унизительным и вдобавок бессмысленным. Ведь с женщинами — как с произведениями искусства, за которые я готов отдать все на свете. Но разве про-

---

[1] Свободное платье, надеваемое к вечернему чаю дома (*англ.*).

изведением искусства можно обладать? Увидишь такой шедевр на выставке и уходишь с мечтой в душе. А дальше? Воротиться и купить? Но что купить? Мечта за деньги не продается, а на ее воплощенье, право, не стоит тратиться.

Он хмуро отвернулся от бумажника. И тотчас же перевел свои слова на общедоступный язык:

— Я хочу сказать, что мне все быстро приедается.

Артистка Фрелих, с благоговением внимавшая своему идолу, тем не менее ощутила желанье блеснуть сарказмом:

— Так вы, верно, кроме еды и питья, ничего не покупаете?

— А что бы вы могли мне порекомендовать? — Он мрачно и дерзко посмотрел ей прямо в глаза, как бы спрашивая: «Может быть, мне купить вас, сударыня?» И, пожав плечами, сам же ответил на свои несказанные слова: — Чувственная любовь мне омерзительна.

Она вконец смешалась. Сделала робкую попытку посмеяться и сказала:

— Ах, что вы!

— Надо возвыситься над такими чувствами,— настаивал Ломан,— возвыситься и очиститься. Ездить, например, верхом, как Парцифаль. Я думаю поступить в кавалерию и пройти высшую школу верховой езды. За исключением цирковых наездников, в Германии не наберется и сотни людей, владеющих этим искусством.

Тут уж она откровенно рассмеялась.

— Ну, тогда вы станете циркачом, а значит, вроде как моим собратом. Смех да и только! — Она вздохнула.— Помните «Голубого ангела»? Ох, хорошие были времена!

Ломан удивился.

— Возможно,— подумав, сказал он,— что тогда и вправду было хорошо. Все в целом!

— А сколько мы смеялись в «Голубом ангеле», и мне не приходилось воевать со всей этой сворой. Помните, мы с вами плясали, а потом явился Гнус, и вы улизнули через красное окно. А знаете, ведь он-то еще и сейчас на вас зол как черт,— она возбужденно засмеялась,— и мечтает сделать из вас котлету.

Разговаривая, она все время прислушивалась — не раздадутся ли шаги за дверью — и укоризненно смотрела на Ломана. Почему он все заботы взвалил на нее? Ну да ладно, она сама управится. Ломан не шел у нее из головы, хотя бы уже потому, что все остальные были ей дозволены, только он — нет. Это же невыносимо! К тому же упрямая похоть, благодаря недоверию

и ожесточенной ненависти Гнуса сохранившаяся с прежних времен, со времен, о которых она вспоминала со вздохом, теперь, под влиянием своеобразной изысканности и необычности Ломана, сводила ее с ума. Наконец, сама атмосфера вокруг артистки Фрелих была так насыщена порохом, что ожиданье взрыва не могло не щекотать ей нервы.

— А какие вы тогда сочиняли чувствительные стихи,— сказала она.— Теперь уж вы, конечно, это оставили. Помните еще вашу песенку о луне, которую я тогда спела, а публика так по-идиотски ржала?

Она задумчиво оперлась о подлокотник кресла, приложила к груди правую руку и запела высоким, но тихим голосом:

Плывет луна, сияют звезды в небе...

Она пропела весь куплет, думая о том, что это единственная песня на свете, которую ей нельзя петь, и лицо Гнуса неотступно стояло перед ее глазами. Страшное лицо, да еще нелепо подрумяненное, а в руках Гнус все время держал коробочку «bellet» с зеркальцем.

Рыдаю скорбно я в своем челне —
И смехом вторят звезды в вышине.

Раздосадованный Ломан пытался ее остановить, но она сразу начала второй куплет:

Плывет луна...

В это мгновенье дверь с грохотом распахнулась и Гнус как тигр прыгнул в комнату. Артистка Фрелих взвизгнула и бросилась в угол, за стул Ломана. Гнус молчал и задыхался; он выглядел точно так, как она себе его представляла во время пенья. И глаза у него были вчерашние, дикие... «Почему он отказался от ромашкового настоя?» — в тоске подумала она.

Гнус же думал: «Всему конец!» Напрасны его усилия, напрасен неимоверный труд карателя, если Ломан все-таки сидит у артистки Фрелих. Он, Гнус, противопоставил ее человечеству, он трудился в поте лица для того, чтобы отнятое у других досталось ей, а она сделала так, что самые мрачные его виденья стали реальностью — Ломан, Ломан, в чертах которого воплотилось все наихудшее, все самое ненавистное, сидел у нее! Что ж теперь остается? С артисткой Фрелих кончено — значит, кончено и с Гнусом. Он должен приговорить к смерти ее, а следовательно, и самого себя.

Он не проронил ни слова и вдруг схватил ее за горло! При этом он хрипел так, словно это его душили. Чтобы перевести дыханье, он на секунду выпустил артистку Фрелих. Она воспользовалась этой секундой и крикнула:

— Ему противна чувственная любовь! Он сам сказал.

Гнус снова впился в нее. Но тут его схватили за плечи.

Ломан сделал это «для пробы». Он не был уверен, что в спектакле и ему достанется какая-то роль; все было точно во сне. Разве наяву такое возможно? В его разумном представлении своеобычное развитие Гнуса протекало гладко и в известной мере отвлеченно, как в книге. Рукоприкладство в нем не было предусмотрено. Ломан придумал интересную теорию касательно своего старика учителя; но он не знал души Гнуса — ее срывов в бездну, ее страшного горения и одиночества, тяжкого, как проклятие. Все это открылось Ломану слишком внезапно, и его охватил страх, страх перед действительностью.

Гнус обернулся к нему. Артистка Фрелих с визгом кинулась в соседнюю комнату и шумно захлопнула дверь. Первое мгновенье Гнус был точно пьяный; но тут же весь подобрался и, тесня Ломана, начал кружить по комнате. Ломан, чтобы не стоять с растерянным видом, подошел к столу, взял свой бумажник и почему-то начал его поглаживать. «Что бы такое сказать? — думал он.— На кого похож этот человек! Не то паук, не то кошка, глаза сумасшедшие, по лицу катятся разноцветные капли пота, трясущиеся челюсти в пене. Не очень-то приятно, когда такое существо тебя преследует, протягивает к тебе свои искривленные щупальцы и что-то бормочет».

Гнус нечленораздельно бормотал:

— Несчастный... ты посмел... Взять его... наконец-то... пойман с поличным... за это отдашь... все отдашь...

Он вырвал из рук Ломана бумажник и бросился вон из комнаты.

Ломан не двигался с места, охваченный ужасом, ибо здесь совершилось преступленье. Гнус, этот интересный анархист, совершил самое обычное преступленье. Анархист — нравственное исключение, вполне понятная крайность; преступленье же — это только обостренное состояние общечеловеческих склонностей, и ничего примечательного в нем нет. Гнус только что пытался на глазах у Ломана задушить свою жену, а затем ограбил самого Ломана. Комментатор сбился с толку, у наблюдателя сбежала с лица благосклонная усмешка. Ум Ломана, никогда еще не подвергавшийся столь невероятным испытаниям, немедленно утратил свою незаурядность и на слово «пре-

ступление» ответил, вполне буржуазно, словом «полиция». Правда, он отдавал себе отчет, что идея эта не очень-то оригинальна, но тут же решил: «Хватит»,— и разом отбросил все сомнения. Во всяком случае, поступь у него была твердая, когда он двинулся к двери в соседнюю комнату, желая убедиться, что она заперта. Он, правда, слышал, как артистка Фрелих повернула ключ, но считал своим долгом еще раз удостовериться, что после его ухода она не попадет в лапы своего преступного супруга... И Ломан убежал из их дома.

Прошло около часу времени, толпа на углу все разрасталась. Город ликовал, так как арест Гнуса был уже решенным делом. Наконец-то! Горожане освобождались от гнета собственной порочности вместе с устранением соблазна. Мало-помалу приходя в себя и оглядываясь на трупы вокруг, они понимали, что откладывать этот арест было уже невозможно. И почему, собственно, власти так долго мешкали?

Телега, на которой высоко громоздились пивные бочки, загородила пол-улицы, мимо нее с трудом протиснулась карета с полицейскими чинами. За каретой бежала торговка фруктами; господин Дреге, бакалейщик, зачем-то приволок сюда резиновый шланг.

Толпа шумела перед домом Гнуса. Наконец появился он сам под конвоем полиции. Артистка Фрелих, вся в слезах, растерзанная, полуодетая, дрожащая от горя, раскаяния, исполненная небывалой покорности, цеплялась за него, висла на нем, казалось — стремилась слиться с ним воедино. Ее тоже арестовали, чего Ломан не предвидел. Гнус подсадил ее в карету с опущенными занавесками на окнах; глаза его искали кого-то в орущей толпе. Возчик на телеге с пивом высунулся из-под кожаного навеса — физиономия у него была бледная, нахальная — и пискливым голосом крикнул:

— Гнуси-то, гнуси полна карета!

Гнус стремительно оборотился на «это имя» — оно уже опять было не венком победителя, а комом грязи — и узнал Кизелака. Вытянув шею, задыхаясь, старик погрозил своему бывшему ученику кулаком. Но струя воды, пущенная из шланга господина Дреге, ударила ему в рот. Он захлебнулся, кто-то толкнул его в спину, и, оступившись на подножке кареты, он навзничь упал в темноту к ногам артистки Фрелих.

ВЕРНОПОДДАННЫЙ

РОМАН

ПЕРЕВОД И. А. ГОРКИНОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дидерих Геслинг, ребенок смирного нрава, большой любитель пофантазировать, всего боялся и вечно болел ушами. Зимой он неохотно покидал натопленные комнаты, летом — тесный садик, где устоялся запах тряпья с бумажной фабрики и где над кустами сирени и ракитника поднимались стены старых деревянных домов. Иной раз, оторвавшись на миг от книги, от своих любимых сказок, Дидерих страшно пугался. Рядом на скамье сидела жаба чуть не с него ростом — он ясно ее видел! А то вдруг у стены напротив показывался гном; высунувшись по пояс из земли, он косился на Дидериха.

Страшнее гнома и жабы был отец, а ведь его еще полагалось любить. Дидерих и любил. Если он, бывало, позарится на лакомство или солжет, то потом так долго юлит, чмокая и пугливо ерзая, около отцовской конторки, пока папаша Геслинг не спохватится и не снимет со стены трость. От всякой нераскрытой проделки в смиренную доверчивость сына вкрадывалась тень сомнения. Однажды, когда отец, прихрамывавший на одну ногу, скатился с лестницы, сын исступленно захлопал в ладоши и тут же убежал.

Каждый раз, когда Дидерих, после очередной порки, весь опухший от слез, с воплями проходил мимо мастерской, рабочие смеялись. Он сразу же переставал плакать, показывал им язык и топал ногой. Про себя он с гордостью думал: «Меня высекли, но кто? Мой папа! Вы-то небось рады были бы, чтоб он вас выпорол, да где уж вам — мелкота!»

С рабочими он вел себя, точно капризный паша: грозил наябедничать отцу, что они бегают за пивом, но тут же подда-

вался на лесть и, поломавшись, рассказывал, в котором часу отец обещал вернуться. С хозяином рабочие держали ухо востро: он видел их насквозь,— сам некогда работал у хозяев. Геслинг был формовщиком на старых бумажных фабриках, где каждый лист бумаги вырабатывался вручную; проделав все войны своего времени, он, после окончания последней, когда деньги сами шли в руки, сумел приобрести бумажную машину. Голландер и бумагорезка довершили оборудование фабрики. Он сам пересчитывал листы готовой бумаги и требовал, чтобы все пуговицы, срезанные с тряпья, сдавались лично ему. Его маленький сын выпрашивал у женщин пуговицы, обещая за это не выдавать тех, кто уносил с собой несколько штук. Както раз Дидерих накопил столько пуговиц, что ему пришло в голову обменять их у лавочника на конфеты. Так он и сделал. Но вечером, в постели, досасывая последний леденец, он, весь трепеща от ужаса, на коленях молил грозного боженьку не раскрывать его преступления. Но боженька не внял мольбе.

На этот раз у отца, который всегда взмахивал тростью ровно и методично, сохраняя на своем обветренном фельдфебельском лице выражение человека, неукоснительно выполняющего свой почетный долг, дрогнула рука и слеза, прыгая по морщинам, скатилась на щетину серебристых усов.

— Мой сын украл,— задыхаясь, глухо сказал он и поглядел на собственного ребенка, как на некое подозрительное, неизвестно откуда взявшееся существо.— Ты обманщик и вор. Тебе еще только остается стать убийцей.

Фрау Геслинг хотела заставить сына кинуться отцу в ноги и молить о прощении — отец из-за него плакал! Но инстинкт подсказал Дидериху, что это лишь рассердило бы отца еще больше. Против сентиментальных повадок жены Геслинг решительно восставал. По его мнению, она уже искалечила ребенка на всю жизнь. Господин Геслинг ловил жену на лжи совершенно так же, как Диделя. Вместо того чтобы пошевеливаться, жена судачила со служанкой... Да и чему тут удивляться, если женщина читает романы! По субботам часто выяснялось, что заданная ей на неделю работа недоделана. А ведь Геслинг не знал, что она еще и лакомится тайком, совсем как их сын. Не отваживаясь досыта поесть за столом, фрау Геслинг после обеда прокрадывалась к буфету. Посмей она заглянуть в мастерскую, так и пуговицы крала бы.

Вместе с сыном она молилась «словами, идущими от сердца», пренебрегая каноническими молитвами, и на скулах у нее

вспыхивали красные пятна. Иной раз она тоже била ребенка, но с остервенением, трясясь от жажды мести. Дидериху часто попадало от нее несправедливо. Тогда он грозился пожаловаться отцу. Он делал вид, будто идет в контору, и, спрятавшись за угол, радовался, что нагнал страху на мать. Приливы ее нежности он умел обращать себе на пользу, но не питал к ней никакого уважения. Слишком много у них было общего! А себя он не уважал, ибо проходил по жизни далеко не с чистой совестью и дела его в глазах господних никак не могли считаться праведными.

Все же иной раз, в сумерки, матери и сыну выпадал часок умильнейших радостей. Пением, игрой на рояле, рассказыванием сказок они умели до последней капли выжать из праздничных дней желанное настроение. Когда Дидерих впервые усомнился в легенде о Христе-младенце, мать без особого труда убедила его еще хоть чуточку верить. И Дидерих сразу повеселел,— вот он какой набожный и хороший. Упорно верил он и в привидение, якобы обитавшее в замке на горе, а отца, который о нем даже слушать не желал, готов был заподозрить в гордыне, достойной кары. Мать пичкала Дидериха сказками. Она заразила его своим страхом перед новыми оживленными улицами, перед конкой и водила за городской вал, к замку. Там, созерцая его, оба млели от сладостного ужаса.

На углу Мейзештрассе постоянно торчал полицейский, а он ведь хоть кого мог отвести в тюрьму! Сердце у Дидериха отчаянно колотилось; с каким удовольствием он сделал бы любой крюк! Но тогда полицейский догадается, что совесть у него не чиста, и сцапает его. Нет, лучше уж прикинуться честным и ни в чем не повинным... И Дидерих дрожащим голосом спрашивал у полицейского, который час.

После этого сонмища страшных сил, от которых нет спасенья: после сказочных жаб, отца, боженьки, призрака, обитавшего в замке; после полицейского, после трубочиста, который может до тех пор волочить тебя через дымовую трубу, пока ты не превратишься в такое же черное чудище, как он сам; после доктора, которому разрешается смазывать тебе горло и, когда ты кричишь, трясти тебя за плечи,— после всех этих неодолимых сил Дидерих угодил во власть силы, еще более страшной, живьем и без остатка проглатывающей человека,— во власть школы. С ревом переступил он ее порог и не мог ответить даже того, что знал, потому что ревмя ревел. Мало-помалу он налов-

чился пускать слезу, когда уроки не были выучены, ибо все страхи, вместе взятые, не сделали его прилежней и не отбили охоты фантазировать. Так ему удавалось избегнуть многих неприятных последствий, пока учителя не разгадали его системы. К первому учителю, который ее раскрыл, Дидерих проникся величайшим почтением,— внезапно перестал плакать и с собачьей преданностью посмотрел на него из-под согнутой в локте руки, которой загораживал лицо. Перед строгими учителями он всегда благоговел и беспрекословно слушался их. Добродушным же досаждал мелкими каверзами, ловко заметая следы и остерегаясь хвастаться. С несравненно большим удовлетворением живописал он очередной разгром, произведенный в табелях учеников, и последующую жестокую расправу. Дома за столом он сообщал:

— Сегодня господин Бенке опять выпорол троих.

И на вопрос, кого же, отвечал:

— В том числе и меня...

Ибо так уж был создан Дидерих, что его делала счастливым принадлежность к безликому целому, к тому неумолимому, попирающему человеческое достоинство, автоматически действующему организму, каким была гимназия; и эта власть, эта бездушная власть, частицей которой, пусть страдающей, был он сам, составляла его гордость. В день рождения классного наставника кафедра и классная доска украшались гирляндами. Дидерих обвивал зеленью даже карающую трость.

На протяжении школьных лет его дважды повергали в священный и сладостный трепет катастрофы, разразившиеся над головами людей, наделенных властью. В присутствии всего класса директор отчитал и уволил младшего преподавателя. Один из старших преподавателей сошел с ума. Еще более могущественная власть — директор и сумасшедший дом безжалостно расправились с теми, кто еще так недавно были неограниченными властелинами. Приятно было, оставаясь, можно сказать, в ничтожестве, но целым и невредимым, созерцать трупы и приходить к более или менее утешительному выводу относительно собственного положения.

Ту власть, что завладела Дидерихом, перемалывая его между своими жерновами, для младших сестер олицетворял он сам. Он заставлял их писать диктант и нарочно делать побольше ошибок, чтобы свирепо черкать красными чернилами и придумывать наказания. Они были жестоки. Девочки начинали вопить, и тогда унижаться приходилось Дидериху: он боялся, как бы сестры его не выдали.

Для игры в тирана не обязательно нужны были люди; их вполне заменяли животные, даже вещи. Дидерих останавливался у края голландера и смотрел, как барабаны крошат тряпье.

— Так тебе и надо! Ага! Поговорите у меня тут! Мерзавцы! — бормотал он, и в его бесцветных глазах тлел огонек.

Заслышав чьи-нибудь шаги, он втягивал голову в плечи и чуть не сваливался в раствор хлора. Проходивший мимо рабочий, вспугнув мальчика, прерывал непотребное наслаждение, которому тот предавался.

Но зато, когда его самого били, он чувствовал себя уверенно, он был в своей тарелке. Почти никогда не сопротивлялся. Только просил товарища:

— По спине не бей. Это нездорово.

И не то чтобы он неспособен был отстаивать свое право или не стремился к собственной выгоде. Но Дидерих считал, что колотушки, которые он получал, не приносили бьющему материальной выгоды, а ему — убытка. Гораздо больше, чем эти чисто отвлеченные ценности, его интересовала трубочка с кремом, давно уже обещанная кельнером из «Нетцигского подворья» и до сих пор не полученная. Бесчисленное множество раз Дидерих деловым шагом направлялся вверх по Мейзештрассе к рынку, чтобы напомнить своему приятелю, человеку во фраке, о его обязательствах. Когда же тот вдруг заявил, что знать ничего о них не желает, Дидерих, честно возмутившись, топнул ногой и крикнул:

— Мне это, наконец, надоело! Если вы сейчас же не вынесете пирожного, я все расскажу вашему хозяину.

Жорж расхохотался и принес ему трубочку с кремом.

Это был осязательный успех. К сожалению, Дидерих мог насладиться им только впопыхах, в волнении: он опасался, как бы Вольфганг Бук, дожидавшийся на улице, не вошел сюда и не потребовал обещанной доли... Все же Дидерих успел даже насухо вытереть губы и, выйдя за дверь, принялся с ожесточением ругать Жоржа, этого обманщика, у которого никаких трубочек с кремом и в помине нет. Чувство справедливости, так громко заговорившее в Дидерихе, когда его права оказались ущемленными, замолчало, как только дело коснулось прав другого,— хотя тут, конечно, следовало действовать осторожно, ведь отец Вольфганга пользовался всеобщим почетом и уважением. Старый господин Бук не носил крахмальных воротничков, а только белый шелковый шарф бантом, на котором покоилась окладистая седая, подстриженная клином борода. Как неторопливо и величественно опускал он на плиты тротуара

трость с золотым набалдашником! И ходил он в цилиндре, а из-под пальто нередко высовывались фрачные фалды. Среди бела дня! Это потому, что он бывал на разных собраниях, он беспокоился обо всем, что касалось города. О бане, о тюрьме, обо всех общественных учреждениях. Дидерих думал: все это его собственное. Он, наверно, страшно богат и могуществен. Все, даже господин Геслинг, почтительно обнажали перед ним голову. Отнять что-нибудь у его сына значило нажить невесть какие неприятности. Для того чтобы сильные мира сего, перед которыми Дидерих так благоговел, не стерли его в порошок, надо было действовать хитро, исподтишка.

Лишь однажды, уже в старшем классе, случилось так, что Дидерих, забыв всякую осторожность и не думая о последствиях, превратился в упоенного победой насильника. Он, как это было принято и дозволено, всегда дразнил единственного еврея, учившегося в его классе, и вдруг отважился на необычайную выходку. Из деревянных подставок, которыми пользовались на уроках рисования, он соорудил на кафедре крест и заставил мальчика стать перед ним на колени. Он крепко держал паренька, хотя тот отчаянно сопротивлялся: Дидерих был силен. Он был силен одобрением окружающих, толпы, из которой на подмогу ему высовывались руки, да и огромного большинства внутри этих стен и за их пределами. В его лице действовал весь христианский мир Нетцига. Как отрадно было это чувство разделенной ответственности, сознание, что вина общая!

Правда, когда угар рассеялся, стало немножко страшно, но первый же учитель, которого Дидерих увидел, вернул ему мужество: лицо учителя выражало сдержанную благосклонность. Другие преподаватели открыто выказывали свое одобрение. Дидерих отвечал им смиренной улыбкой. С этих пор положение его изменилось — он вздохнул свободнее. Класс не мог отказать в уважении тому, кто пользовался благосклонностью нового классного наставника. При его содействии Дидерих был возведен в ранг первого ученика и тайного наушника. Из этих почетных званий второе он сохранил и впоследствии. Он со всеми водил дружбу, а когда гимназисты болтали о своих проделках, смеялся простодушным, сердечным смехом серьезного молодого человека, извиняющего легкомыслие других; на перемене же, вручая наставнику классный журнал, доносил обо всем, что услышал. Он сообщал о прозвищах, данных учителям, о бунтарских речах, которые велись против них. В голосе его, когда он повторял эти речи, еще дрожала нотка сладострастного испуга, с каким он, потупив глаза, выслушивал их. Ибо при

любом посягательстве на авторитет властителей Дидерих испытывал некое кощунственное удовлетворение, возникавшее где-то на самом дне души,— почти ненависть, стремившуюся разок-другой исподтишка куснуть, чтобы утолить свой голод. Донося на других, он как бы искупал собственные греховные помыслы.

Обычно Дидерих не чувствовал неприязни к тем соученикам, будущность которых ставил на карту. Он вел себя как исполнитель суровой необходимости, связанный долгом службы. Предав товарища, он мог подойти к нему и почти искренне пожалеть. Однажды при его содействии был пойман ученик, которого давно подозревали в списывании. С ведома учителя Дидерих передал мальчику решение задачи по математике; в ходе решения он умышленно допустил ошибку, ответ же, несмотря на это, вывел правильный. Вечером, после того как обманщик был изобличен, старшеклассники собрались в саду одного ресторана,— что разрешалось им по окончании гимнастических игр,— и распевали песни. Дидерих постарался сесть рядом со своей жертвой. После одного из тостов он, отставив кружку, положил руку на руку юноши, преданно посмотрел ему в глаза и затянул вязким от прилива чувств басом:

Был у меня товарищ,
Лучше его не найти...

Сам он, год за годом преодолевая школьную премудрость, учился удовлетворительно, хотя зубрил только «от сих до сих» и ничего на свете не знал, кроме того, что полагалось по программе. Труднее всего ему давались сочинения по немецкой литературе, и тот, кто хорошо писал их, вызывал в нем смутное недоверие.

С переходом Дидериха в последний класс никто уже не сомневался, что он благополучно кончит курс. У отца и педагогов все чаще возникала мысль, что ему следует продолжать образование. Старик Геслинг, дважды — в 1866 и 1871 годах — проходивший с армией под Бранденбургскими воротами, послал Дидериха в Берлин.

Поселиться далеко от Фридрихштрассе он не решился и снял комнату на Тикштрассе. Отсюда в университет вела прямая дорога, и заблудиться уж никак нельзя было. От скуки он ходил в университет два раза в день, а в промежутках, случалось, плакал, тоскуя по родному Нетцигу. Отцу и матери он написал письмо, в котором благодарил за счастливое детство. Без необходимости Дидерих редко выходил из дому. Он не отва-

живался досыта поесть; все боялся израсходовать деньги до конца месяца. То и дело он щупал карман, проверял, целы ли они.

Как ни сиротливо было Дидериху, он все никак не мог собраться на Блюхерштрассе, к господину Геппелю, владельцу целлюлозной фабрики, хотя у него было к нему рекомендательное письмо от отца. Геппель, родом из Нетцига, поставлял Геслингу целлюлозу. На четвертое воскресенье Дидерих собрался с духом, и, как только к нему вышел, переваливаясь с ноги на ногу, коренастый краснолицый человек, которого Дидерих так часто видел в конторе отца, он уже и сам не мог понять, что его заставляло откладывать этот визит. Геппель расспрашивал обо всем Нетциге и главным образом о старике Буке. Невзирая на то, что у Геппеля тоже была седая борода, он, как и Дидерих,— только, вероятно, по другим мотивам,— с детства благоговел перед стариком Буком. Вот человек — шапку долой перед ним! Один из тех, кого немецкий народ обязан высоко ценить, куда выше известных господ, что хотят все и вся лечить железом и кровью, а народ потом плати по их чудовищным счетам. Старик Бук уже в сорок восьмом показал себя, был даже к смерти приговорен.

— Да, да, если мы с вами сегодня сидим здесь и беседуем, как свободные люди, то этим мы обязаны таким личностям, как старик Бук,— сказал господин Геппель и откупорил еще одну бутылку пива.— Если б не они, быть бы нам нынче под солдатским сапогом.

Господин Геппель открыто признавал себя свободомыслящим, противником Бисмарка. Дидерих поддакивал всему, что говорил Геппель; у него не было собственного мнения ни насчет канцлера, ни насчет свободы, ни насчет молодого кайзера. Вдруг он мучительно покраснел: в комнату вошла молодая девушка, с первого взгляда почти испугавшая его своей красотой и изяществом.

— Моя дочь Агнес,— сказал Геппель.

Дидерих, в своем мешковатом сюртуке напоминавший тощего кадета, стоял перед ней, залившись краской. Девушка подала ему руку. Она, как видно, хотела быть любезной, но о чем с ней говорить? Дидерих ответил «да», когда она спросила, понравился ли ему Берлин, а на вопрос, побывал ли он уже в театре, ответил «нет». Он почувствовал себя так неловко, что даже взмок; он был твердо убежден, что девушку сейчас интересует только одно: когда он уйдет? Но как унести отсюда ноги? На счастье, явился новый гость, плотный субъект по фамилии

Мальман, говоривший оглушительным голосом, на мекленбургском диалекте; он был, по всей видимости, студентом-технологом и состоял как будто в квартирантах у Геппелей. Мальман напомнил Агнес, что она обещала пойти с ним погулять. Дидериха тоже пригласили. В ужасе, он отговорился тем, что его будто бы дожидается на улице знакомый, и тотчас же начал прощаться. «Слава богу,— подумал он, хотя сердце у него и екнуло,— у барышни уже кто-то есть».

Господин Геппель, провожая его в темную переднюю, спросил, знает ли его приятель Берлин. Дидерих тут же сочинил, что приятель — берлинец.

— Если вы оба не знаете города, сядете еще, чего доброго, не на тот омнибус. Вам уже, наверное, не раз случалось заблудиться в Берлине? — Дидерих ответил утвердительно, и господин Геппель выразил явное удовлетворение.— Это вам не Нетциг. Тут, как заблудишься, полдня проходишь. Вы что думаете,— за то время, что вы от вашей Тикштрассе доберетесь до Галльских ворот, вы три раза можете пройти через весь Нетциг из конца в конец... Да, вот так-то! А в следующее воскресенье приходите к обеду.

Дидерих обещал. Воскресенье приближалось; он с удовольствием отказался бы от этого визита и, только боясь ослушаться отца, пошел к Геппелям. На сей раз пришлось выдержать такой искус, как пребывание с глазу на глаз с фрейлейн Геппель. Дидерих напустил на себя вид делового человека, не склонного развлекать девиц. Она было опять завела разговор о театре, но он грубо перебил ее: некогда ему заниматься такой дребеденью. Ах да, папа говорил ей: господин Геслинг как будто изучает химию.

— Да! Это вообще единственная наука, имеющая право на существование,— заявил Дидерих, сам не понимая, откуда это у него вдруг взялось.

Фрейлейн Геппель уронила сумочку; нагнувшись, он так замешкался, что она опередила его. Тем не менее она кротко, чуть ли не сконфуженно поблагодарила. Дидериха это разозлило. «Что может быть хуже кокетки?» — подумал он. Она порылась в сумочке.

— Так-таки потеряла. Английский пластырь потеряла, понимаете? А все еще кровоточит.

Она сняла с пальца носовой платок. Палец был такой снежной белизны, что кровь на нем, казалось Дидериху, сейчас просочится внутрь.

— У меня пластырь с собой,— сказал он, опомнившись.

Он завладел ее пальцем, и не успела она вытереть кровь, как он слизнул ее.

— Что это вы?

Он и сам испугался.

— Ведь я химик, а химики и не такие еще вещи пробуют,— сказал он, строго сдвинув брови.

Она улыбнулась.

— Ах да, вы ведь в некотором роде доктор. Как это хорошо у вас выходит,— продолжала она, следя за тем, как он наклеивает пластырь.

— Прошу,— сказал он сдержанно и отступил на шаг. Его бросило в жар, он думал: «Не надо было прикасаться к ее коже. Ужасно мягкая, до отвращения».

Агнес не смотрела на него. Помолчав, она сделала новую попытку втянуть его в разговор.

— У нас с вами в Нетциге найдутся, должно быть, общие родственники. Не правда ли?

Волей-неволей ему пришлось перебрать с ней несколько знакомых нетцигских семейств. Выяснилось, что они с Агнес состоят в каком-то дальнем родстве.

— Ваша матушка, кажется, жива? Какой вы счастливец! Моя-то давно умерла. И мне, наверное, тоже недолго осталось жить. Предчувствуешь ведь...— И она улыбнулась грустно и виновато.

Дидерих ничего не ответил, решив про себя, что это глупая сентиментальность. Еще помолчали — и как только оба торопливо заговорили, неожиданно явился мекленбуржец. Победно улыбнувшись и заглянув Дидериху в глаза, он стиснул ему руку с такой силой, что Дидерих поморщился. Мекленбуржец решительно придвинул стул чуть не к самым коленям Агнес и принялся весело и самоуверенно расспрашивать ее о том, что могло интересовать только их двоих. Предоставленный самому себе, Дидерих сделал открытие, что Агнес, если смотреть на нее спокойными глазами, не так уж потрясающе хороша. И, пожалуй, даже вовсе некрасива. Нос слишком маленький, чуть-чуть вогнутый, правда, тонкий, но обсыпан веснушками. Золотисто-карие глаза посажены близко друг к другу и щурятся, когда она взглядывает на кого-нибудь. Губы чересчур тонкие, все лицо узкое. «Если бы не пышно взбитые рыжие волосы, оттеняющие белую кожу...» Он чувствовал удовлетворение оттого, что ноготь на ее пальце, который он облизал, был не очень чист.

Вошел господин Геппель со своими тремя сестрами. Одна из них была с мужем и детьми. Отец и тетки по очереди обни-

мали и целовали Агнес, проявляя преувеличенную горячность и бережность. Девушка выделялась среди них своим высоким ростом и стройностью; она рассеянно смотрела сверху вниз на тех, кто обнимал ее хрупкие плечи. В ответ она поцеловала лишь отца, медленно и серьезно. Дидерих наблюдал всю эту сцену, он смотрел на Агнес, на освещенный солнечным лучом висок с бледно-голубыми жилками под сеткой рыжих волос.

Ему пришлось вести в столовую одну из теток. Мекленбуржец взял под руку Агнес. Вокруг длинного семейного стола зашуршали шелковые воскресные платья. Мужчины аккуратно укладывали на колени полы сюртуков, откашливались, потирали руки. Наконец подали суп.

Дидерих сидел поодаль от Агнес; чтобы увидеть ее, пришлось бы наклониться вперед, а этого он старательно избегал. Соседка оставляла его в покое, и он поглощал невероятные количества телячьего жаркого с цветной капустой. Подаваемые кушанья подвергались детальному обсуждению, Дидериху тоже пришлось подтвердить, что все очень вкусно! Агнес убеждали не увлекаться салатом, советовали выпить красного вина и допытывались, не гуляла ли она сегодня утром — упаси боже! — без калош. Господин Геппель, повернувшись к Дидериху, рассказывал, что давеча он и его сестры бог весть каким образом потеряли друг друга на Фридрихштрассе и встретились потом только в омнибусе.

— Да, это вам не Нетциг! — воскликнул он, гордо поглядывая через стол на Дидериха. Мальман и Агнес заговорили о каком-то концерте. Ей ужасно хотелось пойти, и она не сомневалась, что папаша разрешит ей. Геппель мягко отговаривал ее, а тетки хором подпевали. Агнес нужно пораньше ложиться и поскорее выехать за город, на свежий воздух: за зиму она переутомилась. Агнес не соглашалась.

— Вы держите меня взаперти, ужасные вы люди!

Дидерих мысленно стал на ее сторону. В нем вспыхнул порыв героизма: ему захотелось сделать так, чтобы Агнес вольна была поступать, как ей заблагорассудится, чтобы она была счастлива и всем этим обязана ему... Тут господин Геппель спросил, не пойдет ли он тоже в концерт.

— Не знаю,— сказал он небрежно и взглянул на Агнес, напряженно подавшуюся вперед.— Что это за концерт? Я бываю только на таких, где можно пить пиво.

— Вполне резонно,— заметил зять Геппеля. Агнес откинулась назад, и Дидерих пожалел о своих словах.

Крем, которого все ждали с нетерпением, все еще не был подан. Геппель посоветовал дочери поглядеть, в чем дело. Не успела она отставить свое блюдечко с компотом, как Дидерих вскочил — стул его отлетел к стене — и решительным шагом двинулся к дверям.

— Мария! Крем! — крикнул он в коридор. Багровый, ни на кого не глядя, вернулся он на свое место. И все же отлично видел, что все перемигнулись. Мальман даже презрительно фыркнул. Зять наигранно простодушным тоном сказал:

— Галантность прежде всего! Похвально!

Геппель нежно улыбался Агнес, а она не отводила глаз от своей тарелки. Дидерих с такой силой уперся коленом в стол, что доска начала подниматься. Он думал: «Господи боже, и как это меня угораздило!»

Когда встали из-за стола, он всем пожал руку. Только Агнес старательно обошел. В гостиной, куда перешли пить кофе, он постарался сесть так, чтобы широкая спина Мальмана заслонила его от Агнес. Одна из теток пожалела Дидериха и решила занять его разговором.

— Что вы изучаете, молодой человек? — спросила она.

— Химию.

— Ах так, физику?

— Да нет же, химию.

— Ах, так.

Как ни торжественно она начала, на большее ее не хватило.

Дидерих мысленно обозвал ее безмозглой дурой. Все общество было не по нем. Он тоскливо и неприязненно разглядывал всех, пока не распрощались последние родственники. Агнес с отцом проводили их. Вернувшись, Геппель удивленно взглянул на одиноко сидящего Дидериха. Он вопросительно помолчал и вдруг сунул руку в карман. Когда же молодой человек, не попросив у него взаймы, собрался уходить, Геппель очень тепло пожал ему руку.

— Непременно передам от вас дочери привет,— даже сказал он, а в дверях, чуть-чуть замявшись, прибавил: — Приходите же в следующее воскресенье!

Дидерих твердо решил никогда больше не переступать порог этого дома. И, однако, на следующий день, забыв все на свете, кинулся разыскивать магазин, где можно было бы купить для Агнес билет в концерт. Первым делом ему пришлось прочитать все афиши, чтобы вспомнить имя музыканта, о котором говорила Агнес. Тот или не тот? Как будто названа была именно эта фамилия. Дидерих решился. Но, услышав, что билет

стоит четыре марки пятьдесят, он широко раскрыл глаза от ужаса. Потратить такую уйму денег, чтобы лицезреть музыканта! Если б можно было незаметно удрать! Заплатив и очутившись на улице, он прежде всего вознегодовал: какой грабеж! Но затем спохватился, что это для Агнес, и был потрясен собственной щедростью. Он двигался среди уличной сутолоки, умиленный и счастливый. Это были первые деньги, потраченные им не на себя.

Он сунул билет в пустой конверт, ничего больше не вложил в него и для маскировки вывел адрес каллиграфическим почерком. Когда он стоял у почтового ящика, вдруг показался иронически улыбающийся Мальман. Дидерих почувствовал, что пойман с поличным, отдернул руку от ящика и посмотрел на нее. Но Мальман только сказал, что ему хочется поглядеть, как устроился Дидерих. Однако! Можно подумать, что здесь живет старая дева. Даже кофейник привез с собой из дому. Дидериху было стыдно до слез. Глядя, как Мальман, перебирая его учебники, раскрывает и захлопывает их с презрительной гримасой, он почувствовал, что стыдится и своей специальности. Мекленбуржец развалился на диване и спросил:

— Как вам понравилась Геппель? Пальчики оближешь, а? Ну вот, опять покраснел! Да флиртуйте с ней, сделайте милость! Честь и место. У меня пятнадцать других на примете.— И в ответ на пренебрежительное замечание Дидериха: — Зря это вы. Тут пожива вполне возможна. Или я ничего не понимаю в женщинах! Эти рыжие волосы! А как она строит тебе глазки, когда думает, что никто не видит! Вы заметили?

— Мне она не строит глазки,— еще пренебрежительнее сказал Дидерих.— Да и плевать мне.

— Прогадаете! — Мальман оглушительно загоготал, а затем предложил кутнуть. Пошли странствовать по пивным. Когда вспыхнули первые огни газовых фонарей, оба уже едва держались на ногах. Немного спустя, на Лейпцигерштрассе, Мальман ни с того ни с сего влепил Дидериху здоровенную оплеуху. Дидерих сказал:

— Ну, знаете, это уже...— Слово «нахальство» он проглотил. Мекленбуржец похлопал его по плечу.

— По дружбе, детка! Только по дружбе! — крикнул он и в довершение всего занял у Дидериха его последние десять марок... Четыре дня спустя он застал Дидериха ослабевшим от голода и великодушно выделил ему из денег, которые опять где-то призанял, три марки. В воскресенье у Геппелей,— если бы Дидерих так не отощал, он, быть может, и не пошел бы к

ним,— Мальман доложил за столом, что Геслинг все свои деньги прокутил и сегодня ему надо наесться до отвала. Господин Геппель и его зять сочувственно рассмеялись, но Дидерих, поймав на себе пытливый и грустный взгляд Агнес, не знал, куда деваться,— уж лучше бы ему не родиться на свет божий. Она его презирает. В отчаянии он утешал себя: «Не все ли равно, ведь она всегда презирала меня». Вдруг Агнес спросила, не он ли прислал ей билет в концерт. Все повернулись к нему.

— Вздор! С чего вдруг я стал бы этим заниматься! — сказал он так нелюбезно, что ему поверили. Агнес не сразу отвела от него глаза. Мальман обнес дам конфетами и поставил коробку перед Агнес. Дидерих словно забыл о ее присутствии. Он ел еще больше, чем в прошлый раз. Все равно они думают, что он только затем и пришел! Кофе решили пить в Груневальде, и Дидерих тотчас же заявил, что у него свидание. Он даже прибавил:

— С человеком, которого я никак не могу заставить напрасно ждать.

Геппель положил ему на плечо плотную руку, наклонился и, прищурившись, сказал вполголоса:

— Будьте покойны, вы, разумеется, наш гость.

Но Дидерих возмутился и заверил, что причина вовсе не в этом.

— Тогда, по крайней мере, обещайте, что запросто придете когда вздумается,— сказал на прощанье Геппель, и Агнес кивнула, как бы в подтверждение. Она и сама как будто собиралась что-то сказать, но Дидерих не стал дожидаться. Остаток дня он слонялся по улицам, самодовольно упиваясь грустью, сознанием принесенной жертвы. А вечером сидел в переполненной пивной и, подперев голову руками, время от времени кивал своему одинокому стакану, словно теперь постиг предначертания судьбы.

Что он мог поделать с наглым и бесцеремонным Мальманом, который занимал у него деньги? В воскресенье мекленбуржец явился с букетом для Агнес, и Дидерих, пришедший с пустыми руками, вправе был бы сказать: «Цветы, фрейлейн, если хотите знать, от меня». Но он промолчал и разозлился больше на Агнес, чем на Мальмана. Мальманом он невольно восхищался: тот, например, мог ночью подбежать сзади к прохожему и хлопнуть его по цилиндру,— хотя Дидерих ясно сознавал, что такие выходки — предостережение ему самому.

В конце месяца он неожиданно получил из дому деньги, которые мать скопила ко дню его рождения, и появился у Геп-

пелей с букетом, не слишком пышным, чтобы не показаться смешным и не раздразнить Мальмана. Молодая девушка, принимая букет, растроганно взглянула на Дидериха, и он улыбнулся ей покровительственно и в то же время смущенно. Это вокресенье представлялось ему каким-то особенно праздничным; его ничуть не удивило предложение пойти всем вместе в зоологический сад.

Двинулись в поход. Мальман сосчитал — одиннадцать персон. Женщины, попадавшиеся им по пути, как и сестры Геппеля, были одеты совершенно не так, как в будни: сегодня все они казались дамами из высшего общества. Или они получили наследство? На мужчинах были сюртуки; лишь немногие носили к ним гладкие черные брюки, как Дидерих; почти все были в соломенных шляпах. Когда сворачивали в боковую улицу, она простиралась перед ними широкая, ровная и пустынная,— ни прохожего, ни кучки конского навоза. И только на одной из таких улиц маленькие девочки в черных чулках и белых платьях, увешанных бантами, водили хоровод и пели пронзительными голосами. На главных улицах потеющие матроны штурмовали омнибусы; рядом с их пунцовыми лицами приказчики, без всяких церемоний воевавшие с ними за места, казались обморочно-бледными. Все устремлялось вперед, все неслось к единой цели, туда, где наконец можно будет вкусить от радостей жизни. На лицах была написана решимость: «Эй, посторонись, мы вдосталь потрудились!»

Дидерих изображал перед дамами бывалого берлинца. В вагоне городской железной дороги он взял с бою несколько мест. Господину, который метил на одно из них, он сильно наступил на ногу. Господин крикнул: «Нахал!» Дидерих не остался в долгу. Тут выяснилось, что это знакомый Геппеля, и оба, как только их представили друг другу, начали наперебой выставлять себя ревнителями рыцарских нравов. Ни один не желал садиться, пока другой стоит.

За столиком в кафе Дидерих очутился рядом с Агнес,— почему это сегодня все так счастливо складывалось? — и когда она сразу же после кофе захотела пойти смотреть зверей, он бурно поддержал ее. Его распирало от избытка предприимчивости. Дойдя до узкого прохода между клетками хищников, дамы повернули назад. Дидерих предложил Агнес сопровождать ее.

— Уж лучше возьмите в провожатые меня,— сказал Мальман.— Если в какой-нибудь клетке выскочит прут...

— То и вам его не водворить на место,— отпарировала Агнес и двинулась по проходу. Мальман разразился своим оглу-

шительным хохотом. Дидерих шел за Агнес. Ему было страшно оттого, что слева и справа без единого звука, только шумно дыша, на него кидались хищники, и оттого, что впереди, распространяя благоухание, шла молодая девушка. Вдруг она повернулась к нему и сказала:

— Не люблю бахвалов!

— В самом деле? — спросил радостно взволнованный Дидерих.

— Вы сегодня милый,— сказала Агнес.

— Хотелось бы всегда быть таким.

— Правда? — И ее голос едва заметно дрогнул.

Они взглянули друг на друга с одинаковым выражением: словно каждый из них подумал, что всего этого не заслуживает.

Агнес пожаловалась:

— Звери ужасно скверно пахнут.

И они повернули обратно. Их встретил Мальман.

— Мне было интересно, не сбежите ли вы.— Он отвел Дидериха в сторону.— Ну-с, как наша милашка? Дело на мази? Я вам сразу сказал, что тут особого искусства не требуется.

Дидерих онемел.

— Вы, видно, ринулись в атаку? Ну, так слушайте! Я пробуду в Берлине еще только один семестр; когда уеду, пожалуйста, принимайте наследство. А до тех пор будьте любезны подождать...— На его маленьком по сравнению с громоздким торсом лице вдруг появилась ехидная гримаса: — Дружок!

И он отпустил Дидериха. Тот, насмерть перепуганный, уже не смел и близко подойти к Агнес. Она рассеянно слушала Мальмана и, повернувшись к отцу, шедшему позади, крикнула:

— Папа, какой замечательный день! Сегодня я себя прекрасно чувствую.

Геппель обеими руками обхватил ее руку выше локтя и сделал вид, будто хочет крепко сжать ее, однако он едва ее касался. Его смеющиеся блестящие глазки увлажнились. Как только родственники попрощались и ушли, он подозвал к себе Агнес и обоих молодых людей и заявил, что этот день надо отпраздновать: он предлагает погулять по Унтер-ден-Линден, а затем где-нибудь поужинать.

— Папа становится ветрeником! — воскликнула Агнес и оглянулась на Дидериха. Но он шел, опустив глаза. В вагоне городской железной дороги он по своей неловкости оказался от-

резанным от остальной компании, а на Фридрихштрассе, в людском водовороте, вместе с Геппелем отстал от Мальмана и Агнес. Вдруг Геппель остановился, растерянно пошарил по животу и воскликнул:

— Где часы?

Часов с цепочкой уже и след простыл. Мальман спросил:

— Сколько лет вы живете в Берлине, господин Геппель?

— Да-а,— протянул Геппель и обратился к Дидериху: — Тридцать лет живу в этом городе, но такого со мной ни разу не случалось! — И все-таки с гордостью добавил: — Видите? В Нетциге таких происшествий не бывает.

Вместо того чтобы идти в ресторан, пришлось отправиться в полицейский участок и заявить о пропаже. Агнес начала кашлять. Геппель вздрогнул и пробормотал:

— Пожалуй, все мы очень устали.

Он преувеличенно весело распрощался с Дидерихом. Тот, казалось, не заметил протянутой руки Агнес и неловким движением приподнял шляпу. Не успел Мальман оглянуться, как Дидерих с удивительным проворством вскочил в проходящий омнибус. Удрал! И каникулы уже начинаются! Он никого и ничего больше знать не желает! Дома он, правда, с шумом и треском пошвырял на пол толстые учебники химии и уже схватился за кофейник. Но где-то хлопнула дверь, и он быстро все подобрал. Потом тихо сел в угол дивана, опустил голову на руки и заплакал. Сначала все шло так прекрасно! А оказывается, он угодил в расставленные сети. Так делают все девушки. Завлекают только затем, чтобы поиздеваться над жертвой вместе со своим милым. Дидерих отлично понимал, что не ему тягаться с таким типом. Он мысленно поставил себя рядом с Мальманом. Нет, он не понял бы девушки, которая остановила бы выбор на нем, Дидерихе. «Что я возомнил о себе? — думал он.— Только дура могла бы в меня влюбиться». Он изнемогал от страха, как бы не явился мекленбуржец. «Да на что она мне сдалась! Унести бы только поскорее ноги!» Целые дни он сидел взаперти, каждый нерв у него дрожал от отчаянного напряжения. Получив деньги, он немедленно уехал. Мать не узнала своего Дидериха, она подвергла его ревнивому допросу. В такой короткий срок он из мальчика превратился в мужчину.

— Да, вот что значит берлинская улица!

Дидерих горячо поддержал мать, когда она потребовала, чтобы он перевелся в какой-нибудь маленький университетский городок и не возвращался более в Берлин. Отец же полагал, что тут есть и «за» и «против». Он подробно расспрашивал

Дидериха о Геппелях. Видел ли он геппелевскую фабрику? Побывал ли у других деловых знакомых? Геслинг хотел, чтобы на каникулах Дидерих познакомился с производством бумаги на отцовской фабрике.

— Годы мои уже не мягкие, а мой гранатный осколок уже давно так не беспокоил меня.

Дидерих, когда только мог, старался улизнуть из дому. Он бродил по Геббельхенскому лесу или по берегу Руггского ручья, близ Гозе, и находил в природе отклик на свои чувства. Он научился этому. Впервые в жизни ему представилось, что холмы на горизонте как будто грустят, томятся великой тоской, что солнце — это солнце его любви, а дождь — слезы, которые небо проливает вместе с ним. Он много плакал теперь. Даже стихи пытался сочинять.

Однажды, зайдя в аптеку, он увидел за прилавком своего школьного товарища Готлиба Горнунга.

— Этим летом я изображаю из себя аптекаря,— сказал Горнунг. Он уже успел как-то по недосмотру отравиться, и его скрючило, как угря. Весь город об этом говорил! Но осенью он собирается в Берлин, чтобы, так сказать, теоретически подковаться в своем деле. А что, в Берлине, наверное, здорово интересно? Дидерих, воодушевленный сознанием своего превосходства, не жалея красок, стал расписывать свои берлинские похождения. Аптекарь пообещал:

— Вдвоем с тобой мы перевернем весь Берлин.

И Дидерих малодушно поддакнул. Мысль о маленьком университетском городе была отброшена. В конце лета Дидерих вернулся в Берлин. Горнунгу до окончания практики оставалось еще несколько дней. Дидерих и заходить не стал на свою прежнюю квартиру. От Мальмана и Геппелей он бежал на другой конец города, в Гезундбруннен. Там он засел в ожидании Горнунга. Но Горнунга, хотя и сообщившего о своем выезде, все не было... Наконец он явился в какой-то зелено-желто-красной шапочке. Оказалось, что один из коллег тотчас же завербовал его в некое объединение, куда обязательно надо вступить и Дидериху. Это «Новотевтония», высокоаристократическая корпорация, сказал Горнунг. Фармацевтов там всего шестеро. Дидерих скрыл свой страх под маской пренебрежения, но от Горнунга не так-то просто было отделаться. Он не допускал и мысли, что Дидерих, о котором он уже говорил, поставит его в неловкое положение; придется сходить туда хотя бы гостем.

— Но только разок,— решительно заявил Дидерих.

Этот «разок» тянулся до тех пор, пока Дидерих не упал под стол и его не уволокли. Когда он проспался, его опять затащили в кабачок — на «утреннюю кружку пива»; он был внесен в списки «собутыльников».

Дидерих чувствовал себя рожденным для этой роли. Он вступил в широкий круг людей, которые не причиняли ему зла и требовали только одного: чтобы он пил. За всех, кто предлагал ему чокнуться, он благодарно и дружелюбно поднимал свою кружку. Пить или не пить, сидеть или стоять, говорить или петь — все это в большинстве случаев не от него зависело. Это делалось под громогласную команду, и если точно ее выполнять, можно жить в полном согласии с собой и с миром. Когда Дидерих впервые не опоздал при «саламандре» стукнуть кружкой — он улыбнулся собутыльникам, едва ли не конфузясь собственной виртуозности.

Но это было ничто по сравнению с его совершенством в пении. Еще в школе он принадлежал к числу лучших певцов и знал наизусть, на какой странице песенника находится та или иная песня. И теперь было так же: ему стоило только ткнуть пальцем в раскрытый корпорантский песенник, лежащий на подставке в луже пива, и он раньше всех находил тот номер, который надо было петь. Часто он весь вечер почтительно глядел в рот президиуму в надежде, что тот наконец произнесет название его любимой песни. Если это случалось. Дидерих залихватски рявкал: «Черта с два они знают, что свободой зовется»; он слышал, как рядом с ним гудит толстяк Делич, и испытывал блаженство от чувства сладостной безопасности в полумраке этого низенького старонемецкого кабачка, с корпорантскими шапочками на стене, насыщенном запахами пива и испарениями разгоряченных человеческих тел, видя вокруг себя отверстые рты, поющие и пьющие в один лад. В поздние ночные часы ему даже чудилось, что все они — единое потеющее тело.

Он растворился в корпорации, думавшей и желавшей за него. И в то же время здесь он был мужчиной, который вправе уважать себя, ибо имеет честь принадлежать к своей корпорации. Никто на свете не в силах вырвать его из этого круга, причинить зло ему одному. Пусть бы сунулся сюда Мальман, пусть бы посмел насесть на него: вместо одного Дидериха двадцать человек поднялись бы против Мальмана. Дидерих даже хотел, чтобы тот явился,— таким неустрашимым он чувствовал себя. Пусть даже вместе с Геппелем. Пусть бы они посмотрели теперь на него, Дидериха, и он был бы отомщен.

Особой симпатией проникся Дидерих к самому добродушному из всех, к своему соседу, толстяку Деличу. Нечто глубоко успокоительное, располагающее к доверию было в этом всегда юмористически настроенном человеке, в этой гладкой белой глыбе жира, которая широко переваливалась через края стула, нагромождением подушек поднималась до уровня стола и, словно достигнув желанного предела, неподвижно застывала,— только рука равномерно поднимала и опускала кружку с пивом. Делич, как никто другой, был здесь на своем месте; кто видел его за столом, забывал, что он может и на ногах стоять. Он был словно создан для сидения за столом, уставленном бутылками. Его брюки, обычно уныло обвисавшие на заду, мощно вздувались, словно расцветали улыбкой, как только он садился. Только с этого мгновенья расцветало и лицо его. Он сиял радостью жизни, блистал остроумием.

Если какой-нибудь новичок в шутку отбирал у него кружку, разыгрывалась целая драма. Делич, не трогаясь с места, следовал взглядом за похищенной кружкой с таким выражением, точно в ней заключалась вся жизнь с ее бурями и треволнениями. Он кричал шутнику пронзительным саксонским тенорком:

— Смотри, парень, не пролей! И вообще, как ты смеешь отнимать у меня единственную усладу жизни? Ты же подло, злонамеренно подрываешь мое здоровье! Имею полное право вчинить тебе иск!

Если шутка заходила слишком далеко, пухлое белое лицо Делича вытягивалось, он просил, молил. Но едва только пиво возвращалось к нему, какое всепрощение светилось в его улыбке, как прояснялось его лицо!

— Ты все-таки добрая душа,— говорил он,— живи же и будь здоров! — Он выпивал пиво до последней капли и стучал крышкой, подзывая служителя-студента: — Прошу, господин обер-корпорациус!

Случалось, что спустя несколько часов Делич вместе со стулом поворачивался к водопроводной раковине и наклонял над ней голову. Журчала вода. Изо рта у него вырывались клохчущие звуки, точно он вот-вот задохнется, и несколько человек, заразившись, выскакивали в туалет. Еще болезненно морщась, но уже с новым запасом юмора, Делич придвигался к столу.

— Ну, теперь можно начинать сызнова,— говорил он.— О чем вы тут толковали без меня? Нет у вас, вижу, других тем, как только о бабах болтать? А что от них проку? — И все

повышая голос: — Меньше, чем от кружки прокисшего пива. Прошу, обер-корпорациус!

Дидерих был совершенно того же мнения. Он узнал женщин и не желает с ними иметь дело. Несравненно более идеальные ценности несло в себе пиво.

Пиво! Алкоголь! Сиди и пей сколько влезет, пиво не то что кокетки, оно не изменит, не смутит твой покой. Оно не требует от тебя никаких поступков и решений, не надо ни хотеть, ни добиваться, как с женщинами. Все происходит само собой. Глоток-другой — и ты уже чего-то достиг, ты уже вознесен на вершины жизни, ты уже свободный человек, внутренне свободный. Пусть пивную оцепит хоть целый отряд полицейских,— пиво, которое ты глотаешь, обращается в твою внутреннюю свободу. Ты словно уже выдержал свой экзамен. Ты уже «готов», уже доктор! Занимаешь положение, богат, влиятелен. Ты владелец крупной фабрики художественных открыток или туалетной бумаги. И труд твоей жизни не пропадает даром; то, что ты производишь, попадет в тысячи рук. Сидя за столом в пивной, ты охватываешь весь земной шар, начинаешь понимать великую взаимосвязь вещей, сливаешься воедино с мировым духом. О, пиво так поднимает человека над самим собой, что он видит бога!

Жить и жить бы так целые годы. Однако новотевтонцы требовали еще и другого. Чуть не с первого дня они твердили ему о великих моральных и материальных выгодах безраздельной принадлежности к корпорации; постепенно они все откровеннее заявляли, что пора уже ему подвергнуться боевому крещению. Напрасно он ссылался на свое, всеми признанное, звание собутыльника, с которым он свыкся и которое его вполне удовлетворяет. Ему возражали, что одними только попойками, как они ни плодотворны, еще не достигается цель студенческого сплочения, воспитание мужества и идеализма. Дидерих дрожал: ему было очень хорошо известно, что это значит. Он должен драться на рапирах! Давно уже у него неприятно екало сердце, когда корпоранты, размахивая палками в воздухе, показывали ему, как наносятся удары рапирами, или когда кто-либо из новотевтонцев являлся в черной шапочке, распространяя запах йодоформа. И удрученный Дидерих думал: «Зачем я поддался на уговоры и сделался собутыльником! Теперь мне не отвертеться!»

И не отвертелся. Но с первого же раза страх его прошел. На него надели шлем, очки и так тщательно укутали, что большой беды с ним не могло приключиться. У него не было осно-

ваний не подчиняться команде с такой же готовностью и послушанием, как и в кабачке, а поэтому он постиг искусство фехтования скорее, чем другие. При первом же порезе у него закружилась голова: он почувствовал кровь на щеке. Но когда ему зашили рану, он готов был танцевать от счастья и упрекал себя в том, что приписывал этим славным людям злой умысел. Именно тот, кого он больше всего боялся, взял его под свое покровительство и стал его доброжелателем и воспитателем.

Вибель был юрист. Этого одного уже оказалось достаточно, чтобы Дидерих ему беспрекословно подчинился. Не без самоуничижения смотрел он на костюмы из английского сукна, в которые одевался Вибель, и на множество цветных рубашек, которые тот менял одну за другой, пока все они не отправлялись в стирку. Но больше всего Дидериха ошеломляли манеры Вибеля. Когда тот с легким изящным поклоном предлагал чокнуться, лицо Дидериха страдальчески морщилось от напряжения, он склонялся чуть не до полу, половину пива расплескивал, а остаток выпивал, давясь. Вибель разговаривал тихим, надменным голосом феодального сюзерена.

— Как хотите, но манеры, изящная ф-форма — это не пустой предрассудок,— то и дело изрекал он.

Произнося «ф» в слове «форма», он складывал рот воронкой и медленно выталкивал звук из ее черной глубины. Дидериха каждый раз заново прохватывала дрожь от такой изысканности. Все в Вибеле казалось ему утонченно-аристократическим: и то, что рыжеватая щетина усов росла высоко на губе, и то, что длинные ногти у него загибались книзу, а не кверху, как у Дидериха, и исходивший от него сильный мужской запах, и оттопыренные уши, подчеркивавшие эффект прямого пробора, и глаза, по-кошачьи прятавшиеся под нависшими надбровьями. На все это Дидерих смотрел с неизменным сознанием собственного ничтожества. Но с тех пор, как Вибель с ним заговорил и даже стал его покровителем, Дидериху казалось, что теперь, наконец, подтверждено его право на существование. От переполнявшей его благодарности ему хотелось вилять хвостом. Сердце ширилось от блаженного восторга. Если бы у него хватило дерзости, он пожелал бы, чтобы у него тоже была такая красная шея, чтобы он тоже всегда потел. А предел мечтаний — пришепетывать, как Вибель!

И вот Дидериху дозволено служить ему, он — лейб-фукс, телохранитель Вибеля! Он постоянно присутствовал при его утреннем вставании, собирал принадлежности его туалета, и так как Вибель неаккуратно платил за квартиру и не пользовался

расположением хозяйки, варил ему кофе и чистил штиблеты. В награду ему разрешалось повсюду следовать за Вибелем. Когда Вибель уединялся в уборной, Дидерих стоял снаружи на часах и жалел, что при нем нет ружья, которое можно взять на плечо.

И Вибель стоил того, чтобы ему поклонялись. Никто с таким блеском, как он, не отстаивал честь корпорации, в которой заключались также честь и достоинство Дидериха. Вибель с кем угодно мог подраться за новотевтонцев. Однажды он, говорят, здорово вздул члена корпорации «Виндоборуссия», чем поднял престиж «Новотевтонии». Кроме того, во втором гвардейско-гренадерском полку имени кайзера Франца-Иосифа служил его родственник, и когда бы Вибель ни называл имя своего кузена фон Клапке, все новотевтонцы, польщенные, неизменно склоняли головы. Дидерих старался представить себе кого-либо из рода Вибелей в форме гвардейского офицера, но это было уже за пределами человеческого воображения. И вот однажды, когда Дидерих и Готлиб Горнунг шли, благоухая одеколоном, из парикмахерской, где ежедневно брились, они заметили на углу Вибеля с каким-то казначеем. Нет, они не ошиблись — то был казначей, и как только Вибель завидел их, он повернулся к ним спиной. Они тоже отвернулись и молча, решительно пошли в другую сторону, не обменявшись ни единым взглядом, ни единым словом. Каждый подозревал, что другой тоже уловил сходство между казначеем и Вибелем. Быть может, остальные давно уже были осведомлены на этот счет? Но все они так дорожили честью корпорации, что молчали, больше того, готовы были забыть виденное собственными глазами. Когда Вибель сказал как-то: «Мой кузен фон Клапке»,— Дидерих и Горнунг, польщенные, как всегда, склонили головы вместе с другими.

Дидерих научился уже владеть собой, блюсти приличия и дух корпорации, стремиться к возвышенному. С жалостью и отвращением думал он о шатком существовании неприкаянных одиночек, каким раньше был он сам. Теперь в его жизни господствовали порядок и чувство долга. В определенный час, минута в минуту, он являлся на квартиру к Вибелю, к парикмахеру, в фехтовальный зал, на «утреннюю кружку пива». После обеда, послонявшись по городу, шел в кабачок новотевтонцев; и каждый шаг совершался на глазах всей корпорации, с педантичным соблюдением целого кодекса приличий и взаимного почитания, не исключавшего добродушной грубости. Однажды Дидерих натолкнулся у входа в туалет на одного из корпорантов, с которым был лишь едва знаком, и, хотя оба уже

еле держались на ногах, ни один не желал войти первым. Они долго и учтиво уступали друг другу дорогу, пока оба не ринулись, света невзвидев, к дверям, и в туалет протиснулись, как два сцепившихся кабана, так что кости затрещали. Это было началом дружбы. Сблизившись в чисто человеческой ситуации, они затем уселись рядом за официально отведенным их корпорации столом и выпили на брудершафт. Один сказал: «Свинья»,— другой ответил: «Осел».

Жизнь в корпорации не всегда поворачивалась к ним своей веселой стороной. Она требовала искупительных жертв; она прививала мужество, умение сносить удары. Сам Делич, так часто веселивший их, стал источником скорби для «Новотевтонии». Как-то утром Дидерих и Вибель зашли за ним. Он стоял, склонившись над умывальным тазом:

— А, это вы? Меня сегодня ужасно мучает жажда...— пролепетал он и рухнул наземь — они даже не успели поддержать его,— увлекая за собой все, что стояло на умывальнике. Вибель ощупал его. Делич был недвижим.

— Разрыв сердца,— коротко сказал Вибель. Вытянувшись по-военному, он подошел к звонку. Дидерих подобрал осколки и вытер пол. Несдержанность хозяйки, огласившей комнату горестными воплями, лишь подчеркивала их суровую собранность.

На то они и корпоранты! По дороге в полицию, где надо было выполнить ряд формальностей, они шагали в ногу, и Вибель сказал с непоколебимым презрением к смерти:

— С каждым из нас может такое случиться. Бражничать — дело не шуточное. Поверьте мне.

И вместе со всеми Дидерих испытывал гордость за Делича, исполнившего свой долг и павшего на поле чести. Корпоранты шли за гробом с высоко поднятыми головами: «Наше знамя — «Новотевтония»,— говорили их лица. На кладбище все стояли, склонив рапиры, задрапированные черным крепом, и углубившись в себя, словно воины, которых каждое следующее сражение так же может выхватить из рядов, как минувшее выхватило их соратника. А первый староста, превознося усопшего, сказал, что он завоевал высшую награду в школе мужества и идеализма. Эти слова потрясли всех, точно относились к каждому в отдельности.

На этом кончилось обучение Дидериха,— Вибель покинул корпорацию; он готовился в референдарии, в кандидаты на судебную должность. Отныне Дидериху надлежало самостоятельно соблюдать усвоенные принципы, внедрять их в молодое

поколение. И он строго соблюдал их, с чувством высокой ответственности. Горе новичку, заслужившему штраф — осушить жбан до дна. Не проходило и пяти минут, как проштрафившийся, держась за стену, торопливо пробирался к выходу. Но самая страшная кара постигла того, кто однажды позволил себе пройти в дверь первым, не уступив дорогу Дидериху. Его на целую неделю отлучили от пивных возлияний. Не гордыней и не самолюбием руководствовался при этом Дидерих, а лишь высоким представлением о чести корпорации. Он был всего лишь человек и, стало быть, нуль; все права, авторитет, вес сообщала ему она — корпорация. И физически он всем был обязан ей — полнотой белого лица, брюшком, поднимавшим его престиж в глазах новичков, и привилегией в торжественных случаях появляться в высоких сапогах, с шарфом через плечо и в корпорантской шапочке, упиваясь сознанием, что на нем форма. Правда, ему, например, все еще приходилось отступать перед любым лейтенантом, ибо корпорация, в которую имели доступ лейтенанты, была выше дидериховской; но зато с кондуктором конки можно было обращаться бесцеремонно, не опасаясь отпора. Мужественность была написана на его лице грозными письменами-шрамами; они исполосовали подбородок, щеки и врубались даже в череп под коротко остриженными волосами. А как приятно было ежедневно доказывать свою мужественность кому только вздумается! Однажды подвернулся счастливый случай. Дидерих и Готлиб Горнунг отправились вместе с горничной своей хозяйки на танцы в Галензее. Вот уж несколько месяцев, как друзья поселились в одной квартире, привлеченные хорошенькой горничной. Оба делали ей маленькие подарки, а по воскресеньям ходили с ней гулять. Дидерих мог лишь строить догадки насчет того, добился ли Горнунг такого же успеха в своих домогательствах, как он сам. Официально и по мотивам корпоративной чести он считал, что это ему неизвестно.

Роза была неплохо одета и пользовалась успехом на балу. Дидериху, которому хотелось протанцевать с Розой еще одну польку, пришлось ей напомнить, что он подарил ей перчатки. Он уже отвесил учтивый поклон — необходимое вступление к танцу,— как вдруг между ним и Розой вырос кто-то третий и унесся с ней в польке. Смущенный Дидерих смотрел вслед танцующей паре, и в душе у него шевелилось неясное чувство, что такой поступок требует возмездия. Но, раньше чем он тронулся с места, какая-то девушка бросилась в гущу танцующих, влепила Розе затрещину и довольно неделикатно разлучила ее с партнером. Дидерих в тот же миг ринулся к похитителю Розы.

— Милостивый государь,— сказал он, твердо глядя ему в глаза,— ваш поступок не имеет названия.

— Ну и пусть,— ответил тот.

Озадаченный неожиданным оборотом столь официального разговора, Дидерих буркнул:

— Грубиян!

— Мужлан! — живо ответил тот и хихикнул.

Дидерих окончательно растерялся от такой безграничной невоспитанности и уже хотел было поклониться и отступить, но незнакомец вдруг пнул его в живот, и в то же мгновение оба, сцепившись, покатились по полу. Под визг и улюлюканье окружающих они дрались до тех пор, пока их не разняли. Готлиб Горнунг, шаривший по полу в поисках пенсне Дидериха, крикнул: «Да он улепетнет!» — и бросился вдогонку за обидчиком. Дидерих — за ним.

Они успели увидеть, как незнакомец в сопровождении какого-то молодого человека вскочил в наемный экипаж. Они тоже сели в пролетку и помчались за своими противниками. Горнунг заявил, что корпорация не примирится с таким пятном на ее чести.

— Ничтожество! Дал стрекача, а даму оставил на произвол судьбы.

Дидерих объявил:

— С Розой у меня все кончено.

— У меня тоже.

Ехали и волновались:

— Догоним ли? Нам попался какой-то одёр.

— А что, если это плебей? Если он не способен дать сатисфакцию?

Решили: в таком случае эпизод официально не имел места.

Первый экипаж остановился перед богатым домом, в западной части Берлина. Не успели Дидерих и Горнунг подъехать, как дверь захлопнулась. Они решительно стали на часах у подъезда. Было холодно, они принялись шагать возле дома — двадцать шагов налево, двадцать направо,— ни на секунду не выпуская из виду двери и без конца повторяя энергично и воинственно одно и то же. Драться только на пистолетах. Дорого заплатит обидчик за попрание чести «Новотевтонии»! Только бы он не оказался пролетарием!

Наконец появился швейцар, и ему учинили допрос. Пытались описать ему наружность молодых людей, но особых примет ни у того, ни у другого не могли припомнить. Горнунг,

горячась еще больше Дидериха, утверждал, что надо ждать, и они битых два часа вышагивали по улице. Но вот из дома вышли два офицера. Дидерих и Горнунг смотрели на них, вытаращив глаза: те или не те? Офицеры были неприятно поражены. Один из них как будто даже побледнел. И тогда Дидерих решился. Он подошел к тому, что побледнел.

— Милостивый государь...

Голос у него сорвался. Лейтенант растерянно сказал:

— Вы, вероятно, ошиблись.

— Отнюдь нет,— с трудом выжал из себя Дидерих.— Я требую удовлетворения. Вы осмелились...

— Да я вас не знаю,— пробормотал лейтенант. Но его спутник шепнул ему на ухо: «Так же нельзя»,— потребовал у него визитную карточку и, достав свою, вручил обе Дидериху. Дидерих подал карточку в свой черед и затем прочитал: «Альбрехт, граф Тауэрн-Беренгейм». Он уже не стал тратить время на то, чтобы прочесть вторую карточку, а принялся усердно отвешивать частые поклоны. Второй офицер между тем обратился к Горнунгу:

— Мой друг разрешил себе пошутить без всякого злого умысла. Само собой, он готов дать вам любое удовлетворение; я хотел лишь сказать, что у него не было намерения обидеть вас.

Он взглянул на своего спутника; тот только пожал плечами. Дидерих пробормотал:

— О, благодарю, благодарю!

— Будем считать, что инцидент исчерпан,— прибавил второй офицер, и оба удалились.

Дидерих все еще не трогался с места. Лоб у него был влажен, мысли путались. Но вот он глубоко вздохнул, и лицо его медленно расплылось в улыбке.

Вечером, во время выпивки, разговор вертелся только вокруг этого эпизода. Дидерих расхваливал перед своими коллегами подлинно рыцарское поведение графа.

— Истинный аристократ никогда не изменяет себе.— Он сложил рот воронкой и, медленно выталкивая слова, изрек: — Говорите что угодно, но хороший тон, ф-форма — не пустой предрассудок.

Через каждые два слова он призывал Горнунга в свидетели великой минуты, пережитой им.

— И ни малейшего чванства, верно? Шутка как-никак рискованная, но на них и не обидишься. Держатся б-безукоризненно, могу вам сказать. Объяснения его сиятельства были,

безусловно, удовлетворительными, так что я счел невозможным... Вы понимаете, ведь я не какой-нибудь невежа.

Все понимали и все уверяли Дидериха, что «Новотевтония» вышла с честью из этого дела. Визитные карточки обоих аристократов передавались новичками из рук в руки, а затем были приколоты под скрещенными рапирами к портрету кайзера. В этот вечер не осталось ни одного новотевтонца, который бы не напился до потери сознания.

На этом кончился семестр, но ни у Дидериха, ни у Горнунга не было денег на дорогу домой. Да и вообще денег давно уже не было. Обязанности, налагаемые корпоративной жизнью, требовали таких расходов, что сумма, высылаемая Дидериху, достигла двухсот пятидесяти марок. И все же долги одолевали его. Казалось, все источники иссякли, вокруг раскинулась, на сколько хватает глаз, высохшая, изнемогающая от жажды земля... Волей-неволей пришлось, хотя это и не по-рыцарски, подумать о взыскании денег, данных некогда взаймы собутыльникам. Несомненно, кое-кто из «стариков» теперь уже ворочает большими деньгами. У Горнунга таких должников не нашлось. Дидерих вспомнил Мальмана.

— С этим можно не церемониться,— пояснил он.— Он ни в одной корпорации никогда не состоял, мужлан из мужланов. Надо взять его за бока.

Увидев Дидериха, Мальман с места в карьер разразился своим громоподобным хохотом, который Дидерих почти забыл, и ему сразу стало не по себе. Как он бестактен, этот Мальман! Ведь надо же понимать, что вместе с Дидерихом здесь, в бюро патентов, незримо присутствует вся «Новотевтония», уже только во имя ее Мальману следовало бы проникнуться уважением к Дидериху. У него было такое чувство, точно его грубо вырвали из некоего всесильного целого, и вот он стоит один лицом к лицу с противником. Положение непредусмотренное и невеселое! Тем развязнее приступил он к делу. Он, разумеется, не просит вернуть ему долг. С приятелем так не поступают. Он лишь просит Мальмана о маленькой любезности: поручиться за его вексель. Мальман откинулся на спинку кресла и отчеканил твердо и просто:

— Нет.

Дидерих в замешательстве:

— То есть как это — нет?

— Не в моих правилах ручаться за чужие векселя,— заявил Мальман.

Дидерих побагровел от негодования.

— Но ведь я поручился за вас, а потом мне предъявили вексель, и я выложил сто марок. Вы-то уклонились.

— Вот видите? А если бы я сейчас согласился дать за вас поручительство, вы бы тоже не уплатили.

Дидерих только глазами хлопал.

— Нет, дружок, если я решусь на самоубийство, я обойдусь без вас.

Овладев собой, Дидерих с вызовом бросил:

— Вы понятия не имеете о рыцарской чести, сударь.

— Не имею! — подтвердил Мальман и оглушительно захохотал.

— В таком случае вы попросту мошенник. Известно, что где патенты, там и мошенники,— сказал Дидерих, выразительно подчеркивая каждое слово.

Мальман уже не смеялся. Глаза на маленьком лице загорелись злым огоньком; он встал.

— А теперь я попрошу вас выйти вон,— произнес он, не повышая голоса.— Меня мало трогают ваши благоглупости, но рядом сидят мои подчиненные, им незачем слушать такие вещи.

Схватив гостя за плечи, он повернул его спиной к себе и стал толкать к двери. За каждую попытку вырваться Дидерих получал увесистый удар кулаком.

— Я требую удовлетворения! — кричал он.— Вы должны драться со мной!

— А я и дерусь. Не чувствуете? Тогда я позову еще кого-нибудь.— Он открыл дверь.— Фридрих!

Дидерих был передан из рук в руки упаковщику, и тот спустил его с лестницы. Мальман крикнул ему вслед:

— Не взыщите, дружок. Захочется вам опять поговорить по душам, приходите без церемоний.

Дидерих привел себя в порядок и, приосанившись, вышел на улицу. Тем хуже для Мальмана, если он так себя повел! У Дидериха же совесть чиста: на суде чести у него была бы блестящая позиция. Возмутительно, что какой-то там индивид может позволить себе такие вольности. Дидерих был оскорблен за все существующие корпорации. Но вместе с тем воскресло и его былое уважение к Мальману. «Подлая скотина,— думал он,— но таким нужно быть...»

Дома его ждало заказное письмо.

— Ну вот, мы можем ехать,— сказал Горнунг.

— Как это «мы»? Эти деньги мне самому нужны.

— Ты, верно, шутишь? Не могу же я один здесь торчать.

— Поищи себе компанию!

Дидерих разразился таким хохотом, что Горнунг подумал: уж не спятил ли? Но Дидерих в самом деле собрался и уехал.

По дороге он спохватился, что адрес на конверте написан рукой матери. Это было необычно... Мать сообщала, что со времени ее последней открытки отцу стало намного хуже. Почему Дидерих не приехал?

«Мы должны быть готовы к самому ужасному. Если хочешь свидеться с нашим горячо любимым папочкой, не мешкай, сын мой».

Тон письма смутил Дидериха. Но он решил, что матери верить не стоит. «Женщинам я вообще не верю, а мама особенно склонна к преувеличениям».

Тем не менее, когда он приехал, господин Геслинг действительно был при последнем издыхании.

Дидерих, потрясенный видом умирающего отца, забыл все свои правила и чуть не на пороге разревелся. Шатаясь, подошел к постели. В одно мгновенье лицо его взмокло, точно облитое водой. Он часто-часто взмахивал руками и бессильно хлопал себя по бедрам. Ему бросилась в глаза правая рука отца, лежавшая поверх одеяла, он опустился на колени и поцеловал ее. Фрау Геслинг, безгласная и робкая даже в последние мгновения жизни своего владыки, целовала его левую руку, по другую сторону кровати. Дидерих, вспоминая, как этот изувеченный черный ноготь устремлялся к его лицу, когда отец давал ему оплеуху, громко заплакал. А побои за кражу пуговиц! Страшна была эта рука; но при мысли, что он теряет ее, горестно сжималось сердце. Он чувствовал, что мать думает о том же, а она словно читала его мысли. И они одновременно потянулись друг к другу через кровать и обнялись.

Принимая знакомых, пришедших выразить ему соболезнование, Дидерих уже вполне владел собой. Здесь, перед всем Нетцигом, он был представителем «Новотевтонии» и щеголял выдержкой и изысканностью манер. Он чувствовал на себе восторженные взгляды и временами почти забывал, что ему полагается скорбеть. Старого господина Бука он встретил у парадных дверей. Этот грузный старик, великий человек города Нетцига, в своем ослепительном сюртуке был царственно величав. Держа перед собой цилиндр донышком вниз и сняв черную перчатку, он с достоинством подал Дидериху удивительно мягкую, нежную руку. Его голубые глаза тепло смотрели на Дидериха.

— Ваш отец, молодой человек, был хорошим гражданином, идите же и вы по его стопам! Неизменно уважайте права своих

«Учитель Гнус»

сограждан. Это повелевает вам собственное человеческое достоинство. Надеюсь, что мы с вами еще поработаем вместе на благо нашего города. Вы, надо думать, закончите свое образование?

От благоговения Дидерих едва мог выговорить «да». Старик Бук спросил уже в более легком тоне:

— Мой младший сын еще не навестил вас в Берлине? Нет? О, он непременно заглянет к вам. Он ведь тоже там учится. Но скоро ему придется отслужить свой год. А вы уже покончили с этим?

— Нет...— ответил Дидерих и до ушей залился краской. Он что-то бормотал, стараясь оправдаться. Никак нельзя было прервать занятий в университете. Но старик Бук лишь пожал плечами, как видно не придавая особого значения этой теме.

По завещанию Дидерих вместе со старым бухгалтером Зетбиром назначался опекуном своих сестер. Зетбир доложил ему, что капитал, семьдесят тысяч марок, отец отписал дочерям — на приданое. Даже проценты с него неприкосновенны. За последние годы чистая прибыль в среднем составляет девять тысяч.

— А не больше? — спросил Дидерих.

Зетбир взглянул на него сначала с ужасом, а потом с глубокой укоризной. Если бы молодой господин мог себе представить, чего стоило покойному отцу и ему, Зетбиру, поднять фабрику на такую высоту! Разумеется, производство можно развернуть еще шире...

— Ну, ладно, ладно,— прервал его Дидерих. Он видел, что тут все нужно менять. Существовать на четвертую часть от девяти тысяч? Это требование усопшего возмутило его. Когда мать сказала, будто покойный на смертном одре выразил уверенность, что будет жить в сыне своем, что сын никогда не женится и до гроба будет нести заботу о семье, Дидерих вскипел.

— Отец никогда не молол такого сентиментального вздора,— закричал он,— и не лгал к тому же!

Фрау Геслинг показалось, что это кричит ее покойный владыка, и она втянула голову в плечи. Дидерих воспользовался этим, чтобы повысить размер своего месячного содержания на пятьдесят марок.

— Прежде всего я должен отслужить свой год в армии,— сказал он сипло.— Чего бы это ни стоило. А потом уж будете надоедать мне вашими мелочными делишками.

Он настоял даже на том, чтобы призываться в Берлине. Со смертью отца у него появилось чувство сумасшедшей свободы.

Ночами, правда, ему снилось, что из конторы выходит отец и лицо у него землистое, как тогда в гробу... И Дидерих, обливаясь холодным потом, просыпался.

Он уехал, напутствуемый благословением матери. Готлиб Горнунг и общая Роза его уже не устраивали, и он переменил квартиру. Новотевтонцам он в подобающей форме показал, что обстоятельства изменились. Чудесная студенческая жизнь кончилась. Прощальная пирушка! Пили за упокой отца Дидериха, но это были поминки не только по отцу, а и по лучшей, цветущей поре жизни самого Дидериха. Из чистого самопожертвования Дидерих пил так, что вскоре очутился под столом, как в вечер своего посвящения в «собутыльники»; и вот он уже «старик».

Еще не совсем придя в себя после попойки, стоял он на следующий день среди других догола раздетых молодых людей перед военным врачом. Тот, брезгливо морщась, озирал все эти мужские тела, которые ему предстояло освидетельствовать; взгляд его, остановившись на брюшке Дидериха, принял насмешливое выражение. Тотчас же все вокруг захихикали, и Дидериху ничего другого не оставалось, как опустить глаза на собственный покрасневший живот... Военный врач вновь сурово насупился. Призывнику, у которого слух оказался ниже установленной нормы, не поздоровилось: знаем мы этих симулянтов! Следующему, который к тому же звался Левизон, было сделано замечание:

— Если вас еще раз нелегкая принесет сюда, то, по крайней мере, вымойтесь сначала.

Дидериху он сказал:

— Жирок мы с вас сгоним. Месяц службы, и, ручаюсь, вы примете человеческий облик.

Дидерих был признан годным. Забракованные так молниеносно одевались, точно казарме грозил пожар. Признанные годными искоса бросали друг на друга испытующие взгляды и почему-то мешкали уходить, точно ожидая, что вот-вот на плечо им упадет чья-то свинцовая рука. Один из новобранцев, по-видимому актер, с лицом, выражавшим полное безразличие ко всему окружающему, вернулся и, став перед врачом, громко сказал, тщательно выговаривая каждое слово:

— Я хотел бы сделать дополнительное заявление: я гомосексуалист.

Врач, красный как рак, отпрянул. Он глухо ответил:

— Таких свиней нам, разумеется, не нужно.

Дидерих, возмущенный бесстыдным поведением актера, по-

делился своими чувствами с будущими товарищами. Потом он обратился к унтер-офицеру, только что измерившему у стены его рост, и торжественно его заверил, что он счастлив. Тем не менее он написал в Нетциг врачу Гейтейфелю, который так часто смазывал ему горло в детстве; он просил Гейтейфеля не отказать в любезности и удостоверить, что он, Дидерих Геслинг, страдал золотухой и рахитом. Ведь армейская муштра вконец подорвет его здоровье. Доктор ответил, что незачем отлынивать от военной службы, она пойдет ему только на пользу. Дидерих отказался от квартиры и, захватив небольшой чемодан, отправился в казарму. Если уж придется пробыть там хотя бы две недели, квартирная плата останется у него в кармане.

Тотчас же начались упражнения на турнике, прыжки и другие штуки, от которых спирало дыхание. В коридорах, называвшихся «районами», производилось учение по ротам. Лейтенант фон Куллеров был весь равнодушие и надменность, на вольноопределяющихся он смотрел не иначе, как зажмурив один глаз. Неожиданно рявкнув: «Унтер!» — он отдавал ему распоряжение и презрительно отворачивался. Учения на казарменном дворе, все эти «равнения», «перебежки» и прочее преследовали единственную цель — загонять «молодцов» до потери чувств. Да, Дидерих убедился, что все здесь — обращение, особый жаргон, муштра — сводится к одному: вышибить, насколько возможно, чувство личного достоинства из человека. Но для него и в этом было что-то внушительное, вызывавшее в самые тяжелые минуты — и даже особенно в эти минуты — восторг самоуничтожения. Это были те же принципы и идеалы, которые прививались новотевтонцам, но здесь их внедряли более свирепо. Здесь не было даже тех коротких минут задушевности, когда человек вправе был вспомнить, что он человек. Всех и каждого круто и неуклонно низводили до положения тли, ничтожной частицы, теста, которое месит чья-то гигантская воля. Безумием и гибелью было бы возмутиться даже в самой сокровенной глубине сердца... В крайнем случае можно было иной раз, идя против собственных убеждений, прикинуться больным. Во время перебежек Дидерих упал и ушиб ногу. Не так сильно, чтобы хромать, но он хромал, и ему разрешили остаться в казарме, когда его рота отправилась на учение «на местности». За разрешением он пошел непосредственно к самому капитану.

— Господин капитан, прошу вас...

Это была катастрофа! В своем неведении он дерзнул обратиться к власти, тогда как ему полагалось лишь, мысленно пре-

клонив колени, безмолвно выслушивать ее приказания! К власти, перед которой он мог предстать только в единственном случае: когда его звали! Капитан метал громы и молнии, сбежались все унтер-офицеры, и на лицах у них был написан ужас перед кощунственным поступком Дидериха. С перепугу Дидерих захромал сильнее, и пришлось дать ему освобождение еще на один день.

Унтер-офицер Ванзелов, ответственный за проступок вольноопределяющегося Геслинга, сказал лишь:

— А еще образованный!

Он привык к тому, что все неприятности исходят только от вольноопределяющихся. Ванзелов спал в их помещении за перегородкой. Когда гасили свет, разговоры становились такими непристойными, что негодующий Ванзелов кричал из-за перегородки:

— А еще образованные!

Несмотря на долголетний опыт, он все еще ждал от вольноопределяющихся более разумного и благородного поведения, чем от рядовых, и каждый раз терпел разочарование. Дидерих отнюдь не был у него на худшем счету. Мнение Ванзелова зависело не только от пива, которым угощали его подчиненные. Больше всего ценил он в солдате радостную готовность повиноваться, а она у Дидериха была. На занятиях уставом его можно было приводить в пример другим. Он был весь проникнут идеалами воинского мужества и чести. Что касается знаков различия и иерархической лестницы, то в этом он разбирался, казалось, со дня рождения. Ванзелов говорил:

— Теперь я его превосходительство господин генерал.

И Дидерих тотчас же всем своим поведением показывал, что свято в это верит. Когда же Ванзелов провозглашал: «Теперь я член императорской фамилии»,— тут Дидерих вел себя так, что на губах унтера появлялась улыбка маньяка, страдающего манией величия.

За столиком солдатского трактира, в задушевном разговоре с начальником, Дидерих заявлял, что он в восторге от армейской жизни.

— Растворяться в великом целом! — говорил он. Ничего на свете он так не желал бы, как на всю жизнь остаться в армии. Это говорилось искренне, и, однако, во время послеобеденных учений «на местности» им овладевало единственное желание — забраться в окоп и спрятаться от всех и от всего. Слишком тесный, придававший стройность фигуре мундир после обеда превращался в орудие пытки. Что тебе с того, что капитан,

отдавая команду, так лихо гарцует на своем коне, когда сам ты бегаешь, пыхтишь и отдуваешься, слыша, как непереваренный суп урчит у тебя в кишках. Вообще говоря, Дидерих готов был всем восхищаться здесь, но восхищение отступало перед личными невзгодами. Нога у него опять разболелась. Не без презрения к самому себе, он прислушивался к боли с робкой надеждой, что она усилится. Тогда его освободят от ученья «на местности», быть может, даже и на казарменном дворе. И, наконец, отпустят на все четыре стороны.

Дело дошло до того, что в воскресенье он отправился к отцу одного своего «собутыльника», тайному медицинскому советнику. Краснея от стыда, он попросил господина советника посодействовать ему. Он влюблен в армию, в это великое целое, и с радостью остался бы на военной службе до конца дней своих. В этом великолепном механизме становишься, так сказать, частицей власти и всегда знаешь, что тебе делать,— чувство, ни с чем не сравнимое! Но ведь нога-то больная.

— Нельзя же допустить, чтобы ее ампутировали. Я же все-таки кормилец матери и сестер.

Тайный советник осмотрел ногу.

— «Новотевтония» — наше знамя,— сказал он.— Я случайно знаком с вашим полковым врачом.

Об этом Дидериху уже было известно со слов приятеля-корпоранта. Он откланялся и ушел со страхом и надеждой в душе.

Воодушевленный этой надеждой, Дидерих на следующее утро едва ступал на ногу. Он сказался больным.

— Кто вы такой? Чего ради вы беспокоите меня? — Штабной врач окинул его взглядом.— Вид у вас цветущий, и брюхо уже поменьше.

Но Дидерих стоял навытяжку и не уходил: болен, да и только. Начальнику пришлось снизойти до освидетельствования. Когда Дидерих разулся, врач заявил, что, не закури он сигару, ему стало бы дурно. Ничего угрожающего он не нашел и, возмущенный, столкнул Дидериха со стула.

— В казарму — и точка. Можете идти.

На том дело и кончилось. Но на учении Дидерих вдруг вскрикнул и упал. Его доставили в «околоток», госпиталь для легкобольных, где разило простонародьем и нечего было есть. Кормиться за собственный счет, как положено вольноопределяющимся, здесь было трудно, а из общего котла Дидерих ничего не получал. Голод заставил его объявить себя здоровым. Отлученный от гражданского мира с его обычными человече-

скими правами, он покорился своей мрачной участи, как вдруг однажды утром, когда все надежды были утрачены, его вызвали с учения в кабинет полкового врача. Само высокое начальство пожелало его освидетельствовать. Старший врач говорил сначала чисто человеческим, несколько смущенным тоном, который сменила воинская суровость, но и в ней чувствовалась некоторая неловкость. Он также не нашел у Дидериха ничего страшного, и все-таки его заключение носило другой характер. Дидериху было предложено «временно» продолжать службу, а там уж все как-нибудь уладится.

— *С такой ногой...*

Спустя несколько дней к Дидериху явился санитар из «околотка» и на зачерненной бумаге сделал оттиск злополучной ноги. Дидериху пришлось дожидаться в приемной «околотка». Штабной врач, совершавший как раз обход, не преминул высказать ему свое глубокое презрение:

— Даже не плоскостопие! Ну и лодырь!

Тут распахнулась дверь, и в приемную, с фуражкой на голове, торжественно вступил полковой врач. Он шел твердым, четким шагом, не оглядываясь ни вправо, ни влево; молча остановившись перед своим подчиненным, он сурово и мрачно уставился на его фуражку. Озадаченный штабной врач старался приспособиться к положению, явно исключавшему привычный коллегиальный тон. Наконец он смекнул, снял фуражку и встал во фронт. Начальник протянул ему зачерненную бумагу с оттиском ноги и заговорил с ним тихо и настойчиво, как бы приказывая увидеть то, чего нет. Штабной врач, прищурившись, переводил взгляд с начальника на Дидериха и с Дидериха на бумагу. Потом щелкнул каблуками: он увидел то, что ему приказывали видеть.

После ухода полкового врача он подошел к Дидериху и вежливо, со слабой улыбкой, означавшей, что он все понимает, сказал:

— Конечно, все было ясно с самого начала... Но ради солдат... Дисциплина, сами понимаете...

Дидерих стоял руки по швам, всем своим видом показывая, что он, разумеется, понимает.

— Но я, конечно, знал, как решится этот вопрос,— повторил штабной врач.

Дидерих подумал: «А если и не знал, то теперь знаешь». Вслух он проговорил:

— Позволю себе покорнейше спросить, господин штабной врач: ведь я смогу продолжать службу?

— Не ручаюсь,— ответил врач и, круто повернувшись, отошел.

Отныне Дидерих был освобожден от тяжелых учений: «на местности» его больше не видели. Зато в казарме он был воплощением радостной исполнительности. Когда по вечерам, во время переклички, приходил из казино слегка подвыпивший, с сигарой в зубах, капитан и сажал под арест какого-нибудь злополучного солдата, начистившего сапоги ваксой, вместо того чтобы просто смазать их,— к Дидериху он не мог придраться. Тем безжалостнее обрушивал он всю свою праведную строгость на другого вольноопределяющегося, который вот уж три месяца спал в общей казарме в виде наказания за то, что первые две недели службы ночевал дома: он лежал в горячке с температурой до сорока градусов, и если бы исполнил свой долг, то, вероятно, не выжил бы. Ну что ж, пусть бы не выжил! Стоило капитану увидеть этого вольноопределяющегося, как на лице у него появлялось выражение горделивой удовлетворенности. За их спинами Дидерих, смиренный и невредимый, думал:

«Вот видишь? «Новотевтония» и тайный медицинский советник — это, пожалуй, посильнее, чем жар в сорок градусов».

Пришел день, когда все канцелярские формальности были выполнены, и унтер-офицер Ванзелов объявил, что Дидерих увольняется из армии. Глаза Дидериха тотчас же увлажнились: он тепло пожал руку Ванзелову.

— Надо же, чтобы именно со мной случилось такое, а ведь я...— он всхлипнул,— я с такой готовностью...

И вот он за воротами казармы.

Месяц он просидел дома, занимаясь зубрежкой. Идя обедать, озирался по сторонам: только бы не встретить кого из знакомых. У новотевтонцев все же надо было наконец показаться. Он с места в карьер заговорил с апломбом:

— Кто не служил, и представления не имеет, что это такое. Видишь мир совсем в другом свете. Я бы с радостью навсегда остался в армии, начальники даже советовали мне, уверяли, что у меня наилучшие данные. Ну, и вот...

Он устремил вдаль страдальческий взгляд.

— Несчастный случай. А все оттого, что я ревностно исполнял свой долг солдата. Капитан приказал мне запрячь двуколку и проездить его лошадку. Вот тут-то и случилась беда. Разумеется, я не щадил пострадавшую ногу и слишком рано вернулся в казарму. Состояние мое ухудшалось день ото дня. Штабной врач на всякий случай посоветовал мне известить своих.

Последние слова Дидерих произнес сдержанно и мужественно:

— Надо было вам видеть нашего капитана! Он самолично навещал меня каждый день после долгих переходов, как был, в запыленном мундире. Только в армии и бывает такое товарищеское отношение. В те трудные дни мы с ним тесно сблизились. Вот эта сигара еще подарена им. И когда ему пришлось сказать, что штабной врач хочет освободить меня от военной службы... такие минуты, смею вас уверить, не забываются. И у меня и у капитана слезы навернулись на глаза.

Слушатели были потрясены. Дидерих обвел всех мужественным взглядом.

— Ну, стало быть, хочешь не хочешь, надо возвращаться к гражданской жизни. Ваше здоровье!

Он продолжал зубрить, а по субботам бражничал с новотевтонцами. Появился в их кругу и Вибель. Асессор, чуть ли уже не прокурор, он говорил только о «растленных взглядах», «врагах родины», «христианско-социалистических идеях» и разъяснял новичкам, что настала пора заниматься политикой. Он знает, что это не аристократично, но нельзя же уступать натиску противника. К движению примкнула даже родовитая знать, например его друг асессор фон Барним. В ближайшие дни господин фон Барним почтит новотевтонцев своим присутствием.

Фон Барним явился и пленил все сердца, он держался с корпорантами, как равный с равными. У него были гладкие, расчесанные на пробор темные волосы, повадки исполнительного чиновника и деловой тон. Однако к концу речи в его взгляде появилось мечтательное выражение, он быстро попрощался, тепло пожав всем руки. Когда он ушел, новотевтонцы дружно сошлись на том, что еврейский либерализм — это предтеча социал-демократии, что немцам-христианам необходимо сплотиться вокруг придворного проповедника Штеккера. Дидерих, так же как и другие, вкладывал в слово «предтеча» какой-то весьма туманный смысл, а под «социал-демократией» понимал всеобщую дележку. С него этого было достаточно. Но господин фон Барним пригласил к себе всех желающих для дальнейшего разъяснения этих вопросов, и Дидерих, конечно, не простил бы себе, если бы пренебрег столь лестной возможностью.

В своей старомодной и неуютной холостяцкой квартире фон Барним прочел ему в строго приватном порядке целую лекцию. Его политический идеал, сказал он, это сословное представительство, как в блаженную пору средневековья: рыцари,

духовенство, кустари, ремесленники. Ремесла,— и в этом кайзер совершенно прав,— следует вновь поднять на тот высокий уровень, на котором они пребывали до Тридцатилетней войны. Задача ремесленных цехов — насаждать благочестие и высокую нравственность. Дидерих горячо соглашался с ним. Эти идеалы отвечали его нутру: строить свою жизнь не в одиночку, а корпоративно, опираясь на узаконенную принадлежность к своему сословию, к своему цеху. Мысленно он уже видел себя депутатом от гильдии бумажных фабрикантов. Еврейских сограждан господин фон Барним, разумеется, исключал из своего государственного устройства,— ведь они воплощение таких начал, как беспорядок и распад, разброд и непочтительность, короче говоря — воплощение самого зла. Благочестивое лицо фон Барнима перекосилось от ненависти, нашедшей у Дидериха сочувственный отклик.

— Да разве власть в конечном счете не в наших руках? Мы можем их попросту вышвырнуть. Германское воинство...

— Вот-вот! — выкрикнул фон Барним, бегая из угла в угол.— Во имя чего, скажите на милость, мы воевали и одержали победу? Во имя того, чтобы я продал свое родовое имение какому-то Франкфуртеру?

Потрясенный Дидерих молчал. В эту минуту раздался звонок, и фон Барним объяснил:

— Это мой цирюльник. Надо взяться и за него!

Увидя разочарованное лицо Дидериха, он добавил:

— С такими господами, разумеется, я веду иные речи: каждый из нас обязан отторгнуть кого-нибудь от социал-демократии и перетянуть побольше мелкого люда в лагерь нашего благочестивого кайзера. Внесите и вы свой вклад в это дело.

И фон Барним милостивым кивком отпустил Дидериха. Уходя, Дидерих слышал, как цирюльник жаловался:

— Еще один старый клиент перешел к Либлингу, господин асессор, и только потому, что Либлинг отделал свой салон мрамором.

Вибель, выслушав Дидериха, который передал ему речи фон Барнима, сказал:

— Все это хорошо и замечательно, и я чрезвычайно уважаю идеалистические убеждения моего друга фон Барнима, но с ними далеко не уйдешь. Видите ли, Штеккер в Айспаласте тоже пытался выехать на демократии, христианской или нехристианской, а что получилось? Зло пустило слишком глубокие корни. Нынче лозунг один: в атаку. В атаку, пока власть в наших руках.

И Дидерих, со вздохом облегчения, согласился. Возиться с вербовкой христиан сразу же показалось ему тягостным занятием.

— «Социал-демократию я беру на себя», сказал кайзер.— Глаза Вибеля сверкнули, как у разъяренного кота.— Чего же вы еще хотите? Солдатам внушают, что им, возможно, придется стрелять в своих родных и близких. Что это значит? Могу сообщить вам, драгоценнейший, что мы накануне крупных событий.

Лицо Дидериха выразило живейшее любопытство, и Вибель добавил:

— То, что мне стало известно через моего кузена фон Клапке...

Вибель выдержал паузу. Дидерих щелкнул каблуками.

— ...пока еще нельзя предать огласке. Замечу лишь, вчерашние слова его величества: «Пусть злопыхатели отряхнут с ног своих прах Германии»,— предупреждение весьма и весьма серьезное.

— В самом деле? Вы полагаете? — сказал Дидерих.— Как же мне не повезло! Подумать только: в такой момент я лишился возможности служить его величеству! Смею утверждать, что в борьбе с внутренним врагом я выполнил бы свой долг до конца. На армию, насколько мне известно, кайзер вполне может положиться.

В эти ненастные февральские дни 1892 года Дидерих подолгу слонялся по улицам Берлина в ожидании больших событий. Унтер-ден-Линден как-то изменилась, пока еще трудно было уловить, в чем именно. На перекрестках дежурили конные полицейские, чего-то ожидая. Прохожие указывали друг другу на усиленные наряды полиции.

— Безработные!

Публика останавливалась, дожидаясь их приближения. Они двигались с северных окраин города небольшими колоннами, ровным походным шагом. Подходя к Унтер-ден-Линден, они нерешительно, как бы в недоумении, останавливались, но, обменявшись взглядами, сворачивали к императорскому дворцу. Там они стояли безмолвно, засунув руки в карманы, не сторонясь экипажей, которые обдавали их грязью, и высоко поднимали плечи под дождем, падавшим на их выцветшие пальто. Некоторые оглядывались на проходивших мимо офицеров, на дам в каретах, на длинные шубы прогуливающихся господ. Лица безработных ничего не выражали, на них нельзя было прочесть ни угрозы, ни даже любопытства; казалось, эти люди

пришли сюда не смотреть, а себя показать. Многие, однако, не спускали глаз с окон дворца. По их поднятым лицам стекали капли дождя. Конный полицейский надсадно кричал, оттесняя толпу в противоположный конец площади или даже к углу ближайшей улицы, но люди вновь и вновь возвращались, и, казалось, пропасть разверзлась между этими людьми, с их широкими осунувшимися лицами, освещенными бледным сумеречным светом, и неподвижной темнеющей громадой дворца.

— Непонятно,— говорил Дидерих,— почему полиция не принимает крутых мер против этой гнусной банды?

— Не беспокойтесь,— отвечал Вибель.— Полиции даны точные инструкции. Правительство, уверяю вас, действует по строго обдуманному плану. Не всегда желательно сразу же вскрывать нарыв, образовавшийся на теле государства. Ждут, пока он созреет, и тогда берутся за дело.

Нарыв, о котором говорил Вибель, с каждым днем созревал все больше, и двадцать шестого как будто окончательно созрел. Демонстрации безработных производили впечатление большей целеустремленности. Оттесненные в одну из северных улиц, они еще сильнее хлынули из соседней: им не успели отрезать путь. На Унтер-ден-Линден колонны, сколько бы их ни разгоняли, строились заново; достигали дворца, отступали и снова шли к нему, безмолвно и неудержимо, как выступивший из берегов водный поток. Движение экипажей застопорилось, прохожие сбивались в кучки, увлеченные этим паводком, медленно затопившим Дворцовую площадь,— этим тусклым, бескрасочным морем бедняков; оно упорно наступало, издавая глухой шум и высоко вознося, словно мачты тонущих кораблей, плакаты с надписями: «Хлеба! Работы!» Из недр толпы вырывался явственный гром: «Хлеба! Работы!» Он рокотал все сильнее, он перекатывался над головами людей, точно разряд грозовой тучи: «Хлеба! Работы!..» Но вот атака конной полиции, море вспенивается, оно течет вспять, из общего гула взлетают пронзительные, как вой сирен, женские голоса: «Хлеба! Работы!»

Демонстранты побежали, сбивая с ног прохожих, с памятника Фридриху любопытных точно ветром сдуло. Но у всех разинуты рты, от мелких чиновников, которые не могут попасть в свои ведомства, летит пыль, точно их выколачивают. Кто-то, с перекошенным от ярости лицом, кричит Дидериху:

— Грядут новые времена! Поход на евреев! — и исчезает в толпе, прежде чем Дидерих спохватывается, что ведь это фон Барним. Он бросается вдогонку, но поток относит его

в другую сторону, к витрине кафе. Раздается звон выдавленного стекла и крик рабочего:

— Отсюда меня давеча выставили за то, что на мне не было цилиндра. Плакали мои тридцать пфеннигов...

И он вместе с Дидерихом влез в кафе через окно и между опрокинутыми столиками прыгнул на пол, где люди падали, оступаясь на осколках, сшибались животами и орали:

— Никого не впускать! Здесь задохнуться можно!

Но в кафе набивалось все больше и больше народу. Полиция теснила толпу. А середина улицы вдруг оказалась пустой, словно очищенной для триумфального шествия. Кто-то сказал:

— Да это Вильгельм!

И Дидерих опять выскочил на улицу. Никто не знал, почему вдруг стало возможным шагать густой толпой во всю ширину улицы, почти касаясь боков лошади, на которой сидел кайзер; сам кайзер. Увидев его, каждый поворачивал и шел за ним. Сгрудившиеся и кричавшие люди разбегались и неслись ему вслед. Все взгляды устремлялись на него. Темная лавина людей, бесформенная, стихийная, безбрежная, и над ней в светлом мундире и в каске — молодой человек, кайзер. Это они заставили его выйти из дворца. Они кричали: «Хлеба! Работы!» — до тех пор, пока он не пришел. Ничто не изменилось, но он здесь — и все уже печатают шаг, точно идут на парад, на Темпельгофское поле.

С краю, где ряды были не так плотны, прилично одетые люди обменивались замечаниями:

— Ну, слава богу, он знает, чего хочет!

— А чего он хочет?

— Показать этой банде, у кого власть! Он пытался быть мягким. Он даже слишком распустил вожжи два года назад. Они обнаглели.

— Страха он не знает, что и говорить. Дети мои, запомните: это исторический момент!

У Дидериха, услышавшего эти слова, мороз пробежал по коже. Пожилой господин, сказавший их, обращался и к нему. Дидерих увидел седые бакенбарды и Железный крест.

— Попомните мое слово, молодой человек,— продолжал незнакомец,— когда-нибудь школьники будут читать в учебниках о том, что совершил сегодня наш несравненный молодой кайзер!

Многие шагали, гордо приосанившись, с торжественными лицами. Провожатые кайзера оглядывались вокруг с выражением крайней решимости, а коней своих вели сквозь толпу так,

словно все эти люди согнаны, чтобы играть роль статистов в спектакле, в котором всемилостивейше соизволил выступить его величество. Иногда они искоса поглядывали на публику: достаточно ли она потрясена? А кайзер — он видел только себя и свой подвиг. На его лице застыло выражение глубокой серьезности, и только глаза метали испепеляющие взоры на тысячи завороженных людей. Он, богом поставленный владыка, мерился силами с взбунтовавшимися рабами! Один, безоружный, он отважился появиться среди них, сильный одной только своей миссией. Пусть они посягнут на него, если на то есть воля всевышнего; он приносит себя в жертву святому делу. Если господь не покинул его, пусть они это увидят. Тогда величие его подвига и воспоминание о собственном бессилии запечатлеются в их сердцах на веки вечные.

Молодой человек в шляпе художника, шедший рядом с Дидерихом, сказал:

— Знакомая картина. Наполеон в Москве. Один, без свиты, на запруженных толпами улицах.

— Но ведь это великолепно! — воскликнул Дидерих, и голос у него пресекся. Незнакомец пожал плечами.

— Комедия, и даже не талантливая.

Дидерих взглянул на него, пытаясь метнуть в него испепеляющий взор, как кайзер.

— Вы, видно, тоже таковский.

Он не мог бы точнее определить, какой именно. Он чувствовал лишь, что впервые в жизни должен встать на защиту праведного дела против вылазки врага. Несмотря на обуревавшие его чувства, он все же сначала измерил взглядом плечи этого человека: нет, не широки. Да и все окружающие высказывали свое неодобрение. Дидерих решился. Тесня противника животом, он припер его к стене и ударил по шляпе. Удары посыпались со всех сторон. Вскоре шляпа лежала на земле, и человек тоже. Двигаясь дальше, Дидерих сказал своим соратникам:

— От воинской повинности он, конечно, отвертелся. И шрамов у него тоже нет.

Пожилой господин с бакенбардами и Железным крестом снова очутился рядом с Дидерихом. Он пожал ему руку:

— Молодец юноша, молодец!

— Поневоле потеряешь терпение,— сказал Дидерих, еще не отдышавшись.— Этот тип хотел испортить нам исторический момент!

— Вы служили? — спросил пожилой господин.

— Я бы с радостью остался в армии навсегда,— сказал Дидерих.

— Да, да. Но не каждый день бывает Седан! — Старик коснулся своего Железного креста.— Седан — это мы!

Дидерих выпрямился и показал на укрощенный народ и кайзера.

— Это не хуже Седана!

— Да, конечно,— согласился старик.

— Разрешите, уважаемый! — воскликнул некто, взмахнув записной книжкой.— Это надо дать в газету. Зарисовка настроения, понимаете? Вы как будто намяли бока социалисту?

— Пустяки...— Дидерих все еще тяжело дышал.— Да хоть бы сию минуту был отдан приказ ринуться на внутреннего врага!.. Нам не страшно. С нами наш кайзер.

— Превосходно,— сказал репортер и записал: «В глубоко потрясенной толпе люди всех званий и состояний выражали свою горячую преданность и непоколебимое доверие монарху».

— Ур-ра! — заорал Дидерих, потому что все орали, и мощной лавиной кричащих людей его внезапно вынесло к Бранденбургским воротам. Под аркой, в двух шагах впереди него, проскакал верхом на лошади кайзер. Дидерих мог разглядеть его лицо, застывшее в каменных чертах выражение серьезности и сверкающий взгляд; но у Дидериха перед глазами все расплывалось — так он кричал. Опьянение, сильнее, чудеснее того, какое может дать пиво, приподняло его, понесло по воздуху. Он размахивал шляпой высоко над головами толпы, в атмосфере клокочущего энтузиазма, в небесах, где парят наши возвышеннейшие чувства. Там, под триумфальной аркой, скакала на коне сама власть, с каменным ликом и испепеляющим взором. Власть, которая растаптывает нас, а мы целуем копыта ее коня. Которая растаптывает все и вся — голод, бунт, насмешку. Перед которой мы безоружны, потому что мы ее любим. Она вошла в нашу кровь, потому что покорность у нас в крови. Мы лишь атом, бесконечно малая молекула ее плевка. Каждый из нас в отдельности — ничто, но всей своей массой, такими мощными ступенями, как новотевтонцы, армия, чиновничество, церковь и наука, торговля и промышленность, могущественные объединения, мы поднимаемся пирамидой до самой вершины, туда, где пребывает она, власть с каменным ликом и испепеляющим взором! Жить в ней, быть ее частицей, беспощадной ко всем, кто не с ней, и ликовать, хотя бы она растаптывала нас, ибо этим-то она и оправдывает нашу любовь!

...Один из полицейских, оцепивших Бранденбургские ворота, так толкнул Дидериха в грудь, что у него заняло дух; но глаза его горели победоносным, головокружительным восторгом, словно это он скачет мимо укрощенных бедняков, проглотивших свой голод. За ним! За кайзером! Все чувствовали то же, что и Дидерих, цепь полицейских оказалась бессильна перед таким напором чувств, и ее прорвали. Напротив стояла вторая цепь. Надо было свернуть, окольными путями добраться до Тиргартена, найти лазейку. Немногие нашли ее; выскочив на дорожку для верховой езды, Дидерих один ринулся навстречу кайзеру, который тоже был один. Человек, в опаснейшем состоянии фанатического экстаза, весь в грязи, в изодранной одежде с безумными глазами,— кайзер с высоты своего коня пронзал его испепеляющими взорами. Дидерих сорвал шляпу с головы, широко разинул рот, но голоса не было. Остановившись на всем ходу, он не удержался и с разбега, ногами кверху, шлепнулся в лужу; его обдало фонтаном грязной воды. Кайзер рассмеялся: да это, конечно же, монархист, верноподданный! Повернувшись к свите, хлопая себя по ляжкам, кайзер хохотал. Дидерих, так и не закрыв рот, смотрел ему вслед из своей лужи.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Он кое-как почистился и повернул обратно. На одной из скамей сидела дама; Дидерих, подавляя в себе чувство стыда, подходил все ближе. Как назло, она почему-то пристально всматривалась в него. «Дура»,— мысленно выругался он. И вдруг, увидев выражение сильного испуга на ее лице, он узнал Агнес Геппель.

— Я только что встретил кайзера,— брякнул он.

— Кайзера? — переспросила Агнес, словно возвращаясь из другого мира.

Дидерих, лихорадочно, размашисто жестикулируя — чего с ним обычно не бывало,— освобождался от всего, что его душило. Наш несравненный молодой кайзер, совершенно один среди беснующихся мятежников! Они разнесли какое-то кафе, он, Дидерих, сам был там! На Унтер-ден-Линден он вступил в кровавый бой за своего кайзера. Из пушек бы по ним палить!

— Они, вероятно, голодают,— нерешительно сказала Агнес.— Они ведь тоже люди.

— Люди? — Дидерих свирепо повел глазами.— Внутренний враг, вот они кто.— Посмотрев в испуганные глаза Агнес,

он сбавил тон: — Вам, вероятно, нравится, что по милости этого сброда пришлось оцепить все улицы?

Нет, Агнес это совсем не нравится. Она сделала в городе покупки и собиралась уже домой, на Блюхерштрассе, но омнибусы не шли, нигде нельзя было протиснуться. Ее оттерли к Тиргартену. А тут еще холод, сырость,— отец, конечно, в тревоге, но что же делать? Дидерих пообещал все устроить. Они пошли вместе. Он вдруг растерял все мысли, не знал, о чем говорить, и вертел головой в разные стороны, как будто искал дорогу. Они были одни среди обнаженных деревьев и прелой прошлогодней листвы. Куда девались все его мужество и возвышенность чувств? Он был подавлен, как во время последней прогулки с Агнес, когда, напуганный Мальманом, вскочил в проходящий омнибус и обратился в бегство.

Агнес сказала:

— Как давно вы у нас не были, очень, очень давно. Ведь папа писал вам, кажется?

— Мой отец умер,— смешавшись, сказал Дидерих. Агнес поспешно выразила соболезнование, но затем снова спросила, почему он тогда, три года назад, так внезапно исчез?

— Ведь почти три года уже, не правда ли?

Дидерих почувствовал себя увереннее. Корпорация поглощала все его время. Дисциплина там отчаянно суровая.

— А кроме того, я выполнил свой воинский долг.

— О! — Агнес взглянула на него.— Как вы много успели. Вы, вероятно, уже доктор?

— Вот теперь как раз готовлюсь к экзамену.

Он хмуро смотрел в одну точку. Его шрамы, солидность его фигуры, вся эта благоприобретенная возмужалость ничего для нее не значат? Она ничего не замечает?

— Но зато вы...— сказал он неучтиво. По ее худенькому, очень худенькому лицу разлился слабый румянец, заалел даже вогнутый носик с редкими веснушками.

— Да, я порой неважно себя чувствую, но это ничего, поправлюсь.

Дидериху стало ее жалко.

— Я, разумеется, хотел сказать, что вы очень похорошели.— И он посмотрел на ее рыжие волосы, выбившиеся из-под шляпы; оттого что она похудела, они казались еще более густыми. Разглядывая Агнес, он думал о пережитых унижениях, о том, как изменилась его жизнь. Он вызывающе спросил:

— Ну, а как поживает господин Мальман?

Агнес презрительно скривила губы.

— Вы его помните? Если бы я его встретила, я прошла бы мимо.

— Да? Но у него теперь бюро патентов, он мог бы отлично жениться.

— Что ж из того?

— Ведь раньше вы им интересовались?

— С чего вы взяли?

— Он всегда делал вам подарки.

— Я бы предпочла их не принимать, но тогда...— Она смотрела на дорогу, на прелую прошлогоднюю листву.— Тогда я не могла бы и от вас принимать подарки.

Она испугалась и замолчала. Дидерих понял, что свершилось нечто важное, и тоже онемел.

— Стоит ли говорить о такой безделице? Немного цветов...— наконец выдавил он из себя. И в новом порыве возмущения бросил: — Мальман подарил вам даже браслет.

— Я никогда его не ношу,— сказала Агнес.

У Дидериха вдруг забилось сердце, он с трудом выговорил:

— А если бы этот подарок был от меня?

Молчание; он не дышал. Она чуть слышно произнесла:

— Тогда носила бы.

Они вдруг прибавили шагу и больше не проронили ни слова. Подошли к Бранденбургским воротам, увидели на Унтерден-Линден грозный наряд полиции, заторопившись, прошли мимо и свернули на Доротеенштрассе. Здесь было малолюдно. Дидерих вновь замедлил шаг и рассмеялся:

— Если вникнуть, это невероятно смешно. Все, что Мальман вам дарил, покупалось на мои деньги. Он отбирал у меня все, до последней марки. Я был еще совсем наивным юнцом.

Они остановились.

— О! — произнесла она, и в ее золотисто-карих глазах что-то дрогнуло.— Это ужасно. Можете вы мне это простить?

Он покровительственно улыбнулся. Дело прошлое. Недаром говорится: молодо-зелено.

— Нет, нет,— растерянно твердила Агнес.

Теперь самое главное, сказал он, как ей добраться до дому. Здесь тоже все оцеплено, омнибусов нет как нет.

— Мне очень жаль, но вам придется еще побыть в моем обществе. Кстати, я живу неподалеку. Вы могли бы подняться ко мне, по крайней мере были бы под крышей. Но, конечно, молодой девушке трудно на это решиться.

В ее взгляде по-прежнему была мольба.

— Вы так добры,— сказала она, учащенно дыша.— Так благородны.— Они вошли в подъезд.— Я ведь могу довериться вам?

— Я знаю, к чему обязывает меня честь моей корпорации,— объявил Дидерих.

Идти надо было мимо кухни, но, к счастью, там никого не было.

— Снимите пальто и шляпу,— милостиво сказал Дидерих.

Он стоял, не глядя на Агнес, и, пока она снимала шляпу, переминался с ноги на ногу.

— Пойду поищу хозяйку и попрошу вскипятить чай.— Он уже повернулся к двери, но вдруг отпрянул,— Агнес схватила его руку и поцеловала!

— Что вы, фрейлейн Агнес,— пролепетал он вне себя от испуга и, точно в утешенье, обнял ее за плечи; она припала к нему. Он глубоко зарылся губами в ее волосы, ему казалось, что теперь это его долг. Под руками Дидериха она задрожала, забилась, точно под ударами. Сквозь прозрачную блузку он ощутил влажное тепло. Дидериха бросило в жар, он поцеловал ее в шею. И вдруг ее лицо придвинулось близко-близко: полуоткрытый рот, полуопущенные веки и никогда еще не виданное им выражение; у него закружилась голова.

— Агнес, Агнес, я люблю тебя,— сказал он, словно изнемогая от глубокого страдания.

Она не ответила; из ее открытого рта толчками вырывалось теплое дыхание, он почувствовал, что она падает, и понес ее; ему чудилось, что она вот-вот растает у него на руках.

Потом она сидела на диване и плакала.

— Прости меня, Агнес,— просил Дидерих. Она взглянула на него мокрыми от слез глазами.

— Я плачу от счастья,— сказала она.— Я так давно жду тебя. Зачем? — спросила она, когда он начал застегивать ей блузку.— Зачем ты прикрываешь мне грудь? Разве я уже не нравлюсь тебе?

— Я отлично понимаю, какую взял на себя ответственность,— сказал он на всякий случай.

— Ответственность? — переспросила Агнес.— На ком же ответственность? Три года уже, как я люблю тебя. Ты этого не знал. Это судьба!

Дидерих, который слушал, засунув руки в карманы, подумал, что это судьба легкомысленных девушек. И все же он испытывал потребность вновь и вновь слушать ее заверения.

— Значит, ты и вправду меня, одного меня любила?

— Я чувствовала, что ты мне не веришь. Какой это был ужас, когда я поняла, что больше тебя не увижу, что всему конец. Да, ужас. Я хотела тебе написать, пойти к тебе. Но у меня не хватило духу,— ведь ты меня не любил. Я так извелась, что папа увез меня из Берлина.

— Куда? — спросил Дидерих. Но Агнес не ответила. Она опять притянула его к себе.

— Будь добр со мной. У меня никого, кроме тебя, нет!

Смущенный Дидерих мысленно ответил ей: «Немного же у тебя есть». С той минуты, как он получил доказательство ее любви, Агнес упала в его глазах. Он говорил себе, что девушке, которая решилась на такой шаг, нельзя по-настоящему верить.

— А Мальман? — ехидно спросил он.— Кое-что все-таки между вами было...— Она выпрямилась и застыла с выражением ужаса на лице.— Ну, хорошо, хорошо, не буду больше,— заверил Дидерих и попытался успокоить ее: он, мол, и сам поглупел от счастья и никак не придет в себя.

Она медленно одевалась.

— Твой отец, наверно, очень беспокоится, не знает, куда ты запропастилась,— сказал Дидерих.

Агнес только пожала плечами. Одевшись, она еще раз остановилась в дверях, которые он распахнул, и окинула комнату долгим боязливым взглядом.

— Быть может,— прошептала Агнес, как бы разговаривая сама с собой,— я никогда больше не вернусь сюда. У меня предчувствие, что сегодня ночью я умру.

— Что ты? Почему? — спросил он, неприятно пораженный.

Вместо ответа она еще раз вся тесно приникла к нему, словно срослась с ним. Дидерих терпеливо ждал. Наконец она отстранилась, открыла глаза и сказала:

— Пожалуйста, не думай, что я чего-то требую от тебя. Я полюбила тебя, и будь что будет.

Он предложил ей сесть в экипаж, но она хотела пойти пешком. По дороге он расспрашивал ее о родных и общих знакомых. Только на Бель-Альянс-плац в нем шевельнулось беспокойство, и он хрипло проговорил:

— У меня, разумеется, и в мыслях нет уклониться от своих обязанностей перед тобой. Но пока... Ты понимаешь, я еще сам ничего не зарабатываю, я должен прежде всего кончить курс и освоиться дома с делами.

Агнес ответила спокойным и благодарным тоном, словно ей сделали комплимент:

— Было бы чудесно, если бы я могла когда-нибудь, позднее, стать твоей женой.

Подошли к Блюхерштрассе; он остановился и, слегка запнувшись, сказал, что ему, пожалуй, лучше повернуть назад. Она спросила:

— Оттого, что нас могут увидеть? Ну так что же? Мне все равно придется рассказать дома, что мы встретились и переждали в кафе, пока полиция не очистила улицы.

«Ну, этой соврать ничего не стоит»,— подумал Дидерих.

Она продолжала:

— Помни, что на воскресенье ты приглашен к обеду, приходи непременно.

На этот раз чаша его терпенья переполнилась, он вспылил:

— Мне прийти? Мне — к вам?..

Она кротко и лукаво улыбнулась.

— А как же? Если нас когда-нибудь вместе встретят... Разве ты не хочешь больше видеть меня?

О, видеться с ней он хотел. Все же пришлось долго уламывать его, пока он пообещал прийти. У ее дома он церемонно раскланялся и круто повернул. В голове у него мелькнула мысль: «Ну и хитра! Долго я с ней канителиться не буду». С отвращением вспомнил он, что пора отправляться в пивную. А его, непонятно почему, тянуло домой. Заперев за собой дверь своей комнаты, он остановился и неподвижно уставился в темноту. Вдруг он поднял руки, запрокинул голову и с глубоким вздохом произнес:

— Агнес!

Он чувствовал себя преображенным, легким, он словно парил над землей. «Я невероятно счастлив»,— подумал он. И еще: «Никогда, никогда я уже не буду так счастлив!»

Он вдруг проникся уверенностью, что до сих пор, вот до этой минуты, он все видел в ложном свете, все неправильно оценивал. Там, в пивной, теперь сидят, бражничают, невесть что мнят о себе. Евреи, безработные — что ему до них, почему их нужно ненавидеть? Дидерих готов был полюбить их! Неужто он, он сам провел сегодня все утро в бурлящей толпе, среди людей, которых считал врагами? Да ведь это же люди: Агнес права! Неужто он, Дидерих, за две-три неугодных ему фразы кого-то избил, хвастал, врал, горячился, как дурак, и, наконец, в изодранной одежде, не помня себя, бросился в грязь перед каким-то человеком на коне — перед кайзером, который над ним насмеялся? Дидерих понял, что до встречи с Агнес он вел бессмысленную, бесцветную, убогую жизнь. Им владели какие-то

чуждые ему стремления, какие-то постыдные чувства, и не было ни одного существа, которое он любил бы... пока не встретил Агнес. «Агнес! Хорошая моя Агнес, ты не знаешь, как я люблю тебя!» Но он хотел, чтобы она знала. Он чувствовал, что никогда больше не сумеет открыться ей так полно, как в этот неповторимый час, и написал ей письмо. Он писал, что тоже все эти три года ждал ее, ждал без всякой надежды, потому что она для него слишком хороша, слишком благородна и прекрасна; что все насчет Мальмана он сказал из трусости и упрямства; что она святая, и теперь, когда она снизошла до него, он лежит у ног ее. «Подними меня до себя, Агнес, я могу быть сильным, я чувствую это, и хочу посвятить тебе свою жизнь!..»

Он плакал, он зарылся лицом в диванную подушку, еще источавшую ее запах, и уснул, всхлипывая, как ребенок.

Утром, разумеется, он был неприятно удивлен, обнаружив, что даже не ложился в постель. Вдруг он вспомнил о всем пережитом накануне и почувствовал сладкий толчок, быстрее погнавший кровь к сердцу. Но уже подкрадывалось подозрение, что он наглупил,— раздул свои чувства, преувеличил. Он перечитал письмо: да, все это прекрасно, и ничего удивительного, что он совсем обезумел от неожиданной близости с такой великолепной девушкой. Будь она сейчас здесь, он бы приласкал ее! Но письмо, пожалуй, благоразумнее не отправлять. Это было бы неосмотрительно во всех отношениях. В конце концов, папаша Геппель может его перехватить... Дидерих запер письмо в столе.

«Об ужине я вчера совершенно позабыл». Он велел подать себе обильный завтрак. «И курить не хотел, чтобы ее запах не рассеялся. Это же идиотство. Нельзя так распускаться». Закурив сигару, он отправился в лабораторию. Он решил излить свои чувства не в словах,— ибо высокие слова не к лицу мужчине и чреваты последствиями,— а в музыке. Взял напрокат пианино и вдруг, куда лучше, чем на уроках музыки, заиграл Бетховена и Шуберта.

В воскресенье, когда он позвонил к Геппелям, ему открыла сама Агнес.

— Кухарка не может отлучиться от плиты,— сказала она, но истинную причину он прочел в ее глазах. От смущения он покосился на серебряный браслет, которым она позванивала как будто с целью привлечь его внимание.

— Узнаешь? — шепнула Агнес. Он покраснел.

— Подарок Мальмана?

— Твой! Я надела его в первый раз.

Она быстро и горячо пожала ему руку и открыла дверь в гостиную. Геппель обернулся:

— Наш беглец?

Но, всмотревшись в Дидериха, он прикусил язык и пожалел о своем фамильярном тоне.

— Да вы, ей-же-богу, неузнаваемы, господин Геслинг.

Дидерих взглянул на Агнес, точно хотел сказать ей: «Видишь? Он сразу смекнул, что я уже не прежний глупый мальчишка».

— А у вас здесь все как было,— сказал Дидерих и поздоровался с сестрами и зятем Геппеля.

На самом же деле ему показалось, что все порядком состарились, в особенности Геппель,— живости у него поубавилось, обрюзглые щеки уныло обвисли. Дети выросли; у Дидериха было впечатление, что кого-то здесь не хватает.

— Да, да,— сказал после первого обмена приветствиями Геппель,— время идет, но старые друзья встречаются вновь.

«Знал бы ты, как»,— смущенно и пренебрежительно подумал Дидерих, идя к столу вместе со всеми. За телячьим жарким он вдруг вспомнил, кто сидел напротив него в те времена. Та самая тетка, которая так напыщенно спросила его, что он изучает, и путала химию с физикой. Агнес, сидевшая по правую руку от него, объяснила, что тетя вот уже два года, как скончалась. Дидерих что-то пробормотал — выразил соболезнование,— а про себя подумал: «Значит, уже не несет чепухи». У него было такое ощущение, что все здесь словно наказаны и удручены, только его одного судьба заслуженно возвысила. И он свысока окинул Агнес хозяйским взглядом.

Десерта, как и тогда, долго не подавали. Агнес тревожно оглядывалась на дверь, ее красивые золотистые глаза потемнели, как будто случилось что-то серьезное. Дидерих вдруг ощутил к ней глубокую жалость, безграничную нежность. Он поднялся и крикнул в коридор:

— Мария! Крем!

Когда он вернулся на свое место, Геппель предложил выпить за его здоровье.

— Вы и тогда то же самое сделали. Вы в доме, как свой. Верно, Агнес?

Агнес поблагодарила Дидериха взглядом, тронувшим его до глубины души. Ему стоило больших усилий удержаться от слез. Как ласково улыбались ему родственники Агнес! Зять чокнулся с ним. Какие милые люди! А Агнес, чудесная Агнес, она любит его! Не стоит он того! Он почувствовал угрызения со-

вести, в глубине сознания мелькнуло неясное решение поговорить с Геппелем.

К сожалению, после обеда Геппель опять завел разговор о беспорядках. Благо, мы избавились наконец от солдатского сапога Бисмарка, зачем же теперь дразнить рабочих вызывающими речами; этот молодой господин (так Геппель называл кайзера) своим красноречием, того и гляди, накличет революцию на наши головы... Дидерих счел своим долгом от имени молодежи, которая верой и правдой служит своему несравненному молодому государю, самым решительным образом пресечь подобное злопыхательство. Его величество сам изволил сказать: «Тех, кто хочет мне помочь, приветствую от всего сердца. Тех, кто станет мне поперек дороги, сокрушу!» Дидерих попытался метнуть испепеляющий взор.

Геппель сказал:

— Посмотрим!

— В наше суровое время,— прибавил Дидерих,— каждый немец должен уметь постоять за себя.— И он принял горделивую позу, чувствуя, что Агнес не сводит с него восторженного взгляда.

— Чем же оно суровое? — сказал Геппель.— Оно только тогда сурово, когда мы отравляем друг другу существование. У меня с моими рабочими всегда были хорошие отношения.

Дидерих заявил, что, вернувшись домой, он установит на своей фабрике твердую дисциплину. Социал-демократов он у себя не потерпит, а по воскресеньям рабочие будут ходить в церковь.

— Вот как! — сказал Геппель.— Я этого от своих рабочих требовать не могу. Сам бываю в церкви только в страстную пятницу. Что же мне их дурачить? Христианство — прекрасная вещь; но тому, что городит пастор, ни один человек не верит.

На лице Дидериха появилось выражение надменного превосходства.

— Любезный господин Геппель, на это могу вам лишь сказать: во что верят в высших сферах, во что верит мой глубокочтимый друг асессор фон Барним — в то верю и я без всяких оглядок. Вот что я могу вам сказать.

Зять Геппеля, чиновник, переметнулся вдруг на сторону Дидериха. Геппель уже побагровел. Агнес поспешила предложить кофе.

— Ну, а сигары мои вам нравятся? — Геппель похлопал Дидериха по коленке.— Как видите, в делах житейских мы с вами сходимся.

Дидерих подумал: «Еще бы, ведь я все равно что член семьи».

Он сменил официальный тон на более мягкий, и беседа потекла спокойнее. Геппель спросил, когда он будет «готов», то есть получит докторский диплом. И никак не мог взять в толк, что дипломная работа по химии требует не меньше двух лет, а бывает, и больше. Дидерих распространялся о том, какие трудные задачи приходится иной раз решать, пересыпал речь выражениями, которых никто не понимал. В расспросах Геппеля о дипломе ему почудилась нотка личной заинтересованности. Видимо, и Агнес это почувствовала; она переменила тему разговора. Когда Дидерих откланялся, она вышла его проводить и шепнула:

— Завтра в три у тебя.

От неожиданной радости он стиснул ее в объятиях и поцеловал, хотя рядом громыхала посудой кухарка. Агнес грустно спросила:

— Скажи, тебя совершенно не интересует, что было бы со мной, если бы кто-нибудь вошел?

Смущенный Дидерих потребовал еще поцелуя в знак прощения. Его поцеловали.

В три часа Дидерих обычно возвращался из кафе в лабораторию. На сей раз он уже в два был у себя в комнате. Она пришла еще до трех.

— Мы оба не могли дождаться этой минуты. Как мы любим друг друга!

В этот раз было лучше, чем в первый, гораздо лучше. Ни слез, ни страха. Солнце заливало комнату сияющим блеском. Распустив на солнце волосы Агнес, Дидерих окунал в них лицо.

Она пробыла у него так долго, что у нее почти не осталось времени для магазинов, а ведь дома она сказала, что идет за покупками. Ей пришлось чуть не бегом мчаться по улицам. Дидерих, который сопровождал ее, очень беспокоился, как бы такая спешка не повредила ей. Но порозовевшая Агнес смеялась и называла его своим медведем. Так неизменно кончались теперь дни, когда она приходила. Они всегда были счастливы. Геппель говорил, что Агнес поправилась и что, глядя на нее, даже он помолодел. И воскресенья с каждым разом проходили все веселее. Гости оставались до вечера, подавали пунш. Дидерих, по общему настоянию, играл Шуберта или вместе с зятем Геппеля пел студенческие песни; Агнес аккомпанировала. Иногда они оглядывались друг на друга, и обоим казалось, что все счастливы их счастьем.

В лаборатории к Дидериху нередко подходил швейцар и сообщал, что на улице дожидается дама. Дидерих, красный от смущения, тотчас же вставал и выходил; его провожали лукавые взгляды коллег. А потом они с Агнес бродили по улицам, заходили в кафе, в паноптикум; Агнес любила живопись, и благодаря ей Дидерих узнал, что существуют выставки картин. Обычно она подолгу простаивала перед какой-нибудь полюбившейся ей картиной, мягким праздничным пейзажем, переносившим ее в неведомые и прекрасные края. Полузакрыв глаза, она делилась с Дидерихом своими грезами.

— Всмотрись хорошенько: видишь, это вовсе не рама, а ворота с золотыми ступеньками; вот мы спускаемся, переходим через дорогу, огибаем кусты боярышника и садимся в лодку. Слышишь, как она колышется? Это оттого, что мы окунули руки в воду. И вода теплая-теплая... А по ту сторону, на горе, видишь — белое?.. Это наш дом, к нему-то мы и плывем. Видишь, видишь!

— Да, да,— горячо подхватил Дидерих. Он сильно прищурился и видел все, что хотела Агнес. Он так зажегся ее мечтами, что взял ее руку и вытер. Потом они забрались в уголок и болтали о путешествиях, которые непременно совершат, о беспечной, счастливой жизни в далеком солнечном краю, о любви, которой нет предела. Дидерих верил в то, что говорил. В глубине души он, конечно, знал, что на роду ему написано вести жизнь дельца, не оставляющую досуга для поэтических восторгов. Но то, что он говорил, было более возвышенной правдой, чем все, что он знал. Подлинный Дидерих, тот, которым он должен был быть, говорил правду. Однако Агнес, когда они встали и двинулись дальше, казалась бледной, она устало поникла. В ее прекрасных золотистых глазах появился блеск, от которого у Дидериха сжалось сердце. Вся дрожа, она тихо спросила:

— А если бы лодка перевернулась?

— Я спас бы тебя,— решительно заявил Дидерих.

— Да ведь до берега далеко, а глубина знаешь какая...— И так как он не нашелся, что сказать: — Мы пошли бы ко дну. Скажи, ты хотел бы умереть со мной?

Дидерих взглянул на нее и закрыл глаза.

— Да,— ответил он со вздохом.

Позднее, однако, он раскаивался, что не пресек этого разговора. Он понял, почему Агнес вдруг подозвала экипаж и поехала домой. По ее лицу, до самого лба, разлился неровный румянец, ей не хотелось, чтобы он видел, как она кашляет. Весь день Дидериха разбирала досада. Все это нездорово и ни к чему,

сулит одни лишь неприятности. Его профессору уже стало известно о посещениях некоей дамы. Дальше так продолжаться не может; Агнес отрывает его от работы по первому своему капризу. Он осторожно объяснил ей это.

— Ты, пожалуй, прав,— ответила она.— У солидных людей все делается по расписанию. Но как быть, если мне полагается прийти в полшестого, а я особенно люблю тебя в четыре?

Он уловил в этих словах иронию, пожалуй даже презрение, и нагрубил ей. Не нужна ему возлюбленная, которая становится помехой для его карьеры. Не о том он мечтал. Агнес попросила прощения. Она обещала скромно дожидаться свидания в его комнате. Если он не кончил работы, незачем церемониться. Дидериху стало стыдно, и, охваченный нежностью, он вместе с Агнес посетовал на мир, в котором невозможно целиком отдаться любви.

— А разве нельзя изменить свою жизнь? — спросила Агнес.— У тебя есть немного денег, у меня тоже. Для чего делать карьеру и изводить себя? Мы бы так хорошо жили с тобой!

Дидерих поддакивал ей, но после, задним числом, разозлился. Теперь он заставлял ее ждать, иной раз умышленно. Объявил, что даже посещение политических собраний — его долг, а долг на первом месте, потом уже свидания с Агнес. Как-то в мае, возвращаясь позже обычного домой, он встретил у входа молодого человека в форме вольноопределяющегося. Тот неуверенно вглядывался в Дидериха.

— Господин Геслинг?

— Ах да,— пробормотал Дидерих,— вы... ты... Вольфганг Бук?

Младший сын именитейшего представителя города Нетцига наконец-то решил исполнить волю отца и отыскать Дидериха. Дидерих пригласил его подняться наверх, он как-то не нашел сразу предлога, чтобы отделаться от него, а ведь в комнате ждала Агнес! В передней он старался говорить погромче, чтобы она услышала и спряталась. Он боязливо открыл дверь. Комната была пуста, шляпа не лежала, как всегда, на кровати; но он знал, что Агнес здесь. Он видел это по стулу, чуть сдвинутому с обычного места, ощущал это по воздуху, который, казалось, все еще вибрирует после того, как она прошла в своем развевающемся платье. Она, наверное, скрылась в темной каморке, где стоит умывальник. Он придвинул кресло к двери и, сконфуженный, раздраженный, стал ворчать на хозяйку — она-де не убирает. Вольфганг Бук выразил предположение, что он, очевидно, пришел некстати.

— О нет! — уверял Дидерих. Он усадил гостя и достал коньяк. Бук попросил извинения: он пришел в неурочный час, но на военной службе человек не принадлежит себе.

— Знаю, знаю по опыту,— ответил Дидерих и, забегая вперед, сразу сказал, что уже отслужил свой год. От военной службы он в восторге. Это истинное благо! Если бы навсегда остаться в армии! Его, Дидериха, к сожалению, призывают семейные обязанности. На губах Бука мелькнула мягкая скептическая улыбка, она не понравилась Дидериху.

— Хорошо еще, что есть офицеры,— по крайней мере, находишься среди людей с хорошими манерами.

— Вы встречаетесь с ними? — спросил Дидерих. Ему хотелось, чтоб это прозвучало иронически.

Но Бук сказал просто, что его иногда приглашают в офицерский клуб. Он пожал плечами.

— Я хожу туда, так как считаю полезным присматриваться к каждому лагерю. Я и с социалистами часто встречаюсь.— Он опять улыбнулся.— Надо вам сказать, что порой меня тянет стать генералом, порой — вождем рабочих. Куда я в конечном счете подамся, мне самому любопытно.

И он осушил вторую рюмку коньяку. «Отвратительная личность,— думал Дидерих.— А Агнес сидит в темной каморке». Он сказал:

— С вашим состоянием вы можете выставить свою кандидатуру в рейхстаг или заняться чем-нибудь другим по собственному выбору. Мой удел — практическая деятельность. Кстати, социал-демократию я рассматриваю как врага, ибо это враг кайзера.

— Вы в этом уверены? — спросил Бук.— Мне кажется, что к социал-демократам кайзер даже питает тайные симпатии. Он бы и сам не прочь сделаться первым вождем рабочих. Только они этого не хотят.

Дидерих возмутился. Это оскорбительно для его величества. Но Бук продолжал как ни в чем не бывало:

— Не помните вы разве, как он грозил Бисмарку, что не позволит своим войскам охранять богачей? С богачами он, по крайней мере вначале, враждовал так же, как рабочие. Хотя, разумеется, по другим мотивам: трудно ему сжиться с мыслью, что не он один обладает властью.

Бук опередил Дидериха, на лице которого было написано, что он вот-вот разразится возгласами негодования.

— Не думайте, пожалуйста,— оживился он,— что мои слова подсказаны антипатией. Как раз напротив: это нежность, своего рода враждебная нежность, если хотите.

— Не понимаю,— сказал Дидерих.

— Ну, вот: я говорю о нежности к тем, в ком видишь собственные слабости, или назовем их — добродетели. Во всяком случае, мы, молодые люди, все похожи теперь на нашего кайзера: все мы жаждем простора для своей индивидуальности и в то же время очень хорошо чувствуем, что будущее принадлежит массам. Второго Бисмарка не будет, и второго Лассаля тоже. Быть может, наиболее одаренные из нас отказываются признавать это. Он, во всяком случае, не хочет это признать. А если человеку сама собой дается такая огромная власть, то действительно было бы самоубийством не переоценить себя. Но в сокровенной глубине души он, конечно, терзается сомнениями относительно роли, взятой им на себя...

— Роли? — переспросил Дидерих, но Бук не заметил этого.

— Ведь она может его далеко завести. В современном мире, таком, каков он есть, эта роль должна казаться чудовищным парадоксом. В наше время уже ни от кого не ждут большего, чем от своего соседа. Вся сила в среднем уровне, а не в исключениях, и меньше всего — в великих людях.

— Но позвольте! — Дидерих ударил себя в грудь.— Да разве родилась бы Германская империя, не будь у нас великих людей? Все Гогенцоллерны были великими людьми.

Бук уже опять кривил губы в усмешке, грустной и скептической.

— В таком случае им несдобровать. И не только им, но и нам всем. Кайзер, несмотря на разницу положений, стоит перед тем же выбором, что и я. А я все думаю, кем стать — генералом, и всю жизнь посвятить войне, которая не предвидится? Или, быть может, гениальным народным вождем, хотя народ перерос преклонение перед гениальной личностью и легко может обойтись без нее? И то и другое романтика, а всякая романтика, как известно, кончается крахом.

Бук опрокинул в себя одну за другой две рюмки коньяку.

— Так кем же мне стать?

«Алкоголиком»,— про себя ответил Дидерих. Он задавал себе вопрос, не обязан ли он со скандалом выставить Бука за дверь? Но на Буке мундир! Кроме того, шум испугает Агнес, она выбежит из своего закутка, и бог знает чем это кончится! Так или иначе, он возьмет на заметку Бука и его рассуждения. Неужели Бук рассчитывает сделать карьеру с такими взгляда-

ми? Дидерих вспомнил, что в школе сочинения Вольфганга по немецкой литературе, яркие и остроумные, внушали ему необъяснимое и глубокое недоверие к Буку.

«Вот-вот. Таким он и остался. Актер, видите ли. Да и вся его родня такова». Жена старика Бука была еврейка, в прошлом — актриса. И покровительственная благосклонность, которую выказал ему старик Бук на похоронах отца, задним числом ударила по его самолюбию. Да и сын Бука решительно всем унижает его: изысканными оборотами речи, манерой держаться и знакомством с офицерами. Кто он — фон Барним, что ли? Всего-навсего уроженец Нетцига, как и сам Дидерих. «Ненавижу всю эту семейку!» Из-под полуопущенных век он рассматривал мясистое лицо Бука, нос с чуть заметной горбинкой и влажно блестевшие задумчивые глаза.

Бук поднялся:

— Ну, увидимся дома. В ближайший семестр я сдам государственный экзамен. А там мне остается единственное поприще: нетцигского адвоката. А вы? — спросил он.

Дидерих сухо сказал, что не хочет терять времени и этим же летом закончит свою докторскую работу. Он проводил Бука в переднюю. «И дурак же ты,— подумал он.— Не заметил, что у меня девушка».

Он вернулся в комнату, самодовольно ощущая свое превосходство над Буком, да и над Агнес, которая безропотно ждала его в темной каморке.

Он открыл дверь. Агнес сидела, перевесившись через спинку стула, тяжело дышала и прижимала к губам носовой платок. Она подняла на него воспаленные глаза. Он увидел, что она чуть не задохнулась, что она тут, в каморке, наплакалась, пока он там в комнате пил коньяк и нес всякий вздор. Он было рванулся к ней с безграничным раскаянием. Она любит его! Она сидела здесь и во имя любви к нему все сносила. Еще мгновение, и он протянет руки, кинется к ней и со слезами попросит прощения. Но он вовремя сдержался из страха перед этой сценой и последующим сентиментальным настроением, которое стоило бы ему нескольких рабочих дней, а ей опять дало бы перевес над ним. Нет, он ей не покорится! Агнес, несомненно, все это умышленно преувеличивает. И он слегка коснулся губами ее лба.

— Ты уже здесь? — спросил он.— Я даже не видел, как ты вошла.

Она встрепенулась, хотела что-то ответить, но промолчала.

— Я только что проводил гостя,— сказал он.— Этакое

еврейское отродье. В какие только перья не рядится! Прямотаки тошно!

Дидерих шагал взад и вперед. Стараясь не встретиться взглядом с Агнес, он все быстрее носился по комнате и все больше входил в раж:

— Это наши заклятые враги! Они, изволите ли видеть, тонко образованны и поэтому плюют на все, что для нас, немцев, свято! Хватит с него и того, что мы его терпим. Пусть бы зубрил свои пандекты и помалкивал. Начхать мне на этих эстетствующих умников! — все громче кричал он с намерением задеть Агнес.

Но она не откликалась, и он придумал новый ход.

— Все это потому, что теперь меня всегда можно застать дома. По твоей милости мне приходится сиднем сидеть в этих четырех стенах.

Агнес робко сказала:

— Мы уже шесть дней не видались. В прошлое воскресенье ты опять не пришел. Мне страшно, мне кажется, что ты разлюбил меня.

Он остановился и, глядя на нее сверху вниз, сказал:

— Дорогая, что я люблю тебя, не требует доказательств. Другой вопрос, жажду ли я каждое воскресенье лицезреть твоих теток и их рукоделие или болтать с твоим отцом о политике, в которой он ни черта не смыслит.

Агнес опустила голову.

— Раньше все было так хорошо. У тебя с папой уже сложились такие славные отношения.

Дидерих, повернувшись к ней спиной, смотрел в окно. В том-то все и дело. Он боялся быть на короткой ноге с Геппелем. От своего бухгалтера, старика Зетбира, он получил сведения, что дела Геппеля сильно пошатнулись. Его целлюлоза низкого качества, Зетбир отказался ее покупать. Само собой, такой зять, как Дидерих, сущий клад для Геппеля. Эти люди его оплетают, и Агнес в том числе! Пожалуй, действует заодно со стариком. Он сердито обернулся к ней:

— И, кроме того, моя милая, то, что происходит между нами, честно говоря, это наше с тобой дело, и совершенно незачем впутывать сюда твоего отца. Наши с тобой отношения — это одно, а родственные связи — другое. Мое нравственное чувство требует четкого разграничения.

С минуту Агнес не двигалась, потом встала, словно теперь все поняла. Она густо покраснела и двинулась к дверям. Дидерих нагнал ее.

— Послушай, Агнес, я не хотел тебя обидеть. Все это я говорил только потому, что я тебя безмерно уважаю... И могу даже прийти в воскресенье.

Она слушала его с застывшим лицом.

— Ну, не сердись же, Агнес, и улыбнись,— просил он.— Ты даже шляпу еще не сняла.

Она сняла шляпу. Он попросил ее сесть на диван, и она села. Даже послушно поцеловала его. Но, тогда как губы ее улыбались и целовали, взгляд был застывшим, отсутствующим. Вдруг она с силой притянула его к себе: он испугался, ему показалось, что это ненависть. Но потом убедился, что она любит его горячей, чем когда-либо.

— Сегодня было чудесно. Верно, моя маленькая, сладкая Агнес? — сказал он облаготворенный и благодушно настроенный.

— Прощай,— сказала она, лихорадочно протягивая руку за зонтиком и сумкой. Дидерих еще только одевался.

— Однако как ты торопишься...

— Больше я, кажется, ничего не могу для тебя сделать...

Она была уже у дверей. И вдруг припала плечом к косяку и словно приросла к нему.

— Что случилось? — Подойдя ближе, Дидерих увидел, что она всхлипывает. Он положил руку ей на плечо.— Ну, что с тобой?

В ответ она судорожно, навзрыд заплакала. Казалось, слезам не будет конца.

— Агнес, Агнес,— повторял Дидерих.— Что случилось вдруг, мы же были так счастливы...— И беспомощно спросил: — Я чем-нибудь расстроил тебя?

Между приступами слез она произнесла, задыхаясь:

— Я не могу больше. Прости.

Он отнес ее на диван. Когда рыдания наконец утихли, Агнес пристыженно сказала:

— Я ничего не могла с собой поделать. Это не моя вина. Прости.

— Может, я виноват?

— Нет, нет. Это все нервы. Прости!

Он бережно и терпеливо проводил ее до экипажа. Но немного спустя ему и этот приступ стал казаться наполовину игрой, средством окончательно завлечь его в ловушку. С этого дня его настойчиво преследовала мысль о кознях, которые строятся против него, о посягательстве на его свободу и карьеру. Он защищался внезапной резкостью тона, подчеркиванием своей

мужской самостоятельности, а как только чувствовал, что готов смягчиться,— холодностью. По воскресеньям, сидя у Геппелей, он был начеку, как во вражеском стане: сухо вежлив и неприступен. Когда же он закончит свою дипломную работу? — спрашивали у него. Этого он сам не знает, отвечал он, решение задачи будет найдено, может быть, завтра, а может быть, через два года. Он подчеркивал, что в финансовом отношении будет и впредь зависеть от матери. Ему еще долго придется все свое время отдавать делам и ни о чем другом не думать. А когда Геппель заговорил об идеальных ценностях жизни, Дидерих отрезал:

— Не дальше, как вчера, я продал своего Шиллера. Я не страдаю никакими маниями, я на все смотрю трезвыми глазами.

Ловя на себе после такой отповеди немой и грустный взгляд Агнес, он на мгновение смущался, и ему чудилось, что не он сам это сказал, что он бредет сквозь туман, говорит не то, что нужно, и действует против собственной воли. Но ощущение это быстро забывалось.

Агнес приходила лишь в тот день и час, которые он назначал ей, и уходила, как только ему пора было идти в лабораторию или в пивную. Она больше не звала его в картинные галереи, не предлагала погрезить перед прекрасным пейзажем, с тех пор как он, остановившись перед витриной колбасного магазина, сказал, что такая витрина для него лучший вид эстетического наслаждения. Не без боли в душе он наконец заметил, что они теперь очень редко встречаются. Он упрекнул Агнес, что она не настаивает на более частых встречах.

— Прежде ты была другой.

— Я жду,— сказала она.

— Чего?

— Что и ты станешь, каким был прежде. О! Я уверена, что так и будет.

Он промолчал из боязни каких-либо сцен. Однако вышло так, как она предсказывала. Работа его была наконец закончена и одобрена, оставался один пустячный устный экзамен, и Дидерих, в преддверье новой жизни, находился в приподнятом настроении. Когда Агнес принесла ему свои поздравления вместе с букетом роз, он разразился слезами и сказал, что всегда, всегда будет ее любить. Она сообщила, что отец на несколько дней отправился в деловую поездку.

— А дни стоят чудесные...

Дидерих тотчас же подхватил:

«Верноподданный»

— Этим надо воспользоваться! Такая возможность нам никогда еще не представлялась!

Решили поехать за город. Агнес знает одно местечко под названием Лесная Чаща, уединенный уголок, такой же романтичный, как и его название.

— Мы будем весь день неразлучны!

— И всю ночь,— добавил Дидерих.

Уже вокзал, с которого они уезжали, был окраинный, а поезд маленький и старомодный. Они были одни в вагоне; сумерки медленно спускались, кондуктор зажег тусклую лампу. Прильнув друг к другу, они большими глазами смотрели в окно, на плоскую, однообразную равнину. Сойти бы с поезда, побрести куда глаза глядят и затеряться в этих далях, под ласковым покровом ночи. Они и в самом деле чуть не сошли на какой-то станции, за которой виднелась деревушка с горсткой домов. Добродушный кондуктор удержал их,— неужели им охота ночевать на соломе? Но вот они наконец приехали. Деревенская гостиница, просторный двор, большой зал с керосиновыми лампами под балочным потолком; хозяин, славный человек, называл Агнес «милостивая государыня» и лукаво щурился. Агнес и Дидерих, поглощенные тайным чувством своей полной слитости, испытывали легкое смущение. После ужина им хотелось сразу же подняться в отведенную им комнату, но они не отважились и послушно перелистывали журналы, поданные хозяином. Как только он отвернулся, они переглянулись и в один миг взлетели по лестнице. В комнате еще не зажгли лампы, дверь еще стояла открытой, а они уже сжимали друг друга в объятиях.

Ранним утром солнце заглянуло в комнату. Внизу во дворе куры клевали просо и взбирались на стол, стоявший перед беседкой.

— Мы будем там завтракать!

Они сошли вниз. Как хорошо! Как тепло! Из сарая доносился чудесный аромат сена. Кофе и хлеб никогда еще не казались им такими вкусными. На душе было легко, вся жизнь открывалась перед ними. Им хотелось часами ходить по полям и лесам; они расспрашивали хозяина об окрестных дорогах и деревнях. Сердечно похвалили его дом и постели. Молодая чета, видно, совершает свое свадебное путешествие? — предположил хозяин.

— Угадали! — И они радостно засмеялись.

Булыжник, которым была замощена главная улица, пестрел всеми цветами радуги под июльским солнцем. Накренив-

шиеся набок ветхие дома были такие низенькие, что казались придорожными камнями. Колокольчик на двери мелочной лавчонки, куда они вошли, долго дребезжал. Немногочисленные прохожие, одетые почти по-городскому, тушуясь, проходили бочком и оборачивались вслед Агнес и Дидериху, а они шли с горделиво сияющими лицами, чувствуя, что выделяются здесь своей элегантностью. Агнес остановилась перед витриной шляпного магазина и обозревала шляпы, предназначенные для местных щеголих.

— Невероятно! Это носили в Берлине три года назад!

Через ветхие ворота они вышли за околицу. На полях шла жатва. В грузной синеве неба летали ласточки — словно плыли в сонной воде. Вдалеке утопали в знойном мареве деревенские домики, а лес был черный, и дороги в нем — голубые. Дидерих и Агнес взялись за руки, и оба сразу, не сговариваясь, запели песенку: песенку странствующих детей, которую они разучивали еще в школе. Дидерих старался петь басом, ему хотелось удивить Агнес. Запнувшись на какой-то фразе и забыв, что дальше, они повернулись лицом друг к другу и на ходу поцеловались.

— Только теперь я и вижу, как ты хороша,— сказал Дидерих и с нежностью посмотрел на ее розовое лицо, на кайму золотистых ресниц вокруг светлых, с золотистыми искорками глаз.

— Лето мне к лицу,— сказала Агнес и так глубоко вздохнула, что блузка на ее груди вздулась. Она шла по дороге, стройная, узкобедрая, и ее голубой газовый шарф развевался за ней. Дидериху стало жарко, он снял пиджак, потом жилет и, наконец, признался, что ему хочется в тень. Они нашли немного тени на краю нескошенного поля, под кустом акации, который был еще в цвету. Агнес села и положила голову Дидериха к себе на колени. Они играли и шалили, и вдруг она заметила, что он заснул.

Он проснулся, посмотрел вокруг и, увидев над собой лицо Агнес, просиял счастливой улыбкой.

— Милый,— сказала она,— до чего ж у тебя сейчас умори тельное и хорошее лицо.

— Прости, пожалуйста, я спал минут пять... нет, смотрика, целый час проспал. Ты скучала?

Но она больше его удивилась, что время пролетело так быстро. Он высвободил голову из-под ее руки, которую она положила ему на волосы, когда он заснул.

Возвращались они полями. В одном месте что-то странно темнело. Они раздвинули колосья и увидели старичка в высо-

кой меховой шапке, рыжей куртке и вельветовых штанах, тоже порыжевших. Старичок, согнувшись в три погибели, своей бородой обмотал колени. Агнес и Дидерих наклонились, чтобы разглядеть его получше, и тут заметили, что он давно уже смотрит на них черными блестящими глазами. Они невольно зашагали быстрее, испуганно переглядываясь, точно увидели фантастическое существо из страшной сказки. Они осмотрелись. Перед ними были просторы незнакомого края, там, за полями, дремал под солнцем маленький причудливый городок, а небо казалось им таким невиданным, точно они дни и ночи ехали, пока попали сюда.

Обед в зеленой беседке деревенской гостиницы был полон очарования необычности: солнце, куры, открытое окно кухни, откуда Агнес получала тарелки. Где ты, строгий порядок буржуазного дома на Блюхерштрассе? Где ты, традиционный стол, за которым бражничают корпоранты?

— Я отсюда никуда не двинусь,— объявил Дидерих.— И тебя не отпущу.

Агнес в ответ:

— А зачем уезжать? Я пошлю папе письмо через мою замужнюю подругу, она живет в Кюстрине, и папа подумает, что я у нее.

Позднее они еще раз пошли гулять, уже в другую сторону, где блестела водная гладь, где крылья трех ветряных мельниц парусами маячили на горизонте. На причале стояла лодка; они наняли ее и поплыли по каналу. Навстречу им плыл лебедь. Лебедь и лодка бесшумно разминулись, скользя по воде. Под нависшими над берегом кустами лодка сама собой остановилась, и Агнес почему-то спросила Дидериха о его матери и сестрах. Он ответил, что они всегда были добры к нему и что он их любит. Сказал, что обязательно попросит прислать фотографии сестер,— они, наверное, стали красивыми девушками; а если и не красивыми, то, во всяком случае, славными и добродетельными. Одна из них, Эмми, любит поэзию, как Агнес; он всегда будет заботиться о сестрах и обеих выдаст замуж. С матерью же никогда не расстанется, ей он обязан всем хорошим, что было у него в жизни до той минуты, пока в нее не вошла Агнес. И он рассказал о том, как задушевно сумерничал с матерью, о сказках под рождественскими елками его детства и даже о молитве, «идущей от сердца». Агнес слушала его как завороженная. Но вот она вздохнула.

— Я бы очень хотела познакомиться с твоей мамой, свою я не знала.

Он нежно поцеловал ее, движимый жалостью и смутным ощущением нечистой совести. Он чувствовал: сейчас надо сказать слово, которое всецело и навсегда утешило бы ее. Но он отогнал от себя эту мысль, он не мог. Агнес заглянула ему глубоко в глаза.

— Я знаю,— медленно произнесла она,— знаю, что душа у тебя добрая. Но иногда тебе приходится поступать не так, как велит сердце.— Он испугался. А она сказала, словно в свое оправдание: — Сегодня я совсем не боюсь тебя.

— А разве вообще ты меня боишься? — виновато спросил Дидерих.

— Я всегда боялась слишком самоуверенных и веселых людей. Иной раз, в кругу моих подруг, мне начинало казаться, что я им не ровня и что они, вероятно, презирают меня. Но они ничего не замечали. В раннем детстве у меня была кукла с большими голубыми стеклянными глазами, и когда мама умерла, меня посадили с куклой в комнате рядом и велели не трогаться с места. Кукла уставилась на меня широко открытыми бездушными глазами и как бы говорила: твоя мама умерла, и теперь все на тебя будут смотреть, как я. Мне хотелось положить ее на спину, чтобы она закрыла глаза. Но я не смела. А людей разве положишь на спину? У всех такие же глаза, и порой,— она приникла лицом к его плечу,— порой даже у тебя.

К горлу у него подступил комок, он погладил ее склоненный затылок и сказал дрогнувшим голосом:

— Агнес, родная моя Агнес, ты не знаешь, как я люблю тебя... Я боялся тебя, да — я. Три года я томился по тебе, ты была для меня недосягаемо прекрасна, изящна, добра.

Сердце его растаяло; он говорил ей все, что излил в письме тогда, после их первого свидания в его комнате, в том самом письме, которое и теперь еще лежало в ящике письменного стола. Агнес выпрямилась, она слушала с восторгом, раскрыв губы. Она тихо ликовала:

— Я знала, что ты такой, ты — как я!

— Мы одна душа, одна плоть,— сказал Дидерих и прижал ее к себе; но тут же испугался вырвавшихся у него слов.

«Теперь она ждет,— думал он,— теперь надо сказать». Он хотел этого, но чувствовал себя скованным. Его объятия с каждой секундой ослабевали... Она сделала чуть заметное движение, он знал,— она уже не ждет. И они разомкнули объятие, не глядя друг на друга. Он закрыл лицо руками и всхлипнул.

Она не спрашивала почему; только утешающе погладила его по голове. Так сидели они долго.

Глядя поверх него в пространство, Агнес сказала:

— Разве я когда-нибудь думала, что это будет длиться вечно? То, что было так хорошо, не может не кончиться плохо.

Он вскрикнул в отчаянье:

— Ведь ничего не кончилось!

Она спросила:

— Ты веришь в счастье?

— Если я тебя потеряю, значит, счастья нет.

Она пролепетала:

— Ты уедешь, перед тобой откроется большая жизнь. И ты меня забудешь.

— Лучше смерть! — И он привлек ее к себе.

Прижавшись к нему щекой, она шептала:

— Смотри, какой здесь простор, совсем как море! Наша лодка сама выпросталась и вывела нас сюда. Помнишь ту картину? И море, по которому мы уже однажды плыли в своей мечте? Куда только...— И еще тише повторила: — Куда только мы плывем?

Он не отвечал больше. В тесном объятии, прильнув губами к губам, они опускались все ниже и ниже над водой. Она ли сжимала его? Или он притягивал ее к себе? Никогда еще они не знали такого полного слияния. Дидерих чувствовал: теперь все хорошо. Ему не хватало благородства, веры, мужества для того, чтобы соединиться с Агнес на всю жизнь. Но теперь он сравнялся с ней во всем. Теперь все хорошо.

Внезапный толчок: они подскочили, Дидерих отшатнулся с такой силой, что Агнес отлетела от него и упала на дно лодки. Он провел рукой по лбу.

— Что случилось?.. — Похолодев от испуга и как будто обидевшись на нее, он отвернулся.— Это же лодка, нельзя так неосторожно.

Он не помог ей встать, тотчас же схватился за весла и повел лодку обратно. Агнес повернулась лицом к берегу. Один раз она робко посмотрела на Дидериха, но в нее впился такой подозрительный, жесткий взгляд, что она вся содрогнулась.

В сгущающихся сумерках они шли по дороге все быстрее, быстрее и под конец почти побежали. И уже когда настолько стемнело, что лица стали почти невидимы, они заговорили. Завтра утром, пожалуй, Геппель будет уже дома. Агнес необходимо вернуться... Добежав до гостиницы, они услышали вдали гудок паровоза.

— Даже поужинать не успеем! — с напранной досадой сказал Дидерих. Наспех собрали вещи, расплатились — и бегом на станцию. Не успели сесть, как поезд тронулся. Хорошо еще, что надо отдышаться и припомнить: не забыто ли что в такой спешке? Но вот все уже сказано, и при свете тусклой лампы они сидят врозь, ошеломленные, как после большой неудачи. Неужели эти темные поля, бегущие за окном, звали их, дразнили обещанием счастья? И как будто только вчера? Нет, в невозвратном прошлом. Разве не видны уже спасительные огни города?

Они решили, что не стоит ехать вместе в трамвае. Дидерих уехал первым. Они едва встретились взглядами, едва коснулись друг друга в прощальном рукопожатии.

«Уф! — выдохнул Дидерих, оставшись один.— Ну — конец». Он подумал: «Мы были на волосок от несчастья». И возмутился: «Вот истеричка!» Сама-то она, конечно, уцепилась бы за лодку. Искупаться пришлось бы ему одному. И весь этот трюк она подстроила для того, чтобы непременно, любой ценой, женить его на себе. «Женщины хитры, как дьяволы, они ни в чем не знают удержу, куда нашему брату с ними тягаться. На этот раз она обвела меня вокруг пальца почище, чем тогда с Мальманом. Что ж, пусть это будет мне уроком на всю жизнь. Теперь, однако, точка!» И он твердым шагом направился к новотевтонцам. Отныне он проводил с ними все вечера, а дни посвящал зубрежке, готовясь к устному экзамену, но из благоразумия — не дома, а в лаборатории. Возвращаясь домой, он с тяжелым чувством поднимался по лестнице и не мог не сознаться, что сердце у него не на месте. Нерешительно открывал он дверь своей комнаты — никого; и хотя сначала испытывал при этом облегчение, в конце концов спрашивал у хозяйки, не заходил ли к нему кто-нибудь. Нет, никто не приходил.

Но через две недели он получил письмо. Он вскрыл его раньше, чем подумал, что делает. Бросил в ящик письменного стола, но тут же снова достал и, держа от себя как можно дальше, принялся читать. Жадно, подозрительным взглядом выхватывал фразу то тут, то там. «Я так несчастлива...» — «Слыхали мы!» — отвечал мысленно Дидерих. «Я не отваживаюсь пойти к тебе...» — «Твое счастье!» — «Это ужасно, что между нами встала такая стена...» — «Хорошо, что ты сама это понимаешь!» — «Прости меня за все, что произошло. Или ничего не произошло?..» — «С меня хватит!» — «Я не могу больше жить...» — «Старые песни!» И он решительно бросил письмо в

ящик, где хранилось его собственное, к счастью не отосланное, послание, написанное одной безумной ночью, когда он утратил чувство меры.

Неделю спустя, возвращаясь поздним вечером домой, он услышал за собой шаги, как-то особенно прозвучавшие. Он круто повернулся: он увидел женскую фигуру; женщина остановилась и стояла, слегка подняв руки с раскрытыми ладонями. Уже отпирая дверь и входя, он все еще видел ее в полумраке улицы. В комнате он не зажег света. Он стыдился осветить комнату, некогда принадлежавшую ей, зная, что она стоит внизу, во тьме, и жадно вглядывается в его окна. Шел дождь. Сколько часов она ждала? Несомненно, она все еще стоит там и на что-то надеется. Это было невыносимо! Он рванулся к окну, хотел распахнуть его — и попятился. Неожиданно для себя он вдруг очутился на лестнице, с ключом от входных дверей в руках. Едва успел опомниться и вернуться. Наконец он заперся и стал раздеваться. «Побольше выдержки, милейший!» На этот раз ему не так-то легко удалось бы вывернуться. Девушку, конечно, жалко, но ведь на то была ее воля. «На первом месте — мой долг перед самим собой». Утром, плохо выспавшись, он даже рассердился на нее за эту попытку вновь выбить его из колеи. В такой момент, зная, что впереди у него экзамен! Не бессовестно ли! Впрочем, это вполне на нее похоже. Эта ночная сцена, эта роль нищенки под дождем придали теперь ее образу что-то подозрительное и жуткое. В его глазах она окончательно пала. «Никаких уступок, ни в коем случае!» — поклялся он себе и решил переменить квартиру, «даже если придется пожертвовать уплаченным задатком». К счастью, один из студентов как раз искал комнату. Дидерих, ничего не потеряв, тотчас же переселился в отдаленный северный район столицы. Вскоре он сдал последний экзамен. «Новотевтония» чествовала его «утренней» пирушкой, которая длилась до вечера. Когда он пришел домой, ему сказали, что его дожидается какой-то господин. «Вероятно, Вибель,— мелькнуло у него в голове,— пришел, разумеется, поздравить». Его вдруг окрылила надежда: «А не асессор ли это фон Барним?» Он открыл дверь и попятился. В комнате стоял господин Геппель.

И он тоже сначала онемел.

— Во фраке? По какому случаю? — сказал он наконец и прибавил с запинкой: — Вы не от нас ли?

— Нет,— ответил Дидерих и вновь испугался.— Я только что сдал экзамен и получил докторский диплом.

— Вот как! Поздравляю,— сказал Геппель.

Дидерих с трудом выговорил:

— Как вы узнали мой новый адрес?

Геппель ответил:

— Вашей прежней хозяйке вы его, конечно, не оставили. Но существуют и другие способы.

Они посмотрели друг на друга. Геппель говорил спокойно, но Дидериху чудились в его голосе угрожающие нотки. Он все время гнал от себя мысль о катастрофе, и вот она разразилась. Он вынужден был сесть.

— Видите ли, Агнес плохо себя чувствует, вот я и пришел,— начал Геппель.

— О! — воскликнул Дидерих с поддельным ужасом.— Что с ней?

Геппель горестно покачал головой.

— С сердцем неладно; но все это, конечно, чисто нервное... Да, конечно,— повторил он, так и не дождавшись, чтобы Дидерих поддакнул ему.— Она скучает, даже в меланхолию впала, и мне хотелось бы поднять ее настроение. Выходить ей нельзя. Но, может быть, вы к нам пожалуете, завтра как раз воскресенье.

«Спасен,— подумал Дидерих.— Он ничего не знает». От радости он стал дипломатом; он почесал в затылке:

— Я и сам уже к вам собирался. Но заболел наш управляющий фабрикой, и меня срочно вызывают домой. Я даже профессорам своим не могу нанести прощальных визитов, завтра же утром выезжаю.

Геппель положил ему руку на колено.

— Вам следовало бы еще подумать на этот счет. Долг дружбы иной раз тоже кой к чему обязывает.

Он говорил медленно и так пристально смотрел на Дидериха, что тот не выдержал и отвернулся.

— Если бы я мог,— пробормотал Дидерих.

— Вы можете. Вообще в вашей власти сделать все, что делают в таких случаях.

— Каким образом? — Дидерих весь похолодел.

— Вы сами это прекрасно знаете,— сказал отец и, отодвинувшись вместе со стулом, продолжал: — Надеюсь, вы не подумали, что меня послала сюда Агнес? Наоборот, она взяла с меня слово, что я ничего не предприму и оставлю вас в покое. Но, поразмыслив, я решил, что было бы глупо не поговорить с вами напрямик, мы ведь добрые знакомые, и я знал вашего покойного отца, и в деловом отношении мы с вами связаны, и так далее.

Дидерих подумал: «Наши деловые связи приказали долго жить, драгоценнейший!» Он приготовился к защите.

— Я вовсе не уклоняюсь от прямого разговора, господин Геппель.

— Ну и прекрасно. Значит, все в порядке. Я, конечно, понимаю: ни один молодой человек, особенно в наше время, не решается на брак без колебаний и опасений. Но если все так ясно, как у нас с вами? Наши предприятия дополняют одно другое, и если вы захотите расширить свою фабрику, приданое Агнес будет вам большой подмогой.— И, не переводя дыхания, глядя в сторону: — В настоящее время, правда, я мог бы обратить в наличный капитал только двенадцать тысяч марок, но целлюлозы вы могли бы получить сколько хотите.

«Вот видишь? — подумал Дидерих.— И эти двенадцать тысяч тебе еще придется занять... если тебе дадут...»

— Вы меня не поняли, господин Геппель,— пояснил он.— Я и не помышляю о женитьбе. Для этого нужны большие деньги.

Со страхом в глазах, но засмеявшись, Геппель сказал:

— Я мог бы еще кое-что натянуть...

— Ну, что вы, что вы!..— великодушно отмахнулся Дидерих.

Геппель все более терялся.

— Чего же вы хотите?

— Я? Ничего не хочу. Я полагал, что вы чего-то хотите, ведь вы пожаловали ко мне.

Геппель встряхнулся.

— Так нельзя, дорогой Геслинг. После всего, что случилось... И особенно потому, что это так давно уже тянется.

Дидерих смерил старика взглядом и презрительно скривил губы.

— Стало быть, вы знали?

— Уверенности у меня не было,— пробормотал Геппель.

А Дидерих свысока:

— Было бы странно, если была бы.

— Я доверял своей дочери.

— Вот как можно ошибаться,— сказал Дидерих, готовый ухватиться за любое средство защиты.

Лоб Геппеля начал краснеть.

— К вам я тоже питал доверие.

— Это значит, вы считали меня дурачком.— Дидерих сунул руки в карманы и откинулся на спинку стула.

— Нет! — Геппель вскочил.— Но я не считал вас проходимцем, каким вы оказались.

Дидерих встал, соблюдая подобающее в таких случаях спокойствие.

— Надеюсь, вы не откажетесь от сатисфакции? — сказал он.

Геппель закричал:

— Да, это было бы вам кстати! Соблазнить дочь и застрелить отца. Вполне достойный вас подвиг чести.

— Что вы понимаете в вопросах чести! — Дидерих тоже начал горячиться.— Я вашу дочь не соблазнял. Она сама этого хотела, а потом я уж не мог с ней развязаться. Эта черта у нее от вас.— И распалясь: — Где доказательство, что вы не были с ней в сговоре? Это западня!

Глядя на Геппеля, можно было подумать, что он сейчас раскричится громче прежнего. Но он вдруг испугался и сказал обычным голосом, только немного задрожавшим:

— Не будем горячиться в таком серьезном деле. Я обещал Агнес не терять спокойствия.

Дидерих ехидно захохотал:

— Видите? Все это сплошная ложь. Только что вы говорили: Агнес, мол, не знает, что вы здесь.

Отец виновато улыбнулся.

— Немного дружелюбия, и тогда договориться нетрудно. Вы согласны, дорогой Геслинг?

Но Дидерих решил, что переходить на дружеский тон опасно.

— Для вас я не Геслинг! — крикнул он.— Для вас я господин доктор!

— Ах, так! — процедил сквозь зубы Геппель.— Видно, вас еще никто не величал «господином доктором»? Можете, конечно, гордиться обстановкой, при которой это впервые происходит.

— Вы, кажется, намерены оскорбить еще и мою сословную честь?

Геппель отмахнулся.

— Ничего я не намерен оскорблять, я лишь спрашиваю себя, что мы вам сделали, моя дочь и я. Вас в самом деле интересует только приданое?

Дидерих почувствовал, что краснеет. Тем решительнее он ринулся в атаку.

— Если вы так настаиваете, извольте, скажу: мое нравственное чувство не позволяет мне жениться на девушке, которая лишена невинности до брака.

Геппеля, видно, всколыхнул новый взрыв возмущения, но у него уже не было сил на вспышку, он подавил рыдание.

— Если бы вы видели сегодня ее горе! Она во всем призналась мне, потому что сердце ее не выдержало этой муки. Мне кажется, что она и меня уже не любит,— только вас. Ее можно понять, ведь вы первый.

— Откуда я знаю! До того, как я появился в вашем доме, там бывал некий господин Мальман.— И, увидев, что Геппель отпрянул, словно от удара в грудь: — А разве можно знать? Кто раз солжет, тому уж веры нет. Можно ли требовать,— продолжал он,— чтобы я сделал такую особу матерью моих детей? Мой долг перед обществом не позволяет мне этого.

И он повернулся к Геппелю задом, присел на корточки и стал укладывать вещи в раскрытый чемодан.

За его спиной всхлипывал отец Агнес, и Дидерих не мог побороть волнения. Волновало его и благородное, мужественное мировоззрение, изложенное им, и страдания Агнес и ее отца, исцелить которые запрещал ему долг, и мучительное воспоминание о своей любви, и вся эта трагедия рока... С напряженно бьющимся сердцем он слышал, как Геппель открыл дверь и закрыл ее, слышал его шаркающие шаги в передней и стук наружной двери. Все кончено! — и Дидерих зарылся головой в наполовину уложенный чемодан и зарыдал. Вечером он играл Шуберта.

Этим была отдана дань лирическим переживаниям, а теперь следовало одеться в броню. Он ставил себе в пример Вибеля,— вряд ли Вибель когда-нибудь опускался до подобной сентиментальности. Даже такой невежа, не нюхавший корпорантского духа, как Мальман, и тот преподал Дидериху урок: показал ему, что такое беспощадная сила. Он очень сомневался, чтобы у кого-нибудь еще могли быть в душе такие слабые, чувствительные струнки. Это от матери он унаследовал, и, конечно, девушка вроде Агнес, такая же сумасбродка, как его мать, сделала бы его совершенно непригодным для нынешнего сурового времени. Нынешнее суровое время. Слова эти неизменно вызывали в его воображении одну и ту же картину: Унтер-ден-Линден, бурлящая толпами безработных — мужчин, женщин, детей, с их нищетой, страхом, мятежом... и все они укрощены, у них даже исторгнуты крики «ура». Укрощены властью, всеохватывающей, бесчеловечной властью; железная и сверкающая, она словно ступает по головам, все и вся топчет своими копытами.

«Ничего не поделаешь»,— сказал себе Дидерих в восторге смирения. Таким и следует быть! И горе тем, кто не таков: они очутятся под копытами. Какие претензии могут предъ-

явить ему Геппели, отец и дочь? Агнес совершеннолетняя, и ребенка от Дидериха у нее не будет. Стало быть? «Было бы непростительной глупостью себе во вред совершить поступок, к которому меня приневолить не могут. Меня тоже никто не благодетельствует». Дидерих гордился и радовался при мысли о закалке, которую он получил. Корпорация, военная служба, воздух империализма воспитали его, научили приспособляться к жизни. Он дал себе слово, вернувшись в свой родной Нетциг, проводить в жизнь благоприобретенные принципы, быть глашатаем духа времени. Для того чтобы и самая внешность его отражала новое мировоззрение, он на следующее же утро отправился на Миттельштрассе к придворному парикмахеру Габи и решился на новшество, которое все чаще наблюдал теперь среди офицеров и представителей высших кругов. До сих пор оно казалось ему настолько аристократическим, что он не отваживался усвоить его. И вот парикмахер с помощью наусников симметрично уложил ему усы под прямым углом вверх. Когда наусники были сняты, он не узнал себя в зеркале. Оголенный рот с опущенными углами приобрел кошачье-хищное выражение, а кончики усов чуть не упирались в глаза, внушавшие страх даже ему самому, точно они сверкали на лике самой власти.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Спасаясь от дальнейших притязаний со стороны семейства Геппелей, он тотчас же уехал. В купе было нестерпимо жарко. Дидерих, оказавшийся единственным пассажиром, мало-помалу снял с себя все: сюртук, жилет, ботинки. За несколько остановок до Нетцига одиночество его было нарушено двумя дамами, по виду иностранками. Их явно оскорблял вид его фланелевой рубашки, а его раздражала их чрезмерная элегантность. Они заговорили на каком-то непонятном языке,— видимо, выразили ему протест, но он только пожал плечами и положил ноги в носках на скамью. Дамы зажали носы, взывая о помощи. Пришел проводник, за ним и сам начальник поезда, но Дидерих предъявил билет второго класса и сказал, что вправе вести себя, как ему угодно. Он даже намекнул, что язык, мол, распускать опасно, ведь в поезде никогда не знаешь, кто перед тобой. Дидерих одержал победу, и дамы покинули купе, но их сменила новая пассажирка. Он встретил ее решительным взглядом, она же попросту вытащила из сумки колбасу и, улыбнувшись Дидериху, стала есть с куска. Обезоруженный, он и сам просиял широкой улыб-

кой. Разговорились. Выяснилось, что она из Нетцига. Он назвал себя, она в ответ радостно вскрикнула,— как же, ведь они старые знакомые.

— Да ну? — Дидерих воззрился на нее. Он разглядывал ее пухлое розовое лицо с мясистыми губами и дерзким вздернутым носиком, белокурые волосы, гладко и аккуратно причесанные, молодую жирную шею и пальцы, сжимавшие колбасу и торчавшие из митенок тоже как розовые сосиски.

— Нет,— заявил он решительно,— знать вас я не знаю, но что вы чрезвычайно аппетитны, это бесспорно. Совсем как розовый поросеночек.— И он обхватил ее за талию. В тот же миг она закатила ему оплеуху.— Знатно! — сказал он и потер щеку.— И много у вас таких припасено?

— На всех нахалов хватит!

Она залилась воркующим смехом, бесстыдно подмигнув ему маленькими глазками.

— Кусок колбасы можете получить, а на большее не рассчитывайте!

Он невольно сравнил ее манеру защищаться с безответностью Агнес и подумал: «На такой можно спокойно жениться».

Наконец она назвала себя, но только по имени, и, так как он все еще не узнавал ее, стала расспрашивать о его сестрах.

— Густа Даймхен! — воскликнул он, и оба радостно захохотали.

— Помните, как вы мне дарили пуговицы, которые срезали с лоскутков на вашей фабрике? Ах, господин доктор, этого я никогда не забуду. Знаете, что я с ними делала? Припрятывала, а когда мать давала мне деньги на пуговицы, покупала себе конфеты.

— Значит, вы еще и практичны! — Дидерих был в восторге.— Помню, как вы девчонкой лазили к нам через ограду. Панталон вы обычно не носили, и когда юбочка задиралась, чего только, бывало, снизу не увидишь!

Она взвизгнула: воспитанные люди не вспоминают о таких вещах.

— Теперь все это, конечно, еще обольстительнее,— добавил он. Она сразу перестала смеяться:

— Я помолвлена!

Она помолвлена с Вольфгангом Буком! Дидерих, скорчив разочарованную мину, умолк. Потом сдержанно сказал, что знает Бука.

Она осторожно спросила:

— Вы, вероятно, считаете его взбалмошным? Но Буки ведь очень аристократическая семья. Правда, есть семьи побогаче...

Изумленный Дидерих вскинул на нее глаза. Она подмигнула. На языке у него вертелся вопрос, но вся его отвага сразу испарилась.

Уже под самым Нетцигом фрейлейн Даймхен осведомилась:

— А ваше сердце, господин доктор, еще свободно?

— От помолвки пока удалось отвертеться...— Он многозначительно кивнул.

— Ах, вы непременно должны мне все рассказать! — воскликнула она. Но поезд уже подходил к перрону.

— Надеюсь, мы еще встретимся, и даже в ближайшем будущем,— заключил разговор Дидерих.— Замечу только, что молодой человек иной раз оказывается черт знает в каком щекотливом положении. Одно неосторожно сказанное слово — и жизнь испорчена.

Обе сестры Дидериха встречали его на перроне. Увидев Густу Даймхен, они сначала презрительно поджали губы, но затем кинулись ей навстречу и помогли нести вещи. Оставшись с Дидерихом втроем, они объяснили, почему так усердствовали. Оказывается, Густа получила наследство. Она миллионерша. Так вот оно что! Он онемел от благоговения.

Сестры поспешили сообщить ему подробности. Какой-то старый родственник в Магдебурге, за которым Густа ухаживала до самой его смерти, завещал ей весь свой капитал.

— Недешево он ей достался,— заметила Эмми,— старик, говорят, под конец был ужасно неаппетитен.

— Да и вообще, кто знает, что там у них было,— подхватила Магда,— ведь она целый год прожила с ним одна.

Дидерих вспылил.

— О таких вещах молодой девушке не пристало рассуждать! — крикнул он сердито; а на уверения Магды, что они слышали это от Инги Тиц и Меты Гарниш и вообще от всех, он заявил: — Я требую, чтобы вы решительно пресекали подобные разговоры.

Наступило молчание.

— Густа, кстати сказать, помолвлена,— заметила Эмми.

— Знаю,— буркнул Дидерих.

Навстречу то и дело попадались знакомые, Дидериха со всех сторон величали «господином доктором»; сияя, он гордо выступал между Эмми и Магдой, а те поглядывали на него сбоку, восторгаясь его великолепными модными усами. Фрау Геслинг, увидев сына, раскрыла ему объятия и вскрикнула, словно

погибающая, вдруг узревшая своего спасителя. Дидерих неожиданно для себя прослезился. Он вдруг ощутил торжественность этой знаменательной минуты — впервые переступал он порог своего дома с докторским дипломом в кармане, полновластным главой семьи, обязанным по собственному просвещенному разумению управлять семьей и фабрикой. Он протянул руки матери и сестрам, всем сразу, и сказал проникновенно:

— Всегда буду помнить, что обязан держать за вас ответ перед господом богом.

Однако фрау Геслинг была явно чем-то обеспокоена.

— Ты готов, сын мой? — спросила она.— Наши люди ждут тебя.

Дидерих допил пиво и, возглавив шествие, спустился с матерью и сестрами вниз. Двор был чисто подметен, вход на фабрику обрамлен гирляндами и лентой с надписью: «Добро пожаловать!» Их встретил старый бухгалтер Зетбир.

— Ну, здравствуйте, господин доктор! — сказал он.— Я хотел подняться к вам наверх, да задержали дела.

— По такому случаю можно было бы отложить их,— бросил Дидерих на ходу и прошел мимо Зетбира.

В тряпичном цехе собрались рабочие. Они стояли, сгрудившись: двенадцать человек, обслуживающих машины — бумажную, резальную и голландер, три конторщика и сортировщицы тряпья. Мужчины откашливались, произошла какая-то заминка. Наконец женщины вытолкнули вперед маленькую девочку; держа перед собой букет цветов, девочка чистым, высоким голоском сказала господину доктору «добро пожаловать» и пожелала ему счастья. Дидерих благосклонно взял букет; пришла его очередь откашляться. Он оглянулся на своих, потом пробуравил острым взглядом каждого рабочего в отдельности, в том числе и чернобородого механика, хотя ответный взгляд этого человека он выдержал с трудом, и сказал:

— Слушайте все! Я, ваш хозяин, заявляю вам, что отныне работа на фабрике пойдет на всех парах! Я намерен вдохнуть жизнь в свое предприятие. Последнее время многие, пользуясь отсутствием хозяина, решили, очевидно, что можно работать спустя рукава, но эти люди глубоко ошибаются; я имею в виду главным образом стариков, которые поступили на фабрику еще при моем покойном отце.

Он повысил голос, еще резче и отрывистей чеканя слова. Глядя на старика Зетбира, он продолжал:

— Отныне я сам становлюсь за штурвал. Курс, взятый мною, верен, я поведу вас к благоденствию. Всех, кто хочет мне

помочь, приветствую от души, тех же, кто вздумает стать мне поперек дороги, сокрушу!

Он попытался метнуть испепеляющий взор, кончики его усов полезли вверх.

— Здесь только один хозяин, и это — я. Лишь перед богом и собственной совестью обязан я держать ответ. Всегда буду вам отцом и благодетелем. Но помните: любые бунтарские поползновения разобьются о мою несгибаемую волю. Если обнаружится, что кто-либо из вас снюхался...

Он вперил взгляд в чернобородого механика, придавшего своему лицу загадочное выражение.

— ...с социал-демократами, я немедленно вышвырну его вон. В моих глазах всякий социал-демократ — это враг моего предприятия, враг фатерланда... Вот так. А теперь беритесь за работу и как следует поразмыслите над тем, что я сказал.

Он круто повернулся и, громко сопя, вышел из цеха. Опьяненный собственными звучными фразами, он не узнавал ни одного лица. Мать и сестры двинулись следом, подавленные и почтительные, рабочие же, прежде чем приняться за пиво, выставленное хозяевами по случаю столь торжественного дня, долго еще молча переглядывались.

Дома Дидерих изложил матери и сестрам свои планы. Фабрику, сказал он, необходимо расширить, и для этого он намерен приобрести соседний дом. Надо подмять под себя конкурентов. Завоевать место под солнцем! Старик Клюзинг, как видно, возомнил, что он со своей гаузенфельдской бумажной фабрикой так и будет до скончания веков один царить в бумажной промышленности...

Магда спросила, откуда Дидерих возьмет деньги на все это. Но фрау Геслинг пожурила ее за дерзость:

— Твоему брату лучше знать. Не одна девушка была бы счастлива завладеть его сердцем! — прибавила она осторожно и, ожидая гневной вспышки сына, прикрыла рот рукой. Но Дидерих только покраснел. Тогда она отважилась и обняла его.— Мне, понятно, было бы страшно тяжело,— всхлипнула она,— если бы мой сын, мой милый сын покинул наш дом. Для вдовы это особенно чувствительно. Фрау Даймхен, бедненькая, переживает теперь то же самое, ведь ее Густа выходит замуж за Вольфганга Бука.

— Это еще бабушка надвое сказала,— ввернула Эмми, старшая дочь.— Ведь Вольфганг путается с какой-то актрисой...

На сей раз фрау Геслинг забыла призвать дочь к порядку.

— Но у нее ведь такие деньги! Говорят, миллион!

Дидерих презрительно фыркнул, он знает Бука — ненормальный субъект.

— Это у них в роду. Старик тоже ведь был женат на актрисе.

— То-то и оно,— заметила Эмми.— Вот и о дочери его, фрау Лауэр, тоже разное говорят.

— Дети! — испуганно взмолилась фрау Геслинг. Но Дидерих успокоил ее:

— Да что ты, мама! Пора назвать вещи своими именами. По-моему, Буки давно уже не заслуживают того положения, какое занимают в городе. Это свихнувшаяся семья.

— Жена старшего сына Бука, Морица, простая крестьянка,— сказала Магда.— Они как раз недавно побывали в Нетциге. Он и сам уже мужик мужиком.

— А брат старого Бука? — возмущалась Эмми.— Одет всегда щеголем, а дома пять дочерей на выданье! Они посылают за супом в благотворительную столовую. Мне это доподлинно известно.

— Ну, столовую учредил ведь господин Бук,— отозвался Дидерих.— И попечительство об отбывших срок заключенных, и чего-чего только он не учредил. Интересно знать, когда он находит время заниматься собственными делами?

— Меня не слишком бы удивило,— сказала фрау Геслинг,— если бы дел этих оказалось не так уж много. Хотя я, разумеется, благоговею перед господином Буком. Ведь его все уважают.

— Почему, скажите на милость? — Дидерих злобно рассмеялся.— С детства нам внушали почтение к старому Буку! Он, дескать, первое лицо в городе! В сорок восьмом, видите ли, был приговорен к смертной казни!

— Это историческая заслуга — так всегда говорил твой отец.

— Заслуга? — возопил Дидерих.— Всякий, кто восстает против правительства, для меня конченый человек. Неужели измену можно называть заслугой?

И он пустился перед изумленными женщинами в политические рассуждения. Позор для Нетцига, что отжившие свой век демократы все еще играют первую скрипку в городе. Это же мягкотелые люди, лишенные верноподданнических чувств! Они в постоянной вражде с правительством! Сущая насмешка над духом времени! Почему у нас такой застой в делах, нет кредита? Да потому, что в рейхстаге сидит член суда Кюлеман, друг пресловутого Эйгена Рихтера! Само собой разумеется, что такое гнездо вольнодумцев, как Нетциг, не включают в сеть главных

железнодорожных путей и не дают ему гарнизона. Нет притока населения, нет никакой жизни! В магистрате засело несколько семей, и ни для кого не тайна, что все заказы они распределяют между собой, у остальных же только слюнки текут. Гаузенфельдская бумажная фабрика снабжает бумагой весь город, потому что ее владелец Клюзинг из той же банды старика Бука.

И Магда также могла привести кое-какие факты.

— На днях,— сказала она,— в нашем кружке отменили любительский спектакль, потому что, изволите ли видеть, заболела дочь старика Бука, фрау Лауэр. Ведь это форменный попизм!

— Не попизм, а непотизм,— строго поправил сестру Дидерих. И, свирепо поводя глазами, продолжал: — В довершение всего Лауэр еще и социалист. Но несдобровать старику Буку! Пусть знает: мы ему спуску не дадим!

Фрау Геслинг умоляюще воздела руки к потолку:

— Дорогой мой сын! Обещай мне, что, когда будешь делать визиты в городе, ты побываешь у господина Бука. Он пользуется таким влиянием!

Но Дидерих не обещал.

— Надо дать дорогу и другим! — крикнул он.

Все же ночью он спал неспокойно. В семь утра уже спустился на фабрику и тотчас же поднял шум из-за того, что со вчерашнего дня повсюду валяются бутылки из-под пива.

— Это вам не место для попоек, тут не кабак! Разве не сказано об этом у нас в правилах внутреннего распорядка, господин Зетбир?

— В правилах? — переспросил старый бухгалтер.— У нас никаких правил нет.

Дидерих лишился дара речи, он заперся с Зетбиром в конторе.

— Никаких правил? В таком случае я ничему больше не удивляюсь. Что это за смехотворные заказы? Какая-то мышиная возня! — Он перебирал письма, швыряя их одно за другим на стол.— По-видимому, я вовремя взялся за дело. В ваших руках все идет прахом.

— То есть как это прахом, молодой хозяин?

— Для вас я господин доктор! — И Дидерих без околичностей потребовал снизить цены, чтобы подорвать конкурентов, забить все остальные фабрики.

— Это нам не под силу,— возразил Зетбир.— Да мы и не в состоянии выполнять такие крупные заказы, как гаузенфельдская фабрика.

— И вы еще смеете называть себя деловым человеком? Надо приобрести больше машин.

— Для этого нужны деньги,— сказал Зетбир.

— Получим в кредит! Я вас научу работать! Только диву дадитесь. А не захотите меня поддержать, обойдусь без вас.

Зетбир покачал головой.

— С вашим отцом, молодой человек, мы работали в полном согласии. Вместе начинали дело, вместе ставили его на ноги.

— Нынче не те времена, зарубите себе на носу. Я сам буду управлять своей фабрикой.

— Вот она, бурная молодость! — вздохнул Зетбир.

Но Дидерих уже хлопнул дверью. Он прошел через цех, где механические барабаны с грохотом перемывали в хлористом растворе тряпье, и направился в помещение, где был установлен большой голландер. В дверях он неожиданно наскочил на чернобородого механика. Дидерих вздрогнул и уже хотел уступить ему дорогу, но вовремя опомнился и в отместку за свой испуг, проходя мимо, толкнул его плечом. Отдуваясь, он смотрел, как работает голландер, как вертится барабан, как ножи раздергивают ткань на волокна. А может быть, рабочие заметили, что он испугался чернобородого, и исподтишка ухмыляются? «Наглец! Вышвырнуть его вон!» Зоологическая ненависть вспыхнула в Дидерихе, ненависть белокурой особи к темнокожей и костлявой, словно к человеку другой, враждебной расы, которую ему так хотелось бы считать низшей и которой он боялся. Он вскипел.

— Барабан неправильно поставлен, ножи плохо работают.— Рабочие только посмотрели на него. Тогда он заорал: — Механик! — Чернобородый подошел.— Ослепли вы, что ли, не видите этого безобразия? Барабан придвинут слишком низко к ножам, они все тут в порошок сотрут. Вы ответите за убытки.

Рабочий наклонился над машиной.

— Никаких убытков не будет,— спокойно сказал он, но Дидерих уже опять терзался сомнением, не ухмыляется ли тот в свою черную бороду? В угрюмом взгляде механика сквозила насмешка. Дидерих не выдержал этого взгляда, он даже позабыл метнуть испепеляющий взор и только руками размахивал.

— Вы мне ответите!

— Что случилось? — спросил Зетбир, прибежавший на шум. Он объяснил хозяину, что волокна имеют нормальную толщину и что так делалось всегда. Рабочие утвердительно кивали, механик спокойно стоял рядом. Дидерих, понимая, что ему не хватает практических познаний для спора с этими людьми, лишь крикнул:

— В таком случае впредь извольте делать по-другому! — круто повернулся и вышел вон.

Войдя в тряпичный цех, он напустил на себя важность и с видом знатока наблюдал, как работницы, сидя за длинными решетчатыми столами, сортируют тряпье. А когда одна из них, молоденькая темноглазая девушка, вздумала чуть-чуть улыбнуться ему из-под пестрого головного платка, она увидела такую неприступную мину, что оробела и втянула голову в плечи. Из пухлых мешков текли разноцветные лоскутья; шептавшиеся женщины умолкали под взглядом хозяина, в нагретом спертом воздухе раздавалось лишь лязганье вделанных в столы полукруглых ножей, срезавших пуговицы. Но Дидериху, щупавшему трубы отопления, почудились какие-то подозрительные звуки. Он заглянул за наваленные горой мешки — и, наливаясь кровью, шевеля усами, отпрянул.

— Ну, знаете, дальше некуда! Выходите, слышите? — Из-под мешков вылез молодой рабочий.— И девка тоже! — кричал Дидерих.— Долго еще я буду ждать? — Показалась девушка; Дидерих стоял подбоченясь. Да, тут, видно, не скучают: его фабрика это не только кабак, а еще кое-что похлеще! Он так орал, что из всех цехов сбежались рабочие.

— И давно это, господин Зетбир, у вас заведены такие порядки? Поздравляю! Люди, значит, в рабочее время развлекаются за кучей мешков! Как попал в цех парень?

Молодой рабочий заявил, что девушка его невеста.

— Невеста? Здесь нет никаких невест, здесь только рабочие и работницы. Вы воруете у меня оплаченное время. Вы — скоты и вдобавок воры. Я вас вышвырну вон, да еще подам в суд за публичный разврат.

Он окидывал всех воинственными взглядами.

— Я требую от своих рабочих немецкого добронравия и благопристойности. Понятно? — В поле его зрения попал механик.— И я добьюсь своего, какие бы вы ни корчили рожи.

— Я и не думал корчить рожи,— спокойно сказал рабочий. Но Дидерих не в силах был остановиться. Наконец-то он поймал этого человека с поличным.

— Я давно взял вас на заметку! Вы не выполняете своих обязанностей, иначе я не накрыл бы здесь эту пару.

— Я не надсмотрщик,— прервал механик словоизвержения хозяина.

— Вы бунтарь, вы потворствуете рабочим и развели тут разврат. Вы подкапываетесь под устои империи. Ваше имя?

— Наполеон Фишер,— ответил механик.

Дидерих поперхнулся:

— Нап... Этого еще не хватало! Социал-демократ?

— Да, социал-демократ!

— Так я и знал! Вы уволены! — Повернувшись к рабочим, он добавил только: — Видели? Так намотайте себе на ус! — и выскочил из цеха. Во дворе его нагнал Зетбир.

— Хозяин!..

Старик был сильно взбудоражен. Он ни о чем не хотел говорить, прежде чем дверь конторы не захлопнулась за ними.

— Хозяин! — повторил старый бухгалтер.— Так нельзя, он член профессионального союза.

— Именно поэтому его надо гнать вон! — крикнул Дидерих.

Зетбир повторил, что так делать нельзя, рабочие бросят работу. Дидерих отказывался это понять. Неужели все рабочие — члены профессионального союза? Нет? В чем же дело? Они боятся «красных», пояснил Зетбир, даже на стариков нынче трудно положиться.

— Я их вышвырну! Всех до единого вместе с потрохами, чтобы духу их здесь не было!

— Если бы можно было нанять других! — сказал Зетбир, с тонкой улыбкой глядя из-под своего зеленого козырька на молодого хозяина, который от бешенства готов был на стенку лезть. Дидерих кричал:

— Хозяин я на своей фабрике или не хозяин? Я обязан следить за...

Зетбир подождал, пока он отбушует, потом сказал:

— Вам, господин доктор, не придется ничего говорить Фишеру. Он все равно не уйдет, он знает, что мы не оберемся неприятностей.

Дидерих еще раз вскипел.

— Так. Выходит, мне можно и не просить его оказать снисхождение и не покидать фабрику? Его превосходительство Наполеон! Можно даже не приглашать его на обед в воскресенье? Впрочем, для меня это было бы слишком большой честью!

Он побагровел, лицо его, налитое кровью, вздулось, ему показалось тесно в комнате, он рывком распахнул двери. Как раз в эту минуту механик шел мимо. Дидерих посмотрел ему вслед. Ненависть обострила его чувства, ему одновременно бросились в глаза кривые тощие ноги, костлявые плечи, уныло свисающие руки... А когда механик заговорил с рабочими, Дидерих увидел, как заходила под редкой черной бородой его массивная челюсть. До чего он ненавидит этот рот, эти узловатые руки! Фишер дав-

но уже исчез из виду, а Дидериху все еще слышался запах пота, исходивший от этого человека.

— Вы только поглядите, Зетбир, передние лапы свисают у него чуть не до полу. Он скоро побежит на четвереньках и будет щелкать орехи. Мы этой обезьяне подставим ножку, будьте покойны! Наполеон! Уже одно имя чего стоит! Но пусть не забывается. Могу вас твердо заверить: один из нас,— Дидерих свирепо повел глазами,— ляжет тут костьми.

Надменно вскинув подбородок, он вышел. Дома он облачился в черный сюртук и отправился засвидетельствовать свое почтение наиболее видным лицам города. С Мейзештрассе попасть к бургомистру Шеффельвейсу, жившему на Швейнихенштрассе, можно было прямо через Вухерерштрассе, ныне переименованную в Кайзер-Вильгельмштрассе. Туда Дидерих и подался было, но в последнее мгновение, точно по тайному уговору с самим собой, все же свернул на Флейшхауэргрубе. Две ступеньки, которые вели на крыльцо дома старого Бука, были стерты ногами двух поколений горожан. Дидерих дернул звонок у желтой застекленной двери, и нежилая тишина дома огласилась долгим дребезжанием. Где-то в задних комнатах хлопнула дверь, по коридору зашлепала старая служанка. Но ее опередил хозяин: он вышел из своего кабинета и отпер сам. Господин Бук взял за руку Дидериха, усердно отвешивавшего поклоны, и втянул его в переднюю.

— Дорогой мой Геслинг! Я ждал вас, мне сообщили о вашем приезде. Добро пожаловать в Нетциг, господин доктор!

Глаза у Дидериха мгновенно увлажнились, он забормотал:

— Как вы добры, господин Бук! Я, конечно, прежде всего решил засвидетельствовать вам свое почтение и заверить, что я всегда и всецело... всегда к вашим услугам! — отбарабанил он бодро, как хороший ученик. Бук все еще крепко сжимал его руку своей теплой и в то же время как бы невесомой мягкой рукой.

— Услуги...— Старик собственноручно придвинул Дидериху кресло.— Вы их, разумеется, окажете, но не мне, а вашим согражданам, они же, в свою очередь, не останутся перед вами в долгу и очень скоро изберут вас в гласные. Это я, кажется, могу твердо обещать вам. Тем самым они воздадут должное всеми уважаемой семье! А там...— старик сделал торжественный и многообещающий жест,— а там всецело полагаюсь на вас и думаю, что в самом недалеком будущем мы сможем приветствовать вас в магистрате.

Дидерих поклонился, сияя счастливой улыбкой, словно к нему уже со всех сторон неслись приветствия.

— Не могу сказать,— продолжал старик,— чтобы взгляды, господствующие в нашем городе, были во всех отношениях удовлетворительны...— Белый клин его бороды зарылся в шелковый шейный платок.— Но есть еще поле деятельности для подлинных либералов,— борода снова вынырнула,— и если на то будет воля божия, мы еще повоюем.

— Я, разумеется, либерал до мозга костей,— заверил Дидерих.

Старик погладил бумаги, лежавшие на письменном столе.

— Ваш покойный батюшка не раз сиживал здесь, особенно в ту пору, когда строил фабрику. К моему величайшему удовольствию, я мог оказать ему содействие. Я говорю о ручье, который ныне протекает через ваш двор.

Дидерих проникновенно сказал:

— Как часто, господин Бук, отец говорил, что только вам он обязан ручьем, без которого было бы немыслимо наше существование.

— Вы не правы; не мне одному, а справедливым порядкам в нашем городском самоуправлении, в которых, однако,— господин Бук поднял белый указательный палец и глубокомысленно взглянул на Дидериха,— известные лица и известная партия желали бы многое изменить, да руки коротки.— Он повысил голос, и в нем зазвучали патетические нотки: — Враг у ворот, сомкнем ряды!

Старик выдержал паузу и продолжал уже более спокойным тоном и даже с легкой усмешкой:

— Разве вы, господин доктор, не начинаете с того же, с чего в свое время начал ваш отец? Мечтаете расширить фабрику, строите планы, не правда ли?

— Само собой! — И Дидерих с жаром принялся излагать свои замыслы. Старик внимательно выслушал, кивнул, взял понюшку табаку.

— Насколько я понимаю,— сказал он наконец,— перестройка вашей фабрики требует не только значительных денежных затрат; возможно, что городская строительная инспекция будет чинить вам трудности. Мне, кстати сказать, приходится в магистрате сталкиваться с нею. А теперь, дорогой мой Геслинг, посмотрите-ка, что лежит у меня на столе.

И Дидерих увидел точный план своего земельного участка вместе с соседним. На его лице выразилось изумление, и господин Бук удовлетворенно улыбнулся.

— Я, пожалуй, смогу помочь вам устранить препятствия,— сказал он и в ответ на изъявления благодарности, в которых рассыпался Дидерих, прибавил: — Оказывать содействие друзьям — значит служить нашему великому делу, ибо друзья партии народа — это все, кроме тиранов.

Господин Бук откинулся на спинку кресла и сложил руки. Лицо его разгладилось, он сердечно, как добрый дедушка, кивнул Дидериху.

— В детстве у вас были такие прелестные белокурые волосы,— сказал он.

Дидерих понял, что официальная часть беседы закончена.

— Я вспоминаю,— осмелился он поддержать разговор,— как совсем еще малышом приходил сюда играть в солдатики с вашим уважаемым сыном Вольфгангом.

— Да, да, он теперь опять играет в солдатики.

— О, его очень любят офицеры. Он сам говорил мне.

— Я был бы рад, господин Геслинг, если бы он хотя бы наполовину обладал присущей вам практической жилкой... Ну, ничего, женится — переменится.

— В вашем сыне, по-моему, есть что-то гениальное,— сказал Дидерих.— Поэтому его ничто не удовлетворяет, и он не может принять решение: то ли ему генералом стать, то ли еще как выйти в большие люди.

— А пока, к сожалению, он делает глупости.

Старик устремил взгляд в окно. Дидерих не посмел дать волю своему любопытству.

— Глупости? Не могу себе представить, право! Его ум, его способности всегда меня восхищали. Еще на школьной скамье. Его сочинения, например... А как хорошо он сказал о нашем кайзере: его величество охотно стал бы первым вождем рабочих...

— Избави боже рабочих...

— Почему? — Дидерих был чрезвычайно изумлен.

— Потому, что рабочим от этого не поздоровилось бы. Да и нам бы это впрок не пошло.

— Но ведь если бы не Гогенцоллерны, у нас не было бы теперь единой Германской империи.

— Ее у нас и нет,— сказал Бук и с неожиданной легкостью вскочил с места.— Для того чтобы создать подлинное единство, нужно свободное волеизъявление, а где оно у нас? «Едиными вы себя мните, но спаяла вас рабства чума». Весной семьдесят первого это крикнул упоенным победой немцам Гервег, такой же обломок прошлого, как я сам. Что сказал бы он нынче?

Перед этим голосом из потустороннего мира Дидерих мог лишь промямлить:

— Ах да, вы ведь участник событий сорок восьмого года...

— Правильнее было бы сказать, дорогой мой юный друг,— безумец и побежденный. Да, мы потерпели поражение, так как были столь наивны, что верили в народ. Нам казалось, что он сам сможет добыть то, что теперь, расплачиваясь ценой своей свободы, получает из рук повелителей. Мы воображали, что он могуч, богат, трезво оценивает свое положение и полон веры в будущее. Мы не понимали, что этот народ, политически еще более отсталый, чем другие, после взлета окажется во власти сил прошлого. Уже в наше время было много, слишком много людей, равнодушных к общему делу,— они преследовали личные интересы и, пригретые каким-нибудь милостивцем, были рады-радехоньки, что могут удовлетворять свою низменную жажду роскоши и наслаждений. Нынче таким людям имя легион, ибо со всех снята забота об общем благе. Ваши правители уже сделали вас великой державой, и пока вы наживаете капиталы, как умеете, и тратите их, как хотите, они построят вам, вернее — себе, еще и флот, который в ту пору мы построили бы сами. Только теперь вы поймете слова, сказанные в те дни нашим поэтом: «И в бороздах, Колумбом проведенных, грядущее Германии восходит».

— Бисмарк действительно кое-что сделал,— сказал Дидерих с чуть заметной ноткой торжества в голосе.

— В том-то и суть, что ему позволили это сделать. И хотя осуществил он все собственными руками, формально он действовал от имени властелина. Могу сказать с полным правом, мы, люди сорок восьмого, были много честнее. Я тогда сам расплатился за свои дерзания.

— Да, я знаю, вы были приговорены к смерти,— сказал Дидерих, опять сомлев от благоговения.

— Я был приговорен к смертной казни, ибо я защищал суверенитет Национального собрания против самовластия и повел на восстание народ, прибегший к самообороне. Единство Германии, которое мы хранили в наших сердцах, было долгом нашей совести, все вместе и каждый в отдельности мы несли за него ответственность. Нет! Мы не прославляли так называемых творцов германского единства. Когда, выданный на милость победителя, я вместе с последними моими друзьями ожидал здесь, в моем доме, прихода королевских солдат, я, великий или ничтожный, был человеком, я сам боролся за свой идеал. Я был одним из многих, но человеком. Куда девались нынче люди?

Старик умолк, и лицо у него было такое, точно он прислушивался к чему-то. Дидериха бросало в жар и холод. Он чувствовал, что молчать в ответ на эти речи больше нельзя. Он сказал:

— Теперь германский народ, слава богу, уже не народ мыслителей и поэтов, теперь он ставит перед собой практические цели, диктуемые духом времени.

Старик, погруженный в свои думы, встрепенулся и, указывая пальцем в потолок, сказал:

— В те времена у меня бывал весь город, теперь мой дом пуст, как никогда, последним покинул его Вольфганг. Я готов от всего устраниться, но свое прошлое, молодой человек, нужно уважать даже в том случае, если оказываешься в числе побежденных.

— Без сомнения,— сказал Дидерих.— Да вы ведь по сей день самый влиятельный человек в городе. Только и слышишь — это город господина Бука.

— Да ничего такого мне вовсе не надо, пусть он сам себе будет хозяином.— Старик глубоко вздохнул.— Это дело сложное и запутанное, вы исподволь начнете разбираться в нем, когда познакомитесь с нашим самоуправлением. Что ни день, правительственные власти и их хозяева в лице юнкеров наседают на нас все сильнее. Сегодня нас заставляют снабжать светом помещиков, которые нам не платят никаких налогов, завтра нас обяжут строить для них дороги. В конце концов и самое самоуправление под угрозой. Вы вскоре убедитесь, что мы живем в осажденном городе.

Дидерих снисходительно улыбнулся.

— Все это, я полагаю, не так уж страшно, ведь наш кайзер человек насквозь современный?

— Ну, разумеется,— сказал Бук. Он поднялся, покачал головой, но... продпочел промолчать. Он протянул Дидериху руку.

— Милейший доктор, мне ваша дружба так же дорога, как в свое время — дружба вашего покойного отца. Сегодняшняя беседа дает мне право надеяться, что мы и с вами будем во всем единодушны.

В синих глазах старика сияло столько теплоты, что Дидерих ударил себя в грудь:

— Я либерал до мозга костей.

— Больше всего берегитесь регирунгспрезидента фон Вулкова. Это враг, которого навязали нам на шею. Магистрат поддерживает с ним только самые необходимые отношения. Я имею

честь состоять в числе тех, с кем этот господин не раскланивается.

— Да что вы? — воскликнул Дидерих, искренне потрясенный.

Бук уже открывал перед ним двери, но, казалось, он еще над чем-то раздумывает.

— Погодите! — Он торопливо подошел к книжным полкам, нагнулся и вынырнул из пыльной глубины с квадратным томиком в руках. Слегка покраснев, с затаенным сиянием в глазах, старик быстрым движением протянул его Дидериху.

— Вот, возьмите. Это мои «Набатные колокола». Мы и поэтами были... в ту пору.— И он мягко подтолкнул Дидериха к выходу.

Флейшхауэргрубе круто поднималась в гору, но Дидерих запыхался не только по этой причине. Сквозь смятение первых минут постепенно пробилась мысль, что он свалял дурака. «Ведь этот старый болтун не больше, чем пугало воронье, а я на него чуть ли не молюсь». Смутно вспомнилось детство, когда старик Бук, в сорок восьмом приговоренный к смертной казни, внушал ему такой же страх и трепет, как постовой, стоявший на углу, и привидение в замке. «Неужели я навсегда останусь тряпкой? Другой на моем месте сразу оборвал бы его! Да и черт знает какие неприятности могут произойти оттого, что я молча выслушивал такие компрометирующие речи, а если возражал, то слишком слабо». Дидерих придумывал впрок энергические ответы. «Старик, конечно, расставил мне сети. Хотел захватить меня врасплох и обезвредить. Да не на таковского напал!» Воинственно шагая по Кайзер-Вильгельмштрассе, Дидерих стискивал кулаки в кармане. «Пока еще придется поддерживать отношения. Но пусть только сила окажется на моей стороне, тогда ему несдобровать».

Дом бургомистра, свежевыкрашенный масляной краской, ослепительно сверкал зеркальными стеклами окон. Дидериха встретила хорошенькая горничная. По лестнице, освещенной лампой, которую держал в руках приветливо улыбающийся терракотовый мальчик, Дидерих поднялся в переднюю, где перед каждым предметом, будь то даже подставка для зонтов, был разостлан маленький коврик. Из передней его ввели в столовую. Под гастрономическими картинами, висевшими на обшитых светлым деревом стенах, бургомистр и неизвестный Дидериху господин сидели за вторым завтраком. Доктор Шеффельвейс подал

Дидериху бледную руку и окинул его взглядом поверх пенсне. Непонятно было, видит ли он того, на кого смотрит, так мутен был взгляд этих глаз, бесцветных, как и все лицо, с разлетающимися, жиденькими, тоже какими-то мутными бачками. Бургомистр несколько раз безуспешно пытался завязать разговор, пока, наконец, не нашел подходящего начала.

— Замечательные шрамы,— сказал он и повернулся к первому гостю: — Вы не находите?

Дидерих насторожился: гость сильно смахивал на еврея. Но бургомистр отрекомендовал его:

— Господин асессор Ядассон из прокуратуры,— после чего Дидериху оставалось только отвесить низкий поклон.

— Не тратьте драгоценного времени,— сказал бургомистр,— мы только-только начинаем.

Он налил Дидериху пива и пододвинул семгу.

— Жена и теща в городе, дети в школе, вот я и блаженствую на холостяцком положении. Хоть час — да мой! За ваше здоровье!

Господин из прокуратуры, смахивающий на еврея, никого и ничего не замечал, кроме хорошенькой горничной. Пока она что-то переставляла на столе рядом с ним, одна его рука скрылась из виду. Управившись, девушка вышла, и асессор Ядассон уже собирался заговорить о делах общественных, но бургомистр настойчиво бубнил о своем:

— Обе дамы раньше, чем к обеду, не вернутся, теща отправилась к зубному врачу. Я знаю, что это значит, с ней не скоро справишься, а тем временем дом в нашем полном распоряжении.

Он достал из буфета ликер, сначала сам его расхвалил, потом предложил гостям оценить его по достоинству и с полным ртом продолжал монотонно превозносить эти идиллические предобеденные часы. Однако, несмотря на все блаженство, на лице его все явственнее проступала тень озабоченности — он, видно, чувствовал, что в таком духе разговор не может продолжаться, и после общего минутного молчания решился:

— Осмелюсь высказать предположение, господин доктор Геслинг... Мы с вами ведь не ближайшие соседи, и я счел бы вполне естественным, если бы вы сначала посетили кой-кого из других официальных лиц в городе.

Дидерих собирался уже соврать и заранее покраснел. «Все равно раскроется»,— вовремя спохватился он и сказал:

— Совершенно верно, я разрешил себе... То есть, само собой, я направился прежде всего к вам, господин бургомистр.

И только из уважения к памяти моего покойного отца, можно сказать, благоговевшего перед господином Буком...

— Понятно, совершенно понятно.— Бургомистр выразительно кивнул.— Господин Бук старейший среди заслуженных граждан нашего города, его влияние законно и оправданно.

— До поры, до времени,— неожиданно резким фальцетом выкрикнул господин с еврейской внешностью и вызывающе взглянул на Дидериха. Бургомистр склонился над тарелкой с сыром. Дидерих понял, что защиты ему ждать не от кого, и часто заморгал. Взгляд асессора так неотступно требовал чистосердечного признания вины, что Дидерих робко заговорил о почтении, «вошедшем в кровь и плоть». Стал даже оправдываться воспоминаниями детства, путано объясняя, почему он нанес первый визит Буку. Говоря, он не сводил испуганных глаз с огромных, красных, сильно оттопыренных ушей господина из прокуратуры. Тот выслушал до конца всю эту невнятицу, точно перед ним был подсудимый, запутавшийся в показаниях; наконец он отчеканил:

— В иных случаях почтительные чувства на то и существуют, чтобы их вытравить.

Дидерих прикусил язык; затем решил, что лучше всего засмеяться с видом человека, понимающего шутку. Бургомистр улыбнулся своей бесцветной улыбкой и примирительно развел руками.

— Доктор Ядассон любит острое словцо, что я лично высоко ценю в нем. Но самый пост мой обязывает меня рассматривать вещи объективно и беспристрастно. Поэтому я не могу не сказать: с одной стороны...

— Перейдем сразу к другой стороне,— потребовал асессор Ядассон.— Для меня, как представителя государственного ведомства и убежденного сторонника существующего строя, этот самый господин Бук и его единомышленник депутат рейхстага Кюлеман по своему прошлому и по своим взглядам попросту крамольники, и только. Я не желаю играть в прятки, это было бы недостойно немца. Открывать дешевые столовые—сделайте одолжение, но лучшая пища для народа — благонадежный образ мыслей. Дом для умалишенных тоже не бесполезное учреждение.

— Если он проникнут верноподданническим духом! — подхватил Дидерих.

Бургомистр жестами успокаивал их.

— Господа,— молил он.— Господа! Между нами говоря, при всем уважении к упомянутым лицам, все же, с другой стороны...

— С другой стороны! — строго подчеркнул Ядассон.

— ...все же, с другой стороны, приходится глубоко сожалеть о наших, к моему прискорбию, столь неблагоприятных отношениях с представителями правительства, хотя разрешите сказать вам, что исключительная непримиримость господина регирунгспрезидента фон Вулкова к городским властям...

— К группам неблагонамеренных,— перебил бургомистра Ядассон.

Дидерих набрался смелости:

— Я либерал до мозга костей, но должен сказать, что...

— Город,— объявил асессор,— город, который глух к справедливым требованиям правительства, не вправе удивляться, что правительство отвернулось от него.

— Время на проезд от Берлина до Нетцига, будь у нас лучшие отношения с правящими кругами, можно было бы сократить вдвое,— компетентным тоном вставил Дидерих.

Бургомистр терпеливо ждал, пока его гости доведут дуэт до конца. Он сидел бледный, с полуопущенными веками под стеклами пенсне. Вдруг он поднял глаза и произнес с жидкой улыбкой:

— Господа, вы ломитесь в открытую дверь, я сознаю, что образ мыслей наших городских властей не отвечает духу времени. Поверьте, не моя вина, что его величеству не была направлена верноподданническая телеграмма во время его пребывания в провинции на прошлогодних маневрах...

— Магистрат занял глубоко антинемецкую позицию,— объявил Ядассон.

— Выше знамя национализма! — потребовал Дидерих. Бургомистр воздел руки.

— Милостивые государи, разве я этого не знаю? Но я всего лишь председатель магистрата и, к сожалению, обязан выполнять его постановления. Создайте другие условия! Господин асессор еще помнит наш спор с регирунгспрезидентом по поводу учителя Реттиха, социал-демократа. Я не мог принять против него репрессивные меры. А господину Вулкову известно,— бургомистр прищурил один глаз,— что, вообще говоря, я охотно сделал бы это.

Некоторое время все молчали, косясь друг на друга. Ядассон сердито фыркал с видом человека, по горло сытого такими речами. Но Дидерих не мог больше совладать с собой.

— Либерализм проложил дорогу социал-демократам! — воскликнул он.— Под влиянием таких людей, как Бук, Кюлеман и Эйген Рихтер, рабочие наглеют. Мое предприятие требует от меня больших жертв, оно возлагает на меня тяжелое бремя тру-

да и ответственности, и после всего рабочие еще смеют идти на конфликты со мной. А почему? Потому, что мы не единодушны в борьбе против красной опасности, потому что есть работодатели, которые плывут в фарватере социал-демократов, как, например, зять господина Бука, Лауэр. Он привлек рабочих своей фабрики к участию в прибылях. Это же безнравственно! — Дидерих метнул испепеляющий взор.— Это значит подкапываться под существующий порядок, а я держусь той точки зрения, что порядок в наше суровое время необходимее, чем когда-либо. Поэтому нам требуется твердая рука, а наш несравненный молодой кайзер и правит нами твердой рукой. Безоговорочно объявляю себя слугой его величества...

Сотрапезники Дидериха склонили головы. Дидерих в ответ кивнул, не переставая грозно сверкать очами. Отживающее поколение еще верит во всякую демократическую белиберду, говорил он, но кайзер, в отличие от него — представитель молодежи, личность исключительная и, что самое отрадное, весь порыв и действие, к тому же глубоко своеобразный мыслитель...

— Единовластие! — воскликнул Дидерих.— Во всех областях! — Он исчерпывающе изложил свою программу решительного, воинствующего образа мыслей и добавил, что настала пора и в Нетциге покончить со всякого рода вольнодумством и слюнтяйством. Грядут новые времена!

Ядассон и бургомистр молча выслушали тираду Дидериха; уши Ядассона, казалось, выросли еще больше. Он каркнул:

— Есть и в Нетциге немцы, обуреваемые верноподданническими чувствами!

Дидерих старался его перекричать:

— А к тем, у кого их нет, надо присмотреться поближе. И мы увидим, соответствует ли положение, которое они занимают, их заслугам. Я уже не говорю о старике Буке,— а что представляет собой его родня? Сыновья — один омужичился, другой — промотался, зять — социалист, а дочь, говорят...

Они переглянулись. Бургомистр захихикал и слабо порозовел. Не скрывая своего удовольствия, он выпалил:

— А вы, господа, еще не слышали, что брат старика Бука объявил себя банкротом?

Гости шумно выразили свое удовлетворение. Тот самый, с пятью расфуфыренными дочерьми! Председатель общества «Гармония»! А обеды берут в благотворительной столовой! Это Дидериху доподлинно известно! Бургомистр опять наполнил рюмки и придвинул сигары. Он вдруг перестал сомневаться в предстоящих переменах.

— Полтора года осталось до выборов в рейхстаг. Придется вам, господа, потрудиться это время.

Дидерих предложил:

— Давайте уже сейчас рассматривать нашу тройку как узкий предвыборный комитет.

Ядассон напомнил, что прежде всего необходимо вступить в контакт с регирунгспрезидентом фон Вулковом.

— Строго секретно! — добавил бургомистр и подмигнул. Дидерих выразил сожаление, что «Нетцигский листок», самый крупный печатный орган города, плетется в хвосте у свободомыслящих.

— Проклятый еврейский листок! — каркнул Ядассон.— А в то же время окружная газета, преданная правительству, почти не имеет веса.

Старик Клюзинг из Гаузенфельда поставлял бумагу обеим газетам. Дидерих не исключал возможности через него воздействовать на «Нетцигский листок»,— Клюзинг ведь один из пайщиков; старика надо припугнуть, дать ему понять, что он рискует лишиться окружной газеты.

— Пусть помнит, что в Нетциге есть еще одна бумажная фабрика,— вставил бургомистр и усмехнулся.

Вошедшая горничная сказала, что пора накрывать на стол к обеду; барыня может прийти с минуты на минуту.

— ...и госпожа капитанша тоже,— прибавила она. Как только был произнесен этот титул, бургомистр встал и проводил гостей. Он шел за ними с опущенной головой, белый как мел, а ведь выпито было немало. На лестнице он взял Дидериха за рукав. Ядассон задержался в комнатах, оттуда доносилось приглушенное взвизгивание горничной. Внизу, у входных дверей, уже звонили.

— Надеюсь, дорогой доктор,— зашептал бургомистр,— вы не истолковали мои слова превратно. Как бы там ни было, я, разумеется, стою на страже интересов города. У меня, само собой, и в мыслях нет затевать что-либо в пику органам городского самоуправления, которое я имею честь возглавлять.

Он искательно заморгал. Дидерих не успел опомниться, как вошли дамы. Бургомистр выпустил его рукав и поспешил им навстречу. Бургомистерша, замученная, иссушенная заботами, едва успев поздороваться с гостями, бросилась разнимать своих мальчиков, которые тузили друг друга. Мать ее, еще моложавая женщина, на голову выше дочери, буравила взглядом разгоряченные лица мужчин. Величественной Юноной двинулась она на бургомистра, а он все съеживался, как будто сокращался в объ-

«Верноподданный»

еме... Асессор Ядассон сразу дал тягу. Дидерих, отвешивая почтительные поклоны, на которые никто не отвечал, торопливо вышел вслед за ним. На душе у него скребли кошки, он беспокойно озирался по сторонам, не слыша того, что говорил ему Ядассон. Вдруг он повернул и кинулся назад. Ему пришлось долго и настойчиво звонить, так как по ту сторону дверей стоял сильный шум. Вся семья еще находилась на нижней площадке лестницы, дети дрались, взрослые спорили. Бургомистерша требовала, чтобы муж обратился к директору школы с жалобой на какого-то учителя, который будто бы придирается к сыну. Теща же, напротив, твердила, что зять должен добиваться производства этого учителя в старшие преподаватели: его жена-де пользуется большим влиянием в правлении Вифлеемского убежища для падших девушек. Бургомистр жестами заклинал то одну, то другую успокоиться. Наконец он ухитрился вставить.

— С одной стороны...

Но тут Дидерих дернул бургомистра за рукав, оттащил его в сторону, многословно извиняясь перед дамами, и дрожащим голосом зашептал:

— Почтеннейший господин бургомистр, я считаю своим долгом устранить возможные недоразумения. Позволю себе еще и еще раз повторить, что я либерал до мозга костей.

Доктор Шеффельвейс торопливо заверил Дидериха, что он в этом убежден совершенно так же, как и в собственном истинно либеральном мировоззрении. Его позвали, и Дидерих, несколько успокоившись, покинул дом бургомистра. Ядассон, язвительно осклабясь, дожидался его.

— Что, перетрусили? Совершенно напрасно. С нашим отцом города трудно себя скомпрометировать, он, как господь бог, всегда с теми, кто сильнее. Сегодня меня интересовало одно: тесно ли он связан с фон Вулковом. Дело обстоит не плохо, мы можем отважиться на кой-какие шаги.

— Прошу не забывать,— сказал Дидерих сдержанно,— что буржуазные круги Нетцига — это моя родная среда, и, разумеется, я либерал.

Ядассон искоса взглянул на него.

— Новотевтония? — спросил он. Когда Дидерих с удивлением повернулся к нему, он добавил: — А что поделывает мой старый приятель Вибель?

— Вы с ним знакомы? Это мой лейб-бурш!

— Знаком? Мы были с ним неразлучны.

Дидерих крепко сжал руку, протянутую Ядассоном, и долго тряс ее.

«Ну и ну! Подумать только!» Рука об руку они отправились в погребок при ратуше: решили вместе отобедать.

Там было пусто и сумеречно. Для них зажгли газовый рожок в глубине зала, и в ожидании супа они предались воспоминаниям о старых однокашниках. Толстяк Делич! Дидерих с достоверностью очевидца подробно описал его трагический конец. Первый бокал рауэнтальского они посвятили его памяти. Выяснилось, что и Ядассон наблюдал февральские волнения и точно так же, как Дидерих, с тех пор научился уважать власть.

— Его величество выказал такое мужество,— заметил Ядассон,— что при одной мысли об этом голова кружится. Я не раз думал, что, если бы, сохрани бог...— Он запнулся, и оба, вздрогнув, поглядели друг другу в глаза. Чтобы отогнать страшное видение, они подняли бокалы.

— Разреши,— сказал Ядассон.

— Изволь! — сказал Дидерих.

Ядассон:

— За здоровье наших близких!

Дидерих:

— Почту за честь рассказать об этом домашним.

Затем Ядассон, невзирая на стынущий обед, принялся многословно восхвалять кайзера за силу характера. Пусть мещане, злопыхатели и евреи находят в нем сколько угодно недостатков, но он, наш несравненный молодой кайзер, в общем и целом — личность исключительная, и, что самое отрадное, он весь — порыв и действие, к тому же глубоко своеобразный мыслитель. Дидериху показалось, что Ядассон только повторяет его слова, и он несколько раз удовлетворенно кивнул. Он сказал себе, что внешность иной раз обманчива и что между немецким образом мыслей и величиной ушей нет, видимо, прямой зависимости. Они осушили бокалы за благополучный исход борьбы во имя несокрушимости трона и алтаря, против бунтарства, в какой бы форме оно ни проявлялось, в какие бы перья ни рядилось.

Так они вернулись к положению дел в Нетциге. Оба единодушно пришли к выводу, что новый националистический дух, которому предстоит завоевать Нетциг, не нуждается ни в каких программах. Имя его величества — этим все сказано. Политические партии — ненужный хлам, как самолично выразился его величество кайзер.

«Я знаю лишь две партии: одна — за меня, другая — против»,— сказал он, и правильно! В Нетциге, к сожалению, перевес пока на стороне противников кайзера, но этому скоро придет конец и, что Дидериху было совершенно ясно,— с помощью ферейна ветеранов. Ядассон не был его членом, но обещал представить Дидериха руководящим деятелям ферейна. Прежде всего он, конечно, познакомит его с пастором Циллихом, человеком истинно немецкого образа мыслей. Сейчас же после обеда можно нанести ему визит. Выпили за его здоровье. И за своего капитана поднял бокал Дидерих, за своего строгого начальника, ставшего его лучшим другом:

— Год военной службы, это, знаете, год, который я ни за что не согласился бы вычеркнуть из моей жизни.— И без передышки, порядком раскрасневшись, воскликнул: — И такие светлые воспоминания демократы хотят отнять у нас!

Старик Бук! Дидерих вдруг пришел в такое негодование, что чуть не задохся. Он с трудом проговорил:

— И вот этот человек старается убедить нас, что служить не следует, называет нас рабами. Оттого, видите ли, что он когда-то совершал революцию.

— Да это сказки,— вставил Ядассон.

— Чего же он хочет: чтобы и нас всех приговорили к смертной казни? Так, что ли? Вот уж кому надо было снять голову... От Гогенцоллернов, видите ли, мало проку!

— Для него-то безусловно! — сказал Ядассон и основательно отхлебнул из своего бокала.

— Я заявляю,— крикнул Дидерих, тараща глаза,— что всю эту еретическую хулу выслушал только с одной целью — я хотел знать, с кем имею дело! Призываю вас в свидетели, господин асессор! Пусть только старый интриган посмеет утверждать, что мы с ним друзья и что я соглашался со всеми этими подлыми оскорблениями величества. Вы свидетель, что я в тот же день выразил свой протест!

Вдруг его прошиб пот: он вспомнил о строительной инспекции, о покровительстве, которое обещал ему Бук... Дидерих неожиданно швырнул на стол маленький, почти квадратный томик и разразился сардоническим хохотом...

— Он и стихи кропает!

Ядассон стал листать.

— «Песни вольных гимнастов», «Голос заключенных», «Да здравствует республика!» и «У пруда лежал отрок, печальный и бледный»... Правильно, все они такими были. Пеклись об арестантах и расшатывали устои. Сентиментальный бунт. Не-

благонадежный образ мыслей и бесхребетность. Мы, слава богу, из другого теста.

— Надеюсь! — сказал Дидерих.— В корпорации мы прошли школу мужества и идеализма. Это все, что нужно, стихоплетством нам заниматься не к чему.

— «Не надо нам ваших алтарных свечей»,— продекламировал Ядассон.— Это, знаете, для моего друга Циллиха. Кстати, он уже, верно, выспался после обеда, пойдемте!

Они застали пастора за кофе. Пастор хотел тотчас же выслать из комнаты жену и дочь. Ядассон галантно задержал хозяйку дома и попытался поцеловать ручку девице, но та повернулась к нему спиной. Дидерих, который был сильно навеселе, настоятельно попросил дам остаться, и ему удалось их уговорить. После Берлина, сказал он дамам, Нетциг производит впечатление тихого захолустного городка.

— И дамские моды здесь прабабушкиных времен. Клянусь честью, фрейлейн, из всех, кого я здесь видел, вы первая могли бы со спокойной душой пройти по Унтер-ден-Линден и никому в голову не пришло бы, что вы из Нетцига.— Она ответила, что действительно приезжала однажды в Берлин и даже была в кабаре Ронахера. Дидерих тотчас же сыграл на этом: напомнил ей о песенке, которую там исполняли; пропеть ее он может только на ушко: «Наши душки, наши дамы все откроют перед нами...» Поймав искоса брошенный лукавый взгляд, он усами пощекотал ей шею. Она умоляюще вскинула на него глаза, после чего он уже смело заверил ее, что она «прелестная мышка». Она потупилась и подсела к матери, наблюдавшей всю эту сцену. Тем временем пастор вел серьезную беседу с Ядассоном. Он жаловался, что в Нетциге мало посещают церковь.

— В третье воскресенье после пасхи — вы только подумайте! — в такой день я произносил проповедь перед причетником и тремя старушками из приюта Пресвятой девы! Остальные прихожане все до одного болели инфлюэнцей.

— Господствующая в Нетциге партия,— сказал Ядассон,— занимает такую безразличную, вернее сказать, враждебную позицию в вопросах церкви и религии, что, право же, надо только удивляться тем трем старушкам. Странно, как это они не предпочли вашей проповеди доклад вольнодумца доктора Гейтейфеля...

Пастор вскочил. Он так запыхтел, что, казалось, борода его вспенилась, а фалды сюртука заходили ходуном.

— Господин асессор,— выговорил он наконец.— Этот человек мой зять, и «мне отмщение», говорит господь. Но пусть это мой зять и муж моей единоутробной сестры, я молю бога

моего обрушить на него кару небесную. Иначе господу богу придется когда-нибудь обрушить на весь Нетциг потоки кипящей смолы и серы. Кофе, понимаете ли, даровым кофе Гейтейфель заманивает к себе людей и улавливает их души. Внушает им, будто брак вовсе не святое таинство, а договор — точно идешь заказывать себе костюм.

Пастор горько рассмеялся.

— Тьфу! — басом произнес Дидерих, и пока Ядассон убеждал пастора, что исповедует позитивное христианство, Дидерих, под прикрытием кресла, возобновил свои атаки на Кетхен.

— Фрейлейн Кетхен,— сказал он,— могу вас твердо заверить, что для меня брак — это таинство.

— Постыдились бы, господин доктор,— ответила Кетхен.

Его бросило в жар:

— Не смотрите на меня так!

— Вы страшно испорчены,— вздохнула Кетхен.— Вероятно, не меньше асессора Ядассона. О ваших берлинских похождениях мне уже рассказали ваши сестры. А это мои самые близкие подруги.

— Значит, есть надежда в ближайшее время встретиться?

— Да, в «Гармонии». Но не рассчитывайте на мое легковерие. Я знаю, ведь вы приехали в Нетциг вместе с Густой Даймхен.

— Ну и что из этого? — спросил Дидерих.— Я решительно возражаю против каких бы то ни было выводов из столь случайных обстоятельств. И потом, ведь Густа Даймхен помолвлена.

— Подумаешь! — протянула Кетхен.— Ее это не остановит, она отчаянная кокетка.

Пасторша подтвердила слова дочери. Не далее как сегодня она встретила Густу в лаковых туфельках и лиловых чулках. Чего уж ждать от такой девушки. Кетхен презрительно скривила губы.

— Ну, а наследство...

Услышав нотку сомнения в голосе Кетхен, озадаченный Дидерих умолк. Пастор только что согласился с предложением асессора подробно обсудить положение христианской церкви в Нетциге и велел жене принести ему пальто и шляпу. На лестнице было уже темно. Воспользовавшись тем, что пастор и Ядассон ушли вперед, Дидерих совершил повторный наскок на шею Кетхен. Она сказала замирающим голосом:

— Так щекотать усами больше никто в Нетциге не умеет.

В первую минуту это польстило Дидериху, но в следующую навело на самые ужасные подозрения. Он попросту отошел от

Кетхен и ретировался. Ядассон, дожидавшийся внизу, шепнул ему:

— Не робеть! Старик ничего не заметил, а мать делает вид, что не замечает.— Он развязно подмигнул Дидериху.

Миновав церковь святой Марии, они собирались свернуть на рыночную площадь, но пастор остановился и движением головы показал назад.

— Вам, господа, вероятно, известно название вон того переулка под аркой, слева от церкви? Название этой темной дыры, именуемой переулком, или, точнее, известного дома?

Пастор не двигался с места, и Ядассон сказал:

— «Маленький Берлин».

— «Маленький Берлин»,— повторил пастор со страдальческой усмешкой и, потрясая в священном гневе кулаком, так что прохожие начали оглядываться, повторил: — «Маленький Берлин»!.. Под сенью моей церкви такое заведение! А магистрат не желает слушать меня, да еще потешается. Но он потешается еще и над другим,— пастор зашагал наконец дальше,— а тот этого не попустит...

Ядассон поддакивал пастору. Оба увлеклись разговором. Дидерих же тем временем увидел у ратуши Густу Даймхен; она шла им навстречу. Он церемонно снял шляпу, Густа задорно улыбнулась. Он подумал, что у Кетхен Циллих такие же белокурые волосы и такой же нахально вздернутый носик. По сути дела, все равно, кто — одна или другая. Густа, правда, хороша еще своими аппетитными формами. «И она уж никому не спустит. Сразу получишь на орехи». Он оглянулся и посмотрел ей вслед: она шла, виляя округлыми бедрами. И Дидерих сказал себе: «Она или никто».

Спутники его, оказалось, тоже заметили Густу.

— Это как будто дочурка фрау Даймхен? — спросил пастор и прибавил: — Вифлеемский приют для падших девиц все еще ждет щедрости благотворителей. А фрейлейн Даймхен щедра? Не знаете? Говорят, она получила в наследство целый миллион.

Ядассон утверждал, что эти слухи сильно преувеличены. Дидерих возразил: ему известны все обстоятельства дела; ее покойный дядюшка зарабатывал на цикории гораздо больше, чем думают. Он так настойчиво твердил свое, что асессор пообещал все хорошенько разузнать в магдебургском суде. Дидерих, довольный таким оборотом разговора, умолк.

— Впрочем,— сказал Ядассон,— эти деньги все равно уплывут к Букам, иначе говоря, пойдут на потребу бунтарям.

Но Дидерих и тут остался при особом мнении.

— Мы с фрейлейн Даймхен приехали в Нетциг одним поездом,— сказал он, нащупывая почву.

— Ах, так! — протянул Ядассон.— Можно поздравить?

Дидерих пожал плечами, как бы уклоняясь от ответа на бестактный вопрос. Ядассон извинился, он думал лишь, что молодой Бук...

— Вольфганг? — спросил Дидерих.— В Берлине мы с ним встречались ежедневно. Он живет с актрисой.

Пастор укоризненно кашлянул. Когда вышли на Театральную площадь, он строго посмотрел на здание театра и произнес:

— «Маленький Берлин» хоть и находится рядом с моей церковью, но он, по крайней мере, прячется в мрачном закоулке. Сей же храм безнравственности красуется на открытой площади, и наши сыновья и дочери,— он указал на служебный вход, где стояло несколько актеров и актрис,— дышат одним воздухом с блудницами!

Дидерих с постной миной сказал, что это очень прискорбно, а Ядассон обрушился на «Нетцигский листок», восторженно писавший о пьесах последнего сезона, в которых четырежды фигурировали незаконнорожденные дети. И газета объявляет это прогрессом!

Тем временем они свернули на Кайзер-Вильгельмштрассе; здесь им без конца приходилось раскланиваться с господами, входившими в дом масонской ложи. Миновав его, друзья наконец надели шляпы, и Ядассон сказал:

— Надо будет взять на заметку господ, по сей день увлекающихся масонской ересью. Его величество решительно против масонства.

— Меня совершенно не удивляет, что такой человек, как мой зять Гейтейфель, исповедует этот опаснейший вид сектантства,— сказал пастор.

— Ну, а господин Лауэр? — сказал Дидерих.— Фабрикант, у которого хватило совести привлечь рабочих к участию в прибылях? Да от подобных субъектов всего можно ожидать.

— Самое все же возмутительное,— горячился Ядассон,— это то, что член окружного суда Фрицше вращается в этом еврейском обществе: государственный советник рука об руку с ростовщиком Коном! Вы шутите — Ко-он? — нараспев протянул Ядассон и заложил большие пальцы за жилетку.

— А так как у советника с фрау Лауэр...— многозначительно начал Дидерих и, не кончив фразы, заявил, что в таком

случае понятно, почему в суде эти люди всегда выходят сухими из воды.

— У них круговая порука, и они под всех подкапываются.

Пастор Циллих пробормотал что-то об оргиях, которые, по слухам, устраиваются в масонской ложе; там, говорят, происходят жуткие вещи. Но Ядассон многозначительно улыбнулся:

— К счастью, господин фон Вулков находится по соседству, окно в окно.

Дидерих с довольным видом посмотрел на управление регирунгспрезидента. Рядом, перед зданием штаба военного округа, шагал взад и вперед часовой.

— Сердце радуется, когда видишь, как сверкает штык у такого вот молодца, не правда ли? — воскликнул Дидерих.— Только тем и держишь эту шайку в страхе.

Штык, разумеется, не сверкал, так как уже стемнело; сквозь густую уличную толпу группами пробирались возвращавшиеся по домам рабочие. Ядассон предложил зайти в пивную Клапша,— это рукой подать, за углом,— распить по кружке пива перед ужином. В пивной было уютно, в этот час редко кто заходил туда. Помимо всего прочего, Клапш принадлежал к числу благомыслящих. Пока его дочь ставила на стол пиво, он сердечно благодарил пастора за благотворное влияние, которое тот оказывает на его мальчиков уроками закона божия. Правда, старший опять украл сахар, но зато ночью он не мог заснуть и так громко исповедовался богу в своем грехе, что Клапш услышал и выпорол грешника. Разговор перекинулся на чиновников из управления регирунгспрезидента, которым Клапш посылал завтраки. Ему было отлично известно, чем эти чиновники занимаются в часы воскресных богослужений. Ядассон одной рукой записывал что-то, другая же скрылась за спиной фрейлейн Клапш. Дидерих говорил с пастором Циллихом о том, что необходимо создать христианский рабочий ферейн. Он объявил:

— Тот из моих рабочих, кто откажется вступить в него, вылетит вон!

Такие перспективы развеселили пастора; после повторных появлений фрейлейн Клапш с пивом и коньяком, он почувствовал в себе ту оптимистическую решимость, которой спутники его уже с утра зарядились.

— Пусть мой зять Гейтейфель доказывает, сколько его душе угодно, родство человека с обезьяной,— воскликнул он, стукнув кулаком по столу,— я все равно добьюсь, чтобы у меня в церкви яблоку негде было упасть!

— Не только у вас,— заверил Дидерих.

— Но в Нетциге так много церквей,— сознался пастор. Ядассон пронзительно каркнул:

— Слишком мало, слуга божий, слишком мало! — И, призывая Дидериха в свидетели, рассказал, что происходило в Берлине. Там церкви тоже пустовали, пока его величество самолично не положил этому конец. «Позаботьтесь о том,— сказал он депутации городских властей,— чтобы в Берлине были построены новые церкви». И теперь церкви строят, религия вновь ожила и расцвела.

И тут пастор, ресторатор, Ядассон и Дидерих умиленно заговорили о глубоком благочестии монарха.

Вдруг раздался выстрел.

— Стреляют! — Ядассон вскочил первый, все, побледнев, переглянулись. Перед Дидерихом мгновенно возникло костлявое лицо механика Наполеона Фишера, обрамленное черной бородой, сквозь которую просвечивала землистая кожа, и он проговорил, заикаясь:

— Бунт! Началось!

С улицы донесся топот ног множества бегущих людей; Дидерих, Ядассон и пастор одновременно схватили свои шляпы и бросились к выходу.

Люди — их было здесь уже много — в испуганном молчании стояли полукругом от штаба военного округа до лестницы масонской ложи. На мостовой, там, где полукруг размыкался, ничком лежал человек. А солдат, который раньше так молодцевато расхаживал взад и вперед, теперь неподвижно стоял перед своей будкой. Каска сдвинулась у него на затылок, открыв побледневшее лицо с разинутым ртом и глазами, устремленными на убитого. Винтовку солдат держал за ствол, опустив ее на землю. В толпе, состоявшей главным образом из рабочих и работниц, слышался глухой ропот. Вдруг у кого-то из мужчин вырвался громкий возглас: «Ого!» — и наступила глубокая тишина. Дидерих и Ядассон обменялись испуганным взглядом, как бы сойдясь на том, что положение опасное.

По улице к месту происшествия мчался полицейский, впереди него — девушка. Юбка ее развевалась; уже издали девушка крикнула:

— Вон он лежит! Стрелял солдат!

Она добежала, она бросилась на колени, она тормошила лежавшего:

— Встань! Да встань же!

Она подождала. Ступни его как будто дернулись, но он по-прежнему лежал, раскинув руки и ноги. И вдруг надрывно прозвенел крик девушки: «Карл!» Все вздрогнули. Женщины отозвались истошным криком, мужчины, стиснув кулаки, бросились вперед. Давка усиливалась; между экипажами, которым пришлось остановиться, набивалось все больше людей; среди этой грозной сумятицы неистовствовала девушка, ее распустившиеся волосы трепало ветром, мокрое лицо исказилось, она, вероятно, кричала, но крика не было слышно — шум поглотил его.

Единственный полицейский грудью старался оттереть толпу, боясь, как бы она не растоптала лежавшего. Но напрасно он кричал на людей, наступал передним на ноги; растерявшись, он стал озираться по сторонам в поисках помощи.

И она явилась. В управлении регирунгспрезидента распахнулось окно, показалась большая борода и раздался голос, вернее, грозный рык; толпа, еще не поняв, чего требует этот голос, услышала его, несмотря на шум, как слышат отдаленный гул канонады.

— Вулков,— сказал Ядассон.— Ну, наконец!

— Что за безобразие? — грохотал голос.— Кто смеет шуметь у меня под окнами? — Над притихшими людьми прогремело: — Где часовой?

Только теперь люди увидели, что часовой скрылся в свою будку и забился в угол. Наружу торчала одна лишь винтовка.

— Выходи, сын мой! — приказал тот же бас.— Ты выполнил свой долг. Этот человек вывел тебя из терпения. Его величество вознаградит тебя за доблесть. Понятно?

Все поняли и смолкли, даже девушка. И в этой тишине особенно яростно грохотал бас:

— Немедленно разойтись, иначе я прикажу стрелять!

Минута — и вот уж кое-кто побежал. Рабочие группами отделялись от толпы и, помедлив, с опущенными головами уходили. Регирунгспрезидент еще крикнул кому-то вниз:

— Пашке, позовите-ка врача! — и захлопнул окно.

У входа в управление закипела жизнь. Откуда-то появились важные господа, властно отдававшие распоряжения, со всех сторон стекались полицейские, они наседали на оставшуюся публику, раздавали тумаки и кричали — одни только они и кричали. Дидерих и его спутники, отойдя за угол, увидели на лестнице масонской ложи кучку мужчин. Доктор Гейтейфель, отстраняя их, прошел вперед.

— Я врач,— громко сказал он, торопливо пересек улицу и склонился над раненым. Он повернул его на спину, расстегнул

жилет и приник ухом к груди. Все притихли, даже полицейские перестали орать; девушка стояла возле, подавшись вперед, вздернув плечи, точно в ожидании удара, и держа стиснутый кулак у сердца, как будто это и было то самое сердце, которое, быть может, уже остановилось.

Доктор Гейтейфель выпрямился:

— Он мертв.— В ту же секунду он заметил девушку: она пошатнулась. Он сделал движение, чтобы подхватить ее. Но она уже справилась с собой и, глядя в лицо убитого, произнесла только:

— Карл! — И еще тише: — Карл!

Доктор Гейтейфель обвел взглядом стоявших вокруг людей и спросил:

— Как же девушка?

Ядассон выступил вперед.

— Асессор Ядассон из прокуратуры,— представился он.— Девушку следует задержать. Ввиду того что ее возлюбленный спровоцировал часового, возникает подозрение, не причастна ли также и она к сему преступному действию. Мы возбудим против нее следствие.

Двое полицейских, которых он подозвал жестом, уже схватили девушку за руки. Доктор Гейтейфель повысил голос:

— Господин асессор, заявляю вам как врач, что состояние девушки не допускает ее ареста.

— Арестовали бы заодно и убитого,— сказал кто-то.

— Категорически запрещаю вам критиковать мои служебные мероприятия, господин фабрикант Лауэр! — каркнул Ядассон.

Дидерих тем временем выказывал признаки сильнейшего волнения:

— О!.. А!.. Но ведь это...— Он даже весь побелел; он несколько раз заговаривал: — Господа... Господа, я могу... Я знаю этих людей: да, да, именно этого рабочего и эту девушку. Моя фамилия Геслинг, доктор Геслинг. Оба до сегодняшнего числа работали на моей фабрике. Мне пришлось их рассчитать за публичное нарушение правил нравственности.

— Ага! — воскликнул Ядассон.

Пастор Циллих поднял палец.

— Вот уж воистину перст божий,— умилился он.

К лицу Лауэра прихлынула кровь, она, казалось, рдела даже сквозь его седую остроконечную бородку, вся его приземистая фигура сотрясалась от гнева.

— Насчет перста божьего еще можно поспорить. Но совершенно бесспорно, господин доктор Геслинг, что этот рабочий потому и разрешил себе переступить границы дозволенного, что увольнение привело его в отчаянье. У него жена, быть может, и дети...

— Они не венчаны,— сказал Дидерих, в свою очередь вспыхнув.— Он сам мне признался.

— Какое это имеет значение? — спросил Лауэр. Тут пастор воздел руки горе.

— Неужели мы так низко пали,— воскликнул он,— что не имеет значения, блюдутся ли божьи заповеди о нравственности?

Лауэр ответил, что было бы неуместно затевать дискуссию о нравственности на улице, да еще в момент, когда с соизволения властей совершено убийство; и он, повернувшись к девушке, предложил ей работу у себя на фабрике. Тем временем подъехала санитарная карета; убитого подняли с земли и положили на носилки. Но когда санитары вдвигали их в карету, девушка вдруг очнулась, кинулась к носилкам и навалилась на них всем телом; от неожиданности санитары выпустили их из рук, и девушка, судорожно вцепившись в тело убитого и пронзительно крича, вместе с ним покатилась по мостовой. Нелегко было оторвать ее от трупа, поднять, водворить в извозчичью пролетку. Врач, сопровождавший санитарную карету, поехал с девушкой.

На фабриканта Лауэра, который уже собирался удалиться вместе с Гейтейфелем и другими масонами, грозно насупившись, наступал Ядассон:

— Минутку! Прошу прощения! Вы давеча сказали, что здесь с соизволения властей — призываю вас, господа, в свидетели, что это подлинные слова господина Лауэра,— с соизволения властей совершено убийство. Я желал бы спросить, не являются ли ваши слова осуждением властей предержащих?

— Ах, вот как! — протянул Лауэр, пристально взглянув на господина из прокуратуры.— Вы, вероятно, не прочь и меня арестовать?

— Вместе с тем,— визгливым фальцетом продолжал Ядассон,— обращаю ваше внимание на точно такой же случай, происшедший несколько месяцев назад. Я имею в виду дело Люка. Поведение часового, который застрелил оскорбившего его субъекта, было одобрено высокой инстанцией. Часовой за правильный и доблестный образ действий отмечен наградами и монаршей милостью. Поостерегитесь же критиковать действия его величества.

— Я и не критиковал,— ответил Лауэр.— Пока что я выразил лишь порицание этому господину, отрастившему такие страшные усы.

— Что такое? — спросил Дидерих, все еще разглядывавший камни мостовой в том месте, где лежал убитый рабочий и темнела лужица крови. Наконец до него дошло, что его хотят задеть.— Такие усы носит его величество,— твердо произнес он.— Это истинно немецкие усы. А вообще я отказываюсь от препирательств с фабрикантом, поддерживающим бунтарей.

Лауэр, взбешенный, уже открыл было рот, чтобы ответить, хотя брат старика Бука, Гейтейфель, Кон и Фрицше старались увести его прочь, а рядом с Дидерихом, воинственно выпятив грудь, выстроились Ядассон и пастор Циллих,— но тут ускоренным маршем подошел отряд пехоты, оцепил уже совершенно безлюдную улицу, и лейтенант, командовавший отрядом, попросил господ разойтись. Все поспешно подчинились, но напоследок еще увидели, как лейтенант подошел к часовому и пожал ему руку.

— Браво! — крикнул Ядассон. Доктор же Гейтейфель сказал:

— А завтра явятся по очереди капитан, майор и полковник, каждый сочтет своим долгом похвалить этого малого и сделать ему денежный подарок.

— Вот именно! — воскликнул Ядассон.

— Однако...— Гейтейфель остановился.— Господа, давайте все-таки разберемся! Разве в том, что здесь произошло, есть какой-нибудь смысл? Убит человек только потому, что этот деревенский оболтус не понимает шуток! Меткое словцо, добродушный смех — и он обезоружил бы рабочего, который якобы хотел обидеть его, своего брата, такого же бедняка, как он сам. Вместо этого солдату приказывают стрелять. И венчают дело трескучими фразами.

Член суда Фрицше поддержал доктора Гейтейфеля и призвал умерить свои страсти. Дидерих, все еще бледный, дрожащим голосом сказал:

— Народ должен чувствовать над собой власть. Ощутить могущество монаршей власти — да за это человеческая жизнь совсем недорогая цена.

— Если только эта жизнь не ваша,— сказал Гейтейфель. А Дидерих, положив руку на сердце, ответил:

— Хотя бы и моя, поверьте!

Гейтейфель пожал плечами. По пути Дидерих, немного

отстав с пастором Циллихом от остальных, силился описать ему свои чувства.

— Для меня,— говорил он, сопя от сдержанного восторга,— в этом эпизоде есть нечто великолепное, можно сказать, царственно-величественное; вот так, без суда, прямо на улице, застрелить субъекта, который имел наглость забыться! Только представить себе — сквозь толщу нашей обывательской косности вдруг прорывается... нечто прямо-таки героическое! Вот когда чувствуешь, что такое власть!

— Но какая?! Власть божьей милостью! — подхватил пастор.

— Разумеется. Именно. Вот почему этот случай привел меня почти что в религиозный трепет. Вот так мы замечаем вдруг, что существуют высшие силы — силы, которым все мы подвластны. Взять, например, берлинские беспорядки в феврале прошлого года: его величество с таким изумительным хладнокровием ринулся тогда в беснующееся море восстания; должен сказать, что я...— Остальные уже дожидались у входа в погребок, и Дидерих повысил голос: — Если бы в ту минуту кайзер приказал оцепить всю Унтер-ден-Линден и стрелять в нас всех, палить из пушек, то должен сказать вам, что я...

— Вы, конечно, кричали бы «ура»,— закончил за него Гейтейфель.

— А вы не кричали бы? — спросил Дидерих, пытаясь метнуть в него испепеляющий взор.— Я все же надеюсь, что все мы единодушны в своих националистических чувствах.

У фабриканта Лауэра опять чуть было не сорвалось с языка опрометчивое возражение, но его удержали.

Вместо него в разговор вступил Кон:

— Я, конечно, тоже националист. Но разве мы содержим нашу армию для подобных забав?

Дидерих смерил его взглядом с головы до ног.

— Как вы сказали? У господина магазиновладельца Кона есть своя армия? Вы слышали, господа? — Он надменно рассмеялся.— До сих пор я знал одну лишь армию — армию его величества кайзера.

Доктор Гейтейфель заикнулся было о правах народа, но Дидерих гаркнул, рубя слова на слоги, как командир перед полком: он, мол, за то, чтобы кайзер был кайзером, а не марионеткой. Народ, сказал он, утративший способность к безусловному повиновению, обречен на загнивание...

Тем временем все вошли в ресторан. Лауэр со своими друзьями уже сидел за столиком.

— Не присядете ли к нам? Ведь, в конце концов, все мы либералы,— обратился к Дидериху Гейтейфель.

— Либералы, само собой. Но в таком важном вопросе, как национализм, я не признаю половинчатости. Для меня существуют только две партии. Их самолично определил кайзер: за его величество и против него. Поэтому, господа, за вашим столом мне нечего делать.

Он отвесил чопорный поклон и подошел к свободному столику. Ядассон и пастор Циллих последовали за ним. Посетители, сидевшие за соседними столами, начали оглядываться; в зале наступила тишина. Опьяненный событиями дня, Дидерих решил заказать шампанское. За первым столиком шушукались, затем кто-то отодвинул свой стул. Это был член окружного суда. Он откланялся, подошел к столу Дидериха, пожал руки ему, Ядассону, пастору Циллиху и покинул ресторан.

— Давно бы так,— сказал Ядассон.— Фрицше своевременно понял шаткость своего положения.

— Во всем нужна четкость и ясность,— сказал Дидерих.— У кого чистая совесть в вопросах национализма, тому совершенно нечего бояться этих людей.

Но пастору Циллиху было явно не по себе.

— Путь праведника,— сказал он,— устлан терниями. Вы еще не знаете, на какие интриги способен Гейтейфель. Завтра он по всему городу растрезвонит о нас, припишет нам бог весть какие ужасы.

Дидерих вздрогнул. Доктор Гейтейфель ведь знает о той, надо признаться, темной полосе его жизни, когда он пытался увильнуть от военной службы! Гейтейфель написал ему язвительное письмо, отказался выдать свидетельство о болезни! Он держал Дидериха в руках, мог при желании навек уничтожить. С перепугу Дидериху пришло даже в голову, что доктор Гейтейфель может припомнить ему еще и школьные дела, когда Гейтейфель смазывал ему горло и при этом упрекал в трусости. Лоб Дидериха покрылся испариной. С тем большим шумом заказал он омары и шампанское.

Среди масонской братии вновь шел взволнованный разговор о насильственной смерти молодого рабочего. Что возомнили о себе военщина и юнкера, задающие в ней тон? Лица запылали, и друзья, наконец, договорились до того, что бразды правления должны быть переданы буржуазии, на которой фактически все держится. Фабрикант Лауэр желал знать, какими такими особыми достоинствами может похвастаться перед остальными смертными господствующая каста?

— Чистотой расы? Даже этого сказать нельзя,— утверждал он.—Все они, включая княжеские семьи,—не без примеси еврейской крови. Не в обиду будь сказано моему другу Кону.

Пора было вмешаться. Дидерих сознавал это. Он быстро опрокинул в себя бокал вина, встал, твердо ступая вышел на середину зала и остановился под готической люстрой.

— Господин фабрикант Лауэр,— сказал он,— я позволю себе спросить вас: когда вы говорите о княжеских фамилиях, в которых, по вашему личному мнению, есть примесь еврейской крови, вы имеете также в виду и немецкие княжеские фамилии?

Лауэр спокойно, почти дружелюбно, ответил:

— Разумеется!

— Так! — протянул Дидерих и перевел дыхание, готовя решительный удар. При общем внимании всего зала он продолжал:

— А к числу оевреившихся княжеских фамилий вы относите и ту, которую мне незачем называть? — Дидерих внутренне ликовал, вполне уверенный, что теперь уж его противник растеряется, залопочет бессвязный вздор, спрячется под стол. Но он не предвидел меры цинизма, на который натолкнулся.

— Ну конечно,— сказал Лауэр.

Дидерих от ужаса растерял весь свой апломб. Он оглянулся по сторонам, как бы проверяя, не изменил ли ему слух. По лицам окружающих понял, что он не ослышался. Тогда он заявил, что в дальнейшем выяснится, какие последствия для господина фабриканта будут иметь подобные речи, и в весьма относительном порядке отступил в дружественный лагерь. В эту минуту на сцене появился Ядассон, на время отлучавшийся неизвестно куда.

— Я не был свидетелем происшедшего,— тотчас объявил он.— Я подчеркиваю это обстоятельство, так как в дальнейшем оно может оказаться весьма важным.— Он попросил все подробно изложить ему. Дидерих с жаром выполнил его просьбу; то, что противнику теперь отрезаны все пути, он считал своей неотъемлемой заслугой.

— Теперь господин фабрикант у нас в руках.

— Еще как,— сказал Ядассон, что-то записывая.

В ресторан, с трудом передвигая негнущиеся ноги, вошел пожилой человек с угрюмой физиономией. Раскланиваясь направо и налево, он направился было к столу крамольников. Но Ядассон успел вовремя перехватить его.

— Господин майор Кунце! Одну минуту! — Он принялся шепотком уговаривать его, движением глаз указывая то вправо, то влево. Майор, видимо, не знал, на что решиться.

— Вы ручаетесь мне честным словом, господин асессор,— сказал он,— что так действительно было сказано?

Ядассон дал слово. Тут к столику подошел брат господина Бука, высокий и элегантный. Вежливо улыбаясь, он предложил дать майору исчерпывающие объяснения. Майор ответил, что весьма сожалеет, но подобным речам нет оправдания. Он был мрачен, как туча, и все же с грустью поглядывал на старое насиженное место. Но в решающую минуту Дидерих достал из ведерка бутылку шампанского. Майор заметил это и направил свои стопы туда, куда повелевал долг. Ядассон представил:

— Господин Геслинг, фабрикант.

Дидерих и майор обменялись крепким рукопожатием. Они твердо и ясно взглянули друг другу в глаза.

— Господин доктор,— сказал майор,— вы поступили как истый немец.— Послышалось шарканье, скрип стульев, все подняли бокалы, чокнулись и наконец выпили. Дидерих тотчас же заказал вторую бутылку. Майор опрокидывал в себя бокал, как только его наполняли, и заверял своих собутыльников, что, если дело коснется немецкой верности, он спуску никому не даст.

— Хотя моему государю угодно было уволить меня с действительной службы...

— Господин майор в последнее время служил в штабе нашего военного округа,— пояснил Ядассон.

— ...но в груди моей бьется сердце старого солдата,— он постучал пальцами по груди,— и я везде и всюду буду искоренять антимонархические взгляды! Огнем и мечом! — выкрикнул он и стукнул кулаком по столу. В то же мгновение Кон, низко поклонившись за его спиной, поспешно удалился. Брат господина Бука сперва вышел в туалет, чтобы хоть сколько-нибудь замаскировать свое бегство.

— Ага! — громко воскликнул Ядассон.— Господин майор, враг разбит!

Пастор Циллих, однако, все еще не был в этом уверен.

— Гейтейфель остался. Я не доверяю ему.

Но Дидерих, заказывая третью бутылку, покосился на Лауэра и Гейтейфеля; оба сиротливо сидели друг против друга, смущенно глядя в свои пивные кружки.

— Власть в наших руках,— сказал Дидерих,— и наши враги это понимают. Они уже не возмущаются часовым. На лицах

у них написана боязнь, что скоро и до них доберутся. И доберутся, поверьте мне!

Дидерих заявил, что обратится в прокуратуру с жалобой на Лауэра, пусть держит ответ за свои крамольные речи.

— А я уж позабочусь,— обещал Ядассон,— чтобы жалобе был дан ход, и на процессе выступлю сам, как представитель обвинения. Вам известно, господа, что свидетелем я быть не могу, так как лично не присутствовал при инциденте.

— Мы осушим это болото,— пригрозил Дидерих и завел речь о ферейне ветеранов; ферейн должен быть главной опорой истинных немцев и убежденных монархистов. Майор напустил на себя важный вид. Да, он состоит членом правления ферейна. По мере сил продолжает служить своему кайзеру. Он выразил готовность выдвинуть кандидатуру Дидериха, это укрепит националистические элементы ферейна ветеранов. Надо прямо сказать, что перевес пока еще на стороне все тех же пресловутых демократов. По мнению майора, власти слишком церемонятся — зря они мирятся с создавшейся в Нетциге обстановкой. Лично он, если бы его назначили командующим округом, учредил бы на выборах надзор за офицерами запаса. Всенепременно!

— Но поскольку мой государь лишил меня этой возможности...

Дидерих, в утешение ему, вновь наполнил бокалы. Пока майор пил, Ядассон наклонился к Дидериху и шепнул:

— Ни единому слову не верьте! Это тряпка, а перед Буком он на брюхе ползает. Надо пустить ему пыль в глаза.

Дидерих тотчас же принялся за дело.

— Я уже официально договорился с регирунгспрезидентом фон Вулковом.— И так как майор изумленно посмотрел на него, продолжал: — В будущем году выборы в рейхстаг. Нас, благомыслящих, ждет трудная работа. Борьба начинается.

— В атаку! — яростно воскликнул майор.— Ваше здоровье.

— Ваше здоровье! — ответил Дидерих.— Но, господа, как ни сильны тлетворные влияния в стране, мы победим, ибо у нас есть агитатор, которого нет у противника,— его величество.

— Браво!

— Его величество требует от граждан всей страны, а стало быть, и нетцигских, чтобы они наконец очнулись от спячки! И мы этого добьемся!

Ядассон, майор и пастор Циллих в доказательство того, что они уже очнулись, стучали кулаками по столу, орали «браво» и чокались. Майор ревел:

— Нам, офицерам, его величество молвил: «Вот люди, на которых я могу положиться».

— А нам он сказал,— кричал пастор Циллих,— если церкви понадобится помощь государя...

Теперь ничто не мешало закусить удила, ресторан давно опустел, Лауэр и Гейтейфель незаметно испарились, а газовые рожки под аркой, в глубине сводчатого зала, уже были погашены.

— Он сказал еще...— Дидерих надул багровые щеки, усы лезли ему в глаза, но он все же пытался метать испепеляющие взоры.— «Мы живем в эпоху расцвета промышленности!» И это верно. Вот почему мы исполнены твердой решимости делать дела под его высочайшим покровительством.

— И карьеру! — гаркнул Ядассон.— Его величество объявил: каждого, кто готов помочь ему, он приветствует. Пусть кто-нибудь посмеет сказать, что это не относится и ко мне! — запальчиво выкрикнул асессор; уши его рдели, как кровь. Майор снова взревел:

— Мой государь может положиться на меня, как на каменную гору. Он раньше времени дал мне отставку, и я, как истый немец, скажу ему это в лицо. Когда грянет гром, я еще понадоблюсь. Что же, мне в мои годы только и дела, что стрелять хлопушками на балах? Я проливал кровь под Седаном.

— Батюшки, а я разве не проливал! — послышался писклявый голос словно из потустороннего мира, и под темными сводами показался маленький старичок с развевающимися белыми волосами. Он доковылял до стола, стекла его очков посверкивали, щеки пылали. Он крикнул:

— Кого я вижу? Майор Купце! Старый фронтовой друг! Тут у вас дым коромыслом, как во время оно во Франции! Я ведь всегда говорю: жить так жить, и лучше на годок-другой дольше!

Майор представил его:

— Господин Кюнхен, преподаватель гимназии.

Как случилось, что его забыли во тьме и мраке? Старичок оживленно высказывал свои соображения на этот счет. Он сидел в одной компании... Ну, надо полагать, чуток всхрапнул, а эти чертовы дети дали тягу. Сон еще не успел убавить в нем жара от поглощенных напитков; захлебываясь и визжа, старикашка напоминал майору об их общих доблестных подвигах в «железном году».

— Партизаны! — кричал он, и из его морщинистого беззубого рта бежала слюна.— Ох, и бандиты же были! Вот, господа,

убедитесь, до сих пор у меня этот палец, как деревянный. Партизан укусил. Только за то, что я хотел слегка полоснуть его саблей по горлу. Этакая свинья! — Кюнхен по очереди показал всем сидящим за столом знаменитый палец; посыпались возгласы изумления. Дидериха, правда, несмотря на восторженные чувства, мороз подрал по коже, он невольно вообразил себя на месте французского партизана: вот маленький свирепый старикашка уперся ему коленом в грудь и приставляет клинок к горлу. Дидериху пришлось на минутку выйти.

За столом, когда он вернулся, майор и учитель Кюнхен, стараясь перекричать друг друга, описывали какой-то жаркий бой. Никто ничего не мог понять. Но фальцет Кюнхена, прорываясь сквозь рев майора, становился все пронзительнее, пока, наконец, майор волей-неволей не умолк, и тогда старикашка уже без помех пошел и пошел отливать пули.

— Э, нет, старый друг, вы человек дотошный. Если уж вы катитесь с лестницы, то все ступеньки до единой пересчитаете. А поджег-то дом, в котором засели партизаны, не кто другой, как Кюнхен, тут и разговора быть не может. Я прибег к военной хитрости и прикинулся мертвым, а эти ослы поверили. Но когда вдруг поднялось пламя, защита отечества вылетела у них из головы и уж только одно осталось — как бы вырваться, сообгипё [1], и ничего больше. Видели бы вы, что тут наши творили. Подстреливали их, как только они появлялись на стене и начинали спускаться! Ну и скачки же они делали. Кроликам под стать!

Кюнхену пришлось прервать свою вольную импровизацию, он пронзительно захихикал. Ему ответил громовый гогот застольной компании. Наконец Кюнхен возобновил рассказ:

— Эти продувные бестии и нас научили коварству. А их женщины! Таких фурий, как француженки, свет не видывал. Кипяток лили нам на головы. Ну, подобает это дамам, я вас спрашиваю? Когда все запылало, они стали бросать детей в окна и еще, видите ли, хотели, чтобы мы ловили их. Умно придумали. Мы и ловили этих выродков, да только на штыки. А потом и дам таким же манером.— Кюнхен согнул изувеченные подагрой пальцы так, словно охватывал ими приклад ружья, и поднял глаза кверху, будто собираясь кого-то поддеть на штык. Стекла его очков поблескивали, он продолжал вдохно-

[1] Искаженное sauve qui peut *(франц.)* — спасайся кто может.— *Ред.*

венно врать.— Под конец,— пищал он,— какая-то толстая-претолстая баба хотела пролезть через окно, но, как ни ловчилась, ничего не выходило. Тогда она попыталась вылезть задом наперед. Только она, милочка, не приняла в расчет Кюнхена. Я, не будь ленив, вскакиваю на плечи двух солдат и ну щекотать штыком ее толстую французскую...

Шумные хлопки, хохот заглушили последние слова. Кюнхен смог только выкрикнуть:

— В день Седана я всегда рассказываю эту историю своему классу, конечно в благопристойных выражениях. Пусть молодежь знает, какими героями были их отцы.

Все сошлись на том, что подобные рассказы могут только укрепить националистический образ мыслей у молодого поколения, и один за другим потянулись чокаться с Кюнхеном. От восторга они вошли в такой раж, что никто не заметил, как к столу подошел новый посетитель. Ядассон неожиданно увидел скромного господина в сером пальто à la Гогенцоллерн и покровительственно кивнул ему.

— Смелей, смелей, господин Нотгрошен, присаживайтесь.

Дидерих, весь еще во власти возвышенных чувств, напустился на него:

— Кто вы такой?

Незнакомец отвесил низкий поклон:

— Нотгрошен, редактор «Нетцигского листка».

— Кандидат в голодающие, стало быть? — сказал Дидерих и сверкнул очами.— Неудачливые гимназисты, голодранцы с аттестатами, опасная братия!

Все рассмеялись; редактор смиренно улыбнулся.

— Его величество заклеймил вас,— сказал Дидерих.— А в общем, садитесь.

Он даже налил ему шампанского, и Нотгрошен, благодарно склонясь, выпил. Трезвый и смущенный, он оглядывал компанию, раззадоренную и взвинченную выпитым вином, а многочисленные пустые бутылки, стоявшие на полу, свидетельствовали, что выпито немало. О редакторе тут же забыли. Он терпеливо ждал, пока кто-то не осведомился, как он попал сюда среди ночи, точно с неба свалился.

— А кто же выпустит газету? — ответил Нотгрошен с той важностью, с какой обычно говорят о своей работе мелкие чиновники.— Ведь вы же захотите утром прочесть все подробности убийства рабочего.

— Мы их знаем лучше вашего! — крикнул Дидерих.— Вы-то, голодная рать, все высасываете из пальца.

Редактор беззлобно улыбнулся и угодливо выслушал сбивчивое описание событий, которые все наперебой излагали ему. Когда шум улегся, он заговорил:

— Так как вы, господин...

— Доктор Геслинг! — гаркнул Дидерих.

— Нотгрошен,— пробормотал редактор.— Так как вы давеча упомянули имя кайзера, вам, я думаю, небезынтересно будет узнать о новом манифесте его величества.

— Я запрещаю критиковать его величество! — крикнул Дидерих.

Редактор втянул голову в плечи и прижал руку к сердцу.

— Речь идет о новом послании кайзера.

— А как оно попало на ваш письменный стол? Опять подлое предательство? — спросил Дидерих.

Нотгрошен, защищаясь, поднял руку.

— Сам кайзер приказал обнародовать послание. Завтра утром вы все прочтете в газете. Вот гранки!

— Читайте, доктор! — скомандовал майор.

— Какой доктор? — воскликнул Дидерих.— Вы разве доктор?

Но никто уже ничем, кроме послания, не интересовался. Гранки вырвали из рук редактора.

— Браво! — крикнул Ядассон, еще сохранивший способность читать.— Его величество признает себя последователем позитивного христианства.

Пастор Циллих так обрадовался, что на него напала икота.

— Теперь Гейтейфель узнает... ик! Наконец-то этому наглецу, который кичится своей ученостью... ик!.. будет воздано по заслугам. Они берутся решать вопрос об откровении! В нем даже я... ик!.. едва разбираюсь. А ведь я изучал богословие!

Учитель Кюнхен, высоко подняв руку, размахивал листками гранок.

— Г-а-ас-пада! Плюньте мне в лицо, если я не прочту сие послание в классе и не задам сочинения на эту тему.

Дидерих впал в благоговейную серьезность.

— Воистину, господь избрал Хаммураби своим орудием! Посмотрим, кто дерзнет оспаривать это! — Он, сверкая очами, оглядел всех по очереди.

Нотгрошен поежился.

— Ну, а кайзер Вильгельм Великий? — продолжал Дидерих.— Тут уж я не потерплю никаких возражений. Если он не

орудие господне, значит, господь бог понятия не имеет, что такое орудие.

— Полностью согласен,— поддакнул майор. К счастью, и все остальные были согласны. Дидерих был настроен воинственно. Цепляясь за стол, он с трудом поднялся.

— Ну, а наш несравненный молодой кайзер? — спросил он с угрозой в голосе. Со всех сторон послышалось:

— Исключительная личность... Весь порыв и действие... Многосторонен... Оригинальный мыслитель...

Но Дидериху и этого было мало.

— Предлагаю причислить его к орудиям!

Предложение было принято.

— Предлагаю далее телеграфировать его величеству о нашем решении.

— Поддерживаю! — взревел майор.

Дидерих подытожил:

— Принято единогласно! — и рухнул на стул.

Кюнхен и Ядассон взялись общими силами сочинить телеграмму. Составив фразу, они немедленно читали ее вслух.

— Общество, собравшееся в ресторане города Нетцига...

— Собрание граждан города Нетцига, заседающее в...— потребовал Дидерих. Они продолжали:

— Собрание граждан националистического образа мыслей...

— Националистического... ик! и христианского! — добавил пастор Циллих.

— Неужели вы, господа, действительно намерены...— с тихой мольбой взывал Нотгрошен.— Я думал, это только шутка...

Дидерих разгневался:

— Мы не шутим священнейшими чувствами! Быть может, разъяснить вам это осязательно, жалкий вы неудачник?

Взглянув на руки Нотгрошена, поднятые в знак полного признания им своей ошибки, Дидерих мгновенно успокоился и проговорил:

— Ваше здоровье!

Майор самозабвенно орал:

— На нас его величество может положиться, как на каменную гору.

Ядассон призвал всех к молчанию и прочел:

— «Граждане города Нетцига, исповедующие националистический и христианский образ мыслей, собравшись в ресторане при муниципальном управлении, единодушно повергают к стопам Вашего величества свои верноподданнические чувства по случаю признания Вашим величеством религии открове-

ния и заверяют Ваше величество в своей глубочайшей ненависти к крамоле, где бы она и как бы она ни проявлялась, и усматривают в геройском деянии часового, имевшем место сегодня в городе Нетциге, отрадное доказательство того, что Ваше величество столь же, сколь Хаммураби и император Вильгельм Великий, является орудием господа бога».

Все рукоплескали, Ядассон, польщенный, улыбался.

— Подписываться! — заорал майор.— А может быть, у кого из присутствующих есть еще замечания?

Нотгрошен откашлялся:

— Одно-единственное словечко. Со всей подобающей скромностью.

— А то как же еще? — сказал Дидерих.

Выпитое вино придало редактору храбрости, он покачивался на стуле и без всякого основания хихикал.

— Я не хочу сказать ничего плохого о часовом, господа. Наоборот, я всегда полагал, что солдаты на то и существуют, чтобы стрелять.

— Ну, значит, все хорошо.

— Да, но разве нам известно, что кайзер того же мнения?

— Само собой. А дело Люка?

— Прецеденты... хи-хи... это прекрасно, но все мы знаем, что кайзер оригинальный мыслитель и... хи-хи... весь порыв и действие. Он не любит, чтобы его опережали в чем-нибудь. Если, к примеру, я сообщу в своей газете, что вам, господин Геслинг, предстоит назначение на пост министра, то этого... хи-хи... наверняка не случится.

— Бросьте ваши еврейские штучки! — крикнул Ядассон.

Нотгрошен возмутился:

— Я по случаю каждого церковного праздника даю в своей газете полтора столбца размышлений на божественные темы. А что до часового, то не исключено, что ему могут предъявить обвинение в убийстве. Тогда мы влипли.

Наступила тишина. Майор в раздумье выпустил из рук карандаш. Дидерих подхватил его.

— Мы что — исповедуем националистический образ мыслей или нет? — И он размашисто подписался. Всех обуял исступленный восторг. Нотгрошен обязательно хотел поставить свою подпись вторым.

— На телеграф!

Дидерих велел ресторатору прислать ему счет на дом, и все поднялись. Нотгрошен преисполнился вдруг самых смелых чаяний.

— Если я смогу напечатать ответ кайзера, мне к самому Шерлю открыта дорога.

— Мы все-таки посмотрим,— ревел майор,— долго ли еще я буду заниматься только устройством благотворительных балов!

Пастор Циллих мысленно уже видел в своей церкви толпы народа, побивающие каменьями Гейтейфеля. Кюнхен грезил о кровавой бане на улицах Нетцига. Ядассон каркал:

— Пусть только кто-нибудь посмеет усомниться в моих верноподданнических чувствах!

А Дидерих:

— Теперь старику Буку не поздоровится! А с ним заодно и Клюзингу в Гаузенфельде! Мы очнулись от спячки!

Все держались очень прямо, и только время от времени кто-нибудь неожиданно для самого себя выскакивал вперед. С грохотом проводили они своими палками по спущенным железным шторам магазинов и пели кто в лес, кто по дрова «Стражу на Рейне». На углу, против здания суда, стоял полицейский, на свое счастье, он не двинулся с места.

— Вы, дружок, может быть, желаете сказать нам что-нибудь? — крикнул ему Нотгрошен. Он не помнил себя от возбуждения.— Мы телеграфируем кайзеру!

Перед почтамтом с пастором Циллихом, у которого был не особенно крепкий желудок, случилась беда. Пока приятели старались облегчить его положение, Дидерих позвонил и, когда вышел дежурный, вручил ему телеграмму. Прочитав ее, чиновник нерешительно взглянул на Дидериха, но тот так грозно повел глазами, что телеграфист попятился и принялся оформлять телеграмму. Дидерих уже без всякой надобности продолжал вращать глазами; он стоял, как истукан, в позе кайзера, которому флигель-адъютант докладывает о подвиге часового, а министр двора вручает телеграмму с изъявлением верноподданнических чувств. На голове он ощущал каску; хлопнув себя по бедру — по невидимой сабле,— он сказал:

— Кто дерзнет помериться со мной силой?

Телеграфист принял это за предупреждение и, пододвигая сдачу, еще раз пересчитал ее. Дидерих взял мелочь, подошел к одному из столов, набросал на клочке бумаги несколько строк и, сунув бумажку в карман, вернулся к своей компании.

Пастора посадили в наемную карету; он уже отъезжал, проливая слезы, как перед вечной разлукой, и махал рукой из окошечка. Возле оперного театра Ядассон свернул за угол, хотя майор и орал ему вслед, что он живет вовсе не здесь. Внезапно

испарился и майор. Дидерих и Нотгрошен одни добрались до Лютерштрассе. У театра «Валгалла» редактор остановился. Не поддаваясь никаким уговорам, он во что бы то ни стало желал тотчас же, среди ночи увидеть «электрическое чудо», которое здесь показывали,— даму, мечущую огненные искры. Дидериху пришлось долго и настойчиво разъяснять ему, что в такую минуту неуместно заниматься столь легкомысленными вещами. Впрочем, как только показалось здание «Нетцигского листка», Нотгрошен забыл об «электрическом чуде».

— Остановить! — закричал он.— Остановить машины! Нужно еще тиснуть телеграмму от немцев-националистов... Ведь вы же захотите утром прочесть ее в газете? — обратился он к проходившему мимо ночному сторожу. Вдруг Дидерих крепко взял редактора под руку.

— Не только эту телеграмму,— отрывисто и тихо произнес он.— У меня есть еще одна.— Он вытащил из кармана бумажку.— Дежурный телеграфист оказался моим знакомым, он мне доверился. Но я требую, чтобы вы обещали ни в коем случае не разглашать, откуда к вам попал этот документ: телеграфист может лишиться места.

Нотгрошен немедленно все обещал, и Дидерих, не глядя на бумажку, проговорил:

— Телеграмма адресована в штаб полка, и полковнику предлагается самолично сообщить о ней часовому, застрелившему рабочего. Телеграмма гласит: «За доблесть, проявленную тобой на поле чести в борьбе с внутренним врагом, выражаю мою высочайшую благодарность и присваиваю тебе чин ефрейтора...» Убедитесь сами.— И Дидерих протянул редактору бумажку. Но редактор не взглянул на нее; как ошалелый уставился он на Дидериха, на его каменную фигуру и на усы, поднимавшиеся до самых глаз, мечущих испепеляющие взоры.

— Мне почудилось, что...— пробормотал Нотгрошен.— У вас такое поразительное сходство с...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дидерих, как в лучшие «новотевтонские» времена, проспал бы час обеда, если бы из ресторана не прислали счет, и настолько солидный, что пришлось встать и отправиться в контору. Он чувствовал себя прескверно, а его донимали всякими пустяками. Да и кто? Свои, домашние. Сестры требовали увеличить сумму, которая ежемесячно полагалась им «на булавки». И когда он

сослался на полное безденежье, попрекнули его тем, что у старика Зетбира они отказа не знали. Дидерих решил в корне пресечь эту попытку к бунту. Осипшим с перепоя голосом он заявил сестрам, что придется им еще и не к таким вещам привыкать. Зетбир, конечно, раздавал деньги направо и налево, но зато и довел фабрику до полного развала.

— Если бы мне пришлось сейчас выплатить вам вашу долю, вы бы ахнули от удивления,— такой она оказалась бы ничтожной.— Говоря это, он думал о том, как несправедливо, что ему, вероятно, придется когда-нибудь привлечь их к участию в деле. «Надо бы заранее принять меры». Сестры между тем распалялись все больше:

— Нам нечем уплатить шляпнице, а господину доктору, видите ли, можно выбросить на шампанское полтораста марок.

Дидерих рассвирепел, лицо у него перекосилось. Его письма вскрывают! За ним шпионят! Он не хозяин в своем доме, он приказчик, негр, он тянет из себя жилы ради того, чтобы милые сестрицы могли целыми днями прохлаждаться! Он орал и топал ногами так, что стекла звенели. Фрау Геслинг умоляюще хныкала, сестры возражали уже только из страха, но Дидерих закусил удила.

— Как вы смеете? Дуры безмозглые! Разве вы в состоянии понять, что эти полтораста марок — блестящее помещение капитала? Да, да, помещение капитала! Думаете, я распивал бы с этими остолопами шампанское, если бы они мне не нужны были? Этого вы тут, в Нетциге, слыхом не слыхивали, это новый курс, это...— Он подбирал слово: — Это — размах! Да, размах!

И он вышел, хлопнув дверью. Фрау Геслинг на цыпочках последовала за ним в гостиную. Он рухнул на диван; она взяла его за руку:

— Мой дорогой сын, я с тобой! — И она посмотрела на него так, точно хотела вместе с ним помолиться «словами, идущими от сердца». Дидерих потребовал маринованной селедки и стал сердито жаловаться, как трудно в Нетциге привить новый дух. Хоть бы домашние щадили его нервы!

— У меня насчет нашей семьи грандиозные планы. Дайте же мне возможность действовать по собственному разумению. Хозяином должен быть кто-то один. Тут нужны, конечно, предприимчивость и размах. Зетбир мне теперь не подходит. Пусть старик еще попыхтит немного, а потом я его выставлю.

Фрау Геслинг кротко заверяла, что не сомневается в своем дорогом сыне — он, конечно, всегда сумеет ради своей матери поступить так, как надо, и Дидерих направил свои стопы в кон-

тору. Там он написал письмо в дирекцию машиностроительного завода Бюшли и К°, в Эшвейлере, прося выслать ему «новый патентованный двойной голландер» системы Майер. Оставив написанное письмо на столе, он вышел из комнаты. Когда он вернулся, Зетбир стоял у его конторки; прикрываясь своим зеленым козырьком, старик, несомненно, плакал: на письмо капали слезы.

— Отдайте его переписать,— холодно сказал Дидерих.

Тогда Зетбир заговорил:

— Патрон, наш голландер не патентованный, но с ним старый хозяин начинал дело и с ним привел фабрику к процветанию...

— А я возымел желание сделать то же самое с помощью собственного голландера,— отчеканил Дидерих.

Зетбир горевал:

— Наш старый голландер никогда не подводил нас.

— Так подведет.

Зетбир клялся, что старая машина не уступает по своей мощности самым новым, все это одна жульническая реклама. Видя, что Дидерих упорствует, старик открыл дверь и крикнул:

— Фишер! Зайдите-ка на минутку!

Дидерих вскинулся:

— Что вам от него нужно? Нечего ему совать нос в мои дела.

Но Зетбир ссылался на мнение механика, работавшего на крупнейших бумажных фабриках.

— Фишер, расскажите же господину доктору, как хорошо работает наш голландер.

Дидерих не желал слушать, он бегал из угла в угол, уверенный, что механик не упустит случая досадить ему. И вдруг Наполеон Фишер начал с того, что превознес до небес деловые качества Дидериха, а затем наговорил о старом голландере столько плохого, что больше уж и сказать нельзя было. Послушать Фишера, так он уже готов был потребовать расчет, до того его замучил старый голландер. Дидерих фыркнул: ему, дескать, потрясающе везет,— шутка ли, такой бесценный работник, как господин Фишер, решил не покидать его! Но Фишер пропустил мимо ушей иронические слова хозяина и по снимкам, помещенным в проспекте, растолковал Дидериху все преимущества патентованного голландера и главным образом легкость его обслуживания.

— Лишь бы вам было легче работать! — снова фыркнул Дидерих.— Только об этом я и мечтаю. Благодарю, можете идти.

После ухода механика Зетбир и Дидерих долго молчали и занимались каждый своим делом. Вдруг Зетбир спросил:

— А чем мы за него заплатим?

Дидерих мгновенно вспыхнул до ушей: он тоже все время об этом думал.

— Есть о чем беспокоиться! Чем заплатим! Прежде всего я выговорю большую рассрочку, а затем, если уж я заказываю такую дорогую машину, то неужели вы думаете, что я не знаю, для чего! Знаю, милый мой! Ясно, что у меня есть определенные виды на расширение моего предприятия в ближайшем будущем... но пока я не считаю нужным говорить об этом.

И он удалился, надменно вскинув голову, хотя его и грызли сомнения. Разве Наполеон Фишер не оглянулся с таким видом, словно ему удалось порядком околпачить хозяина? «Кругом враги,— подумал Дидерих и еще больше выпятил грудь,— но от этого силы только крепнут. Всех сотру в порошок. Они узнают, с кем имеют дело!» И он решил выполнить намерение, с которым проснулся сегодня утром. Он отправился к доктору Гейтейфелю. Доктор как раз принимал больных. Дидериху пришлось ждать. Гейтейфель принял его в своем процедурном кабинете, где все: запахи и предметы — напоминало Дидериху, с каким страхом он, бывало, входил сюда. Доктор Гейтейфель взял со стола газету, коротко рассмеялся и сказал:

— Вы пришли, вероятно, похвалиться своими победами? Еще бы! Сразу два таких успеха! Напечатаны ваши подогретые шампанским верноподданнические излияния, да и телеграмма часовому от кайзера, с вашей точки зрения, не оставляет желать лучшего.

— Какая телеграмма?— спросил Дидерих. Доктор Гейтейфель показал; Дидерих прочел: «За доблесть, проявленную тобой на поле чести в борьбе с внутренним врагом, выражаю мою высочайшую благодарность и присваиваю тебе чин ефрейтора». Телеграмма, напечатанная черным по белому, произвела на него впечатление совершеннейшей подлинности. Он даже умилился и сдержанно, как и подобает мужчине, сказал:

— Каждый истинный националист обеими руками под этим подпишется.— Гейтейфель лишь плечом повел, и Дидерих собрался с духом: — Я пришел не для этого, я хочу выяснить наши отношения.

— Они, надо полагать, давно выяснены,— сказал Гейтейфель.

— Отнюдь нет.— Дидерих стал уверять, что склонен заключить почетный мир. Он готов действовать в духе правильно

понятого либерализма, если только встретит уважение к своему строго националистическому образу мыслей. Доктор Гейтейфель ответил, что все это пустозвонные фразы, и Дидерих почувствовал, как почва ускользает у него из-под ног. Этот человек держит его в своей власти; он может обвинить Дидериха в трусости, опираясь на документ! В иронической улыбке, игравшей на желтом китайском лице Гейтейфеля, во всей его самоуверенной повадке притаился вечный намек. Он молчит, он хочет, чтобы дамоклов меч постоянно висел над головой Дидериха. Этому необходимо положить конец!

— Я прошу вас,— сказал Дидерих охрипшим от волнения голосом,— вернуть мне мое письмо.

Гейтейфель прикинулся удивленным.

— Какое письмо?

— Которое я написал вам, когда был призван.

Врач сделал вид, что припоминает.

— Ах да: вы хотели уклониться от военной службы.

— Я так и думал, что вы придадите оскорбительный для меня смысл неосторожно высказанным пожеланиям. Еще раз прошу вернуть мне письмо.— И Дидерих надвинулся на Гейтейфеля. Тот не тронулся с места.

— Оставьте меня в покое. Я вашего письма не сохранил.

— Я требую честного слова.

— Честного слова я по приказу не даю.

— В таком случае предупреждаю вас о последствиях вашего нечестного образа действий. Если вы вздумаете воспользоваться письмом, чтобы при случае учинить мне гадость, я обвиню вас в нарушении профессиональной тайны. Я подам жалобу во врачебную палату, потребую наложить на вас штраф и употреблю все свое влияние, чтобы вас уничтожить.— И, не помня себя от бешенства, сорвавшимся голосом прохрипел: — Я готов на все. Между нами — открытая война не на жизнь, а на смерть.

Доктор Гейтейфель взглянул на него с любопытством и помотал головой, шевеля китайскими усами.

— Вы охрипли,— сказал он.

Дидерих отшатнулся.

— Какое вам до этого дело? — пробормотал он.

— Никакого,— сказал Гейтейфель.— Я обратил на это внимание, потому что всегда предсказывал нечто подобное.

— Что именно? Извольте говорить яснее.

Но Гейтейфель отказался. Дидерих сверкнул глазами.

— Я решительно требую, чтобы вы исполнили свой врачебный долг.

— Я не ваш врач,— ответил Гейтейфель.

Дидерих сменил повелительный тон на жалобно-пытливый.

— Порой я чувствую боль в горле. Вы полагаете, что это серьезно? Есть основания опасаться самого страшного?

— Советую вам обратиться к специалисту.

— Да ведь вы единственный в городе специалист! Бога ради, господин доктор, не берите греха на душу, у меня на руках семья.

— Да вы бы поменьше курили и пили. Вчера вечером вы хватили через край.

— Ах, так.— Дидерих выпрямился.— Вы мне не можете простить вчерашнее шампанское. И верноподданнический адрес.

— Если вы подозреваете меня в низменных побуждениях, зачем вы меня спрашиваете?

Но Дидерих уже снова молил:

— Скажите, по крайней мере, не угрожает ли мне рак?

Гейтейфель не улыбнулся.

— Ребенком, правда, вы всегда отличались золотушным и рахитическим складом. Зря вы не служили в армии, вы бы не обрюзгли так.

В конце концов он сменил гнев на милость, осмотрел Дидериха и принялся смазывать ему горло. Дидерих задыхался, боязливо вращал глазами и стискивал руку врача. Гейтейфель убрал шпатель.

— Так я, разумеется, ничего сделать не смогу.— Он хмыкнул.— Вы ничуть не изменились — такой же, как в детстве.

Как только Дидерих отдышался, он немедленно унес ноги из этой камеры пыток. Не успели у него просохнуть глаза, как он натолкнулся на Ядассона.

— Что с вами? — спросил Ядассон.— Вчерашняя попойка вам повредила? Так почему же вы обратились именно к Гейтейфелю?

Дидерих уверил его, что чувствует себя превосходно.

— Но этот тип довел меня до белого каления! Я отправился к нему, ибо счел своим долгом потребовать удовлетворительного объяснения по поводу вчерашних речей Лауэра. Пререкаться с самим Лауэром не очень-то приятно человеку благомыслящему.

Ядассон предложил зайти в пивную Клапша.

— Я, стало быть, пошел к нему,— продолжал Дидерих, уже сидя с Ядассоном за столиком,— в надежде, что вся эта

история объяснится очень просто; либо сей господин был пьян в дым, либо на него нашло временное затмение! Вместо этого, как вы думаете, что происходит? Гейтейфель держит себя нагло. Принимает самоуверенный тон. Подвергает циничной критике наш верноподданнический адрес и — вы не поверите! — даже телеграмму его величества!

— Ну, а затем? — спросил Ядассон; одна рука его была занята обследованием фрейлейн Клапш.

— Для меня здесь не существует никаких «затем»! С этим господином я раз навсегда покончил счеты! — воскликнул Дидерих, хотя у него изрядно сосало под ложечкой от мысли, что в среду ему опять предстоит смазывание.

— Ну, а я еще не покончил,— отрезал Ядассон.— И в ответ на удивленный взгляд Дидериха: — Вы забыли, что существует учреждение, именуемое королевской прокуратурой, и оно весьма интересуется господами, подобными Лауэру и Гейтейфелю.— Он оставил в покое фрейлейн Клапш и сделал ей знак скрыться с глаз.

— Что вы намерены предпринять? — спросил неприятно пораженный Дидерих.

— Я думаю предъявить им обвинение в оскорблении величества.

— Вы?

— Да, я. Прокурор Фейфер сейчас в отпуску, и я его замещаю. Во время самого происшествия я отсутствовал и тотчас же установил это при свидетелях. Стало быть, я имею право выступить на процессе как представитель обвинения.

— Но если никто не возбудит его?

На лице Ядассона появилась жесткая усмешка.

— Слава богу, мы можем и без этого обойтись... Кстати, напоминаю вам, что вчера вечером вы сами предложили себя в свидетели.

— Решительно не помню,— живо сказал Дидерих.

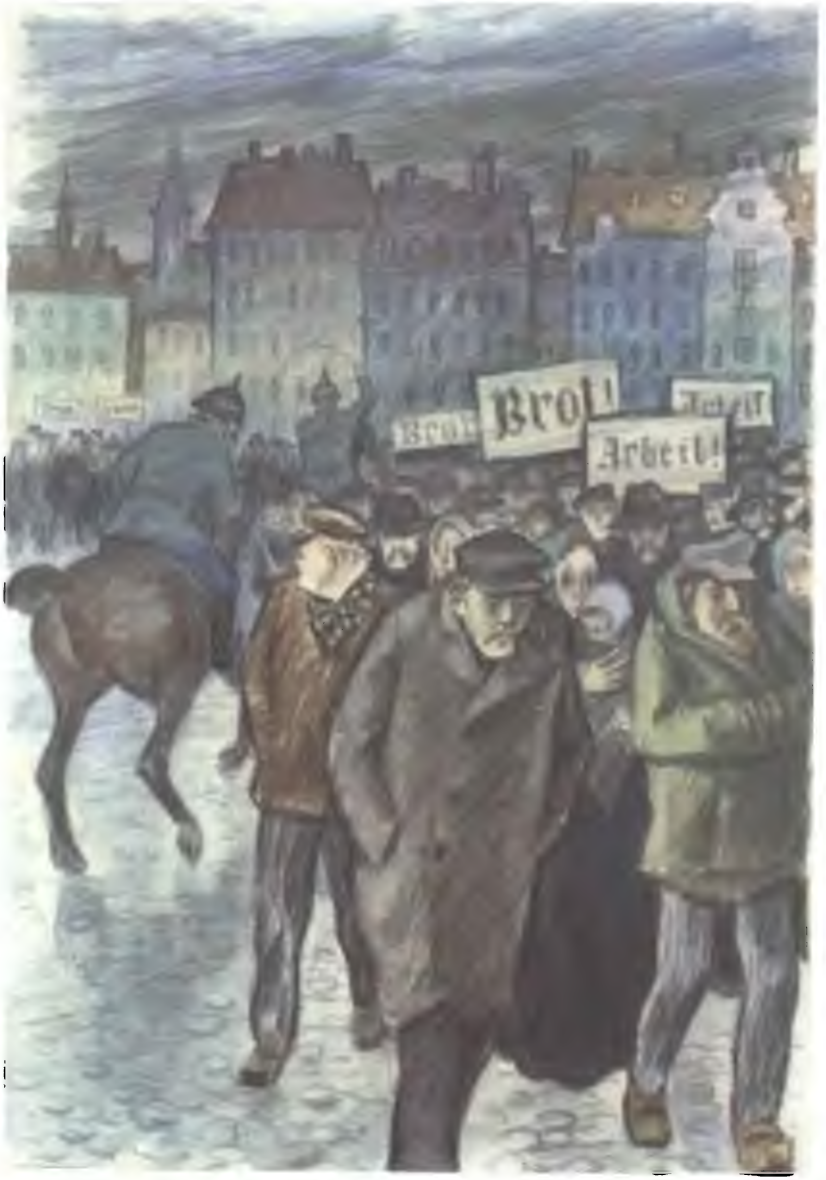
Ядассон похлопал его по плечу.

— Ничего, вспомните, как только вас приведут к присяге.

Дидерих вспылил. Он так расшумелся, что Клапш осторожно заглянул в комнату.

— Господин асессор, не могу не выразить вам крайнего удивления. Мои частные замечания вы... По-видимому, вы рассчитываете с помощью политического процесса скорее выскочить в прокуроры. Но я хотел бы знать, какое мне дело до вашей карьеры?

— А мне до вашей,— ответил Ядассон.


Brot!
Arbeit!

«Верноподданный»

— Так. Значит — враги?

— Надеюсь, мы еще с вами поладим.

И Ядассон разъяснил, что у Дидериха нет никаких оснований бояться процесса. Все свидетели событий в погребке, включая и друзей Лауэра, не могут не показать то же, что и Дидерих. Дидериху отнюдь не придется отважиться на какой-либо особый шаг.

— К сожалению, я его уже сделал,— ответил Дидерих,— ведь именно я затеял скандал с Лауэром.

Но Ядассон его успокоил:

— Это никого не интересует. Важно установить одно: произнес ли Лауэр инкриминируемые ему слова или нет? Вы, точно так же, как все остальные, дадите свои показания. При желании можете это сделать с осторожностью.

— С большой осторожностью,— подхватил Дидерих. И, глядя на сатанинскую усмешку Ядассона:— Да разве мне когда-нибудь могло прийти в голову засадить в тюрьму такого порядочного человека, как Лауэр? Да, да, порядочного! Ибо политические убеждения, на мой взгляд, сами по себе никого не позорят.

— Особенно когда это касается зятя старика Бука, ведь в Буке вы еще пока нуждаетесь,— сказал в заключение Ядассон, и Дидерих опустил голову. Этот карьерист, этот еврей бессовестно эксплуатирует его, а он перед ним беззащитен! Верь после этого в дружбу! Дидерих сказал себе,— в который раз! — что все поступают в жизни бессовестнее и коварнее, чем он. Его главная задача теперь: научиться идти напролом. Он выпрямился и метнул испепеляющий взгляд. На большее он пока не решился. С господами из прокуратуры надо держать ухо востро! Кто их ведает?.. Впрочем, Ядассон заговорил о другом.

— А знаете ли вы, какие странные слухи пошли в управлении регирунгспрезидента и у нас в суде? Относительно телеграммы его величества в штаб полка? Полковник, говорят, утверждает, будто он никакой телеграммы не получал.

Дидерих сохранил твердость голоса, хотя сердце у него екнуло.

— Телеграмма-то ведь напечатана в газете!

Ядассон двусмысленно ухмыльнулся.

— Чего там только не напечатано.— Он попросил Клапша, снова просунувшего в дверную щель свою лысину, принести «Нетцигский листок».— Смотрите-ка, в этом номере вообще нет ни строчки, которая не имела бы прямого отношения к его величеству. Вот передовица. Тема — послание кайзера о рели-

гии откровения. Далее телеграмма кайзера командиру полка, в местных новостях — репортаж о героическом подвиге часового, а в отделе «Смесь» три эпизода из семейной жизни кайзера.

— Ужасно трогательные истории,— вставил словечко Клапш и завел глаза под лоб.

— Весьма, весьма,— подтвердил Ядассон, а Дидерих:

— Даже такая крамольная газета, как «Нетцигский листок», и та не может не признать величия нашего кайзера!

— Но при таком похвальном рвении вполне возможно, что редакция на день раньше опубликовала высочайшую телеграмму... то есть до того, как она была отправлена...

— Исключается! — решительно сказал Дидерих.— Стиль его величества неповторим.

Клапш тоже узнал стиль его величества.

Ядассон согласился.

— Ну, да... Мы не выступаем с опровержением только потому, что в таких случаях разве знаешь... Возможно, что полковник не получил телеграммы, а газета получила ее непосредственно из Берлина. Фон Вулков вызвал к себе редактора Нотгрошена, но этот малый отказался дать показания. Вулков рассвирепел, он сам явился к нам и потребовал репрессивных мер против Нотгрошена,— ведь редактор обязан назвать прокуратуре источник информации. Посовещавшись, мы отказались от этой мысли и предпочли ждать опровержения из Берлина... именно потому, что ничего нельзя знать...

Клапша позвали на кухню. Когда он вышел, Ядассон прибавил:

— Странно, не правда ли? Всем эта история кажется подозрительной, но никто не хочет принимать меры, ибо в этом случае... в этом исключительном случае,— сказал Ядассон, иезуитски подчеркивая каждое слово, и выражение лица его было иезуитским, даже уши, казалось, иезуитски топорщатся,— именно самое невероятное чаще всего оказывается правдой.

Дидерих потерял дар слова: ему и во сне не снилось, что возможно такое черное предательство. Ядассон заметил, как он потрясен, и смешался; он начал вилять.

— Строго между нами, у этого человека тоже есть свои слабости.

Дидерих холодно и предостерегающе ответил:

— Вчера вечером вы как будто были другого мнения.

Ядассон сослался на шампанское, конечно, заглушающее голос критики. Неужели доктор Геслинг принял всерьез энтузиазм всей компании? Большего злопыхателя, чем майор Кун-

це, мир не видывал... Дидерих отодвинулся вместе со стулом, его пробирала дрожь, ему казалось, что он очутился в каком-то разбойничьем притоне. Он твердо и решительно сказал:

— Националистический образ мыслей нашей вчерашней компании, надеюсь, так же бесспорен, как и мой собственный, в котором я никому не позволю усомниться.

Ядассон заговорил своим обычным вызывающим тоном:

— Если в ваших словах содержится намек, бросающий тень на мою личность, то я отвергаю его с негодованием.— И он так завизжал, что Клапш с любопытством приоткрыл дверь.— Я — королевский асессор доктор Ядассон и в любое время к вашим услугам.

В ответ на это Дидериху ничего не оставалось, как промямлить, что он и не думал кого-либо оскорблять. Однако он немедленно уплатил за себя. Прощание вышло холодным.

Дидерих шел домой и всю дорогу громко сопел. Пожалуй, не мешает быть полюбезнее с Ядассоном: а вдруг Нотгрошен проговорится. Правда, затевая процесс против Лауэра, Ядассон нуждается в Дидерихе. Так или иначе, хорошо, что Дидерих раскусил теперь этого господина. «Его уши с первого взгляда показались мне подозрительными. У человека с такими ушами не может быть истинно националистического образа мыслей».

Дома Дидерих первым делом развернул берлинскую «Локаль-анцейгер». Он пробежал коротенькие рассказы о кайзере, которые завтра появятся в «Нетцигском листке». А может, и завтра, и послезавтра, в одном номере все не уместятся. Он продолжал искать; руки у него тряслись... Вот! Он рухнул на стул.

— Тебе дурно, сын мой? — спросила фрау Геслинг. Дидерих глядел на эти буквы, как на сказку, которая стала былью. Вот она напечатана среди других сообщений о доподлинных фактах в единственной газете, которую его величество читает сам! В душе, в таких сокровенных ее глубинах, что сам он едва это слышал, Дидерих сказал себе: «Моя телеграмма». Боязливое счастье распирало грудь. Возможно ли? Неужели он так безошибочно почувствовал, что скажет кайзер? Неужели слух его так чутко улавливает слова, идущие из недосягаемой дали? Неужели его мозг работает в унисон с мозгом?.. Это сверхъестественное мистическое сродство потрясло его воображение... Но назавтра может еще появиться опровержение, и он будет отброшен назад в ничто, из которого поднялся. Всю ночь он мучился страхами, а утром впился в свежий номер «Локаль-анцейгера». Эпизоды из жизни кайзера. Открытие памятника. Речь. Заметка: «Из Нетцига». В ней сообщалось о почестях, оказанных

ефрейтору Эмилю Пахольке за доблесть, проявленную в борьбе с внутренним врагом. Все офицеры, начиная с полковника, пожимали ему руку Он получил денежные подарки. «Как известно, кайзер уже вчера по телеграфу присвоил молодцу-солдату чин ефрейтора». Черным по белому! Какое там опровержение! Наоборот — подтверждение! Слова Дидериха он сделал своими и поступил так, как Дидерих ему подсказал!.. Дидерих развернул перед собой газету; он смотрелся в нее, как в зеркало, и видел себя облаченным в горностай.

О своей победе и головокружительном взлете Дидерих, к сожалению, не смел проронить ни единого звука, но достаточно было взглянуть на его осанку, на эту четкость в движениях и в манере говорить, на властное око... И дома и на фабрике все и вся немели перед ним. Сам Зетбир не мог не признать, что на фабрике повеяло свежим ветром. А Наполеон Фишер! Чем прямее и уверенней держался Дидерих, тем суетливее, совсем по-обезьяньи, шмыгал мимо него механик: свесив руки наперед, глядя в сторону и скаля зубы под редкими черными усами,— воплощение укрощенного бунтарства... Теперь в самый раз было начать кампанию за Густу Даймхен. Дидерих отправился с визитом.

Вдова обер-инспектора фрау Даймхен приняла его сначала одна; она сидела на потертом плюшевом диване, но в шелковом коричневом платье, сплошь в бантах, растопырив на животе руки, красные и набрякшие, как у прачки, чтобы гость мог все время любоваться новыми перстнями. От неловкости Дидерих выразил свое восхищение, и фрау Даймхен с готовностью принялась расписывать, как хорошо им с Густой живется, хватает, слава богу, на все. Они еще только не решили, какой обстановкой обзавестись, в старонемецком стиле или в стиле Людовика ...надцатого. Дидерих горячо советовал остановиться на старонемецком, в Берлине его встречаешь в лучших домах. Но фрау Даймхен выразила сомнение.

— Кто знает, доводилось ли вам бывать в таких аристократических домах, как наш. Ведь многие только фасон держат, знаю я это, на брюхе шелк, а в брюхе щелк.

Дидерих растерянно замолчал, а фрау Даймхен, довольная, побарабанила пальцами по животу. К счатью, сильно шурша юбками, вошла Густа. Дидерих, изогнувшись, вскочил с кресла, картаво сказал: «Многоуважаемая фрейлейн»,— и галантно приложился к ручке. Густа расхохоталась.

— Глядите, еще ногу вывихнете! — Но тут же утешила его: — Сразу виден светский человек. Вот точно так здоровается и лейтенант фон Брицен.

— Да, да,— сказала фрау Даймхен,— у нас бывают все господа офицеры. Еще только вчера говорю я Густе, что надо бы, значит, на всех креслах у нас вышить баронский герб, потому что на каждом уже сидело по барону.

Густа скривила губы.

— Но если говорить о семейных домах... и вообще... то надо сказать, что Нетциг изрядно-таки мещанский городок. Мы, вероятно, переедем в Берлин.

С этим фрау Даймхен была не согласна.

— Такого удовольствия мы людям не доставим. Старуха Гарниш чуть не лопнула сегодня, когда увидела мое шелковое платье.

— Вот мама всегда так,— сказала Густа,— ей бы только перед кем-нибудь покуражиться, а там хоть трава не расти. Я же думаю о своем женихе. Вы знаете, что Вольфганг уже сдал государственный экзамен? Что ж ему делать здесь, в Нетциге? Ну, а в Берлине, при наших деньгах, ему простор.

— Да, конечно,— подтвердил Дидерих,— он еще в детстве мечтал стать министром или чем-то в этом роде.— И с легкой ноткой иронии добавил: — По его мнению, это совсем просто.

Густа сразу же ощетинилась.

— Сын господина Бука не первый встречный,— сказала она запальчиво.

Дидерих со светской мягкостью, но и с чувством превосходства объяснил, что в нашу эпоху нужны качества, отсутствие которых одним влиянием старика Бука не восполнишь. Надо быть сильной личностью и обладать духом предприимчивости, широким размахом, а главное — строго националистическим образом мыслей. Девушка уже не перебивала, она даже с уважением уставилась на лихо закрученные усы Дидериха. Но Дидерих, увидев, что он производит впечатление, перегнул палку.

— Всех этих качеств я пока еще у господина Вольфганга Бука не заметил,— сказал он.— Он философствует и брюзжит, да и развлекается не в меру... Ничего удивительного,— заключил он,— ведь его мать тоже была актрисой.

Он смотрел вбок, хотя чувствовал, что негодующий взор Густы ищет его взгляда.

— Что вы хотите этим сказать? — спросила она.

Он ответил с деланным удивлением:

— Я? Абсолютно ничего. Я говорю лишь о том, как живет в Берлине золотая молодежь, а Буки ведь аристократы.

— Надеюсь,— резко сказала Густа. На фрау Даймхен напала зевота, она напомнила дочери о портнихе. Густа выжидательно посмотрела на Дидериха; ему только и оставалось, что встать и раскланяться. К ручке он уже не приложился, учитывая напряженную атмосферу. Но Густа его нагнала в передней.

— Быть может, вы все-таки скажете, на что вы намекали, когда говорили об актрисе? — спросила она.

Дидерих открыл рот, как бы запасаясь воздухом, закрыл его и густо покраснел. Он чуть было не выболтал того, что сестры рассказали ему о Вольфганге Буке. Голосом, полным сострадания, он ответил:

— Фрейлейн Густа, мы ведь с вами старые знакомые... Я хотел лишь сказать, что Бук для вас неподходящая пара. У него, что называется, плохая наследственность по материнской линии. Да ведь и старик тоже приговорен был к смертной казни. И вообще что в них особенного, в этих Буках, не понимаю! Верьте мне, не стоит родниться с семьей, которая катится под гору. Это грех по отношению к себе,— добавил он.

Густа подбоченилась.

— Катится под гору? А вы, конечно, идете в гору? Только потому, что пьянствуете по ресторанам, а потом скандалите и пристаете к людям? Вы уже стали притчей во языцех для всего города, а еще позволяете себе чернить порядочную семью! Катится под гору! Кому достанутся мои деньги, тот уже под гору не покатится. Да вас попросту зависть гложет, думаете, я не понимаю? — И она посмотрела ему в лицо; в глазах у нее стояли слезы ярости.

Он чувствовал себя как побитая собака, ему хотелось броситься перед ней на колени, целовать ее короткие пухлые пальцы и поцелуями осушить слезы на глазах... Но как решиться? Она сделала презрительную гримаску, розовые подушечки на ее круглом полном лице как-то оттянулись книзу. Густа повернулась к нему спиной, вышла и хлопнула дверью. Дидерих, с бьющимся от страха сердцем, еще помедлил немного и, удрученный чувством собственного ничтожества, побрел прочь.

Поразмыслив, он решил, что сюда ему нечего соваться, что ему до всего этого нет дела, а Густа, при всех своих капиталах, как была толстой дурой, так и осталась... Этот вывод его успокоил. А когда Ядассон однажды вечером сообщил ему, что через магдебургский суд удалось получить точные сведения, Ди-

дерих возликовал: пятьдесят тысяч марок, есть о чем говорить! И с таким капиталом разыгрывать из себя графиню! Девица, прибегающая к подобным мошенническим уловкам, и впрямь ко двору захудалым Букам, но не такому здоровому душой и телом, националистически мыслящему немцу, как он, Дидерих. Уж лучше тогда Кетхен Циллих. Внешне у нее с Густой много общего, она не менее соблазнительна, а кроме того, отзывчивее и уступчивей. Он зачастил к пастору, приходил обычно к послеобеденному кофе и усердно ухаживал за Кетхен. Она предостерегала Дидериха насчет Ядассона, и он не мог не согласиться с ней. Она с возмущением говорила о фрау Лауэр, которая с членом суда Фрицше... Что касается процесса против Лауэра, то одна только Кетхен целиком поддерживала Дидериха.

А дело это грозило обернуться против него. Ядассон добился, чтобы следователь по требованию прокурорского надзора допросил всех свидетелей ночного происшествия в погребке; и как ни осторожны были показания Дидериха, все остальные свалили на него ответственность за неловкое положение, в котором они очутились. Кон и Фрицше избегали его; брат старика Бука, всегда необычайно вежливый, не раскланивался с ним; Гейтейфель свирепо смазывал ему горло, но уклонялся от личных разговоров. В тот день, когда стало известно, что фабриканту Лауэру вручен обвинительный акт, Дидерих, зайдя в погребок, увидел, что за его столиком нет ни души. Учитель Кюнхен надевал пальто. Дидерих остановил его уже на ходу. Но Кюнхен очень торопился, его ждали в ферейне свободомыслящих избирателей, где он собирался выступить с речью против нового законопроекта о военном бюджете. Он удрал, а Дидерих с горечью вспомнил ту победную ночь, когда на улице пролилась кровь внутреннего врага, здесь же рекой лилось шампанское, и из всех националистов самым воинственным был Кюнхен. А теперь он выступает против усиления нашей достославной армии... Дидерих сиротливо созерцал свою вечернюю кружку пива; но вот появился майор Кунце.

— Здравствуйте, господин майор,— с деланной бодростью встретил его Дидерих.— Что это вас совсем не слышно?

— Зато вас очень даже слышно! — Майор еще что-то пробурчал и, стоя в пальто и шляпе, озирался по сторонам, точно перед ним расстилалась снежная пустыня.— Ни души!

— Разрешите предложить вам стаканчик вина! — отважился сказать Дидерих, но получил жестокую отповедь:

— Благодарю, я еще ваше шампанское не переварил.

Майор заказал пива и сидел молча, с таким свирепым видом, что становилось страшно. Ради того лишь, чтобы нарушить невыносимое молчание, Дидерих сказал наобум:

— Ну, а что с ферейном ветеранов, господин майор? Я надеялся, что вот-вот буду принят, и ждал извещения.

Майор так посмотрел на него, точно хотел его съесть.

— Ах, так. Вы надеялись. Вы, вероятно, надеялись также, что окажете мне честь, втянув меня в ваше скандальное дело?

— Мое? — пробормотал Дидерих.

— Да, да, многоуважаемый! — заорал майор.— Ваше! У господина фабриканта Лауэра вырвалось невзначай лишнее слово, это со всяким может случиться, даже со старыми солдатами, которые проливали кровь за своего государя, не боясь ни увечий, ни смерти. Вы же коварнейшим образом спровоцировали Лауэра на неосторожные речи. Я не откажусь все это подтвердить на следствии. Лауэра я знаю: он воевал во Франции, он член нашего ферейна ветеранов. А вы, сударь, кто вы такой? Откуда я знаю, служили ли вы вообще? Предъявите документы!

Дидерих полез во внутренний карман пиджака. Он стал бы во фронт, если бы майор ему скомандовал. Майор вытянул перед собой руку с воинским билетом Дидериха. Вдруг он отшвырнул билет прочь и саркастически хмыкнул:

— Ну, вот вам! Зачислен в ландштурм. А что я говорил? Плоскостопие, конечно.

Дидерих был бледен, каждое слово майора повергало его в дрожь, он заклинающе поднял руку:

— Господин майор, даю вам честное слово, что я служил. И лишь несчастный случай, который только делает мне честь... Пришлось через три месяца покинуть армию...

— Несчастный случай!.. Знаем мы! Кельнер, счет!

— А то я навсегда остался бы в армии,— прибавил Дидерих неуверенным голосом.— Душой и телом был я предан своему воинскому долгу. Спросите мое начальство.

— Прощайте! — Майор был уже в пальто.— Вот что я скажу вам, сударь: кто не служил, пусть не суется в такие дела, как оскорбление величества. Его величество презирает неслуживших господ. Грюцмахер,— обратился он к ресторатору,— вам бы следовало знать публику, которая у вас бывает. По милости одного вашего слишком частого посетителя господину Лауэру грозит чуть не арест, а я со своей больной ногой обязан явиться в суд свидетелем обвинения и со всеми перессориться. Бал в «Гармонии» уже отменен. Мне теперь нечего делать, а когда захожу сюда,— он опять огляделся, словно перед ним

простиралась пустыня,— не застаю ни живой души. Кроме, конечно, этого доносчика! — крикнул он, уже подымаясь по лестнице.

— Даю честное слово, господин майор...— Дидерих побежал за майором,— я не подавал никаких жалоб, все это недоразумение.— Майор был уже на улице.— Прошу вас, по крайней мере, ничего не разглашать...— крикнул Дидерих ему вдогонку.

Он вытер лоб.

— Господин Грюцмахер, вы должны все-таки принять во внимание...— сказал он со слезами в голосе. И так как он заказал вина, ресторатор все принял во внимание.

Дидерих пил и скорбно покачивал головой. Он не понимал, почему вышла осечка. У него были чистые намерения, и если на них брошена тень, то лишь по вине вероломных недругов... В погребок вошел член суда Фрицше; он нерешительно огляделся и, удостоверившись, что, кроме Дидериха, никого в зале нет, подсел к нему.

— Доктор Геслинг,— сказал он, поздоровавшись,— у вас такой вид, словно ваш урожай побило градом.

— Без огорчений в большом деле не бывает,— пробормотал Дидерих. Заметив на лице у Фрицше сочувственную улыбку, он окончательно размяк.— Вам, господин советник, я могу признаться. Эта история с Лауэром для меня крайне тягостна.

— Для него еще больше,— не без строгости сказал Фрицше.— Не будь у нас уверенности, что в данном случае попытка к бегству исключается, волей-неволей пришлось бы сегодня же взять его под стражу.— Увидев, как Дидерих побледнел, он прибавил: — А это было бы тяжело даже для нас, судей. Ведь люди же мы, в конце концов, и живем среди людей. Но, конечно...— Он поправил пенсне на носу и продолжал, сделав сухо-официальное лицо: — С законом шутки плохи. Если у Лауэра в тот вечер — меня самого-то не было уже в ресторане — действительно сорвалось с языка неслыханное оскорбление величества... Так утверждает обвинение... А главный свидетель обвинения — вы...

— Я? — Дидерих в ужасе подскочил.— Да я ничего не слышал. Ни единого слова.

— Это противоречит вашим показаниям на следствии.

Дидерих смешался:

— В первую минуту как-то не знаешь, что следует говорить. Но когда я сейчас восстанавливаю в памяти весь эпизод, то мне кажется, что все мы были изрядно на взводе. Я в особенности.

— Вы в особенности,— повторил Фрицше.

— Совершенно верно. И я задавал господину Лауэру преднамеренные вопросы. А что он мне отвечал на них, я бы этого под присягой не мог теперь сказать. Да и вообще все это было только шуткой.

— Так, так. Только шуткой.— Фрицше облегченно вздохнул.— Но что же вам мешает попросту изложить все это следователю? — Он поднял палец.— Без малейшего, разумеется, нажима с моей стороны.

— Ядассону я этого подвоха никогда не прощу,— повысил голос Дидерих.

И он рассказал о кознях сего господина, о том, как он умышленно удалился, чтобы не присутствовать при самой сцене и не оказаться ее свидетелем, а затем немедленно принялся собирать данные для обвинения, воспользовался почти неизменяемым состоянием присутствующих, вынудил у них показания и тем самым наперед отрезал путь к отступленью.

— Я считаю господина Лауэра, так же как и он меня, человеком чести. Как смеет этот еврей науськивать нас друг на друга!

Фрицше серьезным тоном разъяснил, что в данном случае дело не в личности Ядассона, а в шагах, предпринятых прокуратурой. Впрочем, Ядассон, признаться, переусердствовал.

— Вот видите,— прибавил он, понизив голос,— этим как раз и объясняется, почему мы неохотно сотрудничаем с лицами иудейского происхождения. Такой господин не задумывается над тем, как подействует на народ осуждение образованного человека, работодателя, обвиненного в оскорблении величества. Ему наплевать на подобные деловые соображения. Он склонен к радикальным решениям.

— Еврейский радикализм,— вставил Дидерих.

— Ядассон ни перед чем не остановится, лишь бы выдвинуть себя на первый план, хотя я отнюдь не отрицаю, что со своей точки зрения он блюдет и служебные и националистические интересы.

— Полноте! — воскликнул Дидерих.— Это гнусный карьерист, спекулирующий на всем, что для нас свято.

— Именно, если не бояться резких выражений...— Фрицше удовлетворенно улыбнулся. Он придвинулся ближе.— Допустим, что следствие будет возложено на меня: есть случаи, когда по известным мотивам отказываешься от выполнения своих служебных обязанностей.

— Вы очень дружны с семьей Лауэров,— сказал Дидерих, многозначительно кивнув.

Фрицше сменил официальное выражение лица на светское.

— Но вы, конечно, согласитесь, что это дало бы новую пищу известным слухам.

— Нет, этого делать нельзя,— произнес Дидерих.— Было бы не по-джентльменски.

— Тогда мне остается только исполнить свои обязанности спокойно и деловито.

— Быть деловитым — значит быть немцем,— сказал Дидерих.

— Тем более что господа свидетели, смею надеяться, не станут без надобности усложнять мою задачу.

Дидерих приложил руку к сердцу.

— Господин советник, иногда поддаешься порыву. Да и как не поддаться, когда посягают на твою святыню. Я человек горячий. Но я никогда не забываю, что держу ответ перед господом богом.— Он потупился и мужественно кончил: — И не гоню от себя раскаяния.

Фрицше, по-видимому, больше ничего не нужно было; он стал расплачиваться. Друзья пожали друг другу руки, многозначительно, с чувством полного взаимопонимания.

На следующий же день Дидериха вызвали к следователю. Это был Фрицше. «Слава богу»,— подумал Дидерих и дал показания, выдержанные в деловом чистосердечном тоне. И Фрицше, казалось, тоже стремился к единственной цели — к установлению истины. Общественное мнение по-прежнему оставалось, конечно, на стороне обвиняемого. О социал-демократическом «Гласе народа» и говорить нечего: этот листок имел наглость затронуть частную жизнь Дидериха: за этим, несомненно, стоял Наполеон Фишер. Да и «Нетцигский листок», всегда такой благонамеренный, именно теперь напечатал обращение фабриканта Лауэра к своим служащим и рабочим, в котором он объявлял, что он честно делит доходы предприятия с теми, кто своим трудом умножает их: четверть отдает служащим, четверть — рабочим. За восемь лет они сверх заработной платы и жалованья разделили между собой сто тридцать тысяч марок. На широкие круги это произвело весьма благоприятное впечатление. Дидерих видел вокруг себя недружелюбные лица.

Даже редактор Нотгрошен, когда Дидерих потребовал объяснений, и тот позволил себе ехидно улыбнуться и заговорить о социальном прогрессе, которому не преградить путь националистическим пустословием. Но особенно удручали его неприят-

ности делового порядка. Заказы, на которые он имел все основания рассчитывать, уплывали. Владелец универсального магазина Кон известил его, что заказ на рождественские прейскуранты передан гаузенфельдской бумажной фабрике. Когда дело касается политики, ему, Кону, приходится соблюдать осторожность, иначе он растеряет всю свою клиентуру. Дидерих являлся теперь на фабрику чуть свет, стараясь перехватить такого рода письма, но Зетбир приходил еще раньше, и молчание старого управляющего, его безмолвный упрек доводили Дидериха до белого каления.

— Вот прихлопну к черту все эту лавочку! — кричал он.— Тогда узнаете, почем фунт лиха! А я со своим докторским дипломом завтра же получу место директора на сорок тысяч!

— Я жертвую собой ради вас! — кричал он рабочим, в нарушение всех правил распивающим пиво во время работы.— Я терплю убытки, только бы не рассчитывать вас!

Незадолго до рождества ему все же пришлось уволить около трети рабочих. Зетбир высчитал, что иначе к началу нового года не удастся соблюсти сроки по очередным платежам.

— Ведь мы задолжали две тысячи марок, чтобы внести задаток за голландер.

И он упорно твердил свое, хотя Дидерих схватился за чернильницу. На лицах оставшихся рабочих ясно читалось недоверие и пренебрежение. Стоило ему увидеть кучку рабочих, как ему уже мерещилось слово «доносчик». Поросшие черными волосами жилистые руки Наполеона Фишера свисали теперь, казалось, не так низко, а на щеках как будто даже румянец появился.

В последнее воскресенье рождественского поста — окружной суд только что вынес решение об открытии процесса — пастор Циллих произнес в церкви святой Марии проповедь на стих Священного писания: «Возлюбите врагов ваших». Дидерих замер от страха. Он почувствовал, как насторожились прихожане. «Мне отмщение и аз воздам,— сказал господь». Пастор Циллих, выкрикивая эти слова, явно повернулся к скамье Геслингов. Эмми и Магда не знали куда деваться, фрау Геслинг всхлипывала. Дидерих встречал устремленные на него взгляды, грозно насупившись. «Кто же мстит — судим будет». Все повернулись к нему, и Дидерих, сраженный, опустил голову.

Дома сестры закатили ему сцену. В обществе они встречают плохой прием. Молодой учитель Гельферих никогда теперь

не подсаживается к Эмми, его интересует только Мета Гарниш, и Эмми знает почему.

— Ты просто для него перезрела,— сказал Дидерих.

— Вовсе нет, на нас переносят антипатию к тебе.

— Все пять дочек брата старого Бука не раскланиваются с нами! — крикнула Магда.

Дидерих в ответ:

— Я им влеплю пять пощечин.

— Нет уж, спасибо. С нас хватит и одного процесса.

— С вас? — Дидерих вскипел.— Вам-то какое дело до моих политических битв?

— По милости твоих политических битв мы останемся в старых девах.

— А то вы не старые? Засиделись тут на моей шее, а я работай на вас как вол, и после всего вы еще смеете брюзжать и издеваться над моими священнейшими задачами? Так, пожалуйста: вот бог, а вот порог! По мне, хоть в няньки нанимайтесь! — И он хлопнул дверью, не обращая внимания на фрау Геслинг, ломавшую руки.

В такой тоскливой атмосфере наступило рождество. Сестры и брат не разговаривали друг с другом. Фрау Геслинг заперлась в комнате, где она украшала елку, и выходила оттуда не иначе как с опухшими от слез глазами. А в сочельник, позвав туда детей, она одна дребезжащим голосом пропела «Тихую ночь».

— Вот это Дидель дарит своим дорогим сестрам,— говорила она, глазами умоляя сына, чтобы он не уличил ее во лжи.

Эмми и Магда сконфуженно благодарили брата, а он смущенно рассматривал дары, якобы приготовленные для него сестрами. Он жалел, что, вопреки настоятельному совету Зетбира, отменил традиционную елку для рабочих, чтобы наказать эту братию за распущенность. Теперь он посидел бы с ними. В семейной же обстановке елка была чем-то искусственным, подогреванием старых, отжитых настроений. Только один человек мог бы оживить все: Густа... Двери ферейна ветеранов были для Дидериха закрыты, а в погребке все равно никого не застанешь, во всяком случае ни одного приятеля. Дидерих чувствовал себя всеми презираемым, непонятым, гонимым. В какое далекое прошлое ушла беззаботная пора «Новотевтонии», когда молодые люди, сидя за длинными столами, согретые взаимным расположением, распевали песни и пили пиво! Нынче, в этой беспощадной жиз-

ни, уже не славные корпоранты напосят друг другу честные удары рапирами, а хищные конкуренты готовы по-волчьи схватить тебя за глотку. «Не создан я для этого жестокого времени»,— думал Дидерих, отламывая кусочки марципана, лежавшего перед ним на тарелке, и задумчиво уставившись на елочные огни. «Я, безусловно, хороший человек. Зачем же меня втягивают в такие нечистые махинации, как этот процесс, ведь они отражаются на делах, и я даже не смогу — о боже милостивый! — не смогу уплатить очередной взнос за новый голландер». Он весь похолодел, на глазах выступили слезы, и, чтобы скрыть их от матери, все время боязливо косившейся на его озабоченное лицо, он украдкой проскользнул в соседнюю неосвещенную комнату. Облокотившись на пианино, он закрыл руками лицо и всхлипнул.

В столовой Эмми и Магда пререкались из-за пары перчаток, а мать не смела решить, которой из сестер они предназначались. Дидерих горько плакал. Везде осечка — в политике, в делах, в любви. «Что мне еще осталось?» Он открыл пианино. Дрожь била его, он чувствовал себя безмерно одиноким, он боялся прервать тишину. Звуки полились сами собой, он едва сознавал, что пальцы бегают по клавишам. Причудливо сплетались обрывки народных мелодий, Бетховен, студенческие песни; от этого сумерки потеплели, и в голове у Дидериха все приятно смешалось. Вдруг ему почудилось, что кто-то проводит рукой по его волосам. Что это, сон? Нет, на пианино неожиданно оказалась кружка с пивом. Милая мама! Шуберт, простодушная мягкость и задушевность отчего дома... Наступила тишина, но он не замечал ее, пока не пробили стенные часы: прошел целый час!

— Вот и отмечен сочельник,— вслух произнес Дидерих и вернулся в столовую.

Он успокоился и подтянулся. Сестер, все еще препиравшихся из-за перчаток, он обозвал бесчувственными созданиями, а перчатки сунул в карман — решил обменять их на мужские.

Праздники прошли уныло: грызла забота о голландере. Шесть тысяч марок за новый патентованный голландер системы Майера! Денег не было, и при создавшемся положении взаймы тоже никто не даст. Непостижимый рок, гнусный отпор со стороны людей и вещей доводили Дидериха до бешенства. В отсутствие Зетбира он с силой хлопал крышкой от конторки, расшвыривал папки по всем углам. У нового хозяина, взявшего бразды правления в свои властные руки,

все начинания должны удаваться сами собой, успех — сопутствовать на каждом шагу, события — соответствовать размаху его натуры... Вспышку гнева сменял приступ малодушия. Дидерих принимал меры предосторожности на случай краха. Он был мягок с Зетбиром — не выручит ли старик и на сей раз? Он смиренно просил пастора Циллиха убедить прихожан, что в своей нашумевшей проповеди он вовсе не имел в виду его, Дидериха. Пастор обещал, проявляя явное раскаяние под укоризненным взглядом супруги, а она подтвердила его обещание. Затем родители оставили Дидериха и Кетхен вдвоем, и присмиревший, приниженный Дидерих почувствовал такой прилив благодарности, что чуть было не объяснился Кетхен в любви. «Да», уже порхавшее на милых пухлых губках Кетхен, означало бы все-таки успех, оно дало бы ему союзников, и он не был бы так одинок во вражеском стане. Но этот неоплатный голландер! Машина сожрала бы четверть приданого... Дидерих вздохнул: ему пора на фабрику. И губы Кетхен сомкнулись, не вымолвив заветного словечка.

Надо было решать, что делать, срок доставки голландера приближался. Дидерих сказал Зетбиру:

— Я бы на их месте доставил машину в срок, минута в минуту: пусть только опоздают, и я без всяких церемоний отошлю ее обратно.

Зетбир напомнил, что обычное право предоставляет заводам несколько дней отсрочки. Как ни горячился Дидерих, Зетбир стоял на своем. Впрочем, машина пришла точно в срок. Не успели ее распаковать, как Дидерих разбушевался:

— Машина слишком громоздка! Эти господа ручались, что она меньше старой. К чему такие затраты, если я не выгадаю на площади.— И как только голландер установили, он, вооружившись метром, принялся со всех сторон обмеривать машину.— Голландер чересчур велик! Я не позволю себя обжуливать. Подтвердите, Зетбир, что он слишком велик.

Но Зетбир неопровержимо доказал ошибку в обмере, допущенную Дидерихом. Тот, громко сопя, отступил, придумывая новый план атаки. Он подозвал Наполеона Фишера.

— А где же механик? Разве с завода не прислали механика? — И он раскричался.— Я ведь договорился насчет механика,— солгал он.— Эта публика, видно, хорошо понимает свое дело. Я не удивлюсь, если с меня потребуют за механика по двенадцать марок в сутки, а он будет блистать своим отсутствием. Кто мне установит эту злополучную машину?

Фишер сказал, что разбирается в этих вещах. Дидерих вдруг проникся к нему необычайным благоволением.

— Уж лучше, понимаете, уплатить вам сверхурочные, чем выбросить деньги на совершенно чужого человека. Ведь вы, в конце концов, наш старый рабочий.

Наполеон Фишер вскинул брови, но промолчал. Дидерих коснулся его плеча.

— Видите ли, друг мой,— сказал он, понизив голос,— откровенно говоря, я разочарован в этом голландере. Рисунок в прейскуранте произвел на меня совсем другое впечатление. Барабану полагается быть гораздо шире, а при таком барабане разве возможна большая производительность? Вы согласны со мной? А тяга, по-вашему, хороша? Боюсь, что масса не будет двигаться.

Наполеон Фишер смотрел на Дидериха испытующе, хотя уже смекнул, чего от него хотят.

— Надо бы испробовать машину,— медленно сказал он.

Дидерих, избегая встречаться с ним глазами, делал вид, что рассматривает голландер. В заключение, как бы подбадривая Фишера, он сказал:

— Значит, договорились. Вы устанавливаете эту штуку, я вам плачу сверхурочные с надбавкой в двадцать пять процентов, и давайте поскорее загрузим машину. Вот и увидим, какой подарочек нам преподнесли.

— Уж, наверное, из ряда вон,— сказал механик, явно желая угодить хозяину.

Дидерих, не думая о том, что делает, схватил его за плечо: Наполеон Фишер был другом, спасителем.

— Пойдемте-ка, дорогой мой...

Его голос звучал растроганно. Он повел Наполеона Фишера к себе, велел фрау Геслинг налить механику стакан вина; не поднимая глаз, сунул ему в руку пятьдесят марок.

— Полагаюсь на вас, Фишер,— сказал он.— Если бы не вы, завод, вероятно, здорово околпачил бы меня. Две тысячи марок я уже выбросил на ветер.

— Они обязаны вернуть их,— поддакнул механик.

— Ведь и вы того же мнения, не правда ли? — не унимался Дидерих.

На следующий же день Наполеон Фишер в обеденный перерыв занялся голландером и вскоре доложил своему хозяину, что новое приобретение гроша ломаного не стоит. Масса не движется, без мешалки не обойдешься, как в любом голландере самой старой системы.

— Стало быть, надувательство! — воскликнул Дидерих.— Кроме того, голландер требует больше двадцати лошадиных сил. Это противоречит договору! Неужели мы будем молчать, а, Фишер?

— Ни в коем случае,— решил вопрос механик и провел узловатыми пальцами по заросшему черными волосами подбородку. Дидерих в первый раз прямо взглянул ему в лицо.

— Значит, вы можете засвидетельствовать, что голландер не отвечает условиям заказа?

Наполеон Фишер чуть заметно усмехнулся в свою бороденку.

— Могу,— сказал он.

Дидерих заметил усмешку. Тем энергичнее распрямил он плечи и направился к дверям.

— В таком случае эти господа еще услышат обо мне.

Он тотчас же в весьма категорическом тоне написал письмо фирме Бюшли и К° в Эшвейлер. Ответ пришел с обратной почтой. Его претензии, говорилось в нем, вызывают удивление; новый патентованный голландер системы Майер установлен и испытан уже на многих бумажных фабриках, список коих прилагается. Посему не может быть и речи о том, чтобы завод согласился принять голландер обратно, а тем более — вернул полученный задаток в сумме двух тысяч марок; напротив того, господин Геслинг благоволит немедленно уплатить остаток суммы, указанной в договоре. Дидерих написал вторично, в еще более решительном тоне, пригрозив обратиться в суд. Теперь Бюшли и К° старались его урезонить, предлагая еще раз испытать машину.

— Поджали хвост,— скаля зубы, проговорил Наполеон Фишер, которому Дидерих показал письмо.— Судебный процесс им сейчас не с руки, их голландер еще мало известен.

— Правильно,— сказал Дидерих.— Молодчики у нас в руках.

И, заранее торжествуя победу, он наотрез отказался от полюбовной сделки и от предложенной ему скидки. Ответа не было довольно долго, и Дидерих уже встревожился. А вдруг они ждут результатов обращения в суд? Или сами строчат на него жалобу? Взгляд его часто обращался на Фишера, и тот отвечал ему взглядом исподлобья. Они больше не разговаривали друг с другом. И вот как-то утром, в одиннадцать часов, когда Дидерих сидел с домашними за вторым завтраком, горничная подала ему визитную карточку: Фридрих Кинаст, доверенный фирмы Бюшли и К° в Эшвейлере; и пока Дидерих вертел карточку

и так и этак, гость уже вошел. Переступив порог, он остановился.

— Прошу прощения,— сказал он.— Произошла, как видно, ошибка. Меня направили сюда, я же прибыл исключительно для деловых переговоров.

Дидерих опомнился.

— О, это ничего не значит, прошу вас, пройдите. Доктор Геслинг,— представился Дидерих.— А это моя мать и сестры Эмми и Магда.

Гость подошел к столу и раскланялся с дамами.

— Фридрих Кинаст,— пробормотал он. Это был высокий мужчина с русой бородкой, в коричневой пиджачной паре. Все три дамы самозабвенно улыбнулись.

— Можно поставить для вас прибор? — спросила фрау Геслинг.

— Конечно, мама,— поспешил сказать Дидерих.— Господин Кинаст ведь позавтракает с нами, не так ли?

— Не смею отказаться,— ответил представитель фирмы Бюшли и К°, потирая руки.

Магда положила ему на тарелку копченой рыбки; он не успел поднести ее ко рту, как уже похвалил.

— Полагаю, что в трезвом состоянии вы неохотно занимаетесь делами? — спросил Дидерих с простодушным смешком.

— Занимаясь делами, я всегда трезв,— так же шутливо ответил Кинаст.

— В таком случае мы с вами, пожалуй, столкуемся.

— Вопрос только в том, как...— с плутовато-задорным видом сказал Кинаст, бросая взгляд в сторону Магды.

Она покраснела. Дидерих налил гостю пива.

— Вероятно, в Нетциг вас привели и другие дела?

— Там видно будет,— сдержанно ответил Кинаст.

— У Клюзинга в Гаузенфельде вам вряд ли удастся что-либо сделать,— на всякий случай сказал Дидерих.— У него застой.

И так как гость промолчал, Дидерих подумал: «Вся суть в голландере. Процесс им сейчас некстати». Вдруг он заметил, что Магда и гость одновременно пьют из своих бокалов, глядя друг другу в глаза. Эмми и фрау Геслинг сидели как деревянные. Дидерих, громко сопя, наклонился над своей тарелкой; и вдруг принялся превозносить прелести семейной жизни.

— Вам повезло, господин Кинаст, второй завтрак — это отраднейшие минуты дня. Когда оторвешься от работы и поднимешься к себе, тогда только замечаешь, что ты, так сказать, тоже человек. А это необходимо.

Кинаст подтвердил, что это действительно необходимо. На вопрос фрау Геслинг, женат ли он, Кинаст, глядя на склоненную голову Магды, ответил отрицательно.

Дидерих встал из-за стола и щелкнул каблуками.

— Господин Кинаст,— рявкнул он,— я к вашим услугам.

— Господин Кинаст еще выкурит сигару,— попросила Магда.

Она собственноручно поднесла ему огня, он многообещающе улыбнулся и выразил надежду, что еще увидит дам. Но едва вышли во двор, как он резко переменил тон.

— Какие старые тесные бараки,— заметил он холодно и презрительно.— Жаль, что вы не видели наших заводских корпусов.

— В таком заштатном городишке, как Эшвейлер, не штука развернуться,— так же презрительно ответил Дидерих.— А здесь — как вы снесете этот массив домов!

Он повелительно крикнул механику, чтобы тот запустил новый голландер. Механик не сразу вышел, и Дидерих ворвался в цех.

— У вас что, любезный, уши заложило?

Но, увидев Фишера, он сразу перестал кричать и, тараща глаза, сказал приглушенным голосом:

— Я вашей работой, Фишер, очень доволен, поэтому решил с первого числа повысить вам заработную плату до ста восьмидесяти марок.

Наполеон Фишер коротко, с видом заговорщика, кивнул, и они расстались. Дидерих снова расшумелся. Рабочие курят! Ему возразили, что это дым его собственной сигары. Представителю Бюшли и К° он сказал:

— Вообще-то говоря, я застрахован, но дисциплина прежде всего. Безупречное производство, верно?

— Устарелое оборудование,— сказал Кинаст, равнодушно оглядывая машины.

— Сам знаю, уважаемый,— насмешливо отпарировал Дидерих.— Но уж никак не хуже вашего голландера.

И, пропустив мимо ушей возражение Кинаста, он разразился упреками по адресу отечественной промышленности. Надо съездить в Англию, вот тогда он переоборудует фабрику. Он человек большого размаха. С тех пор как он возглавил свое предприятие, производительность неизмеримо возросла.

— А возможности еще далеко не исчерпаны.— Дидерих сымпровизировал: — У меня договоры с двадцатью газетами

окружного масштаба. От берлинских универсальных магазинов отбоя нет...

— Вероятно, сегодня как раз все отгрузили, нигде почему-то не видно готовой продукции.

Дидерих возмутился.

— Могу вам сказать, милостивый государь, что я только вчера разослал всем своим мелким заказчикам циркулярное письмо: до окончания переоборудования фабрики прием заказов прекращен.

Механик позвал их в цех. Новый патентованный голландер был наполовину загружен, и все-таки движение массы оказалось настолько слабым, что подсобный рабочий подталкивал ее мешалкой. Дидерих взглянул на часы.

— Ну вот. Вы утверждаете, что масса оборачивается в вашем голландере за двадцать — тридцать секунд, а я уже насчитал пятьдесят... Механик, спустите массу... Что там такое? Это тянется целую вечность!

Кинаст наклонился над чаном. Он выпрямился, он проницательно усмехнулся:

— Само собой, если вентили законопачены...— И пристально взглянув прямо в забегавшие глаза Дидериха: — А какие там еще фокусы проделаны с машиной, я наспех установить не могу.

Дидерих вспыхнул и густо покраснел:

— Это что — намек? Вы хотите сказать, что я с моим механиком...

— Я ничего не сказал,— решительно возразил Кинаст.

— Я заранее категорически протестую!

Дидерих метнул испепеляющий взор. На Кинаста это, по-видимому, не произвело впечатления. Глаза его оставались холодными, он ехидно улыбался в расчесанную на две стороны бороду. Сбрей он бороду и закрути до самых глаз кончики усов, он походил бы на Дидериха, как родной брат. Это была сила! Тем внушительнее наступал на него Дидерих.

— Мой механик социал-демократ: смешно даже думать, что он захочет оказать мне услугу. А помимо того, я — офицер запаса. Помните, что подобные намеки чреваты последствиями.

Кинаст вышел во двор.

— Бросьте вы это, господин доктор! — холодно сказал он.— В делах я трезв, как уже докладывал вам за завтраком. Мне остается лишь повторить, что мы доставили вам голландер в безупречном виде и о возврате его нечего и думать.

— Посмотрим,— бросил Дидерих.— Бюшли и К° считают, вероятно, что судебный процесс будет хорошей рекламой для

новой машины? А в специальных журналах я еще особо отрекомендую ваш голландер!

Кинаст в ответ: шантажом его не запугаешь. Дидерих: невежу, которого даже на дуэль не вызовешь, попросту выставляют вон.

Вдруг в воротах показалась Магда. На ней был меховой жакет, который она получила к рождеству; она вся сияла розовыми улыбками.

— Вы все еще заняты, господа? — спросила она лукаво.— Погода чудесная, перед обедом хорошо прогуляться. Кстати,— продолжала она скороговоркой,— мама спрашивает, не отужинает ли с нами господин Кинаст?

Кинаст сказал, что благодарит, но, к сожалению, прийти не сможет. Она улыбнулась и произнесла настойчивей:

— А мне вы тоже откажете?

Кинаст горько усмехнулся:

— Я-то не отказал бы, но не знаю, как ваш уважаемый брат?..

Дидерих засопел, Магда взглянула на него с мольбой.

— Господин Кинаст,— выжал он из себя,— весьма буду рад. Быть может, мы все же поладим с вами.

Кинаст ответил, что он и сам не потерял надежды. Повернувшись к Магде, он галантно предложил сопровождать ее.

— Если брат не возражает,— сказала она скромно и не без иронии.

Дидерих и на это дал свое согласие, а потом с изумлением смотрел, как она выступает рядом с уполномоченным Бюшли и К°. Откуда только все это взялось?

Придя домой обедать, он услышал в гостиной сердитые голоса сестер. Эмми бранила Магду за непристойное поведение.

— Так же нельзя.

— Конечно! — кричала Магда.— Я забыла спросить у тебя разрешения!

— Не помешало бы. И вообще на очереди я.

— А, вот что тебя волнует! — Магда язвительно рассмеялась.

Вошел Дидерих, и она сразу замолчала. Дидерих грозно поводил очами. Но фрау Геслинг зря заламывала руки, прячась за спинами дочерей: он считал ниже своего достоинства вмешиваться в женскую свару.

За обедом говорили о госте. На взгляд фрау Геслинг, он производил впечатление солидного человека. Эмми прокомментировала: еще бы приказчику не быть солидным. Разговаривать

с дамой он совершенно не умеет. Магда раздраженно возражала. И так как все ждали решающего слова Дидериха, он после некоторого колебания сказал: лоска ему, конечно, не хватает. Академическое образование, как ни вертись, ничем не восполнишь.

— Но что он прекрасный делец, в этом я убедился.

Эмми потеряла терпение.

— Если Магда собирается выйти за этого субъекта, то заявляю: больше я с вами ничего общего не имею. Он ест компот с ножа!

— Она сочиняет!

Магда зарыдала. Дидериху стало жаль ее. Он напустился на Эмми:

— Выходи, сделай милость, за наследного принца и оставь нас в покое.

Эмми положила нож и вилку и кинулась вон из комнаты. Вечером, перед самым закрытием фабрики, Кинаст явился к Дидериху в контору. Он облачился в сюртук и держался так, точно пришел на чашку чая, а не по делу. Оба, словно сговорившись, болтали о пустяках, пока старик Зетбир не убрал свои бумаги. Когда он удалился, бросив недоверчивый взгляд на хозяина и гостя, Дидерих сказал:

— Старик выдыхается. Наиболее важные дела я решаю сам.

— Ну, а насчет нашего дела что вы решили? — спросил Кинаст.

— А вы? — вопросом на вопрос ответил Дидерих.

Кинаст заговорщицки подмигнул:

— Мои полномочия не столь широки, но, так и быть, беру это на себя. Верните голландер на завод. Какой-нибудь изъян уж найдется.

Дидерих понял.

— Конечно, найдется,— пообещал он,— будьте покойны.

— За нашу уступчивость,— деловым тоном сказал Кинаст,— вы обязуетесь впредь все оборудование заказывать у нас. Минутку! — попросил он, увидев, что Дидерих так и взвился.— Кроме того, вы возмещаете нам расходы по доставке, плюс мои дорожные издержки — суммой в пятьсот марок, которую мы удержим из вашего задатка.

— Но, послушайте, это уже ростовщичество! — Чувство справедливости громко заговорило в Дидерихе. Однако Кинаст тоже повысил голос:

— Господин доктор...

Дидерих спохватился и овладел собой: он положил руку на плечо Кинасту:

— Теперь пойдемте наверх. Дамы ждут нас.

— В общем, договорились,— сказал Кинаст примирительно.

— Остались мелочи, все уладится,— пообещал Дидерих.

В квартире Геслингов носились праздничные ароматы. Фрау Геслинг блистала своим черным атласным платьем. Сквозь кружевную блузку Магды просвечивало больше, чем она имела обыкновение показывать в семейном кругу... Только у Эммы и платье и лицо были серыми и будничными. Магда указала гостю, куда сесть, и опустилась на стул по правую руку от него; не успели все как следует рассесться и откашляться, как она выпалила, подняв на гостя лихорадочно блестевшие глаза:

— Надеюсь, господа, что с вашими глупыми делами покончено?

Дидерих подтвердил, что они превосходно столковались. Бюшли и К° весьма предупредительны.

— Вполне естественно, ведь предприятие-то гигантское,— пояснил доверенный.— Тысяча двести рабочих и служащих, целый городок, собственная гостиница для заказчиков! — Он пригласил Дидериха: — Приезжайте, поживете у нас с комфортом и без всяких издержек.

Увидев, с каким вниманием слушает его Магда, он наговорил с три короба о своей должности, о своих полномочиях, о вилле, где он пока занимает одну половину.

— Но как только женюсь, я получу и вторую.

Дидерих оглушительно захохотал:

— Чего же проще — женитесь! Ваше здоровье!

Магда потупилась, и Кинаст переменил тему. А понятно ли Дидериху, почему он так быстро пошел на уступки?

— Я по вас, господин доктор, сразу увидел, что впоследствии мы будем ворочать большими делами. Пока ваша фабрика еще очень скромно оборудована, но это ничего не значит,— покровительственно сказал он.

Дидерих хотел заверить гостя в широте размаха и потенциальной мощи своего предприятия, но Кинаст пресек все попытки прервать ход его мысли. Знание людей, продолжал он, на этом он специализировался. Человека, с которым ведешь дела, надо прежде всего увидеть в его домашней обстановке. И если дом у него ведется так превосходно, как этот...

Тут на стол подали аппетитно пахнущего гуся; фрау Геслинг, которая тайком оглядывалась на дверь, с тревогой дожидаясь его, быстро придала своему лицу совершенно обыденное выражение, словно гусь у них не в диковинку. Тем не менее господин Кинаст сделал благоговейную паузу. Фрау Геслинг

спрашивала себя, действительно ли взгляд гостя прикован к гусю или же сквозь пряные пары устремлен на ажурную блузку Магды. Но вот господин Кинаст вышел из оцепенения и взял в руки бокал.

— Вот почему я поднимаю тост за семью Геслингов; за почтенную мать семейства, за ее цветущих дочерей.

Магда выпятила грудь, стараясь показать, как она пышно цветет. Эмми рядом с ней казалась совсем плоскогрудой. Кинаст чокнулся сначала с Магдой. Дидерих ответил на его тост.

— Мы,— сказал он,— немецкая семья. Кого мы принимаем в свой дом, тому раскрываем свои сердца.— На глазах у него показались слезы, а Магда опять покраснела.— И пусть это скромный дом, но зато сердца — верные.

Он поднял стакан за гостя, и тот немедленно заверил, что всегда был сторонником скромности, особенно в семьях, где есть молодые девушки.

В разговор вступила фрау Геслинг.

— Вот именно! Иначе как же решиться молодому человеку... Мои дочери шьют себе все сами.

Эти слова дали повод Кинасту склониться над блузкой Магды, чтобы по достоинству ее оценить.

На десерт Магда очистила Кинасту апельсин и в его честь пригубила токайское. Когда переходили в гостиную, Дидерих, обняв за талии обеих сестер, остановился с ними на пороге.

— Да, да, господин Кинаст,— сказал он проникновенно.— Перед вами картина мирной семейной жизни, вглядитесь в нее хорошенько! — Магда приникла к его плечу с видом самозабвенной преданности. Эмми старалась вырваться, но ее ткнули кулаком в спину.— Так и проходит наша жизнь. Целый день я тружусь на благо сестер и матери, а вечером мы собираемся вокруг лампы. Посторонними людьми, так называемым обществом, этой кликой мы стараемся не интересоваться; нам достаточно того, что мы черпаем в самих себе.

Эмми наконец удалось высвободиться из нежных объятий; слышно было, как где-то в коридоре хлопнула дверь. Зато Дидерих и Магда, усаживаясь за стол, мягко поблескивающий серебром, являли собой трогательную картину. Кинаст мечтательным взором следил за фрау Геслинг, которая с кроткой улыбкой несла к столу огромную чашу с пуншем. Пока Магда наполняла гостю бокал, Дидерих разливался соловьем: он, мол, довольствуется этим тихим семейным уютом, но зато надеется дать за сестрами хорошее приданое.

— Мои деловые успехи — прямая выгода для сестер, ведь

они совладелицы фабрики, не говоря уже о приданом наличными. А если один из моих будущих зятьев пожелает вложить капитал в дело, то...

Но Магда, увидев, что господин Кинаст озабоченно хмурится, перевела разговор. Она спросила, живет ли он в семье, с родными? Неужели он совсем одинок? Гость взглянул на нее растроганным взором и придвинулся поближе. Дидерих сидел рядом, пил и вертел большими пальцами. Время от времени он пытался вставить слово в разговор Магды и Кинаста, которые словно забыли о его присутствии.

— Свой год военной службы вы, разумеется, уже благополучно отбыли? — покровительственно спросил он, с удивлением поглядывая на фрау Геслинг, которая делала ему за спиной гостя и Магды какие-то знаки. Наконец она незаметно выскользнула за дверь, и только тогда Дидерих понял. Захватив свой бокал с пуншем, он направился в соседнюю неосвещенную комнату, где стояло пианино. Он взял несколько аккордов, сам того не замечая, заиграл студенческую песню и во все горло запел: «Черта с два они знают, что свободой зовется». Кончив, он прислушался к тому, что делается рядом: там было так тихо, точно все заснули; и как ему ни хотелось налить себе еще пуншу, сознание долга пересилило, и он затянул новую песню: «Сижу в глубоком погребке...»

Только он дошел до середины куплета, как в гостиной упал стул и вслед за этим раздался звук, происхождение которого было вполне ясно Дидериху. Он бросился в гостиную.

— Ого! — простодушно крякнул он.— У вас, как видно, серьезные намерения.

Кинаст и Магда отстранились друг от друга.

— Я не говорю — нет,— сказал Кинаст.

Дидерих вдруг сильно взволновался. Глядя в глаза Кинасту, он одной рукой тряс его руку, другой привлекал к себе Магду.

— Вот это сюрприз! Господин Кинаст, сделайте же мою сестренку счастливой! Во мне вы найдете доброго брата, каким я всегда и был. Думаю, я вправе это сказать.— И, утирая глаза, он крикнул в дверь: — Мама, у нас событие!

Фрау Геслинг почему-то оказалась тут же, за дверью, но в первую минуту от полноты чувств не сразу совладала с подкосившимися ногами. Опираясь на Дидериха, она кое-как вошла, упала Кинасту на грудь и разразилась потоком слез. Дидерих тем временем стучался к Эмми: дверь оказалась запертой на ключ.

— Выйди, Эмми, у нас событие!

Наконец она рывком распахнула дверь, вся красная от злости.

— Чего ради ты поднимаешь меня с постели? Представляю себе, что это за событие! Уж меня-то, пожалуйста, избавьте от ваших непристойностей!

И она захлопнула бы дверь, если бы Дидерих не вставил ногу в щель. Он сурово отчитал Эмми, сказал, что за такое бессердечие она навек останется старой девой, и поделом. Он не дал ей даже одеться и, как она была, в ночной кофте и с распущенными волосами, поволок за собой. В коридоре она вырвалась от него.

— Ты делаешь из нас посмешище,— прошипела она и вошла в гостиную первая, высоко вскинув голову, меряя обрученных насмешливым взглядом.— Неужели нельзя было подождать до утра? — спросила она.— Впрочем, счастливые часов не наблюдают.

Кинаст поглядел на нее: ростом она была выше Магды, и порозовевшее лицо ее, обрамленное распущенными волосами, длинными и пышными, казалось теперь полнее. Кинаст задержал ее руку в своей дольше, чем полагалось; она ее выдернула, и он, явно колеблясь, перевел взгляд на Магду. Эмми метнула в сестру победную улыбку, повернулась и, расправив плечи, быстро вышла. Магда испуганно уцепилась за руку Киназта, но в это время подошел Дидерих с полным бокалом пунша и предложил своему будущему зятю выпить на брудершафт.

Утром он зашел за Кинастом в гостиницу и пригласил его распить вместе утреннюю кружку пива.

— До обеда, будь любезен, умерь свою тоску по «вечно женственному». Нам предстоит чисто мужской разговор.

В пивной Клапша Дидерих разъяснил Кинасту, как обстоит дело. Двадцать пять тысяч наличными в день свадьбы — с документами можно в любое время ознакомиться — и пополам с Эмми четверть прибылей с фабрики.

— Следовательно, только одна восьмая,— уточнил Кинаст.

— А ты что же, хотел, чтобы я даром жилы из себя тянул?

Оба недовольно помолчали.

Дидерих попытался подогреть остывшие чувства.

— За твое здоровье, Фридрих!

— За твое, Дидерих! — ответил Кинаст.

Вдруг Дидериха осенила блестящая идея.

— Ты имеешь полную возможность расширить свою долю — вложи капитал. Ведь у тебя, надо думать, немалые сбережения? При твоем-то великолепном окладе!

Кинаст заявил, что в принципе не возражает. Но срок его договора с Бюшли и К° еще не истек. А кроме того, ему пообещали в этом году значительно повысить жалованье, и было бы преступлением против самого себя заявить теперь об уходе.

— Если же я вложу деньги в предприятие, я должен войти в него компаньоном. При всем доверии, которое я питаю к тебе, дорогой Дидерих...

Дидерих согласился с ним. У Кинаста была своя идея:

— Округлил бы ты цифру приданого до пятидесяти тысяч, и Магда отказалась бы от своей доли.

Однако Дидерих решительно отклонил предложение будущего зятя.

— Это было бы нарушением воли покойного отца, а она для меня священна. При моем размахе доля Магды через каких-нибудь два-три года в десять раз превысит сумму, которую ты сейчас требуешь. Я никогда не соглашусь с тем, что может оказаться убыточным для моей бедной сестренки!

Кинаст скептически ухмыльнулся. Родственные чувства Дидериха, сказал он, разумеется, делают ему честь, но на одном размахе далеко не уедешь. Дидерих с нескрываемым раздражением заявил, что он, слава богу, ни перед кем, кроме господа и самого себя, не обязан держать ответ.

— Двадцать пять тысяч наличными и одна восьмая чистой прибыли, это все.

Кинаст побарабанил пальцами по столу.

— Не знаю, решусь ли я в таком случае взять за себя твою сестру,— сказал он.— Последнее слово я оставляю за собой.

Дидерих пожал плечами. Допили пиво. Кинаст отправился обедать вместе с Дидерихом, который уже опасался, не улизнет ли он. К счастью, Магда приняла все меры, чтобы казаться еще обольстительнее, чем вчера, «будто знала, что сегодня все решится»,— подумал Дидерих, глядя на нее с изумлением. К тому времени, когда подали пирожное, она так распалила Кинаста, что он пожелал отпраздновать свадьбу не далее как через месяц.

— Это твое последнее слово? — спросил, поддразнивая, Дидерих.

Вместо ответа Кинаст вынул из кармана обручальные кольца.

После обеда фрау Геслинг на цыпочках вышла из комнаты, где сидели жених с невестой, Дидерих тоже хотел удалиться, но обрученные решили пойти погулять и пригласили его с собой.

— Куда же мы направимся? А что мама и Эмми?

Эмми отказалась пойти с ними, поэтому и фрау Геслинг осталась дома.

— Пойдем, Дидель, иначе, знаешь, как-то некрасиво будет,— сказала Магда.

Дидерих согласился с ней. Он даже стряхнул пыль, приставшую к ее меховому жакету, когда она заходила на фабрику. Он проникся к Магде уважением,— ведь она одержала победу.

Прежде всего они направились к ратуше. Пусть на них поглазеют, это не мешает, не так ли? Правда, первый, кто попался им навстречу еще на Мейзештрассе, был всего лишь Наполеон Фишер. Он оскалил зубы, приветствуя жениха и невесту, и кивнул Дидериху, как бы говоря, что ему все ясно! Дидерих густо покраснел: остановить бы этого субъекта и тут же, на улице, задать ему хорошую взбучку,— но мог ли он позволить себе это? «Какая оплошность, что я связался с ним, с коварным пролетарием, доверился ему! И так все обошлось бы! Теперь он все время вертится здесь, старается напомнить, что я у него в руках! Еще и шантажировать вздумает». Но, слава богу, он, Дидерих, договаривался с механиком без свидетелей, и пусть Наполеон Фишер болтает что угодно,— все можно объявить клеветой. Дидерих посадит его за решетку! Но он так ненавидел механика за сообщничество, что, несмотря на двадцатиградусный мороз, его бросило в жар и в пот. Он оглянулся по сторонам. Неужели на голову Наполеона Фишера ниоткуда не свалится кирпич?

На Герихтсштрассе Магда решила, что их прогулка уже оправдала себя — у одного из окон в доме члена суда Гарниша стояли Мета Гарниш и Инга Тиц. Магда не сомневалась, что при виде Киласта лица у обеих беспокойно вытянулись. На Кайзер-Вильгельмштрассе, к сожалению, ничего интересного не случилось, разве что майор Кунце и Гейтейфель, направлявшиеся в «Гармонию», издали проследили за ними любопытным взглядом. Зато на углу Швейнихенштрассе произошла совершенно неожиданная для Дидериха встреча: впереди, в нескольких шагах от них, шли фрау Даймхен и Густа. Магда тотчас же прибавила шагу и принялась болтать еще оживленнее. Расчет оказался точным. Густа оглянулась. Это был превосходный случай сказать:

— Фрау Даймхен, позвольте вам представить моего жениха господина Киласта.

Жениха осмотрели с ног до головы; по-видимому, он понравился, так как Густа, которая шла с Дидерихом позади, не без почтительности спросила:

— Где вы его откопали?

— Не всякой посчастливится, как вам, найти своего суженого рядом, под рукой, так сказать,— отшутился Дидерих.— Зато наш посолидней.

— Вы опять за свое? — воскликнула Густа, впрочем без запальчивости. Их взгляды на мгновение встретились, и она слегка вздохнула.— Мой Вольфганг бог весть где носится. Чувствуешь себя словно вдова какая.

Она задумчиво посмотрела на Магду, шедшую впереди под руку с Кинастом.

— О мертвых нечего горевать,— многозначительно сказал Дидерих,— займитесь лучше живыми.

Он наступал на Густу, оттесняя ее чуть ли не к стенам домов и настойчиво заглядывая в глаза. И вот на какой-то миг в этом милом пухлом лице что-то раскрылось ему навстречу.

К сожалению, перед ними уже высился дом номер 77 по Швейнихенштрассе; мать и дочь попрощались и скрылись в подъезде. За Саксонскими воротами уже ничего привлекательного не было. Повернули обратно. Магде захотелось подбодрить Дидериха. Опираясь на руку жениха, она сказала:

— Ну, что ты думаешь на этот счет?

Дидерих вспыхнул и засопел.

— Что уж тут думать! — пробормотал он, и Магда рассмеялась.

По безлюдной улице, в сгущающихся сумерках, кто-то шел им навстречу.

— Уж не Бук ли это? — нерешительно спросил Дидерих.

Человек приближался: толстый, несомненно молодой, в мягкой широкополой шляпе, одетый не без изящества. Он загребал на ходу ногами.

— И в самом деле Вольфганг Бук! — Дидерих был разочарован: «А послушать Густу, так он на краю света. Я ее отучу лгать».

— Ах, это вы! — Бук крепко пожал руку Дидериху.— Очень рад!

— И я также,— ответил Дидерих, досадуя на Густу, и познакомил своего будущего зятя со старым школьным товарищем. Бук принес свои поздравления и, присоединившись к Дидериху, пошел за четой обрученных.

— Вы, вероятно, направляетесь к невесте? — спросил Дидерих.— Она дома. Мы только что проводили ее.

— Да? — протянул Бук и пожал плечами.— К ней я всегда успею,— прибавил он флегматично.— А сейчас я рад, что мы

с вами снова встретились. Наша беседа в Берлине,— единственная беседа,— была крайне интересной.

Дидериху и самому так казалось, хотя в свое время этот разговор вызвал у него только раздражение. Он необычайно оживился:

— Я очень виноват перед вами — так и не ответил на ваш визит. Но кому-кому, а вам-то хорошо известно, что в Берлине всегда что-нибудь да помешает. Здесь, конечно, времени сколько угодно! Тоска, верно? Неужели можно прожить здесь всю жизнь? Трудно себе представить, право! — Дидерих показал рукой на серый ряд домов.

Вольфганг Бук наморщил слегка горбатый нос, втянул воздух и пошевелил губами, как бы пробуя его на вкус. Взгляду он придал глубоко задумчивое выражение.

— Прожить жизнь в Нетциге...— медленно проговорил он.— Да, этого нам не миновать. Наш брат не в состоянии обеспечить себе жизнь, достаточно богатую сенсациями. Впрочем, они и здесь бывают.— Его улыбка насторожила Дидериха.— Сенсация с часовым достигла весьма высоких сфер.

— Ах, так...— Дидерих выпятил живот.— Вы опять брюзжите. Предупреждаю, что в этом деле я целиком на стороне его величества.

Бук махнул рукой.

— Оставьте. Знаю я его.

— А я еще лучше вас,— настаивал Дидерих.— Кому довелось во время февральских беспорядков оказаться с ним в Тиргартене один на один, кому довелось видеть эти глаза, испепеляющие своим взором, глаза великого Фридриха, тот — я глубоко убежден в этом — верит в наше будущее.

— Верит в наше будущее, потому что... испепеляющий взор.— Уголки губ и щеки у Вольфганга меланхолически опустились. Дидерих громко сопел.

— Знаю, знаю, вы отрицаете выдающуюся роль личности в наше время. Иначе вы стали бы Лассалем или Бисмарком.

— А что же — мог бы! Не сомневаюсь. С таким же успехом, как и он... Хотя и не в столь благоприятной обстановке.— Голос его окреп, в нем зазвучала убежденность.— Для каждого из нас не так уж важно многое перестроить в этом мире, главное — выработать в себе жизнеощущение, будто ты это действительно делаешь. Для этого необходим талант, а талант у него есть.

Дидерих беспокойно озирался по сторонам.

— Мы, правда, здесь одни, эта пара занята обсуждением более важных дел, но все же...

— Напрасно вы думаете, что я имею что-либо против него. Да он, уверяю вас, антипатичен мне не более, чем я сам себе. Будь я на его месте, я точно так же, как он, принял бы всерьез ефрейтора Люка и нашего нетцигского часового. Власть не власть, если у нее нет врагов. Только и чувствуешь свою силу, когда против тебя бунтуют. Что стало бы с ним, если бы выяснилось, что социал-демократия вовсе не в него метит, что в самом крайнем случае она имеет в виду более разумное распределение доходов?

— Ого! — воскликнул Дидерих.

— Верно ведь? Это вас возмутило бы. И его тоже. Стоять вне течения событий, не управлять ходом вещей, а быть лишь одним из звеньев общей цепи,— да можно ли такое стерпеть?.. Сознавать себя неограниченным самодержцем — и в то же время не быть в состоянии даже ненависть возбудить чем-либо иным, кроме слов и жестов. Ибо что дает пищу зоилам? Что особенного произошло? Ведь и дело Люка только жест. Рука опустилась, и опять все, как было: но и актер и публика получили сильное ощущение. Вот чего, собственно, все мы жаждем, дорогой мой Геслинг. Поверьте, тот, кого мы имеем в виду, сам был бы изумлен больше всех, если бы война, призрак которой он непрерывно призывает, или революция, которую он столько раз мысленно пережил, стали бы действительностью.

— Этого не придется долго ждать! — воскликнул Дидерих.— И вы увидите, что все истинные немцы верой и правдой послужат своему кайзеру.

— Разумеется.— Бук все чаще пожимал плечами.— Вот стереотипная фраза, продиктованная им самим. Вы употребляете слова, которые он вам диктует, а образ мыслей никогда так превосходно не был отрегулирован сверху, как сейчас. Но деяния? Наше время, милейший мой современник, отличается неспособностью к деяниям. Для того чтобы много пережить, надо прежде всего жить, а всякое деяние сопряжено с риском для жизни.

Дидерих выпрямился.

— Вы собираетесь, быть может, свой упрек в трусости бросить по адресу?..

— Я не выносил никакого морального приговора. Я говорил лишь о факте из истории Германии нашего времени, касающемся всех нас. Впрочем, мы заслуживаем снисхождения. Тот, кто действует на сцене, в жизни уже не действует, ибо свою дейст-

венность он изжил там. Чего в самом деле требует от него действительность? А знаете ли вы, кого история назовет типичным героем нашего времени?

— Кайзера,— сказал Дидерих.

— Нет,— сказал Бук.— Актера.

Дидерих ответил таким взрывом хохота, что шедшие впереди жених и невеста отскочили друг от друга и оглянулись. Но здесь, на середине Театральной площади, бушевал ледяной ветер, и все поспешили дальше.

— Ну конечно же,— выговорил наконец Дидерих.— Удивительно, как это я сразу не сообразил, откуда у вас вся эта несусветная чушь! Ведь вы тесно связаны с театром.— Он похлопал Бука по плечу.— Сами-то вы еще не заделались актером?

В глазах у Бука вспыхнул неспокойный огонек: резким движением он сбросил с плеча руку Дидериха, и тот даже решил, что это не по-товарищески.

— Я? Нет, не стал,— ответил Бук. В сердитом молчании дошли до Герихтсштрассе. И только тут он возобновил разговор:

— Да, вы, конечно, еще не знаете, что привело меня в Нетциг.

— Вероятно, желание повидать свою невесту.

— Разумеется, и это. Но, главное — я взял на себя защиту своего зятя Лауэра.

— Вы выступаете?.. В процессе Лауэра? — У Дидериха перехватило дыхание, он стал как вкопанный.

— Ну, да, выступаю,— сказал Бук и пожал плечами.— Вас это удивляет? Я недавно внесен нетцигским судом в списки адвокатов. Вам отец не говорил?

— Я теперь редко вижу вашего почтенного батюшку... Я почти нигде не бываю. Мои обязанности по фабрике... Эта помолвка...— невнятно бормотал Дидерих.— Тогда, значит, вы часто... Или вы уже совсем сюда переехали?

— Временно, надеюсь.

Дидерих овладел собой.

— Признаться, я не всегда понимал вас. А теперь и вовсе перестал понимать. Вы гуляете со мной по Нетцигу...

Бук, прищурившись, посмотрел на него:

— Хотя я завтра выступаю защитником на процессе, где вы являетесь главным свидетелем обвинения? Да ведь это чистая случайность. Могло быть и наоборот: все зависит от распределения ролей.

— Благодарю покорно! — вскипел Дидерих.— Каждый занимает свое место. Если вы не питаете никакого уважения к своей профессии, то...

— Уважения? Что это значит? Я с радостью взял на себя защиту, не отрицаю. Вот уж отведу душу, об этом долго будут помнить. В ваш адрес, господин доктор, наговорю кучу неприятных вещей. Не взыщите, мне это нужно для эффекта.

Дидериху стало страшно.

— Позвольте, господин адвокат, как же так? Разве вам известны мои показания? Они не так уж неблагоприятны для господина Лауэра.

— Это уж мое дело! — На лице Бука появилось ироническое выражение, не сулившее ничего хорошего.

Они вышли на Мейзештрассе. «Процесс!» — думал, громко сопя, Дидерих. В сутолоке последних дней он совсем о нем забыл, а теперь его обуял такой страх, точно завтра ему предстояла ампутация обеих ног. Густа — притворщица, дрянь, с умыслом, значит, ничего не сказала, пусть, мол, в последний момент его ошарашит. Он простился с Буком, не доходя до дома. Только бы Кинаст ничего не заметил! Бук предложил зайти куда-нибудь в пивную, посидеть.

— Вас, по-видимому, не очень-то тянет к вашей невесте? — сказал Дидерих.

— В настоящую минуту меня больше прельщает рюмка коньяку.

Дидерих язвительно засмеялся:

— Она, кажется, всегда вас прельщает.— Из опасения, как бы Кинаст не заподозрил недоброе, он пошел провожать Бука.

— Видите ли, моя невеста,— неожиданно заговорил Бук,— это тоже один из вопросов, которые я ставлю судьбе.

— Как вас понять? — спросил Дидерих, и Бук продолжал:

— Если я останусь в Нетциге, то Густа Даймхен вполне на своем месте. Но кто знает? Мало ли какие обстоятельства могут вторгнуться в мою жизнь. Вот на этот случай у меня есть в Берлине другая связь...

— Я слышал: актриса! — Дидерих покраснел за Бука, который с таким цинизмом признавался в этом.— Простите,— пробормотал он, запинаясь,— я ничего такого не думал.

— Значит, вам это известно,—заключил Бук.—Ну, так вот. Я там еще не свободен, а потому не могу уделять Густе столько внимания, сколько следовало бы. Не примете ли вы участие в этой славной девушке? — спокойно, почти наивно спросил он.

— Чтобы я...

— Так сказать, немножко помешивать варево, которое стоит у меня на огне... Пока я не развяжусь там. Ведь мы питаем друг к другу симпатии.

— Благодарю,— холодно сказал Дидерих.— Так далеко, во всяком случае, мои симпатии к вам не идут. Поручите это кому-нибудь другому. Я все-таки серьезнее отношусь к жизни.

И он, не простившись, ушел.

Помимо отсутствия моральных устоев, Дидериха возмущала в этом человеке его беспринципная фамильярность, и это после того, как сию минуту вновь подтвердилось, что они и по убеждениям, и по образу жизни противники. Как несносны подобные люди, в них ни черта не поймешь! «Какой же сюрприз он мне готовит?»

Дома он дал волю своему раздражению.

— Не человек, а медуза. А самомнение! Сохрани бог нашу семью от подобной все разъедающей беспринципности. Это симптом вырождения!

Ему сообщили, что Кинаст вечером уезжает.

— Не жди в письмах от Магды каких-нибудь потрясающих новостей,— неожиданно сказал он Кинасту и рассмеялся.— Весь город может ходуном ходить, я дальше своей конторы и дома — ни шагу.

Но едва Кинаст вышел за дверь, как Дидерих остановился перед фрау Геслинг:

— Ну? Где повестка из суда?

Ей пришлось сознаться, что она спрятала зловещее письмо.

— Я не хотела, чтобы оно испортило тебе праздничное настроение, дорогой мой сын.

Но он не желал никаких подслащиваний!

— Заладила одно: дорогой сын, дорогой сын. А что стол становится все хуже за исключением тех дней, когда бывают гости,— это тоже из любви ко мне? Деньги, которые я даю на хозяйство, идут на ваши тряпки. Думаете, я поверю, будто Магда сама сшила кружевную блузку? Как бы не так! Надо быть ослом, чтобы поверить этой басне.— Магда возмутилась: с какой стати он оскорбляет ее жениха, но Дидерих оборвал ее: — Помалкивай лучше! Твой меховой жакет тоже наполовину краденый. Вы в сговоре со служанкой. Когда я посылаю ее за вином, она норовит купить какое подешевле, а сдачу отдает вам.

Все три женщины пришли в ужас, отчего он только еще больше расшумелся. Эмми сказала, что понимает, почему он так бесится: завтра он осрамится на весь город. Дидерих в ответ

схватил со стола тарелку и швырнул ее об пол. Магда встала, пошла к двери и на пороге обернулась:

— Какое счастье, что я в тебе больше не нуждаюсь!

Дидерих подскочил к ней:

— Думай, пожалуйста, о чем говоришь! Если ты наконец выйдешь замуж, то лишь благодаря моей самоотверженности! Твой жених торговался из-за приданого до непристойности. Ты, вообще говоря, только бесплатное приложение!

Внезапно он почувствовал ожог от звонкой пощечины и не успел опомниться, как Магда уже заперлась в своей комнате. Дидерих, сразу замолчав, тер щеку. Он, правда, побушевал еще немного, но чувство удовлетворения одержало верх. Кризис миновал.

Ночью он твердо решил явиться в суд с опозданием и всем своим поведением подчеркнуть, как мало его касается вся эта история. Но дома усидеть не мог, и когда он вошел в зал заседаний, там еще слушалось чье-то дело. Ядассон, грозный в своей черной мантии, требовал для какого-то подростка из простонародья двух лет заключения в исправительном доме. Суд приговорил парнишку только к году, но юный преступник так завыл, что Дидериху, который сам был напуган и подавлен, сделалось дурно от жалости. Он вышел из зала и кинулся в уборную, хотя на дверях висела табличка: «Только для господина председателя». Вслед за ним туда вошел Ядассон. Увидев Дидериха, он хотел было улизнуть, но Дидерих спросил, что значит исправительный дом и что в нем делают заключенные.

— Нам только и заботы, что об этом думать! — бросил Ядассон на ходу и вышел.

Дидерих весь сжался от ощущения глубокой пропасти, которая легла между Ядассоном, представлявшим здесь власть, и им, Дидерихом, дерзнувшим слишком близко подойти к ее машине. Руководили им самые лучшие намерения, высочайшее почитание власти, но не все ли равно? Теперь держи ухо востро, иначе очутишься между ее жерновами и тебя разотрут в порошок; надо втянуть голову в плечи и быть тише воды, ниже травы, может, как-нибудь удастся унести отсюда ноги. Эх, уйти бы опять в скорлупу своей частной жизни. Он давал себе слово отныне жить только во имя собственных незначительных, но разумных интересов.

В коридорах уже толпилась публика: и кто попроще, и цвет общества. Пять сестер Бук, расфуфыренные в пух и прах, точно судебный процесс их свояка Лауэра составлял величайшую

честь для семьи, без умолку болтали с Кетхен Циллих, ее матерью и супругой бургомистра Шеффельвейса. Теща бургомистра не отпускала его от себя, и по взглядам, которые она бросала на брата старого Бука и его друзей Гейтейфеля и Кона, видно было, что она старается восстановить бургомистра против Буков. Майор Кунце, в полной форме, с мрачной физиономией стоял рядом, но воздерживался от каких бы то ни было высказываний. Вот появились пастор Циллих и учитель Кюнхен; однако, увидев столь многолюдное общество, они остановились за колонной. Редактор Нотгрошен, серенький и невидный, переходил от группы к группе. Тщетно искал Дидерих, к кому бы примкнуть, и уже раскаивался, что запретил своим прийти. Он прятался за поворотом коридора и только осторожно высовывал из-за угла голову. Вдруг он попятился: Густа Даймхен с матерью! Густу тотчас окружили сестры Бук, для их лагеря это было прекрасное подкрепление. Одновременно в глубине коридора открылась дверь, и оттуда вышел Вольфганг Бук в берете и в мантии; из-под мантии виднелись лаковые штиблеты. Сегодня Бук как-то особенно заметно загребал ногами. Он празднично улыбался, точно на каком-нибудь приеме, со всеми поздоровался, а невесте поцеловал руку. О, это будет увлекательно,— сулил он. Прокурор, да и сам он сегодня в ударе. Затем он отошел к свидетелям защиты и шепотом посовещался с ними. Неожиданно все смолкло: в дверях показались обвиняемый Лауэр и его жена. Супруга бургомистра кинулась ей на шею: до чего же она, фрау Лауэр, мужественна!

— А что тут особенного? — откликнулась та низким звучным голосом.— Нам не в чем упрекнуть себя, верно ведь, Карл?

— Конечно, не в чем, Юдифь.

В эту минуту мимо прошел член суда Фрицше. Наступило молчание; когда он раскланялся с дочерью старого Бука, все вокруг переглянулись, а теща бургомистра вполголоса обронила замечание; правда, по выражению ее глаз нетрудно было догадаться, что она сказала.

Дидериха, хотя он и старался держаться в тени, отыскал Вольфганг Бук и подвел к сестре:

— Дорогая Юдифь, разреши тебе представить, если ты еще не знакома, нашего уважаемого противника, господина доктора Геслинга. Сегодня он нас изничтожит.

Но фрау Лауэр не улыбнулась, она и на поклон Дидериха не ответила, лишь взглянула на него с беспощадным любопытством. Трудно было выдержать этот сумрачный взгляд, тем труднее, что она была так изумительно хороша. Дидерих по-

чувствовал, как прихлынула к лицу жаркая волна крови, глаза его забегали, он забормотал:

— Господин адвокат изволит шутить, конечно... Вообще... Все это одно недоразумение.

Но тут брови на белоснежном лице сдвинулись, углы рта выразительно опустились, и Юдифь Лауэр показала Дидериху спину.

Появился судебный пристав; Вольфганг Бук вместе со своим зятем Лауэром направился в зал заседаний, и так как двери не были распахнуты настежь, а все устремились вперед, у входа возникла давка; сливки общества оттеснили публику попроще. Нижние юбки всех пяти сестер Бук ожесточенно шуршали во время сражения. Дидерих попал в зал суда последним и на скамье свидетелей оказался рядом с майором Кунце; тот немедленно резко отодвинулся. Председатель Шпрециус, похожий на облезлого коршуна, объявил со своего возвышения заседание открытым и, вызвав свидетелей, напомнил им о святости присяги; лицо Дидериха сразу же стало таким, каким бывало в детстве, на уроках закона божия. Член суда Гарниш возился с папками и глазами искал среди публики свою дочь. Особый интерес вызывал к себе старый член суда Кюлеман, вставший с одра болезни; он занял место по левую руку от председателя. Говорили, что он уже не жилец на этом свете, теща бургомистра слышала из достоверных источников, будто он решил сложить с себя депутатские полномочия... А что будет с несметным богатством Кюлемана после его смерти? Циллих, сидевший на скамье свидетелей, поделился с соседями надеждой, что старик завещает свои миллионы на постройку церкви, а учитель Кюнхен пронзительным шепотом выразил на этот счет свои сомнения:

— Он и после смерти никому ничего не даст, он всю жизнь только и делал, что свое держал в кулаке, а по возможности и чужое прихватывал...

Тут председатель попросил свидетелей удалиться из зала.

Они собрались в коридоре — специальной комнаты для свидетелей не было. Гейтейфель, Кон и Бук-младший уединились в оконной нише; Дидерих под злобным взглядом майора Кунце думал в страхе: «Теперь допрашивают подсудимого. Знать бы, что он говорит. Я обелил бы его с не меньшим удовольствием, чем вы все». Тщетно старался он уверить пастора Циллиха, что не желает никому зла; он, мол, с самого начала говорил, что дело это раздули. Циллих смущенно отворачивался, а Кюнхен, убегая, просвистел сквозь зубы:

— Погоди, сокровище мое, мы тебе коготки пообломаем.

Общее молчаливое осуждение тяжело нависло над Дидерихом. Наконец появился судебный пристав:

— Доктор Геслинг!

Дидерих подтянулся, чтобы пройти мимо присутствующих, не роняя своего достоинства. Чувствуя на себе взгляд фрау Лауэр, он судорожно смотрел прямо перед собой и громко сопел; его чуть-чуть пошатывало. Слева, рядом с присяжным заседателем, который разглядывал свои ногти, стоял, грозно выпрямившись, Ядассон. Позади него находилось окно, и на свету оттопыренные уши прокурора алели, как кровь, а лицо выражало такое безоговорочное требование рабской покорности, что Дидерих старался не смотреть в его сторону. Справа, перед обвиняемым, только несколько ниже, Дидерих увидел Вольфганга Бука. Отбросив назад полы своей мантии и упершись кулаками в жирные ляжки, он сидел в небрежной и спокойной позе: лицо его дышало таким умом и задором, точно это был сам дух света. Председатель суда Шпрециус предложил Дидериху повторять за ним слова присяги и произносил не больше двух слов зараз, снисходительно глядя на свидетеля. Дидерих послушно принес присягу; затем его попросили описать все, что произошло в тот вечер в ресторане.

— Мы сидели веселой компанией,— начал он,— а напротив сидели господа, которые тоже...

Он сразу же замялся, и в публике послышался смех. Шпрециус вскинулся, долбанул воздух своим хищным клювом и пригрозил очистить зал.

— Это все, что вы можете сказать? — раздраженно спросил он.

Дидерих попросил учесть, что события того вечера, оттесненные последующими деловыми и прочими волнениями, несколько стерлись в его памяти.

— В таком случае я прочту показания, которые вы давали следователю, это подстегнет вашу память.— И председатель приказал подать протокол.

Из протокола Дидерих, к досаде и к удивлению своему, увидел, что, давая показания следователю Фрицше, он недвусмысленно заявил, будто бы подсудимый произнес слова, глубоко оскорбительные для его величества кайзера... Что скажет на это доктор Геслинг?

— Возможно, что и так,— пробормотал Дидерих,— но там сидела целая компания, и сказал ли это именно подсудимый...

Шпрециус весь подался вперед.

— Подумайте! И не забывайте, что вы давали присягу. Другие свидетели покажут, что не кто другой, а именно вы подошли к обвиняемому и только с ним вели упомянутый разговор...

— Разве это был я? — спросил Дидерих, заливаясь густой краской.

Тут уж весь зал разразился неудержимым хохотом, даже Ядассон скривил губы в пренебрежительной ухмылке. Шпрециус уже открыл было рот, собираясь одернуть публику, но в эту минуту встал Вольфганг Бук. Зримым усилием воли он придал мягким чертам своего лица энергичное выражение.

— В этот вечер вы были, вероятно, в подпитии? — спросил он Дидериха.

Тотчас же на него обрушились и прокурор и председатель.

— Прошу отклонить этот вопрос! — визгливо крикнул Ядассон.

— Господин защитник, с вопросами вы можете адресоваться только ко мне,— прохрипел председатель.— А задам ли я их затем свидетелю, это мое дело.

Но прокурор и председатель,— как с изумлением отметил Дидерих,— наткнулись на стойкого противника. Вольфганг Бук не сел; звучным ораторским голосом он опротестовал поведение председателя, посягающего на права защиты, и потребовал, чтобы суд вынес решение: предоставляет ли существующий порядок судопроизводства право защитнику обращаться с вопросами непосредственно к свидетелю. Тщетно долбил своим клювом Шпрециус; ему не оставалось ничего другого, как вместе с остальными четырьмя судьями удалиться в совещательную комнату. Бук победоносным взглядом окинул зал: все его пять кузин сложили руки так, точно собирались аплодировать. Но и отец его уже был в зале; многие заметили, как старик Бук знаком выразил сыну неодобрение. А обвиняемый повернул к защитнику разгоряченное гневом, апоплексического склада лицо и пожал ему руку. Дидерих, стоявший на виду у всех, силился не потерять самообладания и оглядывал публику. Но увы! Густа Даймхен старалась не встречаться с ним взглядом. Один лишь старик Бук доброжелательно кивнул ему: показания Дидериха ему понравились. Он даже выбрался из тесно заставленной скамьями трибуны и протянул Дидериху свою мягкую белую руку.

— Благодарю вас, милый друг,— сказал он.— Вы правильно подошли к делу.

И всеми покинутый Дидерих почувствовал, как глаза его увлажнились: так тронула его доброта этого великого человека. Лишь когда старик направился к своему месту, Дидериху пришло в голову, что ведь он, Дидерих, льет воду на мельницу Бука! И Вольфганг Бук тоже отнюдь не такой простофиля, каким казался. Очевидно, он вел с Дидерихом политические разговоры только затем, чтобы теперь использовать их против него. Верность, истинно немецкая верность, где она? Ее не существует на свете, ни на кого нельзя положиться. «Долго еще они будут пялиться на меня?»

К счастью, суд вернулся. Старик Кюлеман обменялся сочувственным взглядом со стариком Буком, и Шпрециус, явно стараясь сдержать себя, зачитал решение. Дано ли защитнику право задавать вопросы непосредственно свидетелю — осталось невыясненным, так как самый вопрос, был ли свидетель в тот вечер пьян, отклонен, как не имеющий отношения к делу. Вслед за тем председатель спросил Ядассона, нет ли у него вопросов к свидетелю.

— Пока нет,— с брезгливой миной молвил Ядассон,— но предлагаю временно свидетеля из зала не удалять.— И Дидериху разрешено было сесть. Ядассон повысил голос: — Кроме того, ходатайствую о немедленном вызове следователя Фрицше; я попрошу его сообщить, какую позицию по отношению к обвиняемому занимал раньше доктор Геслинг.

Дидерих испугался; на местах для публики все повернулись к Юдифи Лауэр: даже оба заседателя, сидевшие за судейским столом, вперили в нее взоры. Ходатайство Ядассона было удовлетворено.

Вызвали пастора Циллиха, привели к присяге и потребовали показаний о фатальной ночи. Он заявил, что тогда на него нахлынуло слишком много впечатлений, а кроме того, его христианская совесть была сильно омрачена, ибо в тот день, пусть даже из верноподданнических чувств, на улицах Нетцига была пролита кровь.

— К делу не относится! — определил Шпрециус.

В эту минуту в зал вошел регирунгспрезидент фон Вулков в охотничьем костюме и в высоких, облепленных грязью сапогах. Все оглянулись, председатель, сидя в своем кресле, отвесил поклон, а пастора Циллиха кинуло в дрожь. Председатель и прокурор наперебой наскакивали на него, Ядассон даже сказал с ужасающим ехидством:

— Полагаю, господин пастор, что нет особой надобности указывать вам, как духовному лицу, на святость присяги.

Это доконало Циллиха, и он признал, что слова, которые инкриминируются обвиняемому, он, во всяком случае, слышал. Обвиняемый вскочил и стукнул кулаком по скамье.

— Я не произносил имени кайзера! Я еще из ума не выжил!

Защитник кивком головы успокоил его и сказал:

— Мы докажем, что только провокационные вопросы свидетеля доктора Геслинга побудили обвиняемого произнести те слова, которые фигурируют в деле в искаженном виде. А сейчас я лишь прошу господина председателя задать вопрос свидетелю Циллиху, не произносил ли он проповеди против затеянной Геслингом травли?

Пастор Циллих пробормотал, что по долгу служителя культа он вообще призывал жить в мире. Тогда Бук пожелал узнать нечто другое.

— Не заинтересован ли опять-таки свидетель Циллих в поддержании хороших отношений с главным свидетелем обвинения доктором Геслингом ввиду того, что дочь пастора...

Ядассон, резко оборвав его, заявил протест по поводу постановки вопроса. Шпрециус признал вопрос недопустимым, а на скамьях для публики поднялся глухой ропот женских голосов. Регирунгспрезидент, наклонившись через скамью к старику Буку, сказал:

— Однако ваш сын позволяет себе милые шуточки!

Тем временем вызвали свидетеля Кюнхена. Старикашка ворвался в зал, очки его сверкали; он уже с порога прокричал имя, отчество, фамилию и звание, а присягу произнес скороговоркой, без подсказа. Но добиться от него членораздельных показаний не удалось,— кроме одного: в тот вечер волны националистического энтузиазма поднимались высоко. Во-первых — доблестный подвиг часового. Затем — изумительное послание его величества, заявившего себя сторонником позитивного христианства. «Вы спрашиваете насчет скандала с обвиняемым? Об этом, многоуважаемый господин судья, я совершенно ничего не знаю. Я как раз чуточку вздремнул».

— Но ведь и потом об этом говорили? — требовательно напомнил председатель.

— Я — нет!— воскликнул Кюнхен.— Я говорил только о наших доблестных делах в году семидесятом. Партизаны, сказал я, это бандиты. Палец у меня как деревяшка, его прокусил партизан. И почему бы, как вы думаете? Да потому, что я хотел немножко полоснуть его саблей по горлу! Не безобразие ли, а? — И Кюнхен собирался продемонстрировать судьям свой палец.

— Ступайте! — взвизгнул Шпрециус и опять пригрозил очистить зал.

К судейскому столу подошел майор Кунце; он стоял прямо, как на ходулях, а слова присяги звучали у него так, будто он бросал Шпрециусу в лицо тяжкие оскорбления. Он без обиняков заявил, что ко всей этой истории не имеет ни малейшего отношения; он пришел в погребок позднее.

— Могу только сказать, что в поведении доктора Геслинга есть неприятный душок. Душок клеветы.

Но с некоторого времени в зале чувствовался и другой душок. Никто не знал, откуда он исходит, на скамьях для публики сосед подозревал соседа и, прикрыв платочком рот, незаметно отодвигался от него. Председатель водил носом во все стороны, а старик Кюлеман, давно уже опустивший подбородок на грудь, беспокойно мотал головой во сне.

На замечание Шпрециуса, что все, кто в тот вечер рассказывал майору об этом эпизоде, благонамеренные националисты, майор сказал только, что, так или иначе, с доктором Геслингом он вовсе не знаком. Но тут выступил вперед Ядассон; уши его пылали, он спросил отточенным, как лезвие ножа, голосом:

— Господин свидетель, я желал бы спросить у вас, не знакомы ли вы зато — и даже очень коротко — с обвиняемым? Соблаговолите сообщить суду, не одолжил ли вам обвиняемый всего неделю назад сто марок?

Зал в испуге замер, все впились глазами в майора, который стоял в полной военной форме и что-то бормотал в ответ. Дерзость Ядассона произвела впечатление. Он тотчас же использовал свой успех и вырвал у Кунце признание, что немцы-националисты, в том числе и он сам, были возмущены речами Лауэра. Без сомнения, обвиняемый имел в виду его величество.

Вольфганг Бук вскочил, он не мог больше сдерживать себя:

— Если господин председатель не находит нужным поставить на вид господину прокурору, что он оскорбляет своих же свидетелей, то нам это и вовсе безразлично.

Шпрециус немедленно долбанул своим клювом в сторону Бука:

— Господин защитник! Я сам решаю, ставить на вид или не ставить.

— Именно это я и хотел установить,— невозмутимо продолжал Бук.— Что же касается существа дела, то мы как раньше, так и теперь утверждаем и докажем свидетельскими показаниями, что обвиняемый не оскорблял его величества.

— Я еще из ума не выжил! — выкрикнул обвиняемый.

— Если все же, вопреки истине, будет признано обратное,— продолжал Бук,— то я вхожу с ходатайством привлечь издателя «Готского альманаха» в качестве эксперта по вопросу о том, у кого из немецких князей течет в жилах еврейская кровь.

Он сел на место, довольный рокотом, прокатившимся по рядам изумленной публики. Чей-то громовый бас прогудел: «Неслыханно!» Шпрециус уже готов был долбануть клювом, но вовремя догадался, кому принадлежал бас. Вулкову! Даже Кюлеман очнулся от этого возгласа. Судьи шепотом посовещались, после чего председатель объявил, что ходатайство защитника отклонено, так как суд не считает возможным разбирать, соответствуют ли истине инкриминируемые подсудимому слова. Для состава преступления достаточно и того, что выражено неуважение. Бук потерпел фиаско, его пухлые щеки по-детски грустно вытянулись. В зале послышалось хихиканье, теща бургомистра, в нарушение всех правил приличия, громко смеялась. Дидерих подумал о ней с благодарностью. Боязливо вслушиваясь, он чувствовал, как общественное мнение меняет курс и осторожно примыкает к тем, у кого больше ловкости, у кого в руках власть. Он обменялся взглядом с Ядассоном.

Следующим свидетелем выступил редактор Нотгрошен. Серенький и неприметный, он предстал перед судьями и выполнял свою роль без запинки, словно всю жизнь только тем и занимался, что давал показания. Все, кто знал его, дивились: такой самоуверенности в нем никогда не замечалось. Он обо всем был осведомлен, давал убийственные для подсудимого показания и говорил гладко, точно читал передовую; разве что председатель между двумя абзацами, одобрительно кивая, подсказывал ему нужное словечко, как примерному ученику. Бук, встряхнувшись, напомнил Нотгрошену, что «Нетцигский листок» защищал Лауэра. Редактор ответил:

— «Нетцигский листок» либеральная, а следовательно, надпартийная газета. Это рупор общественного мнения. А так как оно складывается не в пользу обвиняемого...

По-видимому, там, в коридоре, он уже разнюхал, куда ветер дует! Бук сказал с иронией в голосе:

— Я прошу отметить, что свидетель обнаруживает несколько странное понимание долга, налагаемого на него присягой.

Но смутить Нотгрошена нельзя было.

— Я журналист,— заявил он и прибавил: — Я прошу господина председателя оградить меня от оскорблений защитника.

Шпрециус не заставил себя упрашивать; затем он милостиво отпустил редактора.

Пробило двенадцать. Ядассон обратил внимание председателя на то, что следователь доктор Фрицше явился и находится в распоряжении суда. Его вызвали; и с этой минуты взгляды обращались то на него, то на Юдифь Лауэр. Она побледнела еще больше, темные глаза, провожавшие Фрицше к судейскому столу, раскрывались все шире и как будто безмолвно гипнотизировали его; но Фрицше избегал ее взгляда. Все нашли, что у него тоже плохой вид, хотя в походке чувствовалась решительность. Дидерих отметил про себя, что из двух своих личин он на этот случай избрал сухо-официальную.

Какое впечатление произвел на него свидетель доктор Геслинг на предварительном следствии? Свидетель давал свои показания вполне добровольно, отвечал Фрицше: он был еще под свежим впечатлением событий и потому волновался. Надежность его показаний, которые Фрицше имел возможность проверить в дальнейшем ходе следствия, сомнению не подлежит. Если сегодня свидетель не мог по памяти восстановить отчетливую картину происшедшего, то это объясняется волнением, связанным с обстановкой суда... А подсудимый? Слышно было, как насторожился зал. Фрицше проглотил слюну. И подсудимый лично произвел на него, пожалуй, благоприятное впечатление, невзирая на множество отягчающих моментов.

— Свидетельские показания противоречивы. А как по-вашему, способен ли подсудимый на инкриминируемое ему высказывание? — спросил Шпрециус.

— Подсудимый человек образованный; он, конечно, воздержался от прямых оскорблений,— ответил Фрицше.

— Это заявляет и сам подсудимый,— строго заметил председатель.

Фрицше заговорил быстрее:

— В своей общественной деятельности он сочетал авторитетность с радикальными воззрениями. Он, по всей видимости, считает себя человеком более просвещенным, чем многие другие, и имеющим большее право на критику. Поэтому легко допустить, что в состоянии раздражения,— а смерть рабочего от пули часового привела его в таковое,— он заговорил о политике, и, как ни безупречна была форма, в которую он облек свои высказывания, в них все же проглядывало намерение оскорбить.

Председатель и прокурор вздохнули с явным облегчением. Члены суда Гарниш и Кюлеман оглядывали публику, по рядам

которой прошло движение. Заседатель, сидевший слева от Шпрециуса, и теперь все изучал свои ногти, заседатель же справа, молодой человек с вдумчивым лицом, наблюдал обвиняемого,— тот сидел прямо против него. Руки Лауэра судорожно стискивали перила, а глаза, выпуклые карие глаза, неотрывно смотрели на жену. Ее взгляд был устремлен на Фрицше, в этом взгляде было все: и стыд, и мука, и слабость. Теща бургомистра громко сказала:

— А дома у нее двое детей.

Лауэр как будто услышал вдруг шепот, который вился вокруг него, и заметил взгляды, избегавшие его взгляда. Он ссутулился; кровь так неожиданно и быстро отлила от его побагровевшего лица, что молодой заседатель испуганно заерзал на своем стуле.

Дидерих, вероятно, был единственный, кто с каждой минутой чувствовал себя все лучше, кто еще вслушивался в диалог между председателем и следователем. Хорош Фрицше! Вначале вся эта история, по достаточно веским мотивам, ни для кого, даже для самого Дидериха, не была так мучительно неприятна, как для Фрицше. Разве не пытался он оказать нажим на Дидериха, наперекор своему служебному долгу? И тем не менее показания Дидериха, внесенные им в протокол, оказались тяжкой уликой, а показания самого Фрицше и вовсе топили обвиняемого. Фрицше поступил не менее беспощадно, чем Ядассон. Несмотря на тесную связь с семьей Лауэров, связь особого рода, он не решился уклониться от возложенной на него задачи: быть на страже власти. Ничто человеческое не может устоять перед властью. Какой урок для Дидериха! Видно, и Вольфганг Бук понял это по-своему. Он исподлобья смотрел на Фрицше, и лицо у него было такое, будто его вот-вот вырвет.

Пока следователь шел к выходу какой-то неестественной, вихляющей походкой, в зале стоял громкий шепот. Теща бургомистра, нацелясь лорнетом на жену подсудимого, сказала:

— Премиленькая компания!

Ей не возражали. Лауэров, как видно, уже предоставили собственной судьбе. Густа Даймхен прикусила нижнюю губу. Кетхен Циллих исподлобья метнула взгляд в Дидериха. Доктор Шеффельвейс наклонился к главе семьи Бук и сладким голосом пропел:

— Надеюсь, дорогой друг и благодетель, все еще будет хорошо.

Председатель велел судебному приставу ввести свидетеля Кона.

Очередь была за свидетелями защиты! Председатель понюхал воздух.

— Здесь дурно пахнет,— заметил он.— Креке, откройте-ка окно!

Он пошарил глазами среди публики попроще, тесно сидевшей на хорах. Но именно на нижних скамьях образовалось много свободного места, и больше всего вокруг регирунгспрезидента фон Вулкова, явившегося в пропотелой охотничьей куртке... Открытое окно, в которое задувал ледяной ветер, вызвало глухой ропот на задних скамьях, где сидели иногородние журналисты. Но Шпрециусу стоило только клювом повести в их сторону, и они сразу же втянули головы в поднятые воротники пиджаков.

Ядассон победоносно смотрел на свидетеля. Шпрециус некоторое время не мешал Кону говорить. Но вот Ядассон откашлялся; в руках он держал какую-то бумагу.

— Свидетель Кон,— начал Ядассон,— ведь вы с тысяча восемьсот восемьдесят девятого года являетесь владельцем существующего под вашим именем универсального магазина, не так ли? — И не давая ему ответить: — Признаете ли вы, что вскоре после открытия магазина один из ваших поставщиков, некто Леман, покончил жизнь самоубийством, застрелившись в помещении магазина?

И Ядассон с дьявольским удовлетворением поглядел на Кона; действие его слов было необычайным. Кона всего передергивало, он задыхался.

— Старая клевета! — взвизгнул он.— Самоубийство Лемана не имело ко мне никакого отношения. Он несчастливо женился. Эта история уже однажды чуть не погубила меня, а теперь этот субъект опять ворошит ее!

Защитник тоже выразил протест. Шпрециус долбанул клювом в сторону Кона. Господин прокурор не «субъект»! А за выражение «клевета» суд налагает на свидетеля штраф в пятьдесят марок. И с Коном было покончено. Допрашивался брат господина Бука. Ядассон сразу же спросил его:

— Свидетель Бук, общеизвестно, что ваше предприятие приносит вам одни убытки. На какие средства вы живете?

В зале поднялся такой ропот, что Шпрециус счел необходимым вмешаться:

— Господин прокурор, ваш вопрос, мне кажется, не имеет прямого отношения к делу?

Но у Ядассона на все был готов ответ:

— Господин председатель, для прокуратуры важно установить факт, что свидетель находится в материальной зависимости

от своих родственников, в особенности от обвиняемого, своего зятя. На этом основании мы можем судить о надежности показаний свидетеля!

Высокий элегантный Бук стоял с поникшей головой.

— Этого достаточно,— заявил Ядассон, и Шпрециус отпустил свидетеля.

Его пять дочерей, под перекрестными взглядами толпы, прижались друг к другу, как овцы в бурю. Люди попроще, сидевшие наверху, злорадно пересмеивались. Шпрециус снисходительно призвал к спокойствию и велел ввести свидетеля Гейтейфеля.

Как только Гейтейфель поднял руку, чтобы произнести слова присяги, Ядассон драматическим жестом тоже вскинул вверх руку.

— Раньше я попросил бы свидетеля ответить на вопрос: признает ли он, что своей поддержкой высказываний, представляющих собой преступное оскорбление величества, он одобрил их и еще более заострил?

— Ничего я не признаю,— ответил Гейтейфель. Тогда Ядассон предъявил ему протокол показаний на предварительном следствии.

— Ходатайствую перед судом о недопущении данного свидетеля к присяге,— повысил он голос,— как заподозренного в причастности к преступлению. И еще пронзительнее: — Полагаю, что судом уже установлен образ мыслей свидетеля. Свидетель принадлежит к категории людей, справедливо названных его величеством бродягами, не помнящими родства. Помимо этого, свидетель Гейтейфель на сборищах, которые он называет воскресными собраниями свободных людей, усердно проповедует отъявленный атеизм, из чего само собой вытекает его отношение к нашему благочестивому монарху.

Уши Ядассона теперь полыхали, словно огни костров, зажженных фанатиками всего мира.

Вольфганг Бук встал и скептически усмехнулся.

— По-видимому, господин прокурор в своих религиозных убеждениях монашески суров и не допускает, что нехристианин заслуживает доверия,— сказал он.— Но суд, надо надеяться, придерживается другой точки зрения и отклонит ходатайство господина прокурора.

Ядассон грозно расправил плечи. Он просит суд наложить на защитника дисциплинарное взыскание — штраф в размере ста марок. За издевательский личный выпад против него, прокурора! Суд удалился на совещание. В зале тотчас же начался

страстный и беспорядочный обмен мнениями. Доктор Гейтейфель, засунув руки в карманы, мерил Ядассона такими взглядами, что тот, лишенный покровительства суда, почувствовал панический страх и попятился к стене. Выручил его не кто иной, как Дидерих; он счел себя обязанным сделать господину прокурору важное сообщение... Но тут вернулись судьи. Было объявлено, что приведение к присяге свидетеля Гейтейфеля пока откладывается. За выпад против личности господина прокурора на защитника налагается штраф в размере восьмидесяти марок.

В дальнейший допрос свидетеля вмешался защитник, пожелавший узнать, как расценивает семейную жизнь обвиняемого свидетель, являющийся его близким знакомым. Гейтейфель сделал какое-то движение, зал загудел: все поняли. Но допустит ли вопрос Шпрециус? Он уже было открыл рот, чтобы отказать защитнику, однако вовремя сообразил что сенсация будет на руку обвинению. Гейтейфель дал самый лучший отзыв о семейной жизни Лауэров. И назвал ее образцовой. Ядассон упивался словами свидетеля, от нетерпения его пробирала дрожь. Наконец-то он смог задать свой вопрос, что он и сделал с непередаваемым торжеством в голосе:

— Не соблаговолит ли свидетель ответить, откуда он черпает свое знание семейной жизни? Не из знакомства ли с женщинами известного пошиба, и не посещает ли он некий дом, в просторечии именуемый «Маленький Берлин»?

Еще не закончив фразы, он увидел, что на лицах дам в зале, как и на лицах судей, появилось такое выражение, будто они оскорблены в своих лучших чувствах. Главный свидетель защиты был сокрушен. Гейтейфель пытался ответить:

— Господин прокурор не хуже меня это знает. Мы там неоднократно встречались.

Но реплика свидетеля лишь навлекла на него штраф в пятьдесят марок.

— Свидетель останется в зале,— решил под конец председатель.— Он понадобится суду для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.

— А для меня вся эта механика совершенно ясна,— сказал Гейтейфель,— и я предпочту покинуть сие заведение.

Пятьдесят марок штрафа мгновенно превратились в сто.

Вольфганг Бук беспокойно озирался. Казалось, он губами пробует настроение в зале; они скривились, словно это настроение воплотилось в загадочном запахе, снова отравлявшем воздух с той минуты, как закрыли окно. Бук видел, что огонек

симпатии, с которой его встретили вначале, гаснет и чадит, что весь порох растрачен впустую, а зевки, вытянутые от голода физиономии присутствующих и нетерпение судей, украдкой посматривающих на часы, не сулят ничего хорошего. Он вскочил: надо спасти все, что еще можно спасти. Придав своему голосу энергичные ноты, он предложил перенести вызов следующих свидетелей на послеобеденное время.

— Ввиду того что господин прокурор возвел в систему дискредитацию наших свидетелей, мы готовы доказать, что обвиняемый пользуется доброй славой среди наиболее видных людей Нетцига. Не кто иной, как доктор Шеффельвейс, скажет суду об общественных заслугах обвиняемого. Господин регирунгспрезидент фон Вулков также не откажется засвидетельствовать его благонамеренный и монархический образ мыслей.

— Ну уж! — донесся из опустевших первых рядов громовой бас. Бук заговорил громче.

— А о гражданских добродетелях обвиняемого,— и Бук повысил голос,— скажут здесь его рабочие.

И Бук сел, тяжело дыша.

— Господин защитник предлагает устроить всенародное голосование,— холодно заметил Ядассон.

Судьи шепотом посовещались, и Шпрециус объявил: суд принимает только одно из предложений защитника: о допросе бургомистра доктора Шеффельвейса. Бургомистр находился в зале, и его тут же вызвали.

Он с трудом выбрался из своего ряда. Жена и теща удерживали его с обеих сторон и второпях давали ему наказы, очевидно противоречивые,— перед судьями бургомистр предстал совершенно обалделый. Какой образ мыслей проявлял обвиняемый в своей общественной деятельности? На этот счет бургомистр ничего плохого сказать не может. На заседаниях комиссий городского самоуправления обвиняемый ратовал за восстановление старинного дома священнослужителей, знаменитого тем, что в нем хранились волосы, вырванные, как известно, Мартином Лютером из хвоста дьявола. Правда, обвиняемый требовал также постройки зала для «свободной общины», что вызвало немало протестов. В деловых сферах он пользуется всеобщим уважением, социальные реформы, проведенные им на своей фабрике, с одной стороны, многих приводят в восхищение, хотя, с другой стороны, кое-кто и возражает: они, мол, лишь чрезмерно разжигают аппетиты рабочих и таким образом все-таки способствуют развитию крамолы.

— Полагает ли уважаемый свидетель,— спросил защитник,— что обвиняемый способен на совершение вменяемого ему преступления?

— С одной стороны,— ответил Шеффельвейс,— конечно, не способен.

— А с другой стороны? — спросил прокурор.

— С другой стороны, конечно, способен.

И бургомистра сейчас же отпустили; его дамы, как одна, так и другая, встретили его с недовольными минами; председатель собрался уже было объявить перерыв, но в это мгновенье прокурор Ядассон откашлялся. Он ходатайствует о повторном допросе свидетеля доктора Геслинга, пожелавшего дополнить свои показания. Раздосадованный Шпрециус заморгал, публика, только что вставшая со своих скамей, громко роптала; но Дидерих уже твердым шагом подошел к судейскому столу и громко, отчетливо заговорил. После долгих размышлений он пришел к выводу, что показания, данные им на предварительном следствии, от начала до конца правильны; и он повторил их, заострил, дополнил. Он начал с убийства рабочего и пересказа критических замечаний Лауэра и Гейтейфеля на месте убийства. Слушатели, забыв, что они собрались уходить, следили за схваткой двух мировоззрений, разыгравшейся на окропленной кровью Кайзер-Вильгельмштрассе и перенесенной затем в муниципальный ресторан; они видели, как два враждующих стана построились для решающего боя, как Дидерих, высоко взмахнув под готической люстрой воображаемым мечом, кинулся вперед и вызвал обвиняемого на смертный бой.

— Ибо, уважаемые господа судьи, я не отрицаю более, что бросил ему вызов! Произнесет он слово, которое даст мне возможность нанести удар? И он произнес это слово, и я, уважаемые господа судьи, нанес удар и тем самым выполнил свой долг и повторил бы все это сегодня еще раз, хотя бы на меня посыпались новые и новые неприятности и общественного и делового характера,— а я немало их вытерпел за последнее время. Самоотверженный идеализм, уважаемые господа судьи, эта привилегия истинного немца, всегда руководит им, даже если мужество при виде сонма врагов иной раз ему изменяет. Вот и я, давая раньше свои показания, еще колебался. И не только в силу нашедшего на меня затмения, как сказал по доброте душевной господин следователь: это была, сознаюсь, попытка, быть может и понятная, уклониться от борьбы, в которую мне предстояло вступить. Но я беру на себя бремя борьбы, ибо того

требует от меня не кто иной, как его величество наш несравненный кайзер...

Дидерих говорил без запинки и с таким пафосом, что у слушателей дух занялся. Ядассон уже начал беспокоиться, как бы свидетель не предвосхитил эффект заготовленной им, прокурором, обвинительной речи; он нервно оглядывался на председателя. Но Шпрециус, как видно, и не помышлял прерывать Дидериха. С застывшим в неподвижности хищным клювом, ни разу не моргнув, он уставился в железную физиономию Дидериха, в которой что-то грозно сверкало. Даже старик Кюлеман, распустив губы, слушал. А Вольфганг Бук, подавшись вперед, снизу вверх смотрел на Дидериха, он слушал его с интересом профессионала, и в глазах у него светились и ненависть и восхищение. «Вот уж подлинно речь демагога! На такую любая публика клюнет!»

— Пусть наши граждане,— восклицал Дидерих,— стряхнут с себя наконец сонную одурь, которая их так долго сковывала, и не полагаются всецело на государство и его органы в борьбе с крамолой, а действуют сами! Таково повеление нашего несравненного кайзера! Могу ли я, уважаемые господа судьи, колебаться? Крамола поднимает голову, горсточка людей, недостойных называться немцами, осмеливается обливать грязью священную особу монарха...

Среди публики попроще кто-то рассмеялся. Шпрециус повел клювом в его сторону и пригрозил весельчаку штрафом. Ядассон огорченно вздохнул: теперь Шпрециусу уже никак нельзя остановить свидетеля.

— До сих пор,— продолжал Дидерих,— боевой клич кайзера находил слишком слабый отклик в Нетциге! Здесь закрывали глаза и затыкали уши, не желая ни видеть, ни слышать надвигающейся опасности, люди закоснели в обветшалых понятиях мещанской демократии и гуманности и проложили путь не помнящим родства врагам божественного миропорядка. До здорового национального образа мыслей, до понимания всеобъемлющего империализма здесь еще не доросли. Задача всех немцев, идущих в ногу со временем, добиться и в Нетциге торжества нового духа, как его понимает наш несравненный молодой кайзер, призвавший всех благомыслящих — от дворянина до батрака — быть исполнителями его августейшей воли.

И Дидерих закончил:

— Поэтому, уважаемые господа судьи, я счел своим долгом дать решительный отпор обвиняемому, его злопыхательским происка м. Руководила мной не личная неприязнь, а интересы

общего дела. Быть человеком дела значит быть немцем. И я,— он сверкнул очами в сторону Лауэра,— горжусь своим поступком, ибо он является итогом незапятнанной жизни человека, который и в собственном доме ставит честь превыше всего и не знает лжи и разврата!

Сильное движение в зале. Дидерих, захваченный благородством собственного образа мыслей, упоенный успехом, продолжал сверкать очами, повернувшись к обвиняемому. Но вдруг он попятился: обвиняемый встал, дрожа и пошатываясь, держась за спинку скамьи; он выпрямился, он вращал налитыми кровью глазами и двигал челюстью, точно его хватил паралич. «Ох!» — вскрикнули женские голоса, в которых трепетало сладостное ожидание чего-то ужасного. Но обвиняемый, обратившись к Дидериху, лишь прохрипел несколько нечленораздельных слов; защитник схватил его под руку, убеждая успокоиться. Между тем председатель, известив публику, что господин прокурор начнет свою обвинительную речь в четыре часа, мгновенно испарился вместе с членами суда и заседателями. Ошеломленный Дидерих неожиданно увидел себя среди бурно осаждавших его Кюнхена, Циллиха, Нотгрошена. Все поздравляли его. Незнакомые люди пожимали ему руку. Приговор «виновен» — это как дважды два четыре! Лауэр может укладываться. Майор Кунце напомнил торжествующему Дидериху, что между ними никогда не возникало ни малейших разногласий. В коридоре мимо Дидериха, окруженного роем дам, прошел старик Бук. Натягивая на руки черные перчатки и не отвечая на непроизвольный поклон Дидериха, он приковался к его лицу испытующим и грустным взглядом, таким грустным, что Дидерих, сквозь чад своего триумфа, так же грустно поглядел вслед старому Буку.

Он вдруг заметил, что все пять буковских племянниц не постеснялись засыпать его комплиментами. Они порхали вокруг него, шелестели шелками и спрашивали, почему он не привел на такой интересный процесс своих сестер. Он смерил с ног до головы этих расфуфыренных дур, одну за другой, и сурово отрубил, что есть вещи посерьезнее, чем театральное зрелище. Они отошли от него, ошарашенные. Коридор опустел. Под конец показалась Густа Даймхен. Она направилась к Дидериху, но Вольфганг Бук перехватил ее, улыбаясь как ни в чем не бывало; рядом с Вольфгангом шел обвиняемый и его жена. Густа метнула в Дидериха быстрый взгляд, возбудивший в нем нежность. Он укрылся за колонной и с бьющимся сердцем смотрел на идущих мимо побежденных.

Он уже собрался уходить, как вдруг из судейской комнаты вышел регирунгспрезидент фон Вулков. Дидерих, со шляпой в руке, стал на его пути, вовремя щелкнул каблуками, и — глянь! — Вулков действительно остановился.

— Молодцом! — прогудел он из чащи своей бороды и похлопал Дидериха по плечу.— Вы взяли приз! Образ мыслей правильный! Мы еще увидимся.— И он двинулся дальше, стуча облепленными грязью сапогами, тряся брюхом в пропотевших охотничьих штанах и оставляя за собой едкий запах, запах хищной мужественности, прочно устоявшийся в зале судебного заседания.

Внизу, у выхода, стоял бургомистр с женой и тещей, наседавшими на него с обеих сторон; бледный и отчаявшийся, он безуспешно пытался примирить их требования.

Дома уже все было известно. Мать и сестры дожидались в вестибюле суда конца заседания, и Мета Гарниш все рассказала им. Фрау Геслинг, вся в слезах, не говоря ни слова, обняла сына. Магда и Эмми были в замешательстве; только вчера они так пренебрежительно отзывались о роли Дидериха в процессе, и вдруг оказывается, что он так блестяще провел ее! Но Дидерих на радостях великодушно обо всем позабыл, велел подать к обеду вино и объявил сестрам, что сегодняшний день навечно укрепил их положение в нетцигском обществе.

— Пять буковских дочерей не посмеют теперь отворачиваться при встрече с вами. Пусть радуются, если вы ответите им на поклон.— Осуждение Лауэра, уверял Дидерих, не более чем пустая формальность. Оно предрешено так же, как и головокружительная карьера его, Дидериха.— Конечно,— сказал он, покачивая головой и глядя в свой бокал,— несмотря на мое безупречное выполнение долга, все могло очень плохо кончиться и, надо сознаться, дорогие, я мог взлететь в воздух вместе со свадьбой Магды.— Магда побледнела, но он похлопал ее по плечу.— Теперь-то мы на коне! — И, подняв бокал, твердо и мужественно воскликнул: — Какой, с божьей помощью, оборот!

Он велел сестрам принарядиться — они пойдут все вместе. Фрау Геслинг просила пощадить ее, она избегает всяких волнений. Теперь Дидериху незачем было торопиться, пусть сестры спокойно одеваются. Когда они пришли, зал был уже полон, но состав публики изменился. Отсутствовала вся буковская родня, а с ними и Густа Даймхен, Гейтейфель, Кон, вся масонская ложа, весь ферейн свободомыслящих избирателей. Они

признали себя побежденными! Новость уже облетела весь город, многие устремились в зал суда, чтобы собственными глазами увидеть картину их поражения; публика попроще продвинулась в передние ряды. Одинокие сторонники некогда влиятельной клики, такие, как Кюнхен и Кунце, стремились к одному: чтобы на их лицах каждый мог прочесть благонамеренный образ мыслей. Правда, среди публики были теперь и подозрительные фигуры: молодые люди с утомленными, но выразительными лицами, и девицы вызывающей внешности с чрезмерно ярким румянцем на щеках; и те и другие раскланивались с Вольфгангом Буком. Весь городской театр был здесь! Бук не постеснялся пригласить на свое выступление актеров!

Обвиняемый нервно поворачивал голову всякий раз, как кто-нибудь входил в зал. Он ждал свою жену! «Чудак, он еще надеется, что она придет!» — подумал Дидерих. Но она пришла, еще более бледная, чем утром,— долгим взглядом, исполненным мольбы, поздоровалась с мужем, села на край первой попавшейся скамьи и, гордая и безмолвная, устремила взгляд на судейский стол, словно там была ее судьба... Судьи вошли в зал. Председатель открыл заседание и предоставил слово господину прокурору.

Ядассон с места в карьер заговорил на крайне высокой ноте, так что после нескольких фраз выдохся и стал жевать жвачку; актеры городского театра обменивались презрительными улыбками. Ядассон заметил это и начал размахивать руками. Полы его мантии разлетались, голос срывался, а уши рдели. Нарумяненные девушки, уронив руки и головы на перила, изнемогали от душившего их смеха.

— А Шпрециус чего глядит? — спросила теща бургомистра.

Но судьи спали. Дидерих в душе ликовал: он отомстил Ядассону! Ядассон не нашел ни одной новой мысли, Дидерих использовал все. Он вышел победителем! А что он победил, это знал Вулков, это знал и Шпрециус, оттого-то он и спал с открытыми глазами. Ядассон чувствовал это лучше, чем кто бы то ни было, и чем визгливее становился его голос, тем больше неуверенности сквозило во всей его фигуре. Когда в заключение он потребовал двух лет тюрьмы для обвиняемого, все были до того замучены скукой, что сочли это несправедливым; в том числе, по всей видимости, и судьи. Старичок Кюлеман испуганно всхрапнул и проснулся. Шпрециус усиленно заморгал, стараясь взбодриться, и сказал:

— Слово имеет господин защитник.

Вольфганг Бук медленно поднялся. Его странные друзья одобрительно зашептались, хотя Шпрециус уставился клювом в их сторону. Бук спокойно выждал, пока воцарилась тишина. Затем легким тоном, словно ему достаточно нескольких минут, чтобы со всем покончить, заявил, что в результате свидетельских показаний создалась вполне благоприятная картина для обвиняемого. Господин прокурор необоснованно полагает, что показания против обвиняемого, исторгнутые у свидетелей лишь потому, что все их существование ставилось под угрозу, имеют какую-нибудь ценность. Ценность, пожалуй, есть, но заключается она именно в том, что эти показания блестяще доказывают невиновность обвиняемого, ибо многие лица, известные своей правдивостью, лишь в силу шантажа...

Договорить ему, разумеется, не удалось. Когда председатель угомонился, Бук невозмутимо продолжал.

— Если допустить,— сказал он,— что обвиняемый действительно произнес инкриминируемые ему слова, то и тогда понятие наказуемости здесь отсутствует. Свидетель доктор Геслинг открыто признал, что он преднамеренно спровоцировал обвиняемого. Спрашивается, не доктор ли Геслинг, с его провокационным намерением, является фактическим виновником наказуемого действия, которое он осуществил при невольном посредстве другого, сознательно воспользовавшись его возбужденным состоянием?

Защитник рекомендовал прокурору серьезно заняться свидетелем Геслингом. В зале многие повернули головы к Дидериху, и ему едва не стало дурно. Но пренебрежительная мина председателя вновь приободрила его.

В голосе Бука появились мягкие и теплые нотки. Нет, он далек от желания накликать беду на свидетеля Геслинга; он рассматривает Геслинга лишь как жертву личности, стоящей несравненно выше его.

— Почему, — спросил Бук,— так участились дела об оскорблении величества? Мне ответят: вследствие таких эпизодов, как убийство рабочего. Я же говорю: нет, они участились благодаря речам, которые следуют за этими эпизодами.

Шпрециус вытянул шею и навострил свой клюв, но промолчал. Бук все так же невозмутимо продолжал речь. Голос его звучал теперь сильно и мужественно.

— Угрозы и чрезмерные претензии неизбежно вызывают отпор. Лозунг — кто не за меня, тот против меня — проводит жирную черту между теми, кто раболепствует перед величеством, и теми, кто оскорбляет величество.

Тут уж Шпрециус долбанул клювом Бука.

— Господин защитник, я не потерплю здесь критики высказываний кайзера. Если вы намерены продолжать в таком же духе, суд немедленно наложит на вас дисциплинарное взыскание.

— Подчиняюсь вашим указаниям, господин председатель,— сказал Бук, и слова его с каждой секундой становились все более пластичными, полновесными.— В таком случае я буду говорить не о монархе, а о верноподданном, которого формует монарх: не о Вильгельме Втором, а о свидетеле Геслинге. Вы видели его! Это человек дюжинный, среднего ума, зависящий от среды и случая; когда обстановка на суде складывалась не в его пользу, он был жалок, а как только ветер подул в другую сторону, он исполнился невероятной самоуверенности.

Дидерих на своей свидетельской скамье громко сопел. Почему Шпрециус не вступится за него? Ведь это его долг! Националистически мыслящего немца публично поносят — и кто? Адвокат, который уже по профессии своей является выразителем подрывных бунтарских идей! Нет, что-то гнило в королевстве Датском!.. Стоило Дидериху взглянуть на Бука, и в нем все закипало. Вот он враг, антипод; остается одно: стереть с лица земли! Эта оскорбительная человечность в мясистом профиле Бука! Так и чувствуешь надменное любование словами, которые он подбирает, чтобы заклеймить Дидериха.

— Во всякую эпоху имя таким людям — легион,— говорил Бук,— это дельцы, и у них есть свои политические взгляды. Единственное, что прибавилось к этому стандартному типу и подновило его, это — повадка: крикливая поза, дутая воинственность так называемой сильной личности, жажда играть роль во что бы то ни стало, даже если расплачиваться придется другим. Инакомыслящие объявляются врагами нации, хотя бы они и составляли две трети ее. Может быть, это диктуется классовыми интересами? Возможно, но они подаются в шелухе лживой романтики. В порыве романтической экзальтации верноподданный припадает к стопам своего владыки, лелея надежду, что владыка наделит его частицей власти, и тогда он сам наступит пятой на младшую братию. Но так как в реальной действительности, да и в законе не существует ни владыки, ни простертого перед ним подданного, то вся общественная жизнь приобретает характер пошлой клоунады. Убеждения облекаются в театральные костюмы, сыплются речи, достойные крестоносцев, хотя произносят их люди, производящие жесть или бумагу. Картонный меч обнажается в защиту понятия «его император-

ское величество»,— понятия, которое уже ни одна душа, за исключением разве сказочных персонажей, не принимает всерьез. «Его императорское величество...» — повторил Бук, как бы пробуя эти слова на вкус, и часть слушателей попробовала их вместе с ним. Актеры, которых форма захватывала явно сильнее, чем содержание, приложив ладонь к уху, одобрительно перешептывались. Всем остальным выступление Бука казалось слишком утонченным, и особенно расхолаживало публику то, что Бук не уснащал свою речь словечками местного говора. Но Шпрециус вскинулся в своем кресле и хищно взвизгнул в предчувствии добычи:

— Господин защитник, последний раз предупреждаю: не касайтесь в ходе прений монаршей особы!

В зале произошло движение. Кто-то собирался похлопать Буку, как только тот открыл рот, чтобы продолжать, но Шпрециус вовремя долбанул. То была одна из эксцентричных девиц.

— Господин председатель первый назвал монаршую особу. Что ж, поскольку она названа, я позволю себе, не вводя суд в смущение, сказать, что кайзер улавливает и выражает существующие в данный момент течения в стране с такой полнотой, которая делает его особу достойной преклонения. Я хотел бы назвать кайзера,— надеюсь, господин председатель не станет прерывать меня,— великим артистом. Что можно еще прибавить? Более великого никто из нас не знает... Именно поэтому не следовало бы допускать, чтобы любой дюжинный человечишка из числа наших современников копировал его. В блеске трона могут заиграть все грани индивидуальности монарха, он может произносить речи, зная, что мы ничего не ждем от него, кроме речей, может сверкать очами, ослеплять, вызывать ненависть у воображаемых мятежников и срывать овации у публики партера, которая за этими речами не забывает своих обывательских интересов...

Дидерих задрожал, да и все сидели, разинув рты и не отрывая глаз от Бука, словно он двигался по канату, натянутому между двумя башнями. Сорвется? Шпрециус уже нацелил свой клюв. Однако ни тени иронии не мелькнуло в лице защитника, в нем сквозило что-то близкое к ожесточенной восторженности. Вдруг уголки его рта опустились, словно все вокруг потускнело.

— Но нетцигский бумажный фабрикант?..— сказал он.

Нет, он не сорвался, он опять стоял обеими ногами на земле! Теперь все повернулось к Дидериху, многие даже усмехались. И Эмми с Магдой улыбнулись. Бук достиг желанного эффекта, и Дидерих, на свою беду, только теперь сообразил, что

их вчерашний разговор на улице был для Бука генеральной репетицией выступления в суде. От откровенной издевки оратора он весь сжался.

— Бумажные фабриканты пытаются нынче присваивать себе ту роль, для которой они не сфабрикованы. Так освищем же их! Они бездарны! Эстетический уровень нашей общественной жизни, поднятый на высоту блестящим выступлением Вильгельма Второго, может только проиграть, когда на сцену выходят такие исполнители, как свидетель Геслинг... А с эстетическим началом, уважаемые господа судьи, усиливается или падает моральное начало. Фальшивые идеалы влекут за собой падение нравов, за политическим обманом следует обман в гражданской жизни.— Голос Бука звучал сурово. Теперь только он поднялся до истинного пафоса.— Ибо, уважаемые господа судьи, я не ограничиваю себя механистической доктриной, столь милой сердцу партии так называемого бунта. Пример великого человека больше изменяет мир, чем все экономические законы, вместе взятые. Но горе, если этот пример неправильно понят! Тогда может случиться, что в стране получит распространение новый тип человека, который видит в жестокости и угнетении не прискорбный путь к человеческим условиям жизни, а самый смысл жизни. Слабый и податливый от природы, он надевает на себя личину железной твердости, ибо в его представлении ею обладал Бисмарк. И без всяких на то данных, следуя примеру гораздо более высокой особы, он ведет себя шумно и не солидно. Несомненно, он воспользуется победой своих тщеславных устремлений для деловых целей. Пусть разыгранная им комедия благонамеренности сначала приведет в тюрьму оскорбителя величества, а там видно будет, как из этого извлечь выгоду. Уважаемые господа судьи! — Бук раскинул руки, словно хотел весь мир обхватить своей мантией, лицо его выражало сосредоточенную волю вождя. И он бросил в бой все, что еще оставалось в резерве: — Вы суверенны, и суверенитет ваш — наивысший и наисильнейший. В ваших руках судьба человека. Вы можете вернуть его к жизни или морально убить — чего не властен сделать ни один монарх. Но эти два типа людей,— одобряемых или отвергаемых вами,— в совокупности своей образуют поколение. Таким образом, от вас зависит наше будущее. Вы несете безмерную ответственность за то, будут ли люди, подобные обвиняемому, наполнять тюрьмы, а существа, подобные Геслингу, составлять господствующее большинство нации. Выбирайте между ними! Выбирайте между карьеризмом и мужественным трудом, между фиглярством и

правдой! Между теми, кто требует жертв во имя своей карьеры, и теми, кто приносит жертвы, чтобы людям лучше жилось! Обвиняемый совершил шаг, на какой, надо полагать, способны лишь немногие. Он отказался от своих прав хозяина, он дал такие же права своим подчиненным, и они познали чувство удовлетворения и радость надежды. Так неужели тот, кто уважает в ближнем самого себя, способен с неуважением говорить об особе кайзера?

Все вздохнули. Новыми глазами смотрел зал на обвиняемого, сжимавшего рукою лоб, и на его жену, устремившую неподвижный взгляд в пространство. Многие всхлипывали. Даже председатель сидел с оторопелым видом. Он ни разу не моргнул; глаза его округлились, он слушал Бука как зачарованный. Старичок Кюлеман почтительно кивал, а у Ядассона нервно подергивалось лицо.

Но Бук злоупотребил своим успехом, он охмелел.

— Пробуждение гражданина! — воскликнул он.— Истинно националистический образ мыслей! Скромное деяние какого-нибудь Лауэра реальнее содействует его воспитанию, чем сотни трескучих монологов даже венценосного артиста!

Шпрециус тотчас же заморгал: видно было, что он очнулся, понял, что́ происходит, и дает себе слово вторично в сети не угодить. Ядассон ухмылялся; большинство аудитории почувствовало, что защитник проиграл. Под шепот и беспокойное движение в зале председатель дал ему закончить хвалебную характеристику обвиняемого.

Когда Бук сел, актеры попытались аплодировать; но Шпрециус даже клювом не повел в их сторону, он только покосился на них скучающим взглядом и спросил у господина прокурора, не пожелает ли тот коротко ответить? Ядассон, скорчив пренебрежительную гримасу, отказался, и суд быстро удалился на совещание.

— Приговора ждать недолго,— вздергивая плечами, сказал Дидерих, еще не совсем придя в себя от речи Бука.

— Слава богу! — сказала теща бургомистра.— Даже не верится, что пять минут назад они чувствовали себя победителями.— Она показала на Лауэра, обтиравшего платком лицо, и на Бука, которого поздравляли актеры.

Но вот судьи вернулись, и Шпрециус объявил: шесть месяцев тюремного заключения; такое решение всем показалось правильным и понятным. Кроме того, обвиняемый лишался всех своих общественных должностей.

В обоснование приговора председатель указал, что наличие намерения оскорбить не является обязательным для состава преступления. Поэтому вопрос, имела ли место провокация, не относится к делу. Напротив, то, что обвиняемый разрешил себе высказать недозволенное суждение в присутствии националистически мыслящих свидетелей, есть обстоятельство отягчающее. Утверждение обвиняемого, что он не имел в виду кайзера, суд признал несостоятельным.

— Свидетели, при их образе мыслей, зная антимонархические настроения обвиняемого, не могли не счесть его слова оскорбительными для кайзера. Уловка обвиняемого, подчеркнувшего , что он еще из ума не выжил и воздержался от оскорбления величества, означает, что его волнует не самое оскорбление, а лишь страх уголовной ответственности.

Последний довод всем показался убедительным, соображения Лауэра нетрудно понять, но ведь какая хитрость! Лауэра тотчас же взяли под стражу; публика насладилась еще одним сильным ощущением и, обмениваясь далеко не лестными замечаниями по адресу осужденного, начала расходиться. Разумеется, на Лауэре надо поставить крест: что в самом деле станется с фабрикой за полгода его отсидки! По приговору, он уже не городской гласный. Впредь никому от него ни пользы, ни вреда. Поделом буковской семейке, которая так задирала нос! Поискали глазами жену заключенного, но она исчезла.

— Даже руки на прощанье ему не подала! Ну и нравы!

Однако в последующие дни произошли события, которые послужили пищей для пересудов куда похлеще! Юдифь Лауэр стремительно уложила чемоданы и уехала в южные края. Уехать на юг, когда законный муж сидит в тюремной камере, с часовым под зарешеченным окошком! К тому же какое необычайное совпадение! Член суда Фрицше неожиданно взял отпуск! Доктор Гейтейфель получил от него открытку из Генуи и всем ее показывал: быть может, для того, чтобы скорее забыли о его собственном поведении. Едва ли еще была необходимость выспрашивать лауэровских слуг или осиротевших детей: и без того все ясно!

Скандал был так велик, что «Нетцигский листок» счел необходимым выступить по этому поводу: адресуясь к «верхним десяти тысячам», он предупреждал, что своей распущенностью избранное общество содействует росту бунтарских настроений. Во второй статье Нотгрошен показывал, как не правы те, кто

расхваливает реформы, введенные Лауэром у себя на предприятии. Что, в сущности, получают рабочие от участия в прибылях? В среднем, по расчетам самого Лауэра, даже не полных восемьдесят марок в год. Такую сумму можно преподнести и в форме рождественского подарка! Но тогда, конечно, это не было бы демонстрацией против существующего общественного строя. И антимонархические убеждения фабриканта, установленные судом, не были бы так опасны. А ежели господин Лауэр надеялся на признательность рабочих, то теперь он может убедиться в противном,— в том случае, конечно,— добавлял Нотгрошен,— если ему в тюрьме разрешают читать социал-демократическую газету. Последняя бросает Лауэру упрек в том, что своим легкомысленным оскорблением величества он поставил под угрозу существование нескольких сот рабочих семейств.

«Нетцигский листок» откликнулся на изменившуюся обстановку и другим весьма характерным шагом. Его издатель Тиц предложил Геслингу поставлять часть бумаги, которая теперь требуется газете. Тираж, мол, повысился, а гаузенфельдская фабрика перегружена. Дидерих тотчас же решил, что за всем этим стоит сам Клюзинг. Старик был пайщиком газеты, без него там шагу не ступали. Если он добровольно выпускает что-либо из рук, значит боится потерять больше. Областные газеты! Правительственные поставки! Страх перед Вулковым — вот и вся подоплека. Хотя Клюзинг почти не бывает в городе, ему, наверное, стало известно, что Дидерих своими свидетельскими показаниями обратил на себя благосклонное внимание регирунгспрезидента. Старый гаузенфельдский паук, раскинувший свою паутину по всей провинции и даже дальше, почуял недоброе и забеспокоился.

— Он хочет откупиться от меня «Нетцигским листком». Но так дешево от нас не отделаешься. В нынешние-то суровые времена! Да знает ли он, какой у меня размах? Мне бы только заручиться поддержкой Вулкова, и я попросту приберу к рукам гаузенфельдскую фабрику! — воскликнул Дидерих и так хлопнул кулаком по конторке, что Зетбир в испуге подскочил.

— Вам вредно волноваться! — потешался над ним Дидерих.— В ваши-то годы, Зетбир! Допускаю, что в прежние времена от вас был кой-какой толк для фирмы. Но в истории с голландером вы дали маху; застращали меня, а теперь эта машина пригодилась бы для поставок «Нетцигскому листку». Вам пора на покой, у вас уже ничего не клеится.

Одним из последствий, которые процесс имел для Дидериха, было и письмо майора Кунце. Майор выражал желание

выяснить печальное недоразумение и сообщал, что никаких препятствий к принятию высокочтимого доктора Геслинга в ферейн ветеранов нет. Дидериху, умиленному собственным триумфом, захотелось немедленно пожать обе руки старому солдату. К счастью, он навел справки и узнал, что письмом этим обязан самому господину фон Вулкову. Регирунгспрезидент оказал ферейну ветеранов честь своим посещением и выразил удивление, что не видит среди присутствующих доктора Геслинга. Дидерих понял, что он теперь сила! И соответствующим образом действовал. Он ответил на частное письмо майора официальным посланием, адресованным ферейну, и потребовал, чтобы два члена президиума, майор Кунце и профессор Кюнхен, лично явились к нему. Те не замедлили явиться. Дидерих принял их в конторе между двумя пришедшими по делу посетителями, которым намеренно назначил это же время, и заявил, что согласится на почетное предложение ферейна при одном обязательном условии: если ему поднесут адрес. И тут же сам продиктовал его. В адресе удостоверялось, что доктор Геслинг с бесподобным бесстрашием, невзирая ни на какие наветы, на деле доказал истинно немецкий образ мыслей и верноподданнические чувства. Только благодаря ему удалось нанести сокрушительное поражение антинационалистическим элементам города Нетцига. В борьбе, которая стоила доктору Геслингу больших личных жертв, он действовал, как выдающаяся сильная личность истинно немецкого склада.

На торжестве его приема в ферейн Кунце зачитал адрес, и Дидерих со слезою в голосе объявил себя недостойным столь щедрых похвал. Националистические идеи, сказал он, завоевали успех в Нетциге, и этим мы обязаны после бога высокой особе, чьим светлейшим указаниям он, Дидерих Геслинг, следует с превеликой готовностью... Все, не исключая Кунце и Кюнхена, были растроганы. Незабываемый вечер! Дидерих преподнес ферейну кубок и снова произнес речь; в ней он коснулся трудностей, которые чинятся в рейхстаге новому военному законопроекту.

— Только наш острый меч,— восклицал он,— ограждает наши позиции во всем мире, и «держать его острым» призвал его величество кайзер! Стоит только кайзеру кликнуть клич, и мы выхватим меч из ножен! И пусть та шайка в рейхстаге, которая ставит палки в колеса, пеняет на себя, если он и падет прежде всего на нее. С его величеством шутки плохи, господа, поверьте! — Дидерих сверкнул испепеляющим оком и так многозначительно кивнул, точно ему было уже кое-что известно.

И в то же мгновение у него действительно мелькнула одна мысль.— Недавно,— продолжал он,— на заседании Бранденбургского ландтага кайзер недвусмысленно выразился насчет рейхстага: «Если эти молодчики не дадут мне солдат, я разгоню всю эту лавочку».

Последние слова вызвали бурю восторга, и когда Дидерих выпил со всеми, кто с ним чокался, он уже не мог бы сказать, кто их подлинный автор — он или кайзер. От них исходил магнетизм власти, повергавший в трепет его самого, словно они и в самом деле были подлинными. Наутро они красовались на страницах «Нетцигского листка», а вечером их уже можно было прочесть в «Локаль-анцейгере». Неблагонадежные газеты требовали опровержения, но так и не дождались.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Еще не улеглось волнение высоких чувств, обуревавших Дидериха, как Эмми и Магда получили от фрау фон Вулков приглашение на чашку чая. По всей вероятности, оно было связано со спектаклем, который президентша устраивала на ближайшем вечере в «Гармонии». Носились слухи, что Эмми и Магда получат роли. Сестры вернулись домой возбужденные и радостные: фрау фон Вулков была необычайно любезна, она собственноручно накладывала им на тарелки пирожные. Инга Тиц лопнет от зависти: в спектакле участвуют офицеры! Нужны сногсшибательные туалеты; если Дидерих полагает, что на те полсотни марок... Но на этот раз Дидерих открыл им неограниченный кредит. Он подвергал пристрастной критике все, что они покупали. Гостиная была завалена лентами, искусственными цветами, и Дидерих во все вмешивался; у сестер голова кругом шла. Вдруг явилась гостья: Густа Даймхен.

— Я еще как следует не поздравила счастливую невесту,— сказала она, стараясь изобразить на своем лице покровительственную улыбку, тогда как глаза ее озабоченно скользили по ворохам лент и цветов.— Все это, наверное, для той самой дурацкой пьесы? — продолжала она.— Вольфганг слышал о ней; по его мнению, это невероятно глупая вещь.

— Надо же ему утешить тебя, раз ты не участвуешь,— ответила Магда.

А Дидерих прибавил:

— По его милости вы не вхожи к Вулковым, вот он и ищет себе оправдания.

Густа презрительно рассмеялась:

— Вулковы нас мало интересуют, а на бал в «Гармонии» мы обязательно пойдем.

— Не лучше ли подождать, пока рассеется первое впечатление от процесса? — спросил Дидерих. Он сочувственно взглянул на нее.— На правах старого знакомого беру на себя смелость, милая фрейлейн Густа, сказать вам, что ваша связь с Буками может вам нынче повредить в обществе.

У Густы дрогнули веки, видно было, что ей и самой уже приходила в голову такая мысль.

— С моим Кинастом,— сказала Магда,— слава богу, никаких осложнений нет.

— Но зато господин Бук интересней,— заметила Эмми.— Во время его речи на суде я плакала, точно в театре.

— Да и вообще! — сказала воспрянувшая духом Густа.— Только вчера он подарил мне сумочку.

И она показала позолоченный мешочек, на который уже давно исподтишка поглядывали Эмми и Магда.

— Он, видно, получил большой куш за свое выступление,— подпустила шпильку Магда.— Мы с Кинастом за экономию.

Но Густа все же была удовлетворена.

— Что ж, пойду,— сказала она,— не буду вам мешать.

Дидерих вместе с ней спустился вниз.

— Если будете пай-девочкой, я провожу вас,— предложил он.— Мне только на минуту заглянуть на фабрику. Скоро кончается смена.

— Я пойду с вами, не возражаете? — сказала Густа.

Дидерих решил сразу ее ошарашить и повел прямо в цех, где находилась большая бумагоделательная машина.

— Вам, вероятно, никогда не приходилось видеть этакое чудище?

И он принялся величаво объяснять ей систему тянувшихся во всю длину зала бассейнов, валов и цилиндров, через которую проходила бумажная масса: сначала жидкая, затем все суше и суше, и, наконец, на другом конце машины уже вертелись большие рулоны готовой бумаги... Густа качала головой:

— Скажите пожалуйста! А грохот-то какой! А жара!

Дидериху этого было недостаточно; он придрался к какому-то пустяку и обрушился на рабочих, а так как под руку подвернулся Наполеон Фишер, виноват во всем оказался он. Оба старались перекричать шум машины. Густа не разбирала слов, а Дидериху, который всегда жил во власти затаенного страха, чудилась знакомая ухмылка, прячущаяся в жиденькой бородке

механика, и она, эта ухмылка, означала: помни, что мы с тобой сообщники; она означала открытое отрицание всякого авторитета. Чем больше бесновался Дидерих, тем спокойнее держал себя механик. Само это спокойствие было бунтом! Дидерих, задыхаясь и дрожа от ярости, рванул дверь в упаковочную и пропустил Густу вперед.

— Это социал-демократ! — объяснил он ей.— Такой субъект способен на поджог. Но я его не увольняю, как раз его-то я не хочу увольнять. Посмотрим, чья возьмет! Социал-демократов я беру на себя! — Густа с восторженным изумлением глядела на него.— Вам, верно, и в голову не приходило, на каком опасном посту стоит наш брат! Мужество и верность — вот мой девиз. Понимаете ли, мы с кайзером, каждый в своей сфере, защищаем наши священнейшие националистические принципы! Это вам не речи в суде произносить, тут требуется мужество!

Густа все понимала, она почтительно склонила голову.

— Здесь не так жарко,— сказала она,— а там форменный ад, этим работницам много лучше.

— Им? — сказал Дидерих.— Да они здесь, как в раю.

Он подвел Густу к столу; одна из женщин сортировала листы, другая проверяла, третья отсчитывала кипы по пятьсот листов. Все делалось невероятно быстро, листы как бы сами по себе непрерывной чередой летели навстречу рукам, которые, казалось, растворялись в проходившей через них массе бумаги. Растворялись и руки и плечи, вся женщина, ее глаза, ее мозг, ее сердце. Все это существовало и находилось здесь только для того, чтобы листы бумаги мелькали в воздухе... Густа зевнула, слушая Дидериха, а он рассказывал, что женщинам платят аккордно и поэтому они бывают бессовестно небрежны. Он уже собрался было накинуться на них за то, что в пачку попал лист с оторванным уголком, но Густа задорно, с вызовом сказала:

— Вы воображаете, что Кетхен Циллих вами особенно интересуется... Уверяю вас, не больше, чем кое-кем другим,— прибавила она и на его недоуменный вопрос, что она, собственно, имеет в виду, ответила лишь загадочной улыбкой.

— Я все-таки просил бы сказать.

Густа покровительственно прищурилась.

— Я говорю это только потому, что желаю вам добра. Вы ничего не заметили, правда? Например, как она относится к асессору Ядассону? Да и вообще Кетхен из таких...— Густа вдруг громко рассмеялась, такой оторопелый вид был у Дидериха. Девушка пошла вперед, он последовал за ней.

— К Ядассону? — переспросил он робко.

В это мгновение грохот машины оборвался, задребезжал звонок, возвещавший конец рабочего дня, со двора уже доносились удаляющиеся шаги рабочих.

Дидерих пожал плечами.

— Меня нисколько не интересует поведение фрейлейн Кетхен,— сказал он.— Жаль, правда, старого пастора, если она действительно, как вы говорите... Вы точно знаете?

Густа отвернулась.

— Убедитесь сами, если не верите!

Дидерих польщенно засмеялся.

— Не гасите газ! — крикнул он механику, проходившему мимо.— Я сам выключу.

Двери тряпичного цеха, из которого выходили работницы, были настежь распахнуты.

— О! — воскликнула Густа,— как там романтично! — В сумрачном полусвете зала ей представилось множество красочных пятен на серых холмах, а поверх них — лес ветвей.— Ах,— сказала она, подходя ближе.— Что только не почудится в темноте... а это всего-навсего мешки с тряпьем и трубы отопления.— Она скроила презрительную гримаску.

Дидерих разгонял работниц, которые, в нарушение правил, расположились на мешках. Одни, едва закончив работу, взялись за вязанье, другие что-то жевали.

— У вас губа не дура! — рычал он.— На даровщинку греться! Вон!

Медленно, молча, без слова протеста, женщины поднимались и проходили мимо незнакомой дамы, с тупым любопытством оглядываясь на нее и тяжело, точно стадо, топая ногами, обутыми в мужские ботинки. Они уносили с собой удушливые запахи, среди которых жили. Дидерих в упор разглядывал каждую, пока не вышла последняя.

— Фишер! — крикнул он вдруг.— Что там у этой толстухи под платком?

Механик, по обыкновению двусмысленно ухмыляясь, ответил:

— У нее скоро ребеночек будет.

Дидерих с досадой повернулся к нему спиной.

— А я-то думал, что накрыл воровку,— поучал он Густу.— Все они крадут лоскутья. Да-да. Шьют из них детские платьица.— И так как Густа сморщила носик, он добавил: — Да ведь это роскошь для детей пролетариев!

Кончиками пальцев, обтянутых перчаткой, Густа подняла с полу лоскуток. Дидерих внезапно схватил ее за кисть и жадно

припал к просвету на застежке перчатки. Густа испуганно оглянулась.

— Ах так, все уже ушли.— Она самодовольно рассмеялась.— Я сразу смекнула, какие такие срочные дела у вас на фабрике.

Дидерих состроил вызывающую мину.

— Ну, а вы? Что вас привело к нам сегодня? Убедились, что я не так уж плох? Конечно, ваш Вольфганг... Не каждый сумеет опозориться так, как он на процессе.

Густа возмутилась:

— Помалкивали бы. Вам никогда не дотянуться до такого благородного человека, как Вольфганг.

Но глаза ее говорили другое. От Дидериха это не укрылось; он возбужденно засмеялся.

— С вами он не торопится! Знаете, что вы для него? Горшок с колбасой и капустой, он предлагает мне помешивать его!

— Лжете,— с убийственным презрением бросила Густа; но Дидерих не оробел.

— С него мало, видите ли, колбасы и капусты, что в горшке... Сначала он думал, что вам достался миллион. Ну, а пятьдесят тысяч марок для такого аристократа не приманка.

Густа вскипела. Дидерих даже попятился — так она разбушевалась.

— Пятьдесят тысяч? Да вы что, спятили? Этого еще не хватало — выслушивать такие бредни! Когда в банке у меня в надежных бумагах триста пятьдесят тысяч! Пятьдесят тысяч! Да вы знаете, что я могу упечь всякого, кто распускает про меня такие возмутительные слухи!

В глазах у нее стояли слезы. Дидерих бормотал извинения.

— Ах, оставьте! — Она вынула носовой платок.— Вольфганг хорошо знает, что получит за мной. Но вы-то, вы! Поверили бессовестным россказням и совсем обнаглели! — вскрикнула она. Ее пухлые розовые щеки дрожали от гнева, вздернутый носик побелел.

Дидерих овладел собой.

— Из этого вы можете только заключить, что вы мне и без денег нравитесь,— нашел он довод в свое оправдание.

Густа закусила губу.

— Кто вас разберет? — сказала она, бросая на него исподлобья капризный и неуверенный взгляд.— Для таких, как вы, и пятьдесят тысяч деньги.

Он решил, что разумнее промолчать. Она достала из своей позолоченной сумочки пушок и пудру.

— До чего же я разволновалась. А все из-за вас.— Но ее уже снова разбирал смех.— Ну, а чем еще замечательна ваша так называемая фабрика?

Он важно кивнул.

— Известно ли вам, на чем вы сидите?

— На мешке с тряпьем!

— Да, но на каком! В этом самом углу, вот за этими мешками, я застукал однажды рабочего и работницу в ту минуту, когда они... догадываетесь? Конечно, оба тут же вылетели вон, а вечером, да-да, в тот самый вечер...— в глазах его появилось выражение мистического ужаса,— парня застрелили, а девка сошла с ума.

— Это был... Ах, боже мой, это был тот рабочий, который задел часового?.. И за мешками...

Взгляд ее скользил по мешкам, точно искал на них следы крови. Густа в страхе придвинулась к Дидериху. Оба вздрогнули и посмотрели в глаза один другому: из них глядел один и тот же бездонный омут — не то похоть, не то безумие. Они со свистом дышали друг другу в лицо. Густа на секунду закрыла глаза — и оба рухнули на мешки, скатились с них, сплелись в тесном объятии и в темноте за мешками трепыхались, сопели, фыркали,— словно шли ко дну.

Густа первая выбралась в полосу света. Дидерих хотел удержать ее за ногу, но она лягнула его в лицо и с шумом выскочила из-за мешков. Дидерих благополучно вылез вслед за нею; пыхтя, стояли они лицом к лицу. Грудь Густы и живот Дидериха бурно колыхались. Первая обрела дар слова Густа.

— Для таких забав поищите себе другую! И как только я могла допустить! — Затем, свирепея: — Я же вам сказала: не пятьдесят, а триста пятьдесят тысяч!

Дидерих двинул рукой, как бы в знак раскаяния. Густа вскрикнула:

— Ох, и на кого я похожа! Вы думаете, я в таком виде пойду по городу? — Он опять испуганно посмотрел на нее и растерянно улыбнулся.— Неужели у вас нет щетки? — Он послушно отправился за щеткой.— Только смотрите, чтоб ваши сестры не проведали. А то завтра весь город будет судачить обо мне.

За щеткой идти пришлось в контору. Когда он вернулся, Густа сидела на мешке, уткнувшись лицом в ладони, и сквозь ее милые пухлые пальчики капали слезы. Дидерих остановился, послушал ее всхлипыванья и неожиданно заплакал сам. Он заботливо чистил щеткой ее платье и тихо приговаривал: «Но ведь ничего особенного не случилось!» Она встала.

— Еще чего не хватало! — произнесла она, иронически оглядев его с ног до головы.

Дидерих расхрабрился.

— Вашему уважаемому жениху незачем знать об этом,— сказал он.

— А пусть себе знает! — вырвалось у Густы, но она тут же прикусила губу.

Озадаченный Дидерих продолжал орудовать щеткой; пока он чистил свой костюм, она одергивала на себе платье.

— Пойдемте! — сказала она.— Теперь не скоро меня потянет к вам на фабрику.

— Кто знает,— ответил он, заглядывая ей под шляпку.— Пять минут назад я еще поверил бы, что вы любите Бука, а сейчас ни на грош не верю.

— Напрасно! — воскликнула Густа. И, не переводя дыхания, спросила: — А к чему здесь эта штука?

— Это песочник,— объяснил он,— тряпье проходит через желоб, а пуговицы и все прочее застревает в песке. Видите? Рабочие, конечно, опять не очистили песок.

Кончиком зонта она поковыряла в песке.

— За год у нас накапливается несколько мешков отбросов! — прибавил Дидерих.

— А это что? — спросила Густа и, быстро нагнувшись, подняла что-то блестящее.

Дидерих вытаращил глаза:

— Бриллиантовая пуговица!

— Бриллиант настоящий.— Она полюбовалась игрой камня.— Если вам часто попадаются такие пуговки, то ваше предприятие не так уж убыточно.

— Придется, конечно, вернуть,— неуверенно сказал Дидерих.

Она рассмеялась:

— Кому? Отбросы-то ведь ваши!

Теперь и он засмеялся.

— Да, но не бриллианты. Мы дознáемся, откуда эти лоскутья.

Густа посмотрела на него снизу вверх.

— Вы, как я погляжу, порядочный простофиля,— сказала она.

— Нет, я всего лишь человек чести! — убежденно возразил он. Густа только плечами пожала. Медленно сняла перчатку с левой руки и приложила бриллиант к мизинцу.

— Ею надо вправить в колечко! — воскликнула она, точно осененная неожиданной мыслью. Она сосредоточенно созерцала камень на своей руке и вздыхала. И вдруг швырнула бриллиант обратно в мусор: — Ну, так пусть его найдут рабочие!

— Вы с ума сошли! — Дидерих нагнулся, но не сразу нашел бриллиант и, задыхаясь, опустился на колени. В панике он все переворошил.— Славу богу! — Он протянул бриллиант Густе. Она не взяла.

— Пусть достанется рабочему, который первый увидит его завтра. Он спрячет его, уверяю вас, он не так глуп.

— Да и я не глуп,— сказал Дидерих.— Вернее всего, его выбросили бы. При таких обстоятельствах я вправе не считать противозаконным...— Он снова приложил бриллиант к ее мизинцу.— И если бы даже это было противозаконно, он вам так идет!

— Да что вы? — Густа была ошеломлена.— Неужели вы хотите подарить мне?

— Полагаю своим долгом,— пробормотал он.— Ведь это ваша находка.

Густа пришла в восторг:

— Это будет мое самое лучшее кольцо.

— Почему? — спросил Дидерих с робкой надеждой.

— Так, вообще...— уклончиво ответила Густа. И, подняв на него глаза, сказала: — Потому что бриллиант этот ничего не стоит, видите ли.

Дидерих покраснел, и они, прищурившись, взглянули друг другу в глаза.

— Ах ты господи! — вскрикнула Густа.— Уже, должно быть, очень поздно! Семь часов! Ужасно! Что я скажу маме? Знаю, знаю, скажу, что откопала его у одного старьевщика, он не разобрался, думал, что бриллиант не настоящий, и продал за пятьдесят пфеннигов.— Она открыла свою позолоченную сумочку и опустила туда драгоценный камень.— Значит, адье... А вид-то у вас! Хоть бы галстук перевязали.

Говоря это, она уже сама принялась за галстук. Ее теплые руки касались его подбородка; влажные, пухлые губы дышали совсем близко от него. Его бросило в жар, он затаил дыхание.

— Ну, вот,— сказала Густа и решительно собралась уходить.

— Минуточку, я выключу газ! — крикнул он ей вслед.— Подождите же.

— Жду! — ответила она со двора.

Но когда он вышел, ее уже нигде не было. Сбитый с толку, он стал запирать фабрику, разговаривая вслух с самим собой:

— Ну, кто скажет, что это: инстинкт или расчет? — Он беспокойно покачал головой, задумавшись над вечной загадкой женственности, олицетворением которой была Густа.

Быть может, размышлял Дидерих, быть может, с Густой все образуется, но что-то очень уж долго тянется эта канитель. События, разыгравшиеся вокруг процесса, ее проняли, но еще недостаточно. Да и Вулков не дает о себе знать. После его многообещающего шага в ферейне ветеранов Дидерих самонадеянно ждал продолжения: быть может, Вулков приблизит его к себе, даст ему какое-нибудь доверительное поручение или что-нибудь еще в этом роде. Возможно, бал в «Гармонии» внесет ясность: недаром же сестры получили роли в пьесе супруги президента. Но для Дидериха события развертывались крайне медленно, он был исполнен жажды деятельности. Такое уж было время, все бурлило и куда-то устремлялось. От надежд, перспектив, планов кружилась голова; когда начинался день, казалось, вот-вот все сразу осуществится, но день уходил, и оставалась пустота. Дидериху не сиделось на месте. Не раз безразлично проходил он мимо пивной и шел гулять, без цели бродил по дорогам предместий, чего с ним раньше никогда не бывало. Избегая центральных улиц города, он шел тяжелым шагом человека, несущего в себе нерастраченный заряд энергии, по вечерней, безлюдной Мейзештрассе до окраины города, выходил на длинную Геббельхенштрассе, где извозчики запрягали и распрягали лошадей возле постоялых дворов, и часто проходил мимо тюрьмы. Там наверху, за решеткой, охраняемый часовым, сидел Лауэр, которому никогда и не снилось, что его может постичь такая судьба. «Кто высоко возносится, тот низко падает,— думал Дидерих.— Что посеешь, то и пожнешь». И хотя он был не вполне непричастен к событиям, приведшим Лауэра в тюрьму, фабрикант казался ему теперь чудовищем, отмеченным печатью Каина, в этом человеке ему мнилось что-то зловещее. Однажды Дидериху показалось, что на тюремном дворе маячит какая-то фигура. Было уже темно, но, быть может, все-таки?.. Мурашки побежали по спине у Дидериха, и он поспешил прочь.

Шоссе, начинавшееся за городскими воротами, вело на пригорок, где стоял тот самый замок Швейнихен, к которому фрау Геслинг некогда приводила маленького Дидериха, и оба — мать

и сын — млели от сладостной жути, представляя себе привидение, обитавшее в замке. Но теперь не эти детские фантазии занимали его; теперь, едва выйдя на шоссе, он сворачивал на гаузенфельдскую дорогу. Это происходило будто случайно, незаметно для него самого — ему не хотелось, чтобы кто-нибудь ненароком увидел его здесь. Но он ничего не мог поделать с собой, большая бумажная фабрика влекла его, как запретный рай, ему хотелось подойти к ней как можно ближе, обойти кругом, подсмотреть, что делается за ее стенами... Как-то вечером, когда было уже совсем темно, его вспугнули чьи-то голоса. Он едва успел прыгнуть в канаву и присесть на корточки. В ту минуту, когда люди, вероятно запоздавшие служащие фабрики, проходили мимо Дидериха, он крепко зажмурил глаза от страха и смутной боязни, как бы горящее в них вожделение не выдало его.

Все еще с сильно бьющимся сердцем Дидерих дошел до городских ворот и тут решил поискать, где бы выпить кружку пива. В углу, за выступом стены, находился грязный, покосившийся от старости трактир «Зеленый ангел», заведение самого низкого пошиба и весьма дурной славы. Дидерих увидел, как под его сводчатым входом промелькнула женская фигура. Внезапно охваченный жаждой приключений, он ринулся за ней. Попав в полосу красноватого света, отбрасываемого фонарем, женщина, лицо которой было скрыто вуалью, хотела заслониться еще и муфтой; но Дидерих уже узнал ее.

— Добрый вечер, фрейлейн Циллих!

— Добрый вечер, господин доктор!

И вот оба, раскрыв от неожиданности рот, стоят друг против друга. Кетхен заговорила первая, начала что-то плести о детях, живущих в этом доме, ей, мол, поручено привести их в воскресную школу ее отца. Дидерих хотел было что-то сказать, но она буквально засыпала его словами. Нет, дети, собственно говоря, живут не здесь, но их родители бывают в этом трактире, а от них надо все скрыть, это социал-демократы... Она без конца что-то измышляла, и Дидерих, который все еще боялся, что его могут поймать на месте преступления, наконец сообразил, что Кетхен попала в еще более щекотливое положение. Он не стал объяснять, какими судьбами оказался здесь, а попросту предложил зайти в «Зеленый ангел» и там подождать детей. Она испуганно отказывалась что-либо съесть или выпить, но Дидерих, уже не спрашивая, заказал пиво для себя и для нее.

— За ваше здоровье! — сказал он, и в ироническом выражении его лица явно сквозило воспоминание об их последней

встрече в уютной гостиной пасторского дома, когда они чуть было не обручились. Кетхен то краснела, то бледнела под своей вуалью и расплескивала пиво. Она растерянно вскакивала со стула и порывалась уйти; но он загнал ее в угол позади стола и широко расселся перед ней.

— Дети, наверное, скоро придут,— благодушно говорил он.

Но вместо детей пришел Ядассон, он вдруг вырос перед ними и застыл на месте, точно каменное изваяние. Застыли и Дидерих с Кетхен. «Значит, все-таки правда»,— подумал Дидерих. У Ядассона, вероятно, мелькнула эта же мысль; ни тот, ни другой не нашлись, что сказать друг другу. Кетхен снова завела свое — о детях и воскресных школах. Голос у нее был молящий, она чуть не плакала. Ядассон слушал ее с недовольной миной и даже не удержался от замечания, что тут ничего не разберешь, сам черт ногу сломит,— и инквизиторским взглядом уставился на Дидериха.

— В сущности,— сказал Дидерих,— все очень просто, фрейлейн Циллих ищет здесь детей, а мы оба ей помогаем.

— А заполучит ли она хоть одного, этого нельзя сказать,— съязвил Ядассон.

— И от кого — тоже нельзя сказать,— ответила Кетхен.

Мужчины поставили свои стаканы на стол. Кетхен перестала хныкать, даже подняла вуалетку и удивительно светлыми глазами смотрела то на одного, то на другого. Голос ее звучал теперь безбоязненно звонко.

— Ну что ж, раз вы оба здесь! — сказала она, взяла сигарету из портсигара Ядассона и опрокинула в себя коньяк, стоявший перед Дидерихом. Теперь пришла его очередь диву даваться. Ядассону, видимо, второе лицо Кетхен было не в новость. Они долго перебрасывались двусмысленными замечаниями, пока Дидерих не накинулся на Кетхен.

— Сегодня я вас узнал досконально! — крикнул он и ударил кулаком по столу.

Кетхен тотчас же заговорила тоном светской дамы:

— Что вы хотите этим сказать, господин доктор?

— Полагаю, что вы не посягнете на честь дамы? — поддержал ее Ядассон.

— Я хотел лишь сказать,— пробормотал Дидерих,— что фрейлейн Циллих мне теперь больше нравится.— Он растерянно таращил глаза.— Еще совсем недавно, когда мы едва не обручились, она мне и вполовину так не нравилась.

Кетхен расхохоталась — расхохоталась от всего сердца. Дидерих даже не подозревал, что она умеет так смеяться. Этот

смех приятно согрел его, он засмеялся вместе с ней. Ядассон не отстал, и все трое, извиваясь от хохота, крикнули кабатчику, чтобы подал еще коньяку.

— Ну, мне пора, не то папаша явится домой раньше меня,— сказала Кетхен.— Он отправился на обход больных, он раздает им вот эти картинки.— Она вытащила из сумочки две ярко раскрашенные открытки.— Возьмите на память.

Ядассону досталась грешница Магдалина. Дидериху — агнец с пастухом. Дидерих был недоволен.

— Я тоже хочу грешницу.

Кетхен порылась в сумочке, но не нашла больше грешниц.

— Придется довольствоваться овечкой,— решительно сказала она, и, взявшись под руки, все трое,— Кетхен между мужчинами,— вышли из кабачка. Кетхен затянула псалом, мужчины подхватили, и так, спотыкаясь и отклоняясь то к одной стороне улицы, то к другой, они тащились по скудно освещенной Геббельхенштрассе. На первом же углу Кетхен объявила, что ей нужно торопиться, и нырнула в переулок.

— Прощай, овечка! — крикнула она Дидериху, который порывался догнать ее. Ядассон крепко держал его и, заговорив вдруг голосом блюстителя государственного порядка, стал внушать, что все это не больше чем безобидная шутка.

— Заявляю вам, что тут нет ни малейшего повода к недоразумению.

— Мне и в голову не приходит усматривать тут недоразумение,— сказал Дидерих.

— И если бы,— продолжал Ядассон,— семья Циллих предпочла меня другим и пожелала вступить со мной в родственные отношения, сегодняшний эпизод меня нисколько не смутил бы. Долгом своим почитаю сказать об этом.

— Уверяю вас,— ответил Дидерих,— что сумею оценить ваш корректный образ действий.

И оба, щелкнув каблуками, обменялись крепким рукопожатием и расстались.

Прощаясь, Кетхен и Ядассон подмигнули друг другу, и Дидерих нисколько не сомневался, что оба сейчас же вернутся в «Зеленый ангел». Он расстегнул пальто и выпятил грудь, чувствуя прилив гордости: ему удалось вовремя заметить коварную западню и избежать ее, не нарушая кодекса приличий. Ядассон вызывал у него теперь некоторое уважение и даже симпатию. Он и сам вел бы себя точно так же. Мужчинам нетрудно понять друг друга. Но она! Пасторская дочь, преобразившаяся в распутную женщину, это второе обличье Кетхен, эта опасная двой-

ственность, столь далекая от простодушной честности, которую Дидерих ощущал в глубине собственного сердца, потрясли его, будто он заглянул в омут. Дидерих застегнул пальто. Значит, кроме бюргерского мира и мира, в котором живет теперь господин Лауэр, есть еще и другие миры...

Громко сопя, он сел за стол. Он был так мрачен, что все три женщины ужинали в полном молчании. Фрау Геслинг набралась храбрости и спросила:

— Тебе сегодня ужин не по вкусу, дорогой мой сын?

Вместо того чтобы ответить, Дидерих напустился на сестер.

— К Кетхен Циллих извольте забыть дорогу! — Сестры с изумлением посмотрели на него, а он покраснел и выпалил в сердцах: — Это погибшее создание!

Но они только скривили губы, и как ни шумел он, как ни старался пронять их страшными намеками, сестры не очень-то пугались.

— Ты, вероятно, говоришь о Ядассоне? — равнодушно спросила Магда.

Дидерих отпрянул. Видно, все женщины одним миром мазаны, одной ниточкой связаны... И Густа Даймхен тоже! Она уже однажды заводила об этом разговор. Он вытер взмокший лоб.

— Если у тебя были серьезные намерения насчет Кетхен, ты напрасно нас раньше не спросил.

Дидерих, защищая свое мужское достоинство, с такой силой оттолкнул от себя стол, что мать и сестры взвизгнули. Он не допустит, чтобы его подозревали в чем-либо подобном, кричал он. Еще не перевелись, надо надеяться, порядочные девушки. Фрау Геслинг дрожащим голосом уговаривала его:

— Стоит лишь взглянуть на твоих сестер, дорогой мой сын.

И Дидерих в самом деле взглянул на них; прищурился и впервые, не без страха в душе, подумал, что, в сущности, ничего не знает о жизни этих двух созданий, своих сестер...

— Что там говорить! — решительно отмахнулся он.— Вас просто нужно покрепче держать в руках. Своей жене я спуску не дам.

Девушки, улыбаясь, переглянулись, и Дидерих испугался — он подумал о Густе Даймхен: не ее ли они имеют в виду? Ни одной нельзя верить. Он видел перед собой Густу, ее белокурые волосы, ее полное, розовое лицо. Вот она раскрывает пухлые губы и высовывает ему язык. Совсем, как Кетхен Циллих, когда она крикнула ему: «Прощай, овечка!» Густа, которая так

похожа на Кетхен, с высунутым языком и полупьяная, ничем бы от нее не отличалась!

— Кетхен круглая дура,— сказала Магда,— но если без конца приходится ждать и никто не является, то ее можно понять.

— Ты на кого это намекаешь? — немедленно отреагировала Эмми.— Если бы Кетхен захотела удовольствоваться каким-нибудь Кинастом, она давно уже не ждала бы.

Магда, гордая сознанием своего успеха, выпрямилась и промолчала.

— Да и вообще! — Эмми отбросила салфетку и встала.— Не понимаю, как ты можешь сразу же поверить тому, что болтают насчет Кетхен мужчины? Это отвратительно! Неужели нам нигде нет защиты от безобразных мужских сплетен?

Кипя негодованием, она забилась в угол дивана и раскрыла книгу. Магда только плечами пожала. А испуганный Дидерих тщетно искал повода спросить: может быть, и Густа Даймхен тоже?.. Ведь свадьба ее все откладывается...

— Бывают положения,— изрек он,— когда утверждать что-либо не значит сплетничать.

Тут Эмми отшвырнула от себя книгу.

— А хотя бы и так! Кетхен делает, что ей вздумается! Мы, девушки, тоже вправе пожить в свое удовольствие. И пусть радуются мужчины, если после этого им еще удается жениться на нас.

Дидерих встал.

— Таких разговоров я в своем доме не потерплю,— сказал он серьезно и до тех пор сверлил глазами Магду, пока та не перестала смеяться.

Фрау Геслинг принесла ему сигару.

— Я уверена, что мой Дидель на такой девушке не женился бы.— И она, как бы успокаивая, погладила его.

Подчеркивая каждое слово, он сказал:

— Я не могу себе представить, мама, чтобы немец, истинный немец, когда-либо согласился на нечто подобное.

— О, далеко не все такие идеалисты, как мой дорогой сын,— польстила она ему.— Для многих материальный интерес превыше всего, и в придачу к деньгам они готовы взять и многое другое... о чем болтают люди.— Под повелительным взглядом Дидериха она продолжала боязливо лопотать: — Взять, к примеру, Даймхена. Господи боже, он умер, и теперь ему все это безразлично, но в свое время толков было много.— Сейчас уже все трое не сводили с нее настойчиво вопрошающих глаз.—

Ну да,— пояснила она робко,— я говорю об истории с фрау Даймхен и господином Буком. Ведь Густа родилась раньше времени.

После этих слов фрау Геслинг пришлось поспешно ретироваться за экран перед камином, так как брат и сестры одновременно ринулись к ней.

— Вот так новость! — восклицали Эмми и Магда.— Расскажи поподробней!

Но Дидерих расшумелся. Он требует немедленно прекратить эти бабьи сплетни.

— Мы же слушали твои мужские сплетни! — кричали сестры, пытаясь оттащить его от экрана. Мать, ломая руки, смотрела на эту рукопашную схватку.

— Я же ничего не сказала, дети! Но только тогда все кругом это говорили, да и господин Бук ведь подарил приданое фрау Даймхен.

— Значит, вот откуда все берется! — воскликнула Магда.— Вот они, дядюшки, оставляющие наследство! Вот откуда позолоченные сумочки!

Дидерих взял под защиту наследство, полученное Густой.

— Оно из Магдебурга!

— А жених? — спросила Эмми.— Жених тоже из Магдебурга?

Внезапно все умолкли и, точно оглушенные, переглянулись. Эмми притихла, вернулась на диван и снова взяла в руки книгу. Магда принялась убирать со стола. Дидерих подошел к экрану, за которым пряталась фрау Геслинг.

— Видишь, мама, что получается, когда распускают язык? Ты ведь не хочешь сказать, что Вольфганг женится на собственной сестре?

Из-за ширмы, словно из бездны, донесся плаксивый голос:

— Я тут ни при чем, мой дорогой сын! Я и думать забыла об этой старой истории, да и кто знает, сколько тут правды. Теперь уже ни одна живая душа не помнит об этом.

— Но старик Бук помнит! — не отрываясь от книги, бросила Эмми.— Он-то знает, откуда берет теперь деньги для сына.

А Магда сказала, заслоняясь скатертью, которую складывала:

— Всякое бывает.

Тут Дидерих воздел руки, точно взывая к небу о помощи. Но он вовремя подавил одолевавший его ужас.

— Куда я попал? В разбойничий вертеп? — деловито осведомился он и, выпрямившись, твердым шагом направился к двери. На пороге он обернулся.— Конечно, не в моих силах помешать вам растрезвонить по городу вашу очаровательную новость. Что до меня, то я всем объявлю, что не имею с вами ничего общего. В газетах напечатаю.— И он вышел.

Ему не хотелось в погребок, и он, сидя в одиночестве у Клапша, задумался о мире, в котором происходят такие ужасы. В белых перчатках, разумеется, их не одолеть. Для того, кто захочет вырвать у Буков их позорную добычу, любые средства хороши.

— Бронированным кулаком! — сурово произнес он и так застучал крышкой, требуя четвертую кружку, словно мечом бряцал... Но понемногу он потерял свой грозно-воинственный вид: начались колебания. Если сейчас поднять возню вокруг этого дела, весь город будет пальцем показывать на Густу Даймхен. И тогда ни один мужчина, если у него осталась хоть капля уважения к правилам чести и приличия, не позволит себе жениться на Густе. Это подсказывал Дидериху собственный внутренний голос, привитые ему принципы мужественности и идеализма, которые вошли в его плоть и кровь. Жаль! Жаль триста пятьдесят тысяч марок Густы, они пропадают без хозяйской руки, без разумного применения. А у Дидериха теперь, пожалуй, есть полная возможность найти им применение. Но он возмущенно отогнал от себя эту мысль. Он лишь выполнит свой долг! Необходимо помешать преступлению. А что принесет женщине поединок двух мужчин — это ее дело. Стоит ли думать о судьбе этого существа, одного из тех, которые способны на любое предательство, в чем Дидерих лично убедился. На пятой кружке пива у него созрело твердое решение.

За утренним кофе он проявил большой интерес к туалетам сестер для бала в «Гармонии». Осталось всего-навсего два дня, а еще ничего не готово! Домашнюю портниху рвали, что называется, на части, она шила теперь повсюду: у Буков, у Тицев, у Гарнишей. Дидерих вошел в раж. Он вызвался самолично пойти к ней и, чего бы это ни стоило, притащить сюда девушку. Ему удалось выполнить свое обещание, правда, не без труда. Ко второму завтраку он так бесшумно вошел в дом, что шагов его не услышали и разговор в соседней комнате не прервался. Как раз в эту минуту портниха намеками рассказывала какую-то скандальную историю, перед которой бледнело решительно все. Сестры делали вид, что ничего не понимают, и когда наконец портниха назвала имена, они пришли в ужас и ничему не

хотели верить. Громче всех ужасалась фрау Геслинг: неужели фрейлейн Гериц может допустить такую мысль! А портниха, уверяла, что эта новость уже облетела весь город. Не далее как вчера она работала у бургомистерши, ее мать решительно требовала, чтобы зять вмешался в это дело! И все же портнихе лишь с трудом удалось убедить фрау Геслинг и ее дочерей. Дидерих ожидал скорее обратного. Он остался доволен своими. Но неужто у стен и вправду есть уши? Выходит, что слух, родившийся в запертой комнате, уносится вместе с дымом из печи на улицу и проникает во все углы и закоулки города.

Однако ему было мало этого. Он сказал себе, что здоровый инстинкт труженика при известных обстоятельствах является положительным фактором и на нем можно сыграть. До самого обеда он увивался вокруг Наполеона Фишера, но вдруг — уже раздался звонок! — возле сатинировальной машины раздался душераздирающий вопль. Дидерих и механик, вместе ринувшиеся на крик, извлекли из машины руку молодой работницы, затянутую стальным валом. С руки стекала черная кровь; Дидерих распорядился немедленно позвонить в городскую больницу. Как ни дурно ему было от вида изувеченной руки, он не отходил от работницы, пока ей делали временную перевязку. Девушка, жалобно всхлипывая, смотрела на свою руку, и в ее кротких глазах светился ужас, точно у молодого раненого животного. Она не слышала человеколюбивых расспросов Дидериха о ее домашних условиях, вместо нее отвечал Фишер. Отец сбежал, мать прикована к постели болезнью: девушка кормит себя и двоих малышей. А самой всего четырнадцать лет.

— По ней этого не скажешь,— заметил Дидерих.— Работниц не раз предупреждали, что эта машина требует осторожности в обращении. Девчонка сама виновата, я ответственности не несу. Впрочем,— добавил он мягче,— пойдемте ко мне, Фишер.

В конторе он достал две рюмки и налил коньяку.

— Не вредно и подкрепиться после таких волнений. Скажите честно, Фишер, вы считаете, что я обязан платить? Разве предохранительные приспособления на машине не действуют?— Механик пожал плечами.— Вы хотите сказать, что все зависит от суда? Но я судиться не буду, я заплачу без всякого суда...

Наполеон Фишер в недоумении оскалил крупные желтые зубы, а Дидерих продолжал:

— Да, а вы как думали? Вы, верно, считаете, что на подобный поступок способен только Лауэр? Что касается этого господина, то ваша собственная партийная газета разъяснила, чего стоят его заигрывания с рабочими. Со мной, конечно, такого не

случится, чтоб засесть в тюрьму за оскорбление величества и оставить своих рабочих без куска хлеба. Я выбираю более практические средства для выражения своих социальных взглядов.— Он сделал торжественную паузу.— Вот почему я решил выплачивать девушке заработную плату, пока ей придется лежать в больнице. Кстати, сколько она получает? — быстро спросил он.

— Полторы марки,— сказал Наполеон Фишер.

— Ну, что ж... Пусть она хоть два месяца пробудет в больнице. Даже три... Разумеется, вечно платить я не намерен.

— Ей всего четырнадцать лет,— сказал Наполеон Фишер, глядя исподлобья.— Она может требовать компенсации за увечье.

Дидерих испуганно засопел.

На лице Наполеона Фишера уже опять играла его неопределенная улыбка, он смотрел, как хозяин трусливо сжимает в кармане кулак. Дидерих вынул руку.

— А теперь ступайте и сообщите рабочим о моем великодушном решении! Я спутал ваши карты, а? Толковать о низостях капиталистов вам куда приятнее! В старика Бука вы теперь, наверно, мечете на своих собраниях громы и молнии!

Наполеон Фишер в недоумении вытаращил глаза, но Дидерих сделал вид, будто ничего не замечает.

— Да и на мой взгляд не очень-то благопристойно,— продолжал он,— если кто-либо женит сына именно на той девушке, с матерью которой у него были шуры-муры незадолго до рождения этой девушки... Но...

В лице Наполеона Фишера что-то дрогнуло.

— Но...— патетически повторил Дидерих,— я отнюдь не желал бы, чтобы мои рабочие об этом трезвонили. А вам, Фишер, незачем науськивать их на городские власти только потому, что один из советников магистрата совершил нечто такое, чего и доказать нельзя.— Он в негодовании потряс кулаком.— Обо мне уже распространяли слух, будто я подстроил процесс против Лауэра. Я не хочу больше никаких сплетен, пусть рабочие помалкивают.

Он наклонился к механику и перешел на более интимный тон:

— Ну, а так как я знаю, Фишер, каким влиянием вы пользуетесь...

Он неожиданно раскрыл руку: на его ладони лежали три крупные золотые монеты.

Наполеон Фишер посмотрел на них, и лицо его перекосилось, словно он увидел самого сатану.

— Нет! — воскликнул он.— Нет и нет! Своим убеждениям я никогда не изменю! За все золото мира не изменю!

Глаза его покраснели, он взвизгивал. Дидерих попятился: ему еще не доводилось так близко заглядывать в лицо крамолы.

— Мы выведем правду на свет! — пронзительно кричал Наполеон Фишер.— Это наше, пролетариев, кровное дело! И здесь уж, господин доктор, вы нам не помешаете! Гнусные деяния имущих классов...

Дидерих живо налил ему рюмку коньяку.

— Фишер,— подчеркнуто сказал он,— деньги я предлагаю вам за то, чтобы мое имя в этом деле не было названо.

Но Наполеон Фишер не желал ничего слушать; он гордо откинул голову.

— У нас, господин доктор, не практикуется принудительное привлечение свидетелей. Нет, мы таких вещей не делаем. Если кто снабжает нас агитационным материалом, ему не о чем беспокоиться.

— Ну, значит, все в порядке,— сказал Дидерих, облегченно вздохнув.— Я никогда не сомневался, Фишер, что вы большой политик. И поэтому насчет той девушки, я имею в виду пострадавшую работницу... Только что я вам оказал большую услугу, рассказал о гнусных поступках Бука...

Наполеон Фишер польщенно ухмыльнулся.

— Господин доктор изволили сказать, что я большой политик. И я, конечно, постараюсь замять вопрос о компенсации за увечье. Знать всю подноготную любого представителя высших кругов для нас важнее, чем...

— ...судьба одной работницы,— закончил за него Дидерих.— Вы всегда рассуждаете, как политик.

— Всегда,— подтвердил Наполеон Фишер.— До свиданья, господин доктор.

Он вернулся в цех. Дидерих пришел к выводу, что пролетарская политика имеет свои хорошие стороны. И сунул свои золотые в карман.

На следующий день вечером в гостиную снесли зеркала со всего дома; Эмми, Магда и Инга Тиц так вертелись перед ними, что едва не свернули себе шею; наконец они нервно присели на краешки стульев.

— О боже, ведь уже пора!

Но на этот раз Дидерих твердо решил не приезжать слишком рано, как на процесс Лауэра. Не жди эффекта от своего появления, если ты пришел одним из первых. Когда наконец

собрались в дорогу, Инга Тиц еще раз попросила извинения у фрау Геслинг, что заняла ее место в карете.

— Ах, господи,— повторила фрау Геслинг,— да ведь я с удовольствием. Для меня, старухи, такие многолюдные вечера очень утомительны. Веселитесь, детки! — И она, прослезившись, обняла дочерей, но те холодно отстранились. Они знали, что мать попросту трусит, ибо теперь везде судили и рядили только об одном — о чудовищной сплетне, которую она пустила.

В карете Инга тотчас же заговорила о том же.

— Да, Буки и Даймхен! Ужасно любопытно, хватит ли у них смелости появиться сегодня в «Гармонии».

— Им нельзя не приехать,— спокойно заметила Магда.— Своим отсутствием они подтвердили бы, что это правда.

— А хотя бы и так! — сказала Эмми.— По-моему, это их личное дело. Меня оно нисколько не волнует.

— Меня тоже,— присоединился к ней Дидерих.— Впрочем, я только сегодня от вас обо всем услышал, фрейлейн Тиц.

Инга Тиц вспыхнула. Так легко к этой скандальной истории отнестись нельзя. Может быть, Дидерих решил, что она, Инга, все это сочинила?

— У Буков давно уже душа не на месте: даже слуги все знают.

— Ну, значит, сплетня состряпана в людской,— сказал Дидерих, слегка толкнув Магду, которая тоже, будто нечаянно, задела его колено.

Тут всем пришлось выйти из кареты и спуститься по лестнице, соединяющей новую часть Кайзер-Вильгельмштрассе с низко расположенной Рикештрассе. Дидерих ворчал: пошел дождь, и бальные туфли промокли. К тому же у входа в празднично освещенную «Гармонию» толпились бедняки; они неприязненно пялили глаза на публику. Разве нельзя было снести этакую развалину, когда перестраивали эту часть города? Надо, видите ли, сохранить историческое здание «Гармонии»! Как будто у города нет средств воздвигнуть где-нибудь в центре современное первоклассное здание для общественных увеселений! Эти старые стены пропахли плесенью! А когда дамы входили в «Гармонию», они всегда хихикали, потому что на статуе Дружбы, украшавшей вестибюль, был высокий парик и ничего больше.

— Осторожно,— поднимаясь по лестнице, говорил Дидерих.— Не то провалимся в тартарары.

Тонкие дугообразные перила тянулись вдоль лестницы, как две исхудалые от старости руки. Темно-розовое дерево перил

выцвело от времени. Наверху, там, где эти руки соединялись, улыбалось блестящее мраморное лицо бургомистра с косичкой, который оставил все это городу и тоже был из рода Буков. Дидерих с досадой отвел глаза.

В длинной зеркальной галерее стояла полная тишина, лишь в глубине маячила одинокая женская фигура, она заглядывала через дверную щелку в зрительный зал; девушки пришли в ужас: представление, как видно, началось. Магда с плачем, чуть не бегом бросилась вперед. Глядевшая в щелку дама повернулась и приложила палец к губам. Это была фрау фон Вулков, автор пьесы. Взволнованно улыбаясь, она прошептала:

— Пока все хорошо, моя пьеса нравится. Вы вовремя поспели, фрейлейн Геслинг, ступайте переоденьтесь.

Ах да, ведь Эмми и Магда выступают во втором действии. У Дидериха, как и у всех, тоже голова кругом пошла. Пока сестры с Ингой Тиц, которая вызвалась помочь им, спешили через служебные помещения в артистическую, Дидерих представился супруге господина регирунгспрезидента и в смущении стоял перед ней.

— Сейчас нельзя входить, вы помешаете,— сказала она.

Пробормотав извинения, он стал разглядывать стенные росписи и между ними — полуслепые зеркала, в которых видел собственное таинственно бледное отражение. На нежно-желтом лаке, покрывавшем стены, обозначились причудливые узоры трещин, на росписях угасали краски цветов и человеческих лиц... Фрау фон Вулков прикрыла маленькую дверь, и Дидериху показалось, что в галерею кто-то вошел: это была нарисованная на двери пастушка с украшенным бантами посохом. Президентша осторожно затворила дверь, боясь помешать ходу действия на сцене, и все-таки в воздух взвилось легкое облачко пыли, словно с волос пастушки посыпалась пудра.

— Как здесь романтично! — шепотом продолжала фрау фон Вулков.— Вы не находите, господин доктор? Когда я смотрю в эти зеркала, мне чудится, будто на мне кринолин.

Дидерих, теряясь все больше и больше, посмотрел на ее слишком широкое платье. Голые плечи, худые и сутулые, белобрысые волосы; в довершение всего фрау фон Вулков носила пенсне.

— Эта рамка словно создана для вас, сударыня... графиня,— поправился он и тут же был награжден улыбкой за столь смелую лесть. Напомнить фрау фон Вулков, что она урожденная графиня Цюзевиц, было ловким ходом, на который не всякий способен.

— В самом деле,— сказала она,— с трудом верится, что этот дом строился не для подлинно аристократического общества, а всего лишь для добрых нетцигских бюргеров.— Она покровительственно улыбнулась.

— Да, это странно,— шаркнув ножкой, подтвердил Дидерих.— Но в наше время только вы, графиня, можете чувствовать себя здесь в своей стихии.

— Вы, несомненно, обладаете чувством прекрасного, не правда ли? — высказала предположение фрау фон Вулков и, так как Дидерих не отрицал этого, заявила, что в таком случае ему грешно было бы пропустить весь первый акт: пусть смотрит в дверную щелку. Сама она давно уже, переминаясь с ноги на ногу, заглядывала в зал. Она указала веером на сцену.

— Майор Кунце сейчас уйдет. Он не подходит к этой роли, но что вы хотите, майор — член правления «Гармонии», он единственный, кто сумел понять и растолковать всем художественную ценность пьесы.

Пока Дидерих, без особого труда узнав майора, который нисколько не переменился, смотрел на сцену, авторша скороговоркой объясняла ему все, что там происходит. Молодая крестьянская девушка, с которой разговаривает Кунце, это его побочная дочь, следовательно графская дочь, откуда и название пьесы «Тайная графиня»... В эту минуту Кунце, желчный, как всегда, брюзгливо просвещал на этот счет свою дочь. Объявив затем, что выдает ее за бедного родственника и завещает ей половину своих владений, он ушел, а графская дочь и ее приемная мать, добродетельная арендаторша, шумливо выражали свою радость.

— Кто эта ужасная особа? — нечаянно вырвалось у Дидериха.

Фрау фон Вулков удивленно взглянула на него.

— Да ведь это комическая старуха из городского театра. Мы больше никого не нашли для этой роли, но моя племянница с большим удовольствием играет с ней.

Дидерих перетрухнул. Он имел в виду именно племянницу, когда говорил об ужасной особе.

— Ваша уважаемая племянница прелестна,— немедленно заверил Дидерих президентшу и восхищенно заморгал, глядя на толстую краснощекую физиономию, насаженную прямо на плечи, на вулковские плечи! — Да и талантлива! — прибавил он для верности.

Фрау фон Вулков прошептала:

— Смотрите!

Из-за кулис вышел асессор Ядассон. Какой сюрприз! Его брюки были тщательно отутюжены, во внушительном вырезе визитки красовался громадных размеров галстук, в котором рдел красный камень соответствующей величины. Но, как ни сверкал камень, уши Ядассона, только что остригшегося, рдели еще ярче. Оголенные, они торжествующе торчали и точно два фонаря освещали все великолепие его праздничного наряда. Ядассон развел руки в желтых перчатках, словно требовал в обвинительной речи многолетнего заключения для подсудимого. Он и в самом деле наговорил ошеломленной вулковской племяннице и рыдающей комической старухе кучу неприятных вещей... Фрау фон Вулков прошелестела:

— Это злодей.

— Еще какой! — убежденно сказал Дидерих.

— Вы разве знакомы с моей пьесой?

— Ах, вот оно что! Нет, не знаком, но мне уже ясно, что он задумал.

А дело было в том, что Ядассон, сын и наследник старого графа Кунце, все подслушал и отнюдь не был склонен уступить половину ниспосланных ему господом богом владений вулковской племяннице. Тоном повелителя он приказал ей немедленно очистить поле битвы, иначе он объявит ее лженаследницей и велит арестовать, а Кунце лишит права опеки.

— Какая низость,— сказал Дидерих,— ведь она его сестра.

— Совершенно верно,— объяснила ему президентша.— Но, с другой стороны, он прав: стремясь превратить все земли отца в майоратное владение, он отстаивает интересы рода и ради них готов кого угодно убрать с дороги. Для тайной графини это, конечно, трагедия.

— Трезво рассуждая...

Дидерих очень обрадовался. Такая аристократическая точка зрения и ему на руку: он сам ничуть не склонен делать Магду совладелицей предприятия, когда она выйдет замуж.

— Графиня, ваша пьеса превосходна,— проникновенно сказал он. Но фрау фон Вулков в страхе дернула его за рукав: в зале поднялся какой-то шум — шарканье, чиханье, хихиканье.

— Он шаржирует,— простонала фрау фон Вулков.— Говорила же я...

Ядассон действительно вел себя неслыханно. Он загнал вулковскую племянницу и комическую старуху в угол за столом и заполнил всю сцену шумными проявлениями своей графской индивидуальности. Чем сильнее протестовали зрители, тем больше давал он волю своим страстям. Кто-то зашикал, и даже

больше того — многие поглядывали на дверь, за которой стояла, вся дрожа, фрау фон Вулков, и шикали. Быть может, это объяснялось тем, что дверь скрипела, но президентша отпрянула от нее, уронила пенсне и в ужасе растерянно тыкалась во все стороны, пока Дидерих не подал ей пенсне. Он старался ее утешить.

— Все это пустяки, ведь Ядассон, надо думать, скоро уйдет.

Они прислушивались через закрытую дверь.

— Да, слава богу,— с трудом проговорила она: у нее зуб на зуб не попадал.— Он кончил, сейчас моя племянница с комической старухой убегут, а потом опять выйдет Кунце с лейтенантом, понимаете?

— В пьесе есть и лейтенант? — спросил Дидерих с почтительным удивлением в голосе.

— Да, вернее, он еще гимназист, это сын председателя суда господина Шпрециуса, понимаете? Тот самый бедный родственник, которого граф прочит в мужья своей дочери. Он обещает старику, что весь свет обыщет, а тайную графиню найдет.

— Вполне понятно,— заметил Дидерих.— Это в его собственных интересах.

— Вот увидите, как он благороден.

— Но Ядассон! Смею сказать, графиня, вам не следовало бы давать ему роли,— с упреком и затаенным злорадством продолжал Дидерих.— Одни уши чего стоят!

Вконец расстроенная фрау фон Вулков сказала:

— Я не думала, что со сцены они произведут такое впечатление. Вы полагаете, он провалит пьесу?

— Графиня! — Дидерих приложил руку к сердцу.— Такую пьесу, как «Тайная графиня», убить нелегко.

— Не правда ли? Ведь в театральном искусстве важнее всего художественное достоинство пьесы.

— Разумеется. Правда, такая пара ушей тоже не безразлична для...— И Дидерих с тревогой посмотрел на автора пьесы.

Фрау фон Вулков умоляюще воскликнула:

— А ведь второй акт еще лучше! Действие происходит в семье зазнавшегося фабриканта, у которого тайная графиня служит горничной. Там же — учитель музыки, человек сомнительный, он даже поцеловал как-то одну из дочерей, а теперь делает предложение графине, и та, конечно, решительно отвергает его. Учитель музыки! Разве она согласится на такое!..

Дидерих подтвердил, что это совершенно исключено.

— Но дальше-то и начинается трагедия: дочь, та самая, которую поцеловал учитель музыки, обручилась на балу с неким лейтенантом. Когда лейтенант приходит в дом, то оказывается, что это тот самый, который...

— О боже, графиня! — Дидерих, потрясенный столь запутанной интригой, как бы защищаясь, выставил вперед обе руки. — И как вам все это приходит на ум?

Фрау фон Вулков восторженно улыбнулась.

— Вот это как раз интереснее всего. Я и сама не пойму... Какой-то загадочный процесс... Порой мне кажется, что это у нас в роду.

— В вашем уважаемом роду много писателей?

— Я бы не сказала. Но если бы мой великий прадед не выиграл сражения под Крехенвердой, кто знает, написала ли бы я «Тайную графиню»... Наследственность — это, знаете ли, основа основ.

При упоминании о битве под Крехенвердой Дидерих шаркнул ножкой и уж не посмел продолжать расспросы.

— Занавес скоро опустится. Вам что-нибудь слышно?

Он ничего не слышал; только для автора не существовало ни дверей, ни стен.

— Теперь лейтенант клянется в вечной верности далекой графине, — шепнула она, и кровь отхлынула у нее от лица. Но через секунду фрау фон Вулков так и вспыхнула: публика зааплодировала. Нельзя сказать, чтобы это была буря аплодисментов, но все же публика аплодировала. Авторша приоткрыла дверь. Занавес снова взвился, и когда молодой Шпрециус и вулковская племянница вышли на вызовы, хлопки усилились.

Вдруг из-за кулис стрелой вылетел Ядассон, он оттеснил молодую чету и прорвался вперед с таким видом, точно хотел весь успех закрепить за собой. Ядассона встретили шиканьем. Фрау фон Вулков негодующе отвернулась. Когда теща бургомистра Шеффельвейса и супруга председателя суда Гарниша поздравляли ее, она заявила:

— Асессор Ядассон немыслим как прокурор. Я скажу об этом мужу.

Дамы поспешили разнести приговор супруги фон Вулкова и имели большой успех. В зеркальной галерее разбившаяся на группы публика только и говорила, что об ушах Ядассона. «Фрау фон Вулков написала прелестную вещь, но вот уши Ядассона...» Однако, узнав, что во втором действии Ядассон не участвует, публика была разочарована. Вольфганг Бук с Густой Даймхен подошли к Дидериху.

— Вы уже слышали? — спросил Бук.— Ядассону, как официальному лицу, придется, говорят, конфисковать собственные уши.

— Я никогда не острю за счет тех, кому не повезло,— назидательно сказал Дидерих.

Он жадно перехватывал взгляды, которыми присутствующие окидывали Бука и его спутницу. При виде этой пары лица у всех оживлялись, Ядассон был моментально забыт. От дверей доносился пронзительный фальцет учителя Кюнхена; перекрывая многоголосый шум, Кюнхен выкрикивал что-то вроде «стыд и срам». Супруга пастора Циллиха, стараясь урезонить его, взяла его за рукав, но он повернулся и уже совершенно явственно крикнул:

— Да, да, беспримерный срам!

Густа оглянулась, глаза ее сузились.

— Там тоже говорят об этом,— загадочно сказала она.

— О чем? — пробормотал Дидерих.

— Мы уже знаем. И кто пустил слух, я тоже знаю.

Дидериха прошиб пот.

— Что с вами? — спросила Густа.

Бук, искоса поглядывавший через боковую дверь на буфетную стойку, хладнокровно произнес:

— Геслинг осторожный политик, он предпочитает затыкать уши, когда при нем говорят, что бургомистр, с одной стороны, прекрасный супруг, но, с другой стороны, и теще не может отказать.

Дидерих побагровел:

— Какая низость! И кто только сочиняет подобные мерзости!

Густа захихикала. Бук и бровью не повел.

— По-видимому, так оно и есть, ведь фрау Шеффельвейс накрыла обоих на месте преступления и рассказала обо всем одной из своих приятельниц. Но и без того ясно.

— Вот видите, господин доктор, вы-то никогда не догадались бы.— И она, влюбленно глядя на жениха, подмигнула ему. Дидерих метнул испепеляющий взор.

— Так вот оно что! — холодно сказал он.— Теперь мне все понятно.

И он повернулся к ним спиной. Значит, они сами измышляют мерзости, да еще о бургомистре! Дидерих вправе высоко держать голову. Он примкнул к компании Кюнхена, которая шествовала в буфет, распространяя вокруг себя волны благородного негодования. Теща бургомистра, вся пунцовая, клялась,

что отныне на пушечный выстрел не подпустит к себе «эту братию», и несколько дам присоединились к ней; владелец универсального магазина Кон убеждал не торопиться с выводами,— все это пока очень и очень сомнительно: совершенно исключено, чтобы столь заслуженный либерал, как господин Бук, способен был на подобное отступление от нравственных норм. Учитель Кюнхен считал, что, напротив, чрезмерный радикализм разрушает нравственные устои. Даже доктор Гейтейфель, устраивавший воскресные собрания для свободных людей, обронил замечание, что старик Бук всегда отличался избытком родственных чувств, иными словами — непотизмом. И если он намерен переженить своих внебрачных детей с рожденными в законном браке, лишь бы деньги остались в семье, то для него, Гейтейфеля, диагноз ясен: это старческое перерождение природной склонности, которую до сих пор эти люди умели сдерживать в нормальных пределах.

При этих словах дамы сделали испуганные лица, а пасторша срочно отослала Кетхен в гардеробную за носовым платком.

По дороге Кетхен встретила Густу Даймхен, но не раскланялась с ней, а потупила взор. Густа смешалась. В буфете наблюдали эту сцену и высказали осуждение, подслащенное жалостью. Густе поделом, пусть знает, что значит грешить против общественной нравственности. Возможно, что она жертва обмана, что на нее оказывали плохое влияние, но фрау обер-инспекторша Даймхен? Она-то ведь знает, да ее к тому же и предупреждали! Теща бургомистра рассказывала о своем визите к матери Густы и о напрасных стараниях разбудить совесть и вырвать откровенное признание у этой очерствевшей старухи, для которой законная связь с домом Буков является, несомненно, осуществлением мечты ее молодости...

— Ну, а адвокат Бук! — фальцетом кричал Кюнхен.— Кого этот господин надеется уверить, будто он знать не знает и ведать не ведает о новом позоре, покрывшем его семью? И разве ему неизвестно, какое преступление творится в доме Лауэров? А все же у него хватает совести публично копаться в грязном белье сестры и зятя, только бы заставить говорить о себе!

Доктор Гейтейфель, который из кожи лез, стараясь загладить, хотя бы задним числом, свое поведение на процессе, объявил:

— Какой из него защитник,— комедиант, и только!

А когда Дидерих заметил, что у Бука есть пусть спорные, но все же честные взгляды на политику и мораль, ему заявили:

— Господин доктор, вы его друг, и ваше желание взять его под защиту делает вам честь, но вам не удастся втереть нам очки,— после чего Дидерих с удрученным видом отступил, не преминув, однако, бросить взгляд в сторону редактора Нотгрошена, который скромно жевал бутерброд с ветчиной и все слышал.

Внезапно наступила тишина: в зале, недалеко от сцены, все увидели старика Бука, окруженного роем молодых девушек. Он, по-видимому, рассказывал им о былой жизни, отраженной в выцветшей, но сохранившей свой жизнерадостный колорит росписи стен, задававшей тон всему залу: о канувших в вечность лугах и садах, что опоясывали город, о людях, которые некогда шумели в этом праздничном зале, а ныне изгнаны в иллюзорные дали поколением, что теперь шумит здесь... На какое-то мгновенье всем даже почудилось, что девушки и старик точно сошли со стенной росписи. Они стояли как раз под аркой городских ворот, откуда выходил господин в парике, с цепью бургомистра на шее, тот самый, чей мраморный барельеф венчал парадную лестницу. Из цветущей очаровательной рощи,— теперь там дымит бумажная фабрика Гаузенфельд,— навстречу ему, приплясывая, бегут радостные дети, вот они накидывают на него венок и хотят всего его увить гирляндами... Отблеск розовых облачков падает на его счастливое лицо. Такая же счастливая улыбка играла в этот миг и на лице старого Бука; он сдался в плен девушкам, а они окружили его, как живой венок, и теребили со всех сторон. Все отказывались понять его беспечность. Неужели он до такой степени утратил человеческий облик, что собирается свою внебрачную дочь...

— *Наши* дочери не какие-нибудь незаконнорожденные,— молвила супруга Кона.— А моя Сидония под руку с Густой Даймхен!..

Бук и девушки не заметили, что позади них образовалось пустое пространство. У входа в зал стеной выстроилась враждебно настроенная публика; глаза метали молнии, храбрость росла.

— Эта семейка хочет царить здесь до скончания века! Номер первый уже попал в тюрьму, скоро к нему присоединится номер второй...

— Типичный совратитель! — слышалось глухое ворчание.

— Смотреть тошно! — сказал кто-то.

Две дамы стряхнули с себя оцепенение, набрались смелости и пересекли пустое пространство. Супруга советника Гарниша катилась шариком, волоча за собой красный бархатный

шлейф: секунда в секунду подошла она к финишу вместе с одетой в желтое фрау Кон; одним и тем же движением схватили они одна свою Сидонию, другая свою Мету и с каким триумфом вернулись!

— Я думала, в обморок упаду,— сказала пасторша, когда — слава богу! — Кетхен также оказалась у нее под боком.

Хорошее настроение восстановилось, острили над старым греховодником и сравнивали его с графом из пьесы фрау фон Вулков. Конечно, Густа не тайная графиня; в пьесе, в угоду президентше, таким обстоятельствам можно и посочувствовать. Впрочем, там-то все еще более или менее терпимо, ведь графиня собирается замуж всего лишь за своего кузена, тогда как Густа...

Старик Бук, обнаружив, что все, кроме будущей невестки и одной из племянниц, его оставили, удивленно вскинул брови; больше того, видно было, что под перекрестным огнем устремленных на него взглядов он почувствовал себя неловко. В публике обратили на это внимание, и Дидериха даже взяло сомнение: а может быть, скандальная небылица, рассказанная матерью, и вправду самая настоящая быль? Видя, что призрак, которого он же пустил гулять по свету, обретает плоть и кровь и вырастает в нешуточную силу, Дидерих содрогнулся. На сей раз удар нанесен не какому-нибудь Лауэру, а старому господину Буку, наиболее почтенной фигуре времен дидериховского детства, отцу города, олицетворявшему его гражданский дух, человеку, приговоренному к смертной казни в сорок восьмом! В душе у Дидериха что-то восставало против им же самим затеянного похода. Да и абсурд это, конечно: такой удар далеко не сломит старика. Если откроется, кто зачинщик, тогда надо быть готовым, что все от него отвернутся. Но все же удар нанесен и попал в цель. Теперь уже речь шла не только о семье, которая разваливалась, но все еще тяжким грузом висела на старом Буке: брат — без пяти минут банкрот, зять — в тюрьме, дочь — уехала с любовником, а из сыновей — один мужик мужиком, второй неблагонадежен и по убеждениям, и по образу жизни; теперь впервые заколебалась почва под ногами у самого старика. Пусть же он падет, дорогу Дидериху Геслингу! И все же Дидериха обуял такой страх, что он выскочил в коридор на поиски туалета...

Дидерих бежал. Уже прозвенел звонок ко второму акту. И вдруг столкнулся с тещей бургомистра, которая тоже спешила, хотя и по другой причине. Она поспела вовремя: зять по наущению жены направлялся к Буку с намерением поддержать старика своим авторитетом.

— Авторитетом бургомистра прикрыть такой срам! — Теща была вне себя и даже охрипла. Супруга же тоненьким пронзительным голоском упорно доказывала, что Буки как были, так и остаются самыми благородными людьми в городе, только вчера Милли Бук дала ей прелестнейшую выкройку. Обе теребили его, исподтишка награждали пинками и тянули каждая в свою сторону; он попеременно соглашался то с одной, то с другой, его бесцветные бачки взлетали то вправо, то влево, а глаза были совсем как у зайца. Проходившие мимо люди подталкивали друг друга и как очередную сенсацию шепотом передавали из уст в уста то, что Дидерих уже слышал от Вольфганга Бука. Ввиду столь важных событий Дидерих забыл о своих коликах, остановился и, вызывающе щелкнув каблуками, отвесил поклон бургомистру. Тот приосанился, оставил своих дам и протянул Дидериху руку.

— Милейший доктор Геслинг, очень рад! Прекрасный бал, не правда ли?

Но Дидерих, видимо, не склонен был поддаваться на эту пустопорожнюю приветливость, столь свойственную бургомистру. Он выпрямился,— грозный, как рок... Испепеляющее око...

— Господин бургомистр, чувствую себя не вправе скрывать от вас некоторые факты, которые...

— Которые? — повторил, бледнея, доктор Шеффельвейс.

— Которые имеют место,— жестко отчеканил Дидерих.

Бургомистр молил о снисхождении.

— Мне уже все известно... Вы имеете в виду эту злополучную историю с нашим всеми уважаемым... Я хотел сказать — грязные делишки старика Бука? — шепнул он на ухо Дидериху.

Тот не шелохнулся.

— Вам не следует обманывать себя, господин бургомистр. Я подразумеваю вас лично.

— Молодой человек, я все же просил бы вас...

— К вашим услугам, господин бургомистр!

Доктор Шеффельвейс ошибался, если думал, что эту горькую чашу легче отвратить протестом, чем мольбой! Он был в руках у Дидериха. Зеркальная галерея опустела. Обе дамы бургомистра затерялись в сутолоке у входа в зал.

— Бук и компания стараются нанести контрудар,— сухо произнес Дидерих.— Они разоблачены и мстят.

— Мне? — Бургомистр подскочил.

— Поклеп. Повторяю: на вас возведен гнусный поклеп. Ни один человек этим измышлениям не поверит, но в наше время — время политических схваток...

Он не договорил, лишь пожал плечами. Доктор Шеффельвейс ссутулился. Он хотел посмотреть Дидериху в лицо, но взгляд его скользнул мимо. Дидерих заговорил голосом самого правосудия:

— Господин бургомистр! Вы, надеюсь, помните наш разговор у вас дома в присутствии асессора Ядассона. Уже тогда я предупреждал вас, что в нашем городе возьмет верх дух нового времени. Демократическое слюнтяйство отжило свой век! Нынче требуется непримиримый национализм. Я вас предупреждал!

— Мысленно я всегда был на вашей стороне, дорогой друг,— оправдывался доктор Шеффельвейс,— тем более что я пламеннейший приверженец его величества. Наш несравненный молодой кайзер столь оригинальный мыслитель... весь порыв и действие... и...

— Личность исключительная,— строго закончил Дидерих.

— Исключительная...— повторил бургомистр.— Но мое положение обязывает меня считаться и с одной стороной, и с другой стороной, поэтому я и сейчас могу вам лишь повторить: создайте новые факты.

— А мой процесс? Я сразил врагов его величества.

— Я вам препятствий не чинил. И даже поздравил вас.

— Мне ничего об этом не известно.

— По крайней мере — в душе.

— Нынче, господин бургомистр, необходимо открыто становиться на ту или на другую сторону. Его величество изволил сам сказать: кто не за меня, тот против меня! Пора нам наконец очнуться от спячки и самим разгромить бунтарские элементы...

Шеффельвейс потупился. Зато Дидерих принял позу повелителя.

— А что делает бургомистр? — воскликнул он, и вопрос этот так долго звенел в грозной тишине, что доктор Шеффельвейс решился наконец взглянуть на Дидериха. Ответить он так и не смог. Весь вид Дидериха: глаза, мечущие молнии, всклокоченные белобрысые волосы, одутловатое лицо — так подействовал на бургомистра, что у него отнялся язык. Он дрожал, он лихорадочно думал: «С одной стороны... с другой стороны...» — и как завороженный смотрел, непрестанно моргая, на представителя нового поколения, которое знает, чего хочет, представителя беспощадного времени, что идет на смену старому!

Дидерих, опустив уголки губ, принимал эту дань преклонения. Он переживал одну из тех минут, когда его собственное «я» перерастало себя и он уже действовал в духе августейшей

особы. Бургомистр был на голову выше, но Дидерих смотрел на него сверху вниз, точно с высоты трона.

— Скоро выборы городских гласных: тут все зависит от вас,— произнес он милостиво и лаконично.— Процесс Лауэра вызвал перелом в общественном мнении. Меня боятся. Всех, кто захочет мне помочь, я приветствую, тех же, кто вздумает стать мне поперек дороги, я...

Доктор Шеффельвейс не дожидался конца фразы.

— Я совершенно того же мнения,— угодливо зашептал он.— Нельзя допустить избрания сторонников Бука.

— Этого требуют ваши кровные интересы. Крамольники посягают на ваше доброе имя. Устоите ли вы, если благомыслящие не опровергнут гнусные поклепы?

Наступила пауза, доктора Шеффельвейса трясло. Наконец Дидерих повторил, приободряя его:

— Все зависит от вас.

— Ваша энергия,— залепетал бургомистр,— ваш благопристойный образ мыслей...

— Мой высоко благопристойный образ мыслей!

— Конечно, конечно... Но в политике не следует проявлять такой горячности, мой юный друг. Наш город еще не дорос до вас. Какими средствами вы полагаете справиться с ним?

Вместо ответа Дидерих вдруг отступил на шаг и шаркнул ножкой. В дверях стоял Вулков.

Выставив вперед мерно колышущееся брюхо, он подошел, положил свою темную лапищу на плечо доктору Шеффельвейсу и прогрохотал:

— Что это вы, голубчик, соло? Выгнали вас ваши гласные?

Доктор Шеффельвейс слабо хихикнул. Между тем Дидерих все время озабоченно оглядывался на дверь в зрительный зал, которая еще была открыта. Он стал позади фон Вулкова так, чтобы загородить его, и шепнул несколько слов, после чего регирунгспрезидент отвернулся, привел в порядок свой туалет и сказал Дидериху:

— А вы, миляга, действительно полезный человек.

Дидерих просиял.

— Я счастлив, господин регирунгспрезидент, что вы обо мне столь лестного мнения.

— Вы, кажется, на многое можете пригодиться,— милостиво изрек Вулков.— Мы еще вернемся к этому разговору.

Он мотнул головой и, повернув к Дидериху широкоскулое, в коричневых пятнах лицо, воззрился на него монголь-

скими щелками глаз, в которых было столько плотоядного коварства и жестокости, что Дидерих громко засопел. Такой результат, видимо, удовлетворил Вулкова. Он щеткой расчесал перед зеркалом бороду, но, так как держал голову по-бычьи, его борода, прижатая к манишке, тут же смялась.

— А теперь пошли! — сказал он.— Этот трам-тарарам, наверно, в полном разгаре?

И, сопровождаемый с одной стороны Дидерихом, с другой — бургомистром, он уже готов был войти в зал и своим помпезным появлением помешать лицедейству, как вдруг из буфетной донесся замирающий голос:

— О боже, Оттохен!

— Она уж тут как тут! — буркнул Вулков и пошел навстречу супруге.— Так и знал, в решительную минуту она сдрейфит. Больше кавалерийской лихости, бесценная моя Фрида!

— О боже, Оттохен, ты не можешь себе представить, как я боюсь! — И, обращаясь к Дидериху и бургомистру, она быстро, хотя и дрожащим голосом, затараторила: — Я, конечно, знаю, в бой нужно идти с верой в сердце...

— Особенно,— к месту ввернул Дидерих,— если бой заранее выигран.— И он отвесил рыцарский поклон.

Фрау фон Вулков коснулась его веером.

— Доктор Геслинг уже составил мне компанию в фойе во время первого действия. Он тонкий ценитель искусства и может дать полезный совет

— Имел случай убедиться,— сказал Вулков. Дидерих, расшаркиваясь, отвешивал благодарные поклоны то ему, то его супруге. Регирунгспрезидент предложил: — Давайте уж и останемся в буфете.

— Таков и мой план военных действий,— болтала фрау фон Вулков,— к тому же я нашла здесь маленькую дверь, откуда видна сцена. Мы приоткроем ее и, оставаясь в стороне от событий, в чем я сейчас чувствую необходимость, будем все же в курсе дела.

— Бургомистерчик,— сказал Вулков и прищелкнул языком,— рекомендую салат из омаров.— Он дернул доктора Шеффельвейса за ухо.— А в деле с городской биржей труда магистрат опять сыграл незавидную роль.

Бургомистр покорно ел, покорно слушал, а Дидерих, стоя рядом с фрау фон Вулков, смотрел на сцену. Там Магда Геслинг брала урок музыки, и учитель, темнокудрый виртуоз, пылко целовал свою ученицу, чему она отнюдь не сопротивля-

лась. «Если бы Кинаст видел»,— думал Дидерих, но он и сам почувствовал себя задетым.

— Вы не находите, графиня,— сказал он,— что учитель музыки слишком натуралистично играет?

— Но это вполне соответствует моему замыслу,— удивленно ответила она.

— Я, видите ли, полагал лишь...—неуверенно пробормотал Дидерих и испуганно умолк: из-за кулис показалась не то фрау Геслинг, не то какая-то другая дама, очень на нее похожая. Эмми тоже оказалась тут, молодую чету застукали, поднялся крик, плач. Вулков повысил голос.

— Не-е-т, бургомистр. Стариком Буком вам теперь не отговориться. Пусть он и протащил резолюцию насчет городской биржи труда: все дело в том, как проводить ее в жизнь, а это уж от вас зависит.

Доктор Шеффельвейс хотел сказать что-то в свое оправдание, но Магда закричала, что у нее и в мыслях нет выйти за такого человека, для него, дескать, и служанка хороша.

— Ей следовало бы взять еще более вульгарный тон,— заметила авторша.— Ведь они parvenus [1].

И Дидерих, улыбаясь, поддакнул, хотя вся эта передряга в доме, так напоминавшем его собственный, привела его в полное смятение. Про себя он согласился с Эмми, которая заявила, что такого положения нельзя больше терпеть ни минуты, и позвала служанку. А когда та появилась, — вот чертовщина! — оказалось, что это тайная графиня. Неожиданно в тишине, вызванной ее появлением, прогудел бас Вулкова:

— Да бросьте вы меня морочить разговорами о вашем гражданском долге. Разрушать сельское хозяйство — это, по-вашему, гражданский долг?

В публике многие оглянулись; президентша в ужасе прошелестела:

— Оттохен, бога ради!

— Что там такое? — Он подошел к двери.— Пусть только попробуют шикнуть!

Но никто не сделал такой попытки. Вулков повернулся к бургомистру.

— Ведь ясно, что вашей биржей труда вы отнимаете рабочую силу у нас, землевладельцев Восточной Пруссии. И кроме того: на этой несчастной бирже есть даже представители рабочих — а вы берете на себя еще и посредничество в сель-

---

[1] Выскочки (*франц.*).

«Верноподданный»

ском хозяйстве. К чему это приведет? К объединению батраков, конечно. Так ведь, бургомистерчик? — Его лапища опустилась на податливое плечо доктора Шеффельвейса.— Все ваши махинации мы насквозь видим. И не потерпим их!

На сцене вулковская племянница обращалась к публике: семье фабриканта не положено было слышать ее монолог.

— Как? Мне, графской дочери, стать женой учителя музыки? Никогда! Хоть эти люди сулят мне приданое, но пусть другие унижаются ради денег. Я знаю, к чему обязывает меня мое высокое происхождение!

В зале зааплодировали. Фрау Гарниш и фрау Тиц утирали слезы, вызванные благородством чувств тайной графини. Однако слезы полились вновь, когда племянница сказала:

— Но где мне, служанке, найти жениха столь же высокого происхождения?

Бургомистр, очевидно, отважился на какое-то возражение, потому что Вулков сердито крикнул:

— Устраивать безработных — не мое дело! Я ради них разоряться не намерен. В свой карман залезать не позволю!

Тут Дидерих не мог больше сдержаться и, расшаркавшись, отвесил поклон регирунгспрезиденту. Но и у президентши были все основания отнести поклон на свой счет.

— Знаю,— прошептала она, умиленная,— это место мне удалось.

— Ваше искусство, графиня, находит прямой путь к сердцам,— сказал Дидерих. И так как Магда и Эмми шумно хлопнули крышкой рояля, а потом дверьми, он прибавил: — Высокодраматическое искусство! — и тут же, повернувшись в другую сторону: — На следующей неделе состоятся выборы двух гласных на места Лауэра и Бука-младшего. Хорошо, что Вольфганг Бук отказался добровольно.

— Позаботьтесь,— сказал Вулков,— чтобы на их места попали приличные люди. У вас как будто хорошие отношения с «Нетцигским листком»?

Дидерих таинственно понизил голос:

— Я пока еще держусь в тени, господин президент. Так лучше для блага националистической идеи.

— Смотрите-ка! — сказал Вулков и действительно пристально посмотрел на Дидериха.— Вы, я вижу, сами не прочь выставить свою кандидатуру?

— Готов принести такую жертву. В органах городского самоуправления слишком мало надежных людей — с националистической точки зрения.

— А что бы вы сделали, если бы вас избрали?

— Позаботился бы о скорейшей ликвидации биржи труда.

— Ну конечно,— сказал Вулков,— вполне естественно для националистически мыслящего немца.

— Я офицер,— говорил между тем на сцене лейтенант,— и не потерплю, дорогая Магда, чтобы с этой девушкой, пусть она всего лишь бедная служанка, плохо обращались.

Лейтенант из первого акта, неимущий кузен, которому прочили в жены тайную графиню,— жених Магды! Зрители дрожали от волнения. Фрау фон Вулков сама это заметила.

— Драматические ситуации — моя сильная сторона,— сказала она искренне потрясенному Дидериху.

У доктора Шеффельвейса не было времени предаваться художественным эмоциям, его томило предчувствие больших неприятностей.

— Никто,— уверял он,— не приветствовал бы так радостно новые веяния...

— Знаем мы эти песни, голубчик. Радостно приветствовать, когда это ничего не стоит, на это вы мастак.

— Необходимо провести решительную черту между преданными монархистами и бунтарями! — подхватил Дидерих.

Бургомистр умоляюще воздел руки.

— Господа! Не поймите меня превратно. Я на все готов. Но что пользы от черты, если у нас почти все, кто не голосует за свободомыслящих, голосуют за социал-демократов?

Вулков яростно хрюкнул и взял с буфетной стойки сардельку. Но Дидерих сохранял несокрушимую веру в успех.

— Если выборы без вмешательства не обещают положительных результатов, значит, надо вмешаться, только и всего.

— Но как это сделать? — сказал Вулков.

Вулковская племянница тем временем опять взывала к публике:

— Он не может не узнать во мне графини, ведь он — отпрыск того же аристократического рода, что и я!

— О графиня,— воскликнул Дидерих,— я сгораю от любопытства: узнает он в ней графиню?

— Конечно, узнает,— ответила президентша.— Уже по хорошим манерам они узнают друг друга.

И в самом деле, лейтенант и племянница переглянулись: Магда и Эмми вместе с фрау Геслинг ели сыр с ножа. Дидерих стоял, раскрыв рот. Публику невоспитанность семьи фабриканта рассмешила и развеселила. Племянницы Бука, фрау Кон, Густа

Даймхен—все ликовали. И Вулков тоже прислушался. Он слизнул жир с пальцев и сказал:

— Ну, Фрида, твое дело в шляпе, они смеются.

Сочинительница и впрямь удивительно расцвела. Ее глаза за стеклами пенсне горели лихорадочным блеском, из груди вырывались вздохи, ей не сиделось на месте; осмелев, она даже высунулась из буфетной в зал; тотчас же многие повернули головы и устремили на нее любопытные взгляды, а теща бургомистра помахала ей ручкой. Взбудораженная сочинительница громко шепнула через плечо:

— Господи, битва выиграна.

— Если б и у нас это так же быстро делалось,— молвил ее супруг.— Итак, милейший доктор, как же вы думаете прибрать к рукам нетцигчан?

— Господин президент! — Дидерих прижал руку к сердцу.— В Нетциге воцарится истинно монархический дух, ручаюсь головой и всем своим достоянием.

— Прекрасно,— сказал Вулков.

— Ибо,— продолжал Дидерих,— у нас есть агитатор, которого я назвал бы первоклассным. Да, первоклассным,— повторил он, объемля этим словом все.— И это его величество, это сам кайзер!

Доктор Шеффельвейс торопливо подтянулся.

— Исключительнейшая личность... Весь порыв и действие... Оригинальный мыслитель...

— Ну да,— сказал Вулков. Он уперся кулаками в колени и разглядывал пол, точно призадумавшийся людоед. Дидерих и бургомистр заметили вдруг, что он искоса примеривается к ним взглядом.— Господа,— он замялся,— ну, так и быть, скажу вам. Я полагаю, что рейхстаг будет распущен.

Дидерих и доктор Шеффельвейс подались вперед, они прошептали:

— Господину президенту это доподлинно известно?..

— Недавно мы с военным министром были на охоте у моего кузена господина фон Квицина.

Дидерих расшаркался. Он что-то лопотал, он сам не знал что. Он это предрек! Еще в тот вечер, когда его принимали в ферейн ветеранов, он ссылался на слова, якобы сказанные его величеством,— а может быть, и не «якобы»?.. Ведь Дидерих в своей речи прямо заявил от имени кайзера: «Я разгоню всю эту лавочку». И вот так оно и будет — совершенно так, как если бы он, Дидерих, действовал сам. Его охватил мистический трепет... Тем временем Вулков продолжал:

— Эйген Рихтер и компания отжили свой век. Если они не проглотят законопроект о военном бюджете, им крышка.— И. Вулков провел кулаком по губам, точно пир людоедов начинался.

Дидерих овладел собой.

— Это... это величественно! Нет никаких сомнений, все это личная инициатива кайзера.

Доктор Шеффельвейс побледнел.

— Значит, предстоят новые выборы в рейхстаг? А я так радовался, что у нас там столь надежный депутат... — Он еще больше перепугался.— То есть Кюлеман, конечно, тоже друг Рихтера...

— Злопыхатель! — фыркнул Дидерих. — Бродяга, не помнящий родства! — Он вращал глазами.— На сей раз Нетциг с ними покончит! Мне бы только в гласные пройти, господин бургомистр!

— И что тогда? — спросил Вулков.

Дидерих сам не знал. К счастью, в зале произошел какой-то переполох: там задвигали стульями и кто-то попросил открыть главные двери. Это был Кюлеман. Больной старик, с трудом неся свое грузное тело, торопливо прошел по зеркальной галерее. В буфетной нашли, что со времени процесса он сильно сдал.

— Будь его воля, он оправдал бы Лауэра, но большинством голосов было решено иначе,— сказал Дидерих.

— Камни в почках, говорят, ведут к смертельному исходу,— заметил доктор Шеффельвейс.

— А в рейхстаге мы для него те же почечные камни,— сострил Вулков.

Бургомистр подхихикнул. Дидерих сделал круглые глаза. Он наклонился к уху Вулкова и прошептал:

— Его завещание?...

— А что там такое?

— Он оставляет свое состояние городу,— важно объяснил доктор Шеффельвейс.— Возможно, мы построим на эти деньги приют для грудных младенцев.

— Приют для грудных младенцев? — презрительно фыркнул Дидерих.— По-вашему, это предел патриотизма?

— Вот оно что! — Вулков кивнул Дидериху в знак одобрения.— Сколько у него монет?

— По меньшей мере полмиллиона,— сказал бургомистр и поспешил заверить: — Я был бы счастлив, если б удалось добиться...

— Это очень просто,— уверенно сказал Дидерих.

Вдруг в зале засмеялись, и засмеялись совсем не так, как прежде, а искренне, от души и, без всякого сомнения,— злорадно. Президентша, словно спасаясь бегством, кинулась за стойку, казалось, она готова забраться под нее.

— Боже праведный! — заныла фрау фон Вулков.— Все погибло!

— Да ну? — протянул ее супруг и, грозно насупившись, стал в дверях. Но и это не смогло сдержать веселье в зале. Магда говорила тайной графине: «Поворачивайся живей, деревенская чушка! Подай господину лейтенанту кофе!» — «Чаю!» — поправлял чей-то голос. «Кофе!» — повторяла Магда; голос настаивал на своем, Магда — на своем. Публика поняла, что это пререкаются Магда и суфлер. К счастью, лейтенант нашел выход из положения, он звякнул шпорами и сказал: «Прошу того и другого», — после чего публика засмеялась уже добродушно. Но президентша вся кипела от негодования.

— Вот вам публика! Она была и остается зверем! — скрежеща зубами, проговорила фрау фон Вулков.

— На всякую старуху бывает проруха,— сказал супруг и подмигнул Дидериху.

— Но если люди понимают друг друга,— так же многозначительно ответил Дидерих,— прорухи не будет.

После этого он счел за благо всецело посвятить себя фрау фон Вулков и ее творению. Пусть бургомистр тем временем предает своих друзей и обещает Вулкову исполнить все его пожелания относительно выборов.

— Моя сестра — дура,— сказал Дидерих.— Дома я ее проберу.

Фрау фон Вулков пренебрежительно усмехнулась:

— Бедняжка, она делает, что может. Но публика! Какая нестерпимая беззастенчивость, какая неблагодарность! Ведь только что автора так вознесли, так восхищались его идеалами!

— Поверьте, графиня,— проникновенно сказал Дидерих,— не вам одной приходится делать столь горький вывод. Такова уж общественная жизнь.— Он думал об энтузиазме, который всех обуревал после его столкновения с оскорбителем величества, и об испытаниях, посыпавшихся затем на его голову.— В конечном счете правда все-таки торжествует! — заключил он.

— Вы тоже такого мнения? — сказала она с улыбкой, точно пробившейся сквозь тучу.— Да. Доброе. Истинное. Прекрасное.— Она протянула ему тонкую руку.— Верю, друг мой, что мы с вами найдем общий язык.

Дидерих, понимая, что́ несет в себе это мгновенье, смело приложился к пальчикам фрау фон Вулков и щелкнул каблуками. Прижав руку к сердцу, он сказал проникновенным голосом:

— Поверьте мне, графиня...

Вулковская племянница и юный Шпрециус остались наедине, он наконец узнал в ней униженную графиню, она в нем — неимущего кузена; им было уже известно, что они предназначены друг для друга, и вот они вдвоем мечтают о будущем блеске, о зале, сверкающем позолотой, где они вместе с другими избранниками смиренно и гордо будут упиваться лучами монаршей милости...

Президентша вздохнула.

— Вам я могу признаться,— произнесла она.— Я здесь очень тоскую по двору. Если по рождению принадлежишь, подобно мне, к дворцовой знати... А теперь...

Дидерих увидел за стеклами ее пенсне две слезинки. Эта печаянно открывшаяся ему трагедия из жизни аристократов так его потрясла, что он стал во фронт.

— Ваше сиятельство,— сказал он сдержанно и отрывисто.— Значит, тайная графиня?..— Он испугался и умолк.

Как раз в эту минуту бургомистр своим бесцветным голосом говорил на ухо фон Вулкову, что Кюлеман не будет больше выставлять свою кандидатуру, а на его место свободомыслящие собираются выдвинуть доктора Гейтейфеля. Он соглашался с Вулковом, что надо уже сейчас, пока еще никто не ждет роспуска рейхстага, предпринять необходимые контрмеры...

Дидерих осмелился наконец прервать молчание, он сказал тихо и бережно:

— Но надеюсь, графиня, что все кончится хорошо? Их ведь никто больше не разлучит?

Фрау фон Вулков овладела собой и с большим тактом перешла от интимного тона душевных излияний к тону непринужденной болтовни:

— Боже мой, господин доктор, что вы хотите, этот злосчастный денежный вопрос! Разве могут наши молодые люди быть счастливы?

— Почему бы им не обратиться в суд? — воскликнул Дидерих, оскорбленный в своем чувстве законности. Но фрау фон Вулков поморщилась:

— Fi donc! [1] Это привело бы к тому, что молодой граф, то

[1] Что вы! (*франц.*)

есть Ядассон, объявил бы своего отца психически неполноценным. В третьем акте, который вы сейчас увидите, Ядассон угрожает этим лейтенанту в сцене, по-моему, удавшейся мне. Неужели лейтенанту взять такой грех на душу? А дробление родового имущества? В вашей среде это, быть может, не встретило бы особых возражений. Но у нас, видите ли, многое невозможно.

Дидерих поклонился.

— Высшие сферы руководствуются понятиями, недоступными нашему пониманию. Да, пожалуй, и пониманию судей.

Президентша кротко улыбнулась:

— И вот лейтенант очень деликатно отказывается от тайной графини и женится на дочери фабриканта.

— На Магде?

— Разумеется. А тайная графиня выходит за учителя музыки. Так угодно высшим силам, дорогой доктор, перед которыми нам,— в голосе ее послышались глухие нотки,— остается лишь склониться.

У Дидериха было еще одно сомнение, но он затаил его. Почему бы лейтенанту не жениться на молодой графине без приданого? Дидериха, с его мягким, чувствительным сердцем, такая идиллия вполне удовлетворила бы. Но увы! В нынешние суровые времена иные взгляды на вещи.

Занавес опустился, и публика, поборов волнение, вызванное спектаклем, наградила щедрыми аплодисментами молодого лейтенанта и служанку,— они, конечно, долго еще будут страдать от своей тяжелой участи, ведь они лишены доступа ко двору.

— Это действительно ужасно! — вздыхали фрау Гарниш и фрау Кон.

Возле буфетной стойки Вулков сказал в заключение беседы с бургомистром:

— Мы еще вправим мозги этой банде! — Затем тяжело опустил свою лапищу на плечо Дидериху.— Ну что, милейший доктор, моя жена уже пригласила вас на чашку чая?

— Само собой, и приходите поскорее! — Фрау фон Вулков протянула ему руку для поцелуя, и Дидерих, совершенно счастливый, удалился. Сам Вулков выразил желание встретиться с ним! Он готов плечом к плечу с Дидерихом завоевать Нетциг!

Пока супруга президента, окруженная восхищенными зрителями, принимала в зеркальной галерее поздравления, Дидерих обрабатывал общественное мнение. Гейтейфель, Кон, Гар-

ниш и еще несколько человек мешали ему. Они — правда, очень сдержанно — давали понять, что пьеса, на их взгляд, чистейшая дичь. Дидериху пришлось выразительно намекнуть на превосходный третий акт, и только тогда они замолчали. Он подробно продиктовал все, что ему было известно о драматурге, редактору Нотгрошену, который очень спешил,— номер газеты уже верстался.

— Если насочините какого-нибудь вздору, я отхлещу вас по щекам вашей же стряпней! Поняли, вы, писака?

Нотгрошен поблагодарил и простился. Кюнхен, слышавший весь разговор, ухватил Дидериха за пуговицу и визгливо затараторил:

— Послушайте, драгоценнейший! Одно только вы должны были еще сказать нашему господину обер-сплетнику...

Редактор, услышав свое прозвище, вернулся, а Кюнхен продолжал:

— Дивное творенье достопочтеннейшей фрау фон Вулков было уже однажды предвосхищено, и не кем иным, как нашим непревзойденным мастером Гете в его «Побочной дочери». А высшей похвалы, надо полагать, нельзя и придумать для писательницы.

Дидерих не был уверен в полезности кюнхенского открытия, но счел излишним поделиться с ним своими сомнениями. Старикашка уже несся с разлетающимися волосами сквозь толпу; издали видно было, как он шаркает ножкой, излагая фрау фон Вулков результаты своих сравнительных изысканий. И, разумеется, он потерпел такое фиаско, какого даже Дидерих не мог предугадать. Президентша отрезала ледяным тоном:

— Вы что-то напутали, господин профессор. И вообще разве «Побочная дочь» сочинение Гете? — спросила она, недоверчиво морщась.

Кюнхен уверял ее, что тут не может быть ошибки, но тщетно.

— Во всяком случае, вы читали в журнале «Семейный очаг» мой роман, а я его только инсценировала. Все мои произведения строго оригинальны. Я полагаю, что присутствующие,— она обвела взглядом окруживших ее нетцигчан,— в корне пресекут злостные слухи.

Она кивком отпустила Кюнхена, и он отошел, судорожно ловя открытым ртом воздух. Дидерих, с ноткой презрительной жалости в голосе, напомнил ему о Нотгрошене, который уже испарился вместе с опасными сведениями, и Кюнхен бросился за редактором, чтобы предупредить катастрофу. Окинув взглядом

зал, Дидерих увидел, что картина переменилась: публика теснилась не только вокруг президентши, но и вокруг старого Бука. Это было поразительно, но таковы уж люди; они раскаивались, что дали сегодня волю своим инстинктам. Один за другим они благоговейно подходили к старику, и на лицах их читалось желание забыть о случившемся. Так велика была, невзирая на тяжелые потрясения, власть исстари признанной традиции! И Дидерих решил, что лучше не отставать от большинства, это может обратить на себя внимание. Удостоверившись, что Вулков уехал, он направился к Буку засвидетельствовать свое почтение. Возле старика, который сидел в мягком кресле, специально для него поставленном у самой сцены, в эту минуту никого не было; его рука как-то удивительно трогательно свисала с подлокотника. Он поднял глаза на Дидериха.

— Вот и вы, мой дорогой Геслинг. Я часто сожалел о том, что вы ни разу больше не зашли...— сказал он очень просто и благожелательно.

Дидерих мгновенно почувствовал, как на глаза у него навертываются слезы. Он протянул старику руку, обрадовался, что Бук задержал ее в своей, и забормотал что-то о делах, заботах и, «честно говоря»,— его обуяла внезапная потребность в честности,— о сомнениях и колебаниях.

— Как хорошо,— сказал старик,— что мне не приходится только догадываться о ваших сомнениях и колебаниях, а вы сами признаетесь в них. Вы молоды и, конечно, поддаетесь господствующим умонастроениям. Мне не хотелось бы впасть в старческую нетерпимость.

Дидерих опустил голову. Он понял — это прощение за судебный процесс, стоивший гражданской чести зятю старого Бука; у него перехватило дыхание от такого великодушия и... такого безграничного презрения. Старик, правда, прибавил:

— Я уважаю борьбу и хорошо знаю, что это такое, вот почему я далек от ненависти к тем, кто борется против моих близких.

Дидерих, боясь, что эта тема слишком далеко заведет их, стал от всего отпираться. Он, дескать, сам не знает... Иной раз тебя вовлекают в такие дела... Старик выручил его:

— Понимаю. Вы ищете себя и еще не нашли.

Его седая остроконечная бородка нырнула в шелковый шарф, а когда вынырнула, Дидерих понял, что разговор примет новый оборот.

— Вы так еще и не купили соседний дом? — спросил господин Бук.— Ваши планы, по-видимому, изменились?

Дидерих подумал: «Он все знает»,— и ему уже казалось, что раскрыты все его тайные помыслы.

Старик хитро и добродушно усмехнулся:

— Вы, очевидно, хотите сначала перевести свою фабрику на новое место и уже затем расширить ее? Мне представляется, что вы задумали продать свой дом и только ждете подходящего случая... а у меня как раз наметился такой случай...— И, внезапно взглянув в глаза Дидериху, он сказал: — Город предполагает учредить приют для грудных младенцев.

«Старый пес! — подумал Дидерих.— Да это же ставка на смерть его лучшего друга». В то же мгновение у него блеснула идея: вот оно! Теперь он знает, что предложить Вулкову для завоевания Нетцига.

— Нет, нет, господин Бук,— пробормотал он.— Отцовское наследие я продавать не собираюсь.

Старик еще раз взял его руку в свою.

— Я не хочу быть искусителем. Ваше уважение к памяти отца делает вам честь.

«Осел»,— подумал Дидерих.

— Что ж, придется нам подыскать другой участок. Быть может, вы нам посодействуете? Бескорыстное служение обществу, дорогой Геслинг, всегда очень ценно, даже если оно временно устремляется на ложный путь.— Он поднялся: — Если вы захотите выставить свою кандидатуру в гласные, обещаю вам поддержку.

Дидерих уставился на него, ничего не понимая. Глаза старика светились глубокой синевой, он предлагал Дидериху почетный пост, с которого Дидерих спихнул его зятя. Остается одно из двух: либо плюнуть, либо сгореть со стыда. Дидерих предпочел щелкнуть каблуками и корректно поблагодарить.

— Вот видите,— ответил господин Бук на изъявление благодарности,— служение обществу перебрасывает мост от молодого поколения к старому и даже к тем, кого уже нет в живых.

Описав рукой широкий полукруг, он указал на стены: из нарисованных глубин смотрели прошлые поколения, запечатленные живописцами в веселых, уже выцветающих тонах. Старик Бук улыбнулся девушке в кринолине и одновременно своей племяннице и Мете Гарниш, проходившим мимо. Когда Бук повернулся лицом к старому бургомистру, который выходил из городских ворот, окруженный детьми и цветами, Дидериха поразило необычайное сходство между обоими. Бук показывал то на одну, то на другую фигуру стенной росписи.

— Об этом господине я много слышал. А с этой дамой был лично знаком. Разве не похож тот священник на пастора Циллиха? Нет, между нами не может быть серьезных расхождений. Мы, люди доброй воли, связаны обетом стремиться ко всеобщему прогрессу; связаны хотя бы теми, кто оставил нам «Гармонию».

«Хороша гармония, нечего сказать»,— подумал Дидерих, помышляя об одном: под каким бы предлогом улизнуть. Старик, по обыкновению, перешел от деловых разговоров к сентиментальной болтовне. «Как ни верти, а писака проглядывает»,— снова сказал про себя Дидерих.

Мимо них прошли Густа Даймхен и Инга Тиц. Густа держала Ингу под руку, а та расписывала волнения, которые ей пришлось пережить за кулисами.

— А какой был ужас, когда они там завели: кофе, чай, кофе, чай...

— В следующий раз Вольфганг сочинит драму получше этой,— уверяла Густа,— и я получу в ней роль.

Инга выдернула руку и отстранилась от Густы, в глазах у нее стоял испуг.

— Вот как? — произнесла она, и наивное оживление, игравшее на пухлом лице Густы, сразу померкло.

— А почему бы и нет? — возмущенно спросила она плачущим голосом.— Чего ты так вскинулась?

Дидерих, который слышал вопрос Густы и мог бы ей ответить, поспешно повернулся к старому Буку. Тот продолжал болтать:

— Тогда, как и теперь, у нас были друзья, но были и враги. Хотя бы вон тот изрядно слинявший железный рыцарь, это пугало, которым стращают детей, вон там, в нише у городских ворот. Жестокий дон Антонио Манрике, генерал от кавалерии, в Тридцатилетнюю войну разоривший наш бедный Нетциг: если бы не Рикештрассе, названная по твоему имени, Манрике, последний его отзвук давно бы развеялся... Он тоже был один из тех, кому не по вкусу пришлось наше свободомыслие и кто стремился сокрушить нас.

Старик вдруг затрясся от беззвучного смеха и взял Дидериха за руку.

— Вам не кажется, что он похож на нашего фон Вулкова?

Дидерих придал своему лицу еще более сдержанное выражение, но старик ничего не замечал, он оживился, ему пришла в голову какая-то новая мысль. Он повел Дидериха в уголок, загороженный кадками с комнатными растениями, и показал две фигуры, изображенные на стене: пастушок страстно

простирает руки к пастушке, между ними ручей. Пастушка собирается перепрыгнуть к нему.

— Как по-вашему, соединятся они? — зашептал старик.— Это знают теперь лишь немногие, я в том числе.— Он оглянулся по сторонам — не наблюдают ли за ними — и вдруг открыл маленькую дверцу, которую непосвященный никогда бы не обнаружил. Пастушка на дверях двинулась навстречу возлюбленному. Еще мгновенье, и в темноте за дверью она непременно упадет в объятья пастушка... Старик указал в глубь комнаты:

— Она называется «Приют любви».

Свет фонаря, который горел где-то во дворе, падал через незанавешенное окно на зеркало и тонконогую кушетку. Старик вдыхал удушливый воздух, хлынувший из комнаты, невесть сколько времени не проветриваемой, и блаженно улыбался каким-то своим, далеким воспоминаниям. Постояв немного, он прикрыл маленькую дверцу.

Дидерих же, которого все это не очень занимало, увидел нечто, сулившее более сильные ощущения. Это был член окружного суда Фрицше; да, Фрицше. По-видимому, отпуск его кончился, он вернулся с юга и явился на вечер, правда с опозданием и без Юдифи Лауэр,— ее-то отпуск затягивался на все время, пока супруг сидит за решеткой. Где бы Фрицше ни проходил, как-то странно дергаясь и тем выдавая свое смущение и неловкость, вслед за ним несся шепоток, и все, кто с ним раскланивался, украдкой косились на старика Бука. Фрицше, как видно, понимал, что ему необходимо что-то предпринять, он подтянулся и решительно двинулся в атаку. Старик, никак не ожидавший его появления, вдруг увидел его перед собой. Он так побледнел, что Дидерих испугался и уже протянул руки, готовый поддержать его. Но все обошлось благополучно, старик овладел собой. Он стоял, напряженно выпрямившись, судорожно откинув назад плечи, и холодно смотрел прямо в лицо человеку, совратившему его дочь.

— Так скоро вернулись, господин советник? — громко спросил он.

Фрицше сделал попытку весело улыбнуться.

— Прекрасная погода была нынче на юге. Не то что в наших краях! А искусство!

— Здесь мы видим лишь его слабый отблеск.— И старик, не спуская глаз с Фрицше, указал на стены. Его выдержка произвела впечатление на многих, кто следил за ним, подстерегая мгновенье слабости. Он стоял неколебимо, он держал себя с достоинством, а ведь в его положении была бы простительна из-

вестная несдержанность. Он держал себя с достоинством, один за всех — за свою разрушенную семью, за тех, кто некогда следовал за ним и теперь покинул его. В это мгновенье он снискал симпатии кое-кого из присутствующих,— и это было все, что он выиграл взамен столь многого, утраченного им... Дидерих слышал, как он сказал сухо и четко:

— Лишь во имя сохранения этого дома и этой живописи я добился, чтобы в план реконструкции старого города были внесены изменения. Пусть это всего лишь картины прошлого, но художественное произведение, увековечивающее свою эпоху и ее нравы, вправе рассчитывать на вечность.

И Дидерих незаметно скрылся — ему стыдно было за Фрицше.

Теща бургомистра спросила у него, что сказал старик по поводу «Тайной графини». Дидерих стал припоминать, и оказалось, что тот даже не упомянул о пьесе. Оба были разочарованы.

Вдруг Дидерих заметил, что Кетхен Циллих бросает на него насмешливые взгляды, но уж кому-кому, а ей бы следовало держать себя тише воды, ниже травы.

— Интересно знать, фрейлейн Кетхен,— довольно громко сказал он,— что вы думаете о «Зеленом ангеле»?

— О зеленом ангеле? — повторила она еще громче.— Это вы, что ли? — И рассмеялась ему в лицо.

— Вам бы не мешало быть поосторожнее,— сказал он, наморщив лоб.— Я считаю своим долгом поговорить с вашим уважаемым отцом.

— Папа! — тотчас же крикнула Кетхен.

Дидерих испугался. К счастью, пастор Циллих не слышал.

— Я, конечно, немедленно рассказала папе о нашей маленькой прогулке. Что в ней зазорного, ведь это были только вы.

Она чересчур зарвалась. Дидерих засопел:

— А для любителей красивых ушей там был Ядассон.— Видя, что попал в цель, он прибавил: — В следующий раз, когда мы опять встретимся в «Зеленом ангеле», мы выкрасим ему уши в зеленый цвет, это создает настроение.

— Вы думаете, вся суть в ушах? — спросила она, взглянув на него с таким безмерным презрением, что он решил любыми средствами проучить ее. Они стояли в углу, в том самом, где были кадки с комнатными растениями.

— Как вы думаете,— спросил он,— удастся пастушке перепрыгнуть через ручей и осчастливить пастуха?

— Овца вы,— сказала она. Дидерих пропустил ее слова мимо ушей, подошел к стене и стал ее ощупывать. Вот и дверь.

— Видите? Она прыгает!

Кетхен подошла поближе и, с любопытством вытянув шею, просунула голову в дверь. Вдруг — толчок в спину, и она очутилась в потайной комнате. Дидерих захлопнул дверь и, прерывисто дыша, молча обхватил Кетхен.

— Выпустите меня, я буду царапаться! — взвизгнула она и хотела поднять крик. Но ее вдруг разобрал смех, и она обессилела. А Дидерих все подталкивал и подталкивал ее к кушетке. Рукопашная с Кетхен, ее обнаженные руки и плечи окончательно лишили его самообладания.

— Ну вот,— пыхтел он,— теперь я вам покажу.— При каждой отбитой пяди он повторял: — Теперь я вам покажу овцу! Ага, кто считает девушку порядочной и питает серьезные намерения, тот — овца. Ну, я вам покажу овцу.

Он еще поднатужился и повалил ее на кушетку.

— Ой! — крикнула она и задохнулась от смеха.— Что еще вы мне покажете?

Вдруг она стала отбиваться всерьез и вырвалась; в полосе света от газового фонаря, падавшего через незанавешенное окно, она сидела встрепанная, разгоряченная, устремив взгляд на дверь. Дидерих повернул голову: на пороге стояла Густа Даймхен. Она ошеломленно уставилась на обоих; у Кетхен глаза чуть не выскочили из орбит, Дидерих, стоявший коленями на кушетке, едва не свернул себе шею... Густа притворила за собой дверь; решительными шагами она подошла к Кетхен.

— Потаскуха! — вырвалось у нее из глубины души.

— От такой же слышу! — быстро ответила Кетхен.

Густа задохнулась. Она ловила ртом воздух, она смотрела то на Дидериха, то на Кетхен так беспомощно и возмущенно, что в глазах у нее блеснули слезы.

— Фрейлейн Густа, это же только шутка,— сказал Дидерих.

Но его слова встретили плохой прием, Густа крикнула:

— Вас-то я знаю, от вас всего можно ждать!

— Вот как, ты его знаешь,— насмешливо протянула Кетхен.

Она встала, Густа шагнула ей навстречу. Дидерих, улучив удобный момент, с достоинством отступил в сторону, предоставив дамам самим переведаться друг с другом.

— И вот такое приходится видеть! — воскликнула Густа.

Кетхен в ответ:

— Ничего ты не видела. Чего ради вообще тебе смотреть?

Теперь и Дидериху все это показалось странным, тем более что Густа молчала. Кетхен явно брала верх. Высоко вскинув голову, она сказала:

— С твоей стороны это вообще странно. У кого так подмочена репутация, как у тебя!..

Густа сразу встревожилась.

— У меня? — протянула она.— Это почему же?

Кетхен приняла вид оскорбленной невинности, а Дидерих отчаянно перетрухнул.

— Сама знаешь. Мне совестно об этом говорить.

— Ничего я не знаю,— жалобно прохныкала Густа.

— Даже не верится, что на свете бывают такие вещи,— сказала Кетхен и презрительно наморщила нос.

— Да что ж это, наконец, такое! — вспылила Густа.— Что вы все взъелись на меня?

Дидерих предложил:

— Давайте лучше уйдем отсюда.

Но Густа топнула ногой:

— Я с места не двинусь, пока не узнаю, в чем дело. Весь вечер пялятся на меня так, будто я бабушку родную зарезала.

Кетхен отвернулась:

— Ничего удивительного. Будь довольна, если тебя вообще не вышвырнули отсюда вместе с твоим сводным братом Вольфгангом.

— С кем?.. С моим сводным братом?.. Почему братом?

В глубокой тишине слышно было, как тяжело дышит Густа; она обводила комнату блуждающим взором. И вдруг поняла.

— Какая низость! — в ужасе крикнула она.

По лицу Кетхен расползлась блаженная улыбка. А Дидерих от всего открещивался и уверял, что он здесь ни при чем. Густа показала пальцем на Кетхен.

— Это все вы, негодницы, выдумали! Вы завидуете моим деньгам!

— Как же! — сказала Кетхен.— Кому нужны деньги с такой придачей?

— Ведь это все неправда! — взвизгнула Густа, бросилась ничком на кушетку и горестно заплакала.— О боже, боже, что ж это такое!

— Теперь ты понимаешь,— сказала Кетхен без тени сочувствия.

Густа всхлипывала все громче. Дидерих дотронулся до ее плеча.

— Фрейлейн Густа, вы ведь не хотите, чтобы сюда сбежались люди.— Он пытался утешить ее.— Все это одни догадки! Сходства между вами никакого.

Но такое утешение лишь подхлестнуло Густу. Она вскочила и перешла в атаку.

— Ты... ты вообще известная птичка,— зашипела она в лицо Кетхен.— Я всем расскажу, что видела!

— Так тебе и поверят! Так и поверят! Таким, как ты, ни одна душа не поверит. А обо мне все знают, что я порядочная девушка.

— Порядочная! Обдерни хоть юбку!

— С такой низкой особой...

— Можешь сравниться только ты.

Обе вдруг испугались, замолкли на полуслове и как вкопанные застыли друг против друга с искаженными от страха и ненависти толстощекими лицами, очень похожие друг на друга. Выпятив грудь, вздернув плечи, руки в боки, они надулись так, что, казалось, их воздушные бальные платья вот-вот лопнут. Густа еще раз предприняла вылазку:

— А я все равно расскажу!

Но Кетхен закусила удила:

— В таком случае поторопись, не то я опережу тебя и повсюду раззвоню, что не ты, а я нашла эту дверь и застукала здесь вас обоих.

В ответ Густа только заморгала. Тогда Кетхен, внезапно протрезвев, прибавила:

— Должна же я думать о своей репутации, для тебя-то все это, разумеется, уже не имеет значения.

Дидерих встретился глазами с Густой, взгляд его скользнул по ее фигуре и нашел сверкавший на мизинце бриллиант, который они вместе выудили в тряпье. Он рыцарски улыбнулся, а Густа покраснела и почти вплотную придвинулась к нему, точно хотела прильнуть. Кетхен кралась к дверям. Склонившись над плечом Густы, Дидерих тихо сказал:

— Однако ваш жених надолго оставляет вас в одиночестве.

— Ах, что о нем толковать,— ответила она.

Он еще ниже склонил голову и прижался подбородком к плечу Густы. Она не шевелилась.

— Жаль,— сказал он и так неожиданно отступил, что Густа едва не упала. Она вдруг поняла, что ее положение коренным образом изменилось. Ее деньги уже не козырь, цена такому

мужчине, как Дидерих, куда выше. В глазах ее появилось жалкое выражение.

— На месте вашего жениха,— сдержанно сказал Дидерих,— я действовал бы иначе.

Кетхен с величайшей осторожностью прикрыла за собой дверь и вернулась.

— Знаете, что я вам скажу? — Она приложила палец к губам.— Третье действие началось и, думаю, давно уже.

— О боже! — сказала Густа, а Дидерих заключил:

— Значит, мы в ловушке.

Он обшарил стены, ища запасной выход: даже отодвинул кушетку. Не найдя второй двери, он рассердился:

— Это и вправду настоящая ловушка. И ради такого вот старого барака господин Бук обошел при реконструкции эту улицу. Он у меня дождется, что я ее снесу! Мне бы только в гласные пройти!

Кетхен хихикнула:

— Чего вы злитесь? Здесь очень мило. Что хочешь, то и делай.

И она прыгнула через кушетку. Густа вдруг оживилась и последовала за ней. Но она зацепилась и застряла. Дидерих подхватил ее. Кетхен тоже повисла на нем. Он подмигнул обеим.

— Ну, что теперь?

— Предлагайте,— сказала Кетхен.— Вам и карты в руки! Мы друг друга теперь узнали.

— И терять нам нечего,— сказала Густа.

Все трое прыснули со смеху. Но Кетхен пришла в ужас:

— Дети, в этом зеркале я похожа на свою покойную бабушку.

— Оно совсем черное.

— И все исцарапано.

Они прильнули лицами к стеклу и в тусклом свете газового фонаря увидели на стекле старые даты, сдвоенные сердца, вазы, фигурки амуров и даже могилы, и на каждом рисунке — какое-нибудь восклицание или ласкательное имя. Они с трудом разбирали слова.

— Здесь на урне... нет, что за чушь! — воскликнула Кетхен.— «Теперь лишь мы познаем страдание». Почему? Только потому, что они попали в эту комнату? Вот ненормальные!

— Зато мы вполне нормальны,— заявил Дидерих.— Фрейлейн Густа, дайте ваш бриллиант!

Он нацарапал три сердца, сделал надпись и предложил девушкам прочесть. Когда они с визгом отвернулись, он гордо сказал:

— Недаром же комната зовется «Приют любви»!

Внезапно у Густы вырвался крик ужаса:

— Там кто-то подсматривает!

И правда, из-за зеркала высовывалось мертвенно-бледное лицо!.. Кетхен бросилась к дверям.

— Идите сюда,— позвал Дидерих.— Это же нарисовано.

Зеркало с одной стороны отделялось от стены, он повернул его еще немного. И теперь стала видна вся фигура.

— Это все та же пастушка, которая прыгала через ручей!

— Все уже свершилось,— сказал Дидерих, так как пастушка сидела и плакала. На задней стенке зеркала виден был удаляющийся пастушок.

— А вот и выход! — Дидерих показал на полоску света, проникавшую сквозь щель, и пошарил по стене.— Когда все свершилось, открывается выход.— С этими словами он прошел вперед.

— Со мной ничего еще не свершилось,— насмешливо бросила ему вслед Кетхен.

— И со мной тоже...— печально проронила Густа.

Дидерих прикинулся глухим, он установил, что они находятся в маленьком салоне позади буфета. Поспешно добравшись до зеркальной галереи, он смешался с толпой, только что хлынувшей из зрительного зала. Публика еще была под впечатлением трагической участи тайной графини, которой все же пришлось соединиться узами брака с учителем музыки. Фрау Гарниш, фрау Кон, теща бургомистра — у всех были заплаканные глаза. Ядассон, уже без грима, явившийся пожать лавры, встретил у дам плохой прием.

— Это вы во всем виноваты, господин асессор! Она все-таки ваша родная сестра!

— Простите, сударыни! — И Ядассон произнес речь в защиту своих прав. Ведь он законный наследник графских владений! Мета Гарниш сказала:

— Но у вас был слишком вызывающий вид!

Тотчас же все взгляды устремились на его уши; послышались смешки. И Дидерих, в предчувствии близкой мести, со сладостно бьющимся сердцем взял под руку Ядассона, пронзительным голосом вопрошавшего, в чем же, наконец, дело,— и повел

его туда, где президентша, прощаясь с Кунце, выражала майору свою живейшую признательность за его услуги, которые так способствовали успеху пьесы. Увидев Ядассона, она попросту показала ему спину. Ядассон так и примерз к полу, Дидерих не мог сдвинуть его с места.

— Что с вами? — осведомился он с наигранным участием.— Ах да, фрау фон Вулков. Вы ей не понравились. Прокурором, сказала она, вам не быть. Очень уж торчат у вас уши.

Дидерих был ко всему готов, но такой чудовищной гримасы он не ожидал! Куда девалась высокомерная резкость, которую Ядассон всю жизнь вырабатывал в себе!

— Я это знал,— прошептал он, но в этих словах, сказанных шепотом, слышался мучительный вопль... Вдруг он весь задергался, точно приплясывал на месте, и закричал: — Вам смешно, драгоценнейший! Но вы и не подозреваете, чем владеете. Ваша внешность — капитал. Дайте мне ваше лицо, ничего больше, и через десять лет я министр!

— Но-но! — воскликнул Дидерих.— Всего лица вам и не нужно, достаточно одних ушей.

— А вы не продадите их мне? — спросил Ядассон и так взглянул на Дидериха, что тот не на шутку струхнул.

— А разве это возможно? — неуверенно возразил он.

Ядассон с циничной усмешкой на губах уже подходил к Гейтейфелю.

— Господин доктор, вы ведь специалист по ушам.

Гейтейфель рассказал, что и в самом деле,— пока, правда, лишь в Париже,— такие операции делаются: уши можно уменьшить вдвое.

— Да их и не к чему убирать целиком,— заметил Гейтейфель.— Половина еще вам пригодится.

Ядассон уже вполне овладел собой.

— Остроумно! Бесподобно! Расскажу в суде. Ах, пройдоха! — И он похлопал Гейтейфеля по животу.

Дидерих тем временем решил уделить внимание сестрам, которые только что вышли из гардеробной, переодетые к балу. Их поздравляли с успехом, а они рассказывали о волнениях, пережитых на сцене.

— Чай, кофе, боже мой! У меня душа в пятки ушла,— говорила Магда.

Дидерих, на правах брата, тоже принимал поздравления. Он шел между сестрами. Магда опиралась на его руку, зато Эмми ему пришлось удерживать чуть ли не силой.

— Оставь эту комедию! — шипела она.

А он, расточая улыбки и приветствия, в промежутках глухо рычал ей на ухо:

— У тебя, правда, была маленькая роль, но будь довольна, что тебе хоть такую-то дали. Бери пример с Магды.

Магда кокетливо прильнула к нему, проявляя готовность изображать идиллию семейного счастья так долго, как он того пожелает.

— Детка,— сказал ей Дидерих с нежностью и уважением,— ты имела успех. Но, должен сказать, и я тоже.— Он даже сделал ей комплимент.— Ты сегодня прелесть как хороша. Даже досадно отдавать тебя за Киназта.

А после того, как президентша, уходя, благосклонно кивнула им, они уже встречали на своем пути только почтительнейшие улыбки. В зале очистили место для танцев; в углу за пальмами оркестр грянул полонез. Дидерих, грациозно склонившись перед Магдой, торжествующе повел ее сразу же за майором Кунце, открывшим бал. Так они прошли мимо Густы Даймхен. Густа не танцевала. Она сидела рядом с кривобокой фрейлейн Кюнхен и смотрела на них взглядом побитой собаки. От выражения ее лица Дидериху стало не по себе, как в ту минуту, когда он увидел Лауэра за тюремной решеткой.

— Бедная Густа,— сказала Магда.

Дидерих насупился.

— Да, да, это все оттого же.

— Но, в сущности, отчего же? — И Магда, прищурившись, посмотрела на него исподлобья.

— Не все ли равно, дитя мое, это так — и все тут.

— Дидель, пригласи ее на вальс.

— Не могу. Долг перед самим собой на первом месте.

И он сейчас же покинул зал. Молодой Шпрециус, теперь уже не лейтенант, а снова гимназист-выпускник, пригласил на танец кривобокую фрейлейн Кюнхен, которая весь вечер подпирала стены. Вероятно, он старался снискать благосклонность ее отца. Густа Даймхен осталась в одиночестве... Дидерих прошелся по боковым комнатам, где мужчины постарше играли в карты, получил длинный нос от фрейлейн Кетхен, которую застал с каким-то актером в укромном уголке за дверью, и добрался до буфета. Здесь за столиком расположился Вольфганг Бук; он зарисовывал в записной книжке мамаш, сидевших вдоль стен в ожидании дочерей.

— Очень талантливо,— сказал Дидерих.— А портрет своей невесты вы уже набросали?

— С этой стороны она для меня не представляет интере-

са,— ответил Бук таким безразличным голосом, что Дидерих даже усомнился, заинтересовало ли бы вообще жениха Густы то, что произошло в «Приюте любви».

— Вас никогда не поймешь,— разочарованно сказал он.

— Зато вас нетрудно понять,— заметил Бук.— Когда вы произносили на суде свой длинный монолог, мне хотелось вас зарисовать.

— Совершенно достаточно было вашей речи; в ней вы попытались, к счастью неудачно, скомпрометировать меня и в самом презренном виде представить всю мою деятельность.

Дидерих сверкнул испепеляющим оком. Бук с удивлением посмотрел на него.

— Вы, кажется, обиделись. А я ведь так хорошо говорил.— Он помотал головой и улыбнулся задумчиво и восхищенно.— Хотите, разопьем бутылочку шампанского? — сказал он.

— Мы с вами?..— переспросил Дидерих. Но все же не отказался.— Своим решением суд отметил, что ваши упреки адресованы не только мне, а всем немцам националистического образа мыслей. И я считаю этот вопрос исчерпанным.

— Что будем пить? Гейдзик? — Дидериху пришлось волей-неволей чокнуться с ним.— Вы не можете не признать, милейший Геслинг, что так основательно, как я, вашей особой никто еще не занимался... Скажу откровенно, роль, которую вы разыграли на суде, интересовала меня больше, чем моя собственная. Потом, дома, я сам исполнил ее перед зеркалом.

— Моя роль? Вы, вероятно, хотели сказать — мои убеждения. По-вашему, правда, характерная фигура нашего времени — актер.

— Я тогда имел в виду... другого. Но вы видите, что за объектами для наблюдения мне так далеко ходить не приходится. Если бы завтра мне не надо было защищать прачку, якобы укравшую у Вулковых кальсоны, я, может быть, сыграл бы Гамлета. Ваше здоровье!

— Ваше здоровье! Для этого вам, во всяком случае, нет нужды обзаводиться убеждениями.

— Боже ты мой, да они у меня есть. Но никогда не менять их?.. Значит, вы советуете мне стать актером? — спросил Бук. Дидерих уже открыл было рот, чтобы одобрить намерения Бука, но в это мгновенье вошла Густа, и он покраснел: именно о ней он и подумал, когда Бук задал свой вопрос.

— Тем временем перестоится мой горшок с колбасой и капустой, а ведь это такое вкусное блюдо,— мечтательно сказал Вольфганг.

Густа, бесшумно подкравшись сзади, закрыла ему глаза руками и спросила:

— Кто это?

— Оно самое,— сказал Бук и легонько шлепнул ее.

— У вас здесь, видно, интересный разговор? Может, мне уйти? — спросила Густа.

Дидерих поспешил принести ей стул; но, честно говоря, он предпочел бы остаться вдвоем с Буком: лихорадочный блеск ее глаз не предвещал ничего доброго. Она говорила быстрее обычного:

— В сущности, вы одного поля ягода. Только почему-то чинитесь, церемонии разводите.

— Это взаимное уважение,— сказал Бук.

Дидерих смутился, но тут с языка у него сорвалось нечто такое, чему он и сам удивился:

— Вы понимаете, фрейлейн Густа, когда мы расстаемся с вашим уважаемым женихом, я злюсь на него, но при следующей встрече опять ему рад.— Он выпрямился.— Должен сказать, что, не будь я националистом, он бы меня им сделал.

— Зато будь я националистом,— мягко улыбаясь, молвил Бук,— он бы меня живо отвадил. В этом вся прелесть.

Но Густа была явно чем-то встревожена. Она была бледна и нервно глотала слюну.

— Я хочу тебе кое-что сказать, Вольфганг. Держу пари, тебе сделается дурно.

— Господин Розе, подайте нам вашего генесси! — крикнул Бук.

Он смешивал коньяк с шампанским, а Дидерих вцепился в руку Густы и, так как бальный оркестр в это мгновение оглушительно загремел, умоляюще шепнул:

— Не глупите!

Она пренебрежительно улыбнулась:

— Доктор Геслинг трусит! Он находит эту сплетню слишком подлой, по-моему же, она просто уморительна.— И Густа громко рассмеялась.— Как тебе это нравится? Говорят, будто твой отец и моя мать... Ты понимаешь? И поэтому якобы мы с тобой... ты понимаешь?

Бук медленно повернул голову, потом ухмыльнулся:

— А хотя бы и так.

Густа уже не смеялась.

— То есть, что значит хотя бы и так?

— А то, что если нетцигчане верят в нечто подобное, значит, это им не в диковинку, и нечего волноваться.

— Пустые слова,— отрезала Густа.— От них ни тепло, ни холодно.

Дидерих решил отмежеваться от такой точки зрения.

— Поскользнуться может всякий. Но никто не может безнаказанно пренебречь мнением окружающих.

— Он все думает,— вставила Густа,— что рожден не для этого мира.

Дидерих в тон ей:

— Времена нынче суровы. Кто не защищается, тот погибает.

Впадая в истерический восторг, Густа выкрикнула:

— Доктор Геслинг не то что ты! Он за меня вступился! У меня есть доказательство, я об этом узнала от Меты Гарниш; я ее вынудила заговорить. Он вообще единственный, кто за меня заступился. На твоем месте он проучил бы тех, кто осмеливается обливать меня грязью.

Дидерих кивнул, как бы подписываясь под этими словами. Бук вертел перед собой бокал, глядя на свое отражение в стекле. Вдруг он резко отодвинул его.

— А кто вам сказал, что у меня нет желания как следует проучить кого-нибудь одного — так вот выхватить одного, не выбирая,— ведь почти все тут одинаково безмозглы и гнусны.

Он закрыл глаза. Густа пожала голыми плечами.

— Болтовня, они вовсе не глупы, они знают, чего хотят. Эти дураки умных за пояс заткнут,— вызывающе объявила она, а Дидерих иронически кивнул. Но тут Бук поднял на него глаза, из которых вдруг точно глянуло безумие. Судорожно водя дрожащими кулаками вокруг шеи, он заговорил:

— Если же...— он вдруг охрип,— если же я схвачу за горло того мерзавца, который все это плетет, который воплощает в себе все, что есть низменного и злого в людях; если я схвачу за горло его, этот собирательный образ всего бесчеловечного, всего недочеловеческого...

Дидерих, белее своей бальной сорочки, бочком соскользнул со стула и медленно попятился назад. Густа вскрикнула, вскочила и в страхе прижалась к стене.

— Это все коньяк! — крикнул ей Дидерих.

Но ярость, горевшая в глазах Бука, которые метались между Густой и Дидерихом и грозили лютой расправой, вдруг улеглась.

— Смесь-то мне теперь нипочем, привык,— сказал он.— Я только хотел показать, что мы и это можем.

Дидерих с шумом опустился на стул.

— Вы все-таки комедиант, и больше ничего,— сказал он возмущенно.

— Вы думаете? — спросил Бук, и веселые огоньки в его глазах разгорелись еще ярче.

Густа презрительно поморщилась.

— Ну, хорошо, развлекайтесь себе здесь, а я пойду,— сказала она и встала. Неожиданно перед ними вырос член суда Фрицше, он отвесил поклон сначала ей, потом Буку. Не разрешит ли господин адвокат протанцевать с его невестой котильон? Он говорил крайне вежливо, как бы примирительно. Бук сдвинул брови и ничего не ответил. Но Густа уже подала руку Фрицше.

Бук невидящими глазами поглядел им вслед, лоб его прорезала глубокая поперечная складка. «Да, да, милейший,— думал Дидерих,— удовольствие небольшое встретить господина, который только что совершил с твоей сестрой увеселительную поездку, а теперь уводит твою невесту, и ты совершенно бессилен помешать этому, потому что шумом только раздуешь скандал, тем более что твоя помолвка уже сама по себе скандальна».

Бук встрепенулся.

— А знаете,— сказал он,— только теперь мне по-настоящему захотелось связать себя брачными узами с фрейлейн Даймхен. Раньше я не видел в этом ничего из ряда вон выходящего, теперь же нетцигские жители придали моему сватовству особую пикантность.

— Вы находите? — выжал из себя Дидерих, озадаченный столь неожиданной реакцией.

— А почему бы нет? Мы с вами, два антипода, внедряем в здешнюю жизнь передовые течения нашей аморальной эпохи. Мы подхлестываем жизнь. Дух времени пока еще бродит по этому городу в войлочных туфлях.

— Мы дадим ему шпоры,— пообещал Дидерих.

— За шпоры!

— За шпоры! Но только за мои шпоры! — Испепеляющий взор...— Ваш скептицизм и бесхребетное мировоззрение не современны.— Дидерих шумно фыркнул.— Красоты духа нынче никому не нужны. Националистическому действию,— он стукнул кулаком по столу,— националистическому действию принадлежит будущее!

Бук снисходительно улыбнулся:

— Будущее? В том-то и дело, что это заблуждение. Националистическое действие! Вот уже сто лет, как оно отжило.

То, что мы видим и что нам еще предстоит увидеть, это его агония и смрад его разложения. Амбре не из приятных.

— От вас я ничего другого и не ожидал; вам ведь ничего не стоит втоптать в грязь самое святое.

— Святое! Неприкосновенное! Скажем сразу — вечное! Верно ведь? Вне идеалов вашего национализма люди больше никогда, никогда не будут жить. Прежде, возможно, и жили, в тот темный период истории, который еще не знал вас. А теперь вы вышли на арену, и миру, очевидно, дальше идти некуда. Воспитать националистическое чванство и взрастить ненависть между нациями — вот ваша цель, и нет ничего превыше ее.

— Мы живем в суровое время,— серьезно подтвердил Дидерих.

— Не столь суровое, сколь косное... Я не убежден, что люди, которым выпало на долю жить в Тридцатилетнюю войну, верили в нерушимость своего, тоже отнюдь не мягкого, времени. И я убежден, что те, кто страдал от произвола эпохи рококо, не считали его необоримым, иначе они не совершили бы революции. Где на просторах истории, доступных нашему обозрению, можно найти эпоху, которая объявила бы себя непреходящей и козыряла перед вечностью своей печальной ограниченностью? Которая суеверно клеймила бы каждого, сколько-нибудь ее опередившего? Быть чуждым национализму — это вызывает в вас скорее ужас, чем ненависть. Но бродяги, не помнящие родства, следуют за вами по пятам. Они там, в зале, взгляните!

Дидерих расплескал свое шампанское — так порывисто он оглянулся. Неужели Наполеон Фишер со своими единомышленниками ворвался сюда?.. Бук беззвучно от души хохотал.

— Не поймите меня буквально, я имел в виду тех безмолвных людей, что запечатлены на этих стенах. Почему у них такие веселые лица? Что дает им право легким шагом ступать по дорогам, усеянным цветами, и наслаждаться гармонией? О друзья! — Бук поднял бокал, глядя через головы танцующих на фрески.— О вы, друзья человечества и прекрасного будущего, люди широкой души, чуждые мрачному эгоизму националистического союза сородичей! О вы, души, объемлющие мир, вернитесь! Даже среди нас найдутся еще люди, которые ждут вас!

Он выпил свое вино. Дидерих с презрением заметил, что он плачет. Впрочем, Бук тут же лукаво прищурился.

— А вы, нынешнее поколение, наверное, и не знаете, что это за шарф повязан через плечо у старого бургомистра, так светло улыбающегося вон там, на заднем плане, среди должно-

стных лиц и пастушек? Краски шарфа поблекли; вы, конечно, воображаете, что это ваши национальные цвета? Нет, это цвета французской триколоры, трехцветного знамени. Новое в то время, оно не было знаменем одной страны, это были цвета зари, вставшей над всем человечеством. Носить эти цвета считалось доказательством наиболее благородных убеждений, или, как сказали бы вы,— строго корректных. Ваше здоровье!

Но Дидерих незаметно отодвинулся вместе со стулом и опасливо озирался по сторонам, не слышит ли кто эти речи.

— Вы пьяны,— пробормотал он и, чтобы спасти положение, крикнул: — Господин Розе, еще бутылку! — Он выпрямился и важно посмотрел на Бука.— Вы, повидимому, забыли, что потом был Бисмарк!

— И не он один,— сказал Бук.— Европу со всех сторон загоняли в национальные теснины. Допустим, такое явление было неизбежно. Допустим, за тесниной открывались обетованные просторы... Но вы-то разве следовали за вашим Бисмарком, пока он был прав? Нет, он силком тащил вас за собой, вы роптали на него. А теперь, когда вам следовало бы пойти дальше, чем пошел он, вы цепляетесь за его бессильную тень. Ибо обмен веществ у вас, националистов, совершается до отчаяния медленно. Пока вы смекнули, что перед вами великий человек, он уже перестал быть великим.

— Вы еще узнаете его! — посулил Дидерих.— Кровь и железо были и остаются самым действенным методом лечения! Сила выше права! — Возвещая этот символ веры, он весь побагровел. Но и Бук разгорячился.

— Сила! Власть! Власть нельзя вечно носить на острие штыка, словно колбасу на вертеле. В наши дни единственная реальная сила — это мир! Разыгрывайте комедию насилия! Бряцайте оружием перед воображаемыми врагами внешними и внутренними. К счастью, вам не дано свершать!

— Не дано! — Дидерих пыхтел так, точно изо всех сил раздувал огонь.— Его величество кайзер сказал: «Уж лучше пусть лягут костьми все восемнадцать армейских корпусов и сорок два миллиона жителей...»

— «Ибо, где реет германский орел...» — воскликнул Бук с неожиданным пылом, и еще неистовей: — «Никаких парламентских резолюций; армия — вот наш единственный оплот».

— «Вы призваны прежде всего оборонять меня от внешних и внутренних врагов!» — не отставал Дидерих.

— «Защищать от шайки изменников!» — орал Бук.— «Кучка людей...»

— «Недостойная называться немцами!» — подхватил Дидерих.

И оба хором:

— «Будь то отец родной или брат — расстреливать!»

Шум, поднятый ими, привлек внимание танцоров, заходивших в буфет промочить горло. Они позвали своих дам полюбоваться зрелищем героического опьянения. Даже заядлые картежники и те вставали из-за ломберных столов и заглядывали в буфет. Все с любопытством наблюдали за Дидерихом и его собутыльником; а они, раскачиваясь на стульях, судорожно уцепившись за край стола, с остекленелыми глазами и оскаленными зубами орали друг другу в лицо:

— «...врага, и это мой враг».

— «В стране есть лишь один властелин, второго я не потерплю!»

— «Я могу быть очень суров!»

Оба старались перекричать друг друга.

— «Ложная гуманность!»

— «Не помнящие родства бродяги — враги божественного миропорядка!»

— «Должны быть вырваны с корнем!»

В стену полетела бутылка.

— «Растопчу!»

— «Германский прах!.. С ночных туфель!.. Дни славы!..»

В это мгновение сквозь толпу зрителей ощупью пробралась девушка с завязанными глазами: это была Густа Даймхен. Ей полагалось таким образом найти себе кавалера. Она остановилась за спиной Дидериха, ощупала его и хотела увлечь за собой. Но он уперся, грозно повторяя: «Дни славы!» Она сдернула с глаз повязку, с ужасом посмотрела на него и позвала Магду и Эмми. Бук тоже понял, что, видимо, пора уходить. Незаметно поддерживая приятеля, он подталкивал его к выходу, но в дверях Дидерих все же еще раз повернулся к танцующей, глазеющей толпе и, хотя уже не способен был метать молнии остекленевшими глазами, крикнул, властно выпрямившись:

— Растопчу!

Тут его свели вниз и усадили в карету.

На следующий день Дидерих встал в двенадцатом часу с отчаянной головной болью и, выйдя в столовую, очень удивился, когда Эмми тотчас же с возмущенным видом покинула комнату. Но как только Магда осторожно намекнула ему на некоторые

подробности его вчерашнего поведения, он сразу сообразил, в чем дело.

— Неужели я это сделал? И при дамах? Существует много возможностей выказать себя истинным немцем. Но для дам приходится изыскивать особые... В таких случаях, разумеется, следует срочно самым чистосердечным и корректным образом загладить свою вину.

Хотя Дидерих с трудом глядел на свет божий, он все же твердо знал, что надо сделать. Пока ждали парадную пароконную карету, за которой послали, он облачился в сюртук, белый галстук и цилиндр; садясь, вручил кучеру составленный Магдой список и отправился в путь. Повсюду он спрашивал дам — некоторых даже вспугнул из-за стола и, не вполне отдавая себе отчет, кто перед ним — фрау Гарниш, фрау Даймхен или фрау Тиц,— произносил осипшим с перепоя голосом:

— В присутствии дам... Признаю... Как истинный немец... Самым чистосердечным и корректным образом...

В половине второго Дидерих был уже дома. Со вздохом сел за обед.

— Все улажено!

Послеобеденные часы он посвятил решению более трудной задачи. Он вызвал к себе на квартиру Наполеона Фишера.

— Господин Фишер,— начал он, жестом приглашая его сесть.— Я принимаю вас здесь, а не в конторе потому, что наши с вами дела Зетбира не касаются. Речь идет о политике.

Наполеон Фишер кивнул, словно хотел сказать, что он, мол, так и думал. Он, видно, уже привык к таким доверительным беседам, по первому же знаку Дидериха взял из коробки сигару и даже закинул ногу на ногу. Дидерих далеко не был так уверен в себе, он долго сопел носом и вдруг решился идти напролом, ринуться к цели с открытым забралом. Как Бисмарк.

— Я, видите ли, хочу пройти в гласные,— заявил он,— и для этого вы мне нужны.

Механик взглянул на него исподлобья.

— И вы мне нужны,— сказал он.— Я тоже хочу пройти в гласные.

— Не может быть! Вот так так! Я ждал всего, но...

— Небось опять припасли свои кроны? — Фишер оскалил желтые зубы. Он уже не прятал своей ухмылки.

Дидерих понял, что на этот счет сговориться с ним будет труднее, чем насчет изувеченной работницы.

— Понимаете, господин доктор,— сказал Наполеон,— одно из двух вакантных мест получит наша партия, это как пить дать. Второе, вероятно, достанется свободомыслящим. Если вы хотите свалить их, вам без нас не обойтись.

— Это-то я понимаю,— сказал Дидерих.— Правда, поддержка старика Бука мне обеспечена. Но, по всей вероятности, не все его единомышленники настолько наивны, чтобы голосовать за меня, если я пойду по списку свободомыслящих. Вернее будет и с вами вступить в соглашение.

— Я уже представляю себе, как это сделать,— сказал Наполеон.— Давно, знаете ли, я слежу за вами и думаю, когда же это господин доктор вступит на политическую арену? Не пора ли? — Наполеон пускал в воздух колечки сигарного дыма,— так уверенно он себя чувствовал! — Ваш процесс, господин доктор, а потом эта штука с ферейном ветеранов и прочее, все это хорошая реклама. Но для политического деятеля важно только одно — сколько голосов он соберет.

Наполеон делился с Дидерихом своим богатым опытом! Когда он заговорил о «националистическом балагане», Дидерих было вскинулся, но Наполеон быстро поставил его на место.

— Чего вы хотите? Мы в нашей партии питаем к национал-балаганщикам самые уважительные чувства. С вами куда лучше делать дела, чем со свободомыслящими. От буржуазной демократии скоро останутся рожки да ножки.

— А мы и те выкинем на свалку! — воскликнул Дидерих.

Союзники рассмеялись от удовольствия. Дидерих достал бутылку пива.

— Од-на-ко,— раздельно произнес социал-демократ и выложил свое условие: город должен помочь партии построить дом профессиональных союзов.

— И вы осмеливаетесь требовать это от националиста?! — взвился Дидерих.

— Если мы этого националиста не поддержим, какой ему прок от национализма? — хладнокровно и насмешливо ответил его собеседник.

Как ни ерепенился Дидерих, как ни молил о пощаде, ему все же пришлось выдать письменное обязательство в том, что он не только сам проголосует за постройку дома профессиональных союзов, но и обработает в этом направлении своих единомышленников. Расписавшись, он сразу же грубо объявил, что разговор окончен, и выхватил из рук Наполеона бутылку с пивом. Но механик только подмигнул ему. Пусть господин доктор

радуется, что ведет переговоры с ним, Наполеоном Фишером, а не с хозяином партийного кабачка Рилле. Этот Рилле выдвигает свою кандидатуру, и уж он бы на такой сговор не пошел. А в партии мнения разделились; таким образом, в интересах Дидериха поддержать кандидатуру Фишера через газеты, на которые он имеет влияние.

— Вы, господин доктор, пожалуй, спасибо не скажете, если посторонние люди, как Рилле, например, попробуют сунуть нос в ваши делишки. Мы с вами — дело другое. Нам не впервой вместе хоронить концы.

С этими словами он ушел, оставив Дидериха наедине со своими чувствами. «Нам не впервой вместе хоронить концы!» — повторил он про себя и весь затрясся от страха, который сменяли приступы гнева. И такое посмел сказать ему этот пес, его собственный кули, которого он в любой момент может выставить на улицу! Нет, честно говоря — не может, ведь они вместе хоронили концы. Голландер! Изувеченная работница! Одна тайна влечет за собой другую. Теперь Дидерих и его рабочий связаны друг с другом не только на фабрике, но и в политике. Уж лучше бы связаться с кабатчиком Рилле. Однако тогда возникает опасность, что Наполеон в отместку разгласит все их махинации. Дидерих понимал, что он вынужден помочь Фишеру устранить с его пути Рилле.

— Но мы еще поговорим с тобой! — И Дидерих потряс поднятым к потолку кулаком.— Пусть через десять лет, но я с тобой рассчитаюсь!

Теперь следовало нанести визит старику Буку и почтительно выслушать весь тот добродетельный и сентиментальный вздор, которым он его попотчует. И вот Дидерих — кандидат от партии свободомыслящих... В «Нетцигском листке», прямо под статьей, тепло рекомендовавшей избирателям доктора Геслинга как человека, гражданина и политического деятеля, была напечатана более мелким шрифтом заметка с резким протестом против кандидатуры рабочего Фишера. В социал-демократической партии, мол, достаточно самостоятельных хозяев,— что, к сожалению, надо признать,— и ей незачем навязывать простого рабочего в качестве коллеги представителям буржуазии. В частности, неужели доктор Геслинг будет поставлен перед необходимостью общаться в лоне городского самоуправления со своим собственным механиком?!

Этот выпад буржуазной газеты восстановил среди социал-демократов полное единодушие: даже Рилле волей-неволей был вынужден высказаться за Наполеона, и на выборах он прошел

с блеском. Дидерих получил от выставившей его партии только половину нужных ему голосов, спасли его социал-демократы. Новых гласных одновременно представили магистрату. Бургомистр доктор Шеффельвейс поздравил их, указав, что с одной стороны — энергичный представитель буржуазии, а с другой — целеустремленный рабочий... И уже на следующем заседании Дидерих принял деятельное участие в обсуждении очередных дел.

В повестке дня значился вопрос о канализации Геббельхенштрассе. Многие старые дома этого предместья и теперь, на пороге двадцатого столетия, все еще пользовались выгребными ямами; их ядовитые испарения то и дело проникали в соседние районы. В тот вечер, когда Дидерих попал в «Зеленый ангел», он сам в этом убедился. И он энергично восстал против финансовых и технических соображений одного из членов магистрата. Требование, предъявляемое во славу цивилизации, выше мелочных расчетов.

— «Германский дух — это культура»! — воскликнул Дидерих.— Милостивые государи! Так сказал ни более ни менее как его императорское величество кайзер. А по другому случаю его величество изволили выразиться так: «Подобному свинству нужно положить конец». Во всех начинаниях, где нужно проявить размах, пусть вдохновляет нас возвышенный пример его величества, а потому, милостивые государи...

— Ура! — послышался одинокий голос слева, и Дидерих увидел ухмыляющееся лицо Наполеона Фишера. Тогда он выпрямился, он метал испепеляющие взоры.

— Совершенно верно! — громко воскликнул он в ответ.— Лучшего заключения для моей речи не придумаешь! Его величеству кайзеру ура, ура, ура!

Смущенное молчание... Но так как социал-демократы смеялись, то среди правых несколько человек крикнуло «ура». Доктор Гейтейфель тем временем внес запрос, не является ли, в сущности, оскорблением величества упоминание его имени в такой странной связи? Председательствующий немедленно прекратил прения. В прессе же дебаты продолжались. «Глас народа» утверждал, что доктор Геслинг вносит в заседания магистрата дух самого гнусного раболепия, меж тем как «Нетцигский листок» называл его речь вдохновляющим выступлением пламенного патриота. И только когда на словопрения в прессе откликнулась берлинская «Локаль-анцейгер», всем стало ясно, что произошло событие большого значения. Газета его величества на все лады расхваливала мужественное выступление нетциг-

ского городского гласного доктора Геслинга. Она с удовлетворением отмечала, что новый дух решительного национализма, который проповедует кайзер, завоевывает всю страну. Призыв кайзера услышан, граждане пробуждаются от спячки, происходит размежевание между теми, кто за кайзера, и теми, кто против него. «Пусть доктор Геслинг послужит примером для многих славных представителей наших городов!»

Дидерих уже с неделю носил на груди этот номер газеты. И вот однажды, в ранний утренний час, он, сделав крюк, чтобы обойти Кайзер-Вильгельмштрассе, с заднего хода проскользнул в пивную Клапша, где его дожидались Наполеон Фишер и хозяин партийного кабачка Рилле. Хотя в пивной не было ни души, все трое забились в самый дальний угол. Фрейлейн Клапш не успела принести гостям пива, как ее точас же выпроводили: сам Клапш, подслушивавший у дверей, не мог ничего уловить, кроме шушуканья. Он попытался воспользоваться окошечком, через которое подавал пиво в часы оживленной торговли, но опытный в этом деле Рилле захлопнул окошечко у него перед носом. И все-таки Клапш успел заметить, что доктор Геслинг вскочил и как будто грозился уйти. К этому он, как националист, никогда руки не приложит!.. Позднее, однако, фрейлейн Клапш, которую позвали, чтобы расплатиться за пиво, уверяла, что она видела бумагу, где стояли подписи всех троих.

На тот же день Эмми и Магда получили от фрау фон Вулков приглашение на чашку чая, и Дидерих сопровождал их. Гордо подняв головы, шествовали брат и сестры по Кайзер-Вильгельмштрассе. Проходя мимо масонской ложи, Дидерих сдержанно приподнял цилиндр, приветствуя знакомых, которые стояли на крыльце и с удивлением смотрели, как он входит в резиденцию регирунгспрезидента. Часового он приветствовал фамильярным движением руки. В гардеробной брат и сестры встретили офицеров и их дам, с которыми обе фрейлейн Геслинг были уже знакомы. Звякнув шпорами, лейтенант фон Брицен помог Эмми снять пальто; она поблагодарила его через плечо, что твоя графиня, и наступила Дидериху на ногу: помни, мол, где находишься, и не поскользнись. И в самом деле, когда лейтенант фон Брицен согласился наконец пройти первым в гостиную, когда кончились восторженные расшаркивания перед президентшей, которая представила Дидериха всему обществу, какая же почетная и опасная задача встала перед ним — сидеть на легком стульчике, втиснувшись между двумя дамскими туале-

«Верноподданный»

тами, держать на весу чашку чая и в то же время с очаровательной улыбкой принимать и передавать вазу с пирожными, а между двумя глотками не забыть сказать несколько любезных слов о выдающемся успехе «Тайной графини», несколько сдержанно-серьезных — во славу обширной деятельности господина регирунгспрезидента, несколько решительных — против крамолы, с уверением в собственных верноподданнических чувствах, и при этом все время подкармливать вулковскую собаку, которая стоит тут же и клянчит. О невзыскательном обществе, собиравшемся в погребке или в ферейне ветеранов, не стоило и вспоминать: здесь нужно было, не моргая, с судорожной улыбкой смотреть в бесцветные водянистые глаза капитана фон Кекерица, человека с бледной лысиной и огненно-красным — от середины лба до подбородка — лицом, и слушать его рассказы о происшествиях на учебном плацу. И вот, когда от напряженного ожидания вопроса, служил ли ты в армии, тебя заранее бросает в пот, сидящая рядом дама с гладко зачесанными наверх белокурыми волосами и облупленным носом нежданно-негаданно заводит с тобой разговор о лошадях... На этот раз Дидериха выручила Эмми. Поддерживаемая лейтенантом фон Бриценом, с которым она, казалось, была уже коротко знакома, Эмми искусно вступила в разговор о лошадях, пересыпая свою речь специальными терминами, и даже не побоялась тут же сочинить миф о прогулках верхом по горным перевалам, которые она будто бы совершала в имении своей тетки. Когда же лейтенант предложил ей вместе отправиться верхом за город, она отговорилась тем, что, дескать, фрау Геслинг не разрешает ей ездить верхом. Дидерих не узнавал Эмми. Своими талантами, от которых Дидериха оторопь брала, она затмила Магду; а Магде ведь удалось подцепить жениха! Дидерих не без ужаса подумал, как в тот раз, когда возвращался из «Зеленого ангела», о неведомых путях, на которые может вступить девушка, если... Вдруг он заметил, что, отвлекшись своими мыслями, он прослушал вопрос хозяйки дома, и все молчат в ожидании его ответа. Он оглянулся, как бы прося о помощи, но встретил лишь неумолимый взгляд, устремленный на него с большого портрета: это был *он*, бледный, каменный, в красной форме гусара, одна рука на бедре, кончики усов у самых глаз, какой холодный блеск в глазах, глядевших через плечо! Дидерих затрясся, он захлебнулся чаем, фон Брицен похлопал его по спине.

Одна дама, которая все время усиленно налегала на еду, собралась петь... В музыкальном салоне все расположились группами. Дидерих, остановившись в дверях, вынул украдкой

часы и вдруг услышал у себя за спиной покашливание хозяйки дома.

— Я понимаю, дорогой доктор, что не нам и нашей легкой, слишком легкой болтовне вы жертвуете свое время, столь драгоценное для человека, обремененного важными обязанностями. Мой муж ждет вас. Идемте!..

Приложив палец к губам, она пошла вперед. Миновали коридор, пересекли пустую переднюю. Тихо-тихо президентша постучала в дверь. Ответа не было. Она робко оглянулась на Дидериха; у него тоже душа в пятки ушла.

— Оттохен,— позвала она, нежно прильнув к запертой двери.

Они прислушались. Наконец, после паузы, из кабинета президента донесся страшный бас:

— Дался тебе Оттохен! Скажи своим остолопам, пусть лакают чай без меня!

— Он так занят! — прошептала фрау фон Вулков, слегка побледнев.— Неблагонадежные подрывают его здоровье... К сожалению, я вынуждена вернуться к гостям. О вас доложит лакей...— И она ушла.

Дидерих тщетно ждал лакея. Потянулись долгие минуты. Но вот появился огромный вулковский пес; он с презрением прошел мимо Дидериха и царапнул дверь. Тотчас же раздалось: «Шнапс, войди!» — и дог сам открыл дверь. Воспользовавшись тем, что она осталась распахнутой, Дидерих дерзнул вместе с ним проскользнуть в комнату. Фон Вулков, окутанный клубами табачного дыма, сидел за письменным столом, спиной к дверям.

— Добрый день, господин регирунгспрезидент,— сказал Дидерих, щелкнув каблуками.

— Да ну, Шнапс, никак и ты научился языком чесать? — спросил Вулков, не оборачиваясь. Он сложил вчетверо какую-то бумагу, неторопливо закурил новую сигару... «Ну, наконец-то»,— подумал Дидерих. Но Вулков опять принялся писать. Одна лишь собака интересовалась Дидерихом. По-видимому, она решила, что здесь гость еще менее на месте, чем за дверью, ее презрение перешло в открытую неприязнь; оскалив зубы, дог обнюхивал брюки Дидериха. Это было, пожалуй, уже не простое обнюхивание. Дидерих, стараясь не шуметь, переступал с ноги на ногу, а дог урчал грозно, но приглушенно, прекрасно понимая, что иначе хозяин заставит его прекратить игру. Дидериху как-то удалось поставить между собой и своим врагом стул и, вцепившись в его спинку, вертеться то быстрее, то медленнее,— надо было все время быть начеку, как бы Шнапс не

наскочил сбоку. Один раз Вулков чуть-чуть повернул голову, и Дидериху показалось, что он ухмыльнулся. Наконец псу наскучила игра, он подошел к хозяину, и тот погладил его; улегшись около кресла Вулкова, дог смелым взглядом охотника мерил Дидериха, вытиравшего с лица пот.

«Проклятая скотина»,— подумал Дидерих, и вдруг все в нем заклокотало. Он задыхался от негодования и густого табачного дыма; подавляя кашель, он думал: «Кто я такой, что позволяю так со мной обращаться? Последний смазчик на моей фабрике не потерпел бы такого обращения. У меня докторский диплом! Я член городского самоуправления! Этот невежественный наглец нуждается во мне больше, чем я в нем». Все, что Дидерих увидел и перечувствовал в гостиной президентши, предстало теперь перед ним в зловещем свете. Над ним потешались. Молокосос лейтенант хлопал его по спине! Эти службисты и знатные дуры без конца несли вздор, а он сидел среди них болван болваном! «За чей счет живут эти чванливые тунеядцы? За наш!» Его убеждения, его чувства,— все в один миг рассыпалось в душе Дидериха, и из-под обломков взметнулось жаркое пламя ненависти. «Кровопийцы! Только и умеете, что саблей бряцать! Высокомерная сволочь!.. Мы расправимся со всей вашей бандой! Дождетесь!» Его кулаки сами собой сжимались, в припадке немого бешенства он видел растоптанным, развеянным в прах все: правительство, армию, чиновничество, все органы власти и ее самое — власть! Власть, которой мы позволяем топтать себя и лобызаем ее копыта! Против которой мы бессильны, потому что любим ее! Она у нас в крови, потому что преклонение перед ней у нас в крови! Мы ее атомы, мельчайшая молекула в ее плевке!.. Со стены, сквозь сизое облако, смотрело ее бескровное лицо, железное, беспощадное, сверкающее; но Дидерих, не помня себя от ярости, поднял кулак.

Вулковский пес зарычал, а из-под регирунгспрезидента раздался раскатистый треск — и Дидерих испуганно сжался. Он не понимал, что за наваждение нашло на него. Здание порядка, вновь восстановленное в его душе, еще слегка пошатывалось. Господин регирунгспрезидент занят важными государственными делами. Вполне естественно, что приходится ждать, пока тебя заметят; а тогда уж знай высказывай свой благонамеренный образ мыслей и заботься о собственном преуспеянии.

— А, это вы, ученый муж? — сказал господин фон Вулков и повернулся к нему вместе с креслом.— Как дела? Вы стано-

витесь настоящим государственным деятелем! Что ж, займите, займите сие почетное место!

— Льщу себя надеждой,— пробормотал Дидерих.— Коечего уже удалось добиться на благо дела национализма.

Вулков пустил ему в лицо мощную струю дыма и почти вплотную приблизил к нему свои плотоядные цинические глаза монгольского разреза.

— Прежде всего, голубчик, вы добились того, что прошли в гласные. Каким образом — разбираться не будем. Так или иначе, это вам сейчас очень на руку, фабрика ваша, говорят, совсем захирела.— Дидерих вздрогнул, а Вулков оглушительно захохотал.— Чего это вы? Мы ведь свои люди. Как вы думаете, что я здесь написал? — Он положил свою лапищу на большой лист бумаги и целиком закрыл его.— Я требую от министра этакого маленького германского орла для некоего господина Геслинга, в знак признания его заслуг: внедрения благонамеренного образа мыслей в Нетциге... Вы, верно, не ожидали от меня такой любезности? — прибавил он, ибо Дидерих, ослепленный, оглушенный, с бессмысленным выражением лица, не вставая со стула, непрерывно кланялся.

— Не знаю, право, чем...— пропзнес он наконец.— Мои скромные заслуги...

— Лиха беда — начало,— сказал Вулков.— Это лишь поощрение. Ваша позиция в процессе Лауэра была недурна. Ну, а ваше «ура» кайзеру в конце прений о канализации привело всю антимонархическую печать в совершеннейшее неистовство. В трех городах возбуждено по этому поводу дело об оскорблении величества. Приходится подчеркнуть, что мы вас поддерживаем и поощряем.

— Для меня лучшая награда,— воскликнул Дидерих,— что имя мое, имя ничем не примечательного бюргера, напечатанное в «Локаль-анцейгере», предстанет пред светлейшие очи его императорского величества!

— Ну, а теперь возьмите-ка сигару,— сказал Вулков, и Дидерих понял, что начинается деловая часть беседы. Уже в пылу восторженных чувств у него мелькнуло сомнение, не кроется ли за вулковской милостью совершенно особая причина. Дидерих пустил пробный шар:

— Ассигнования на постройку железной дороги до Раценгаузена город все же одобрит.

Вулков помотал головой.

— Ваше счастье. А то у нас есть более дешевый проект, по которому Нетциг вообще останется в стороне, помните это. Так

что позаботьтесь, чтобы ваши гласные не чудили. Ну, а когда вынесете решение снабжать током именье Квицин?

— Магистрат против этого.— Дидерих воздел руки, как бы моля о пощаде.— Для города это убыточно, а господин фон Квицин не платит нам никаких налогов... Но я, как националист...

— Я бы этого просил. Иначе мой кузен господин фон Квицин возьмет да построит себе собственную электрическую станцию, ему это, сами понимаете, обойдется недорого: в имение моего кузена ездят охотиться два министра... И тогда он собьет ваши цены на электричество в Нетциге.

Дидерих выпрямился.

— Господин регирунгспрезидент, я готов, врагам наперекор, высоко держать в Нетциге знамя национализма.— И, понизив голос: — От одного врага мы можем немедленно избавиться, от врага особенно злостного — это старый Клюзинг из Гаузенфельда.

— От этого? — Вулков презрительно ухмыльнулся.— Он у меня ручной. Он поставляет бумагу для окружных газет.

— А уверены ли вы, что он не поставляет еще больше бумаги неблагонамеренным газетам? Прошу прощения, но на этот счет, господин президент, я, пожалуй, все-таки информирован лучше.

— «Нетцигский листок» стал теперь более надежен с точки зрения национализма.

— Да, конечно...— Дидерих многозначительно кивнул.— С того самого дня, как старик Клюзинг вынужден был передать мне часть поставок. Гаузенфельдская фабрика, сказал он, перегружена. Разумеется, он опасался, что я сговорюсь с какой-либо из конкурирующих националистических газет. А быть может...— Дидерих снова выдержал выразительную паузу,— господин президент предпочтет передать заказы на бумагу для окружных газет националистическому предприятию?

— Значит... вы поставляете теперь бумагу для «Нетцигского листка»?

— Я никогда не поступлюсь своим националистическим образом мыслей настолько, чтобы поставлять бумагу газете, пока она содержится на деньги свободомыслящих.

— Ну и прекрасно,— Вулков уперся кулаками в ляжки.— Все понятно, можете не распространяться на этот счет. «Нетцигский листок» вы хотите заграбастать для себя целиком и окружные газеты прихватить. Вероятно, не откажетесь и от поставок правительству. Что еще?

— Господин президент,— деловито ответил Дидерих,— я не какой-нибудь Клюзинг, я с крамольниками на сделки не иду. Если бы вы, как председатель Библейского общества, захотели оказать поддержку моему предприятию, смею надеяться, что дело национализма от этого только бы выиграло.

— Ну и прекрасно,— повторил Вулков и подмигнул.

Дидерих выложил свой козырь.

— Господин президент! Пока владельцем гаузенфельдской фабрики является Клюзинг, она не перестанет быть рассадником крамолы. Из восьмисот рабочих там нет ни одного, кто не голосовал бы за социал-демократов.

— А у вас?

Дидерих ударил себя в грудь.

— Бог свидетель, что я предпочел бы закрыть свою фабрику и обречь себя и своих домашних на лишения и невзгоды, но не потерпел бы ни одного рабочего не монархиста.

— Весьма полезный образ мыслей,— сказал Вулков.

Дидерих посмотрел на него чистосердечным взором.

— Я принимаю только таких рабочих, которые служили в армии; у меня сорок человек ветеранов последней войны. Зеленую молодежь я у себя не держу, особенно с того случая, когда часовой уложил на поле чести, как изволили выразиться его величество кайзер, одного моего рабочего, которого я застукал с невестой за мешками с тряпьем...

— Это уж ваша забота, милейший доктор,— отмахнулся Вулков.

Но Дидерих твердо шел к намеченной цели, не давая сбить себя.

— Нельзя допустить, чтобы за горой тряпья вершилась крамола. С вашим тряпьем,— я имею в виду политику,— дело обстоит иначе... Тут крамола может нам пригодиться, чтобы из свободомыслящего тряпья изготовить белую монархическую бумагу.

Дидерих сделал чрезвычайно глубокомысленное лицо. На Вулкова, видимо, слова его не произвели никакого впечатления. Он зловеще ухмылялся.

— Молодой человек, я ведь тоже не вчера родился. Выкладывайте начистоту, что вы там со своим механиком измыслили? — Видя, что Дидерих колеблется, Вулков продолжал: — А это тоже ветеран войны? Что скажете, господин гласный?

Дидерих глотнул слюну. Окольных путей не оставалось.

— Господин президент! — воскликнул он решительно и, понизив голос, скороговоркой лихорадочно продолжал: — Этот

человек хочет попасть в рейхстаг. С точки зрения националистической, его кандидатура выгоднее кандидатуры Гейтейфеля. Во-первых, либералы со страху откачнутся к националистам, а во-вторых, если Наполеон Фишер пройдет на выборах, у нас в Нетциге будет памятник кайзеру Вильгельму. Все это письменно закреплено.

Он развернул перед Вулковом листок бумаги. Вулков прочитал его, поднялся, ногой отшвырнул от себя стул и зашагал по комнате, глубоко затягиваясь и толчками выпуская дым.

— Значит, Кюлеман отправляется к праотцам, а на его полмиллиона город вместо приюта для грудных младенцев воздвигает памятник кайзеру Вильгельму.— Вулков остановился перед Дидерихом.— Это, милейший, вам нужно зарубить себе на носу в ваших же собственных интересах! Если в рейхстаг от Нетцига пройдет социал-демократ, а в Нетциге не будет памятника Вильгельму Великому, вы меня узнаете. Я из вас фрикасе сделаю! Я изрублю вас так, что вас даже в приют для грудных младенцев откажутся взять!

Дидерих вместе со стулом откатился к стене.

— Господин президент! Во имя великого дела национализма я все ставлю на карту: себя, свое достояние, свое будущее. Но и со мной, как со всяким человеком, может случиться...

— Тогда да смилуется над вами бог.

— А вдруг Кюлемановы камни в почках еще рассосутся?

— Вы за все ответите! Тут и я рискую головой! — Яростно куря, Вулков грохнулся в свое кресло. Когда облако табачного дыма рассеялось, он повеселел.— То, что я вам сказал на балу в «Гармонии», подтверждается. Рейхстаг долго не продержится, двигайте ваши дела в городе. Помогите мне свалить Бука, я помогу вам подкопаться под Клюзинга.

— Господин президент! — Улыбка Вулкова так окрылила Дидериха, что он уже не в силах был сдерживать себя.— Если бы вы намекнули ему, что намерены отобрать у него заказы! Он не станет поднимать шума, опасаться вам нечего, но он предпримет необходимые шаги. Быть может, вступит в переговоры...

— Со своим преемником,— закончил Вулков его мысль. Тут Дидерих вскочил со стула и забегал по комнате.

— Если б вы только знали, господин президент! Гаузенфельд — это, если можно так выразиться, машина в тысячу лошадиных сил! И что же? Она стоит, ее ест ржа. За отсутствием тока, другими словами — духа нашего времени, размаха!

— Которого у вас, как видно, хоть отбавляй,— ввернул Вулков.

— У меня он служит делу национализма! — воскликнул Дидерих. Он снова заговорил о памятнике.— Комитет по сооружению монумента кайзеру Вильгельму почтет за счастье, если нам удастся... если вы, господин президент... будете столь великодушны, что согласитесь принять на себя звание почетного председателя комитета, чем выкажете ваш драгоценнейший интерес к нашему делу.

— Не возражаю,— сказал Вулков.

— Самоотверженную деятельность своего почетного председателя комитет сумеет оценить по достоинству.

— Объяснитесь точнее! — В голосе Вулкова пророкотали гневные нотки, но Дидерих в раже ничего не заметил.

— В нашем комитете эта идея уже рассматривалась. Желательно воздвигнуть памятник в самом оживленном месте города и разбить вокруг парк для народных гуляний как символ неразрывной связи властелина с народом. Для этой цели мы наметили довольно большой участок в центре города; там легко будет заполучить близлежащие строения. Это Мейзештрассе.

— Так, так. Мейзештрассе.— Брови Вулкова сдвинулись, предвещая грозу. Дидерих почуял недоброе, но остановиться уже не мог.

— Мы задумали обеспечить за собой упомянутые участки раньше, чем город вплотную займется этим делом, и тем самым предупредить возможность противозаконных спекуляций. Само собою разумеется, что нашему почетному председателю принадлежит право первым...

Дидерих оборвал себя на полуслове и стремительно попятился: буря грянула.

— Сударь! Вы за кого меня принимаете? Я что, ваш коммерческий агент, что ли? Неслыханно! Беспримерно! Какой-то купчишка осмеливается предложить королевскому регирунгспрезиденту обстряпывать с ним его грязные дела!

Вулков нечеловечески ревел и надвигался на отступавшего Дидериха, обдавая его жаром своего тела и особым, одному ему присущим запахом. Собака тоже вскочила и ринулась в атаку. Казалось, вся комната, яростно рыча и завывая, кинулась на Дидериха.

— Вы ответите за тяжкое оскорбление должностного лица, сударь! — орал Вулков, а Дидерих, нащупывая позади себя дверь, гадал: кто первый вцепится ему в горло — собака

или Вулков. Его трусливо бегавшие глаза остановились на бледном лице, оно грозило ему со стены, оно метало молнии. Вот она и схватила его за горло — власть! Он зарвался, он возомнил себя на равной ноге с нею! Это была его погибель, она, власть, обрушилась на него всем ужасом светопреставления... Вдруг дверь за письменным столом открылась, и вошел человек в форме полицейского. Но трясущемуся Дидериху теперь было уже все равно. Вулкова присутствие полицейского навело на новую адскую мысль.

— Я могу, выскочка вы несчастный, велеть немедленно арестовать вас за подкуп должностного лица, за попытку подкупа высшей государственной инстанции имперского округа! Я брошу вас за решетку, я пущу вас по миру!

На полицейского офицера этот страшный суд произвел куда более слабое впечатление, чем на Дидериха. Положив бумагу на стол, полицейский вышел. Впрочем, и сам Вулков круто повернулся и опять закурил свою сигару. Дидерих для него больше не существовал. И Шнапс тоже не замечал его, словно он был пустое место! Наконец Дидерих отважился молитвенно сложить руки. Его шатало.

— Господин президент,— заговорил он шепотом,— господин президент, с разрешения вашей милости я позволю себе... с вашего разрешения позвольте мне установить, что здесь произошло печальнейшее недоразумение. Да разве бы я при моем националистическом образе мыслей осмелился... Да как это возможно?

Он подождал, но никто, видимо, его не слушал

— Если бы я думал о своей выгоде,— продолжал он несколько более внятно,— а не пекся бы неусыпно об интересах националистических, я был бы теперь не здесь, а у пресловутого господина Бука. Ведь этот господин, даю честное слово, предложил мне продать мой участок городу, либералы задумали построить там приют для грудных младенцев. Но я с негодованием отверг это наглое требование и нашел прямой путь к вам, ваша милость. Ибо лучше, сказал я, памятник кайзеру Вильгельму Великому в сердце, чем приют для грудных младенцев в кармане, сказал я, и открыто скажу это и сейчас.

Так как Дидерих заговорил громче, Вулков повернулся к нему.

— Вы все еще здесь? — спросил он.

И Дидерих ответил вновь замершим голосом:

— Господин регирунгспрезидент...

— Что вам от меня нужно? Я с вами не знаком. Никогда не имел с вами никаких дел.

— Господин президент, в интересах дела национализма...

— С лицами, которые спекулируют земельными участками, я не веду никаких дел. Продайте ваш участок, и баста. Тогда поговорим.

Дидерих, белый как мел, чувствуя себя раздавленным, пролепетал:

— А если я соглашусь, наш договор остается в силе? Орден? Намек Клюзингу? Почетный председатель?

Вулков скроил гримасу:

— Ладно уж! Но продать немедленно.

Дидерих задыхался.

— Я принесу эту жертву,— сказал он.— Самое драгоценное, чем обладает истый монархист,— мои верноподданнические чувства должны быть превыше всякого подозрения.

— Разумеется,— буркнул Вулков, и Дидерих ретировался, гордый своим отступлением, хотя его и удручало сознание, что Вулков едва терпит его как союзника, точно так же как он едва терпит своего механика.

Магду и Эмми он застал в салоне; они сидели одни-одинешеньки, перелистывая какой-то роскошный альбом. Гости разошлись, фрау Вулков также покинула их: ей надо было переодеться к предстоящему вечеру у супруги полковника фон Гафке.

— Моя беседа с господином Вулковом дала вполне удовлетворительные для обеих сторон результаты,— сказал он сестрам, а когда они вышли на улицу, добавил: — Только сейчас я понял, что значит, когда ведут переговоры два корректных человека. В нынешнем деловом мире с его еврейским засильем об этом и представления не имеют.

Эмми, возбужденная не меньше Дидериха, заявила, что она собирается брать уроки верховой езды.

— Если я дам тебе на это денег,— сказал Дидерих, но лишь порядка ради. Он был горд за Эмми.— Скажи, у лейтенанта фон Брицена есть сестры? — спросил он.— Постарайся познакомиться с ними и добиться для всех нас приглашения на ближайший прием у фрау фон Гафке.— Как раз в эту минуту на противоположной стороне проходил сам полковник. Дидерих долго смотрел ему вслед.— Я прекрасно знаю, что оглядываться неприлично, но ведь это высшая власть, а она так притягательна!

Договор с Вулковом только прибавил Дидериху забот. Реальному обязательству продать дом он мог противопоставить всего лишь надежды и перспективы,— очень дерзкие надежды и туманные перспективы... Однажды в воскресенье — морозило и уже темнело — Дидерих отправился в городской парк и на уединенной дорожке повстречал Вольфганга Бука.

— Я все-таки иду на сцену,— заявил Бук.— Решено окончательно.

— А адвокатская карьера? А женитьба?

— Я пробовал стать на этот путь, но театр влечет сильнее. Там, знаете ли, меньше ломают комедию, честнее делают свое дело. Да и женщины красивей.

— Это еще не основание,— ответил Дидерих.

Но Бук говорил серьезно:

— Должен признаться, что пущенный о нас с Густой слух позабавил меня. Но, с другой стороны, при всей его нелепости он существует, девушка страдает, и я не могу ее больше компрометировать.

Дидерих искоса бросил на Бука испытующий взгляд: у него создалось впечатление, что Вольфганг ухватился за эту сплетню лишь как за предлог уклониться от женитьбы.

— Вы, конечно, понимаете,— строго сказал Дидерих,— в какое положение ставите свою невесту. Теперь ее не всякий согласится взять замуж. Надо быть рыцарем, чтобы сделать это.

Бук был того же мнения.

— При таких обстоятельствах,— многозначительно сказал он,— подлинно современному человеку с широким взглядом на вещи должно доставить особое удовлетворение вступиться за девушку и поднять ее до себя. В данном случае, когда ко всему в придачу есть деньги, благородство в конце концов непременно восторжествует: вспомните божий суд в «Лоэнгрине».

— А «Лоэнгрин» тут при чем?

Но Бук, чем-то явно обеспокоенный, не ответил: они были у Саксонских ворот.

— Зайдемте? — спросил Бук.

— Куда?

— А вот сюда. Швейнихенштрассе, семьдесят семь. Надо же в конце концов сказать ей, быть может, вы могли бы...

Дидерих присвистнул сквозь зубы.

— Ну, знаете... Вы до сих пор ей ничего не сказали? Вы сообщаете об этом сначала посторонним? Что же, ваше дело, драгоценнейший, только меня, пожалуйста, не впутывайте, я не

имею обыкновения объявлять чужим невестам о расторжении помолвки.

— Сделайте исключение,— попросил Бук.— В жизни для меня всякие сцены очень тягостны.

— Я человек принципа,— сказал Дидерих.

Бук пошел на уступки:

— Я вас не прошу что-либо говорить. Пусть ваша роль будет бессловесная, вы и тогда послужите мне моральной поддержкой.

— Моральной? — переспросил Дидерих.

— В качестве, так сказать, представителя рокового слуха.

— Что вы хотите сказать?

— Я шучу. Вот мы и пришли, идемте!

И Дидерих, смущенный последними словами Бука, без возражений двинулся за ним.

Фрау Даймхен не оказалось дома, а Густа заставила себя ждать. Бук пошел взглянуть, что ее задерживает. Наконец она вошла, но одна.

— Как будто и Вольфганг был здесь? — спросила она.

Бук сбежал!

— Понять не могу,— сказал Дидерих.— У него был к вам неотложный разговор.— Густа покраснела. Дидерих повернулся к дверям.— В таком случае разрешите и мне откланяться!

— А какой у него был разговор? — допытывалась она.— Ведь не часто случается, чтобы ему было что-либо нужно. И зачем он привел вас?

— На это я также ничего не могу ответить. Должен сказать, что я решительно осуждаю его: в таких случаях свидетелей не приводят. Моей вины здесь нет, прощайте!

Но чем смущеннее он на нее глядел, тем настойчивее она добивалась объяснений.

— Я не желаю вмешиваться в дела третьих лиц,— сказал он наконец.— Да еще если третье лицо дезертирует и уклоняется от выполнения своих первейших обязанностей.

Густа широко раскрытыми глазами смотрела ему в рот, ловя каждое слово. Когда Дидерих договорил, она одно мгновение стояла неподвижно, потом порывисто закрыла руками лицо и заплакала. Видно было, как вздулись ее щеки, а сквозь пальцы капали слезы. У нее не оказалось носового платка; Дидерих одолжил ей свой. Он растерялся при виде такого отчаянья.

— В конце концов, вы не так уж много потеряли в его лице.

— И это говорите вы! — накинулась на него Густа.— Кто, как не вы, травил его! Вы, который... Мне кажется более чем странным, что он именно вас прислал сюда...

— Что вы имеете в виду? — в свою очередь, насторожился Дидерих.— Полагаю, что вы, многоуважаемая фрейлейн, не хуже моего знаете, чего можно ожидать от сего господина. Ибо там, где образ мыслей дряблый, там все дряблое.— Она смерила его ироническим взглядом, но он произнес еще строже: — Я все это наперед вам предсказывал.

— Вам это было выгодно, потому и предсказывали,— язвительно бросила она.

А он насмешливо:

— Вольфганг сам просил помешивать в его горшке. А если бы горшок не был обернут сотенными купюрами, он давно перестоялся бы.

— Да что вы знаете! — вырвалось у Густы.— В том-то и дело, этого-то я не могу ему простить, что ему все трын-трава. Даже мои деньги!

Дидерих был потрясен.

— С таким человеком нельзя иметь дело,— решительно сказал он.— У подобных людей нет ничего святого, на них ни в чем нельзя положиться.— Дидерих назидательно кивнул головой: — Кто равнодушен к деньгам, тот не понимает жизни.

— В таком случае вы-то ее прекрасно понимаете,— отпарировала Густа и слабо улыбнулась.

— Будем надеяться,— сказал он.

Она подошла к нему ближе и, часто моргая, смотрела на него сквозь не просохшие еще слезы.

— Вы все-таки оказались правы. Думаете, я очень буду горевать? — Она скривила губы.— Да я вообще его не любила. Попросту ждала случая избавиться от него. А он, как видите, оказался таким невежей, что сам оставил меня... Обойдемся и без него,— прибавила она, бросая на Дидериха обольстительный взгляд. Но Дидерих лишь отобрал у нее свой носовой платок, а остальное, очевидно, его нисколько не прельщало. Густа поняла, что он по-прежнему строго осуждает ее, как тогда, в «Приюте любви». И она смиренно молвила: — Вы намекаете на положение, в котором я невольно очутилась?

— Я ничего не сказал,— возразил он.

— Я не виновата, что люди говорят обо мне всякие гадости.

— Я тоже не виноват.

Густа опустила голову:

— Ну что ж, надо, пожалуй, смириться. Такая девушка, как я, не заслуживает, чтобы приличный человек, с серьезными взглядами на жизнь, взял ее замуж.— Говоря это, она все же искоса поглядывала, какое впечатление производят ее слова.

Дидерих засопел.

— Может, конечно, случиться...— начал он и сделал паузу. Густа затаила дыхание.— Допустим,— сказал он, отчеканивая каждое слово,— что как раз человек, весьма и весьма серьезно смотрящий на жизнь, человек современного толка, с широким взглядом на вещи, с чувством полной ответственности перед самим собой и перед своими будущими детьми, точно так же, как и перед кайзером и отечеством, возьмет на себя защиту беспомощной женщины и поднимет ее до себя.

Выражение лица у Густы становилось все молитвеннее. Она сложила ладони и, склонив голову набок, благоговейно смотрела на Дидериха. Но ему, по-видимому, этого было мало, он явно требовал чего-то исключительного — и Густа неуклюже рухнула на колени. Тогда Дидерих милостиво приблизился к ней.

— Так быть по сему,— И он вперил в нее испепеляющий взор.

В эту минуту вошла фрау Даймхен.

— Что это? — спросила она.— Что случилось?

— Ах, боже мой, мама, мы тут ищем мое кольцо,— не утратив присутствия духа, ответила Густа. Фрау Даймхен тоже опустилась на колени. Дидерих не захотел отстать от матери и дочери... Некоторое время все трое молча ползали по полу, пока Густа не вскрикнула:

— Нашла, нашла! — и решительно поднялась.— К твоему сведению, мама, я передумала.

Фрау Даймхен, которая никак не могла отдышаться, поняла не сразу. Густа и Дидерих объединенными усилиями растолковали ей положение дел. Она призналась, что и сама уже подумывала об этом: ничего не поделаешь, людскую молву не перешибешь.

— Вольфганг все равно немножко чересчур скучный, пока не выпьет. Вот только их семья: Геслинги не чета им.

— Ну, это мы еще посмотрим,— возразил Дидерих и объявил, что последнее слово не сказано, пока не урегулирована практическая сторона дела. Он пожелал увидеть документы, потом потребовал полной общности имущества, и чтоб никто и никогда не смел спрашивать с него отчета о расходовании денег! При малейшем возражении он брался за ручку двери, и Густа тихо, испуганно говорила матери:

— Ты хочешь, чтобы завтра весь город гудел о том, что один меня бросил и второй уже пятки показал?

Когда Дидерих убедился, что его не обманули, на него нашло благодушное настроение. Он поужинал с дамами и собирался уже, без дальних разговоров, послать служанку за шампанским, чтобы отпраздновать помолвку. Фрау Даймхен обиделась: разве у нее в хозяйстве не найдется шампанского, ведь у них бывают господа офицеры, им без шампанского никак нельзя.

— Вообще дуракам счастье; ведь Густа могла б заполучить в мужья и господина лейтенанта фон Брицена.

Дидерих самодовольно рассмеялся. Все складывается великолепно! Ему — Густины денежки, а Эмми — лейтенант фон Брицен!..

Все развеселились; после второй бутылки шампанского жених и невеста, сидя рядом и покачиваясь, то и дело прижимались друг к другу, ноги их сплелись до колен, и рука Дидериха скрылась под столом. Напротив них фрау Даймхен вертела большими пальцами. Вдруг Дидерих издал громовый треск и тотчас заявил, что всю ответственность за содеянное берет на себя, так, дескать, принято в аристократических кругах, например в доме Вулковых, куда он вхож.

Какая была сенсация, когда Нетциг узнал, что события приняли такой оборот! На вопросы, следовавшие за поздравлениями, Дидерих отвечал, что еще не знает, какое он сделает применение полутора миллионам марок своей жены. Возможно, что переедет в Берлин, для него, с его широким размахом, это было бы самое правильное. Так или иначе, но фабрику свою он думает продать, как только представится подходящий случай.

— Бумажная промышленность вообще переживает сейчас кризис, а мне теперь и подавно нет смысла держать в Нетциге такое худосочное предприятие.

Дома у Геслингов царила безоблачная атмосфера. Сумму, положенную сестрам на карманные расходы, Дидерих увеличил, а матери разрешил всласть упиться трогательными сценами и объятиями, он даже милостиво принял ее благословение. Густа, всякий раз, как она являлась, неизменно выступала в роли феи, приносила вороха цветов, конфеты, серебряные сумочки. Дидерих теперь, казалось, шествовал рядом с ней по цветам. Дни пролетали, божественно легки: покупки, завтраки с шампанским, предсвадебные визиты. Жених и невеста, оживленно болтая, разъезжали в карете, а на козлах, рядом с кучером, восседал почасно оплачиваемый лакей благородной внешности.

Лучезарное настроение, во власти которого они находились в те дни, привело их на «Лоэнгрина». Обе матери скрепя сердце остались дома; жених и невеста, вопреки правилам хорошего тона, настояли на своем и сидели одни в аванложе. У стены стоял, скрытый от нескромных глаз, красный плюшевый диван, продавленный, весь в пятнах; было в нем что-то дразнящее и сомнительное. По сведениям Густы, эта ложа принадлежала господам офицерам, которые устраивали здесь встречи с актрисами.

— С актрисами мы счастливо разделались,— сказал Дидерих и прозрачно намекнул на то, что, откровенно говоря, до недавнего времени он был связан с актрисой этого театра, имени которой, натурально, назвать не может... Лихорадочные расспросы Густы вовремя пресек стук капельмейстерской палочки. Они заняли свои места.

— Гениш стал еще неаппетитней,— немедленно заметила Густа, кивая в сторону дирижера. На Дидериха он произвел впечатление человека не совсем здорового, но зато высокоартистического. Он отбивал такт всеми четырьмя конечностями, черные спутанные пряди волос били его по крупному землистому лицу с жирными, трясущимися в такт щеками, и все его тело ритмично сотрясалось под фраком и брюками. Оркестр гремел что есть силы, но Дидерих заявил, что не признает увертюр.

— И вообще,— вторила ему Густа,— для того, кто слышал «Лоэнгрина» в Берлине...

Не успел подняться занавес, как она уже презрительно хмыкнула:

— О боже! Ну и Ортруда! В каком-то халате и в корсаже чуть ли не до колен!

Внимание Дидериха больше привлекал сидевший под дубом король, как видно выдающаяся личность. Облик его не производил особенного впечатления; Вулков умел пользоваться своим басом и своей бородищей с гораздо большим эффектом. Но то, что король изрекал, радовало сердце националиста: «Империи честь повсюду хранить: восток ли то будет иль запад». Браво! Всякий раз, когда он пел слово «германский», он вскидывал вверх правую руку, а музыка, в свою очередь, подкрепляла этот жест. Да и вообще сочно подчеркивала все, что следовало. Именно сочно — вот правильное слово. Как жаль, что к его речи по поводу канализации не было подобного музыкального сопровождения! Герольд же, напротив, навевал на него грусть: это был точь-в-точь толстяк Делич, легендарный фанатик пивного культа. Под впечатлением этого сходства Дидерих начал всматриваться в лица латников, и ему уже повсюду чудились но-

вотевтонцы. Они обзавелись брюшками и бородами и, памятуя свое суровое время, оделись в жесть. Не все из них, видно, жили в достатке; благородные рыцари с дублеными физиономиями и коленями точно на шарнирах напоминали собой заурядных чиновников средневековья, а представители черной кости были еще менее примечательны; одно только было несомненно: иметь дело с этими людьми, обладающими безукоризненными манерами, было бы весьма приятно. Вообще Дидерих пришел к заключению, что в этой опере сразу чувствуешь себя в родной стихии. Щиты и мечи, много бряцающей жести, монархический образ мыслей, победные клики, высоко поднятые стяги, да еще знаменитый немецкий дуб: так и подмывает самому выйти на сцену!

Что касается женской половины этой брабантской компании, то она, конечно, оставляла желать лучшего. Густа язвительно спрашивала Дидериха, с которой же из этих дам он...

— Не та ли коза в широком балахоне? Или вон та корова с золотым обручем на рогах?

И Дидерих уже склонялся к тому, чтобы остановить свой выбор на черноволосой в корсаже, но вовремя спохватился, что именно она во всей этой истории играет сомнительную роль. Ее супруг Тельрамунд вначале вел себя благопристойно, но затем, видно, и здесь была пущена в ход злостная сплетня. К сожалению, темноволосая раса своими еврейскими махинациями угрожала немецкой верности даже там, где эта верность являла собой столь блистательный образец.

С появлением Эльзы без дальнейших рассуждений стало ясно, кому отдать пальму первенства. Славному королю излишне было так беспристрастно во всем разбираться. Чисто германский тип Эльзы, ее волнистые белокурые волосы, ее поведение, свидетельствующее о благородстве расы, уже сами по себе говорили за нее, Дидерих впился в нее взглядом, она взглянула вверх, она обаятельно улыбнулась. Он схватился за бинокль, но Густа вырвала бинокль у него из рук.

— Значит, Мерея? — прошипела она. И, в ответ на его красноречивую улыбку, сыронизировала: — У тебя чудный вкус, я чувствую себя польщенной. Драная еврейская кошка!

— Она еврейка?

— Мерея? А ты что думал? Ее фамилия Мезериц, ей сорок лет.

Сконфуженный, он взял бинокль, который Густа, насмешливо кривя губы, подала ему, и убедился, что она права. Ничего не поделаешь, мир иллюзий! Дидерих разочарованно откинулся

на спинку кресла. И все же Эльзино целомудренное предчувствие женских радостей умилило его не меньше, чем короля и благородных рыцарей. Тут уж он ничего не мог с собой поделать. И божий суд тоже показался ему превосходным по своей практичности выходом из положения. Никто, по крайней мере, не скомпрометирован. Само собой разумеется, можно было заранее предвидеть, что благородные рыцари не захотят вмешиваться в историю, исход которой сомнителен. Теперь оставалось надеяться лишь на нечто из ряда вон выходящее. Музыка делала свое дело, она подготовляла к чему-то сверхъестественному. Дидерих раскрыл рот, глаза у него стали такими идиотски блаженными, что Густа подавила разбиравший ее смех. Теперь Дидерих был настолько подготовлен, весь зал был настолько подготовлен, что Лоэнгрин мог явиться. И он явился, засверкал, отослал своего лебедя, засверкал еще ослепительнее. Латники, король, рыцари, так же как и Дидерих, были потрясены. Недаром же существуют высшие силы... Да, высочайшая власть была воплощена в этом волшебном сверкании. Все равно — лебедь ли на шлеме, орел ли, но Эльза хорошо знала, почему она бухнулась перед ним на колени. Дидерих, в свою очередь, испепеляюще глянул на Густу, смех застрял у нее в горле. Она на себе испытала, каково это, когда тебя кругом оплетают клеветой, когда жених тебя бросает и нигде нельзя показаться, и остается один выход — бежать куда глаза глядят,— как вдруг является герой и избавитель, ему нипочем все россказни, и он берет тебя замуж.

— Быть по сему! — сказал Дидерих и кивком головы показал на коленопреклоненную Эльзу. Густа же, потупившись, смиренно и покаянно прильнула к его плечу.

Остальное шло как по-писаному. Тельрамунд был теперь попросту жалок. Против власти не пойдешь. Даже король держит себя с ее представителем Лоэнгрином самое большее как союзный князек средней руки. Он вторит победному гимну в честь того, кто стоит над ним. Оплоту благонамеренного образа мыслей с жаром возносится хвала, бунтарям предлагается отряхнуть с ног прах германской земли.

Во втором акте — Густа в кротком самозабвении все еще поглощала пралине — было показано возвышенное зрелище: контраст между блестящим, без малейшего диссонанса, празднеством благонамеренных в нарядно освещенных залах дворца и двумя темными фигурами бунтарей, которые лежали на камнях двора в весьма плачевном виде. «Вставай, подруга моего позора»,— Дидериху показалось, что сам он некогда, при соответ-

ствующих обстоятельствах, произнес этот стих. Ортруда пробудила в нем кое-какие личные воспоминания: низкая тварь, что и говорить, но что-то шевельнулось в душе Дидериха, когда она, опутав своего дружка, прибрала его к рукам. Он замечтался... В Ортруде была какая-то острота, свойственная всем энергичным и строгим дамам, в отличие от Эльзы, этой гусыни, которую Ортруда обвела вокруг пальца. На Эльзе, конечно, можно было жениться. Дидерих искоса взглянул на Густу. «Нет счастья без раскаянья»,— пропела Эльза, и Дидерих сказал Густе:

— Будем надеяться.

Толстяк Делич объявил проспавшимся после пиршества рыцарям и латникам, что, по милости божьей, у них теперь новый повелитель. Еще вчера они верой и правдой служили Тельрамунду, а сегодня они уже верноподданные Лоэнгрина и служат ему верой и правдой. Они не разрешали себе иметь собственное мнение и проглатывали любой законопроект.

— Рейхстаг мы еще тоже согнем в бараний рог,— пообещал Дидерих.

Однако, когда Ортруда захотела вступить в собор раньше Эльзы, Густа возмутилась:

— Какое она имеет право, это меня всегда злит. Ведь у нее теперь ни кола ни двора, и вообще...

— Еврейское нахальство,— пробормотал Дидерих. Впрочем, он не мог не признать, что Лоэнгрин, мягко выражаясь, неосторожен, как он может предоставить Эльзе решение — открыть ли ему свое имя и тем поставить все дело под угрозу или не открывать. Женщинам нельзя так доверяться! Да и к чему? Ведь латникам излишне доказывать, что он, Лоэнгрин, невзирая на смутьяна Тельрамунда, чист и незапятнан, ибо их националистический образ мыслей выше всяких подозрений.

Густа пообещала Дидериху, что в третьем акте произойдет самое интересное, но за это ей полагается еще пралине. Когда она получила конфеты, театр огласили звуки свадебного марша; Дидерих подпевал оркестру. Латники в свадебном шествии, без жестяных доспехов и развевающихся знамен, решительно проигрывали, да и Лоэнгрину лучше бы не показываться в камзоле. Увидев его, Дидерих лишний раз проникся сознанием незаменимости мундира. Женщины, с их кислыми, как квас, голосами, наконец благополучно убрались. Но король! Он не в силах оторваться от новобрачных, он старается втереться к ним в доверие и, кажется, не прочь остаться здесь в роли зрителя. Дидерих, который и раньше считал короля чересчур дряблым для такого сурового времени, теперь просто обозвал его тюфяком.

Наконец король все же ретировался; Лоэнгрин и Эльза уселись на диван «вкусить наслаждений, что бог один дарует нам». Сначала они обнимались, отстранившись нижней половиной тела как можно дальше друг от друга. Но чем больше они пели, тем ближе придвигались друг к другу, то и дело поглядывая на Гениша. Гениш со своим оркестром словно поддавал им жару, и ничего удивительного тут не было: Дидерих и Густа в своей уединенной ложе и те тихонько сопели и впивались друг в друга горящими взорами! Чувства устремлялись по тропам волшебных звуков, которые Гениш своими ритмическими телодвижениями извлекал из оркестра, а руки следовали за чувствами. Дидерих просунул руки между стулом и спиной Густы и, обхватив ее ниже талии, бессвязно бормотал:

— С первого же раза, как я это увидел, я сказал себе: она или никто.

Но вдруг маленькое происшествие, которому впоследствии суждено было надолго занять внимание нетцигских любителей искусства, нарушило чары. У Лоэнгрина из-под камзола высунулась фуфайка. Он только начал свою арию: «Ночи ароматы мы с тобой вдыхаем», как... из распахнувшегося назади камзола показалась фуфайка. Пока явно взволнованная Эльза застегивала камзол, зрители выказывали живейшее беспокойство. Но вскоре зал снова поддался волшебным чарам музыки. Густу, которая поперхнулась конфетой, взяло сомнение.

— Сколько времени он носит эту фуфайку? И вообще откуда она у него? Ведь лебедь-то уплыл со всем его багажом?

Дидерих сердито запретил ей рассуждать.

— Ты совершенно такая же дура, как Эльза,— сказал он ей.

Эльза на сцене вела себя так, словно стремилась все погубить; она не могла удержаться, чтобы не выведать у мужа его политические тайны. Бунтари были разбиты наголову: трусливое покушение Тельрамунда по воле провидения не удалось; но женщины, сказал себе Дидерих, если только на них не надеть узды, еще худшее зло, чем крамольники.

Это полностью подтвердилось в следующей сцене. Дуб, знамена, все атрибуты национализма были снова налицо, прозвучали слова: «Немецкий край, немецкий меч, за них готов костьми я лечь». «Браво!» Но Лоэнгрин решил отойти от общественной жизни. «Все во мне усомнились!» — пропел он с полным основанием. Он поочередно обвинял в своих неудачах то мертвого Тельрамунда, то лежащую в обмороке Эльзу. Ввиду того что ни тот, ни другая не могли возразить ему, он мог легко доказать свою правоту, а тут еще выяснилось, что он стоит одним

из первых в табели о рангах. Он раскрыл свое инкогнито. Это вызвало у латников, никогда не слышавших о нем, невероятное волнение. Латники никак не могли успокоиться; они были ко всему готовы, только не к тому, что его зовут Лоэнгрин. Тем настойчивей просили они своего возлюбленного повелителя не совершать рокового шага, не отрекаться от престола. Но Лоэнгрин оставался неумолим и все так же хрипло пел. Да и лебедь уже дожидался его. Ортруда, ко всеобщему удовольствию, сломала себе шею на своей последней наглой выходке. Жаль только, что и Эльза сложила голову на поле брани, покинутом Лоэнгрином, чью ладью теперь повлек уже не лебедь, освобожденный от чар, а мощный голубь. Зато только что появившийся юный Готфрид был провозглашен государем,— третьим по счету за три дня — и все рыцари и латники, готовые, как всегда, служить государю верой и правдой, повергли к его стопам верноподданнические чувства.

— Вот откуда все зло,— молвил Дидерих, подавая Густе пальто. Все эти катастрофы, в которых сказалась самая суть власти, настроили его на возвышенный лад; он испытывал глубокое удовлетворение.

— Откуда же? — спросила Густа из духа противоречия.— Просто она хотела знать, кто он такой. Что же в этом плохого? Разве она не имела права? Ведь с ее стороны это только порядочность...

— Тут скрыт глубокий смысл,— строго пояснил Дидерих.— Мораль всей этой истории с Граалем та, что августейший повелитель держит ответ только перед богом и собственной совестью. А все мы — перед ним. Если речь идет об интересах его величества, делай что хочешь, а я не пророню ни единого словечка и даже...— Дидерих жестом дал понять, что в подобной ситуации и он, не размышляя, пожертвовал бы Густой. Это ее разозлило.

— Да ведь это разбой! С какой стати я должна платиться жизнью за то, что у Лоэнгрина, этого барана, ни на грош темперамента? Даже в брачную ночь Эльза от него никакого толку не добилась! — И Густа презрительно сморщила носик, как в тот раз, когда они выходили из «Приюта любви», где тоже толку не было.

По дороге домой жених и невеста помирились.

— Вот искусство, которое нам нужно! — воскликнул Дидерих.— Истинно немецкое искусство!

В этой опере, как ему кажется, и текст и музыка отвечают всем требованиям национализма. Протест здесь приравнивается к преступлению, все устоявшееся, все узаконенное блестяще вос-

певается, родовитость и божья милость вознесены на недосягаемую высоту, а народ — хор, всегда заставаемый событиями врасплох,— покорно бьется с врагами своих властелинов. В основании — воинственность, вершины — в мистических облаках, и то и другое здесь соблюдено. Весьма мило и симпатично также то, что в этом творении мужчине отводится лучшая, любовно разработанная роль. «Я чувствую, как сердце замирает, чарует он меня своей красой»,— пели вместе с королем мужчины. И музыка в этой опере тоже полна мужественного обаяния, она героична, хотя и пышна, она проникнута верноподданническими чувствами даже в минуту страсти. Кто устоит перед ней? Тысяча представлений этой оперы, и не останется ни одного немца, который не стал бы националистом. Дидерих высказал эту мысль вслух.

— Театр — тоже оружие. Даже процесс по делу об оскорблении величества вряд ли успешнее пробудит бюргера от спячки, чем такая опера. Если Лауэра я посадил в тюрьму, то перед автором «Лоэнгрина» я преклоняюсь.

Он предложил послать Вагнеру поздравительную телеграмму. Густа объяснила ему, что — увы! — это никак невозможно. Настроившись на столь возвышенный лад, Дидерих принялся рассуждать об искусстве вообще. Искусства бывают разных разрядов. Искусство высшего разряда — это музыка, вот почему она и является чисто немецким искусством. За ней следует драма.

— Почему? — спросила Густа.

— На нее в иных случаях можно написать музыку, ее не обязательно читать, и вообще.

— А за драмой какое искусство следует?

— Портретная живопись, конечно, потому что можно писать портреты кайзера. Все остальное не столь важно.

— Ну, а роман?

— Это не искусство. По крайней мере, не немецкое, хвала господу: об этом говорит уже само слово.

И вот наступил день свадьбы. Торопились обе стороны: Густу подгоняли людские толки, Дидериха — политические мотивы. Для большего эффекта свадьбу Магды с Кинастом решили приурочить к этому же дню. Кинаст прибыл, и Дидерих время от времени поглядывал на него с беспокойством: он сбрил бороду, усы закрутил вверх и тоже метал огненные взоры. В переговорах об участии Магды в прибылях он обнару-

жил неуемную деловитость. Дидерих, не без тревоги за исход дела, хотя и с твердым намерением до конца выполнить долг перед самим собой, теперь часто углублялся в бухгалтерские книги. Даже утром перед венчанием, уже облаченный во фрак, он сидел в конторе; вдруг ему подали визитную карточку: Карнауке, старший лейтенант в отставке.

— Что ему надо, Зетбир?

Старый бухгалтер тоже недоумевал.

— Ну, все равно, офицера нельзя не принять.— И Дидерих сам открыл дверь.

На пороге стоял прямой, как палка, господин в наглухо застегнутом зеленоватом пальто, по которому сбегали струйки воды. С остроносых лаковых полуботинок посетителя тотчас же натекла лужа, с его зеленой шапчонки, какие носят помещики — он почему-то ее не снял,— тоже капало.

— Прежде всего обсушимся,— сказал незнакомец. Не дожидаясь приглашения, он подошел к печке и скрипучим голосом прокричал: — Продаете, а? Прижало, а?

Дидерих не сразу сообразил, но затем бросил обеспокоенный взгляд на Зетбира. Старик снова принялся за прерванное письмо.

— Господин старший лейтенант, по-видимому, спутал номер дома,— осторожно сказал Дидерих; но это не помогло.

— Ерунда. Никакой ошибки... Прошу без штучек. Приказ свыше. Поменьше болтовни и тотчас же приступить к продаже, иначе — да смилуется бог!

У гостя была слишком уж странная манера разговаривать. Дидерих не мог не заметить, что хотя в прошлом посетитель, несомненно, был военным, его необычайная выправка неестественна, а глаза — совершенно стеклянные. Едва Дидерих отдал себе в этом отчет, как гость снял свою зеленую помещичью шапчонку и стряхнул с нее воду прямо на фрачную сорочку Дидериха. Тот запротестовал, но лейтенант в отставке страшно оскорбился.

— К вашим услугам,— проскрипел он.— Господа фон Квицин и фон Вулков будут говорить с вами от моего имени.— Он с усилием моргнул, и Дидерих, у которого мелькнуло страшное подозрение, забыл о своем гневе, он помышлял только об одном — как бы выпроводить бывшего лейтенанта за дверь.

— Поговорим во дворе,— шепнул он ему и, повернувшись к Зетбиру, так же тихо: — Этот господин пьян до бесчувствия, попытаюсь спровадить его.

Но Зетбир поджал губы, насупился и отодвинул письмо, которое писал.

Посетитель вышел прямо под дождь, Дидерих за ним:

— Не обессудьте, уважаемый, поговорить ведь можно и здесь.

Только когда Дидерих тоже основательно промок, ему удалось затащить гостя на фабрику, где никого не было. Лейтенант кричал на весь цех:

— Стакан водки! Покупаю все, вместе с водкой!

Хотя фабрика, по случаю свадьбы хозяина, сегодня не работала, Дидерих боязливо озирался по сторонам; он открыл чулан, где были сложены мешки с негашеной известью, и, сделав отчаянное усилие, втолкнул туда лейтенанта. Вонь здесь стояла нестерпимая, лейтенант несколько раз чихнул, после чего назвал себя:

— Имею честь представиться: Карнауке. Почему вы так воняете?

— Вас кто-нибудь послал? — спросил Дидерих.

Гость обиделся.

— Что вы хотите этим сказать?.. Я покупаю недвижимость.— Поймав на себе взгляд Дидериха, он оглядел свое насквозь промокшее летнее пальтецо.— Временная заминка в делах,— проскрипел он.— Посредничаю у джентльменов. Почетное занятие.

— Сколько предлагает ваш доверитель?

— Сто двадцать тысяч чохом.

И, несмотря на ужас и негодование Дидериха, твердившего, что цена его участку не меньше двухсот тысяч, лейтенант стоял на своем: сто двадцать чохом.

— Не пойдет...— Дидерих имел неосторожность двинуться к выходу, и лейтенант прибег к более решительным мерам воздействия. Дидериху пришлось защищаться, он упал на мешки, гость — на него.

— Вставайте,— прохрипел Дидерих,— нас обожжет хлором!

Старший лейтенант завопил, точно его уже опалило сквозь платье, и тут же опять горделиво выпрямился. Он подмигнул Дидериху.

— Президенту фон Вулкову приспичило... настаивает на немедленной продаже, иначе он знать вас не знает. Кузен фон Квицин округляет свои владения. Твердо рассчитывает на вашу сговорчивость. Сто двадцать чохом.

Дидерих, бледный — точно уже выбеленный хлором,— сделал еще одну попытку:

— Сто пятьдесят...— Но голос изменил ему. Порядочному человеку это трудно понять! Вулков, фанатик чести, неподкуп-

ный, как сам Страшный суд!.. Дидерих еще раз окинул безнадежным взглядом фигуру Карнауке, старшего лейтенанта в отставке. И такого субъекта Вулков посылает от своего имени, ему он передоверяет свои дела! Разве нельзя было в тот раз, с глазу на глаз, с должной осторожностью и взаимным уважением совершить эту сделку? Но юнкеры умеют лишь хватать человека за глотку, вести дела они до сих пор не научились.

— Идите к нотариусу,— шепнул Дидерих лейтенанту,— я приду следом.

Он выпустил его во двор. И только собрался выйти сам, как дорогу ему преградил Зетбир. Старик смотрел на него, поджав губы.

— Что вам нужно? — спросил Дидерих. Он совсем обессилел.

— Хозяин,— глухо сказал старый бухгалтер,— за то, что вы собираетесь сделать, я больше не могу нести ответственность.

— Никто и не требует от вас ответственности.— Дидерих высокомерно вскинул голову.— Я знаю, что делаю.

Старик умоляюще поднял руки.

— Нет, не знаете, хозяин! Я защищаю дело нашей жизни — вашего покойного отца и мое. Защищаю фабрику, в которую мы вложили так много честного труда. Она и вас вскормила и на ноги поставила. А вы то покупаете дорогие машины, то отказываетесь от заказов, вы мечетесь и только губите все дело. А теперь еще задумали продать ваш старый дом!

— Вы подслушивали. Вы никак не можете допустить, чтобы что-нибудь делалось без вашего участия. Смотрите не простудитесь.— Дидерих издевался над стариком.

— Не продавайте дома! — жалобно просил старик.— Мне больно смотреть, как сын и наследник моего старого хозяина расшатывает прочный фундамент фирмы и пускается в авантюры.

Дидерих смерил его сочувственным взглядом.

— В ваше время, Зетбир, широкий размах был не в моде. Нынче люди решаются на риск. Дело — превыше всего. Потом вы поймете, зачем мне надо было продать дом.

— Да, вы это тоже потом поймете. Когда все кончится банкротством или когда ваш зять, господин Кинаст, подаст на вас в суд. Вы произвели кой-какие манипуляции в ущерб интересам ваших сестер и матери. Если бы я кое-что рассказал господину Кинасту,— я не сделаю этого из уважения к памяти вашего отца,— вам бы не поздоровилось.

Старик не помнил себя, он визжал, в его покрасневших глазах стояли слезы. Дидерих шагнул к нему и сунул кулак ему под нос.

— Попробуйте только! Я тут же докажу, что вы обкрадываете фирму и обкрадывали ее всегда. Вы что думаете, я не застраховал себя?

Старик тоже поднял свой дрожащий кулак. Они тяжело дышали друг другу в лицо. Зетбир поводил воспаленными глазами, Дидерих испепелял его взором. И старик отступил.

— Нет,— сказал он.— Это никуда не годится. Я всегда был верным слугой своему старому хозяину. Совесть моя требует, чтобы я отдал его наследнику все свои силы и служил бы ему верой и правдой, пока ноги носят.

— Это бы вас устроило, я понимаю,— жестко и холодно сказал Дидерих.— Радуйтесь, что я вас сию же минуту не вышвырнул. Немедленно пишите прошение об увольнении, оно уже удовлетворено.— И Дидерих выбежал вон.

У нотариуса он потребовал, чтобы в договоре покупатель именовался «неизвестный». Карнауке ухмыльнулся.

— Но мы же знаем господина фон Квицина.

Нотариус также улыбнулся.

— Я вижу,— сказал он,— что господин фон Квицин округляет свои владения. До сих пор он владел на Мейзештрассе только маленьким кабачком «Петух». А теперь он одновременно ведет переговоры о покупке двух участков по соседству с вашим, господин доктор. Таким образом он расширит свои владения до городского парка и получит место для огромного строительства.

Дидерих задрожал. Он шепотом попросил нотариуса соблюдать тайну, покуда возможно, и попрощался: времени у него в обрез.

— Знаю,— сказал лейтенант, удерживая его.— Торжественный день. Завтрак в отеле «Рейхсгоф». Я в полной готовности.— Он расстегнул зеленое пальтецо и показал свой измятый сюртук. Дидерих, ужаснувшись, попытался от него отделаться, но лейтенант снова пригрозил ему секундантами.

Невеста заждалась, обе матери утирали ей слезы под ехидные улыбки присутствующих дам: видно, и второй жених сбежал. Магда и Кинаст кипели от возмущения; между Швейнихенштрассе и Мейзештрассе без конца сновали посыльные... Наконец-то! Дидерих явился, хотя и в старом фраке. Он даже не объяснил причины своего опоздания. В ратуше и потом в церкви он поразил окружающих своим расстроенным видом. Говорили, что все эти приметы не предвещают счастливого союза. Пастор

Циллих в своей проповеди упомянул, что земные блага преходящи. Все понимали его разочарование. Кетхен и вовсе не показалась.

На свадебном завтраке Дидерих был молчалив и в мыслях унесся далеко от всего, что происходило вокруг. Он часто даже забывал о еде и сидел, уставившись в пространство. Одному лишь отставному лейтенанту Карнауке удавалось вывести его из оцепенения. Лейтенант не дремал. Уже после супа он поднял бокал за невесту и произнес тост, полный намеков, в которых гости, еще недостаточно захмелевшие, пока не находили вкуса. Больше тревожили Дидериха некоторые другие выражения Карнауке, сопровождаемые подмигиванием в его, Дидериха, сторону; на его беду, они повергли в раздумье и Кинаста. Момент, о котором Дидерих думал с трепетом душевным, наступил. Кинаст встал и попросил его уделить несколько минут для разговора с глазу на глаз... Но тут отставной лейтенант яростно застучал о свой бокал и вскочил с места. Веселый праздничный шум сразу стих; на вытянутых пальцах Карнауке висела голубая ленточка, а под нею — крест с сияющим золотым ободком... О! — Все шумно задвигались, посыпались поздравления. Дидерих протянул к кресту обе руки; блаженство, почти невыносимое, прилило от груди к горлу, слова вырывались помимо его воли, он сам не знал, что говорит.

— Его величество... Невиданная милость... Скромные заслуги, незыблемая верность...

Он низко кланялся, он положил руку на сердце, а когда Карнауке вручал ему крест, он сомкнул глаза и оцепенел, словно перед ним стоял тот, другой, сам даритель. Ослепленный лучами этой милости, Дидерих чувствовал: вот они — спасенье и победа. Вулков выполнил договор. Власть выполнила договор с Дидерихом. Орден Короны четвертой степени сиял, и все становилось явью: памятник Вильгельму Великому и Гаузенфельд, большие дела, слава!

Времени было в обрез. Кинасту, который заволновался и оробел, Дидерих бросил несколько общих фраз о чудесных днях, навстречу которым его поведут, о великолепных перспективах, открывающихся перед Кинастом и всей семьей Геслингов,— и новобрачные умчались.

Они сели в купе первого класса. Дидерих сунул три марки проводнику и задернул занавески. Распаленная счастьем энергия бурлила в нем и требовала безотлагательного выхода; Густа никак не ждала от него такого темперамента.

— Ты, оказывается, вовсе не похож на Лоэнгрина,— сказала она.

Но когда она уже легла и закрыла глаза, он еще раз выпрямился перед ней во весь рост. Он стоял, словно отлитый из железа, с орденом на груди и огненным взором.

— Раньше чем приступить к делу,— сказал он, чеканя каждое слово,— помянем его величество, нашего всемилостивейшего кайзера... Ибо в деле этом есть высшая цель — быть достойным его величества и произвести для него хороших солдат.

— О! — воскликнула Густа, сиянием ордена на его груди вознесенная в горние сферы.— Ты ли это, Ди-де-рих?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Господин доктор Геслинг и его супруга, прибывшие из Нетцига, войдя в лифт цюрихского отеля, молча переглянулись: управляющий, осторожно окинув их беглым взглядом, распорядился поднять их на пятый этаж. Дидерих послушно заполнил регистрационный листок, но когда обер-кельнер вышел из номера, он дал волю своему негодованию: здешние порядки! Да и вообще этот Цюрих! Возмущение его с каждой минутой росло; кончилось тем, что он решил написать Бедекеру. Но так как подобная месть казалась ему слишком слабой, он накинулся на Густу: во всем виновата ее шляпа. Густа же причину всех бед видела в его гогенцоллернском плаще.

Когда они ринулись в ресторан ко второму завтраку, лица у обоих пылали. На пороге они остановились, учащенно дыша под устремленными на них взглядами,— Дидерих в смокинге, Густа в шляпе, утыканной перьями, бантами и пряжками, достойной блистать в лучшем номере бельэтажа. Тот же кельнер торжественно проводил чету на отведенные ей места.

С Цюрихом и отелем они примирились вечером. Во-первых, номер в пятом этаже хоть и не соответствовал их положению, зато стоил дешево; во-вторых, как раз напротив супружеской кровати висела картина с изображением одалиски почти в натуральную величину; смуглая, полнотелая, с влажной истомой в черных глазах, блестевших из-под опущенных век, она, скрестив под головой руки, нежилась на пышном ложе. Рама словно перерезала ее пополам, что дало супругам повод к шуткам. Весь следующий день они бродили полусонные, невероятно много ели и спрашивали себя, что было бы, если б одалиску не перерезали пополам и она была бы целехонька. Они так устали, что пропу-

стили поезд, а вечером пораньше вернулись в свою дешевую, но сулившую новые изнурительные радости комнату. Трудно сказать, когда и чем кончилась бы подобная жизнь; но вдруг Дидерих, клевавший носом, прочел в газете, что кайзер собирается нанести визит королю Италии и находится на пути в Рим. Грянул гром, и Дидерих проснулся. Упругим шагом направился он к портье, в контору, к лифту, и как ни молила Густа, как ни жаловалась, что у нее голова кругом идет, чемоданы были упакованы и Дидерих поволок Густу на вокзал.

— Зачем это? — хныкала она.— Здесь такие замечательные постели!

Но Дидерих на прощанье лишь удостоил одалиску насмешливым взглядом:

— Веселитесь на здоровье, сударыня!

Он был так взбудоражен, что долго не мог заснуть. Густа мирно храпела у него на плече. Дидерих, мчась сквозь ночь, думал о том, что по другой железнодорожной магистрали, но с той же скоростью и к той же цели мчится сам кайзер. Состязание между кайзером и Дидерихом! И так как Дидериху уже не раз доводилось высказывать мысли, таинственным образом совпадавшие с мыслями его величества, то, быть может, и в эту минуту кайзер знает о Дидерихе: знает, что преданный ему душой и телом верноподданный одновременно с ним переваливает через Альпы, задавшись целью показать трусливым латинянам, что такое преданность своему кайзеру. Сверкающим взором окидывал он дремлющих на скамье пассажиров, брюнетиков, чьи лица во сне казались мелкими, осунувшимися. Пусть узнают, что значит истинно немецкий богатырский дух!

Утром в Милане, а в полдень во Флоренции многие пассажиры сошли. Этого Дидерих не мог постичь. Он старался, правда без особого успеха, разъяснить оставшимся, какое событие ждет их в Риме. Два американца как будто выказали некоторый интерес к его словам, и Дидерих торжествующе воскликнул:

— И вам тоже, наверно, завидно, что у нас такой кайзер! Вполне понятно!

Американцы переглянулись с безмолвным вопросом в глазах, так и оставшимся без ответа.

Когда подъезжали к Риму, волнение Дидериха перешло в бешеную жажду деятельности. С итальянским разговорником в руках он гонялся за проводниками, пытаясь установить, кто раньше прибудет в Рим — он или его кайзер. Глядя на лихорадочно взбудораженного супруга, Густа тоже загорелась.

— Дидель! — воскликнула она.— Мне не жалко, я брошу ему под ноги свою дорожную вуаль, да, да, пусть он пройдет по ней, и розы со своей шляпы брошу!

— А вдруг он тебя заметит и ты произведешь на него впечатление? — спросил Дидерих и судорожно улыбнулся.

Бюст Густы заходил вверх и вниз, она потупилась. Дидерих, тяжело дыша, сделал мучительное усилие и овладел собой.

— Моя мужская честь священна, так и знай. Однако в данном случае...— И он скупым жестом выразил недосказанное.

Наконец прибыли в Рим, но все произошло совсем не так, как им рисовалось. Всех пассажиров в величайшей суматохе спровадили с перрона и оттеснили на самый край широкой привокзальной площади и в соседние улицы, которые тотчас же были оцеплены. Но Дидерих, обуреваемый безудержным восторгом, прорвался через все преграды. Густу, в отчаянии простиравшую к нему руки, он бросил одну со всем багажом и очертя голову ринулся вперед... В мгновенье ока он очутился посреди площади; два солдата с перьями на шляпах погнались за ним, полы их ярких мундиров разлетались во все стороны. Но тут с перрона на площадь спустилось несколько человек, и вскоре прямо на Дидериха покатил экипаж. Дидерих сорвал с головы шляпу и так взревел, что высокие особы, сидевшие в экипаже, прервали свою беседу. Тот, кто сидел справа, выглянул, и они посмотрели друг другу в глаза — Дидерих и его кайзер. Его величество холодно и испытующе улыбнулся, собрав морщинки вокруг глаз, а складки у рта чуть дрогнули и опустились книзу. Дидерих, вытаращив глаза, непрерывно крича и размахивая шляпой, бежал рядом с экипажем, и посреди площади, под ослепительно-синим небом они несколько секунд были одни — кайзер и его верноподданный, а вокруг рукоплескала иноземная толпа.

Но вот экипаж свернул на убранную флагами улицу, и приветственные крики замерли вдали. Дидерих вздохнул, закрыл глаза и надел шляпу.

Густа выбилась из сил, махая ему рукой, чтобы он шел к ней, а публика, все еще толпившаяся на площади, весело и благодушно хлопала ему. Смеялись вместе со всеми и те два солдата, которые несколько минут назад гнались за ним. Один из них отнесся к Дидериху так участливо, что даже подозвал извозчика. Сидя в экипаже, Дидерих раскланивался во все стороны.

— Они как дети,— сказал он супруге и прибавил: — Такие же наивные.— Он признался: — В Берлине, конечно, это так легко не сошло бы... Вспомнить только, что творилось во время беспорядков на Унтер-ден-Линден, там было не до смеха...

Экипаж приближался к отелю, и Дидерих выкатил грудь колесом. Его осанка произвела впечатление, и супруги получили номер во втором этаже.

Однако первые лучи утреннего солнца застали Дидериха уже на улице.

— Кайзер встает рано,— назидательно сказал он Густе, которая лишь хрюкнула в подушку.

Впрочем, она была бы ему только в тягость. Вооружившись планом города, он добрался до Квиринала и водворился там. Безлюдная площадь утопала в светлом золоте солнечных лучей: на фоне безоблачного неба резко выделялся массивный дворец,— а напротив, в ожидании выхода его величества, стоял Дидерих, выкатив грудь, на которой блестел орден Короны четвертой степени. Из нижней части города по лестнице поднималось стадо коз и постепенно исчезало за фонтаном и огромными статуями объездчиков коней. Дидерих ни разу не оглянулся. Прошло два часа; площадь оживилась, из караульной будки вышел часовой, в одном из двух порталов показался швейцар, кто-то входил во дворец, кто-то выходил оттуда. Дидерих забеспокоился. Он незаметно приблизился к фасаду, медленно прошел вдоль него, с любопытством заглядывая внутрь. Когда он в третий раз проходил мимо швейцара, тот несколько нерешительно поднес руку к фуражке. Видя, что Дидерих остановился и ответил на приветствие, швейцар фамильярно заговорил с ним.

— Все в порядке,— сказал он, прикрыв рот рукой. И Дидерих принял рапорт, как будто так и следовало. Ему докладывают о самочувствии его кайзера — что может быть естественней? На вопрос, когда и куда отправится кайзер, Дидерих без труда получил ответ. Швейцар сам смекнул, что Дидериху, раз он сопровождает кайзера, понадобится экипаж, и послал за ним. Тем временем на площади собралась кучка любопытных. Но вот швейцар отошел в сторону; за спиной форейтора, в открытой карете, сверкая каской с орлом, показался белокурый северный повелитель. Шляпа Дидериха взлетела в воздух, он крикнул по-итальянски, точно из пистолета выстрелил: «Да здравствует кайзер!», и горстка любопытных охотно подхватила... Затем Дидерих одним прыжком вскочил в стоящий наготове экипаж и, подгоняя кучера хриплыми окриками и обещанием щедрых чаевых, понесся вслед. И вот он уже у цели, а высочайшая карета только приближается. Когда кайзер вышел из кареты, горстка любопытных собралась и здесь; и Дидерих опять кричал по-итальянски... Стоять на часах перед домом, в котором пребывает его кайзер! Выкатив грудь колесом, Дидерих испепеляющим взором

встречал всякого, кто осмеливался приблизиться. Спустя десять минут горстка зевак пополнилась. Карета кайзера выехала из ворот, и Дидерих с криком: «Да здравствует кайзер!», как эхо повторенным зеваками, пустился вскачь к Квириналу. И все начинается сызнова. Дидерих на часах. Кайзер в кивере. Горстка любопытных. Новая цель, новое возвращение, новый мундир, и Дидерих всегда на месте, всегда — ликующая встреча. Так и пошло; и никогда в жизни не знал Дидерих более счастливых минут. Его приятель швейцар точно докладывал ему, куда поедет кайзер. Случалось, что какой-нибудь чиновник, отдав честь, рапортовал Дидериху, а он благосклонно выслушивал донесение; или кто-либо обращался к нему за приказаниями, и он отдавал их в неопределенных выражениях, но повелительным тоном. Солнце поднималось все выше над раскаленными мраморными плитами фасадов, за которыми его кайзер вел переговоры мирового масштаба. Дидерих твердо переносил пытку жаждой и зноем. Как ни молодцевато он держался, ему все же казалось, что под лучами полуденного солнца его живот отвисает до самой мостовой, а орден Короны четвертой степени плавится на груди... Кучер, по дороге все чаще заглядывавший в кабачки, в конце концов пришел в восхищение от столь героического выполнения долга и принес немцу вина. С новым зарядом огня в жилах оба опять пустились вскачь. Рысаки кайзера неслись стрелой; чтобы опередить их на извозчичьем экипаже, надо было молнией промчаться по узким, как ущелья, уличкам, вспугивая редких прохожих, в страхе жавшихся к стенам; а иной раз приходилось, выскочив из кареты, опрометью взлетать по какой-нибудь лестнице. Но всякий раз секунда в секунду он стоял во главе кучки зевак, смотрел, как из кареты выходил седьмой по счету мундир,— и начинал кричать. Тогда кайзер поворачивал голову и улыбался. Он узнавал его, своего верноподданного! Того, кто кричал, кто, как в некой сказке, всегда поспевал первым. Дидерих, счастливый августейшим вниманием, трепеща от полноты чувств, метал сверкающие взоры в публику, весело и благодушно глазевшую на него.

Лишь когда швейцар заверил Дидериха, что его императорское величество завтракает, он разрешил себе вспомнить о Густе.

— На кого ты похож! — вскрикнула Густа, увидев его, и попятилась к стене, ибо он был красен, как помидор, пот лил с него ручьями, а взгляд его посветлевших глаз дико блуждал, точно взгляд древнегерманского воина, совершающего набег на латинские земли.

— Сегодня великий день для дела национализма! — сказал он с жаром.— Мы с его величеством одерживаем моральные победы!

Как он это сказал! Густа забыла страхи и обиды, пережитые за долгие часы ожидания; она подошла, нежно раскрыла объятья и смиренно прильнула к нему.

Но Дидерих едва разрешил себе урвать часок на обед. Он знал, правда, что после обеда кайзер имеет обыкновение отдыхать; тогда, значит, надо неотступно стоять на часах под его окнами. Он и стоял неотступно, и результаты показали, как он был прав. Через каких-нибудь полтора часа после того, как он занял свою позицию напротив дворцового портала, подозрительного вида субъект, воспользовавшись кратковременной отлучкой швейцара, спрятался за колонну и в ее предательской тени дожидался удобной минуты, чтобы привести в исполнение свой злодейский замысел. Но Дидерих не зевал! Испуская воинственные клики, он как буря пронесся по площади. Всполошившиеся зеваки бросились за ним, охрана поспешила к месту происшествия, сбежались слуги — и все с восхищением смотрели, как Дидерих с боем вытаскивает злоумышленника на свет божий. Они дрались так яро, что даже вооруженная охрана не решалась к ним приблизиться. Вдруг противник Дидериха, которому каким-то образом удалось высвободить правую руку, взмахнул пестрой коробочкой. На несколько секунд все оцепенели, затем в панике, с отчаянными воплями бросились бежать. Бомба! Вот бросает!.. Уже бросил! В ожидании взрыва те, кто был всех ближе, заранее вопя, попадали наземь. А Дидерих, у которого лицо, плечи и грудь были обсыпаны чем-то белым, стоял и чихал. Сильно запахло мятой. Храбрейшие из храбрых вернулись и принялись обнюхивать его; один из солдат с развевающимися перьями на шляпе, послюнив палец, ткнул им в белое вещество и попробовал на вкус. Дидерих, очевидно, понял, что́ сказал этот солдат толпе и почему лица людей опять засветились веселым доброжелательством, ибо он и сам уже нисколько не сомневался, что его обсыпали зубным порошком. Все же он не забывал об опасности, которой кайзер избежал, быть может, лишь благодаря его, Дидериха, бдительности. Преступник пытался — разумеется, тщетно — проскочить мимо него и скрыться, но железный кулак Дидериха настиг его, и злодей был передан в руки полиции. Последняя установила, что это немец, и обратилась к Дидериху с просьбой учинить ему допрос. Дидерих, хоть и обсыпанный зубным порошком, выполнил свою задачу, как заправский следователь. Ответы задержанного, который — заметь-

те — оказался художником, на первый взгляд не имели ничего общего с политикой, но в их потрясающей непочтительности и отсутствии нравственных принципов проявились, несомненно, бунтарские тенденции, почему Дидерих и рекомендовал немедленно взять злодея под стражу. Полицейские увели его, не преминув предварительно козырнуть Дидериху. А он едва успел с помощью своего приятеля, швейцара, почиститься, ибо тут же было объявлено о выходе кайзера. Служба Дидериха снова началась.

Эта служба вынуждала его безостановочно дотемна мотаться по городу, пока не привела как-то к зданию германского посольства, где в честь его величества был устроен прием. Длительное пребывание кайзера в посольстве позволило Дидериху подзарядиться в ближайшем кабачке. Он взобрался на стоящий перед входом стул и обратился к народу с речью, проникнутой духом национализма. Он разъяснял этим бесхарактерным людишкам, этим тюфякам, преимущества железного режима и настоящего кайзера перед какой-то там куклой... Он говорил, залитый красным светом от плошек, которые курились перед дворцом германского посольства, а толпа глазела, как он раскрывает рот с закрученными под прямым углом усами, как он вращает глазами и вдруг застывает, точно отлитый из чугуна,— и этого, видно, ей было достаточно, чтобы понимать его, потому что она ликовала, хлопала в ладоши и, как только Дидерих выкрикивал: «Да здравствует кайзер!», кричала вместе с ним. С серьезным и даже грозным видом прибимал Дидерих, во имя своего кайзера и страшной мощи своего кайзера, дань восторга от иноземной толпы, а затем сползал со стула и возобновлял обильные возлияния. Некоторые соотечественники чокались с ним, едва ли менее взбудораженные, чем он; как истые немцы, они пили, не отставая от него. Один из них развернул лист какой-то вечерней газеты с огромным портретом кайзера и прочитал заметку о происшествии в портале дворца, виновником которого оказался неизвестный немец. Лишь благодаря бдительности чиновника из личной охраны кайзера удалось помешать злодейскому замыслу; тут же был помещен и снимок чиновника. Мог ли Дидерих не узнать его? Сходство было, правда, отдаленное, а имя — до неузнаваемости искажено, зато контуры лица и усы полностью соответствовали оригиналу. Так Дидерих увидел кайзера и себя самого на одном и том же газетном листе; кайзера и его верноподданного, показанных здесь, на удивление всему миру. Это было больше, чем он мог перенести. С увлажненными глазами он встал и затянул «Стражу на Рейне». Вино, стоившее так де-

шево, и восторги, без конца получавшие все новую и новую пищу, привели к тому, что весть об отбытии кайзера из посольства застала Дидериха не в очень-то достойном виде. Тем не менее он сделал все, что мог, во исполнение своего долга. Выписывая вензеля, он ринулся с Капитолия вниз, споткнулся — и покатился с лестницы, пересчитывая ступеньки. Собутыльники догнали его уже внизу, на узкой уличке, где он стоял, повернувшись лицом к стене... Свет факелов и цокот копыт. Кайзер! Все, пошатываясь, бросились за каретой, но Дидериху не помог даже новотевтонский кодекс чести, и он растянулся там, где стоял... Когда два городских стражника натолкнулись на него, он сидел в луже, привалившись к стене. Они опознали чиновника из личной охраны кайзера и, сильно встревоженные, наклонились над ним. Но в следующую минуту стражники поглядели друг на друга и разразились веселым хохотом. Чиновник из личной охраны, слава богу, не был мертв, он храпел во все носовые завертки, а лужа, в которой он сидел, была отнюдь не лужей крови.

Вечером следующего дня, на парадном спектакле, вид у кайзера был крайне озабоченный. Дидерих заметил это. Он сказал Густе:

— Теперь я знаю, что не даром потратил столько денег. Помяни мое слово — мы присутствуем при историческом событии!

И предчувствие не обмануло его. В театре появились вечерние газеты с сообщением, что кайзер этой же ночью отбывает из Рима и что он распустил рейхстаг! Дидерих, такой же озабоченный, как его кайзер, разъяснял соседям важность сего события. У крамольников хватило совести отвергнуть военный законопроект! Националисты будут драться за своего кайзера не на жизнь, а на смерть! Сам он, уверял Дидерих, ближайшим поездом отправится восвояси,— и ему немедленно сообщили время отхода поезда... Недовольной была одна только Густа.

— В кои-то веки собрались в чужие края, уж могли бы, слава богу, позволить себе немножко удовольствия. Так нет, два дня я отдежурила одна в гостинице, а теперь извольте опрометью мчаться обратно из-за этого...

И Густа метнула в сторону кайзерской ложи такой возмущенный взгляд, что Дидерих строго одернул ее... Она тоже разгорячилась; кругом зашикали, и когда Дидерих с воинственным видом и огненным взором стал огрызаться, возмущенная публика вынудила его вместе с Густой задолго до отхода поезда покинуть зал.

— О правилах хорошего тона эти макаронники и слыхом не слыхали,— изрек он, выходя из театра, и громко засопел.—

Да и вообще, что тут хорошего, хотел бы я знать! Приятная погода, это, конечно... Ну, что ж, любуйся, по крайней мере, всем этим старьем, которое здесь все заполонило,— потребовал он.

— Я любуюсь! — жалобно сказала Густа, уже укрощенная.

И вот, сохраняя подобающую дистанцию, они следуют за поездом кайзера. Густа, в суматохе позабывшая свои губки и щетки, на каждой станции порывалась выйти. Для того чтобы она как-нибудь прожила без них тридцать шесть часов, Дидерих без передышки произносил выспренние речи о величии идеи национализма. Все же первой ее заботой, как только они сошли с поезда в Нетциге, были губки. И надо же было им приехать в воскресенье! К счастью, аптека оказалась открытой. Пока Дидерих получал багаж, Густа бросилась туда. Так как она долго не возвращалась, Дидерих последовал за ней.

Дверь в аптеку была приоткрыта, трое парнишек подглядывали в щель и корчились от смеха. Дидерих посмотрел поверх их голов и остолбенел от удивления — за стойкой, сложив руки на груди и устремив хмурый взгляд в пространство, шагал взад и вперед его старый приятель и собутыльник Готлиб Горнунг. Густа как раз говорила:

— Все-таки мне очень хотелось бы знать, получу я зубную щетку или нет.

Готлиб Горнунг вышел из-за стойки и, не меняя позы, мрачно уставился на Густу.

— Надеюсь, у меня на физиономии ясно написано,— начал он ораторским тоном,— что я не могу и не хочу продавать вам зубную щетку.

— То есть как это! — воскликнула Густа и попятилась к стене.— Ведь вот же у вас полная банка зубных щеток.

Горнунг улыбнулся улыбкой Люцифера.

— Вон тот дядька наверху,— сказал он, запрокидывая голову и подбородком указывая на потолок, над которым, по-видимому, обитал его патрон,— может торговать здесь, чем ему угодно. Меня это ни в малейшей степени не интересует. Не для того я проучился шесть семестров, не для того был членом самой аристократической корпорации, чтобы продавать зубные щетки.

— А зачем же вы тогда здесь? — спросила Густа, заметно оробев.

— Я здесь для рецептуры,— величественно поводя глазами, ответил Горнунг.

Тут Густа, видно, почувствовала себя побежденной. Она повернулась, собираясь уйти. Но в голове у нее мелькнула одна мысль.

— С губками, значит, такая же штука?

— Совершенно такая же,— подтвердил Горнунг.

Густа, казалось, только того и ждала, чтобы напуститься на него. Она выпятила бюст и уже готова была разойтись вовсю, но Дидерих вовремя вмешался и уладил дело мирным путем. Он заявил, что друг его прав, надо блюсти престиж «Новотевтонии» и высоко держать ее знамя. А тот, кому нужна губка, может взять ее сам и деньги положить на стойку; так он и поступил. Готлиб Горнунг тем временем отошел в сторону, насвистывая, точно был здесь один. Дидерих участливо осведомился, как жилось его другу. К сожалению, жизненный путь Готлиба Горнунга был усеян терниями: раз он не желал продавать губки и зубные щетки, его ни в одной аптеке не хотели держать и из пяти уже выставили. Но, невзирая ни на что, он решил и впредь непоколебимо отстаивать свои убеждения, рискуя потерять и это место.

— Вот перед тобой истый новотевтонец, посмотри-ка на него хорошенько! — сказал Дидерих Густе, и та посмотрела на него хорошенько.

Дидерих, в свою очередь, не заставил себя долго упрашивать, рассказал о событиях своей жизни и своих достижениях. Он обратил внимание Горнунга на свой орден, повернул так и этак перед приятелем Густу и назвал цифру ее капитала. Кайзер, чьи враги и хулители благодаря Дидериху сидят за решеткой, недавно посетил Рим и опять-таки стараниями Дидериха избег опасности, угрожавшей его особе. Газеты, опасаясь паники при дворах и на бирже, изобразили все как выходку какого-то полусумасшедшего.

— ...Между нами говоря, у меня есть все основания полагать, что существовал разветвленный заговор. Сам понимаешь, Горнунг, что в интересах национализма это надо держать в тайне, ведь ты, несомненно, тоже националист?

Горнунг был им, и Дидерих стал распространяться о задаче необычайной важности, вынудившей его внезапно прервать свое свадебное путешествие и вернуться. Необходимо провести в рейхстаг кандидата от националистов! Не следует закрывать глаза на трудности. Нетциг — цитадель свободомыслия, крамола расшатывает устои...

Тут Густа пригрозила забрать багаж и уехать домой одна. Дидерих впопыхах успел лишь пригласить приятеля зайти к

нему поскорее, сегодня же вечером, им нужно срочно поговорить. Садясь в экипаж, он увидел, как один из шалунов, дожидавшихся за дверью, вошел в аптеку и попросил показать ему зубную щетку. Дидерих решил, что Готлиб Горнунг с его аристократическими наклонностями, которые так мешают ему продавать губки и щетки, может оказаться весьма полезным союзником в борьбе против демократии. Но это было наименее важное из всех срочных дел. Старой фрау Геслинг разрешено было наскоро всплакнуть, а затем ее попросили удалиться на третий этаж, где раньше помещались только служанки и сушилось белье и куда Дидерих теперь спровадил мать и Эмми. Еще с дорожной копотью в усах, он задворками отправился к фон Вулкову. Так же незаметно вызвал к себе Наполеона Фишера и одновременно принял меры, чтобы без промедления встретиться с Кунце, Кюнхеном и Циллихом.

Нелегко заниматься делами в воскресный день. Майора едва удалось оторвать от партии в кегли, пастору Циллиху пришлось отказаться от семейной прогулки за город с Кетхен и асессором Ядассоном, а Кюнхен находился в плену у своих двух воспитанников, квартировавших у него на полном пансионе, которые уже довели его до полупьяного состояния. Наконец кое-как удалось согнать их всех в кабачок ферейна ветеранов, и Дидерих без лишних проволочек объявил, что необходимо выдвинуть кандидата от националистов и что при сложившихся обстоятельствах единственной подходящей фигурой является майор Кунце.

— Ура! — сразу же крикнул Кюнхен, но Кунце нахмурился сильнее обычного. Неужели его считают таким простачком? — прошипел он сквозь зубы. Очень ему нужно срамиться!

— Кандидат от националистов в Нетциге? Полный провал — как дважды два четыре.

Дидерих заявил, что майор глубоко заблуждается.

— Мы располагаем ферейном ветеранов. Не забудьте, господа! Ферейн ветеранов — бесценная оперативная база. Отсюда мы прямиком пробьемся, если можно так выразиться, к памятнику Вильгельму Великому, а там уже выиграем бой.

— Ура! — крикнул опять Кюнхен, а остальные пожелали узнать, к чему Дидерих приплел памятник; и он посвятил их в свой замысел, но счел за благо умолчать о том, что памятник — это объект сговора между ним и Наполеоном Фишером.

Приют для грудных младенцев, за который ратовали свободомыслящие, осторожно сказал он, не пользуется популярностью, можно немалое число избирателей перетянуть на сторону националистов, если пообещать на средства, завещанные Кюлема-

ном, построить памятник. Прежде всего многие ремесленники получили бы работу, в городе ключом забила бы жизнь, закладка такого памятника, бесспорно, встретила бы широкий отклик, а Нетциг избавился бы от своей дурной славы демократического болота и грелся бы в лучах монаршей милости.

Тут Дидерих вспомнил о своем сговоре с Вулковом, но опять-таки предпочел промолчать.

— Мужу, который так бесконечно много сделал для нашего общего блага,— он широким жестом указал на Кунце,— этому мужу наш добрый старый город когда-нибудь тоже поставит памятник. Он и кайзер Вильгельм Великий будут глядеть друг на друга...

— ...и показывать друг другу язык,— договорил за него майор, который никак не мог отделаться от своего маловерия.— Если вы думаете, что нетцигчане только и ждут великого мужа, который под бой барабанов приведет их в лагерь националистов, почему бы вам самому не взять на себя роль этого великого мужа? — И он впился глазами в Дидериха. Но Дидерих ответил ему еще более открытым взглядом; он прижал руку к сердцу.

— Господин майор! Мой всем известный монархический образ мыслей навлек на меня более тяжелые испытания, чем кандидатура в депутаты рейхстага, и я вправе сказать, что испытания эти выдержал! Я как передовой борец за правое дело не убоялся принять на себя всю ненависть неблагонадежных элементов и поэтому сам не могу пожать плоды принесенной мною жертвы. Нетциг за меня голосовать не будет, но за мое дело он будет голосовать, и поэтому я отхожу на задний план, ибо быть человеком дела — значит быть немцем. И я уступаю вам, господин майор, без малейшей зависти весь почет и всю славу.

Всеобщее движение. Голос Кюнхена, крикнувшего «браво», дрогнул от слез, пастор проникновенно кивал, а Кунце, явно потрясенный, глядел куда-то под стол. Дидерих же чувствовал себя хорошо, легко, он прислушался к голосу сердца и нашел в этом сердце верность, самоотверженность, мужественный идеализм. Поросшая светлыми волосками рука Дидериха протянулась через стол, а поросшая темными волосками рука майора с некоторым колебанием, но крепко пожала ее.

Не успело умолкнуть сердце, как во всех четырех мужах заговорил рассудок. Майор осведомился, готов ли Дидерих возместить моральный и материальный ущерб, грозящий ему, если он потерпит поражение в единоборстве с кандидатом клики свободомыслящих.

— Вы прекрасно это понимаете! — Он поднял руку и ткнул

пальцем в Дидериха, который не сразу пришел в себя от такой прямолинейности.— Дело национализма вам самим не представляется таким уж безгрешным, и ваше стремление непременно втянуть меня, насколько я вас знаю, господин доктор, связано с какими-то вашими махинациями, в которых я, как бесхитростный солдат, благодарение господу, ни черта не смыслю.

В ответ на эту тираду Дидерих поспешил пообещать бесхитростному солдату орден, и так как он намекнул на сговор с Вулковом, то националистический кандидат безоговорочно сдался... Пастор Циллих успел тем временем поразмыслить над тем, позволяет ли ему положение, которое он занимает в городе, взять на себя обязанности председателя национального избирательного комитета? Не приведет ли это к расколу в его приходе? Ведь его собственный зять Гейтейфель выставлен кандидатом от либералов! Другое дело, конечно, если бы вместо памятников строили церкви.

— Ибо, истинно говорю, в божьих храмах мы терпим бо́льшую нужду, чем когда-либо, а дорогой моему сердцу храм пресвятой Марии столь заброшен городскими властями, что не сегодня-завтра купол его обрушится мне и моим прихожанам на голову.

Дидерих, не задумываясь, обязался произвести в церкви какой угодно ремонт. Он поставил лишь одно условие: пусть пастор позаботится, чтобы на руководящие посты в новой партии не попали те элементы, которые своими высказываниями в прошлом вызывают законные сомнения в искренности их националистического образа мыслей.

— Разумеется, я не хочу вторгаться в чьи-либо семейные отношения,— добавил Дидерих, выразительно взглянув на папашу Кетхен, который, очевидно, смекнул, о чем речь, и промолчал. Неожиданно снова подал голос Кюнхен, бравурных возгласов которого давно не было слышно. Все это время пастор и майор, разговаривая с Дидерихом, силой удерживали Кюнхена на стуле; но как только они ослабили внимание, он бурно вторгся в дебаты. Где прежде всего следует насаждать националистический образ мыслей? Среди молодежи! А как это сделаешь, если директор гимназии друг господина Бука?

— Тут хоть чахотку наживи, твердя им о наших доблестных подвигах в семидесятом...— Короче говоря, Кюнхен желал стать директором, и Дидерих великодушно обещал ему содействие.

После того как на здоровой основе личных интересов была намечена политическая стратегия, можно было с чистой сове-

стью предаться энтузиазму, который, как разъяснил пастор Циллих, ниспосылается богом и необходим в самых праведных делах, ибо только он воистину освящает их... Вся компания отправилась в погребок.

На рассвете, когда четверо друзей возвращались домой, повсюду, среди белых воззваний, призывавших голосовать за Гейтейфеля, и красных — ратовавших за социалиста Наполеона Фишера, уже красовались плакаты в черно-бело-красной рамке, рекомендовавшие избирателям отдать свои голоса кандидату «партии кайзера» майору Кунце. Дидерих, широко расставив ноги, останавливался перед ними, стараясь держаться как можно тверже, и пронзительным тенором зачитывал их вслух. «Бродяги, не помнящие родства, засевшие в распущенном ныне рейхстаге, посмели отказать нашему несравненному кайзеру в средствах, необходимых для борьбы за величие империи... Так будем же достойны нашего великого монарха и сокрушим его врагов! Вся наша программа — это кайзер! Кто не за меня, тот против меня. На одной стороне крамола, на другой — партия кайзера». Кюнхен, Циллих и Кунце сопровождали каждое слово громогласным ура, а Дидерих, увидев, что несколько рабочих, направлявшихся на фабрику, в недоумении остановились, обратился к ним и принялся разъяснять националистическую декларацию.

— Друзья,— сказал он,— вы и не знаете, как вам повезло, что вы родились немцами. Весь мир завидует нам, завидует, что у нас такой кайзер, я сам недавно убедился в этом, когда был за границей.

Кюнхен под немыми взглядами рабочих отбарабанил кулаками по рекламному щиту туш, и четверо приятелей прокричали «ура».

— Хотите, чтобы ваш кайзер подарил вам колонии? — продолжал Дидерих.— Ясно, хотите! В таком случае извольте отточить ему меч! Голосуйте не за каких-нибудь бродяг, не помнящих родства,— этого не смейте делать! — подавайте голоса за единственно подлинного монархического кандидата, за господина майора Кунце. В противном случае я ни на секунду не поручусь, что наша страна займет достойное место под солнцем, а вам не грозит опасность, что в получку вы принесете жене и детям на двадцать марок меньше.

Рабочие безмолвно переглянулись и пошли своей дорогой.

Но и друзья не теряли времени. Сам Кунце взял на себя задачу разъяснить точку зрения националистов членам ферейна ветеранов.

— Пусть рабочие не надеются, что смогут вступать в свободные профессиональные союзы! Мы выбьем из них всякие вольные идеи! Мы заговорим с ними другим языком!

Пастор Циллих решил заняться подобной же деятельностью в христианских ферейнах, а Кюнхен размечтался о том, как его старшеклассники загорятся энтузиазмом. В его воображении они уже носились на велосипедах по городу и волокли избирателей к урнам. Дидерих превзошел всех — неусыпное чувство долга не давало ему ни минуты покоя. Супруге, лежавшей в постели и встретившей его упреками, он ответил, испепеляя ее взором:

— Мой кайзер кликнул клич, значит, супружеские обязанности побоку. Понятно?

Густа порывисто повернулась на другой бок, воздвигнув между собой и невежей мужем некое подобие башни — перину, взбитую ее пышными прелестями. Дидерих подавил в себе подкрадывавшееся раскаяние и немедленно принялся сочинять воззвание против плана либералов построить приют для грудных младенцев. «Нетцигский листок» поместил его, хотя за два дня до того напечатал заметку Гейтейфеля с горячим призывом учредить приют для грудных младенцев. Ибо, разъяснял тут же редактор Нотгрошен, его газета, орган просвещенных кругов общества, почитает своим долгом перед подписчиками испытывать каждую вновь возникшую идею на оселке культурной совести. Дидерих как раз это и сделал, не оставив от идеи приюта камня на камне. Для кого в первую голову предназначается приют? Для внебрачных детей. Что таким образом поощряется? Порок! Испытываем мы в этом необходимость? Ни в коей мере: «Ибо мы, слава богу, не находимся в печальном положении французов, которые, в силу своей демократической распущенности, стали вымирающей нацией. Предоставим французам выдавать премии за внебрачных детей, потому что иначе у них не будет солдат. Нам же не грозит загнивание, прирост населения у нас безграничен. Мы соль земли!» И Дидерих высчитал для подписчиков «Нетцигского листка», к какому сроку население Германии достигнет ста миллионов и сколько, в самом крайнем случае, понадобится времени, чтобы весь земной шар стал немецким.

Теперь, по мнению национального комитета, первое предвыборное собрание «партии кайзера» было достаточно подготовлено. Собрание устроили в пивной Клапша. Сам Клапш порадел за истинно немецкое оформление зала. Среди еловых гирлянд алели транспаранты: «Воля кайзера — высший закон». «У вас нет врагов, кроме моих врагов». «Социал-демократов я беру на

себя». «Мой курс — единственно правильный». «Граждане — воспряньте ото сна!»

Заботу о пробуждении граждан взяли на себя Клапш и фрейлейн Клапш — они то и дело заменяли на столиках опустевшие кружки полными, даже не очень тщательно подсчитывая, вопреки обыкновению, количество выпитых кружек. В результате, когда председательствующий пастор Циллих представил собранию Кунце, его встретили очень тепло. Впрочем, несмотря на клубы табачного дыма, окутавшего президиум, Дидерих сумел сделать досадное открытие: в зал проникли Гейтейфель, Кон и некоторые их единомышленники. Так как за подбор людей отвечал Горнунг, Дидерих напустился было на него. Но Горнунг и слышать ни о чем не хотел. Он был возмущен. Малого труда, что ли, стоило ему согнать сюда столько народу? Только благодаря его агитации будущий памятник Вильгельму Великому привлек такую армию поставщиков, что городу вовек не расплатиться с ними, хотя бы Кюлеман трижды испустил дух! Руки у него, у Горнунга, вспухли от пожатий всех этих новоиспеченных националистов! А чего только они от него не требовали! Предлагали стать компаньоном владельца аптекарского магазина, но это еще куда ни шло. Против чего Готлиб Горнунг решительно возражал, так это против демократического стирания граней. Хозяин аптеки, где он работал, только что уволил его, тем не менее он еще непреклоннее, чем когда-либо, стоит на своем — продавать зубные щетки и губки он не будет.

А Кунце тем временем бубнил свою программную речь. Его мрачная физиономия не могла ввести Дидериха в заблуждение. Майор явно понятия не имел о том, что собирается сказать, и чувствовал себя в предвыборной борьбе беспомощнее, чем чувствовал бы себя на поле боя.

— Милостивые государи,— говорил он,— армия наш единственный оплот...— Кто-то из компании Гейтейфеля крикнул с места: «Дело дрянь!» Кунце сразу же стушевался и добавил: — Но кто ее оплачивает? Буржуа.

Гейтейфельцы встретили эти слова криками одобрения. Растерявшись, Кунце заявил:

— Поэтому мы все оплот, и горе монарху...

— Правильно! Верно! — кричали свободомыслящие, и ярые националисты присоединились к ним.

Майор вытирал взмокшее лицо; помимо его воли речь его принимала такой характер, точно он произносил ее в какомнибудь либеральном ферейне. Дидерих тянул его сзади за фалды, заклиная поставить точку, но, как майор ни старался кон-

чить, все было напрасно: он никак не мог найти перехода к лозунгу «партии кайзера». В конце концов он потерял терпение, отчаянно побагровел и в бешенстве крикнул:

— «Выкорчевать до последнего пня!» Урра!

Ферейн ветеранов откликнулся бурей аплодисментов. К столикам, где воодушевление не выражалось столь бурно, по знаку Дидериха поспешно подходили с пивом Клапш или фрейлейн Клапш.

Доктор Гейтейфель попросил слова, но Готлиб Горнунг его опередил. Дидерих предпочел оставаться в тени, прячась в облаке табачного дыма, окутывавшего президиум. Он пообещал десять марок Горнунгу. И тот при своем стесненном положении не мог отказаться. Скрежеща зубами, фармацевт подошел к краю сцены, чтобы прокомментировать речь уважаемого господина майора в том смысле, что армия, во имя которой все мы готовы на любые жертвы, является нашим оплотом в борьбе с засасывающей тиной демократии.

— Демократия — это мировоззрение недоучек,— заявил фармацевт.— Наука развенчала его.

— Правильно! — крикнул кто-то; это был голос владельца аптекарского магазина, который хотел привлечь Горнунга в компаньоны.

— Господа и слуги будут существовать всегда,— изрек Готлиб,— ибо то же самое мы видим в природе. И это правильно: ступенькой выше тебя всегда стоит некто, кого ты боишься, и ступенькой ниже — некто, кто тебя боится. Иначе до чего бы мы докатились! Любой встречный воображал бы, что он может существовать сам по себе и все люди равны. Горе тому народу, у которого освященные традицией формы отношений потонут в демократической каше и восторжествует разлагающая идея ценности человеческой личности! — Здесь Готлиб Горнунг скрестил руки на груди и вздернул подбородок.— Я,— воскликнул он,— член высокоаристократической корпорации, познавший, сколь радостно пролить кровь за честь знамени, никогда не снизойду до того, чтобы продавать зубные щетки!

— И губки тоже? — спросил кто-то.

— И губки тоже! — не колеблясь, подтвердил Горнунг.— Я заранее самым решительным образом отвергаю всякие предложения подобного рода. Никогда не следует забывать, кто перед тобой. Каждому свое. И под этим лозунгом мы отдадим свои голоса только одному кандидату, тому, кто не откажет кайзеру в его желании получить столько солдат, сколько он захочет. Ибо одно из двух: или у нас есть кайзер, или его нет.

Так Готлиб Горнунг закончил свою речь. Он отступил в глубь сцены, выдвинул нижнюю челюсть и, насупив брови, устремил взгляд в зал, гремевший бурей аплодисментов. Члены ферейна ветеранов продефилировали с высоко поднятыми кружками пива в руках мимо него и Кунце. Кунце пожимал протянутые к нему руки. Горнунг стоял рядом, точно вылитый из бронзы, а Дидерих не мог подавить в себе чувства горечи, ведь эти две второстепенные фигуры пожинают то, что он посеял. Хочешь не хочешь, а надо отказаться в их пользу от преходящей популярности, ибо он, Дидерих, лучше этих двух простаков знает, к чему все сведется. В конечном счете кандидат от националистов нужен лишь для того, чтобы сколотить вспомогательный отряд для Наполеона Фишера, и поэтому разумнее самому держаться в тени. Гейтейфель, разумеется, прилагал все усилия, чтобы вывести Дидериха на чистую воду. Председатель пастор Циллих не находил больше предлога отказывать Гейтейфелю в слове. Тот немедленно заговорил о приюте для грудных младенцев.

— Это,— сказал он,— дело социальной совести и гуманности. А что такое памятник Вильгельму Великому? Спекулятивное предприятие, и тщеславие — это еще наиболее благородный из тех инстинктов, на которых в данном случае спекулируют...

Поставщики, сидевшие в зале, слушали оратора молча и только время от времени нарушали тишину глухим ропотом, дававшим выход их наэлектризованным чувствам. Дидерих дрожал.

— Есть люди,— продолжал Гейтейфель,— которым не страшно выбросить лишних сто миллионов на армию — они уже наперед прикинули, как с лихвой вернуть свой личный вклад.

Дидерих вскочил:

— Прошу слова!

И поставщики, дав волю своему негодованию, разразились криками: «Браво! Просим! Долой!» Они бушевали до тех пор, пока Гейтейфель не сошел с подмостков и Дидерих не стал на его место.

Он долго ждал, прежде чем улеглась буря националистического возмущения.

— Господа! — начал он наконец.

— Браво! — закричали поставщики, и Дидериху опять пришлось сделать паузу. Как легко дышалось в этой атмосфере созвучно настроенных умов! Когда ему удалось наконец заговорить, он облек в слова всеобщее возмущение, сказав, что преды-

дущий оратор позволил себе усомниться в чистоте националистических убеждений собрания.

— Безобразие! — кричали поставщики.

— Это только доказывает,— воскликнул Дидерих,— насколько своевременно основание «партии кайзера»! Кайзер самолично повелел сплотиться всем тем,— будь то хозяин иль слуга, — кто хочет избавить его от бунтарской заразы. А мы этого хотим. Вот почему наш националистический и монархический образ мыслей стоит выше подозрений со стороны тех элементов, которые сами подготовляют почву для бунтарства.

Раньше, чем разразилась буря аплодисментов, Гейтейфель успел очень внятно бросить:

— Не забегайте вперед! Существует еще перебаллотировка!

И хотя поставщики громом рукоплесканий заглушили его дальнейшие слова, Дидерих учуял в этих двух фразах опасный намек и предпочел переменить тему. Вопрос о приюте для грудных младенцев был менее каверзным. Как! Назвать приют делом социальной совести? Нет, такой приют — порождение порока!

— Нам, немцам, подобные учреждения не нужны. Пусть их строят французы, эта вымирающая нация.

Дидериху оставалось лишь пересказать собственную статью, напечатанную в «Нетцигском листке». Юношеский ферейн, возглавляемый пастором Циллихом, и ферейн приказчиков-христиан аплодировали каждому его слову.

— Германцы целомудренны! — восклицал Дидерих.— Потому мы и одержали победу в семидесятом!

Теперь вопли восторга стал испускать ферейн ветеранов. Из-за стола президиума вскочил Кюнхен и, размахивая сигаретой, завизжал:

— Скоро мы им опять покажем, где раки зимуют!

Дидерих поднялся на цыпочки.

— Господа! — восклицал он, стараясь перекричать шум разбушевавшегося моря националистических восторгов,— пусть памятник кайзеру Вильгельму будет знаком нашего преклонения перед великим дедом нашего кайзера,— ведь все мы, говоря без преувеличения, чтим его почти как святого,— и в то же время обещанием его великому внуку, нашему несравненному молодому кайзеру, что мы навсегда останемся такими, какие мы есть, то есть целомудренными, свободолюбивыми, правдивыми, верными и бесстрашными!

Тут поставщиков уже никакая сила не могла сдержать. Самозабвенно упивались они высокими идеалами, да и Дидерих

как бы отрешился от всех мирских мыслишек, забыл о соглашении с Вулковом, о сговоре с Наполеоном Фишером, о своих темных расчетах на перебаллотировку. Чистый энтузиазм вознес его душу на высоту, от которой кружилась голова. Ему не сразу удалось вновь заорать:

— Вот почему мы должны со всей решимостью положить конец поклепам и наветам тех, кто силится разложить нас своей ложной гуманностью!

— А куда вы спрятали вашу подлинную? — раздался голос Гейтейфеля. Вопрос этот так подстегнул националистические чувства собрания, что дальнейшая речь Дидериха слышалась только урывками. Можно было лишь разобрать, что он не желает вечного мира, ибо это мечта — и даже не прекрасная. Вместо этого он требовал спартанского воспитания расы. Слабоумных и прегрешающих против нравственности он предлагал хирургическим путем лишать способности к размножению. Когда Дидерих дошел до этого пункта своей программы, Гейтейфель и его единомышленники покинули зал. На пороге Гейтейфель обернулся и крикнул:

— Не забудьте кастрировать и крамольников!

— Обязательно кастрируем,— откликнулся Дидерих,— если вы не перестанете злопыхательствовать!

— Обязательно кастрируем! — неслось отовсюду.

Все повскакали с мест, чокались и что-то восторженно кричали, хором изливая свои возвышенные чувства. Дидерих стоял среди бушующего моря славословий; он пошатывался под натиском истинно немецких рук, жаждавших пожать его руку, и националистических кружек пива, протянутых к нему, чтобы чокнуться, он смотрел с подмостков в зал, и в хмельном чаду ему казалось, что зал раздвигается, становится шире, выше. В облаках дыма под потолком мистически пламенели обращенные к нему заповеди его владыки: «Воля кайзера!», «Мои враги!», «Мой курс!». Ему хотелось бросить их в бурлящий восторгами зал, но он схватился за горло,— ни единого звука: он потерял голос. Дидерих панически оглядывался, ища глазами Гейтейфеля, а того и след простыл. «Мне не надо было его так раздражать. Боже, смилуйся надо мной, когда он будет смазывать мне горло!»

Гейтейфель запретил Дидериху выходить из дому — более жестокой мести он не мог бы придумать. В городе, что ни день, все яростнее кипела предвыборная борьба, и так как все высту-

пали с речами, на страницах газет без конца мелькали знакомые имена. Даже пастор Циллих и сам редактор Нотгрошен выступали на каких-то собраниях, не говоря уже о Кюнхене, который выступал в тысяче мест одновременно. Один только Дидерих безмолвствовал, он полоскал горло в своей гостиной, заново обставленной в старонемецком стиле. Из ниши окна на него смотрели три бронзовые фигуры, почти в две трети человеческого роста — кайзер, кайзерша и зекингенский трубач. Дидерих купил их по случаю у Кона, хотя Кон перестал заказывать у него бумагу и все еще был далек от националистического образа мыслей. Но Дидерих, обставляя свою квартиру, не мог отказаться от этих фигур. Когда он попрекал Густу слишком дорогой шляпкой, она вспоминала ему эту покупку.

Густа в последнее время часто капризничала, временами ее тошнило; тогда она отправлялась в спальню, и старая фрау Геслинг ухаживала за ней. Как только ей становилось лучше, она принималась допекать старуху, напоминая, что все здесь куплено на ее, Густины, деньги. А фрау Геслинг не упускала случая изобразить брак Густы с ее Диделем как подлинную милость божию для Густы в ее тогдашнем положении. Дело кончалось тем, что Густа, вся пунцовая, дулась и фыркала, а фрау Геслинг ударялась в слезы. Дидерих от этих сцен только выигрывал: после них обе женщины были с ним необычайно нежны — каждая старалась перетянуть ничего не подозревавшего Диделя на свою сторону.

Что касается Эмми, то в таких случаях она, по обыкновению, хлопала дверью и шла к себе наверх, в комнату с покатым потолком. Густа помышляла уже о том, чтобы выдворить ее и оттуда. Где, в самом деле, сушить белье в дождь? Если Эмми не может найти жениха, потому что у нее гроша за душой нет, значит, ее надо выдать замуж за человека более низкого сословия, за честного ремесленника! Но Эмми, конечно, корчит из себя аристократку, ведь она вхожа к Бриценам! Густу задевало за живое, что фрейлейн Брицен приглашает Эмми к себе, хотя сама ни разу не была у Геслингов. Ее брату, лейтенанту, за ужины в доме Даймхенов не грех бы нанести ей, Густе, хотя бы один визит, но он почему-то удостаивает своими посещениями только третий этаж геслинговского дома. Это было весьма подозрительно. Успехи в обществе не спасали, правда, Эмми от приступов жестокой депрессии; в такие дни она не выходила даже к обеду.

Однажды Густа из жалости, а может, и от скуки, поднялась наверх к Эмми, но та, увидев ее, закрыла глаза и продолжала

лежать, бледная и неподвижная, в своем ниспадающем мягкими складками пеньюаре. Так как Эмми упорно молчала, Густа разоткровенничалась сама: заговорила о Дидерихе и о своей беременности. Но застывшее лицо Эмми вдруг сморщилось, как от боли, она повернулась к Густе и энергичным жестом указала ей на дверь. Густа и не подумала сдержать свое возмущение. Эмми, порывисто вскочив, ясно и недвусмысленно заявила, что хочет побыть одна, а когда фрау Геслинг прибежала на шум, уже было принято решение, что впредь обе семьи будут столоваться раздельно. Дидериха, когда Густа с плачем пожаловалась ему на Эмми, эта бабья склока рассердила. К счастью, он придумал выход, который мог, казалось, хотя бы на время утишить разгоревшиеся страсти. Пользуясь тем, что голос к нему частично вернулся, он немедленно поднялся к Эмми и объявил ей о своем решении отправить ее на месяц-два к Магде в Эшвейлер. К его удивлению, она отказалась. Он продолжал настаивать, и Эмми уже готова была вспылить, но внезапно, точно охваченная страхом, начала тихо и настойчиво просить, чтобы он разрешил ей остаться дома. Дидерих, у которого почему-то сердце дрогнуло от жалости, растерянно обвел глазами комнату и вышел.

На следующий день Эмми, свежая и румяная, в самом лучшем настроении как ни в чем не бывало появилась за столом. Густа держалась сдержанно и холодно и все бросала выразительные взгляды на Дидериха. Он истолковал их по-своему, поднял стакан и, обращаясь к Эмми, лукаво сказал:

— За ваше здоровье, фрау фон Брицен.

Эмми побледнела.

— Это еще что за шутовство! — крикнула она гневно, швырнула салфетку и хлопнула дверью.

— Вот те раз! — буркнул Дидерих, а Густа лишь пожала плечами. Только когда фрау Геслинг ушла, Густа, загадочно глядя Дидериху в глаза, спросила:

— Ты и в самом деле так думаешь?

Дидерих почувствовал страх, но только вопросительно посмотрел на жену.

— Я полагаю,— продолжала Густа,— что, будь это так, господин лейтенант хотя бы на улице соблаговолил со мной раскланиваться. А сегодня он попросту перешел на другую сторону.

Дидерих заявил, что все это ее фантазия. Густа ответила:

— Если это моя фантазия, то не единственная. По ночам я слышу, как кто-то крадется по дому, а сегодня утром Минна мне сказала...

Кончить фразу ей не удалось.

— Вот как! — Дидерих громко засопел.— С прислугой шушукаешься! Мама тоже всегда так делала. Но я этого не потерплю, так и знай. Честь моего дома я охраняю сам и не нуждаюсь ни в тебе, ни в Минне, а если вы иного мнения, то вот бог, а вот и порог.

Получив столь мужественный отпор, Густа вынуждена была замолчать, но когда Дидерих выходил, она проводила его взглядом исподлобья и усмехнулась.

Дидерих был тоже доволен собой: своей решительной отповедью он сразу положил конец разговорам об Эмми. Жизнь и без того сложна, незачем ее еще больше запутывать! Враги не преминули воспользоваться его хрипотой, на целых три дня, к сожалению, отвлекшей его от участия в борьбе. Не далее как этим утром Наполеон Фишер поставил его в известность, что «партия кайзера» становится слишком сильной и что в последние дни она уж чересчур травит социал-демократов. А при таких обстоятельствах...

Дидерих, чтобы успокоить его, пообещал сегодня же выполнить взятые на себя обязательства и потребовать от гласных постройки дома для социал-демократических профессиональных союзов... И, далеко еще не восстановив здоровье, он пошел в ратушу, где его ждал сюрприз: предложение о постройке дома профессиональных союзов только что было внесено, и кем же? Господином Коном и его единомышленниками! Либералы предложение поддержали, оно прошло как по маслу — будто только его и ждали. Дидерих, собиравшийся громогласно заклеймить Кона и его единомышленников за измену делу национализма, издал лишь какие-то лающие звуки: этот подвох снова лишил его голоса. Вернувшись домой, он немедленно послал за Наполеоном Фишером.

— Вы уволены! — пролаял Дидерих.

Механик подозрительно ухмыльнулся.

— Хорошо! — сказал он и пошел к дверям.

— Стойте! — опять пролаял Дидерих.— Напрасно вы надеетесь выскочить сухим из воды. Если вы стакнетесь со свободомыслящими, то, будьте уверены, я разглашу наш договор. Вам не поздоровится!

— Политика есть политика,— ответил Наполеон Фишер, пожав плечами.

И так как Дидерих перед лицом столь безграничного цинизма даже пролаять ничего не мог, Наполеон Фишер фамильярно подошел к нему и разве что не похлопал его по плечу.

— Господин доктор,— сказал он благодушно,— зря вы это сердитесь. Оба мы... ну да, вот именно, мы оба...— И в ухмылке его было такое грозное предостережение, что Дидериха мороз по коже подрал. Он поспешно предложил Наполеону Фишеру сигару. Фишер закурил.

— Если один из нас начнет говорить, то ведь и другой в долгу не останется. Не правда ли, господин доктор? — сказал он. Мы ведь с вами не какие-нибудь старые болтуны, как, скажем, господин Бук, который ничего про себя держать не может?

— А что такое? — уже совсем шепотом спросил Дидерих, которого обуревали страхи, один другого мучительнее.

Механик удивленно вскинул брови.

— Неужели вы не слышали? Господин Бук повсюду толкует, будто весь ваш национализм — дутая штука. Вы просто хотите, говорит он, за бесценок сграбастать Гаузенфельд и рассчитываете сбить на него цену, запугав Клюзинга,— пусть, дескать, думает, что потеряет заказы оттого, что он не националист.

— Он это говорит?..— спросил Дидерих, окаменев.

— Он это говорит,— подтвердил Фишер.— И еще он говорит, что окажет вам услугу и замолвит за вас словечко Клюзингу. Тогда, говорит он, вы угомонитесь.

Дидерих опомнился.

— Фишер! — отрывисто пролаял он.— Помяните мое слово: недалеко то время, когда старик Бук будет стоять на перекрестке и просить милостыню! Да-да! Уж я позабочусь на этот счет, будьте покойны. До свиданья!

Наполеон Фишер удалился, но Дидерих долго еще лаял, тяжелыми шагами расхаживая по комнате. Этакий подлец, ханжа! За всем, что вставало на пути Дидериха, скрывались козни старика Бука. Он, Дидерих, всегда это подозревал. Предложение Кона и компании — дело его рук, а теперь еще этот наглый поклеп насчет Гаузенфельда! Дидерих, в сознании неподкупности своего монархического образа мыслей, места себе не находил от возмущения. «И откуда ему было пронюхать об этом? — думал он в страхе и гневе.— Неужто меня выдал Вулков? Теперь все, конечно, думают, что я веду двойную игру!» У него сегодня создалось впечатление, что Кунце и другие охладели к нему, они, видно, не считают более необходимым посвящать его в свои планы? Да, в комитет он не вошел, он принес свое честолюбие в жертву общему делу. Так что же,— из этого, значит, следует, что не он подлинный основатель «партии кайзе-

ра»?.. Со всех сторон предательство, интриги, враждебная подозрительность... и нигде прямодушной немецкой верности.

На ближайшем предвыборном собрании Дидериху, все еще способному только лаять, волей-неволей пришлось в бессильной ярости наблюдать, что Циллих из личных интересов — вполне понятно каких — предоставил слово Ядассону и Ядассон сорвал бурные аплодисменты, ополчившись на всех не помнящих родства бродяг, кто собирается голосовать за Наполеона Фишера. Дидерих нашел речь Ядассона жалкой, недостойной государственного деятеля, и чувствовал свое огромное превосходство над ним. Но все же нельзя было закрывать глаза на то, что, чем больше Ядассон, воодушевленный успехом, завирается, тем больший отклик он находит среди части слушателей, отнюдь, по-видимому, не националистов, а скорее всего сторонников Кона и Гейтейфеля. Их оказалось подозрительно много, и Дидерих, которому повсюду чудились ловушки, видел и за этим маневром руку своего заклятого врага, от которого исходило все зло,—старика Бука.

У Бука голубые глаза и приветливая улыбка, между тем это самый лицемерный тип из всех, кто подкапывается под благонамеренных. Мысль о старике Буке не давала Дидериху покоя даже во сне. На следующий вечер, сидя после ужина в кругу своей семьи, он не отвечал на вопросы домашних,— он мысленно строил козни против старого Бука. Особенно бесило Дидериха то, что он ошибся в расчетах: не успел он окрестить старика беззубым болтуном, как тот взял да и показал зубы. После всех этих медоточивых разговоров Бук не желал дать себя просто слопать, и это действовало на Дидериха как вызов. А лицемерная незлобивость старика, так искусно прикинувшегося, что он прощает Дидериху разорение своего зятя! Зачем ему понадобилось оказывать ему, Дидериху, протекцию и проводить его в совет городских гласных? Только затем, чтобы Дидерих осрамился и чтобы легче было его свалить. Вопрос старика, не продаст ли Дидерих городу свой земельный участок, представлялся ему теперь опаснейшей ловушкой. Все его планы, казалось ему, давно разгаданы. Ему даже мерещилось, что старый Бук, скрытый табачным дымом, был незримым свидетелем его тайных переговоров с президентом Вулковом; а в ту мрачную зимнюю ночь, когда Дидерих прокрался к Гаузенфельду, залез в канаву и плотно сжал веки, чтобы блеск глаз не выдал его, над ним прошел все тот же старик и пронизал его взглядом... Воображение ясно рисовало Дидериху склонившегося над ним старика, который протягивает ему бледную, холеную руку, чтобы помочь выбраться из канавы. Доброта, которой светилось его

лицо, была глубочайшей насмешкой, была нестерпимее всего. Уж не рассчитывал ли он приручить Дидериха и исподволь, всяческими уловками вернуть его, как блудного сына, на прежний путь? Но мы еще посмотрим, кто кого!

— Что с тобой, дорогой мой сын? — спросила фрау Геслинг, услышав тяжкий стон, исторгнутый из груди Дидериха ненавистью и страхом. Он вздрогнул. В комнату вошла Эмми, и Дидериху почему-то подумалось, что уже не в первый раз. Она направилась к окну, высунулась из него, вздохнула,— словно никого не было в комнате,— и снова пошла к двери. Густа следила за ней взглядом. Когда Эмми поравнялась с Дидерихом, Густа насмешливо уставилась на обоих. Дидерих испугался еще больше: это была усмешка самой крамолы; так всегда усмехался Наполеон Фишер. Так усмехнулась Густа. Он насупился и грубо крикнул:

— Ну, что такое?

Густа поспешила уткнуться в свою штопку, а Эмми, застыв, посмотрела на него тем опустошенным взглядом, который он уже не раз замечал у нее за последнее время.

— Что с тобой? — повторил он. И так как Эмми не откликнулась, продолжал: — Что ты все высматриваешь на улице?

Эмми только передернула плечами, лицо ее оставалось каменным.

— Ну же? — повторил Дидерих, но уже потише. Он не решился повысить голос: ее взгляд, ее поза выражали глубокое безразличие, это давало ей какое-то преимущество.

Наконец, как бы снисходя к нему, она сказала:

— Может быть, сестры фон Брицен еще заглянут к нам?..

— В такой поздний час? — вырвалось у Дидериха.

Тут заговорила Густа.

— Как же, ведь мы привыкли к таким почестям... Впрочем, девицы-то еще вчера укатили вместе с мамашей. Они, быть может, не попрощались с особами, которых знать не желают, достаточно пройти мимо их опустевшей виллы...

— Что? — спросила Эмми.

— Да я уж знаю, о чем говорю! — Сияя от злорадства, Густа победно выпалила: — И лейтенант уезжает вслед за ними. Его переводят в другое место.— Пауза. Взгляд в сторону золовки: — Да, да, он сам хлопотал о переводе.

— Ты лжешь! — простонала Эмми.

Она пошатнулась, но тотчас же с видимым усилием выпрямилась. С высоко поднятой головой вышла и опустила за собой портьеру.

В комнате стало тихо. Старуха Геслинг по-прежнему сидела на диване, сложив руки на животе. Густа вызывающе следила за Дидерихом; пыхтя, он бегал из угла в угол. Добежав до двери, внезапно остановился: через щелку он увидел Эмми, которая не то сидела в столовой на стуле, не то свисала с него, вся скрюченная, точно ее связали и швырнули на этот стул. Вздрогнув, она повернулась лицом к лампе; только что мертвенно-бледное, оно теперь было очень красным, а глаза словно ничего не видели. Неожиданно она вскочила, как опаленная огнем, ноги плохо держали ее, она натыкалась на мебель, не ощущая боли, и не помня себя от гнева бросилась вон из комнаты, словно в туман, в кипящую мглу... Испуганный Дидерих оглянулся на мать и жену. Увидев по выражению лица Густы, что от нее можно ожидать непочтительной выходки, он мгновенно натянул на себя привычную маску благопристойности и, выпрямившись, шумно шагнул вслед за Эмми. Но, прежде чем он дошел до лестницы, наверху щелкнул в замке ключ. Сердце у Дидериха так забилось, что он вынужден был остановиться. Еле-еле поднявшись наверх, он мог только слабым, задыхающимся голосом потребовать, чтобы Эмми отперла дверь. Ответа не последовало, но он услышал, как на умывальнике что-то звякнуло. Он взмахнул руками, закричал не своим голосом, забарабанил в дверь. За этим неистовым шумом он не заметил, что Эмми открыла дверь, и продолжал кричать, хотя она стояла перед ним.

— Что тебе от меня нужно? — спросила она гневно.

Дидерих пришел в себя. На нижних ступеньках лестницы с перекошенными от ужаса лицами и немым вопросом в глазах стояли фрау Геслинг и Густа.

— Не подыматься! — скомандовал он и втолкнул Эмми в комнату.

Он запер двери.

— Им незачем это нюхать,— коротко сказал он и вынул из таза маленькую губку, пропитанную хлороформом. Отведя руку с губкой далеко в сторону, он сурово спросил: — Откуда это у тебя?

Эмми откинула голову и взглянула ему прямо в лицо, но промолчала. И чем дольше она молчала, тем бессмысленнее казался Дидериху его вопрос, столь уместный с юридической точки зрения. В конце концов он попросту подошел к окну и швырнул губку в темный двор. Послышался всплеск. Губка попала в водосток. Дидерих облегченно вздохнул.

— Что тебе от меня нужно? — повторила Эмми.— Неужели я не вправе делать то, что хочу!

Такого вопроса он не ожидал.

— Хорошо, но что... что ты хочешь сделать?

Эмми отвернулась; глядя в сторону и пожимая плечами, она сказала:

— Тебе это все равно.

— Ну, знаешь! — возмутился Дидерих.— Если ты окончательно потеряла совесть и не стыдишься судьи небесного, что я, конечно, осуждаю, то посчитайся хоть немного со всеми нами. Одна ты, что ли, на свете? — Ее безразличие не на шутку уязвило его.— Я не допущу скандала в своем доме! Я первый почувствую на себе его последствия.

Она вдруг взглянула ему в глаза.

— А я пе почувствую?

Он крякнул.

— Моя честь...— Но тут же осекся; в ее лице,— он никогда не подозревал, что оно может быть таким выразительным,— были жалоба и насмешка одновременно. Растерявшись, он шагнул к двери. Вдруг его осенило, как полагается поступать в таких случаях.— Разумеется, как брат и человек чести я до конца выполню свой долг. Я вправе надеяться, что ты возьмешь себя в руки.— Он бросил взгляд на умывальник откуда все еще тянуло хлороформом.— Дай честное слово!

— Оставь меня в покое,— сказала Эмми.

Дидерих вернулся.

— Очевидно, ты все-таки не отдаешь себе отчета в серьезности положения. Если то, чего я опасаюсь, правда, то ты...

— Это правда,— сказала Эмми.

— Значит, ты не только погубила себя, по крайней мере в глазах общества, а и всю семью опозорила! И когда я во имя долга и чести предлагаю тебе...

— Все же факт остается фактом,— сказала Эмми.

Дидерих испугался; он хотел было выразить свое отвращение к столь безграничному цинизму, но он слишком отчетливо прочитал на ее лице, через что она прошла и от чего отреклась раз и навсегда. Перед величием ее отчаяния Дидерих содрогнулся. В нем словно оборвались какие-то искусственно натянутые пружины. Ноги у него обмякли, он сел и с усилием выговорил:

— Так скажи мне только... Я готов тебя...— Он пристально взглянул на Эмми, и слово «простить» застряло у него в горле.— Я готов тебе помочь.

— Как же ты это сделаешь? — спросила она устало и прислонилась к стене.

— Тебе придется, конечно, кое-что рассказать мне,— сказал он, глядя в пол.— Разумеется, только некоторые подробности. Полагаю, все началось с уроков верховой езды?

Она слушала все, что он полагал, она ничего не подтверждала, ничего не отрицала... Но, подняв глаза, он увидел, что Эмми, слегка приоткрыв рот, смотрит на него с удивлением. Дидериху было понятно это удивление: высказывая вслух многое из того, что она до сих пор хранила в себе, он снимал с ее плеч тяжесть пережитого. Сердце его исполнилось неизведанной гордости.

— Положись на меня. Я пойду к нему завтра же утром.

Она тихо и робко покачала головой.

— Нет, тебе этого не понять... Все кончено.

— О, мы не так уж беспомощны,— произнес он бодрым тоном.— Поглядим, что можно сделать.

На прощанье Дидерих подал ей руку и пошел к двери. Она остановила его:

— Ты вызовешь его на дуэль? — Глаза ее расширились, она прикрыла рукой рот.

— С чего ты взяла? — спросил Дидерих; такой исход не приходил ему в голову.

— Поклянись, что не вызовешь!

Он дал слово и покраснел — ему очень хотелось знать, за кого она страшится: за него или за того — другого. Не хотел бы он, чтобы это был другой. Но от вопроса он удержался, чтобы не причинить ей боли. И почти на цыпочках вышел из комнаты.

Обеим женщинам, все еще дожидавшимся внизу, он сердито велел ложиться спать. Сам же улегся рядом с Густой лишь после того, как она уснула. Надо было обдумать, как держаться завтра. Прежде всего — воинственно... Не допускать и тени сомнения в исходе дела. Но перед мысленным взором Дидериха вместо собственной внушительной фигуры настойчиво вставал облик приземистого человека с блестевшими от слез печальными глазами, который просит, грозит и уходит, совершенно раздавленный: Геппель, отец Агнес Геппель. Теперь в своем душевном смятении Дидерих почувствовал, каково было тогда старому отцу. «Тебе этого не понять»,— сказала Эмми. Но он понимал, потому что сам причинил другому такие же страдания.

— Боже сохрани,— вслух произнес он, ворочаясь с боку на бок.— И не подумаю впутываться в это дело. Хлороформ — это

только притворство. Женщины — хитрый народ. Я попросту вышвырну ее вон, она этого заслуживает.

Но он увидел перед собой Агнес под дождем, на улице, увидел лицо ее, совершенно белое в свете газового фонаря, обращенное вверх, к его окну. Он натянул простыню на голову. «Не могу я выгнать ее на улицу». Наступило утро, и он с удивлением вспомнил обо всем происшедшем.

«Лейтенанты встают спозаранок»,— подумал он и выскользнул из дому еще до того, как проснулась Густа. За Саксонскими воротами под весенним небом благоухали и звенели птичьими голосами сады. Виллы, еще запертые, словно только что умылись, и почему-то думалось, что все они заселены молодоженами. «Кто знает,— размышлял Дидерих, вдыхая чистый воздух,— быть может, это вовсе не трудно. Ведь попадаются иногда порядочные люди. И положение вещей благоприятнее, чем...» Он предпочел не додумать свою мысль. В глубине улицы остановился экипаж. Перед каким же это домом? Значит, правда, уезжает. Калитка была распахнута, двери тоже. Навстречу Дидериху вышел денщик.

— Докладывать незачем, я уже вижу господина лейтенанта.

В комнате, прямо напротив входа, лейтенант укладывал чемодан.

— В такую рань? — спросил он и захлопнул крышку, прищемив себе палец.— О, черт!

Дидерих пал духом. «И он тоже укладывается».

— Чему обязан...— начал фон Брицен, но у Дидериха вырвался невольный жест: церемонии, мол, излишни.

Господин фон Брицен начисто отрицал все. Отрицал дольше, чем в свое время Дидерих, и Дидерих признал в душе, что так и надо: там, где речь идет о чести девушки, лейтенант обязан быть несколько щепетильнее, чем новотевтонец. Когда же все было выяснено, господин фон Брицен немедленно заявил, что он, разумеется, всегда к услугам многоуважаемого брата, чего, разумеется, и следовало от него ожидать. Но Дидерих, несмотря на жестокий страх, обуявший его, беспечно ответил, что разрешать вопрос с оружием в руках нет необходимости, при условии, конечно, если господин фон Брицен... И господин фон Брицен скроил мину, которую Дидерих заранее представлял себе, и привел доводы, которые Дидерих заранее слышал. Припертый к стене, он сказал фразу, которой Дидерих больше всего боялся и которая, он признавал это, не могла не прозвучать здесь. Девушку, потерявшую честь, порядочные люди не делают ма-

терью своих детей! Тогда Дидерих произнес то, что в свое время сказал господин Геппель, таким же убитым голосом, как в свое время господин Геппель. Справедливый гнев он почувствовал лишь в ту минуту, когда пустил в ход свою главную угрозу, угрозу, на которую возлагал надежды со вчерашнего дня.

— Ввиду вашего нерыцарского поведения я, к сожалению, буду вынужден поставить обо всем в известность командира полка.

И в самом деле, на господина фон Брицена эта угроза как будто сильно подействовала.

— Чего вы этим добьетесь? — неуверенно спросил он.— Что мне прочтут нравоучение? Ну, что ж. А вообще...— Фон Брицен овладел собой.— Вообще, у полковника, надо полагать, иные понятия о рыцарстве, нежели у господина, не желающего драться на дуэли.

Дидерих вспылил. Пусть господин фон Брицен соизволит попридержать язык, не то как бы ему не пришлось иметь дело с «Новотевтонией». Достаточно взглянуть на его, Дидериха, шрамы, чтобы убедиться в его радостной готовности пролить кровь за честь знамени. Он пожелал бы господину лейтенанту, чтобы ему пришлось когда-нибудь вызвать на дуэль, например, графа фон Тауэрн-Беренгейма!

— Я его без всяких околичностей вызвал! — И, не переводя дыхания, Дидерих выпалил, что далеко еще не признает за таким вот наглым дворянчиком права убивать солидного бюргера и отца семейства! — Соблазнить сестру и застрелить брата, на это у вас хватит совести! — воскликнул он вне себя.

Господин фон Брицен, придя в такой же раж, сказал, что велит денщику искровенить морду презренному купчику, и так как денщик был уже рядом, Дидериху ничего не оставалось, как очистить поле боя, но последний выстрел все же остался за ним.

— Не рассчитывайте,— крикнул он,— что ради таких наглецов мы одобрим вам военный законопроект! Вы еще узнаете, что такое бунт!

Выйдя на улицу и шагая по пустынной аллее, он продолжал кипеть, показывая невидимому врагу кулак, и бормотал угрозы.

— Несдобровать вам! Дождетесь, мы с вами покончим!

Вдруг он заметил, что сады так же, как и раньше, благоухают и звенят птичьими голосами под весенним небом, и понял, что сама природа, ласковая или суровая, бессильна воздействовать на власть — власть, которая над нами, которую ничто не может поколебать. Пригрозить бунтом не трудно; а что же будет с памятником кайзеру Вильгельму? С Вулковом и

Гаузенфельдом? Хочешь попирать других, смирись, когда попирают тебя. Таков железный закон власти. После вспышки протеста он уже чувствовал тайный трепет человека, которого попирает власть... Его обогнал экипаж: господин фон Брицен со своими чемоданами. Дидерих, раньше, чем это дошло до его сознания, стал вполоборота, намереваясь поклониться. Но фон Брицен отвернулся. Дидерих, несмотря на все происшедшее, не мог не залюбоваться юным богатырем офицером. «Таких офицеров нет нигде»,— решил он.

Однако, как только он свернул на Мейзештрассе, на душе у него заскребли кошки. Он издали увидел, как Эмми высматривает его, и неожиданно для себя подумал о том, сколько она, вероятно, выстрадала за минувший час, пока решалась ее судьба. Бедная Эмми, судьба твоя решена. Власть, стоящая над нами, конечно, возвышает душу, но если она наносит удар родной сестре... «Я не думал, что так близко приму это к сердцу». Он постарался бодро кивнуть Эмми. Она очень похудела; как же никто этого не замечал! Из-под матово блестевших волос на него смотрели огромные, воспаленные бессонницей глаза: когда он кивнул, губы у Эмми задрожали; он и это заметил, страх обострил его зрение. По лестнице Дидерих подымался почти крадучись. На втором этаже Эмми вышла из столовой и впереди него двинулась наверх. На площадке третьего этажа она обернулась, но, увидев его лицо, вошла в комнату без единого вопроса, стала у окна и отвернулась. Дидерих, собрав все силы, громко сказал:

— О, ничего еще не потеряно!

Но тут же страх охватил его, он закрыл глаза. Когда он застонал, Эмми повернулась, медленно подошла и положила голову ему на плечо, чтобы вместе поплакать.

Внизу у него произошла стычка с Густой, которая хотела натравить его на Эмми. Дидерих бросил ей в лицо, что она, пользуясь несчастьем Эмми, старается вознаградить себя за те неблаговидные обстоятельства, при которых она сама вышла замуж.

— Эмми, по крайней мере, ни за кем не бегает.

— Может, скажешь, я за тобой бегала? — взвизгнула Густа.

— Она моя сестра! — пресек дальнейшие разговоры Дидерих.

С тех пор как он взял Эмми под свое покровительство, она приобрела в его глазах особую привлекательность, и он оказывал ей необычные знаки уважения. После обеда, не обращая внимания на усмешку Густы, Дидерих целовал Эмми руку.

Он сравнивал сестру с женой: насколько же вульгарнее была Густа! Даже Магда, его любимица, так как она имела успех, проигрывала теперь рядом с покинутой Эмми. Несчастье придало облику Эмми оттенок благородства и недосягаемости. Когда ее бледная рука, словно отрешенно, свешивалась с кресла и сама она погружалась в себя, в неведомую бездну, ему чудилось, что он заглядывает в некий более глубокий мир. Положение падшей, страшное и презренное, когда в нем оказывались другие, создавало вокруг Эмми, его сестры, особый ореол и атмосферу двусмысленного обаяния. Эмми казалась ему еще более блестящей и трогательной, чем прежде.

Рядом с ней лейтенант, виновник всего, сильно померк,— а вместе с ним померкла и власть, под сенью которой он восторжествовал. Дидерих убедился, что власть может принять низкий и подлый облик: и сама власть, и все, что идет по ее следам,— успех, почет, мировоззрение. Глядя на Эмми, он невольно начинал сомневаться в ценности всего, чего достиг и чего добивался: Густы и ее денег, памятника, высочайших милостей, Гаузенфельда, наград и постов. Он смотрел на Эмми и вспоминал об Агнес, Агнес, которая учила его любви и нежности; она была в его жизни чем-то настоящим, подлинным, он должен был удержать ее! Где она теперь? Умерла? Порой он сидел, обхватив голову руками. Чего он достиг? Чем вознаградила его власть за служение ей? Опять все рассыпалось прахом, все предали его, злоупотребили его самыми лучшими намерениями, а старый Бук — хозяин положения. Подкрадывалась мысль,— быть может, победила Агнес, которая только и умела, что страдать? Он написал в Берлин, навел о ней справки. Она вышла замуж и была более или менее здорова. Весть эта принесла ему облегчение, но и слегка разочаровала.

Пока он сидел, обхватив голову руками, день выборов неуклонно приближался. Исполненный сознания суетности мира сего, Дидерих не хотел ничего замечать, в том числе и выражение лица своего механика, а оно с каждым днем становилось все враждебнее. В воскресенье, на которое назначены были выборы, рано утром,— Дидерих еще не вставал,— в спальню вошел Наполеон Фишер. Даже не подумав извиниться, он начал:

— В последнюю минуту, так сказать, поговорим начистоту, господин доктор! — На этот раз не Дидерих, а он подозревал предательство и ссылался на сговор.— Ваша политика, господин доктор, двулична. Вы дали нам обещания, и мы, по своей лояль-

ности, не вели агитации против вас, а только против свободомыслящих.

— И мы тоже,— сказал Дидерих.

— Этому вы и сами не верите. Вы снюхались с Гейтейфелем. Он уже обещал вам поддержать ваш памятник. Если вы не перейдете к нему с развернутыми знаменами сейчас, то сделаете это на перебаллотировке — нагло предадите народ.— Наполеон Фишер, скрестив руки на груди, широко шагнул к постели.— Я хотел бы только, господин доктор, чтобы вы помнили: у нас глаза открыты.

В постели Дидерих чувствовал себя беспомощным, выданным на милость своего политического противника. Он попытался его утихомирить.

— Я знаю, Фишер, вы большой политик. Таким политикам место в рейхстаге.

— Правильно.— Фишер метнул в него взгляд исподлобья.— Могу вас уверить, что если я не попаду в рейхстаг, то на многих предприятиях вспыхнет забастовка, и одно из этих предприятий вам очень хорошо знакомо, господин доктор.— Он пошел к двери. С порога он еще раз пристально посмотрел на Дидериха, от испуга зарывшегося с головой в перины и подушки.— А посему да здравствует интернациональная социал-демократия! — выкрикнул Фишер и вышел.

— Да здравствует его величество кайзер, ура! — крикнул из-под горы перин Дидерих. Однако ему ничего другого не оставалось, как трезво взглянуть в лицо действительности. Оно было достаточно грозным.

Томимый тяжелыми предчувствиями, он поспешил в город, зашел в ферейн ветеранов, зашел к Клапшу и повсюду видел, что, пока он сидел дома и малодушествовал, коварная тактика старика Бука ознаменовалась новыми успехами. Партия кайзера разбавилась пополнением из рядов свободомыслящих, а соперничество между Кунце и Гейтейфелем было ничто по сравнению с пропастью, разверзшейся между ним, Дидерихом, и Наполеоном Фишером. Пастор Циллих, обменявшийся со своим зятем Гейтейфелем стыдливым приветствием, уверял, что даже в том случае, если победит кандидат свободомыслящих, партия кайзера может быть довольна своим успехом, ибо она изрядно укрепила в этом кандидате националистический образ мыслей. Так как Кюнхен высказался в том же духе, то невольно возникало подозрение, что они не удовлетворились вырванными у Вулкова и у него, Дидериха, обещаниями и Буку удалось посулами личных выгод заставить их плясать под его дудку.

От демократической клики с ее системой подкупов всего можно ждать! Что касается Кунце, то он при любых условиях хотел пройти на выборах, на худой конец с помощью свободомыслящих. Он был так отравлен ядом честолюбия, что даже обещал отстоять постройку приюта для грудных младенцев! Дидерих вскипел: ведь Гейтейфель во сто раз опаснее любого пролетария! И он намекнул Кунце на плачевные последствия, которыми чреват столь непатриотический образ действий. К сожалению, Дидериху нельзя было высказаться яснее, и, с картиной стачки перед глазами, с руинами памятника, Гаузенфельда и всего, о чем он мечтал, в сердце, носился он под дождем от одного избирательного участка к другому и волоком волок к урнам благонамеренных избирателей, отдавая себе полный отчет в том, что их верность кайзеру бьет мимо цели и играет на руку его злейшим врагам. Вечером, с ног до головы забрызганный уличной грязью, доведенный до лихорадочного одурения сутолокой этого длинного дня, бесчисленными кружками пива и ожиданием развязки, он, сидя у Клапша, узнал результаты: за Гейтейфеля подано около восьми тысяч голосов, шесть тысяч с небольшим за Наполеона Фишера, Кунце же получил три тысячи шестьсот семьдесят два голоса. Перебаллотировка между Гейтейфелем и Фишером.

— Ура! — закричал Дидерих, ибо ничего не было потеряно, а время выиграно.

Твердым шагом вышел он из пивной, клянясь в душе отныне и впредь сделать все возможное, чтобы еще спасти дело националистов. Он торопился, ибо пастор Циллих готов был немедленно покрыть все стены листками, в которых сторонники партии кайзера призывались на перебаллотировке голосовать за Гейтейфеля. Кунце, конечно, предавался честолюбивой надежде, что Гейтейфель ему в угоду снимет свою кандидатуру. Какое ослепление! Уже на следующее утро все читали на белых листовках свободомыслящих ханжеское заявление, будто и они настроены националистически, будто националистический образ мыслей не является привилегией меньшинства, а поэтому... Трюк старика Бука полностью раскрылся; надо действовать, не то вся «партия кайзера» целиком вернется в лоно свободомыслящих! Возвращаясь домой после разведки, весь напружиненный бьющей через край энергией, Дидерих встретил в подъезде Эмми. Опустив на лицо вуаль, она шла с таким видом, точно ей все на свете безразлично. «Нет, благодарю покорно,— подумал Дидерих,— мне отнюдь не безразлично. Куда бы это привело!» И он поздоровался с Эмми как-то воровато и робко.

Он уединился в конторе, где Зетбира уже не было. Дидерих, теперь самолично управляющий своей фабрикой, обязанный ответом только господу богу, принимал здесь важные решения. Он вызвал по телефону Гаузенфельд. В эту минуту открылась дверь, почтальон положил на стол пачку корреспонденции, и Дидерих прочел на лежащем сверху конверте «Гаузенфельд». Он повесил трубку и, качая головой, суровый, как сама судьба, уставился на письмо. Все в порядке. Старик, видно, без слов понял, что не следует больше поддерживать деньгами своих друзей — Бука и его сообщников, а то, чего доброго, его еще привлекут к ответственности. Спокойно надорвал Дидерих конверт, но с первых же строк жадно впился в письмо. Какой сюрприз! Клюзинг решил продать фабрику! Он стар и видит в Дидерихе своего единственного преемника!

Что это значит? Дидерих уселся в уголок и глубоко задумался. Это прежде всего значит, что Вулков уже действует. Старик давно был в отчаянной тревоге за правительственные заказы, а стачка, которой угрожал Наполеон Фишер, переполнила чашу. Безвозвратно ушло то время, когда он мог рассчитывать выбраться из тисков, предложив Дидериху часть поставок для «Нетцигского листка». Теперь он предлагает весь Гаузенфельд. «Вот что значит власть!» — заключил Дидерих и мигом смекнул, что предложение Клюзинга купить фабрику за ее настоящую цену попросту смехотворно. И он в самом деле громко рассмеялся... Вдруг Дидерих увидел ниже подписи приписку, сделанную более мелким почерком и настолько незаметную, что поначалу он проглядел ее. Когда он прочел, рот у него сам собой раскрылся. Внезапно он подпрыгнул.

— Ну вот! — ликующе крикнул он на всю контору, в которой никого, кроме него, не было.— Теперь они у нас в руках! — И вслед за тем почти мрачно произнес: — Ужасно! Бездна!

Слово за слово он еще раз перечел фатальную приписку, положил письмо в сейф и решительным движением повернул ключ в замке. Теперь там дремлет яд, который убьет Бука со всей его кликой, и яд этот доставлен его же, Бука, другом. Клюзинг не только отказался снабжать их деньгами, но еще и предал их. И поделом; такая растленность, по-видимому, даже Клюзинга отталкивает. Кто вздумает щадить их, тот становится их соучастником. Дидерих прикинул свои возможности. «Пощада в этом случае была бы настоящим преступлением. Каждый за себя. Надо действовать твердо и решительно. Вскрыть язву и все вымести железной метлой. Я беру это на себя во

имя общественного блага, так повелевает долг, долг истинного немца. Что поделаешь — времена суровые!»

В тот же вечер в огромном зале «Валгалла» состоялось многолюдное открытое собрание, созванное избирательным комитетом свободомыслящих. При энергичном содействии Готлиба Горнунга Дидерих принял меры, чтобы сторонники Гейтейфеля ни в коем случае не стали хозяевами положения. Сам он счел излишним явиться к началу, к программной речи кандидата, и пришел с таким расчетом, чтобы попасть уже на прения. Сразу же в фойе он натолкнулся на Кунце, взбешенного до последней степени.

— Отставной солдафон! — крикнул Кунце.— Да вы взгляните на меня, сударь, и скажите, похож я на человека, который должен покорно выслушивать такие вещи?

От волнения он захлебнулся, и Кюнхен пришел ему на помощь.

— Пусть бы мне Гейтейфель сказал нечто подобное! — визжал он.— Он бы узнал, кто такой Кюнхен!

Дидерих посоветовал майору немедленно подать в суд на Гейтейфеля. Но Кунце не приходилось пришпоривать; он грозился попросту изничтожить Гейтейфеля. Дидериху и это было на руку, он горячо поддакнул, когда Кунце объявил, что если дело так обстоит, то он предпочитает блокироваться с самыми отъявленными бунтовщиками, только не со свободомыслящими. Кюнхен и подошедший пастор Циллих нашли нужным возразить ему. Враги империи идут вместе с партией кайзера! «Продажные трусы»,— говорил взгляд Дидериха. Майор не успокаивался, он так и дышал местью. Кровавыми слезами заплачет у него вся эта шайка!

— И не позже как нынче вечером! — пообещал Дидерих с такой железной убежденностью, что друзья застыли в изумлении. Дидерих сделал паузу и огненным оком заглянул каждому в глаза: — Что бы вы сказали, господин пастор, если бы я публично уличил ваших друзей из свободомыслящих в некоторых махинациях?

Пастор Циллих побледнел. Дидерих обратился к Кюнхену.

— Мошеннические трюки с общественными деньгами.

Кюнхен подскочил.

— Умереть можно! — воскликнул он в испуге.

— Дайте мне прижать вас к сердцу! — взревел Кунце и заключил Дидериха в объятия.— Я простой солдат,— уверял он.— Пусть оболочка груба, но ядро — чистое золото. Докажите, что эти канальи занимаются мошенническими проделками, и

майор Кунце друг вам, как если бы мы плечом к плечу сражались под Мар-ла-Тур!

На глазах у майора блестели слезы, у Дидериха — тоже. Но и в зале настроение было не менее приподнятым. В сизом от табачного дыма воздухе мелькали поднятые кулаки, тут и там из чьей-нибудь груди вырывались возгласы: «Безобразие!», «Правильно!», «Подлость!». Предвыборная борьба была в разгаре. Дидерих бросился в самую гущу ее с бешеным ожесточением, ибо, как вы думаете, кто стоял впереди президиума, возглавляемого самим стариком Буком, и держал речь? Зетбир, уволенный Дидерихом управляющий! Он, конечно, мстит Дидериху, и его речь сплошное подстрекательство. В самом сокрушительном тоне он доказывал, что доброжелательное отношение некоторых работодателей к подчиненным всего лишь демагогический прием: его цель — расколоть буржуазию и толкнуть часть избирателей в лагерь крамольников. Раньше эти же хозяева говорили: «Рожденный рабом рабом останется».

— Безобразие! — кричали организованные рабочие.

Дидерих, расталкивая толпу, прорывался вперед, пока не очутился у самой трибуны.

— Низкая клевета! — бросил он в лицо Зетбиру.— Стыдитесь! Как только я вас уволил, вы примкнули к злопыхателям!

Ферейн ветеранов, предводительствуемый Кунце, заорал дружным хором:

— Подлость! Безобразие!

Организованные рабочие подняли свист, Зетбир показывал дрожащий кулак Дидериху, а тот грозил засадить его в тюрьму. Тут поднялся старик Бук и зазвонил в колокольчик.

Когда шум улегся настолько, что можно было говорить, он начал мягким голосом, который постепенно окреп и потеплел:

— Сограждане! Не давайте пищу честолюбию отдельных личностей, не принимайте его всерьез! Что значат здесь отдельные личности? И даже классы? Речь идет о народе, а народ — это все мы, за исключением правителей. Нам — бюргерам — необходимо сомкнуть ряды и не повторять снова и снова ошибки, которая уже была совершена в пору моей юности: не будем обращаться к помощи штыков, всякий раз как рабочие требуют признания своих прав. Ведь оттого, что мы никогда не хотели признать права рабочих, правители забрали такую власть, что и нас лишили прав!

— Совершенно верно!

— Теперь, когда правители требуют увеличения армии, народу, всем нам остается, быть может, последняя возможность

отстоять свою свободу. Ведь нас вооружают только для того, чтобы поработить. Рожденный рабом рабом останется — это говорят не только вам, рабочим, это говорят всем нам правители, чья власть с каждым днем обходится нам все дороже и дороже!

— Правильно! Браво! Ни одного солдата, ни одного гроша!

Под гул одобрительных возгласов старик Бук сел. Дидерих, готовый дать решительный бой и уже заранее обливаясь потом, еще раз обшарил взглядом зал и нашел Готлиба Горнунга, который дирижировал поставщиками материалов для памятника кайзеру Вильгельму. Пастор Циллих расхаживал по рядам среди христианских отроков, члены ферейна ветеранов сосредоточились вокруг Кунце, и Дидерих выхватил меч из ножен.

— Исконный враг снова поднимает голову! — крикнул он, презрев смерть.— Мы называем изменником фатерланда всякого, кто отказывает нашему несравненному кайзеру в...

— У-у! У-у! — загудели изменники фатерланда, но Дидерих, под залпы рукоплесканий благонамеренных, продолжал кричать, хотя голос у него то и дело срывался:

— Один французский генерал потребовал реванша!

Кто-то из сидящих в президиуме спросил:

— А большой куш он получил из Берлина?

Раздался смех. Дидерих судорожно бил руками в воздухе, точно хотел подняться и полететь.

— Сверкающие стены штыков! Кровь и железо! Воинственные идеалы! Сильная монархия!..

Трескучие фразы бряцали, ударяясь одна о другую, под исступленный рев благонамеренных.

— Твердая власть! Оплот против трясины демократии!

— Вулков, вот ваш оплот! — крикнул тот же голос из президиума.

Дидерих быстро оглянулся, он узнал Гейтейфеля.

— Вы хотите сказать, что правительство его величества...

— Тоже оплот! — сказал Гейтейфель.

Дидерих, тыча в него пальцем, крикнул в крайней ажитации:

— Вы оскорбили кайзера!

— Провокатор! — взвизгнул за его спиной Наполеон Фишер, это был именно он. Его товарищи осипшими голосами подхватили:

— Провокатор! Провокатор! — Они вскочили и грозным кольцом обступили Дидериха.— Опять он за старое! Ему хочется еще одного посадить за решетку! Вон!

И Дидериха схватили за шиворот. С перекошенным от ужаса лицом он ворочал шеей, зажатой мозолистыми руками, и сдавленным голосом молил председателя о помощи. Старик Бук пришел на помощь, он усиленно звонил в колокольчик и даже послал несколько молодых людей на выручку Дидериху. Как только Дидериха отпустили, он поднял руку и обличительным перстом указал на старика Бука.

— Продажность демократов! — кричал он, приплясывая от азарта.— Я докажу!

— Браво! Дать слово! — И лагерь националистов бросился в бой, опрокидывая столы и порываясь помериться силами с мятежом. Казалось, вот-вот начнется рукопашная: полицейский офицер, дежуривший на сцене, уже взялся за свою каску; момент был критический... И вдруг со сцены раздался повелительный голос:

— Тише! Пусть говорит!

Наступила почти полная тишина. В этом голосе чувствовалась такая сила гнева, что все присмирели. Старик Бук, выпрямившись во весь рост за столом президиума, уже не был прежним почтенным старцем, он словно стал стройнее от переполнявшей его энергии, он был бледен от ненависти, он метнул в Дидериха взгляд — вчуже дух захватывало!

— Пусть говорит! — повторил старик.— И предателям дают слово, прежде чем вынести приговор. Перед вами образец предателя нации. Он лишь внешне изменился с той поры, как мое поколение боролось, потерпело крах, ушло в тюрьмы и на виселицы...

— Ха-ха-ха! — сардонически захохотал Готлиб Горнунг, преисполненный сознанием своего превосходства. На беду, поблизости от него сидел широкоплечий рабочий, он так грозно взмахнул кулаком, что Горнунг, прежде чем удар попал в цель, вместе со стулом полетел вверх тормашками.

— Уже в те времена,— продолжал старик,— были люди, предпочитающие личную выгоду чести, люди, которым никакая тирания не унизительна, если она обогащает. Рабское вожделение к материальным благам — плод и орудие всякого тиранического господства, вот что нас тогда погубило, и вам, сограждане... — Старик широко раскинул руки, он напрягал последние силы для рвавшегося из его груди крика души.— И вам, сограждане, тоже грозит опасность впасть в рабскую зависимость от его предательской власти и сделаться его добычей. Пусть этот человек говорит...

— Нет!

— ...Пусть говорит. Но затем спросите у него, сколько он потребовал чистоганом за убеждения, которые имеет наглость называть националистическими? Спросите, кому он продал свой дом, с какой целью и с каким барышом?

— Вулкову!

Это было сказано на сцене, но зал услышал. Дидерих, подталкиваемый безжалостными кулаками, не совсем по своей воле добрался до ступенек, ведущих на сцену. Поднявшись, он огляделся в поисках помощи: старик Бук сидел неподвижно, положив на колено сжатый кулак и не спуская глаз с Дидериха; Гейтейфель, Кон и остальные члены президиума с холодной кровожадностью на лицах ждали его провала, а зал кричал ему: «Вулков! Вулков!» Дидерих что-то лепетал насчет поклепа, сердце у него неистово билось, на мгновенье он закрыл глаза в надежде, что упадет без сознания и тем все кончится. Но сознания он не потерял, и, когда ему ничего другого не оставалось, он вдруг ощутил в себе прилив отчаянной храбрости. Он ощупал нагрудный карман, уверенный в силе своего оружия, смерил воинственным взглядом врага, этого коварного старого Бука, который наконец сбросил с себя маску отеческого покровительства и открыто выказал свою ненависть. Дидерих испепелил его взором и яростно ткнул кулаком в пол. Затем твердым шагом подошел к рампе.

— Кто хочет заработать? — заорал он в гудящий зал голосом ярмарочного зазывалы, и зал утих, как по мановению волшебной палочки.— Каждый может заработать! — с неослабевающей силой продолжал он орать.— Всем, кто сумеет доказать, сколько я заработал на продаже своего дома, плачу столько же!

Этого, по-видимому, никто не ожидал. Поставщики первые крикнули «браво!», затем их решились поддержать христиане и ветерапы, правда не очень уверенно, ибо крики «Вулков!», сопровождаемые ритмическим постукиванием пивными кружками о столы, возобновились. Дидерих увидел в этом заранее подготовленную обструкцию, направленную не только против него, но и против высшей власти. Он в тревоге оглянулся — полицейский офицер и в самом деле схватился за свою каску. Дидерих сделал ему знак рукой, что справится сам, и проревел:

— Вулков тут ни при чем! Свободомыслящие под приют для грудных младенцев предлагали мне продать дом, настоятельно предлагали, могу поклясться в этом. Я, как националист, с негодованием отклонил гнусное предложение обмануть город и разделить награбленное с некиим бессовестным членом магистрата!

— Вы лжете! — крикнул старик Бук и вне себя от возмущения вскочил на ноги.

Но Дидерих, в сознании своей правоты и высоконравственной миссии, разошелся еще пуще. Он сунул руку в нагрудный карман, вынул оттуда листок и бесстрашно размахивал им перед тысячеголовым драконом, который раскинулся у его ног и обдавал его фонтаном возгласов:

— Лжец! Мошенник!

— Вот доказательство! — ревел он и до тех пор размахивал листком, пока его не услышали.

— Со мной сделка не удалась, зато в Гаузенфельде им посчастливилось. Да-да, соотечественники! В Гаузенфельде!.. Каким образом? А вот каким. Двое господ из партии свободомыслящих явились к владельцу с просьбой заключить с ними запродажную на известный участок, на тот случай, если приют решено будет строить там.

— Имена! Имена!

Дидерих бил себя в грудь, готовый на любой шаг. Клюзинг открыл ему все, кроме имен. Горящими глазами обвел он членов президиума. Ему показалось, что один из них побледнел. «Кто не рискует — тот не выигрывает»,— подумал он и заревел:

— Один из них магазиновладелец господин Кон!

И с миной человека, выполнившего свой долг, он сбежал со ступенек и попал прямо в объятия Кунце, и тот самозабвенно расцеловал его в обе щеки под рукоплескания благонамеренных. Остальные кричали — кто: «Доказательства!», кто: «Ложь!» — но все единодушно требовали: «Дать слово Кону!», и Кон уже никак не мог уклониться от выступления. Старик Бук, у которого заметно подрагивали щеки, пристально посмотрел на него; не дожидаясь просьбы с его стороны, он предоставил ему слово. Кон, подталкиваемый Гейтейфелем, не очень уверенно вышел из-за длинного стола президиума; он словно с трудом волочил ноги и произвел неблагоприятное впечатление еще до того, как заговорил. Он виновато улыбнулся.

— Милостивые государи, вы, разумеется, не поверили тому, что сказал предыдущий оратор,— начал он так тихо, что почти никто не разобрал его слов. И все-таки Кону показалось, что он слишком резок.— Мне не хотелось бы,— продолжал он,— прямо уличить предыдущего оратора во лжи, но все же дело было не совсем так.

— Ага, он не отрицает! — И тут разразилась такая буря, что Кон от неожиданности отскочил назад. Зал бурлил, в воздухе

мелькали кулаки. То здесь, то там между противниками завязывались драки. Кюнхен носился между рядов, волосы его развевались.

— Ура! — кричал он, потрясал кулаками и подстрекал к побоищу... На сцене также все пришло в движение, кроме полицейского офицера. Старик Бук покинул председательское место и отвернулся от народа, не пожелавшего услышать последний крик его души; стоя в стороне, одинокий, он обратил глаза туда, откуда никто не мог видеть, как из них льются слезы. Гейтейфель возмущенно корил полицейского офицера, а тот, не шелохнувшись на своем стуле, отвечал, что вопрос, когда и как распускать собрание, единолично решает должностное лицо, и нет никакой необходимости делать это именно тогда, когда свободомыслящие зашли в тупик. Выслушав полицейского, Гейтейфель подошел к столу, зазвонил в колокольчик и крикнул:

— Второе имя!

На сцене все хором подхватили этот возглас и повторяли его до тех пор, пока зал не услышал и Гейтейфель смог продолжать.

— Второй был член суда Кюлеман! Совершенно точно. Кюлеман собственной персоной. Тот самый Кюлеман, на средства которого предполагается построить приют для грудных младенцев. Кто осмелится утверждать, что Кюлеман расхищает оставляемое им наследство? Вот то-то оно и есть! — И Гейтейфель пожал плечами.

В зале раздался одобрительный смех. Но ненадолго: страсти вспыхнули снова.

— Доказательства! Пусть Кюлеман сам выступит! Воры!

Гейтейфель пояснил, что Кюлеман тяжело болен. За ним пошлют, ему уже звонят по телефону.

— Беда! — шепнул Дидериху Кунце.— Если второй был Кюлеман, то нам крышка, можем петь себе отходную.

— Слишком рано! — с безумной храбростью воскликнул Дидерих.

Пастор Циллих возложил все надежды на перст божий. Дидерих в порыве отчаянной отваги сказал:

— Очень он нам нужен!

Доказывая и убеждая, он набросился на какого-то скептика, позволившего себе усомниться в успешном исходе борьбы. Благонамеренных он подбивал занять решительную позицию и даже пожимал руки социал-демократам, стараясь раздуть их нена-

висть к буржуазной коррупции, и повсюду размахивал письмом Клюзинга. Он так энергично хлопал рукой по бумаге, что никто ничего не успевал прочесть, он кричал:

— Разве здесь написано Кюлеман? Здесь сказано Бук! Если у Кюлемана еще не отнялся язык, он должен будет признать, что духу его в Гаузенфельде не было. В Гаузенфельд приезжал Бук!

При этом он не забывал следить за тем, что делается на сцене, а там стало вдруг удивительно тихо. Члены президиума носились взад и вперед, но разговаривали шепотом. Старика Бука нигде не было видно. «Что случилось?» В зале тоже стало тише, неизвестно почему. Внезапно разнесся слух: «Говорят, Кюлеман скончался». Дидерих не столько услышал, сколько нюхом учуял это. Он вдруг примолк и перестал надсаживаться. Все в нем напряглось, его лицо непроизвольно сводило гримасой. Если к нему обращались с вопросом, он не отвечал, он слышал вокруг себя какой-то бессмысленный хаос звуков и лишь смутно представлял себе, где находится. Но вот подошел Готлиб Горнунг и сказал:

— Кюлеман как будто действительно скончался. Я был наверху, когда телефонировали к нему на квартиру. В эту минуту он испустил дух.

— И очень кстати,— сказал Дидерих; он удивленно осмотрелся вокруг, словно только что проснувшись.

— Это перст божий,— заявил пастор Циллих, а Дидерих сказал себе, что перст этот иногда, право же, бывает очень полезен. Что было бы, если бы сей перст направил судьбу по иному пути?.. Враждующие партии смешались; в политику вторглась смерть, и члены партий стали просто людьми, все говорили вполголоса и покидали зал. Только выйдя на улицу, Дидерих узнал, что со стариком Буком случился обморок.

«Нетцигский листок» сообщил о «трагическом финале предвыборного собрания», а в заключение напечатал почетный некролог, посвященный памяти «высокочтимого гражданина Кюлемана». Перед читателем предстал ничем не запятнанный образ покойного, хотя и произошли события, требовавшие разъяснения... Между Дидерихом и Наполеоном Фишером состоялась встреча с глазу на глаз. Уже в самый канун перебаллотировки «партия кайзера» созвала еще одно собрание, на котором не возбранялось присутствовать и противникам. В своем пламенном выступлении Дидерих громил продажных демократов и их нетцигского главаря; назвать его имя — долг каждого верного монархиста... но он все же предпочел его не называть.

— Ибо, милостивые государи, в сердце моем горит огонь высокого стремления сослужить службу нашему несравненному кайзеру, разоблачить его опаснейшего врага и доказать, что этот враг тоже только и помышляет, что о наживе.— И тут у него вдруг блеснула одна мысль, быть может просто воспоминание, он и сам не знал.— Его величество изрек однажды прекрасные слова: «Все мои африканские колонии отдам за приказ об аресте Эйгена Рихтера». Я же, милостивые государи, отдаю в руки его величества ближайших друзей Рихтера.— Выждав, пока затихнет гром рукоплесканий, он продолжал, несколько понизив голос: — А кроме того, милостивые государи, у меня есть особые основания полагать, чего ждут от «партии кайзера» в высоких, в чрезвычайно высоких сферах.— Он пощупал нагрудный карман, словно и на этот раз в нем лежало неопровержимое доказательство, и, набрав полную грудь воздуха, вдруг рявкнул: — Тот не верноподданный, кто после всего вздумает подать голос за свободомыслящих!

Собрание одобрительно загудело, и тогда Наполеон Фишер, присутствовавший в зале, попытался указать на неизбежные последствия такой позиции. Дидерих немедленно прервал его:

— Националисты скрепя сердце выполнят свой долг и изберут меньшее зло... Но я первый ни в какие сделки с антимонархистами вступать не намерен.— И он до тех пор стучал кулаком по кафедре, пока Наполеон Фишер не стушевался.

Утром в день перебаллотировки, как бы в подтверждение искренности Дидериха, в социал-демократической газете «Глас народа» было напечатано, наряду с ироническими выпадами против самого Дидериха, все, что он сказал о старике Буке, причем назывались имена.

— Геслингу крышка,— говорили одни избиратели.— Теперь Бук подаст на него в суд.

— Буку крышка,— отвечали другие.— Геслингу слишком многое известно.

Свободомыслящие, кто еще сохранил голову на плечах, тоже пришли к заключению, что теперь опасно лезть на рожон. Если националисты, с которыми, видно, шутить сейчас не приходится, считают, что следует голосовать за социал-демократов, то... А пройдет социал-демократ на выборах, значит, хорошо, что ты голосовал за него, иначе рабочие еще подвергнут тебя бойкоту.

Развязка наступила в три часа дня. На Кайзер-Вильгельмштрассе прозвучал сигнал тревоги. Все бросились к окнам, к дверям магазинов: где горит? Посреди улицы, в полной воен-

ной форме, маршировали члены ферейна ветеранов. Знамя ферейна указывало им дорогу чести. Кюнхен, исполнявший роль командира, в лихо заломленной на затылок островерхой каске грозно размахивал шпагой, Дидерих, идя в строю, печатал шаг, в радостной уверенности, что все дальнейшее свершится под команду, автоматически, что нужно лишь печатать шаг и идти строем, и тогда под мерной поступью власти от Бука останется мокрое место!.. На другом конце улицы к ферейну ветеранов примкнула новая колонна под своим знаменем; ее встретили гордым «ура» и громом оркестра. Объединенная колонна, хвост которой терялся в необозримой дали — так велико было действие верноподданнической агитации,— достигла наконец пивной Клапша. Здесь она разбилась на отряды, и Кюнхен скомандовал:

— К урнам!

Члены избирательного комитета в полном составе, с пастором Циллихом во главе, все в праздничных костюмах, встречали избирателей уже в коридоре. Кюнхен испустил боевой клич: «Вперед, камрады, на выборы! Голосуем за Фишера!» — и под оглушительный рев оркестра отделился от правого фланга и направился в зал, где происходили выборы. За ферейном ветеранов последовала вся колонна. Клапш, не рассчитывавший на такой энтузиазм, быстро исчерпал весь свой запас пива. К концу, когда из дела национализма было выжато все, что возможно, явился бургомистр доктор Шеффельвейс, встреченный криками «ура». Он совершенно открыто взял красный листок, и, опустив его, радостно взволнованный отошел от урны.

— Наконец-то! — сказал он и пожал Дидериху руку.— Сегодня мы повергли в прах дракона.

— Вы, господин бургомистр? — беспощадно возразил Дидерих.— Да вы еще наполовину торчите в его пасти. Смотрите, как бы он, издыхая, не увлек вас за собой!..

Доктор Шеффельвейс побледнел, а тем временем грянуло новое «ура». Вулков!..

Пять тысяч с лишним голосов за Фишера! Гейтейфель, едва собравший три тысячи голосов, был сметен с дороги национализма, и в рейхстаг прошел социал-демократ. «Нетцигский листок» констатировал победу «партии кайзера», ибо ей Нетциг обязан тем, что оплот свободомыслящих пал; этим заявлением Нотгрошен, однако, не вызвал ни особого ликования, ни каких-либо возражений. Исход выборов никого не удивил, все как-то сразу утратили к ним интерес. После шумихи предвыборной кампании надо было подумать о барышах. Памятник кайзеру Вильгельму, вокруг которого еще совсем недавно ки-

пела гражданская война, никого больше не волновал. Старик Кюлеман завещал городу на общественные нужды шестьсот тысяч марок. Что ж, весьма благородно. Памятник кайзеру Вильгельму или приют для грудных младенцев — не все ли равно! Это никого не интересовало, как не интересовало Готлиба Горнунга, пришел ли покупатель за губкой или зубной щеткой. На решающем заседании гласных выяснилось, что социал-демократы стоят за памятник — ну и прекрасно. Кто-то предложил, не откладывая, образовать комитет с регирунгспрезидентом фон Вулковом в качестве почетного председателя. Тут поднялся Гейтейфель, вероятно, раздосадованный понесенным поражением, и выразил сомнение в том, найдет ли господин президент удобным для себя решать вопрос о земельном участке под памятник: ведь фон Вулков имеет некоторое касательство к известной земельной сделке. Присутствовавшие на заседании начали перемигиваться и пересмеиваться; у Дидериха засосало под ложечкой, он ждал скандала. Он ждал молча, не без тайного злорадства: каково-то власти, когда под нее подкапываются? Он и сам не знал, чего ему хочется. Но, так как ничего не последовало, он встал и, строго выпрямившись, без особой горячности выразил протест против подобного предположения, которое он однажды уже имел честь публично опровергнуть... Противная же сторона, наоборот, до сих пор ничем не доказала, что не совершила злоупотреблений, в которых ее обвиняют.

— Могу вас утешить,— ответил Гейтейфель,— вы скоро получите доказательства. Иск уже вчинен.

Его слова вызвали движение среди присутствующих. Эффект, правда, несколько ослабел, когда Гейтейфелю пришлось признаться, что его друг Бук привлек к суду не доктора Геслинга, а только «Глас народа».

«Геслинг слишком много знает»,— твердили все, и Дидерих, наряду с почетным председателем фон Вулковом, был избран председателем комитета по сооружению памятника кайзеру Вильгельму. В магистрате все эти решения нашли горячего защитника в лице бургомистра доктора Шеффельвейса и были одобрены. Старик Бук на этом заседании блистал своим отсутствием. Ну, что ж, значит, он сам считает, что дело его не многого стоит. Гейтейфель сказал:

— Очень ему нужно быть свидетелем всех этих безобразий, которые он все равно предотвратить не может.

Но тем самым Гейтейфель только повредил себе. Ведь старик Бук за короткое время потерпел одно за другим два поражения, и можно было наперед сказать, что процесс, затеянный

им против «Гласа народа», будет третьим. Показания, которые придется, быть может, давать на суде, каждый уже заранее приноравливал к сложившейся обстановке. Геслинг, говорили те, в ком еще сохранился здравый смысл, зашел, разумеется, слишком далеко. Старик Бук,— все его издавна знают,— не вор и не мошенник. Неосторожный шаг он еще, пожалуй, мог совершить, с него станется, в особенности теперь, когда он платит по долгам брата и сам уже в долгу как в шелку. Не побывал ли он и вправду вместе с Коном у Клюзинга по поводу земельного участка? Выгодное было бы дельце, не выплыви оно на свет божий. И надо же было Кюлеману скончаться в ту самую минуту, когда он мог присягнуть в невиновности друга! Такое невезенье неспроста. Господин Тиц, коммерческий директор «Нетцигского листка», свой человек в Гаузенфельде, недвусмысленно заметил, что вступаться за людей, которые явно сходят со сцены, значит совершать преступление по отношению к самим себе. Он подчеркивал далее, что старик Клюзинг, который мог бы одним словом все разрешить, предпочитает отмалчиваться. Он болен, и только из-за него суд был отложен на неопределенный срок.

Но болезнь не помешала ему продать фабрику. Это была последняя новость, на нее-то и намекал «Нетцигский листок», сообщая о «решающих переменах на крупном, наиболее значительном для хозяйственной жизни Нетцига предприятии». Клюзинг вел переговоры с одной берлинской фирмой. На вопрос, почему Дидерих отстранился от этого дела, он показывал письмо Клюзинга, в котором тот предлагал ему первому купить фабрику.

— И, главное, на исключительно выгодных условиях,— прибавил он.— К сожалению, я тесно связан с зятем в Эшвейлере. Возможно, мне придется даже уехать из Нетцига.

Но когда Нотгрошен, опубликовавший его ответ, обратился к нему, как знатоку, за подробностями, Дидерих заявил, что проспект далеко не полностью отражает действительность. Гаузенфельд — золотое дно: он может лишь горячо рекомендовать акции, допущенные к обращению на бирже, и они в самом деле пользовались в Нетциге большим спросом. Насколько суждение Дидериха было объективным и не диктовалось личной заинтересованностью, выяснилось при совершенно особых обстоятельствах, а именно — когда старику Буку понадобились деньги. Да, он докатился до этого! Семья и приверженность к общественным интересам благополучно довели его до такого положения, что даже друзья от него отступились. Тогда на сцену вы-

ступил Дидерих. Он дал старику деньги под вторую закладную на его дом на Флейшхауэргрубе.

— Ему, видно, до зарезу нужны были деньги,— неизменно повторял Дидерих, рассказывая об этом.— Уж если он пошел на то, чтобы взять деньги у меня, у своего заклятого политического противника! Кто бы подумал, что он на это способен!

И Дидерих погружался в размышления над переменчивостью судьбы... Он прибавлял, что в случае, если дом перейдет к нему, он дорого ему станет. Правда, из своего дома ему вскоре придется выехать. Все это тоже показательно; видно, Дидерих действительно на Гаузенфельд не рассчитывает.

— Но,— пояснял Дидерих,— не под счастливой звездой родился старик, кто знает, чем кончится процесс... И именно потому, что мы с ним политические противники, я хочу показать... Ну, вы сами понимаете.

Его понимали, его поздравляли, восхищаясь его более чем корректным образом действий. Дидерих отмахивался.

— Он обвинил меня в недостатке идеализма, не могу же я снести такой упрек.

От мужественного волнения у него дрожал голос.

У каждого своя судьба; когда видишь, что у некоторых путь усеян терниями, тебе особенно радостно сознавать, что перед тобой-то расстилается гладкая дорожка. Дидерих ясно ощутил это в тот день, когда Наполеон Фишер уезжал в Берлин, чтобы отклонить военный законопроект. «Глас народа» оповестил о массовой демонстрации: вокзал, как передавали, был оцеплен полицией. Долг националиста повелевал отправиться туда. По дороге Дидерих встретил Ядассона. Раскланялись церемонно, соответственно охлаждению, наступившему в их дружбе.

— Вам тоже захотелось взглянуть на этот тарарам? — спросил Дидерих.

— Я решил провести отпуск в Париже.— На Ядассоне и в самом деле был туристский костюм.— Хотя бы уже затем, чтобы не лицезреть всех политических глупостей, которые здесь творятся.

Дидерих счел за благо пропустить мимо ушей раздраженные тирады человека, которому не повезло.

— Носятся слухи, будто вы решились на серьезный шаг.

— Я? О чем это вы?

— Фрейлейн Циллих, правда, уехала к тетке.

— Хороша тетка! — Ядассон ухмыльнулся.— Вздор! И вы этому поверили?

— Мое дело сторона.— Дидерих изобразил на своем лице

полное понимание.— Но что значит «хороша тетка»? Куда же девалась Кетхен?

— Сбежала,— сказал Ядассон.

Тут Дидерих все же не мог не остановиться, он громко засопел. Кетхен Циллих сбежала! Как бы он влип!.. Ядассон продолжал тоном светского человека:

— Сбежала, представьте! В Берлин. Доверчивые родители еще ничего не знают. Я на нее не в обиде, должна же когда-нибудь наступить развязка.

— Такая или иная,— сказал Дидерих, овладев собой.

— Лучше такая, чем иная,— уточнил Ядассон, и Дидерих, доверительно понизив голос, продолжал:

— Теперь я могу вам признаться: я всегда думал, что надолго вы эту девушку не удержите.

Но Ядассон запротестовал, его самолюбие было уязвлено:

— Да что вы? Я сам дал ей рекомендацию. Вот увидите, она сделает блестящую карьеру в Берлине.

— Не сомневаюсь.— Дидерих подмигнул.— Мне известны ее достоинства. Вы, конечно, считали меня простачком.— От возражений Ядассона он отмахнулся.— Да, вы считали меня простачком. А я тем временем всласть поохотился в ваших владениях. Теперь я вам могу признаться.— И он поведал Ядассону, который слушал его со все возраставшим беспокойством, о своем приключении с Кетхен в «Приюте любви»... поведал с такими подробностями, каких на самом деле не было. С улыбкой удовлетворенной мести смотрел он на Ядассона, который явно колебался, стоит ли вступаться за свою честь. Он удовольствовался тем, что похлопал Дидериха по плечу, и оба сделали выводы, которые напрашивались сами собой.

— Все, разумеется, только между нами... Такую девушку было бы несправедливо слишком строго судить, откуда же, скажите на милость, черпать пополнение изысканному миру веселья и радости?.. Адрес? Только вам. Теперь, по крайней мере, как приедешь в Берлин, сразу будешь знать, куда податься.

— В этом даже есть особая прелесть,— молвил Дидерих, как бы отвечая собственным мыслям; тут Ядассон увидел свой багаж, и они стали прощаться.

— Политика нас разлучила, но на почве чисто человеческого находишь, слава богу, общий язык. Желаю хорошо повеселиться в Париже.

— Какое там веселье...— Ядассон отвернулся, на его лице промелькнуло странное выражение, словно он собирался сы-

грать с кем-то коварную шутку. Увидев беспокойство в глазах у Дидериха, он сказал удивительно серьезно и спокойно: — Через месяц вы сами все увидите. Быть может, правильнее было бы уже теперь подготовить общественность.

Дидерих, помимо воли встревоженный, спросил:

— Что вы затеваете?

И Ядассон с улыбкой человека, решившегося на жертву, ответил:

— Я намерен привести свой внешний облик в соответствие со своими националистическими убеждениями...

Когда Дидерих расшифровал смысл этих слов, он только и мог, что отвесить почтительный поклон, но Ядассона уже не было. В отдалении, на перроне, еще раз — в последний раз — вспыхнули его уши, как церковные витражи в лучах заката.

К вокзалу приближалась группа мужчин со знаменем. Несколько полицейских неторопливо сошли с лестницы и выстроились, преграждая им путь. Группа тотчас запела «Интернационал». Но все же ее натиск был с успехом отражен представителями власти. Несколько рабочих, правда, прорвались и окружили своего депутата; длиннорукий Наполеон Фишер чуть ли не по земле волочил свою вышитую дорожную сумку. В буфете подкрепились после всех треволнений, пережитых под июльским солнцем во имя идеи мятежа. Наполеон Фишер, пользуясь тем, что поезд запаздывал, попытался произнести на перроне речь; но полицейский запретил это депутату парламента. Наполеон опустил вышитую сумку на землю и оскалил зубы. Дидерих знал по опыту: он собирается оказать сопротивление власти. Но тут, к счастью, подошел поезд. И только теперь Дидерих обратил внимание на приземистого господина, который отворачивался всякий раз, как кто-либо проходил мимо. Держа в руках большой букет цветов, он вглядывался в приближающийся поезд. Кто же это? Дидериху так знакомы эти плечи... Что за наваждение! Из окна купе выглядывает Юдифь Лауэр, муж помогает ей сойти со ступенек, он протягивает ей букет, и она, со своей задумчивой улыбкой, принимает его. Когда супруги направились к выходу, Дидерих, громко засопев, быстро отошел в сторону. Никакого наваждения нет, попросту срок заключения Лауэра кончился, и он снова на свободе. Опасаться каких-либо неприятностей нет оснований, но, видимо, надо привыкнуть к мысли, что Лауэр уже не за решеткой... И он встречает жену букетом цветов! Разве он ничего не знает? Мог бы и поразмыслить на досуге! А она! Вернулась, как только он отсидел свой срок! Нет, бывают ситуации, кото-

рые порядочному человеку и во сне не снятся. Впрочем, вся эта передряга его касается отнюдь не больше, чем любого другого: он лишь выполнил свой долг. «У всякого, вероятно, было бы такое же неприятное ощущение, как у меня. Надо думать, Лауэру, где бы он ни появился, дадут понять, что ему лучше всего отсиживаться дома... Что посеешь, то и пожнешь. Кетхен Циллих помнила это и сделала правильный вывод. Такой же вывод следовало бы сделать и другим, не только Лауэру».

А он, Дидерих, шествует по городу, встречаемый почтительными приветствиями, он самым естественным образом занял место, уготованное его собственными заслугами. В суровые времена он сумел пробиться на такую вершину, что теперь оставалось только пожинать плоды. Люди начали верить в него, да и он сам уже не знал никаких сомнений... Не так давно о Гаузенфельде пошли разные слухи, и акции упали. Откуда стало известно, что округ передал Геслингу заказы, которые прежде выполняла гаузенфельдская фабрика? Дидерих не проронил ни слова, но слух облетел весь город еще до того, как начались увольнения рабочих, о которых так сокрушался «Нетцигский листок». Старику Буку, как председателю наблюдательного совета, пришлось, к сожалению, самому поднять вопрос об увольнениях, что очень и очень ему повредило. Возможно, что округ только из-за Бука так круто обошелся с Гаузенфельдом. Было ошибкой выбирать старика председателем. И вообще лучше бы он долги уплатил из тех денег, которыми Геслинг его так благородно ссудил, а не акции покупал. Дидерих сам, где только мог, высказывал такое мнение.

— Кто бы поверил, что он на это способен! — неизменно прибавлял он в таких случаях и погружался в глубокомысленные размышления о переменчивости судьбы.— Вот наглядный пример, до чего может дойти человек, потерявший почву под ногами.

При этом у каждого держателя гаузенфельдских акций создавалось гнетущее впечатление, что старик Бук увлечет за собой в пропасть и его. Ибо акции падали. Увольнения создали угрозу забастовки — и акции падали все ниже... На сцене вдруг появился человеколюбивый Кинаст, приехавший, как он говорил, отдохнуть в Нетциге. Ни у кого не было охоты признаваться, что он попался на удочку и накупил гаузенфельдских акций. Кинаст всем и каждому сообщал, что многие из его знакомых уже продали свои акции. Да и пора уже, пора. В кафе появился маклер,— он, впрочем, не был знаком с Кинастом,— скупавший акции. Спустя несколько месяцев в газете изо дня

в день стало печататься объявление Банкирского дома Занфт и К°. У кого еще есть на руках гаузенфельдские акции, тот может без хлопот сбыть их. К началу осени решительно ни у кого не осталось этих дутых акций. И вдруг распространился слух, будто геслинговское предприятие сливается с гаузенфельдским. Дидерих прикидывался удивленным.

— А что же старик Бук? — спрашивал он.— Как председатель наблюдательного совета, он ведь тоже еще захочет сказать свое слово. Или сам он уже продал свой пакет акций?

— Ему не до того,— отвечали Дидериху, имея в виду предстоящий процесс по иску старика Бука к «Гласу народа», и добавляли: — Он, несомненно, останется на бобах.

А Дидерих на это чрезвычайно деловито замечал:

— Жаль его. Значит, отзаседался старик. В наблюдательные советы ему теперь ходу не будет.

В таком настроении все пришли на слушание дела. Свидетели ничего не могли вспомнить. Клюзинг-де давно говорил о своем намерении продать фабрику. Говорил ли он особо о продаже того самого участка? Упоминал ли старика Бука в качестве посредника? Все это осталось неясным. В кругах городских гласных было известно, что названный участок намечается под приют для грудных младенцев. А Бук был согласен? Во всяком случае, он не возражал. Многим бросалось в глаза, как живо он интересовался этим участком. Сам Клюзинг, который до сих пор все еще хворал, показал на допросе, что его друг Бук до недавнего времени запросто бывал у него, может он и предлагал в случае продажи закрепить за ним данный участок, но Клюзинг в этом никаких низких побуждений отнюдь не усматривал... Истец Бук требовал установить тот факт, что переговоры о продаже земли вел сам покойный Кюлеман: именно Кюлеман — жертвователь денег. Но установить этот факт не удалось; показания Клюзинга и тут не отличались четкостью. То, что Кон подтвердил факт переговоров между Кюлеманом и Клюзингом, не было принято во внимание, ведь Кон заинтересован в том, чтобы представить свой разговор с Клюзингом в самом невинном свете. Таким образом наиболее надежным свидетелем оказался Дидерих; ему Клюзинг писал и вслед за тем имел с ним беседу. Было ли в упомянутой беседе названо чье-либо имя? Дидерих показал:

— Я не старался узнать имена. Это не имело для меня значения. Заявляю, что никогда я не называл публично имени господина Бука, и это подтвердят все свидетели. Я думал лишь о защите интересов города от поползновений отдельных лиц.

Политику надо делать чистыми руками, я далек от всякой личной вражды и буду сожалеть, если господин истец не сможет доказать судьям свою полную безупречность.

Слова его были встречены одобрительным гулом. Один Бук отнесся к ним иначе. Он покраснел и вскочил... Дидериху предложили вопрос, что он сам думает об этом деле. Он заговорил, но тут Бук вышел вперед, прямой, точно натянутая струна, в глазах его вспыхнули огоньки, как на том, так трагически окончившемся, предвыборном собрании.

— Пусть господин свидетель не затрудняет себя снисходительной оценкой моей личности и моей жизни. Не таким людям, как он, меня судить. Его успехи достигнуты с помощью иных средств, нежели мои, и цель их иная. Мой дом был всегда открыт для всех, в том числе и для свидетеля. Более полувека жизнь моя принадлежит не мне, она отдана служению идее, в мое время владевшей умами, идее справедливости и всеобщего блага. Я обладал состоянием, вступая на арену общественной жизни, а схожу с нее бедняком. И в защите не нуждаюсь.

Он замолчал, лицо его еще долго вздрагивало, но Дидерих только плечами пожал. О каких это успехах толкует старик? Никаких успехов у него давно уже нет, пустые слова, под которые никто не дал бы закладной. Он играет в благородство, уже лежа под колесами. Можно ли настолько не понимать своего положения? «Если уж из нас двоих кому-то смотреть свысока на другого...» И Дидерих испепелил огненным взглядом старика, который напрасно негодовал,— испепелил на этот раз окончательно, вместе со справедливостью и всеобщим благом. Прежде всего — собственное благо, а справедливость на стороне победителя... Дидерих чувствовал, что так думают все. Как видно, почувствовал это и старик, он опустился на скамью, весь сжался, и на лице его появилось выражение стыда. Обращаясь к судьям, он сказал:

— Я не требую для себя никаких исключений, я подчиняюсь приговору моих сограждан.

Вслед за тем Дидерих как ни в чем не бывало продолжал давать показания. Они действительно были весьма деликатны и произвели самое лучшее впечатление. Все нашли, что со времени процесса Лауэра Дидерих заметно изменился к лучшему: в нем появилось спокойствие, порождаемое сознанием собственного превосходства, в чем, разумеется, нет ничего удивительного: ведь он теперь человек обеспеченный, ему везде почет и уважение.

Только что пробило полдень, и по залу прокатился приглу-

шенный гул: из уст в уста передавалась новость, сообщенная «Нетцигским листком»: Геслинг, крупный акционер гаузенфельдского предприятия, в самом деле назначен его директором-распорядителем... Любопытные взоры скользили по Дидериху, останавливались на сидевшем напротив старике Буке, на несчастье которого Геслинг построил свое благополучие. Двадцать тысяч марок, напоследок одолженных Буку, вернулись к Геслингу вдвойне, да он же еще ходит в благодетелях. То, что старик купил на эти деньги именно гаузенфельдские акции, всем показалось презанятной шуткой со стороны Геслинга. Она утешила даже тех, кто сам прогорел на гаузенфельдских. Когда Дидерих выходил из зала, на пути его смолкали все разговоры. Ему кланялись с почтительностью, граничившей с подобострастием. Обманутые отдавали дань успеху.

Со стариком Буком обошлись не так приветливо. Когда председательствующий объявил приговор, публика захлопала... Редактор «Гласа народа» отделался всего лишь пятьюдесятью марками штрафа! Обвинение осталось недоказанным, было признано отсутствие злого умысла у обвиняемого. Истец потерпел полное поражение, говорили юристы, и когда Бук покидал здание суда, даже друзья избегали встречи с ним. Мелкота, потерявшая на гаузенфельдских свои последние сбережения, грозила ему вслед кулаками. После приговора все поняли, что они давно уже составили себе мнение насчет старика Бука. Такое дело, как махинация с участком под приют, и то у него не выгорело! Так выразился Геслинг и был совершенно прав. Но в том-то и суть, что у старика Бука за всю жизнь ни одно дело не выгорело. Подумаешь, чудо: отец города и глава партии сходит со сцены в долгу как в шелку. Незадачливыми дельцами хоть пруд пруди. Но если хромают дела, то хромает и нравственность! Это подтверждается еще и поныне неясной историей обручения его сына, того самого, который теперь подвизается на театральных подмостках. А политическая деятельность Бука! Интернационализм — как знамя, постоянные призывы к жертвам во имя демагогических целей, а с властями — как кошка с собакой, и это опять-таки не могло не отразиться на его делах. Это политика человека, которому нечего терять, который недостаточно обеспечен, чтобы оставаться добропорядочным бюргером. Негодование охватывало людей при мысли, что они доверили свое благополучие авантюристу. Обезвредить его — вот чего все страстно желали. Придется, видно, помочь ему сделать выводы из позорного для него приговора суда, раз сам он их не сделал. Не может быть, чтобы в положении о городских гласных

не было статьи, требующей от них достойного поведения как при исполнении служебных обязанностей, так и в личной жизни. Не нарушает ли старик Бук эту статью? Поставить такой вопрос — значит ответить на него утвердительно, заявлял «Нетцигский листок», не называя, разумеется, имен. Дело дошло до того, что этот вопрос был выдвинут советом гласных. И, наконец, за день до начала прений упрямый старик внял голосу благоразумия и сложил с себя звание городского гласного. Теперь и политические единомышленники не могли оставить его во главе партии, не рискуя потерять последних сторонников. Но на этот счет со стариком, видно, не легко было сговориться: единомышленникам пришлось не раз побывать у Бука и в деликатной форме, но все же оказать на него давление, и только тогда в газете появилось его письмо. Интересы демократии для него превыше личных, писал он. Если имя его в силу нынешней и, как ему хочется думать, преходящей игры страстей может нанести вред демократии, он удаляется. «Во имя общего дела я готов нести клеймо, наложенное на меня обманутой народной волей, веря в вечную справедливость народа, который когда-нибудь снимет его с меня».

Слова эти были расценены как ханжество и высокомерие; доброжелатели оправдывали их старческим чудачеством. Впрочем, что́ он написал и чего не написал — какое значение это могло иметь? Кто он теперь такой? Люди, обязанные ему положением или материальным благополучием, глядя ему прямо в лицо, проходили мимо, не поклонившись. Иные смеялись и отпускали вслух замечания на его счет: то были люди, никогда не зависевшие от него, но всячески выражавшие ему свою преданность, пока он был в силе. Вместо старых друзей, которых он теперь никогда не встречал, выходя на свою ежедневную прогулку, у него появились новые, очень странные друзья. Они попадались ему на пути уже в сумерках, когда он возвращался домой: какой-нибудь мелкий коммерсант с глазами загнанного животного, человек, над которым нависла угроза банкротства, или горький пьяница, или одна из неведомых теней, скользящих вечерами вдоль стен домов. Замедляя шаги, эти люди заглядывали ему в лицо то с робкой, то с наглой фамильярностью. Они нерешительно прикасались к шляпе, и тогда старик Бук кивал им в ответ и пожимал протянутую руку, все равно, кто бы ее ни протягивал.

Со временем даже ненависть перестала замечать его. Те, кто раньше умышленно отворачивался, теперь безразлично проходили мимо, а иной раз по старой привычке кивали. Порою

отец, гуляющий с юным сыном, задумчиво глядел на старика, а разминувшись с ним, назидательно говорил мальчику:

— Видел этого старого господина? Заметил, как он одиноко бредет и ни на кого не смотрит? Так вот, запомни на всю жизнь, что может сделать с человеком позор.

И отныне мальчик при встрече со стариком Буком ощущал таинственный ужас, точно так же, как представители старшего поколения в свое время при виде Бука испытывали необъяснимую гордость. Среди молодых людей были, правда, и такие, которые не разделяли взглядов большинства. Случалось, что старик выходил из дому в час, когда кончались занятия в школе. Орды подростков заполняли улицу, они почтительно расступались, давая дорогу учителям, и Кюнхен, теперь отчаянный националист, или пастор Циллих, особенно строгий блюститель нравственности со времени несчастья с Кетхен, торопливо удалялись, ни единым взглядом не удостоив падшего. И тогда на улице оставалось несколько юношей,— они как будто не сговаривались друг с другом, и каждый поступал так по собственному побуждению. Лбы у них не были такими плоскими, как у большинства; и в глазах этих юношей загорался свет мысли, едва они поворачивались спиной к Кюнхену и Циллиху и обнажали голову перед старым Буком. Старик невольно замедлял шаг и заглядывал в лица носителям будущего, еще раз исполняясь надеждой, с которой он всю жизнь всматривался в человеческие лица.

У Дидериха не было времени уделять внимание побочным явлениям, сопровождавшим его головокружительную карьеру. «Нетцигский листок», теперь в любой момент готовый услужить ему, сообщал, будто господин Бук, раньше чем сложить с себя обязанности председателя наблюдательного совета, сам высказался за назначение господина доктора Геслинга на пост главного директора. Многим тут почудилось что-то странное. Но газета просила читателей учесть, что Геслинг имеет немалые, совершенно бесспорные заслуги перед обществом. Без господина Геслинга, который, не поднимая шума, приобрел больше половины гаузенфельдских акций, они продолжали бы падать. И не одна семья в Нетциге обязана доктору Геслингу своим спасением от ждавшей ее катастрофы. Энергичными действиями нового директора забастовку удалось предупредить. Его националистический и монархический образ мыслей — залог того, что солнце монаршей милости, взошедшее над Гаузенфельдом, никогда не закатится. Короче говоря, для хозяйствен-

ной жизни Нетцига, и для бумажной промышленности в особенности, открывается блестящая пора расцвета. Об этом свидетельствует тот факт, что слухи о слиянии геслингского предприятия с гаузенфельдским, как стало известно из достоверных источников, соответствуют действительности. Нотгрошен точно знал, что доктор Геслинг только при этом условии согласился взять на себя руководство гаузенфельдским предприятием.

В самом деле, Дидерих прежде всего поспешил увеличить акционерный капитал. На этот новый капитал была приобретена геслингская фабрика. Дидерих блестяще провел дело. Первая операция нового директора увенчалась успехом, наблюдательный совет состоял из покорных ему людей, он был хозяином положения и мог приступить к организации внутреннего распорядка на новом предприятии, диктуя свою суверенную волю. В один из первых же дней он собрал всех рабочих и служащих:

— Некоторые из вас знают меня по геслингской фабрике. Ну, а остальные познакомятся со мной теперь! Кто хочет помогать мне, добро пожаловать, крамолы же я у себя не потерплю! Каких-нибудь два года назад я сказал это горсточке рабочих, а теперь смотрите, сколько вашего брата у меня под началом! Можете гордиться таким хозяином! Будьте покойны, уж я позабочусь о том, чтобы пробудить в вас националистические чувства и превратить всех вас в стойких приверженцев существующего строя.

И он обещал им квартиры, пособия по болезни, дешевые продукты питания.

— Но никаких социалистических происков я не потерплю!.. Отныне всякий, кто вздумает голосовать не за того кандидата, за которого буду голосовать я, немедленно вылетит вон.

Безбожию, сказал Дидерих, он объявляет столь же беспощадную войну: он будет каждое воскресенье проверять, кто был в церкви, кто нет.

— Пока мир коснеет в первородном грехе, неизбежны войны и ненависть, зависть и распря. А поэтому: единая воля господина священна.

Чтобы внедрить в жизнь сей высший принцип, на стенах всех помещений фабрики были выведены надписи: «Вход воспрещается», «Пользоваться противопожарными ведрами воспрещается», «Проносить бутылки с пивом воспрещается» — последнее правило соблюдалось особенно строго потому, что Дидерих не преминул заключить с одним пивоваренным заводом договор, обеспечивавший ему известный процент с потребления

пива его рабочими и служащими... Есть, спать, курить, приводить детей, «лапаться, балагурить, заводить шашни, вообще всякий разврат строго воспрещается»! В домах для рабочих, еще до того как их построили, существовал запрет брать на воспитание приемышей. Чету, ухитрившуюся при Клюзинге десять лет скрывать незаконное сожительство, Дидерих торжественно уволил. Этот случай послужил ему предлогом применить новое средство для поднятия нравственности в народе. Он распорядился снабдить известные места изготовленной в самом Гаузенфельде бумагой, употребляя которую нельзя было не ознакомиться с напечатанными на ней моральными или политическими сентенциями. Иногда он слышал, как рабочие повторяют в разговоре между собой принадлежащее августейшей особе изречение, усвоенное ими таким путем, или запевают патриотические песни, слова которых им запомнились при тех же обстоятельствах. Окрыленный успехом, Дидерих пустил свое изобретение в торговый оборот. Оно появилось на рынке под маркой «Мировая держава» и, как гласила широковещательная реклама, победно распространяло во всем мире немецкий дух, опирающийся на немецкую технику.

Но устранить все поводы для столкновений между хозяевами и рабочими не могли даже эти назидательные бумажки. Однажды Дидерих вынужден был заявить, что из страховых сумм он оплачивает лишь лечение зубов, но не протезирование полости рта. Один рабочий заказал себе целую челюсть! Так как Дидерих ссылался на свой приказ, изданный, правда, задним числом, рабочий подал в суд и, как ни странно, выиграл процесс. Это подорвало его веру в существующий строй, он стал смутьяном, нравственно опустился и при других обстоятельствах обязательно был бы уволен. Но Дидерих не мог решиться бросить на ветер челюсть, которая так дорого ему обошлась, и оставил у себя рабочего... Вся эта история не могла не подействовать на рабочих разлагающе, и Дидерих не закрывал на это глаза. А тут еще подоспели опасные политические события, усугубившие тлетворные влияния. После того как во вновь открытом рейхстаге во время провозглашения «ура» кайзеру многие социал-демократические депутаты остались сидеть, уже не приходилось сомневаться в необходимости законопроекта против крамолы. Дидерих обрабатывал в его пользу общественное мнение; рабочим он разъяснил своевременность законопроекта в речи, выслушанной ими в сумрачном молчании. Большинство рейхстага не постыдилось отвергнуть законопроект, и результаты не замедлили сказаться: какой-то предприни-

матель был убит!.. Убит! Предприниматель! Убийца утверждал, что он не социал-демократ, но чего стоят подобные уверения, Дидерих знал по собственным рабочим; убитый, по слухам, хорошо относился к рабочим, но цену этим слухам Дидерих знал по себе. Отныне он по нескольку дней, а то и месяцев не мог открыть без страха ни одной двери, за каждой ему чудился нацеленный на него нож. В конторе он завел самострелы и каждый вечер вместе с Густой ползал по спальне, заглядывая во все углы. Его телеграммы кайзеру, посылались ли они от имени союза предпринимателей или ферейна ветеранов,— словом, все телеграммы, которыми Дидерих засыпал высочайшую особу, были сплошным воплем, мольбой о защите от раздуваемого социалистами пожара революции, поглотившего еще одну жертву; об освобождении от этой чумы, о срочном издании чрезвычайных законов, о защите авторитета и охране собственности военной силой, о тюремном заключении для забастовщиков, мешающих штрейкбрехерам работать... «Нетцигский листок», воспроизводя все это слово в слово на своих страницах, никогда не забывал напомнить о необычайных заслугах главного директора доктора Геслинга в деле сохранения гражданского мира и обеспечения рабочих. Каждый вновь отстроенный дом для рабочих немедленно фотографировался, и Нотгрошен помещал снимок в газете в сильно приукрашенном виде, вместе с восторженной статьей. Пусть другие работодатели, о влиянии которых в Нетциге теперь, слава богу, не приходится говорить, разжигают мятежные настроения среди своих рабочих, привлекая их к участию в прибылях! Принципы, провозглашаемые главным директором доктором Геслингом, способствуют установлению между работодателями и рабочими наилучших отношений из всех мыслимых, какие его величество кайзер желал бы видеть повсеместно в немецкой промышленности. Энергичный отпор несправедливым требованиям рабочих, а также объединение работодателей входят, как известно, в социальную программу кайзера, и к чести главного директора Геслинга надо сказать, что он принадлежит к числу тех, кто эту программу выполняет. Засим следовал портрет Дидериха.

Такое признание поощряло к еще более ревностному развертыванию своей деятельности, несмотря на разрушительное действие греха, в котором закоснел мир, не только в деловой сфере, но и в семейном кругу. Здесь, к сожалению, семена зависти и раздора сеял Кинаст. Он утверждал, будто без него и без его тайного посредничества при скупке акций Дидерих

вовсе не достиг бы такого блестящего положения; Дидерих отвечал, что он вознагражден за это пакетом акций, в соответствии с его капиталом. Зять не соглашался, больше того, он нагло утверждал, что его бесстыжие претензии законны. Разве он, как супруг Магды, не совладелец старой геслингской фабрики в восьмой доле ее стоимости? Фабрика продана, Дидерих получил за нее наличными и гаузенфельдскими акциями. Кинаст требовал восьмую долю с процентов на капитал и с ежегодного дивиденда привилегированных акций. На подобную неслыханную дерзость Дидерих в самой категорической форме заявил, что ни зятю, ни сестре своей он ничего больше не должен.

— Я обязался выплачивать вам лишь вашу долю с ежегодных доходов моей фабрики. Она продана. Гаузенфельдская фабрика принадлежит не мне, а акционерному обществу. Что же касается капитала, то это мое личное состояние. У вас нет никаких оснований что-либо требовать от меня.

Кинаст назвал это неприкрытым разбоем. Дидерих, вполне убежденный собственными доводами, бросил слово «шантаж». В результате начался судебный процесс.

Тяжба тянулась три года. Она велась с все возрастающим ожесточением, в особенности со стороны Кинаста. Для того чтобы всецело посвятить себя ей, он отказался от службы в Эшвейлере и вместе с Магдой переехал в Нетциг. Главным свидетелем против Дидериха он выставил старика Зетбира, обуреваемого жаждой мести. Тот обещал доказать, что Дидерих и раньше не отдавал своим родственникам причитающиеся им деньги. Кинасту пришло на ум осветить некоторые моменты из прошлого Дидериха с помощью депутата рейхстага Наполеона Фишера, но он так и не добился в этом полного успеха. Правда, Дидерих не раз вынужден был вносить изрядные суммы в партийную кассу социал-демократов. И он был искренен, говоря, что его не так огорчают личные убытки, как урон, нанесенный всем этим делу национализма... Густа, не обладавшая столь широким взглядом на вещи, подливала масла в огонь, руководствуясь чисто женскими мотивами. Она не могла простить Магде, что та родила мальчика, а ее первенцем была девочка. Магда, вначале не проявлявшая особого интереса к денежным делам, руководила военными действиями с того дня, как Эмми выписали из Берлина сногсшибательную шляпу. Магда пришла к заключению, что Дидерих самым возмутительным образом отдает теперь предпочтение Эмми. Эмми имела в Гаузенфельде собственные апартаменты и давала вечера. Выделенные ей Дидерихом суммы на туалеты показывали, как бессовестно он от-

носится к замужней сестре. Она убедилась, что преимущество, которое давало ей замужество, обратилось в свою противоположность,— и обвинила Дидериха в том, что он коварно отделался от нее перед самым своим взлетом. Если Эмми даже теперь не нашла себе мужа, то на это, по-видимому, есть свои особые причины, и о них в Нетциге немало шепчутся. Магда не видела оснований, почему бы ей громко не заговорить о них. Через Ингу Тиц об этом стало известно в Гаузенфельде. Но та же Инга принесла и оружие против клеветницы: она, видите ли, встретила у Кинастов акушерку, а между тем первому ребенку еще не исполнилось и шести месяцев. Последовал ужасающий взрыв страстей, взаимные оскорбления по телефону, угрозы судебной расправой, для которой обе женщины собирали материал, подкупая друг у друга горничных.

Дидерих и Кинаст, руководствуясь мужской рассудительностью, на этот раз предотвратили публичный семейный скандал, но он все же некоторое время спустя разразился. Густа и Дидерих начали получать анонимные письма такого непристойного содержания, что их приходилось скрывать не только от третьих лиц, но даже друг от друга. Помимо всего прочего они были разукрашены рисунками, далеко выходившими за все дозволенные рамки даже реалистического искусства. Регулярно из утра в утро на столе, накрытом к завтраку, лежали безобидные на вид серые конверты, и каждый из супругов быстро прятал адресованное ему письмо, прикидываясь, что не замечает письма, полученного другим. Как и следовало ожидать, пришел день, когда игра в прятки кончилась: у Магды хватило дерзости явиться в Гаузенфельд с пачкой точно таких же писем, якобы полученных ею самой. Это показалось Густе верхом наглости.

— Кому-кому, а тебе, я полагаю, хорошо известно, кто их пишет! — произнесла она, задыхаясь и багровея.

Магда сказала, что она, конечно, вполне представляет себе, кто может писать их, оттого-то она и пришла.

— Если тебе приходится писать самой себе такие письма, чтобы распалить свое воображение,— прошипела в ответ Густа,— так хоть не посылай их тем, кто в этом не нуждается.

Магда, позеленев от возмущения, раскричалась, в свою очередь обвиняя невестку во всех смертных грехах. Но Густа уже бросилась к телефону, позвонила в контору и вызвала Дидериха домой; затем исчезла и вернулась с пачкой писем в руках. В других дверях показался Дидерих со своими. Все три пачки пикантных писем были эффектно разложены на столе, а трое

родственников молча смотрели друг на друга остановившимися глазами. Опомнившись, они все разом стали бросать друг другу в лицо одни и те же обвинения. В доказательство своей правоты Магда сослалась на свидетельство мужа, который-де тоже получает такие письма. Густа утверждала, что она и у Эмми видела нечто подобное. Послали за Эмми, и та, в свойственной ей небрежной манере, беспечно призналась, что, действительно, почта и ей доставляет такую же мерзость. Большую часть писем она уничтожила. Не пощадили даже старую фрау Геслинг. Она, правда, плакала и отпиралась, но ее изобличили... Все это вместе взятое только распалило страсти, а ясности в дело не внесло, и родственники расстались, осыпая друг друга угрозами, по существу пустыми, но все же устрашающими. Обе стороны старались укрепить свои позиции и в поисках союзников первым делом выяснили, что Инга Тиц тоже находится в числе получателей этой недостойной стряпни. Все самые худшие предположения подтвердились. Зловредный сочинитель писем повсюду вторгался в частную жизнь, он не обошел даже пастора Циллиха, больше того,— самого бургомистра и его домашних. Судя по всему, он создал вокруг семьи Геслингов и всех дружественных им семей атмосферу самой бесстыдной похабщины. Неделями Густа не отваживалась выйти из дому. Содрогаясь от ужаса, супруги видели виновника зла то в одном, то в другом. Во всем Нетциге брат не доверял сестре, жена — мужу. Настал день и час, когда в лоне семьи Геслингов подозрительность превысила всякую меру. Документ как нельзя более точный дрожал в руках у Густы; в нем были запечатлены моменты настолько интимные, что о них могли знать только она и ее супруг. Третий не мог даже подозревать о них, иначе это просто безумие!.. Густа бросила через стол пристальный взгляд на Дидериха: в его руках дрожал точно такой же листок, и во взгляде, устремленном на нее, был тот же вопрос.

Предатель был вездесущ. Там, где, казалось, никого не могло быть, он был вторым «я». Он самым невероятным образом поколебал веру в бюргерскую добропорядочность. Всякое чувство собственной нравственной безупречности и взаимного уважения было бы обречено на гибель, если бы не контрмеры, принятые как бы со всеобщего согласия к их восстановлению. Тысячегранные страхи, втихомолку искавшие выхода, стекались со всех сторон и силой одного общего страха прорыли канал, вышли на поверхность и излились, наконец, темным потоком на голову одного человека. Готлиб Горнунг сам не знал, откуда такое свалилось на него. Встретившись однажды с Дидерихом,

он, по обыкновению, стал важничать и похвастался известными письмами, которые он якобы пишет. На суровые упреки Дидериха он лишь возразил, что кто же теперь не пишет таких писем, это модно, это светская игра — за что Дидерих немедленно его отчитал. Из беседы со старым приятелем и собутыльником Готлибом Горнунгом он вынес впечатление, что этот человек, уже не раз оказавший ему полезные услуги, может оказать услугу и в данном случае, хотя бы и не вполне по доброй воле. И вот Дидерих, как предписывал ему долг, подал на Горнунга в суд. И стоило только громко назвать его имя, как обнаружилось, что его давно уже все подозревают. Во время выборов он часто бывал во многих семьях; родился и вырос он в Нетциге, но родственников не имел, что, по-видимому, и позволяло ему вести эту неблаговидную игру. А тут еще его упорная борьба за право не продавать зубные щетки и губки,— она все больше и больше ожесточала его, толкала на неосторожные и едкие замечания, что-де некоторые господа нуждаются в губке не только для наружной гигиены, а почистив щеткой зубы, еще далеко не становятся чистыми.

Представ перед судом, он во многих случаях прямо признался в своем авторстве. Мнение такого свидетеля, как Гейтейфель, будто писание анонимных писем превратилось в эпидемию и будто одному человеку не под силу нагромоздить такую кучу мерзости, встретило дружный отпор со стороны остальных свидетелей, со стороны общественной воли.

С наибольшим блеском ее выразил Ядассон, который вернулся из Парижа с укороченными ушами и был произведен в прокуроры. Успех и сознание того, что теперь его нечем попрекнуть, сделали его даже более умеренным. Он признал, что во имя общего блага следует прислушаться к голосам тех, кто склонен считать Горнунга человеком с повышенной нервозностью. Настойчивее всех об этом твердил Дидерих, который на все лады защищал друга своей юности. Горнунг отделался пребыванием в санатории для нервнобольных, и когда вышел оттуда, Дидерих, поставив условием, что друг покинет Нетциг, снабдил его средствами, которые на некоторое время освобождали Горнунга от необходимости продавать губки и зубные щетки. В итоге, конечно, губки и щетки его доконают, и вряд ли Готлибу Горнунгу можно предсказать, что он хорошо кончит.

Разумеется, поток подметных писем прекратился, как только Готлиба надежно упрятали в лечебное заведение. Во всяком случае, если кто и получал письмо — он и виду не подавал. С этой напастью было покончено.

Дидерих с полным правом опять мог сказать: «Мой дом — моя крепость». Его семейный очаг, огражденный от грязных поползновений извне, вновь засиял чистейшей благодатью. За Гретхен, родившейся в 1894 году, в 1895 году последовал Хорст, а в 1896 — Крафт. Дидерих, справедливый отец, открывал счет на каждого ребенка еще до того, как тот появлялся на свет, и прежде всего вносил в банк сумму на детское приданое и оплату акушерки. Его взгляды на брак отличались чрезвычайной строгостью. Появление Хорста на свет прошло не без осложнений. Когда все было уже позади, Дидерих заявил супруге, что, если бы его поставили перед выбором, он, не задумываясь, дал бы ей умереть.

— Как ни прискорбно мне было бы,— прибавил он.— Однако продолжение расы прежде всего, а за своих сыновей я отвечаю перед кайзером.

Предназначение женщины — рожать детей, фривольности и непристойности, по мнению Дидериха, им не к лицу, но на отдых и возвышенные духовные радости они имеют право.

— Держись трех великих основ: «бог, кофе и дети».

На красной клетчатой скатерти, с орлом и кайзерской короной в каждой клетке, рядом с кофейником лежала Библия, и Густе вменялось в обязанность по утрам читать библейские тексты. В воскресенье ходили в церковь всей семьей.

— Так угодно высшим сферам,— серьезно говорил Дидерих, когда Густа сопротивлялась. Точно так же, как Дидерих жил в страхе перед своим повелителем, Густе полагалось трепетать перед своим. Она твердо знала, что, входя в дом, надо пропускать супруга вперед. Детям, в свою очередь, надлежит оказывать почет ей, а такса Менне обязана повиноваться всем. Во время трапезы собаке и детям полагалось сидеть молча; Густа должна была по складкам на лбу супруга распознавать, желает ли он, чтобы его не беспокоили, или же надо болтовней отвлечь его от забот. Некоторые блюда подавались только главе семьи, в хорошие дни он бросал лакомый кусок через стол и от души хохотал, гадая, кто его перехватит — Гретхен, Густа или Менне. Послеобеденный сон Дидериха нередко отягчался несварением желудка; долг Густы повелевал ей класть супругу на живот теплые компрессы. Дидерих, охая и изнывая от страха, грозился составить завещание и назначить опекуна. Густа ни гроша не получит на руки.

— Я трудился для своих сыновей, а не для того, чтобы ты развлекалась после моей смерти.

Густа напоминала, что фундаментом, на котором все выросло, послужило ее собственное состояние, но лучше бы она не заикалась об этом... Разумеется, когда Густа схватывала насморк, нечего было и думать, что Дидерих, в свою очередь, будет ухаживать за ней. В таких случаях ей рекомендовалось держаться подальше, ибо Дидерих решительно не желал допускать в свой организм никаких бацилл. Приходя на фабрику, он всегда сосал дезинфицирующие таблетки. А однажды ночью Дидерих расшумелся из-за того, что кухарка захворала инфлюэнцей и температура у нее подскочила до сорока.

— Пусть сейчас же убирается со всей этой гадостью! — приказал Дидерих. И, после того как кухарка ушла, он еще долго носился по дому, опрыскивая все кругом смертоносными для бацилл жидкостями.

Вечерами, когда супруги читали «Локаль-анцейгер», Дидерих не уставал толковать Густе, что Германии жизнь не в жизнь без владычества на морях, и Густа очень хорошо понимала это уже потому, что она недолюбливала императрицу Фридрих, как известно, предавшую нас Англии, не говоря уже о семейном скандале в замке Фридрихскрон, который Густа горячо осуждает. Против Англии нам необходимо выставить сильный флот: надо разбить ее наголову, ведь это злейший враг кайзера. Почему? В Нетциге это знали точно: лишь потому, что его величество как-то в веселом настроении дружески шлепнул принца Уэльского по тому месту, откуда ноги растут. Кроме того, Англия поставляет нам известные высокие сорта бумаги, и только победоносной войной можно решительно пресечь их ввоз. Глядя поверх газеты, Дидерих говорил Густе:

— Разве только еще Фридриху Великому я уступлю в своей ненависти к этому народу воров и торгашей. Так называл англичан его величество, и я обеими руками подписываюсь под его словами.

Он подписывался под каждым словом каждой речи кайзера, и именно в первом, наиболее сильном варианте, а не в смягченном, в каком они печатались на следующий день. Все эти крылатые, современные, чисто немецкие словечки... Дидерих упивался ими, они были точно излучением его собственного «я», память сохраняла их, как будто он первый их произнес. Иной раз это действительно было так. Нередко он перемежал их в своих выступлениях с собственными изречениями, но ни сам он, ни кто другой не могли бы сказать, где кончается его творчество и где начинается сказанное кайзером...

— Прелестно!..— восклицала Густа, читавшая «Смесь».

— Трезубцем должны владеть мы! — возглашал, словно не слыша ее, Дидерих, между тем как Густа рассказывала о случае с кайзершей, глубоко ее растрогавшем. В Губертусштоке ее величеству угодно было одеваться просто, как одевается любая фрау. На шоссе она повстречала почтальона, которому назвала себя, но он не поверил и высмеял ее. Немного погодя он, совершенно уничтоженный, пал перед ней на колени и был одарен серебряной маркой. Дидериха это тоже восхитило. Но особенно растрогал его рассказ о том, как его величество в сочельник вышел на улицу и раздал пятьдесят семь марок новой чеканки, чтобы бедняки Берлина весело справили праздник, а прочитав, что его величество стал почетным членом Мальтийского ордена, Дидерих так взволновался, что у него мурашки по спине поползли. Никогда не грезившиеся миры открывались на страницах «Локаль-анцейгера», и тут же рядом приводились эпизоды, делавшие высочайших особ по-человечески понятными и близкими. Начинало казаться, что стоящие в нише бронзовые, почти в человеческий рост фигуры их величеств, улыбаясь, придвигаются к столу, а сопровождающий их зекингенский трубач наигрывает на трубе чувствительный напев.

— Божественно, должно быть, у кайзеров, когда стирка! — восхищалась Густа.— Целых сто слуг стирают!

А Дидерих умилялся до глубины души, читая о таксах кайзера, которым разрешалось вольно обращаться со шлейфами придворных дам. У него созревала идея на ближайшем же вечере предоставить своей Менне полную свободу действий. Правда, телеграмма в следующем столбце очень встревожила его, потому что все еще было неясно, встретится ли кайзер с русским царем.

— Если эта встреча не произойдет в ближайшее время, мы должны быть готовы ко всему,— сказал он внушительно.— Мировая история шуток не любит.

Он подолгу задерживался на грозящих катастрофах: душа немца сурова, почти трагична, изрекал он.

Но Густа уже ничем не интересовалась. Она все чаще зевала. Строгий взгляд супруга, казалось, напомнил ей о некоем долге. Она вызывающе прищурилась и даже стала теснить его коленями. Он собирался было высказать еще какую-то националистическую мысль, но Густа вдруг необыкновенно строго сказала:

— Вздор!

Дидерих, однако, не только не одернул ее за такую выходку, а наоборот, взглянул на нее, моргая, словно ожидал про-

должения... Как только он сделал попытку обхватить ее снизу, она окончательно согнала с себя сонливость и закатила ему здоровенную пощечину. Ничего не ответив, он встал и, громко сопя, спрятался за портьеру, а когда вышел оттуда, оказалось, что глаза его отнюдь не мечут испепеляющие взоры, больше того, они полны страха и темного желания... Тут последние колебания Густы рассеялись. Она встала; разнузданно вихляя бедрами, она сама метнула молнии испепеляющих взоров и, повелительно тыча пальцем-сосиской в пол, прошипела:

— На колени, жалкий раб!

И Дидерих подчинился ее требованию! В неслыханном, фантастическом ниспровержении всех законов Густе дозволялось приказывать:

— Преклонись перед моей божественной особой!

И он, лежа на спине, покорно сносил ее пинки в живот. Правда, в разгаре своей деятельности она вдруг остановилась и спросила, просто и деловито, без жестокого пафоса:

— Хватит с тебя?

Дидерих не шевелился. Тогда она мгновенно опять превратилась в повелительницу.

— Я государыня, а ты верноподданный,— выразительно заговорила она.— Встать! Марш! — И, подталкивая Дидериха своими пухлыми, в ямочках кулачками, она погнала его перед собой в супружескую спальню.

— Это еще только цветочки! — пообещала она, но Дидериху удалось вывернуться и погасить свет. В темноте он с замиранием сердца слышал, как Густа где-то у него за спиной обзывает его не очень пристойными словами. Немного позже — она, наверно, уже спала — он, все еще ожидая эксцессов, на четвереньках вполз в нишу и спрятался за бронзового кайзера...

Наутро после таких ночных фантазий Дидерих неизменно требовал книгу домашних расходов, и горе Густе, если счета не сходились. Грозным разносом в присутствии всей прислуги он решительно рассеивал в ней какие бы то ни было иллюзии насчет ее кратковременной власти, если воспоминания о ней еще теплились в ее душе. Авторитет и традиции вновь торжествовали. Пускались в ход и другие средства, чтобы перевес в супружеских отношениях не был на стороне Густы. Не реже трех-четырех раз в неделю, а то и чаще, Дидерих проводил вечера вне дома — отправлялся в погребок, как говорил он, что не всегда соответствовало действительности... В погребке постоянный столик Дидериха находился под готической аркой, украшенной надписью: «Чем винцо вкусней, тем жена лютей,

чем жена лютей, тем винцо вкусней». Сочные старинные изречения, красовавшиеся и на других арках, были для мужей сладостной местью за те уступки женам, которые природа порой у них исторгает. «Кто вина не пьет и песен не поет, тот весь век с одной женою проживет». Или: «Храни нас боже от недуга, от злых собак и злой супруги». Но зато, если кто сидел между столиками Гейтейфеля и Ядассона, тот, подняв глаза к потолку, читал: «Мир и уют, очаг родной, а на степе — меч боевой. Старинный немецкий обычай храни, в вине все печали свои утопи». И только это и делалось здесь за всеми столами без различия вероисповеданий и партий. Ибо со временем сюда вернулись и Кон и Гейтейфель со своими ближайшими друзьями и единомышленниками; вернулись незаметно, ибо никому не дано долго отрицать или закрывать глаза на успех, окрылявший национальную идею и все выше ее возносивший. Разногласия между Гейтейфелем и его шурином пастором Циллихом по-прежнему отражались на их отношениях. Между их мировоззрениями зияла непроходимая пропасть: «Немец никому не позволит вмешиваться в свои религиозные убеждения и наставлять себя»,— заявляла и та и другая сторона. Зато в политике всякая идеология от лукавого. В свое время во Франкфуртском парламенте заседали многие деятели крупного масштаба, но это еще не были реальные политики, и поэтому, как полагал Дидерих, все, что они делали, было глупо. Впрочем, допускал он, снисходительно настроенный своими успехами, в свое время Германия поэтов и мыслителей, быть может, тоже имела право на существование.

— Но ведь это была только первая ступень, нынче наши духовные богатства создаются в области промышленности и техники. Мерило — успех.

Гейтейфель вынужден был согласиться. Теперь он куда осторожнее отзывался о кайзере, о влиянии и значении его величества. Каждое повое выступление августейшего оратора ставило его в тупик,— он пытался критиковать, но в конце концов все же давал понять, что не прочь подписаться под всем сказанным. Решительный либерализм — постепенно это стало почти общепризнанной точкой зрения — только выиграет, если зарядится энергией националистической идеи, встанет на путь конструктивного сотрудничества и, устремляясь к твердо намеченной цели и высоко держа знамя свободомыслящих, заявит свое непримиримое quos ego [1] врагам, которые отказывают нам

[1] Я вас (*лат.*).

«Верноподданный»

в месте под солнцем. Ибо не только наш исконный враг Франция то и дело поднимает голову, но и с бессовестными англичанами пора наконец свести счеты! Флот, за постройку которого неустанно ведет гениальную пропаганду наш гениальный кайзер, нам действительно нужен до зарезу, наше будущее зиждется на морях... Эта истина все с большей силой овладевала умами. В погребке за столиком, где восседал Дидерих, идея мощного флота крепла, она возгоралась ярким пламенем, питаемая добрым немецким вином, и прославляла своего творца. Флот, эти суда, эти поразительные машины — плод буржуазной мысли! Пущенные в ход, они сделают Германию мировой державой точно так же, как известные машины в Гаузенфельде делают известный сорт бумаги под названием «Мировая держава». Флот был особенно мил сердцу Дидериха, да и Копа с Гейтейфелем идея национализма подкупала прежде всего требованием флота. Десант в Англии — это была греза, парившая в туманной дымке под готическими сводами погребка. Глаза собеседников разгорались, все обсуждали подробности обстрела Лондона. Обстрел Парижа подразумевался сам собой и завершал планы господа бога на наш счет. «Ибо,— как говаривал пастор Циллих,— христианские пушки служат праведному делу». Один лишь майор Кунце был настроен скептически, его мрачным предсказаниям конца не было. С тех пор как социалист Фишер победил его на выборах, говорил он, никакое поражение его не удивит. Но это был единственный маловер. А больше всех ликовал Кюнхен. Подвиги, совершенные в великой войне этим лютым старичком, теперь, спустя четверть века, нашли наконец свое истинное утверждение в образе мыслей нынешних немцев. «Семена,— говорил он,— кои мы посеяли во время оно, всходят ныне. Какое счастье, что моим старым глазам дано это увидеть!» И, допив третью бутылку, он тут же засыпал.

Благоприятно сложились в общем и отношения Дидериха с Ядассоном. В прошлом соперники, они, войдя в зрелый возраст и поднявшись в сферу сытого существования, не наступали больше друг другу на мозоли ни в политике, ни за столом в погребке, ни в таинственной вилле, которую Дидерих посещал в тот вечер недели, когда, без ведома Густы, его место за столиком в погребке пустовало. Вилла эта находилась у Саксонских ворот и некогда принадлежала фон Бриценам. Нынче в ней обитала одна-единственная дама, она редко показывалась на улицах города, да и то лишь в карете. Иной раз она появлялась в «Валгалле» в ложе авансцены, разодетая в пух и

прах, на нее нацеливались все бинокли, но никто с ней не здоровался. Держалась она королевой, хранящей инкогнито. Разумеется, несмотря на пышность ее туалетов, решительно все знали, что это Кетхен Циллих, что она, пройдя в Берлине хорошую школу, с успехом занимается своей профессией на бывшей вилле фон Бриценов. Всем было также ясно, что такие обстоятельства не очень-то способствуют повышению авторитета пастора Циллиха. Весь приход чувствовал себя глубоко оскорбленным, а тут еще подливали масла в огонь насмешники, которые были в восторге от этой истории. Во избежание катастрофы пастор потребовал, чтобы полиция искоренила зло, но натолкнулся на сопротивление. Оставалось предположить, что существует некая связь между виллой Бриценов и высшими властями города. Поколебленный в своей вере в земную справедливость не меньше, чем в божественную, отец поклялся, что сам выступит в роли судьи, и действительно как-то под вечер явился к погибшей дочери, которая еще нежилась в постели, и подверг ее телесному наказанию. Только матери, которая обо всем догадалась и побежала за мужем, обязана была Кетхен своим спасением, как утверждали прихожане. Матери приписывали позорную слабость к дочери, блиставшей во всем великолепии греха. А пастор Циллих объявил с амвона, что Кетхен умерла и истлела, и этим спасся от вмешательства консистории. Впоследствии испытание, постигшее пастора, пошло ему на пользу... Из числа лиц, вносивших свою долю на содержание Кетхен, Дидерих официально был знаком лишь с Ядассоном, хотя Ядассон давал меньше всех, а может быть, и вовсе ничего не давал, как имел основания думать Дидерих. Отношения Ядассона с Кетхен с давних пор походили на закладную, полученную под предприятие. Поэтому Дидерих без всяких стеснений поверял Ядассону заботы, которые это предприятие ему причиняло. Из понятного чувства такта по отношению к пастору Циллиху, рассуждавшему неподалеку о христианских пушках, они придвинулись друг к другу за столиком в нише, украшенной надписью: «Чтоб жене муженька ублажить, надо сладко его накормить»,— и принялись толковать о делах бриценской виллы. Дидерих жаловался, что Кетхен ненасытна в своих посягательствах на его кошелек: вот если бы Ядассон оказал на нее благотворное воздействие! Но Ядассон лишь спросил:

— Зачем же вы сохраняете эту связь? Она, разумеется, стоит денег и денег!

И он был прав. Испытав кратковременное удовлетворение оттого, что он все же добился Кетхен, хотя бы таким путем,

Дидерих вскоре стал рассматривать ее только как статью расхода, и очень солидную, под рубрикой «реклама».

— Мое положение,— ответил он Ядассону,— требует представительства в самом широком масштабе. Иначе я, откровенно говоря, давно бросил бы всю эту волынку: между нами, Кетхен не так уж пикантна.

Ядассон выразительно улыбнулся, но ничего не сказал.

— Вообще,— продолжал Дидерих,— она в том же жанре, что и моя жена, а моя жена,— он приложил руку к сердцу,— намного изобретательнее. Видите ли, со своей совестью ничего не поделаешь, после каждой вылазки на бриценскую виллу мне все чудится, что я в долгу перед женой. Это может показаться смешным, но в таких случаях я всегда ей что-нибудь дарю. Боюсь только, как бы она в конце концов чего не заподозрила!

Ядассон рассмеялся, и для этого у него было больше оснований, чем думал Дидерих,— он давно уже счел своим нравственным долгом просветить на этот счет супругу генерального директора Геслинга.

В сфере политической у Дидериха с Ядассоном установилось такое же плодотворное сотрудничество, как и на вилле Кетхен: рука об руку они старались очистить город от неблагонамеренных, особенно от тех, кто сеял заразу оскорблений величества. Дидерих, с его разносторонними связями, вылавливал подобные элементы, а Ядассон предавал их суду и расправе. После появления «Гимна Эгиру» деятельность друзей стала особенно плодотворной. В доме у самого Дидериха учительница музыки, которая давала уроки Густе, назвала «Гимн Эгиру» попросту... С тем самым, что она назвала, ее и смешали. Даже Вольфганг Бук, с недавнего времени вновь поселившийся в Нетциге,— даже он заявил, что приговор отнюдь не суров, ибо он удовлетворяет оскорбленные монархические чувства.

— Оправдательного приговора народ не понял бы,— сказал он за столиком Дидериха в погребке.— Среди политических режимов монархия то же, что в любви строгие и энергичные дамы. Кто питает склонность к такого рода любви, тот требует наступательных действий, мягкость его не удовлетворяет.

Дидерих покраснел... Жаль только, что Бук выражал такие взгляды лишь в трезвом состоянии. Позднее он своей уже всем приевшейся манерой втаптывать в грязь священнейшие блага давал достаточно поводов исключить его из приличного общества. И что же? Не кто другой, как Дидерих, уберег его от подобной участи. Он защищал своего приятеля.

— Надо же, господа, считаться с его тяжелой наследственностью, ведь в этой семье явно выражены симптомы прогрессирующего вырождения. С другой стороны, мы знаем, что сцена все же не удовлетворила его и он вернулся к профессии адвоката, а это доказывает, что натура у него здоровая.

Ему возражали: весьма подозрительно, почему Бук ни слова не говорит о своей трехлетней деятельности на сцене. Быть может, он уже опустился до того предела, когда человек чести его и на дуэль не вызовет? На это Дидерих ничего не мог сказать; вопреки всякой логике, его неодолимо влекло к сыну старика Бука. То и дело он завязывал с ним жаркие споры, неизменно кончавшиеся взаимными резкостями, так как вскрывались острейшие противоречия в их взглядах. Дидерих даже ввел Бука в свой дом, но результат получился совершенно неожиданный. Если вначале Бук приходил, вероятно, только ради превосходного коньяка, которым его потчевали, то потом его явно заинтересовала Эмми. Через голову Дидериха оба отлично спелись, и притом самым поразительным для Дидериха образом. Они вели острые, рискованные разговоры, словно бы далекие от всякой задушевности или иных чувств, которые в нормальных случаях пробуждает общение представителей разного пола. А когда понижали голоса и переходили на интимный тон, Дидериху делалось прямо-таки не по себе. Оставался выбор: либо вмешаться и восстановить корректный тон, либо удалиться из комнаты. К собственному удивлению, он избирал последнее. «Оба они претерпели удары судьбы, и вполне заслуженные»,— думал он с подобающей ему рассудительностью, не очень задумываясь над тем, что он, в сущности, горд за Эмми; ему было лестно, что Эмми, его родная сестра, оказалась достаточно умной, достаточно незаурядной и даже, пожалуй, достаточно непутевой, чтобы подружиться с Вольфгангом Буком. «Кто знает...— начинал он, колеблясь, а затем решительно доканчивал: — А впрочем, почему бы и нет! Точно так же поступил Бисмарк с Австрией. Сначала растоптал, а потом заключил союз!»

Из этих пока еще расплывчатых соображений Дидерих вновь стал проявлять определенный интерес к отцу Вольфганга. Старик, страдавший болезнью сердца, редко показывался в городе, а если и выходил, то большей частью стоял перед витриной какого-нибудь магазина, делая вид, что углублен в ее созерцание, а на самом деле беспокоясь лишь об одном — как бы скрыть, что ему не хватает воздуха. О чем он размышлял? Что думал о новом деловом расцвете Нетцига, о подъеме на-

ционализма, о нынешних властях предержащих? Переменил ли он свои убеждения? Чувствовал ли себя внутренне побежденным? Случалось, что генеральный директор доктор Геслинг, могущественный представитель нетцигской буржуазии, хоронился где-нибудь в подворотне, чтобы затем незаметно следовать по пятам за утратившим всякое влияние, уже наполовину забытым стариком: хотя Дидерих и пребывал на вершине, но этот умирающий почему-то смущал его душевный покой... Так как старик платил теперь проценты по своим закладным с запозданием, Дидерих предложил молодому Буку продать дом. Само собой, он предоставит старику право пожизненно пользоваться им. Вместе с домом он купит и обстановку, немедленно уплатив за нее. Вольфганг уговорил отца принять предложение.

Тем временем миновало 22 марта. Исполнилась столетняя годовщина со дня рождения Вильгельма Великого, а памятник ему в городском парке все еще не был сооружен. В собрание городских гласных без конца поступали запросы, неоднократно после упорной борьбы одобрялись дополнительные кредиты, но требовались все новые и новые на покрытие перерасхода. Тяжелый удар постиг город, когда его величество отверг проект монумента, где его августейший дед был изображен пешим; приказано было соорудить конную статую. Дидерих, подгоняемый нетерпением, вечерами часто отправлялся на Мейзештрассе, чтобы лично убедиться, насколько продвинулись работы. Был май, стояла жара, и даже после захода солнца было еще душно, но на пустынной территории парка с его молодыми насаждениями дул ветерок. Дидерих, уже в который раз, с раздражением думал о том блестящем деле, которое сварганил помещик господин фон Квицин. Ему это далось без особого труда! Не штука спекулировать земельными участками, когда регирунгспрезидент твой кузен. Городу волей-неволей пришлось купить весь участок под памятник кайзеру Вильгельму и заплатить столько, сколько фон Квицин потребовал... Неожиданно показались две фигуры; Дидерих вовремя разглядел, кто это, и укрылся за кустами.

— Здесь хоть можно дышать,— сказал старик Бук.

— Если бы этот вид не отравлял все,— ответил сын.— Они задолжали полтора миллиона, чтобы навалить эту груду мусора.— И он показал на недоделанный постамент — нагромождение каменных цоколей, орлов, львов, балюстрад, ниш и человеческих фигур. Одни орлы, распластав крылья, вцепились когтями в пока еще пустой цоколь, другие гнездились в нишах, симметрично рассекавших балюстраду; там же расположились

и львы, готовые прыгнуть на передний план, где и без того было столпотворение: развевались флаги, метались и неистово жестикулировали люди. Заднюю стенку цоколя украшал Наполеон Третий. Мало того, что он, согнувшись в три погибели, в позе побежденного следовал за триумфальной колесницей, но жизни его еще постоянно угрожал лев, зловеще изогнувший спину позади него на лестнице постамента... А Бисмарк и другие паладины чувствовали себя в этом зверинце как дома, они протягивали руки с подножья цоколя вверх, чтобы приобщиться к подвигам еще отсутствовавшего властелина.

— Кто вознесется на этот цоколь? — спросил Вольфганг Бук.— Старик был лишь предтечей. В конце концов, весь этот мистико-героический спектакль загородят от нас цепями, нам останется только глазеть, что и является конечной целью всего. Комедия, и притом бездарная.

Через некоторое время,— уже спустились сумерки,— отец сказал:

— А ты, сын мой? Ведь и тебе некогда игра казалась конечной целью.

— Как всему моему поколению. Ничего другого мы не умеем. Нынче нам следовало бы, в ожидании будущего, держаться тише воды, ниже травы. Это самое безопасное. И я не отрицаю, что мой уход со сцены — не больше чем тщеславие. Смешно, отец, но я покинул сцену потому, что однажды, когда я играл, начальник полиции заплакал. Подумай только, можно ли стерпеть такое? Тончайшие нюансы душевных эмоций, жизнь сердца, высокая мораль, современные чаяния ума и души — все это я воспроизвожу перед людьми, как будто равными мне, потому что они растроганно кивают, и я вижу их взволнованные лица. А потом эти люди преследуют революционеров и стреляют в бастующих. Мой начальник полиции, разумеется, собирательное лицо, таковы все они.

Бук повернулся прямо к тому кусту, за которым спрятался Дидерих.

— Искусство остается для вас искусством, и борение духа неведомо вам. Если б настал день, когда мастера вашей культуры поняли бы это, как я, они, подобно мне, оставили бы вас одних с вашими дикими зверями.

Он показал на львов и орлов. Старик тоже посмотрел на памятник и молвил:

— Они стали могущественны, но с их властью мир не обогатился ни духовными сокровищами, ни человеколюбием. Значит, все было напрасно. И наша жизнь тоже, по-видимому, была

напрасна.— Он посмотрел на сына.— А все-таки вы не должны уйти и оставить им поле битвы.

Вольфганг тяжело вздохнул:

— На что надеяться, отец? Они остерегаются перегибать палку, не в пример привилегированному классу в канун революции сорок восьмого. Уроки истории, к сожалению, научили их умеренности. Их социальное законодательство носит охранительный и развращающий характер. Оно насыщает народ ровно настолько, чтобы не стоило вести серьезную борьбу за хлеб, не говоря уже о свободе. Кто же теперь свидетельствует против них?

Старик выпрямился.

— Совесть человечества,— сказал он вдруг полным, звучным голосом и, глядя на сына, опустившего голову, продолжал: — Ты должен веровать в нее, сын мой. Когда катастрофа, которую они надеются избегнуть, разразится и станет достоянием прошлого, не сомневайся, что человечество назовет нынешние нравы еще более позорными и безрассудными, чем нравы, существовавшие до первой революции.— И вдруг голос его прозвучал тихо, словно издалека: — Жить только сегодняшним днем — значит не жить совсем.

Он, видимо, зашатался. Сын быстро подхватил его, и старик, опираясь на руку Вольфганга, согбенный, едва передвигая ноги, исчез во мраке. Дидерих же поспешил удалиться другой дорогой: ему казалось, что он очнулся от дурного, хотя большей своей частью и непонятного сна, в котором — и это совершенно ясно — потрясались устои. И хотя все, что он услышал, было отмечено печатью несбыточности, ему казалось, что никогда еще столь знакомая ему крамола не потрясала эти устои так глубоко и сильно. Дни одного были сочтены, у другого тоже не было особенных перспектив, но Дидерих чувствовал, что лучше бы они подняли в стране здоровую бучу, чем шептаться здесь, в темноте, об одних лишь духовных ценностях и о будущем.

В реальной действительности, разумеется, были куда более ощутимые дела. Вместе с автором памятника Дидерих набросал программу художественного оформления празднества в честь открытия монумента. При этом скульптор оказался гораздо предупредительнее, чем можно было ожидать. И вообще он пока обнаруживал лишь то лучшее, что свойственно людям его профессии,— талант и возвышенный образ мыслей, а в остальном отличался корректностью и деловитостью. Этот молодой человек, племянник бургомистра Шеффельвейса, являл собою при-

мер того, что, вопреки изжившим себя предрассудкам, порядочность можно встретить повсюду и что нет никаких оснований отчаиваться, если молодой человек по лености не желает обучаться хлебной профессии и становится художником. Когда он в первый раз вернулся из Берлина в Нетциг, на нем еще была бархатная куртка и семье он причинял одни неприятности, но во второй свой приезд он уже носил цилиндр, а некоторое время спустя на него обратил внимание монарх, и ему дозволено было изваять для аллеи Победы очень удавшийся скульптурный портрет маркграфа Оттона Могучего и такие же портреты двух виднейших современников маркграфа — монаха Тассило, знаменитого тем, что он мог выпить в день сто литров пива, и рыцаря Клиценцица, который учил берлинцев работать до седьмого пота, хотя они его позднее и повесили. На заслуги рыцаря Клиценцица его величество соизволил обратить особое внимание обер-бургомистра, а это, в свою очередь, благоприятно отразилось на карьере молодого скульптора. Ясно, что молодому человеку, на которого пал луч монаршей милости, выказывали беспредельное радушие; Дидерих предоставил в его распоряжение весь свой дом, взял для него напрокат верховую лошадь, необходимую художнику, чтобы дать волю играющим молодым силам. А какие надежды засияли, когда именитый гость назвал многообещающими первые, сделанные еще неуверенной рукой рисунки маленького Хорста! Дидерих, не долго думая, решил, что Хорст посвятит жизнь искусству — этой столь модной карьере.

Вулков, ничего не смысливший в искусстве и не сумевший стать с фаворитом его величества на дружескую ногу, получил от комитета по сооружению памятника две тысячи марок в виде почетного дара, на который имел право, как почетный председатель, но выступить с торжественной речью на открытии комитет поручил фактическому председателю, духовному творцу памятника и основоположнику националистического движения, детищем которого памятник и является,— господину городскому гласному генеральному директору доктору Геслингу. Браво! Дидерих, растроганный и ликующий, видел себя у подножья новых вершин. Ждали самого обер-президента. Дидериху предстояло держать речь в высоком присутствии его сиятельства,— какие возможности перед ним открывались! Вулков, правда, пытался ставить ему палки в колеса: раздраженный тем, что его оттерли, он отказался допустить Густу на трибуну «официальных» дам. По этому поводу у Дидериха произошла с ним горячая стычка, но без положительного результата. Пыхтя, как паровоз, Дидерих вернулся домой к Густе.

— Не вышло. Затвердил, что ты, дескать, не «официальная». Но мы еще посмотрим, кто официальнее, ты или он. Он еще просить тебя будет! Я, слава богу, больше в нем не нуждаюсь, уж скорее он во мне.

И верно: когда вышел очередной номер «Недели», как вы думаете, что было в нем, кроме обычных фотографий кайзера? Два снимка: на одном автор памятника кайзеру Вильгельму в Нетциге, запечатленный в момент, когда он в последний раз прикасается резцом к своему творению; на другом — председатель комитета и его супруга, Дидерих с Густой. И ни слова о Вулкове. Это было всеми замечено и истолковано как признак того, что его положение пошатнулось. Он, видно, и сам это почувствовал, так как предпринял шаги, чтобы тоже попасть в «Неделю». Он побывал у Дидериха, но Дидерих велел сказать, что его нет дома. Скульптор тоже под каким-то предлогом не вышел к посетителю. Тогда Вулков, как Дидерих и предсказывал, в самом деле подошел на улице к Густе. История с местом на трибуне для официальных дам, мол, недоразумение...

— Стоял на задних лапках, как наша Менне,— рассказывала Густа.

— Поздно спохватился! — решительно сказал Дидерих и не побоялся растрезвонить о случае с Густой по всему городу.

— Стоит ли церемониться,— сказал он Вольфгангу Буку,— если это конченый человек? Полковник фон Гафке и тот уже махнул на него рукой.— И смело прибавил: — Теперь он увидел, что на нем свет клином не сошелся. На свою беду, он не сумел вовремя приноровиться к современному требованию — широкой гласности,— которое накладывает свой отпечаток на нынешний курс.

— Абсолютизм, ищущий популярности в народе,— сформулировал Бук.

Теперь, когда положение Вулкова пошатнулось, Дидерих с каждым часом находил все более наглой ту сделку с земельным участком, в которой его так бессовестно облапошили. Его негодование приняло такие размеры, что приезд в Нетциг депутата парламента Фишера, как раз в эти дни решившего посетить свой родной город, явился для Дидериха поистине благодетельной разрядкой. Парламентаризм и депутатская неприкосновенность имеют все-таки свои хорошие стороны! Ибо Наполеон Фишер немедленно выступил в рейхстаге с разоблачениями! Он разоблачил, ничем не рискуя, спекуляции регирунгспрезидента фон Вулкова в Нетциге, рассказал об огромных барышах,

нажитых им на участке под памятник кайзеру Вильгельму Первому, который, по словам Фишера, фон Вулков вымогательским образом получил от города, упомянул о почетном даре — что-то около пяти тысяч марок, назвав его «взяткой». Судя по газете, среди представителей народа поднялась буря возмущения. Правда, причиной тому был не столько Вулков, сколько сам разоблачитель. Депутаты с пеной у рта требовали доказательств и свидетелей; у Дидериха душа в пятки ушла: а вдруг в следующей же строчке выплывет его имя? К счастью, этого не случилось. Наполеон Фишер остался верен долгу народного представителя. Вместо этого выступил министр и сказал, что он предоставляет собранию самому судить о неслыханных, сделанных, к сожалению, под защитой депутатской неприкосновенности нападках на отсутствующее лицо, которое не имеет возможности защищаться. И собрание выразило свое суждение: оно ответило господину министру одобрительными аплодисментами. Таким образом, в рамках парламента, инцидент был исчерпан, оставалось только, чтобы и пресса выразила свое негодование. За ней дело не стало, причем не вполне благонадежные газеты лишь слегка перемигнулись. Зато редакторам социал-демократических газет, пренебрегшим осторожностью, пришлось предстать перед судом, в том числе и редактору нетцигского «Гласа народа». Дидерих воспользовался этим предлогом и начисто порвал со всеми, кто когда-либо сомневался в честности господина регирунгспрезидента. Вместе с Густой он нанес визит Вулковым.

— Я знаю из первых рук,— говорил он после этого,— что фон Вулкову обеспечено великое будущее. Он недавно ездил на охоту с его величеством и отпустил блестящую остроту.

Несколькими днями позже в «Неделе» появился портрет во весь разворот: лысина и борода на одной странице, брюхо на другой, и подпись: «Регирунгспрезидент фон Вулков, духовный отец памятника кайзеру Вильгельму в Нетциге, недавно подвергшийся в рейхстаге возмутительным нападкам. В ближайшем будущем ожидается его назначение на пост обер-президента...» Портреты генерального директора Геслинга и его супруги заняли всего четверть страницы. Дидерих убедился, что подобающая дистанция восстановлена. Как во все времена, так и в наши дни, с их требованием широкой гласности, власть остается властью — она недосягаема. Вопреки всему такой вывод доставил Дидериху глубокое удовлетворение. Этот инцидент как нельзя лучше помог ему внутренне подготовиться к торжественной речи.

Она рождалась в честолюбивых видениях бессонных ночей и в оживленном обмене мнениями с Вольфгангом Буком, а особенно с Кетхен Циллих, проявившей недюжинную чуткость и правильно оценившей великое значение предстоящего события. В исторический день, когда Дидерих, чувствуя, как стучит его сердце о рукопись с речью, в половине одиннадцатого подъехал с супругой к месту торжества, там еще почти никого не было, но зато какой порядок чувствовался во всем! Главное — военное оцепление было уже выставлено! А стоило, предъявив пропуск, оказаться по ту сторону, как душу охватывало праздничное чувство, чувство превосходства над толпой непривилегированных людишек, которые стоят за цепью солдат на самом солнцепеке у высокой черной стены и вытягивают потные шеи, пытаясь что-нибудь разглядеть. Трибуны по правую и левую сторону от длинных белых полотнищ, под которыми, как не трудно было догадаться, скрывался Вильгельм Великий, были затенены тентами и множеством флагов. Дидерих заметил, что на левой трибуне господа офицеры, у которых дисциплина вошла в плоть и кровь, размещались со своими дамами сами, без посторонней помощи; вся строгость полицейской бдительности устремилась направо, где дрались за места штатские. Густа, как и все, тоже была недовольна своим местом, ее мог удовлетворить только тент для официальных лиц, расположенный напротив памятника. Она ведь «официальная» дама, и Вулков это признал. Если Дидерих не трус, он поведет ее туда... Но его храбрая атака, как он и предчувствовал, получила энергичный отпор. Престижа ради и ради того, чтобы Густа не усомнилась в нем, он запротестовал против тона, каким с ним говорил полицейский офицер, и его чуть было не арестовали. Его орден Короны четвертой степени, его черно-бело-красная лента через плечо и набросок речи, предъявленный им, только-только избавили его от ареста, но ни в глазах мира, ни в его собственных не могли сравниться с военным мундиром. Этой единственно подлинной чести, чести мундира, ему не хватало, и он — уже в который раз — отметил про себя, что без мундира человек, будь он хоть семи пядей во лбу, проходит по жизни с неспокойной совестью.

Совершенно подавленные, супруги Геслинг на виду у всех начали отступление — Густа иссиня-багровая и надутая под своими страусовыми перьями, кружевами и бриллиантами, Дидерих — сопя и изо всех сил выпячивая живот с черно-бело-красной лентой, точно желая прикрыть национальным флагом свое поражение. Так пришлось им пройти позади офицерской

трибуны, где с одной стороны выстроился ферейн ветеранов, в цилиндрах, с венками из дубовых листьев вокруг тульи, под предводительством Кюнхена, на котором был мундир лейтенанта ландвера, а с другой — отряд богоугодных дев в белых одеяниях, подпоясанных черно-бело-красными шарфами, во главе с Циллихом в пасторском облачении. Наконец супруги подошли к своей трибуне. И кто же, как вы думаете, сидел на стуле Густы в позе королевы?! Потрясающе: Кетхен Циллих! Уж тут-то Дидерих счел себя обязанным не хуже других прочих сказать свое властное слово.

— Эта дама ошиблась, она заняла не свое место,— заявил он, обращаясь отнюдь не к Кетхен,— очевидно, он с ней не знаком и считает ее подозрительной личностью,— нет, он обратился к распорядителю. И если бы даже сочувственный ропот голосов не подтвердил его правоты, он все равно стоял бы здесь на страже безмолвных сил порядка, морали и закона; трибуна рухнет, прежде чем он допустит, чтобы на ней оставалась Кетхен Циллих... Однако произошло нечто непостижимое: распорядитель под ироническим взглядом Кетхен лишь пожал плечами, и даже полицейский, которого подозвал Дидерих, буркнул что-то невнятное: он явно поощрял дерзкую вылазку порока. Дидерих, уже совсем ничего не понимая в этом мире, незыблемые законы которого, казалось, рушатся, позволил оттеснить Густу в самые верхние ряды. Она обменялась с Кетхен несколькими репликами, подчеркнувшими пропасть между обеими дамами. Неизвестно, чем бы все это кончилось,— в обмене мнениями уже начали принимать участие третьи лица,— если бы не грянул «Марш гостей в Вартбурге». И действительно, гости заняли места под тентом для официальных лиц: впереди шел Вулков, его легко можно было узнать, несмотря на красный гусарский мундир, рядом с ним некто во фраке и с орденской звездой на груди — какой-то важный генерал. Возможно ли? Еще два высокопоставленных генерала! И адъютанты, мундиры всех цветов, сверканье орденских звезд. А как статны!

— Кто этот желтый, высокий? — вся загоревшись, вопрошала Густа.— Вот красавец так красавец!

— Не извольте наступать мне на ногу! — крикнул Дидерих, так как сосед его тоже вскочил. Все вертели головой, рискуя свернуть себе шею, всех лихорадило, все таяли от восторга.

— Погляди на них, Густа! Эмми дура, что не пошла с нами. Неповторимое, грандиозное зрелище, величественнее и представить себе нельзя!

— А этот, с желтыми отворотами! — мечтательно говорила Густа.— Как строен! Уж наверняка аристократ, сразу видно.

Дидерих сладострастно хохотнул.

— Здесь все без исключения аристократы. Тут уж не ошибешься. Достаточно сказать, что здесь присутствует флигель-адъютант его величества!

— Желтый!

— Собственной персоной!

Понемногу начали осваиваться.

— Вот тот — флигель-адъютант! — Целых два дивизионных генерала, черт возьми!

Как четко они отдают честь! Сколько шика! Очаровательно! Оказана честь даже бургомистру доктору Шеффельвейсу, которого вытащили из задних рядов, где он в своем мундире обозного лейтенанта запаса держался как можно более неприметно: он стал во фронт перед высоким начальством. Господин фон Квицин, одетый уланом, разглядывал в монокль участок, который некогда принадлежал ему. Вулков же, красный гусар, только теперь, козыряя и поворачивая к публике профиль своего мощного, обрамленного шнурами зада, по-настоящему давал почувствовать вес своего регирунгспрезидентства.

— Вот столпы нашей власти! — восклицал Дидерих под бравурные аккорды марша.— Пока у нас такие правители, мы всегда будем грозой мира! — И в неодолимом порыве, полагая, что его час настал, он устремился вниз, к ораторской трибуне. Но полицейский, охранявший трибуну, преградил ему путь.

— Нельзя, нельзя, еще не время,— сказал он.

Внезапно остановленный в своем стремительном разбеге, Дидерих столкнулся с догонявшим его распорядителем, тем самым, с которым у него вышла заминка. Это был один из служащих городского управления. Ему хорошо известно, заверил он Дидериха, что желтоволосая дама сидит на месте господина гласного, «но оно предоставлено ей по приказу свыше». Последовавшее затем разъяснение сказано было уже замирающим шепотом, и Дидерих отпустил распорядителя жестом, как бы означавшим: «Ну, тогда все в порядке!» Флигель-адъютант его величества! Тогда все в порядке! Дидерих заколебался: не следует ли вернуться и публично отвесить Кетхен Циллих почтительный поклон?

Но он не успел. Полковник фон Гафке скомандовал отряду знаменосцев «вольно!», Кюнхен, в свою очередь, повторил его команду своим ветеранам, за тентом полковой оркестр заиграл: «На молитву». Этому приглашению последовали белые девы

пастора Циллиха и весь состав ферейна ветеранов. Кюнхен, в своем историческом мундире офицера ландвера, украшенном не только Железным крестом, но и доблестной заплатой — в этом месте французская пуля пробила его,— встретился в центре площади с облаченным в пасторское одеяние Циллихом, а когда подоспел отряд знаменосцев, Циллих начал церемонию, и старому союзнику на небесах были вознесены молитвы. На штатской трибуне публику подняли распорядители: господа офицеры поднялись без напоминания. Хор дев запел: «Бог наш оплот». Пастор Циллих, по-видимому, еще что-то имел в виду, но желтолицый обер-президент, явно полагая, что со старого союзника хватит и этого, опустился в кресло; то же сделали стоявший справа цветущий флигель-адъютант и слева — два дивизионных генерала. Когда все общество под тентом для «официальных» разместилось согласно своим внутренним законам, все увидели, как регирунгспрезидент фон Вулков сделал знак, и один из полицейских тронулся с места. Он направился к коллеге, охранявшему ораторскую трибуну, а тот обратился к Дидериху.

— Ну, теперь пожалте.

Дидерих, всходя на трибуну, изо всех сил старался не споткнуться — ноги у него вдруг обмякли, а перед глазами все поплыло. Немного отдышавшись, он приметил на полукруге голой площади деревце, без единого листочка, зато густо увешанное бумажными черно-бело-красными цветами. При виде этого деревца к нему вернулись память и силы. Он начал:

— Ваши сиятельства! Ваши превосходительства! Милостивые государи! Сто лет прошло с тех пор, как нам и нашему фатерланду ниспослан был наш великий кайзер, памятник которому сейчас откроет представитель его величества; в то же время — и это делает настоящую минуту особенно знаменательной — вот уже почти десять лет, как его великий внук вступил на престол! Как же нам прежде всего не оглянуться с чувством гордости и признательности на то великое время, в которое нам дано жить?

И Дидерих оглянулся. Он воздавал хвалу поочередно беспримерному расцвету хозяйственной жизни и взлету националистической идеи. Он долго распространялся об океане.

— Океан необходим для величия Германии. Океан показывает нам, что ни на нем самом, ни по ту сторону его без Германии и без германского кайзера не может быть принято ни одно решение, ибо мировая торговля теперь самое главное.

Но Германия переживает не только беспримерный деловой расцвет, она переживает такой же расцвет в области духовной

и нравственной. Что было раньше? Дидерих набросал далеко не лестную для старшего поколения картину: сбитое с пути односторонним гуманитарным образованием, воспитавшим в нем безнравственные взгляды, оно было чуждо идее национализма. Если подобное положение сейчас в корне изменилось, если мы, справедливо сознавая себя самым дельным народом в Европе и на всем земном шаре, объединились, за исключением смутьянов и отщепенцев, в единой националистической партии, то кому мы этим обязаны? Только его величеству, отвечал Дидерих.

— Он пробудил граждан от спячки, его высокий пример сделал нас тем, что мы есть!..— Дидерих стукнул себя кулаком в грудь.— Сила его личности, неповторимой, несравненной, так велика, что позволяет всем нам увиться вокруг него плющом, поднимаясь все выше и выше! — воскликнул он экспромтом; в наброске его речи это не значилось.— Во всем, что его величество предпринимает на благо германского народа, все мы, имущий и бедняк, с восторгом придем ему на помощь. Мы приветствуем и простого мастерового! — опять неожиданно для себя прибавил он, вдохновленный запахами потеющей толпы, которая теснилась за военным оцеплением,— их донес поднявшийся ветер.— Изумляя мир своей деловитостью, исполненные высокой нравственной силы, направленной на созидательную деятельность, и обладая отточенным оружием, мы являемся грозой врагов, завистливо обступивших нас, мы — избранная нация, мы знаменосцы вознесенной на небывалую высоту германской культуры господ, которую никто и никогда не превзойдет!

Тут все увидели, что обер-президент кивнул, а флигель-адъютант беззвучно похлопал ладонью о ладонь — и на трибунах разразилась буря аплодисментов. На штатской развевались носовые платочки. Махала по ветру платочком Густа, махала, несмотря на недавнюю обиду, и Кетхен Циллих. Дидерих, с легким, как развевающиеся платочки, сердцем, вновь вознесся на вершины красноречия:

— Но такого небывалого расцвета нация господ не достигает в вялой, гнилой атмосфере мира; нет, наш старый союзник на небесах счел необходимым в огне закалить немецкое злато. Нам пришлось пройти сквозь горнило Иены и Тильзита, но в конечном счете наши победоносные знамена водружены повсюду, и на поле брани выкована германская корона.

И Дидерих напомнил о богатой испытаниями жизни Вильгельма Великого, показывающей нам, что создатель не отвращает лик свой от избранного им народа, который он сделал сво-

им орудием. Великий кайзер никогда не впадал в сомнения на этот счет, что неопровержимо доказывает исторический момент, когда он, монарх божьей милостью, со скипетром в одной руке и мечом империи в другой, лишь господу честь воздал и от него принял корону. Верный высокому чувству долга, он не пожелал воздать честь народу и от народа принять корону и не побоялся страшной ответственности перед одним господом богом, от которой его не мог освободить никакой министр и никакой парламент! Голос Дидериха растроганно задрожал.

— Это признает теперь и народ, он положительно обожествляет личность почившего кайзера. Ведь кайзер имел успех! А где успех, там и бог! В средние века Вильгельм Великий был бы причислен к лику святых. Ныне же мы воздвигаем ему первоклассный монумент!

Обер-президент опять кивнул, и за кивком опять последовала буря аплодисментов. Солнце скрылось, подул свежий ветер; и, словно под влиянием нахмурившегося неба, Дидерих трагически воскликнул:

— Кто стал на его пути к высокой цели? Кто был врагом великого кайзера и преданного ему народа? Разбитый им Наполеон! Наполеон получил корону от народа, а не от бога, отсюда и все его беды! Это придает приговору истории вечный, потрясающий смысл!

Тут Дидерих дал себе труд нарисовать картину растленного демократией, а потому забытого богом царства Наполеона Третьего. Скрытый под личиной лжерелигиозности, распоясавшийся материализм породил страсть к безудержной наживе, а пренебрежение духовными благами шло, естественно, рука об руку с низменной жаждой наслаждений. Движущей общественной силой тогдашней Франции служила мания афиширования, помпезности, неизменно переходившая в манию преследования. Опираясь во внешней политике только на престиж, во внутренней — на полицию, ни во что, кроме насилия, не веря, Франция Наполеона Третьего стремилась лишь к театральным эффектам, трескуче бахвалилась своим героическим прошлым, и единственно, в чем она действительно достигла вершины, это в шовинизме...

— Все это нам не присуще! — возопил Дидерих и взметнул вверх руку, призывая небо в свидетели.— Поэтому нас никогда не постигнет грозный рок, уготованный империи нашего исконного врага!

На этом месте речи блеснула молния; между цепью солдат и глухой стеной дома, где, невидимый, стоял народ, черную

тучу прорезала яркая вспышка, за ней последовал удар грома,— это было уже слишком. Господа под тентом для «официальных» недовольно поморщились, а обер-президент вздрогнул. На офицерской трибуне все, разумеется, сохраняли безукоризненную выдержку, на штатской можно было заметить некоторое беспокойство. Взвизгивания там стихли, когда Дидерих, соперничая с громовыми раскатами, прогремел:

— Господа, наш старый союзник на небесах подтверждает это! Мы — совсем другое дело. Мы суровы, верны и правдивы! Быть немцем — значит ратовать за дело во имя дела! Кто из нас когда-либо торговал своими убеждениями? Где найдешь у нас продажного чиновника? Мужская честность и женская чистота сливаются у нас воедино, женственное возвышает нас, мы не видим в нем орудия низменных наслаждений. Сияющий образ истинно немецкой натуры вырос на почве христианства, и это единственно надежная почва, ибо всякая языческая культура, как бы прекрасна и чудесна она ни была, погибает от первой же катастрофы; а душа германской культуры — это почитание власти, традиционной благословенной богом власти, против которой все бессильно. Поэтому мы и впредь должны видеть наш высочайший долг в защите фатерланда, нашу высочайшую честь — в королевском мундире и наш высочайший труд — в ремесле воина.

Гром грохотал, правда, уже потише, словно присмирев под оглушительными раскатами дидериховского голоса; зато упали первые капли дождя, такие тяжелые, что слышно было, как они ударяются о землю.

— Из страны нашего исконного врага,— кричал Дидерих,— устремляется к нам мутный поток демократии, но немецкая стойкость, немецкий идеализм преградой встают на его пути. Французы — это враги божественного миропорядка, это люди без роду и племени, которые хотят подточить наш государственный строй, их надо истребить всех до единого, так, чтобы в час, когда нас призовут к небесному сбору, каждый мог с чистой совестью предстать пред своим небесным судьей и своим старым кайзером и на вопрос, от всего ли сердца ты действовал на благо империи, ответить, ударив себя в грудь: да!

И Дидерих опять с такой силой хлопнул себя в грудь кулаком, что у него сперло дыхание. Этой вынужденной паузой воспользовалась публика на штатской трибуне, там беспокойно задвигались, давая понять, что считают речь Дидериха оконченной; гроза нависла теперь прямо над головами торжественного собрания, и в желтом, как сера, свете медленно, точно

предостерегая, непрерывно стучали о землю капли дождя с яйцо величиной... Дидерих отдышался.

— Когда через несколько мгновений спадут покровы,— начал он с новым пылом,— когда в знак приветствия мы склоним штандарты, опустим шпаги и, салютуя, сверкнут штыки...

Тут в небесах грохнуло так неистово, что Дидерих втянул голову в плечи и не успел опомниться, как очутился на корточках под своей ораторской трибуной. К счастью, он вылез прежде, чем его исчезновение было замечено, потому что остальные тоже попрятались кто куда. Вряд ли кто-нибудь уже слышал, как Дидерих, обратившись к его сиятельству господину обер-президенту, почтительнейше попросил отдать команду: «Сбросить покровы...» Так или иначе, но обер-президент вышел из-под тента для «официальных». Он был желтее обычного, мерцание его орденской звезды погасло, и он произнес слабым голосом:

— Именем его величества приказываю: да спадут покровы!

И они упали. Оркестр заиграл «Стражу на Рейне». Зрелище Вильгельма Великого, скачущего верхом по воздуху с видом отца семейства, но окруженного грозными атрибутами власти, укрепило дух верноподданных, подавленных разбушевавшимся небом. «Ура» кайзеру, возглашенное обер-президентом, было с воодушевлением подхвачено. Звуки гимна «Славься в венце побед» возвестили, что их сиятельству надлежит направиться к подножью памятника, осмотреть его и в краткой речи воздать должное скульптору, уже стоявшему там в ожидании. Все понимали высокопоставленного мужа, который в нерешительности поднял взор к небу. Но, как и следовало ожидать, чувство долга победило, и победило тем блистательнее, что он единственный был во фраке среди множества собравшихся здесь храбрых воинов. Он отважно выступил из-под навеса и под дождем, падавшим крупными, редкими каплями, направился к памятнику, а за ним — уланы, кирасиры, гусары и обоз... Вот уже все увидели надпись «Вильгельм Великий», вот уже скульптор выслушал обращенное к нему слово обер-президента, получил свой орден, и уже очередь дошла до духовного отца памятника, Геслинга, которого надлежало представить и украсить орденом, как вдруг небо разверзлось. Оно разверзлось от горизонта до горизонта и с такой яростью, что все это походило на долго сдерживаемый взрыв. Не прошло и минуты, как все стояли по щиколотку в воде. У его сиятельства из рукавов и штанин хлестала вода. Трибуны исчезли за каскадами ливня, тенты, точно окруженные бушующим морем, осели под тя-

жестью воды, в их мокрых объятьях справа и слева бились и кричали люди. Господа офицеры бросились на разбушевавшуюся стихию с обнаженными шпагами; вспарывая парусину, они прокладывали себе путь на волю. Штатские спускались с трибун огромной серой змеей, которая бешено извивалась в воде, захлестывавшей площадь. При таких обстоятельствах обер-президент счел за благо отменить дальнейшие номера праздничной программы. Озаренный молниями, взметая фонтаны брызг, он начал поспешное отступление, а по его пятам бежали флигель-адъютант, оба дивизионных генерала, драгуны, гусары, уланы и обоз.

По дороге его сиятельство вспомнил об ордене, все еще болтавшемся у него на пальце и предназначенном для духовного отца памятника, и, до конца верный долгу, однако не желая ни минуты задерживаться, он на бегу, взметая брызги, передал орден фон Вулкову. Тот, повстречав полицейского, еще не спасовавшего перед натиском событий, в свою очередь доверил ему вручение высочайшего отличия, и полицейский, невзирая на светопреставление, творившееся вокруг, пустился на поиски Дидериха. Он нашел его под ораторской трибуной сидящим на корточках в луже воды.

— Нате вам орден, держите,— сказал полицейский и бросился что есть духу бежать: блеснула молния, да так близко, точно хотела помешать вручению ордена. Дидерих только вздохнул.

Когда он решился наконец выглянуть одним глазком из своего убежища, он увидел, что бушевавший на земле мятеж все разрастается. Высокий черный брандмауэр напротив треснул, казалось, он вот-вот рухнет вместе с домом позади него. Лошади, запряженные в парадные кареты, вздымались на дыбы над ворочающимся клубком сцепившихся человеческих существ, озаряемых призрачными бледно-желтыми и голубоватыми вспышками, и пускались вскачь.

Счастливо унес ноги народ попроще, стоявший за цепью полицейских, а имущие и просвещенные попали в такой переплет, что им уже мерещились рухнувшие на их головы обломки ниспровергнутого строя вместе с огнем небесным. Ничего удивительного, что их поведение соответствовало обстоятельствам, и иные дамы, далеко не по-рыцарски оттесненные от выхода, летели кувырком друг через друга. Уповая лишь на собственную доблесть, господа офицеры пускали в ход оружие против всякого, кто вставал у них на пути, а черно-бело-красные флаги, сорванные бурей с остатков трибун и тента для «официальных», носились в воздухе и хлопали сражающихся

по головам. Вдобавок ко всему среди этого безнадежного хаоса полковой оркестр без конца играл «Славься в венце побед», играл даже после того, как было смято военное оцепление, а вместе с ним и весь миропорядок, играл, как на тонущем корабле, сопровождая ужас и всеобщую погибель. Новый порыв урагана разбросал наконец и музыкантов, и Дидерих, шатаясь от головокружения, зажмурив глаза и ожидая конца света, снова нырнул в прохладную глубину своей ораторской трибуны, за которую цеплялся, как за последнее, что осталось на земле. Прощаясь с жизнью, он выглянул и увидел совершенно сверхъестественную картину: забор вокруг парка, увитый черно-бело-красными полотнищами, рухнул под тяжестью наседавших на него беглецов, люди перекатывались друг через друга, карабкались на гору сбившихся тел и сползали с нее, кувыркались, сцеплялись, стояли чуть ли не на головах и садились на чьи-то головы, а сверху хлестало, все сдувая и все выметая под непрерывные вспышки небесного огня, как после пьяного маскарада, выметая всех, господина и холопа, изысканнейшего офицера и пробудившегося от спячки бюргера, столпы общества, богом ниспосланных мужей, идеальные ценности, гусаров, улан, драгун и обоз!

Но апокалипсические всадники промчались дальше: Дидерих понял, что это только репетиция Судного дня, настоящий Судный день еще впереди. Обеспечив за собой свое убежище, он рискнул покинуть его и установил, что дождь все еще льет, что кайзер Вильгельм все еще высится на своем месте, со всеми атрибутами власти. Дидериху все время казалось, что памятник вдребезги разбит и унесен бурным потоком. От празднично украшенной площади осталось только страшное воспоминание, ни единая человеческая фигура не оживляла картины опустошения. Впрочем, нет, там, позади, кто-то двигался, да еще в форме улана: господин фон Квицин; он осматривал рухнувший дом. Пораженное молнией здание еще дымилось за остатками черного брандмауэра. Из всего блестящего общества только господин фон Квицин не поддался панике; его поддерживала некая идея. Дидерих читал его мысли. «Жаль,— думал фон Квицин,— что не удалось сбыть этому сброду дом. Ничего нельзя было поделать, уж я ли не старался. Но страховку-то я получу. Есть еще бог на свете».

И он пошел навстречу пожарной команде, которая, к счастью, уже мало что могла спасти.

Поощренный его примером, Дидерих отважился пуститься в путь. Шляпу свою он потерял, в ботинках хлюпала вода, в

отвисших мешком брюках назади образовалось целое озеро. На извозчичий экипаж нечего было рассчитывать, и он решил пойти через центр. В закоулках старых улиц ветру негде было разгуляться, и Дидериху стало теплее. «От насморка я застрахован. Но компресс на живот Густа мне положит. Только бы она, чего доброго, не занесла в дом инфлюэнцы!» После этой беспокойной мысли он вспомнил об ордене. «Орден Вильгельма, учрежденный его величеством, дается только за выдающиеся заслуги в борьбе за процветание и облагораживание народа...»

— Орден у нас в кармане! — сказал Дидерих на всю улицу, где не было ни души.— Хотя бы с неба падал динамит! Бунт стихийных сил против власти был попыткой с негодными средствами.— Дидерих показал небу свой орден Вильгельма, крикнул: — Чья взяла? — и прикрепил его рядом с орденом Короны четвертой степени.

На Флейшхауэргрубе, и как ни странно, перед домом старого Бука, стояло несколько экипажей, в том числе и сельская двуколка. Уж не?.. Дидерих заглянул в дом; стеклянная входная дверь была, к его изумлению, распахнута настежь, точно ожидался редкий гость. В просторной прихожей стояла торжественная тишина, и только из кухни, мимо которой проскользнул Дидерих, донесся тихий плач: плакала старая служанка, опустив голову на скрещенные руки. «Значит, уже...» И Дидериху стало вдруг не по себе, он остановился, подумывая об отступлении. «Мне здесь теперь нечего делать... Ну, нет! У меня здесь есть дело, ведь тут все до последнего гвоздя мое, я обязан позаботиться, чтобы они ничего не унесли». Но не только эта мысль влекла его вперед; от предчувствия чего-то очень тяжелого и серьезного у него сперло дыхание и начались кишечные колики. Сдерживая шаг, поднялся он по старым плоским ступенькам и подумал: «Почет и уважение мужественному врагу, павшему на поле чести! Господь вершит свой суд, да, да, никто не знает, не окажется ли и он в один прекрасный день... Но, послушайте, есть же разница, дело может быть правое или неправое. А во славу правого дела ничего нельзя упускать; старому кайзеру тоже, вероятно, пришлось взять себя в руки, когда он отправился в замок Вильгельмсгее, где ждал его окончательно поверженный Наполеон».

Дидерих был уже в бельэтаже, осторожно ступил он в длинный коридор, дверь в конце коридора открыта настежь — да, и здесь открыта настежь. Прижаться к стене, заглянуть внутрь. На кровати, стоящей изголовьем к окнам, на высоко взбитых подушках лежит старый Бук, уже без сознания. Ни

звука; неужели он один? Крадучись Дидерих перешел на другую сторону. Отсюда видны занавешенные окна, напротив полукругом расположилась вся семья: ближе всех к кровати в застывшей позе сидит Юдифь Лауэр, рядом Вольфганг; никто бы не поверил, что у него может быть такое лицо. Между окнами — сгрудившейся стайкой пять племянниц вместе со своим банкротом-отцом, теперь даже не элегантным. Дальше — недоучка сын и его жена, она тупо смотрит перед собой. Последний в ряду — Лауэр, тот, что отведал тюрьмы. Не напрасно эти люди держатся так тихо; в этот час они теряют последнюю возможность еще когда-либо играть ведущую роль в обществе. Пока старик был в силе, они принадлежали к высшему кругу и не знали нужды. Он пал, и они пали вместе с ним, он исчезнет, и они вместе с ним. Он всегда стоял на зыбкой почве, ибо не опирался на власть. Никчемны цели, уводящие от власти! Бесплоден дух, ибо ничего, кроме тлена, от него не остается. Самообман — всякое честолюбие, если нет кулака и денег в нем!

Но отчего такое лицо у Вольфганга? В нем нет горя, хотя из жадно устремленных на отца глаз текут слезы; оно выражает зависть, скорбную зависть. А все остальные? Юдифь Лауэр сдвинула темные брови, ее муж часто вздыхает, а жена старшего сына даже закрыла лицо своими натруженными руками. Дидерих в решительной позе стал в дверях. В коридоре темно, из комнаты его не видно, а если б его и увидели, что из того? Но старик? Его лицо повернуто к двери, и чувствуется, что там, куда устремлен его взор, есть нечто большее, чем реальные предметы,— видения, которые ничто не может заслонить от него. Отблеск их светится в его изумленных глазах, он медленно, как для объятья, раскидывает на подушках руки, пытается поднять их, поднимает, шевелит ими, словно машет кому-то, приветствуя... Приветствуя? Так долго? Кого? Вероятно, целый народ, но что это за народ, почему при его появлении таким нездешним счастьем просияли черты старого Бука?

Вдруг он испугался, словно увидел кого-то чужого, страшного, испугался, и у него перехватило дыхание. Дидерих, в дверях, выпрямился еще грознее, выставил живот с черно-бело-красной лентой, выкатил грудь со звездами орденов и на всякий случай метнул испепеляющий взор. Голова старика внезапно упала, низко, как подкошенная. Родные вскрикнули. Сдавленным от ужаса голосом жена старшего сына крикнула:

— Он что-то увидел! Он увидел дьявола!

Юдифь Лауэр медленно поднялась и притворила дверь. Дидерих уже успел скрыться.

НОВЕЛЛЫ

Был поздний вечер. Раминга своими пухлыми, выпачканными сажей пальчиками поправила два тощих поленца в камине. Джоконда, перебрав все нехитрые новости, молча сидела у ног зевавшей маркизы Грими. Маркиза Кватрокки не отрывала глаз от огня. Все молчали, над крышами в ночной тьме разносился взволнованный звон одинокого колокола. Вдруг старая Фульвия сказала:

— Вы, молодежь, только и говорите что о любви, как будто любовь — самое важное в жизни человека. А я знаю женщин, которые отвергли это чувство и отдали сердце более высоким идеалам.

— О,— удивилась маркиза Грими. Она жила в разводе с мужем и стойко переносила свое горе, упорно отклоняя малейшее проявление участия.— Высокие идеалы — говорите вы?

— Маме легко рассуждать,— с деланной веселостью воскликнули Раминга и Джоконда.— Ведь у нее был папа. Мы на ее месте, пожалуй, так же снисходительно говорили бы о любви.

— Ваш отец — один из освободителей родины,— заметила маркиза Грими.— В те времена еще встречались рыцари, настоящие мужчины.

И она вздохнула. Маркиза Кватрокки воскликнула:

— Любовь и свобода!

— Свобода была нам дороже всего,— сказала Фульвия.— Иначе разве мы сейчас сидели бы здесь?

И она умолкла, вслушиваясь в ночную тишину. Над Римом плыли звуки одинокого колокола.

— Разве мы, я и мой муж, покинули бы Феррару и всех наших близких? Мы не поднялись бы против немцев и не отдали бы родине все свое состояние. Клавдио не потерял бы руку и здоровье, а я свой покой. О, для многих жертвы во имя сво-

боды были лишь удачной ставкой в игре, и она принесла им огромные барыши. Не то было у нас. Клавдио пошел сражаться простым солдатом, он, адвокат. На поле боя добыл он все свои чины. Помню, в Венеции, на площади Святого Марка, сам полковник Кальви поздравил его со званием капитана. Бедняга полковник, немцы повесили его потом в Мантуе.

Сколько горя, сколько трудностей, сколько крови видели мы с сорок восьмого по семидесятый год! Правительство посылало нас в альпийские деревушки; мы погибали там от холода. В Чезене и Форли мы должны были обеспечить порядок и безопасность — а ведь за время долгого господства попов эти города просто одичали. Когда Клавдио вечерами уходил, я дрожала от страха в постели; каждое утро жители находили у порога трупы убитых близких. Потом Клавдио послали субпрефектом в Комаккьо. Кругом одни болота да угри, которыми промышляли местные рыбаки,— вот и все, что мне запомнилось в этом городе. Затем мы переехали в Пезаро. Там общество городских дам наполовину состояло из служанок и балерин, и все они теперь щеголяли в деревянной обуви... Но вот Клавдио был назначен префектом в Парму. Мы жили во дворце Марии-Луизы, давали обеды и балы, в каждом театре города нам была предоставлена ложа. В просторных залах, отделанных позолотой, было очень холодно. Но зато я, Фульвия Галанти, танцевала с королем Виктором-Эммануилом.

Четыре женщины молча смотрели на Фульвию. Они видели на ее лице отблески былого величия. Она сидела в противоположном конце пыльной залы, вдали от камина, высокомерно отказываясь от его тепла,— только ночью, когда все засыпали, разрешала она себе погреть скрюченные руки над тлеющими угольями. Совсем одна сидела она за длинным столом, худая, неподвижная, как идол, увешанная золотыми украшениями, и белые завитые локоны обрамляли ее продолговатое бледное лицо.

— Но когда Клавдио заставили уйти на пенсию, что́ нам тогда оставалось в жизни! Он хотел умереть в Риме, в Риме он и умер. И я тоже умру здесь. Это все, что дала нам свобода. И этого достаточно.

— У тебя была еще и любовь,— упрямо сказала Раминга и разрешила собачке лизнуть себя в лицо.

— Если бы я могла выйти замуж за Лино,— вздохнула Джоконда.— Но мы слишком бедны, ведь нас принесли в жертву свободе; а нам она ничего не дала. Другое дело ты, мама! У тебя было в жизни все, чего ты могла пожелать.

— Вы в этом уверены, девочки? Правда, я была счастлива с вашим отцом. И все же Оресте был очень красив.

Ее глаза сузились, резче обозначились морщины, белой маской выступило из полутьмы искаженное гримасой смеха лицо.

— Оресте, кто это? — спросила маркиза Грими.

— Оресте Гатти, племянник кардинала, папского легата. У него были голубые глаза. В детстве мы играли с ним в архиепископском саду. Я часто бывала там, во дворце, на приемах. Нам подавали подслащенную воду или просто воду, зимой она была теплой, а летом — холодной, как лед. В залах звучало эхо. Старая графиня — не помню, как ее звали,— все время перебрасывала из руки в руку серебряный шар с горячей водой. Мне было шестнадцать лет, когда Оресте, приехав из Рима на каникулы, начал ухаживать за мной. В городском саду он раз двадцать медленно проходил мимо меня и кланялся даже моей служанке. Вечерами он приводил друзей к моему балкону, они пели и играли для меня. У него был чудесный голос, я и сейчас его слышу.

Однажды вечером я возвращалась с прогулки. По улицам города двигались толпы возбужденных людей. Был час, когда запирали ворота гетто, они выходили на городскую площадь. Вдруг я увидела какого-то юношу. Он взобрался на столб ворот и стоял там, размахивая топором. Еще какие-то люди карабкались на стену, в ворота летели камни и доски. Они хотели, чтобы евреев выпустили из гетто. Мне объяснили, что это делается во имя свободы. В те минуты во мне родилось великое чувство, оно и сейчас свежо в моем сердце, воплощенное в образе юноши, который первым занес топор над воротами гетто. Это был, девочки, ваш отец.

Он не был красив, скорее хил и тщедушен. Право, это какое-то чудо, что мне удалось сохранить его жизнь до семидесяти лет. На следующий день в городском саду я снова увидела его и поклонилась ему, хотя наши родители не были знакомы. Потом я заставила отца пойти к его родным. Теперь и Клавдио начал ухаживать за мной, но главным образом он говорил мне о свободе — да, о том, что стране нужна свобода,— а также о Риме. Он был так красноречив и так выразительно жестикулировал, что я понимала каждое слово и сочувствовала ему. Его бы арестовали, если бы нашли книги, над которыми он засиживался до глубокой ночи. Работая, он все время пил горячий кофе, а потом — ледяную воду, поэтому у него позже выпали все зубы, даже совсем целые и здоровые.

Тем временем Оресте сделал мне предложение через мою служанку, он то и дело передавал мне записки, и вот однажды я написала ему, что выйду замуж только за друга свободы, который свергнет в Италии власть церкви. Оресте сказал мне, что такое письмо может погубить меня, и разорвал его у меня на глазах. Я заклинала его возлюбить свободу. Он ответил, что с Клавдио Галанти ему пришлось столкнуться еще в Риме. Из всех студентов Клавдио слыл самым отчаянным радикалом, ему, Оресте, ничего не стоит избавиться от него.

— Ты трус! — вскричала я.

Он нахмурился.

— Я его не боюсь, пусть идет своей дорогой. Но и я пойду своей.

— О, верь, Оресте, в это великое дело, в свободу! Не отделяй себя от нас, от своей родины, древней гордой родины, страдающей под пятой чужеземцев и священников.

— Я граф Оресте Гасси, племянник папского легата. Мое место с властителями страны, какое мне дело до этих смутьянов! Ваша свобода — выдумка честолюбивых плебеев.

— О, ты... ты никогда бы не осмелился взломать ворота гетто!

Он погнался за мной, мы смеялись и шутили, убегая друг от друга. И сейчас еще помню это странное чувство, когда он настиг меня у кустов камелий, усыпанных красными цветами. У меня закружилась голова. Рядом была статуя, из ее подножья вытекала струя воды. Обрамленное короткими белокурыми локонами, лицо его было спокойно, на шее из-под бархатного плаща выбивался кружевной воротник. В эту минуту я почувствовала, что он граф Оресте Гатти, племянник папского легата.

Мы медленно шли по аллее подстриженных деревьев, которая вела к самому дворцу. Там бил фонтан. Фигуры, украшавшие это сложное сооружение, приводились в движение водой: крестьянин на ослике ехал по краю водоема, выше несколько человечков перебрасывались тяжелым шаром.

Вдруг Оресте вскочил на ослика и просунул голову между фигурами, играющими в мяч. Я закричала и он, смеясь, отпрянул. Еще мгновенье, и тяжелый шар размозжил бы ему голову.

У входа во дворец нас встретил слуга. Он сказал юноше, что дядя приказал ему не выходить из своей комнаты до следующего вечера. Кардинал видел, как Оресте подставил голову под шар, и был взбешен.

В ту ночь я долго стояла у окна своей спальни; огорченная, что Оресте не придет и не будет петь мне, я то и дело по-

глядывала на его балкон. Мой дом выходил окнами в сад, за которым был дворец и там комната Оресте. Взошла луна, я увидела его. Он вышел на балкон и издали поклонился мне. Украдкой мы вынули носовые платки, и они затрепетали в воздухе, в лунном свете они казались струйками серебра. Я слышала шаги часового под дворцовыми окнами.

Внезапно Оресте перекинул ноги через кованую решетку балкона, ухватился за изогнутые прутья и начал раскачиваться. Часовой в это время подходил к противоположному концу длинной садовой ограды. Оресте огляделся: в трех метрах от него, почти на уровне второго этажа, белела стена. Он раскачивался все сильнее, в ужасе я зажала рот платком. Тут он оторвался и перелетел через ограду. Я упала. Когда я очнулась, он уже бежал по рыхлой земле соседнего сада. Вот он нашел калитку, исчез в темном переулке, пробежал по улице к моему дому. Как удалось мне незамеченной спуститься по лестнице и бесшумно отодвинуть дверной засов, я не понимаю и сегодня. Я вся дрожала и себя не помнила от страха. Мы забились в уголок у самой двери и несколько минут простояли там, не говоря ни слова.

Вскоре я вышла замуж за Клавдио. Года через два после штурма гетто, двенадцатого мая тысяча восемьсот сорок восьмого года, мы восстали против немцев. Муж мой записался в полк волонтеров, и я, конечно, последовала за ним. На нашей стороне был сам папа, потому что брат его участвовал в заговоре и был арестован. Сам папа благословил наши знамена. Немцы били нас повсюду: в Виченце, у Корнуды, в Венеции. В Виченце мы ждали, что они ворвутся в город, и стояли у окон домов, держа наготове наше оружие: булыжники и горячее масло.

Бедняги, мы хотели сжечь, уничтожить их! Но враг предпочел обстрелять нас с гор. Не удивляйтесь, мы были так неопытны! В Венеции немцы держали нас в осаде, мы питались ослиным мясом, да и оно было в диковину и бог весть сколько стоило. Наша уверенность и энтузиазм не оскудевали. Я носила трехцветный шарф,— вот он лежит в стеклянной шкатулке. Мой дом заполонили раненые, я ухаживала за ними. Мужу прострелили щеку, пуля срезала его левый ус. Никогда потом этот ус не был таким густым, как правый.

Вернувшись в Феррару, мы узнали, что папа давно уже сдался на милость немцев. Брата его выпустили на волю, и папа был в дружбе с нашими врагами. Теперь мы были изменниками, мы, которые вступили в бой с его благословения.

Клавдио хотел заняться адвокатурой, ему запретили это. Со дня на день он ждал ареста и удивлялся, что за ним не приходят. Большинство его друзей уже было арестовано по приказу триумвирата. Одним из трех папских палачей был Оресте Гатти.

Но вот и к нам пришли с обыском. Если б у нас нашли оружие, мы бы погибли. Но оно было надежно спрятано в кухонном шкафу, искусно вделанном в стену. При обыске нашли бумаги, и Клавдио предложили их подписать. Он отказался. И когда сам Оресте Гатти вызвал его к себе, он снова отказался.

Я очень боялась за мужа и решила поговорить с легатом. Ведь он так ласково шутил со мной, когда я была еще девочкой. В приемной меня встретили настороженные взгляды. На мне было старое платье,— ведь Клавдио ничего не зарабатывал. К тому же дорога вела через гетто, и жирная грязь облепила мои башмаки. Меня вызвали первой из посетителей, провели в кабинет и оставили там одну. Дверь отворилась, и в комнату вошел Оресте.

— Как ты загорела,— сказал он.— Ты стала еще красивее.

Как в старые времена, он хотел обнять меня, и его рука коснулась моего плеча.

— Эти плечи покрывал трехцветный шарф,— сказала я и отошла от него.

Он нахмурился.

— Скоро ты будешь свободна, твоему мужу недолго осталось жить.

— Я знаю,— сказала я,— что кое-кто из наших подписал обвинение и был повешен. Но Клавдио ничего не подпишет.

— Их бы все равно повесили.

— Ты мог бы выдать моего мужа еще тогда, когда он студентом призывал к свободе. Незачем было так долго пестовать свою трусость.

Он оставался спокоен.

— Я знаю, ты будешь моей,— сказал он.— Я ничего не требую, ты сама придешь ко мне.

Внезапно он опомнился.

— Твой муж должен бежать. Не в моей власти спасти его. Пусть сегодня же вечером в семь часов выедет из городских ворот в одежде крестьянина.

Я отправилась домой. Пришел Клавдио, друзья советовали ему бежать. Он переоделся в платье крестьянина, продававшего нам овощи, и ушел.

Я осталась в городе, Клавдио не хотел брать меня с собой в такой рискованный путь. Да меня и не выпустили бы из города, я знала это. Я была совсем одна в нашем доме, мне нечего было есть самой, где уж тут держать служанку. И к какому бы окну я ни подходила, повсюду я видела перед собой шпионов. Они никого ко мне не пропускали.

Но однажды вечером заскрипели ворота. Я выглянула в дверь. Внизу, в сенях, было совсем темно. И в темноте ко мне приближались уверенные шаги. Я не заперла дверей моей комнаты, все было бесполезно, я понимала это. Лихорадочный страх охватил меня — страх не перед тем, кто сейчас поднимался по лестнице, нет, не перед ним. Было жарко, я была в очень открытом платье. Все пугало меня: и эта неприкрытая грудь, и сердце, так трепетавшее в ней. Я металась по комнате, и тут я взяла свой трехцветный шарф и накинула на обнаженную грудь. Так стояла я и ждала.

Он вошел, и кривая улыбка тронула его губы.

— К чему это все, ты ведь прекрасно знаешь, что ты моя,— и какой-то раскрашенной тряпкой хочешь спастись от меня и себя! Как ты наивна!

Но я уже обрела мужество. Позади меня, на столе, вспыхивали, дрожа, язычки зажженной лампы; ему были видны только неясные очертания моего лица. Я же видела, до чего он бледен. Длинные тени плясали на стенах вокруг нас.

Он сказал:

— И так было всегда. Ты всегда прикрывалась свободой, как этим платком, потому что не хотела отдать мне свою красоту. А ведь ты любишь меня, ты с давних пор любишь меня! Ведь правда, ты плакала в ту ночь, когда я прыгнул с балкона?

— Да, правда,— ответила я.— И я любила бы тебя! Но было нечто большее, что я узнала и была не вправе забыть. Это был тот, кто, забравшись на столб ворот в ограде гетто, занес над ними топор.

— Вечно *ты носишься со своей совестью! — воскликнул он.— Подумай, ведь мы одни в этом доме, ни одна душа сюда* не заглянет. Тот, другой, далеко, он исчез, кто знает, где он? Что еще существует в мире, кроме нас с тобой? И свобода умерла, этот призрак. Мы совсем одни: теперь ты найдешь в себе мужество для любви. А если нет, у меня хватит его на двоих.

Он обнял меня, но я почувствовала, как дрожат его руки. Я оттолкнула его, выбежала из комнаты, бросилась вниз по

лестнице. Он не отставал от меня ни на шаг. Внизу, в одной из темных комнат, он снова схватил меня; мы падали, торопливо поднимались, спотыкаясь, бежали дальше. Иногда нас разделяла мебель, на которую мы наталкивались в темноте, и он ее опрокидывал. И снова у самого моего лица раздавался его шепот: «Ты любишь меня!» С трудом я выдавливала: «Нет!»

Наконец мы, сами того не замечая, очутились в саду. Была безлунная ночь. Молча, не дыша, пробирались мы сквозь темные кусты. В беседке, в густой темноте, он настиг меня и бросил на скамью. Его рука легла на мою обнаженную грудь, трехцветный шарф давно был потерян где-то в неосвещенном доме. Мы знали оба, что смотрим друг другу в глаза, но не различали в темноте даже лиц. Я чувствовала, как колотится его сердце, а он ощущал биение моего. Над нами шелохнулся лист. Мне почудились крадущиеся шаги за садовой оградой. Нас стерегли. Дом, и сад, и город, темные и безмолвные, казались заколдованными. Во всем мире существовали только наши бьющиеся сердца. Снова меня охватил страх, такой страх, какого я еще никогда не испытывала. Где-то зазвонили к заутрене, настойчиво звучали взволнованные удары одинокого колокола. Представьте, мне сейчас показалось, что я снова слышу его.

Старая Фульвия прислушалась. Ночь молчала над крышами Рима.

— Как живы мои воспоминания,— пробормотала она.— Там, в беседке, я сказала печально:

— Слушай, Оресте, все это так странно, у меня кружится голова, как в тот день, среди камелий, в саду кардинала. И тогда ты тоже долго гнался за мной, но мы тогда были лучше.

— В этом виновата ты,— возразил он, а я продолжала, не слушая его:

— Мы были так молоды, и в сердцах наших зрели мечты, как плоды в кардинальском саду. Помнишь: рауты, кругом взрослые, и наши разговоры, понятные только нам?

— А в городском саду,— добавил он,— мы встречались и смотрели в глаза друг другу; я отсчитывал шаги: пять, десять, двадцать. Тут ты поворачивалась, и я опять шел тебе навстречу, едва касаясь земли, будто по воздуху.

Мы помолчали. А затем он сказал сурово:

— И вот наконец мы с тобой одни. Ты можешь стать моей. Ведь ты хотела этого? Разве не судьба привела нас сюда?

«Верноподданный»

Внезапно он выпустил меня и отошел, так что листва скрыла его, и даже тени его не было видно. Я прошептала:

— О, почему меня не убили в Виченце... Ты не знаешь, Оресте, какое это блаженство умереть за великое дело свободы!

— Напрасно ты так думаешь. Я понял это с тех пор, как узнал, что ты подвергаешься опасности. И я мечтал быть рядом с тобой в осажденном городе, под неприятельским огнем. Скажи мне, Фульвия, ты когда-нибудь думала, что одна и та же пуля могла бы сразить нас обоих?

— Да, если бы ты вместе со мной боролся за свободу... Вот этими руками выворачивала я камни из мостовой, чтобы швырять их из окон во врагов. Почему ты не был рядом, не помогал мне?

— Ты и за ранеными ухаживала. Если бы я погибал от смертельной раны, только твои губы могли бы облегчить мои страдания.

Помолчав, я тихо сказала:

— Будут еще бои.

Он вскочил:

— Что ж, я готов! Я тоже родился на этой земле и хочу бороться за ее свободу!

— Когда ты уходишь?

— Сейчас же, этой ночью.

Я испугалась, я закричала:

— Нет, ты не покинешь меня! И Клавдио тоже исчез. Неужели же я навсегда останусь в этом доме, откуда ушло все живое? Где я, кажется, никогда не дождусь рассвета? Оресте!

Я соскользнула со скамьи, упала к его ногам, обняла колени. Все благоразумие мое исчезло, я металась, как раненое животное.

— Возьми меня с собой,— молила я.— Возьми меня лучше с собой! Только не уходи! Не покидай меня!

С братской нежностью помог он мне подняться.

— Мы вместе уйдем отсюда. Я отвезу тебя в Турин. Ты будешь там в безопасности.

По небу разлилась серая мгла. Мы уже различали лица друг друга. Молча дождались мы, пока нам стали видны и глаза. Какая буря бушевала в них ночью! Об этом можно было только догадываться: сейчас в них было какое-то нездешнее спокойствие.

Оресте распространил по городу слух, что отвозит меня в свой загородный дворец. Мы бежали, благополучно перешли границу и добрались до Турина. Там мы нашли Клавдио. Он все еще страдал от ран; к этому присоединилась болезнь, я вынуждена была остаться и ухаживать за ним. Оресте уехал один. Он пал за свободу под Варезе.

Немного погодя маркиза Грими, вздохнув, произнесла:

— Но ведь он за вас умер, за вас!

— Да, мама,— откликнулась Раминга и разрешила собачке лизнуть себя прямо в лицо.— Много хорошего было в твоей жизни. Он действительно умер за тебя!

— Молчите! — властно сказала Фульвия.— Он пал за свободу.

I

После сдачи экзамена на аттестат зрелости Христофу дважды представился случай проявить свои деловые способности, и он так отличился, что даже старый Пахер был поражен. Уже в девятнадцать лет сын заслужил полнейшее доверие отца и был послан в Вену представителем фирмы Эгерер. «Ты так показал себя, что тебя не страшно послать и в Вену,— ты справишься там с нашими делами не хуже, чем в любом другом месте. Я полагаюсь на тебя». Итак, Христоф был предоставлен самому себе. Спокойно и уверенно шел он своей самостоятельной дорогой.

В атмосфере расточительства и погони за наслаждениями он не делал ни одного шага, который не был бы полезен и прибылен для дела.

Однажды он, как обычно, в десять часов вечера возвращался домой. Ощупью пробираясь по темной лестнице, он задел рукой за что-то, что слегка вздрогнуло от его прикосновения. Христоф зажег свет: из-под пламенно-рыжей копны волос на него глядело очень белое лицо, с затуманенными, точно слепыми глазами.

Он поднял женщину, бессильно склонившуюся на перила.

— Вы больны? Я позову врача.

— Не надо... Это от голода...

Уже пять дней она почти ничего не ела. Христоф, поддерживая, довел женщину до ее комнаты, принес все, что у него нашлось из еды, и ушел.

Утром — это было воскресенье — он постучался к ней и спросил, что она думает теперь делать. Она сама не знала, как быть дальше. Муж пьет и совсем бросил ее. Но она хочет остаться порядочной женщиной. Он помолчал, прикидывая в

уме, как далеко может завести его эта причуда, и наконец решился:

— Я оплачу ваш пансион в каком-нибудь ресторане.

Затем он переговорил с привратницей. Действительно, все дело было в муже. Госпожа Мелани Галль могла бы иметь сколько угодно поклонников, сам знаменитый Макарт хотел ее рисовать, но она не позволила ему написать даже свои волосы.

В следующее воскресенье Христоф опять зашел к ней поболтать, а затем и в четверг вечером, так как день был праздничный. Он говорил о Шиллере, пересказал ей свое сочинение, написанное в выпускном классе,— он изложил в нем свои политические взгляды. Теперь, когда его словам внимала эта женщина, мысли его казались ему куда значительнее, чем в ту ночь, когда они впервые родились. Она сидела, чуть нагнувшись, склонив лицо на белые красивые руки, и смотрела снизу вверх в его ясные, спокойные глаза. Его лоб и голос были чисты и строги. Ее лоб, ее грудь медленно приближались.

— Все мы должны считать себя равными,— говорил он,— и помогать друг другу, иначе к чему все наши труды?

Но вдруг он почувствовал ее дыхание, и не успел опомниться, как ее руки обвились вокруг его шеи.

Всю эту ночь он блуждал по улицам, а утром написал отцу и еще до полудня явился к ней.

— Мелани, мы должны будем уехать.

— У тебя еще никогда не было женщины, не правда ли?

Он отрицательно покачал головой.

— Я понимаю, что я сделала.— И она обняла его.

Он отстранился.

— Знай,— сказал Христоф,— тебя ждет нелегкая жизнь. Мы будем бедны, и нам придется жить на чужбине.

— Но ведь я старше тебя.

— Четыре года, какое это имеет значение!

— Я удивляюсь тебе, ведь ты еще совсем ребенок, а хочешь стать моим мужем?.. О нет, я больше ничему не удивляюсь!

Она окинула его взглядом. Он был не выше ее, но вся его худощавая фигура казалась такой подтянутой, и как решительно были сжаты губы!

С робкой улыбкой восхищения она промолвила:

— Я боготворю тебя.

Он закрыл глаза. Когда же он открыл их, его голос прозвучал очень тихо и серьезно, как угроза:

— Это на всю жизнь.

Ответ отца был таким, как он и ожидал. Христоф тут же отправился домой, а вернувшись, сказал ей:

— Я лишен наследства и уволен, теперь мы можем уехать.

Они поехали на тандеме через Земмеринг в Италию; это было в ноябре.

— Как здесь холодно,— сказала Мелани,— где же солнце и цветы?

— Я уверен, что для меня здесь найдется какая-нибудь работа,— ответил Христоф.

И он нашел себе место коммивояжера на велосипедной фабрике. В поисках все новых покупателей они переезжали из одного города в другой. В Брешии он зашел к компаньону отца.

— Ваш отец написал мне,— сказал тот.— Для вас прибыли деньги — на случай если вы покинете эту женщину. Советую вам одуматься. В чужой стране, не зная языка...

Христоф не стал слушать, он ушел, хлопнув дверью.

В Милане они поселились в каморке, выходившей во двор, и Христофу приходилось бегать по всему городу в поисках работы. По вечерам он возвращался грязный, вконец измученный случайной работой, преследуемый неотвязными видениями нищеты. Но за этой черной дверью перед ним вставало солнце ее сказочно прекрасных волос. Она протягивала ему навстречу свои белые руки, и он словно входил в благоухающий цветущий сад. Христоф не падал духом. «Она богата,— думал он,— но и я не беден. Я построю ей замок. Когда-нибудь она скажет, что самым разумным ее поступком было то, что она ушла со мной!»

Было так холодно и работа перепадала так редко, что Христоф предпочитал сидеть дома и изучать в постели итальянский язык.

Прошло два месяца. Однажды утром в их каморке стало светлее.

Неужели это солнце?

Всю последнюю неделю они питались остатками поленты, которую им давала соседка.

— Пойдем, весенний воздух подбодрит нас.

Они вышли за город; щурясь от яркого света, Христоф и Мелани взглянули друг на друга. Как они побледнели и похудели! И они еще теснее прижались друг к другу.

— Мы хорошо прожили зиму. Мы еще будем счастливы!

— Посмотри-ка! — Мелани таинственно улыбнулась.— Что я тебе подарю!

В пыли валялась монета в две лиры.

Какой это был праздник! Когда они сытые пришли домой, на столе ожидало письмо: канатная фабрика в Ферраре, которой Христоф предлагал свои услуги, вызывала его, и присланных на проезд денег хватало на два билета третьего класса.

В Ферраре дело было так: бухгалтер и управляющий в страхе ожидали приезда владельца фабрики — депутата Биццари. Хозяин был человек вспыльчивый, а счетные книги велись из рук вон плохо.

Христоф взялся, работая дни и ночи, привести их в порядок. Мелани помогала ему.

— Без тебя мне бы ни за что не заработать эти четыре тысячи франков.

Однажды к ним зашел управляющий.

— Так вы женаты, господин Пахер? Значит, наше однообразное общество украсится еще одной хорошенькой женщиной.

Два года жили они мирно, пользуясь общим уважением. Потом отношение к ним резко изменилось. Мелани при встрече едва удостаивали поклона. С Христофом почти не разговаривали. В город приехал коммивояжер его отца.

— Как он преследует нас,— с отчаянием воскликнула Мелани.— Какая ненависть!

«Я понимаю отца,— думал Христоф,— но придет день, мы встретимся, и тогда увидим, кто богаче!»

Христоф обнял ее и поцеловал.

— Я уже скопил немного денег, ничто не держит нас здесь. Поедем в Болонью, я устроюсь там.

И действительно, все обошлось хорошо. Депутат Биццари познакомил Христофа с одним очень влиятельным молодым человеком. Между ними завязалась тесная дружба.

Гаэтано Граппа принадлежал к местной знати. Он служил в Риме секретарем министра. Граппа добивался для Христофа кредитов и концессий; однажды он даже привез на фабрику министра.

— Никогда еще у меня не было такого друга,— сказал Христоф Мелани.

Она пристально взглянула на него.

— Кто знает, что ему нужно. У тебя есть подруга, разве тебе этого мало?

Летом они часто совершали прогулки в горы: Гаэтано специально приезжал на денек из Рима, чтобы принять в них уча-

стие. Как-то раз в воскресенье Христоф и Гаэтано сидели вдвоем в кафе — без Мелани. Гаэтано был молчалив и то и дело подливал себе вина.

— Ты еще никогда так много не пил,— сказал Христоф.

— Ты вообще меня плохо знаешь.— И Гаэтано с отчаянием взглянул на Христофа.— Между нами легла тайна, и какая тайна! — И шепотом: — Я люблю твою жену.

Христоф сильно побледнел.

— О! Не бойся. Твоя жена святая. Она скорее согласилась бы увидеть меня мертвым.— Чуть ли не рыдая, он продолжал: — К тому же я действительно твой друг.

После минутного молчания Христоф поднялся.

— Не принимай этого близко к сердцу,— продолжал Гаэтано,— просто я выпил. А чтобы ты видел, что я еще могу держаться на велосипеде, я съеду прямо с откоса!

— Ты свалишься, смотри.

Гаэтано задержался на краю обрыва.

— Ты предостерегаешь меня?

Христоф отвернулся, и тут же послышался шум падающего тела.

Он бросился к Гаэтано. Тот был невредим.

Христоф коснулся его плеча.

— Мне жаль тебя,— сказал он.

— Для всех нас было бы лучше, если б я погиб.

— Да,— сказал Христоф.

Они повели свои велосипеды рядом. И вдруг Гаэтано заговорил:

— Отдай мне твою жену! Я говорю с тобой не как джентльмен, мне уже не до того. Отдай мне ее и требуй чего хочешь.

Христоф спокойно возразил:

— К чему это, она сама сделает выбор.

Придя домой, он сказал Мелани:

— Я узнал новость: Гаэтано любит тебя.— И, взглянув ей в глаза, продолжал: — Ага, для тебя это, кажется, не новость. Я так и думал.

Она схватила его за руку.

— Прости! Я не хотела восстанавливать тебя против него. Ты должен был сохранить друга.

— Оставь это, сейчас речь идет о тебе, ты должна сделать выбор.

— Что это значит?

— Гаэтано богат, тебя ждет счастье. Мое будущее туманно. У него есть связи в Ватикане; возможно, он выхлопочет

тебе развод, чего мне никогда не добиться. Он женится на тебе.

— Какое мне до всего этого дело! Я должна выбрать? Но я же выбрала, когда пошла за тобой. Помнишь, как ты сказал тогда: это на всю жизнь!

— Возможно, но мы стали старше и так много пережили тяжелого. Боюсь, что и отсюда нам придется уехать. Выдержишь ли ты эти вечные скитания?

— Ты моя отчизна — ты! — И она с силой тряхнула его за плечи.— Вспомни нашу каморку в Милане, когда мы были так одиноки, в чужой стране. Эти чужие, сквозь толщу которых нам пришлось пройти, они еще теснее сблизили нас друг с другом. Что может теперь разлучить нас?

Она видела, что его лицо смягчилось, губы задрожали, и, ликуя, прижала его к себе.

— Ах! Ты усомнился во мне, ты боялся! Как я люблю тебя за это! Ведь это такое счастье, что я еще раз могу отдать тебе себя!

III

Молодой Граппа опрокинулся вместе с экипажем и был на волосок от смерти. Когда он уже выздоравливал, к Христофу явился глава семьи Граппа и попросил его уехать с женой.

«Мы не будем здесь счастливы,— сказали они друг другу,— к чему мучить этого беднягу. Подальше отсюда! Что-нибудь совсем новое!»

И они поехали в Нью-Йорк. Картины старых мастеров, которые он собрал в Италии, принесли ему первый капитал. Христоф поместил Мелани в лучший пансион Балтиморы и отправился добывать деньги. Он скупал лес и землю, разрабатывал торф, участвовал в застройке одного города. Однажды на какой-то ферме на него напали бандиты. Едва оправившись и обзаведясь жильем, он выписал Мелани к себе.

За четыре года стоимость двухсот участков, принадлежавших ему в Спрингтауне, возросла в двенадцать раз. Христоф и Мелани занимали теперь вполне благоустроенный дом городского типа.

— Что сегодня идет в театре? — спросила Мелани как-то вечером и, вздохнув, продолжала: — Жить в ста пятидесяти милях от ближайшего театра — как смеется над нами судьба!

— Потом мы вознаградим себя. А пока хватит с нас и того, что здесь никто нами не интересуется.

— Ты прав, сюда не забредет ни один из коммивояжеров твоего отца. Но в тридцать лет отказаться от людей, музыки, от всякой радости!

Христоф молчал.

— Ты говоришь — потом? Но разве можем мы вернуться домой невенчанными? А ты не хочешь жениться на мне, хотя мой церковный брак здесь не препятствие. Ты прежде всего делец, твои обязанности тебе дороже, чем мое счастье.

— Мы столько раз говорили об этом...

Она не слушала.

— Все потом!.. Потом я уже состарюсь. Ты и тогда будешь со мной?

— Бедняжка, ты скучаешь! — сказал он с состраданием. Но такое неразумие с ее стороны обидело его и вывело из себя: он вышел. Она вскочила и вернула его с порога.

— Не уходи! Ты слишком часто оставляешь меня одну с моими мыслями.

— Если бы у меня не было такой благоразумной жены, мы бы никогда не справились со всеми трудностями и не добились такого положения, как сейчас:

Она обхватила его за плечи и посмотрела ему в глаза.

— Так ты отказываешься жениться на мне? — И раньше, чем он мог ответить, продолжала: — Подумай, что ты говоришь! Мы так давно вместе, а все же мне кажется, ты никогда особенно обо мне не заботился.

— Я не понимаю тебя.

Он поднес ее руку к губам.

— Можно мне теперь идти?

Неожиданно она отпустила его.

— Да,— сказала она таким тоном, что он оглянулся.

Когда он утром встал, ее уже не было. Лежало письмо:

«Ты больше не любишь меня, возвращаю тебе свободу. Я ухожу с человеком, которого не люблю, но который женится на мне».

Христоф должен был ухватиться за стол,— все поплыло у него перед глазами. Однако он продолжал работать, как обычно. Днем его сильно знобило. Он старался побороть недомогание и совершил даже прогулку верхом. Но болезнь взяла верх, и Христоф вынужден был сдаться. Он отказался от еды, закрыл ставни и лег в постель.

Друзья не оставили его в беде. Один из них, француз, живший в Нью-Йорке, взял его туда с собой, пытался всячески развлечь и побуждал заняться делом.

Спустя два месяца Христоф поехал на Запад. Он решил купить медный рудник. Разработке этого рудника до сих пор препятствовал высокий железнодорожный тариф, установленный компанией Гульда. Но как раз теперь неподалеку строилась другая линия, не принадлежащая тресту, на нее Христоф и рассчитывал. Однако через год строительство новой линии было приостановлено. Общество договорилось с Гульдом. Христоф вынужден был продать рудник себе в убыток и вернуться в Нью-Йорк.

— С меня довольно,— сказал он другу.— Уеду я отсюда. Даю себе месяц сроку, чтобы со всем покончить.

— Это время ты будешь жить со мной и работать у меня в конторе,— сказал друг.

Однажды он сообщил Христофу:

— О тебе справлялась какая-то женщина: стройная, лет тридцати, с медно-рыжими волосами... Ага! так я и думал,— добавил он, увидев, что Христоф побледнел.

Через минуту друг спросил вполголоса:

— Она причинила тебе много страданий?

Христоф пожал плечами.

— Да, это я из-за нее сюда приехал, и напрасно. Мои двести участков в Спрингтауне, которые я тогда продал, сделали бы меня уже сегодня миллионером. Я лишился наследства, мое здоровье расшатано, юность прошла...

— И все это,— сказал француз,— ничто в сравнении с тем, что может натворить ее приезд.— Он стал перед Христофом, скрестив руки.— Я твой друг: предупреждаю, скорее я убью тебя, чем допущу до этого.

— Не беспокойся,— сказал Христоф, подняв наконец глаза от письменного стола,— она могла уйти, но вернуться не в ее власти.

Когда днем, после этого разговора, спустившись вниз, он выходил из лифта, она ждала его в подъезде и тут же бросилась перед ним на колени.

— Позволь мне вернуться!

— Если ты не встанешь...— И он хотел пройти мимо, но она судорожно обхватила его ноги и принялась целовать их.

— Прости меня! Позволь мне вернуться!

Он силой поднял ее с пола.

— Я не выдержала с ним, я люблю тебя и всегда буду любить только тебя.

Он отстранил ее.

— Ты хочешь прогнать меня? Ты? — И ломая руки: — Неужели ты не понимаешь, что я тогда сама не знала, что делала!

— Надо было знать,— возразил Христоф.

Она подняла вуаль и посмотрела на него.

— Знаешь, он отдал мне половину своего состояния, на случай если я захочу уйти. Я разведусь, деньги твои.

И тут он увидел, как она изменилась. Увидел следы пережитого на ее лице, следы всей ее бездомной, неприкаянной жизни. Его охватило жгучее сострадание и в то же время — влечение к ней. Кровь ударила ему в голову.

— Ах, ты еще любишь меня! — воскликнула она, обнимая его.

Но он вырвался и исчез.

— Я дал ей понять, что я непреклонен,— сказал он другу.— Место на пароходе за мною, но я должен проститься с ней: ведь семь лет мы были вместе. Помоги мне разыскать ее.

После тысячи напрасных попыток они наконец узнали, на какой улице она жила. Христоф обошел ее всю — дом за домом, лестницу за лестницей. У нее на квартире ему сказали, что вот уже три недели, как она в больнице.

Она ласково улыбалась ему с постели.

— Мне гораздо лучше... Ты уезжаешь? Сегодня?

— Да, в шесть часов.

Казалось, она не слышала, ее взгляд пытливо изучал его, и наконец очень тихо, но настойчиво она спросила:

— Ты очень страдал, когда я ушла?

Он помедлил с ответом:

— С этим все кончено. Как-никак я мужчина. Тебе, вероятно, тяжелее. Потому-то я и пришел.

— Ты едешь? Значит, всему конец?

Она говорила, уставясь в пространство.

— Семь лет... Возможно, когда-нибудь ты все же поймешь, что это твои лучшие годы.

— Об этом я думаю уже сейчас,— сказал он и протянул ей руку. Она взяла обе его руки.

— Мы так любили друг друга... Правда? Ты покидаешь меня навсегда?

И вдруг, широко раскрыв испуганные глаза, она прерывисто заговорила:

— Ты не можешь остаться? Не можешь забыть?

— Я стал бы упрекать тебя потом. Я не хочу обрести тебя вновь — униженную. Для этого я слишком тебя люблю — ту, прежнюю.

— Какой ты черствый,— прошептала она; лицо ее как-то сразу поблекло.

Увидев ее, такую изможденную страстями и болезнью, он подумал: «Если мы не расстанемся теперь, через десять лет я, еще молодой, буду прикован к жене-старухе... О, что за мысли приходят мне в голову!» Он отвернулся и закрыл лицо руками.

Она продолжала:

— Один раз я оступилась, после стольких лет преданной любви,— и ты осуждаешь меня!

Ее голос окреп. Враждебный огонек сверкнул в ее глазах.

— Ты всегда любил меня только из гордости, из упрямства, назло отцу и свету, из самолюбия.

Она с трудом приподнялась, хватаясь за сердце, и воскликнула:

— Что я для тебя значу? Я ненавижу тебя!

— А ты? — ответил Христоф, побледнев.— Я мог бы сказать, что и ты была со мной, лишь пока нас преследовали и я всем жертвовал для тебя.

— Нет! Нет! — вскричала она. И глухо, упавшим голосом: — Правда? Это так? Кто же мы, и какого врага носим мы в своем сердце?

Она судорожно сжала его руки.

— Я не хочу! Не хочу погибать! Ты не оставишь меня, раз я говорю тебе, что я твоя. Ты слышишь! Я сейчас же встану, я здорова, мы уйдем, я буду работать с тобой, я твоя жена!

Он уложил ее обратно в постель.

— Ах, нет!.. Тогда — служанка, твоя служанка. Поезжай и возьми меня с собой — хоть на палубе.

Он удержал ее голову на подушке и тихо погладил ей волосы.

Она смахнула слезы.

— Прости! — сказала она.— Я знаю, что ты прав. Если бы ты забыл все, ты был бы богом. Я же люблю тебя за то, что ты настоящий мужчина. Я люблю тебя, люблю!

Она обвила руками его шею и медленно приподнялась. Он взглянул еще раз, почти вплотную в это лицо, в которое он смотрел дольше, чем во все другие лица на земле. Дыхание губ, которым он доверялся на ложах всех этих чуждых стран, опять смешалось с его дыханием. Все, что он в жизни считал прекрасным, вновь ожило в этом поцелуе. То существо, которое отняло у него душу, юность, все лучшие силы, снова тянулось к нему жадными руками. Их губы слились. Он припал к ней, прижался лицом к ее лицу.

— Христоф!

— Лани!

И они заплакали. Сквозь слезы они говорили друг другу слова любви, уже сказанные ими когда-то,— воспоминания далеких дней; и они шептали их тихо, как будто эти слова не могли больше звучать в полный голос.

Пробили часы; он поднялся.

— Прощай!

Она смотрела на него полными ужаса глазами.

— Я не могу. Никогда не преодолею я этой любви.

— Преодолеешь,— сказал он,— и будешь опять счастлива. Тебя будут любить. Жизнь продолжается.

— Я хочу остаться несчастной. К чему жить дальше! Есть же у меня сердце, боже мой!

У двери он оглянулся,— упав на подушки, она рыдала.

Он стремительно шагнул назад, хотел сказать что-то, но закрыл глаза, медленно покачал головой, повернулся и, как во сне, вышел из палаты.

Семнадцатилетний Петер Шейбель и его маленькая сестра остались после смерти родителей совсем одни и почти без всяких средств.

Не будь у Петера на руках сестренки, он мог бы закончить школу, а может быть, и дальше учиться, но теперь об этом нечего было и думать. И юноша, не размышляя, стал искать заработка. Вскоре он устроился в фирме кожевенных товаров «Фюлле и сын» в качестве посыльного.

Некоторое время спустя ему поручили вести корреспонденцию. Прошло восемь лет, Петер стал бухгалтером, у него была своя рабочая комнатка окнами на темный двор, куда только в редкие летние дни заглядывало солнце, и ему почти круглый год приходилось работать при газовом освещении. Но это не огорчало Петера, так как дома у него воздуха и света было больше чем достаточно. Ему даже казалось, что никого другого в короткие часы досуга не ждет дома столько тепла и ласки.

Их квартирка находилась высоко, из окон видна была широкая оживленная площадь, где сновали трамваи, тарахтели тележки зеленщиков, шагали солдаты. Маленький балкон утопал в цветах, и Анхен любила там петь. На улице ее не слышали, у нее был слабый голос, но брат уже на лестнице останавливался и слушал ее пение.

За восемь лет сестра, воспитанная под крылышком у Петера, выросла и похорошела, и это было наградой за его неустанные заботы о ней. Но все же Анна оставалась хрупкой, робкой девочкой, она еще не развилась, не расцвела в полной мере и была совсем неопытной в житейских делах.

В узком кругу знакомых она слыла высокомерной и скучной, даже злой. Только брат знал ее по-настоящему и гордился этим как величайшим отличием. Ей было легко только с ним, а он был счастлив только подле нее.

Случалось, что, готовясь ко сну, она приходила пожелать брату спокойной ночи, и он как очарованный смотрел на нее и называл ее «Беатриса».

То было имя принцессы из книжки с цветными картинками, которую они вместе читали, когда ему было двенадцать, а ей пять лет; он вырезал ей из бумаги золотой пояс, такой же, как тот, что стягивал стан принцессы; и когда она перехватывала этим поясом складки своей длинной рубашечки, он звал ее Беатрисой.

Она ли его надоумила? Или он сам открыл это?

Ее настоящее имя — Беатриса, и по самой своей сущности, которую только он один видел и понимал, она была Беатрисой. Ему ничего не оставалось, как утвердить ее в правах принцессы.

Правда, девочка еще ничего не требовала; она только пренебрежительно улыбалась, когда он сулил ей всякие наряды и украшения в будущем, как только они разбогатеют и его сбережения дадут им наконец желанный достаток.

Это наступило незаметно, ей было двадцать лет, и хотя Петер видел, как охотно надевает она теперь свои скромные безделушки, он все еще не догадывался, что́ именно происходит. Он заметил только, что она как-то по-новому откидывает головку, что у нее появились непринужденность и грация движений. Его насторожила ее горделивая улыбка, как бы говорившая: «Посмотри на меня!» Но значение всего этого он понял, только услышав, что кругом говорят: «Анна Шейбель изумительно похорошела». Слова эти наполняли брата радостью, словно он в холодный зимний день ощутил ласку теплого ветерка и вдохнул аромат роз. Все в нем ликовало: «Наконец-то до них дошло!» Наконец-то все увидели ее такой, какова она в действительности, и не только для него одного стала она принцессой. Правда, сам он лишился теперь как бы некоего тайного превосходства, наполнявшего его гордостью.

Зато на нее это общее признание действовало благотворно. От восхищенных взглядов красота ее расцветала, как казалось брату, расцветала безмерно.

Его она просто ослепляла. Нет, он до сих пор не умел ее ценить! Ни у кого в мире не могло быть такого светлого лица — словно драгоценный камень, обращенный в человеческую плоть. Сверкающее золото волос, в стройной фигуре какая-то затаенная сила, а эта тонкая рука, к которой можно прикоснуться не иначе как смиренно, которую она могла протянуть не иначе как снисходительно!

Анна чувствовала это сама и лукаво смеялась, как бы подтрунивая над ним и над собой,— их отношения приняли оттенок некоторой театральности.

Он оплачивал ее туалеты, которые становились все дороже, но теперь не она благодарила, а он. Иногда она, впрочем, взглядывала на него, и этот серьезный, доверчивый взгляд как бы говорил: «Ты, конечно, понимаешь,— это просто моя роль. А на самом деле главное — ты. Чем бы я была без тебя! Я счастлива, что ты вознагражден».

Однако ей приятно было играть эту новую роль. Она бывала в обществе, блистала там и возвращалась с победами. Она посещала театральную школу, была окружена поклонниками, отвергала женихов, которые ей не нравились.

Вечерами брат, бывало, подолгу ждал ее, и, когда она возвращалась, вместе с нею вторгалось к ним что-то незнакомое: неведомые чувства, трепет надежды и вопросы к судьбе, в суть которых он не решался вникать.

Она ела с удовольствием, как это и требовалось, чтобы быть здоровой и красивой. Но однажды она отодвинула тарелку, положила свои белые руки на стол и, склонив на них голову, устремила глаза куда-то вдаль, уже не замечая ни простенькой комнатки с ее жалкой обстановкой, ни брата,— и такое раздражение и отчужденность прочел он в этом взгляде! Он страшно испугался и вдруг почувствовал, что старый пиджак жжет ему спину. Осторожно, вместе со стулом, он отодвинулся подальше от сестры, так как, несмотря на все его старания, от него всегда пахло кожами.

Его охватил жгучий стыд: ведь он бывал здесь вместе с ее гостями, а он не имел права этого делать, не имел права навязывать ей себя, он был здесь лишним. Как он не понимал этого раньше?

Теперь по вечерам он ходил в кафе; сидел там в одиночестве и с грустью думал, что в это время у нее гости, дамы и кавалеры, им весело, но все видят, какая у них убогая обстановка. Пожалуй, станут относиться к ней с меньшим почтением. Да, совершенно ясно — так не может продолжаться, и только он во всем виноват. Он вырастил подле себя принцессу и оказался не в состоянии вознести ее на должную высоту. Все сбережения, из которых он оплачивал ее туалеты, исчерпаны. Что же будет дальше? Она жаждет счастья, а годы проходят, ее юные годы. Он крадет их у нее, он стал ее врагом!

Однажды у него на руках оказалось очень много денег, и он задержал их у себя на одну ночь, вместо того чтобы вечером

сдать в контору. Это была ночь, в течение которой он тысячу раз чувствовал, что погибает и воскресает вновь. Когда наступило утро, он понял, что благополучно избежал пропасти, но в душе у него осталось чувство горечи против сестры — его неумолимого кредитора.

Он хотел выдать ее замуж за хорошего человека, он уже твердо решил это, но как восстало против такого решения его сердце, когда она в тот же день зашла за ним под вечер в контору! Она была прекрасна, лучше всех женщин на свете, и эта горделивая красавица все же шла бок о бок с ним по нарядным улицам.

За широким окном парикмахерской видны были намыленные физиономии строгих и важных господ, но какой же у них был теперь жалкий вид!

Проходя мимо, она обернулась к брату. «Вот видишь!» — сказала она, и в уголках ее ярко-красного рта легли две складки — складки презрения и насмешки.

За ужином она, вероятно, продолжала думать об этом, так как неожиданно рассмеялась, и, когда Петер поднял глаза, у нее было то же презрительное выражение лица.

Она заметила, что он наблюдает за ней, овладела собой и пристально посмотрела ему в глаза с таким глубоким чувством сострадания, благодарности, таким понимающим взглядом, что он подумал: «Чему быть, того не миновать».

— Что ж, давай сыграем партию,— сказала она.

Ему стало страшно,— это прозвучало так, будто она сказала: «Сыграем в последний раз».

Она раздала карты своими надушенными пальчиками.

— *Ты, конечно, смошенничал,— весело сказала она, когда он выиграл,* и вдруг, уставившись померкшим взором на лампу, произнесла с расстановкой: — Ах, нет!.. Самое трудное — это перестать быть порядочным!

В дальнейшем он показывался еще реже, он не имел права вмешиваться в жизненную борьбу, от которой не мог ее избавить. Все, что она отныне переживала, принадлежало ей одной,— и, конечно, еще кому-то, но не ему. Его уделом были страх, тоска и гнев, его наболевшему сердцу оставалось лишь обожать ее и проклинать. И все же он всегда знал, что с ней происходит. Об этом ему говорили почти неуловимые приметы, дыхание ветерка, какая-то тень во взгляде.

Он знал, что в ее жизни есть теперь мужчина, какой-то незнакомец, хотя никогда не видел его. Но он нередко караулил

где-нибудь в воротах, надеясь увидеть этого незнакомца, увидеть ее судьбу, посмотреть ей вслед,— так шагает судьба, безжалостная и неведомая.

Однажды он ушел из конторы раньше обычного, потому что плохо себя чувствовал, у него был сильный жар; и дома он узнал все. Они были там. Он остановился и, затаив дыхание, прислушался. До него долетел восторженный голос. Это был голос Беатрисы.

Он ушел, весь дрожа, но сердце у него колотилось от счастья — от счастья, несмотря ни на что: она хотела, чтобы любимый называл ее так же, как называл брат. Просветленная любовью, она превращалась в то сказочное существо, которое принадлежало ему, только ему. Он думал: «Моя сестра!»

Дни проходили. Порой она совершенно забывала о нем, а порой не хотела отпускать его от себя. И всегда он знал, чем вызвана эта благосклонность,— душевным спокойствием или надеждой найти у него спасение.

Он не мог ее спасти; она должна была переносить все сама. Он только безмолвно, с собачьей преданностью давал ей понять, что ему все ясно. Страдальческое выражение ее лица говорило о разлуке, о предстоящем разрыве или боязни конца, а беспокойство, нервозность и вздохи означали новую надежду, новую любовь — и опять легкомыслие, и опять боль. Ему казалось, что время остановилось в этих бесплодных метаниях, которые ни к чему не приводят, а сам он только их неизменно покорный и участливый свидетель.

Но как-то вечером она не отпустила его, да и сама никуда не собиралась уходить; села рядом, потом беспокойно вскочила, убежала к себе и опять вернулась. Он смотрел на нее с восхищением, как всегда, когда случай дарил ему возможность хоть минутку полюбоваться ею. Но на лице у Анны не было и следа той радости, которую обычно доставляло ей его восхищение.

Странно, она заговорила с ним так, будто думала не о себе, а, как раньше,— только о нем.

— Скажи, тебе никогда не приходило в голову жениться? — спросила она.

Что это с ней сегодня?

Чтобы выиграть время, он потупился и пробормотал:

— Теперь-то уж поздно.— Но про себя подумал: «Как могу я, когда...» И еще: «Беатриса!»

Ее взгляд уже потух, и она упавшим голосом сказала:

— Был бы ты женат, может, я в твоей семье нашла бы приют, когда у меня уже ничего не останется в жизни.

Он вскочил, воскликнул испуганно:

— Что с тобой?

Она замолчала, затем печально произнесла:

— Взгляни на меня, только посмотри хорошенько.

И так как она этого хотела, он посмотрел на нее и увидел все.

Она не накрасила губы, не напудрила лицо, не подвела глаза, платье висело на ней, словно с чужого плеча.

И вдруг она предстала перед ним, лишенная ореола и перенесенная в будни.

Глаза потускнели от разочарований и утрат, горечь и сарказм залегли складками вокруг рта, лоб усеян морщинами, как поле боя — трупами; видно было, что она измучена: ее лицо и тело были обезображены повседневной и нескончаемой борьбой за существование, борьбой за счастье. Так стояла она перед братом, а он все смотрел на нее, крепко стиснув руки.

Убедившись, что он все понял, она сказала:

— Да, много пережито за эти восемь лет.

Она произнесла это слабым, как у больного ребенка, голосом и провела руками по своим бедрам, касаясь их осторожно, словно они были изранены, или как бы отыскивая былую чистоту их линий.

Тогда брат порывисто привлек ее к себе, и, прильнув друг к другу, они заплакали.

Утирая слезы, она бросилась вон. В дверях, обернувшись, сказала:

— Завтра утром я уезжаю. Но ты можешь не беспокоиться!..— Казалось, она заклинала его: «Верь мне, как я сама хочу этому верить».

Наступило утро, ее уже не было дома. Сидя в своей каморке при свете газа, он всеми силами старался заглушить в себе то, что знал,— ужасную правду.

Два дня спустя его вызвали в женскую клинику: она была мертва, его сестра мертва. Он пошел туда и еще раз, последний раз склонил седую голову перед ее неугасимой красотой.

Гроб медленно вынесли. На улице какой-то незнакомый человек протянул брату руку. Это был ее первый возлюбленный, тот самый, чье лицо и шаги когда-то казались брату воплощением ее судьбы. Бедная судьба, какой у тебя замученный вид!

Несмотря на хмурое утро, на улице собралось много народа. И среди разговоров брат услышал: «Она была попросту...»

Он не обернулся на эти слова, а только подумал с чувством высокомерной жалости: «Ничего-то вы не знаете!»

Герд Гёц Раков возвратился в 1918 году в Берлин во главе своей роты, совершенно сбитый с толку тем, что произошло. Лично себя он не считал побежденным, но поскольку все кругом посходили с ума, то и он, поддавшись общему настроению, решил временно исчезнуть. Вынырнув снова, он взял курс на крайне правую. Только она одна была в состоянии восстановить порядок в делах Германии и Герда Гёца Ракова. Последние обстояли неважно уже при его возвращении и теперь шли из рук вон плохо. Отцовская фирма ухитрилась упустить военную конъюнктуру; старик отстал от века. А потом умер. Герду Гёцу пришлось бы, живя долгами, содержать мать и сестру; он предпочел все продать и остался без гроша. Кто бы мог подумать!

Жить как требует положение — или не жить совсем! Как это спекулируют? Спекулировали все, но никто не открывал секрета. Ему никак не зацепиться! Обер-лейтенант делал безуспешные попытки. Новичок — это видел каждый — неопытный дилетант. А тут еще и «национальное дело» терпит поражение за поражением, смена режима становится маловероятной. Лисси Лерхе,— а ее Герд Гёц обнадеживал, что все это ненадолго,— перестала ему верить.

Лисси Лерхе, когда он познакомился с ней во время отпуска, служила манекенщицей в магазине на Хаусфогтейплац. Он мог похваляться, что устроил ее карьеру. Его мундир и чин; кивок — и ее начали снимать в кино, а он тем временем вернулся на фронт и не спрашивал, каково ей тут приходилось. Спрашивать он начал, когда окончательно сел на мель. В несчастье ищешь, по крайней мере, верности.

В конце мая 1922 года между ними состоялось решительное объяснение,— вечером в ее квартире на Бамбергерштрассе, когда она примеряла платья, Герда Гёца вдруг осенило. Слиш-

ком много платьев, и слишком они роскошные; трудно поверить, чтобы их оплачивала какая-нибудь кинофирма. Пока не ушла портниха, он сдерживался и подавал снисходительные реплики. Лисси, вся в ядовито-желтых блестках, золотоволосая, яркая, великолепная, вертелась между тремя зеркалами на обтянутых шелком стройных ножках и только роняла накрашенным ротиком:

— Картинка! Недаром обо мне нынче все говорят!

Едва они остались вдвоем, он разразился оскорбительными намеками. Ему точно известны ее истинные заработки в кино. И пусть не морочит ему голову. Ведь откуда-то берутся эти деньги. Он все прекрасно понимает.

— Ты опять начинаешь? — не растерялась Лисси и сама перешла в наступление.

С такой шикарной женщиной надо быть щедрым, либо уж помалкивать. Это из-за нее он сбился с пути? Скажите пожалуйста! Раз-другой метал банк, спекульнул кокаином — и даже тут спасовал.

— Сказать кому-нибудь, никто и не поверит, что ты так глуп.

Куда девался милый ротик! Но друга своего она все-таки любила и потому тут же похвалила его природные данные.

— Глянь-ка на себя: франт, каких мало, морда дерзкая!

Во время нежнейшего примирения Лисси наконец убедила Герда Гёца, что он должен доверить ей свою судьбу. И не сметь ревновать к ее знакомым, которые берутся ему помочь!

— На твою священную честь, глупыш, никто не покушается,— сказала она и похлопала его по щекам наманикюренными ручками. После чего они отправились на Мотцштрассе.

В баре «Павлин» оказалось, что Лисси ожидал какой-то коренастый господин бульдожьей породы. Его звали Стэрни.

Герд Гёц, едва услышав это имя, вставил монокль. У Стэрни глаза налились кровью. Так и сидели они, застыв, стараясь не глядеть друг на друга.

— Да что это с вами?

Ах, вот оно что! Стэрни был рядовым у Ракова, об этом они и вспомнили.

— Уж если я тебя знакомлю с деловым человеком и он может быть тебе полезен, так ты наверняка в свое время засадил его в отхожее место.

— Отхожее место! — проворчал Стэрни.— В сравнении с тем, куда засадил меня обер-лейтенант Раков, отхожее место сущий рай — не хуже этого бара.— И Стэрни обвел рукой зал,

где они сидели. Повсюду искусственный цветной мрамор и освещенные изнутри, словно опаловые, столики.

— Вам, я вижу, это только на пользу,— решила Лисси.

Однако Стэрни без всякого удовольствия вспоминал о польской зиме, особенно, как по приказу обер-лейтенанта Ракова он целый день простоял по колено в снегу, привязанный к кольям ограды.

— От этого всю жизнь в сердце свербит.

На что Герд Гёц, в нос:

— Вы слишком дорожили своей драгоценной шкурой. Зато сейчас, кажется, преуспели в спекуляции.

Теперь обрел уверенность Стэрни.

— Я удачливый коммерсант. А кто сидит на бобах и злится, считает меня спекулянтом.

Чтобы как-нибудь спасти положение, Лисси приказала капельмейстеру играть шимми и танцевала с обоими. Затем кавалерам пришлось вместе выпить. Лисси тоже выпила, так ей было легче осуществить задуманное. Стэрни должен принять Герда Гёца в какое-нибудь выгодное дельце. В третьем или четвертом кабачке Стэрни, окончательно расчувствовавшись, прочавкал:

— Раков, с выгодным дельцем — порядок. Продайте мне Лисси!

Герд Гёц, разумеется, тут же потребовал удовлетворения.

Лисси пришлось вмешаться, пока они наконец не условились встретиться у нее завтра, чтобы поговорить о делах как следует.

Первым явился Герд Гёц. Его беспокоило, не имел ли в виду Стэрни некую тайную цель, когда согласился принять его в долю. Лисси возмутилась:

— Клянусь тебе, с этим человеком у меня никогда ничего не будет!

Герд Гёц пояснил:

— Он был бы мне еще неприятнее, чем кто-либо другой. Я ни на какие деньги не польщусь, если коснется...

Тут вошел Стэрни. Он сразу приступил к делу. У него кое-что есть для Ракова.

— По старой дружбе,— сказал он с наигранным простодушием, прикрывая глаза.

Дело, которое он имел в виду, палка о двух концах. Стэрни ни за что не ручался. При удаче можно разбогатеть.

Герд Гёц прервал его:

— Если это затронет мою офицерскую честь...

— Сами разберетесь,— заключил Стэрни.

Пропал радий, и не малое количество, но его можно разыскать. Похищенный в свое время в Румынии каким-то солдатом, который затем умер, украденный санитаром, который не знал, что это такое, он прошел через десятки рук и теперь бесследно исчез. Стэрни назвал имена и адреса — те, что ему известны. Сам он не располагал временем, чтобы целиком посвятить себя этому делу и все это распутать.

— Предупреждаю вас честно, Раков, вам придется бегать высунув язык. К тому же вы рискуете попасть в опаснейшие ситуации.

— Это как раз по мне,— сказал Герд Гёц.

Он хотел отправиться немедленно.

— Стоп, вам причитается на расходы.

Стэрни выписал чек, после чего Герд Гёц и отправился.

— Вы порядочнее, чем я думала,— сказала Лисси.

Стэрни ответил язвительно:

— Он бегает, а я сижу с вами.

— Только, пожалуйста, не тешьте себя надеждой,— потребовала она деловито. Но раз уж этот человек был здесь, она позволила ему оплатить ее новые туалеты.

— Недаром обо мне нынче все говорят! — произнесла она в виде утешения.

Герд Гёц бегал. По первому адресу он получил совершенно точные сведения,— с человеком, который своими глазами видел этот радий, можно немедленно встретиться. Однако тот ничего толком не знал, так, кое-что подсказал Герду Гёцу. В следующем доме — еще кое-что. Эти намеки то кружили Герда Гёца на одном месте, то уводили вдаль. Он попадал к ростовщикам, к трактирщикам, к беднякам, пожитки которых перетряхивал под любым предлогом. Многие дамы соглашались похитить украденное у своих любовников, если Герд Гёц им хорошо заплатит. Ему было назначено свидание в Гамбурге, в кафе, и там, в темном углу, он действительно нашел в высшей степени подозрительного субъекта с фальшивой бородой, который дал понять, что у него имеется... Радий? Да. Но на деле у него вроде ничего и не было. Герд приходил трижды, пока наконец ему не показали под столом какой-то сверток. Не успел он протянуть руку, как получил неожиданный удар в подбородок и рухнул на пол.

Лисси Лерхе встретилась с Гердом Гёцом лишь спустя долгое время. Лицо его осунулось, глаза были как у безумного, и впервые он был одет далеко не с иголочки. Он говорил без

умолку, рассказывал, что пережил больше, чем за всю войну. Наконец-то он держит все нити в руках, у него теперь обширные связи, с ним заговаривают даже незнакомые люди.

— Вот! Погляди на этот план, я дорого за него заплатил. Дом с внутренними дворами, здесь проходит канал, с самого края в облицовке один камень расшатан, тут-то он и лежит.

— Радий?

Герд Гёц кивнул с убежденностью фанатика.

— Я должен найти этот дом. Никто не знает, где он.

— Да существует ли он вообще... а заодно и твой радий? — спросила Лисси.

Он не понял, а она не захотела объяснить. Ей было жаль Герда Гёца. Он даже не спрашивал больше о Стэрни,— а не мешало бы спросить.

Стэрни она заявила напрямик:

— Вы мошенник, ваш радий — ловушка.

— А хотя бы и так,— ответил он невозмутимо.

Это ошеломило ее.

— Да как вы смеете? Из-за вашей дурацкой выдумки Герд Гёц еще попадет в больницу!

— Нет,— ответил Стэрни и прикрыл веки, точно от усталости.— Не в больницу. Он должен попасть в тюрьму.

Стэрни открыл глаза, и тут Лисси, не знавшая, что и думать, увидела нечто, внушившее ей ужас. Она увидела ненависть; мутный, неукротимый поток ненависти струился из его глаз — на погибель ему самому, а он дрожал, корчился и то краснел, то бледнел. Тяжело ворочая языком, Стэрни произнес.

— Он травил и унижал меня, а теперь я буду травить его, пока не прикончу. Он хотел моей смерти, а теперь сам умрет,— и схватился за сердце.

Лисси попыталась рассмеяться.

— Какая же тебе с того выгода, толстячок! Не будь смешон! — И она вызывающе закружилась перед ним.

Он ответил ей прямо, без обиняков:

— С вами, фрейлейн, я сначала сблизился, только чтобы добраться до него. Но вскоре придет и ваш черед.— И он схватил ее, вернее, подхватил, так как она почти упала в его объятия, отчасти из страха, отчасти потому, что ее привлекал исходивший от него ужас. Такого мужчины у нее еще не было! Она клялась себе, что никогда не уступит ему, ни за что. Правда, она уже принимала от него такие ценные подарки, что это походило на аванс. Удастся ли ей еще выкарабкаться? Хоть бы

Герд призвал ее к ответу! Это рассеяло бы чары. Но он гонялся за призраками.

Стэрни вызвал его к себе.

— Раков,— сказал он напрямик,— вы должны забраться в чужой дом.

Хладнокровно наблюдал он, как возмутилась и напыжилась жертва.

— Если вы слишком благородны для этого, дело ваше. Разумеется, я привлеку вас за растрату. Вы надули меня, выманив большой задаток.

Он позволил своей жертве, которая была на голову выше его ростом, еще немного побарахтаться; и вот она уже сдалась. Герд Гёц хотел знать, что и как.

— Кто-то опередил нас,— объяснил Стэрни.— Капиталист, хорошо заплативший. Это дельце может нам улыбнуться, если мы не...— И он сделал выразительный жест рукой.

— Ничего не попишешь,— прохрипел Герд Гёц, от жадности у него перехватило горло.

Тогда Стэрни показал ему фотографию виллы.

— Это в Хундекеле. Особняк. Забраться ничего не стоит. То, что вы ищете, спрятано в спальне. Этой ночью никого не будет дома.

Он объяснил еще, где будет ждать машина, она понадобится Герду Гёцу.

— В спальне,— были его последние слова. Он отвратительно хихикнул; Герду Гёцу надо бы насторожиться. Но дверь уже захлопнулась.

Машина действительно ждала. Шофер стоял отвернувшись; когда Герд Гёц подошел, он исчез. Герд Гёц поехал один и остановился на углу. Дом и в самом деле там, все сходится. В окнах темно. Герд Гёц вышел, громко позвонил у ворот и быстро вернулся назад — в машину. Подождал двадцать минут по часам, не случится ли что. Люди могли испугаться и выйти не сразу. Одно окно в первом этаже было открыто; в комнату падал лунный свет. Не шевелится ли там кто-нибудь? Аллея совершенно пустынна и достаточно широка, перед домом густо разросшиеся деревья. Но в доме напротив еще светло. Теплая ночь сильно пахнет акацией — как бы ее аромат не поднял кого-нибудь с постели. Герд Гёц соображал быстро и решительно, как перед ночной атакой. Серьезных препятствий не было. Самое опасное — лунный свет.

Садовую калитку он успел взломать под прикрытием тени. Но весь фасад постепенно осветился яркой луной, и вместо

того, чтобы, держась в тени, вскарабкаться вверх, он одним махом взлетел на террасу. Точно рассчитанным движением вскочил в открытое окно. Глядя со стороны, можно было подумать, что человек возвращается к себе домой, так ловко и уверенно он это проделал... Комната, куда он попал, была, как нарочно, спальней. Яркий свет луны словно вырвал из темноты широкую кровать. С другой стороны... ого! Оружие к бою — враг! Кто-то у стены, в четкой рамке лунного света. Это могла быть и картина. Безжизненная фигура, руки раскинуты по стене, голова опущена. Он сделал шаг вперед.

— Лисси!

Нога его наткнулась на что-то в темноте. Что здесь лежит? Рывком перевернул тело:

— Стэрни!

Герд Гёц разжал пальцы, словно схватил кусок раскаленного железа, и тот грохнулся на ковер; Герд Гёц и Лисси уставились друг на друга, как слепые. Он нагнулся к Стэрни.

— Готов,— сказал он коротко.

И бросился к Лисси. Она вытянула вперед руки.

— Пощади меня! Я тебе все расскажу!

Дом принадлежит ей. Стэрни записал его на ее имя со всем имуществом; деньги тоже. Она отделывалась только обещаниями.

— Клянусь жизнью!

Она знала, что между ними ничего не будет.

— И действительно — ничего,— добавила она, указывая на мертвеца.

Однако страх ее был напрасен. Герда Гёца заботило другое.

— Он приказал мне забраться в твой дом? Разве радий у тебя?

Вначале Лисси ничего не поняла. Но вспомнила.

— Радий — ловушка; он хотел погубить тебя.— Она вскрикнула: — Теперь все ясно. Потому-то ему и не сиделось. Он все бегал по комнате сам не свой и не давал зажечь свет. Он ждал тебя, Герд Гёц, хотел подстеречь, когда ты вломишься в дом.

Лисси нагнулась, вытащила из-под мертвого какой-то предмет, прошептала:

— Его револьвер. Он бы тебя застрелил.

Она воспользовалась потрясением Герда Гёца, чтобы обнять его.

— Зато он сам теперь мертв. Умер своей смертью. Он был твой злейший враг, Герд Гёц... Хорошо я все устроила? — спросила она, вся обольщение.— Теперь мы наконец богаты и счастливы.

В глубине души она дрожала, боясь возражений, которые он привел бы в свое время против такого счастья и богатства. Но не услышала ничего. Тогда она сказала мягко, но требовательно.

— Убери его!

Он не заставил себя просить; это было средством выйти из гнетущей ситуации, проявив мужскую распорядительность.

— Я попросту посажу его в машину. Чудесная ночь. Прогулка. Разрыв сердца.

Так он и сделал; и возвращающегося втянули в дверь две нежных женских руки. В лунном свете, обнявшись, Герд Гёц и Лисси поднимались по лестнице к своему свадебному ложу!

I

Человек мчался по городу. Его визитка, насквозь промокшая, вздыбилась от бега задубелыми фалдами, и дождь барабанил по ней. Шляпа свалилась, но портфель он сжимал крепко. Ноги его взлетали, как крылья, и он, словно желая взлететь еще выше, время от времени взмахивал руками вместе с портфелем, отрывисто вскрикивал, чтобы подхлестнуть себя и заглушить невыносимую боль. Мчался очертя голову, не разбирая дороги, уже ничего не видя и не замечая в своем ослеплении.

А вокруг вздымались огненные смерчи, небо было багровым и черным, и порой в это небо острыми когтями впивался дьявольский свист. День ли то был или вечер — неизвестно, ибо небо давно уже полыхало. На пустынную мостовую лил черный от копоти дождь. И, видя, как одинокий бегун шлепает по лужам, неудержимо несется вперед, ударяется, падает, трусливый мелкий буржуа спешил нырнуть в свою нору. Город сплошь состоял из одноэтажных домишек — а за ними, над непроходимым лабиринтом угольных шахт, высились чудовищно огромные, извергающие пламя заводы. Все были сейчас в цехах и в шахтах.

Одержимый в визитке мчался уже над огненной сквернои реки. Туда, в здание, что на том берегу! Большое здание из стекла и металла, с крыши которого тянутся пятьсот проводов! Для бегущего оно — как вожделенный глоток воды, язык у него вывалился, глаза — будто он вот-вот узрит бога. Рывок из последних сил, финишный спурт — с предсмертным хрипом, с

кровью на губах. Ворвался, теперь вверх по лестницам, отчаянные усилия вместо зова о помощи, так и не прозвучавшего.

С разгону он врезается в двух встречных мужчин. И в тот же миг сигнал тревоги пронзительно дребезжит по всему зданию. Умирающий еще цепляется за жизнь. Гремят два выстрела. Все двери настежь. Сбегается толпа. Где злоумышленник? Толпа шарахается: там, на ступенях. Лежит, голова набок, в черной луже! Поворачивают лицом кверху, а сигнал тревоги продолжает неистово дребезжать. Кто он? Среднее сословие — по виду больше ничего не скажешь. В портфеле — бумага. О чем? «Избран Кобес».

Итак, Кобес избран. Как, где, кем — все равно. Избран снова. А этот — среднее сословие, преподнес ему в дар свою жизнь, самолично примчался, чтобы сообщить об избрании, и умер на пороге. Честолюбец! Думал: «Побегу! Домчусь быстрее телеграфа, быстрее телефона, быстрее ветра, что несет на своих крыльях Кобеса во всем его величии. Увидеть его — и умереть! Не надо мне никаких чинов, не надо ничего для себя. Только ради общего блага, только ради Кобеса — нашего великого из великих!» Да, тщеславен был он в своем самоотречении. И вот теперь мертв, а Кобеса так и не увидел. И Кобес никогда не узнает о нем. Кобес еще более велик, чем он думал.

Происшествие ничем не примечательное, ничего из ряда вон выходящего. Сбежавшиеся служащие разошлись по местам — даже приказа не потребовалось. В холле остались одни начальники отделов — редкая оказия выкурить вместе по сигаре. Холл — рядом с лестницей, и они решили покараулить до прибытия врача труп среднего сословия, примчавшегося к своей гибели.

II

Глубокие кожаные кресла полукругом, располагающие к самоуглубленному наслаждению. Только один начальник отдела по национально-патриотическим делам куда-то спешил. Это именно он со своим кассиром грудью принял натиск злоумышленника. И без того он человек нервный, а тут все еще дребезжит включенный им сигнал тревоги. Выключить! К тому же в этой толкучке куда-то запропастился кассир.

— Всегда и всюду я вижу вас с этим кассиром, герр коллега по национально-патриотическим делам! — сказал начальник отдела экономии. Сам так и пышет силой, словно рубщик мяса на рынке,— не то что этот заморыш по национально-патриотической части, который прямо взвился от возмущения.

— Герр коллега, вы наслаждаетесь блаженным покоем, а каково мне! — заикаясь от гнева, воскликнул он.— За три дня мне трижды пришлось менять свои диспозиции. Сначала я платил за то, чтобы путч состоялся, а потом — чтобы не зашел слишком далеко. Поверьте, это так изнуряет!

— И противоречит принципам коммерции,— добавил начальник отдела экономии.— Просто не верится, что даже здесь в делах правления так мало мудрости.

Начальник отдела по парламентским делам стал категорически отрицать это.

— Лишь только удастся провести наконец закон, освобождающий нас от уплаты налогов, сразу отпадут и все расходы на национально-патриотические нужды. Не думаете же вы, что мы финансируем их, руководствуясь чем-либо иным, кроме собственной выгоды? Ведь удерживая налог из заработка рабочих сразу, а возвращая его государству лишь спустя два месяца, уже использованным и обесцененным инфляцией, мы и смогли довести это государство до ручки именно потому, что постоянно держали его под высоким давлением национально-патриотических страстей. Как только Германия окажется у нас в кармане, дело пойдет!— Глаза начальника отдела по парламентским делам излучали теперь сияние.

Не менее ярко фосфоресцировал и ум начальника отдела пропаганды — генерала бывшей ставки верховного командования.

— Блеф! — гаркнул он командирским голосом.— Блеф и ловкость рук — больше ничего, и я гарантирую любой успех. Кто вдохновил среднее сословие на восстановление? Мы. На трестирование по вертикали? Мы. На создание хозяйства вместо государства? Мы. На его вступление, по собственной же воле, на ниву инфляции? Мы. Он,— кивок в сторону лестницы,— загнал себя до смерти из чистого энтузиазма.— И они взглядами слегка приласкали труп.

Начальник отдела пропаганды продолжал:

— Среднее сословие отдало все, что имело. Мир праху его. Ну, а теперь пусть вкалывают! Черед за рабочими. Для нас они обязаны расстаться не только с заработком, но и с гораздо большим. Двадцатичасовой рабочий день! Это же целое состояние! Капитал, величайший в мире! Внушить им, что они должны отдать его, выдать на-гора, подарить! Иначе — крах и крышка! Вот моя стратегическая идея. И я осуществлю ее во что бы то ни стало или пущу себе пулю в лоб. Быть немцем — значит идти на все.— И генерал закурил новую сигару.

Теперь заговорил начальник социального отдела.

— Мы достигли пока всего-навсего шестидесяти тысяч самоубийств в год,— с горечью произнес он.— На общественные средства — как отечественные, так и иностранные — живут двадцать миллионов. Всё еще живут, хотя их право на жизнь уже давно перешло к нам — к нам, господа! Спрашивается, может ли какая-либо пропаганда добиться, чтобы все они покончили самоубийством? А ведь это — те самые двадцать миллионов, которым даже наш известный пацифист заявил, что им пора на тот свет. И мы на деле покажем, им, что для них это — наилучший выход. Отменить расходы на социальные нужды!

— Уменьшить оклады! — бросил начальник отдела экономии.— Сократить число служащих!

— Прекратить расходы на культурные цели! — потребовал начальник отдела культуры.

— Упразднить жизнь,— заключил начальник социального отдела. При столь уже крупных своих заслугах он все еще сохранял юношески прелестное лицо. Жесты его были не без претензии на благородство. Впечатление портила только акулья пасть.— Упразднить жизнь,— повторил он, решительно щелкая ею.— Мы — хозяйство. И жить должны не люди, а хозяйство. Сохранить следует не жизнь, а субстанцию. Перед нами одна проблема: продержаться, не потеряв своего значения и сконцентрированного капитала, пока не перемрет с голоду столько народу, что остаток будет в самый раз для нашей системы. А система — это мы! Мы — вот единственная идея!

— Немецкий идеализм выглядит далеко не так, как его представляли себе литераторы,— мечтательно произнес начальник отдела пропаганды.

Наконец и из сизого облака дыма тоже донесся гнусавый голос:

— Сконцентрировать национальное богатство,— в наших руках, разумеется,— мы можем только вопреки государству. Мы — или государство. У нас власть, а оно пусть платит. Это нынешнее государство не заслуживает лучшей участи, как расплачиваться за нас. И знаете ли, господа, кто повытряс из него больше всех? — Тут облако рассеялось, и из него выглянуло резко очерченное благородное лицо старого государственного мужа. Подмаргивая, он длинным перстом указывал на собственную грудь.

«Сейчас коллега по иностранным делам чуточку приоткроет свои досье»,— с напряженным любопытством предвкушали начальники отделов.

— Так вот, где-то когда-то была оккупация. Бог мой, да где ее нынче нет. Впрочем, мы заранее говорили, что она не самое худшее. Итак, враг оккупирует нас. Не прошло и трех месяцев, как мы все-таки почувствовали это. Надо что-то предпринимать! Не долго думая, беру в оборот нашего восточного акционера. Пусть нажмет на своего южного компаньона, чтобы тот взял на себя посредничество в переговорах с нашим западным контрагентом. Сугубо конфиденциально, внутренняя услуга. И что же, думаете, нам ответили? Но лучше умолчу. Здесь не место. Всё, больше мы никакой заинтересованности не проявляли. Почему, догадываетесь сами. А тем временем государство платило за нас зарплату нашим рабочим. Патентованное средство! Зачем мешать кому-то, в особенности государству, платить за тебя! — И облако снова сгустилось.

Начальники отделов подавили ухмылку и не без опаски повернули головы к лестнице. Но она была пуста — подслушать мог бы только труп среднего сословия. Начальник отдела культуры не утерпел.

— Ну, тогда и я расскажу вам один анекдот! — произнес он на каком-то немыслимом диалекте.— Неподалеку отсюда есть один научный институт по углю. Куда ни плюнь — сплошь люди чистой науки. Им жевать нечего, а они об одной науке думают.

— Ваш анекдот, коллега, с довольно длинной бородой.

— Погодите! Так вот, эти чудаки доперли, что́ может дать бурый уголь. Даже и не поверите, чего только в нем, оказывается, нет! И тогда, господа, мы разом всё скупили. Все залежи бурого угля на земле. Прибыль — верный миллион марок золотом в год. Благодаря этим типам. А им, чтобы сохранить свой институт, нужно всего-то семьдесят тысяч, которых у них, ясно, нет. И какой же фортель я тут выкинул, как думаете? Бог свидетель: приказал нашему центральному органу в Берлине тиснуть статью, что вот, мол, весьма заслуженный научный институт погибнет, если государство немедленно не даст ему семьдесят тысяч марок. А заголовок: «Позор культурной нации!»

Все беззаботно и от души захохотали. Наступило время подниматься. Но тут начальник отдела пропаганды, возревновав к успеху своего коллеги, рассмешившего всех, открыл в стене дверцу, и из громкоговорителя сразу же зазвучал голос: «У меня — простые мысли и простые цели. Я — человек обыкновенный, в политике не разбираюсь. Предприимчивый коммерсант — вот кто я такой, олицетворение германской демократии. Мне все нипочем. Я — Кобес».

Голос становился все громче, стал ритмичен, как церковное песнопение. Господа в глубоких кожаных креслах подпевали: «Кобес не обжирается, Кобес не напивается, Кобес не пляшет, Кобес не блудит, Кобес двадцать часов в сутки трудится».

— Кобеса не существует,— пропел в тон начальник отдела по национально-патриотическим делам. А когда все дружно запротестовали, с раздражением заявил: — Никакого Кобеса на свете нет. Он — миф, выдумка, персонификация сил природы, как, скажем, бог солнца. Народ и по сей день обожает такие штучки. Темное это дело, ваш Кобес! — В ответ на новые протесты бросил: — А сами вы его видели? То-то! — и засим удалился.

— От этих национально-патриотических дел поневоле станешь нервным,— заворчали все, недовольные,— червь сомнения закрался в их души.

А радиоголос гремел: «Работать! Вы должны работать намного больше! Не ради денег, нет, а ради дела! Ведь и Кобес работает не только ради денег. Разве художник рисует картины, композитор сочиняет музыку ради денег? Стремление творческой личности к созиданию — вот что такое Кобес. Вот я каков». И голос, твердый и суровый, как сама судьба, не переводя дыхания, потребовал, чтобы нация была готова к тому, что еще не менее трех лет людям придется умирать с голоду. «Когда терпит нужду все общество, должен приносить жертвы каждый!» А тем временем начальники отделов рассказывали друг другу о своих встречах с реальным Кобесом, но ни один не верил другому. Под конец они расстались без особо дружественных чувств. Выходя, каждый громко хлопнул дверью.

III

Оставшийся в одиночестве радиоголос продолжал вещать: «Уже в тысяча девятьсот четырнадцатом году состояние Кобеса оценивалось в сто миллионов золотых марок. Как и все крупные промышленники, за время войны он его приумножил».

В эту минуту одна из многих дверей отворилась, из нее вышел маленький человечек, а из лифта появилась крупная дама.

Маленький человечек — он был подчиненным начальника отдела пропаганды — направился к дверце в стене, чтобы прикрыть ее. Увидев даму, он замер; поднятые руки его затекли, и

он пошевелил растопыренными пальцами. Дама же, даже не взглянув на маленького человечка, целеустремленно спросила:

— Где мистер Кобес?

Вопрос мог с таким же успехом быть адресован радиоголосу или ближайшему кожаному креслу. Во всяком случае, маленький человечек не был столь самонадеян, чтобы отнести его к себе. У него была чересчур большая голова философа, лысая, с приплюснутым носом. Тем временем радиоголос перечислял заводы, пароходные общества, банковские и торговые компании, которые Кобес контролировал, обладая большинством акций. Дама, от взора которой не укрылось ничего, обнаружила на лестнице труп среднего сословия. Поспешив туда и в возбуждении склонившись над ним, она воскликнула:

— Oh, lovely! [1]

У маленького человечка было время собраться с мыслями. «Полоумная,— соображал он,— но иностранка. Безусловно, набита деньгами, и что-то ей здесь надо. Неужто судьба улыбнулась мне?» Маленький человечек как никогда остро ощутил всю невыносимость, всю противоестественность своего жалкого положения. Чересчур большая голова его уже давно изобрела средство исправить это положение. Грубая физическая масса в облике начальников до сих пор давила на маленького человечка, преграждала ему путь наверх. Он презирал их, хотя и вынужден был бояться. Но теперь праща Давида в его руках... Тут одна из дверей открылась.

Маленький человечек быстрехонько присел за глубокое кресло. Его начальник — генерал с характерной для военного угловатой грацией прошагал через холл. Ну и позер, если даже не на людях держится так! Маленький человечек с чересчур большой головой особенно ненавидел эту небольшую, красиво посаженную голову военного... Слава богу, исчез. Вперед! Да и дама уже вернулась.

«Состояние, исчисляемое миллиардами золотых марок! Только грядущие поколения, возможно, узнают всю правду о возникновении и расширении этого могущества, уже превзошедшего все мыслимое, включая Моргана, Вандербильта и конкурентов послабее, и теперь уже явно принимающего мифические размеры. Миф о Кобесе! Новая религия, которую в муках и страшных конвульсиях рождает наш континент, обретена!»

---

[1] О, как мило! *(англ.)*

Громовый радиоголос смолк. Маленький человечек прихлопнул дверцу, а дама, завороженная услышанным, все еще стояла, не двигаясь.

— Великолепный мужчина! — проговорила она, тяжело дыша.

— Вы имеете в виду не меня,— произнес маленький человечек.— Вы имеете в виду герра Кобеса.

— И такой мужчина — среди такого глупого народа! — воскликнула дама.

«Дура,— подумала чересчур большая голова.— И к логическому мышлению не способна!»

А вслух он громко сказал:

— Целиком к вашим услугам, весь, как есть, без остатка! — и склонился к ее ногам — голым, в шелковых туфлях, но вдруг потерял равновесие.

— Встаньте! — приказала дама.— И проведите меня к мистеру Кобесу.

Оплошность настроила его на злобный лад.

— С чего вы взяли, что кто-нибудь вообще сможет провести вас к мистеру Кобесу? — спросил он, с досадой разглядывая ее.

— Проведите меня к мистеру Кобесу! — потребовала она.— Или позовите кого-нибудь другого!

Пришлось побороть свою злость. Только никого не вмешивать!

— Кто-нибудь другой,— сказал он поспешно,— точно так же никогда не видел мистера Кобеса, как и я. Мистер Кобес — невидимка,— прошептал он. Напустить побольше таинственности! Завлечь! — Мистер Кобес пребывает столь высоко, что нам, смертным, путь туда заказан. Вы видите, мадам: лестница кончается, лифт выше не идет.

— Значит, есть другой лифт! — заявила она, не давая сбить себя с толку. Он поневоле отказался от попытки надуть ее.

— Прошу пройти в мой кабинет, мадам. Любой заставший вас здесь немедленно велит отвести вас к вашей машине. К мистеру Кобесу не проведет никто. Во-первых, любого за это сразу уволят. А во-вторых, никто и не сможет.

— У мистера Кобеса сейчас мой муж,— сказала дама.— Мне тоже необходимо быть там.

— Значит, ваш муж делает с мистером Кобесом бизнес. Потерпите до его возвращения! Возможно, он запомнит путь, которым шел. Но вряд ли.

— А если вы мне покажете — сколько? — И дама пристально взглянула ему в глаза. Одутловатое лицо его налилось кровью и стало багровым, он потупил взор. Ты желал бы презирать этот мир, отвергнувший тебя, столь же сильно, сколь жаждешь его... Но все-таки ее предложение было слишком грубым. И он поглядел на даму, но как-то неопределенно.

— Вы заблуждаетесь, мадам. Я сам охотно заплатил бы за то, чтобы увидеть мистера Кобеса. Только потому я и служу здесь.

— Ах, бедняжка! — воскликнула дама, увидев, что он плачет.

— Моя фамилия — Занд,— сказал он.— Не Кант. Всего только Занд. Я был приват-доцент. Доктор философии, естественных и прочих ныне упраздненных наук. Чтобы дать вам некоторое представление, скажу: самое полезное, за что я принимался в своей жизни, было изучение сонной болезни.

— Боролись с сонной болезнью, а сами такой занудный? Да проведите же меня к мистеру Кобесу!

Дама уселась в кресло. Сняла перчатку с руки. Голым пальцем стала водить маленькому человечку под подбородком. «Малыш!» — говорила она, а стареющее лицо его судорожно дергалось. Он ясно видел, что перед ним,— пусть так тепло шуршит шелк и так ослепительно сияют бриллианты, усеявшие руку,— всего-навсего перезрелая дама с крашеными волосами, с размалеванным, покрытым эмалью лицом манекена, да к тому же, можно предполагать, еще и истеричка. Но дыхание высшего света, его наглость, презрение к людям и примитивная подлость одурманили маленького человечка, как ядовитый газ. У него помутилось в глазах, а кровь быстрее потекла по жилам.

— Ваше желание — для меня приказ,— простонал он.

— То-то. Я ведь знала, что ты хитрец. Ясное дело, давно уже разнюхал, как пройти к мистеру Кобесу. Отведи меня к нему, и я поговорю с ним насчет твоей сонной болезни. Пусть даст на нее деньги.

— Мистер Кобес никогда и никому не дает денег, мадам, можете не трудиться! Увидеть его воочию уже само по себе будет мне наградой. Хотя, верно, и придется мне зажмуриться. Меня ослепляет все, кроме мысли. Но, видит бог, мистер Кобес — отнюдь не мысль... Прошу вас в мою картотеку, мадам! — И он открыл ей дверь в соседнюю комнату, где не было ничего, кроме картонных коробок.— Когда-то эта картотека принадлежала мне,— сказал маленький человечек.— Мне! Дело

всей моей жизни! Не было в Германии такой видной личности, на которую здесь не имелось бы карточки. Личность, идея, достижения, применимость — все налицо. Собирал, изучал. Писал, обдумывал. А Кобес купил. Когда я уже подыхал с голоду. Купил единственное, что я любил на свете, — мою картотеку. Не за деньги. За должность. Вот как покупает Кобес.

Держа под мышкой большую пачку папок, маленький человечек поклонился.

— Вернусь за вами, когда будет безопасно,— запер дверь снаружи и вынул ключ.

IV

Разложив папки на своей конторке, он порылся в них, что-то нашел, потом сунул обратно. Подкрался к двери в кабинет своего начальника, генерала, тихонько прислушался, поглядел в замочную скважину. Легонько затрясся от радости, сознавая свое превосходство. Опять прислушался, поглядел в скважину, затрясся. В комнату постучали. Вошедший увидел, как человечек метнулся от двери картотеки.

Это был начальник социального отдела — тот прелестный стройный юноша с акульей пастью. Ему понадобилось пройти в картотеку.

— Войти туда вам не удастся,— сказал маленький человечек. Объяснил, что потерян ключ, но сделал это с таким выражением лица, что никто бы не поверил. Не поверил и начальник. Тут маленький человечек повел себя столь нагло, столь неожиданно нагло, что тот даже растерялся. Таким наглым могло сделать только тайное чувство собственной власти. Начальника вдруг осенило. Но озарение тут же угасло: уж слишком невероятно! Неужто этот малый с большой башкой узрел нечто такое, чего не доводилось видеть еще никому? Или осчастливлен божеством, обретшим плоть и кровь? На ум начальнику пришли бог и баядера. Тут возможно любое чудо. А кто же еще мог сидеть там, запершись и не подавая признаков жизни? Да и физиономия этого типа говорит скорее о тайне, чем о помешательстве.

— Кто там? — спросил начальник, хотя и без того прочел ответ на его лице.

— А вам хотелось бы узнать? — прошипел маленький человечек.

Ненависть его откровенно торжествовала. Этого прелестного стройного юношу с акульей пастью он ненавидел сильнее,

чем остальных начальников отделов и даже генерала с небольшой головой. Коварство и сила — натура всех этих врагов мысли, но юноша к тому же еще красив и строен! Зато теперь он отступал, его явно бросало то в жар, то в холод. Почуял, изнемогая, наводящую жуть близость божественного.

— Кто ожидал такого... такого...,— пролепетал он и исчез за дверью.

Победитель гордо огляделся вокруг. Назад, к бумагам. В кабинете рядом снялся с позиции и удалился восвояси генерал. Время расходиться по домам. Уже уходят последние. Маленький человечек осторожно, с фанатическим терпением, приоткрыл дверь в коридор, высунул ухо в узкую щель. Закрыт ли главный выход внизу? «Хорошо, что я знаю секретный... Когда меня заперли здесь в первый раз, я еще не знал его, пришлось провести в здании всю ночь».

Где-то вдали стукнули закрывающиеся ворота. За дело!

— Если только все не обманывает меня, моя картотека дает мне неожиданное оружие.— И, размахивая каталожной карточкой, он воскликнул: — При помощи этой четырехугольной картонки я смогу всех их унизить, превзойти, встать над ними. Они еще будут ползать передо мной на брюхе, я — вице-папа! Или лучше просто стереть их в порошок? Быть может, мировой дух хочет от меня, чтобы я, ни больше ни меньше, парализовал, нет, сровнял с землей это мерзкое заведение, этот бич человечества, его антипод? Мне известен один ядовитый газ... — Алчные замыслы, но цель их — не деньги. Оказавшись перед необходимостью выбирать, маленький человечек волей-неволей отдал предпочтение наслаждению сущим. Но изничтожить это сущее казалось ему куда заманчивей.

Дама в картотеке прервала его размышления, все более настойчиво давая понять, что она желает выйти. Он прикрикнул через дверь: вести себя тихо, или же грозят опасные последствия даже для жизни. Маленький человечек не без удовольствия пугал крупную даму. Предаваясь сладостному чувству, что теперь она в его руках, он еще спокойнее обдумывал свой неслыханный план.

Существовал ли когда на свете план, столь прозорливый, дерзновенный, столь овеянный романтикой и тем не менее математически точно выверенный? Маленький человечек поражался самому себе. Кем был он здесь до сих пор? Референтом по варьете — и только-то. На необъятном поле пропаганды ему даже не доверили обработку в духе кобесовских интересов со-

общений радио и прессы, оставили лишь крошечный мирок варьете. Он надзирал за любимцами публики — на пользу ли хозяевам их куплеты. Кто пел полезное, тому создавал успех. А кто не желал петь по заказу, неизбежно оказывался в загоне — одной артистической славой меньше.

И это было всё. Разве сравнишь это с потрясающим величием осенившей его идеи! Титанический замысел! Схватка, один на один, лицом к лицу, с повелителем миллионов, с Кобесом во плоти! Заставить его пойти на риск, необозримые последствия которого... Маленький человечек плутовал с самим собой. В сущности, его, пожалуй, куда больше прельщало стать со временем начальником отдела, чем сразу же превратиться в богоравного. Но он уже дерзнул. Откладывать нельзя. «Еще ныне предстанешь ты пред судией твоим!»

Его прошиб холодный пот. Он нагнулся, поглядел под стулом, под столом. Когда мысли твои так дерзновенны, а сам ты непроницаем, без соглядатаев и шпиков дело не обходится. Никого! Маленький человечек был разочарован. Лучше бы его схватили, прежде чем он протянет свою злодейскую руку. О, эта человеческая слабость!

Тут может помочь только та полоумная, что сидит в картотеке. Она вроде бы не из тех, кто даст ослепить себя блеском, предстань она даже пред ликом самого Кобеса. Напротив, такая укротит и тигра,— маленький человечек испытал это на себе. Пусть пойдет с ним и примет на себя первый удар! Итак, он собрался с духом, сжег за собой все мосты и двинулся вперед.

— Мадам, прошу. Пора!

V

— Следуйте за мной беспрекословно,— приказал он.— Один звук, одно ложное движение, и я не дам за нашу шкуру и вшивого биллиона.— И при этом он острым взглядом вперился в ту темную даль, куда уходил коридор. Тремя прыжками достиг угла и пригнулся у радиатора отопления. Даже дама и та, несмотря на устилавший пол толстый ковер, начала красться на цыпочках — такое впечатление произвело на нее поведение маленького человечка. Он жестами дал ей понять, что в боковом проходе, которого он опасался, болтают между собой двое охранников.

Семь минут по часам. Дама сказала:

— Сейчас я их ошеломлю.

В ответ маленький человечек бросился на нее, железной хваткой сжал запястье и заткнул рот платком. Платок случайно оказался ее собственным, и она не очень противилась. Он повлек ее дальше; охранники ушли.

У них спирало дыхание всякий раз, когда какое-нибудь препятствие грозило возникнуть на их пути. Да и сам маленький человечек не знал его как следует.

— Там мы могли бы угодить в ловушку. Западни каждый день меняют.

Целых четверть часа потребовалось ему, чтобы, обходя определенные места в полу, провести даму мимо обыкновенного гардероба. Наконец коридор стал сильно сужаться. Короткие просветы говорили о том, что сбоку идет второй, а за ним и третий коридор.

— Мы уже близки к цели,— предупредил маленький человечек. Отрезок коридора перед ними был освещен бьющим в глаза светом.

Тут они увидели перед собой круглый зал, к которому лучами сходились все коридоры. В центре за столом сидел упитанный вахмистр в штатском и чистил разобранный револьвер. Другой, собранный, лежал у него под рукой.

— Не выходите на свет! Ложитесь лицом вниз! А я пойду по боковому проходу. Как только вернусь, вскакивайте! А не вернусь, лучше уж притворитесь мертвой.— И маленький человечек решился свернуть в ближайший проход к другому лучевому коридору, а потом исчез за углом третьего. И сразу же раздался его голос — или нет, вовсе не его, а пронзительный, как у хищной птицы.

— Реттих! — бранчливо прокричал этот высокий голос.— С ума вы спятили? Зачем пускаете людей? Немедленно ко мне! Запереть дверь!

От этих слов бравый вахмистр встрепенулся и пришел в столь сильное смятение, что опрокинул стол, и побрел ощупью, словно сквозь непроглядную ночь,— он явно потерял ориентировку. Этот голос! Там! Сейчас! Такого еще не случалось, и вахмистр покорился своей участи. Ставшие ватными ноги кое-как дотащили его к месту рокового происшествия, и вахмистр послушно закрыл дверь в тот коридор. А маленький человечек уже был рядом с крупной дамой.

— Вставайте, быстро! — И он, словно на крыльях, перелетел через покинутый вахмистром круглый зал.

В стену было встроено что-то вроде бронированной двери или сейфа. Повернул ключ в одну сторону, в другую. Так, все

верно, ручка подалась. Вздох облегчения. Толкнув вперед даму, плотно прикрыл за собой дверь. Они вошли, ибо это был не сейф, а приемная.

Они очутились в среднего размера приемной добропорядочного буржуа. В данный момент она была пуста. Даже складывалось впечатление, что ждут здесь обычно недолго, несмотря на граммофон, роскошные издания, радиоприемник, биржевой бюллетень.

— Действуйте же! — сказала дама, так как маленький человечек все еще озирался по сторонам. Он включил полный свет, пустил граммофон и стал искать по стенам кнопку. Тщетно. Тогда он разозлился:

— Чего вы от меня хотите? Я же тысячу раз говорил вам: идти к мистеру Кобесу — значит рисковать жизнью. Сами виноваты, если через секунду вахмистр будет здесь и пристрелит вас на месте. Впрочем, и меня тоже, к сожалению.

Он ползал по полу, не находя того, что искал. Паника в приемной росла.

— Вы меня спасете! — вскрикнула дама, упав в кресло и в тот же миг вскочив.— Ведь у меня — деньги! Много денег! — И тут же: — Сколько стоит вахмистр?

Но у маленького человечка было дело поважнее, чем отвечать ей,— он заметил открытое окно. Перед ним вплотную — стена, значит, оно оставлено открытым неспроста. И не успел он закрыть окно, как приемная, оказавшаяся лифтом, сразу стала подниматься. Они поехали вверх.

— Слышите, как стучит вахмистр? — спросил маленький человечек.— Дошло наконец. Пытается открыть бронированную дверь, но она не поддается.

Подъем продолжался, и задержать его было невозможно. Оба хохотали во все горло, а граммофон наяривал «шимми».

— К делу! — сказал маленький человечек и остановил граммофон.— Мадам, мы войдем к мистеру Кобесу вместе. Вы будете так любезны представить меня ему как вашего соотечественника. Я намерен предложить ему одну сделку.

— О! — подозрительно воскликнула дама.

В ответ он, весьма строго:

— Вы, видно, уже позабыли, что ваша жизнь только что была в моих руках? Впрочем, я могу еще переиграть.

На это она ответила, что к подобному тону не привыкла. Маленький человечек закусил губу.

Почувствовав себя оскорбленной, дама вдруг вспомнила о своем супруге.

— Ну, он мне за это дорого заплатит! Поставить в такое положение! И это — вместо того, чтобы сразу же взять меня с собой к мистеру Кобесу! Только о своем бизнесе и думает. Знаете, что я вам скажу? Стоит мне захотеть, и никакого бизнеса им не сделать! Ни мужу, ни мистеру Кобесу. Женщина всегда добьется своего.

Маленький человечек посчитал все это пустой болтовней.

— Кстати, еще кое-что,— сказал он.— Вахмистр наверняка уже позвонил наверх. Не знаю, что нас там ждет.

Приемная остановилась. Дверь и окно совместились с этажом. И тут же в окно, как помешанный, впрыгнул, размахивая пистолетом, какой-то мужчина. Они успели выскочить и захлопнуть дверь лифта, но за порогом натолкнулись на другую, запертую. Узкое пространство, непроницаемая темнота. Тут они и остались, а лифт пошел вниз.

— Минутку,— сказал маленький человечек.— Сейчас секретарь поехал вниз. Удастся нам открыть эту запертую дверь, и он застрянет.

Им удалось. В застрявшей приемной раздался выстрел, он прозвучал довольно громко. И сразу же дверь шахты распахнулась настежь, и появилось испуганное лицо с черной бородой. Дама мощно ринулась в открытую дверь и хлопнула ею. Счастье еще для маленького человечка, что он успел просунуть ногу. Приемная под ним не двигалась с места, а выстрелы в ней гремели до тех пор, пока не кончились патроны. Маленький человечек видел свое спасение лишь в том, чтобы не дать закрыться двери. Преданный и отвергнутый, стоял он на своем забытом посту, на этом пороге, устремив в пропасть помутившийся взор. Колени его дрожали, по лицу струился пот, но выход был один: держаться.

VI

— Добрый день,— произнесла, войдя, дама.— Мистер Кобес, вы — великолепный мужчина, вот что я хотела вам сказать! — И совсем другим тоном: — Но, да будет и это вам известно, я вами крайне недовольна. Разве так поступают с дамой?

Мужчина в неглаженом черном костюме стоял, как громом пораженный. А другой, позади письменного стола, хохотал, скаля зубы, как негр. Дама цыкнула на него: «Тихо!» — и тот сразу захлопнул рот. У него было сероватое негритянское лицо, широкое, без лба, а поседевшие волосы кучерявились крутыми завитками.

— Ты не сделал того, что я хотела,— властно изрекла

дама.— Джентльмены так себя не ведут. Что бы там мистер Кобес ни думал, а являться сюда без меня тебе не следовало. Без меня тебе бизнеса не сделать. Точка. Ты меня понял.

Супруг с опаской приподнял тяжелые веки, стараясь как-нибудь упрятать за стол свои широкие плечи. Неглаженый мужчина в черном заговорил:

— Мы здесь, сударыня, к подобным вещам не привычны. У нас дамы в дела не вмешиваются. Женщине место дома. Я не позволю...

Но вопль восторга прервал его. Простирая к нему руки, дама воскликнула:

— О мистер Кобес! Что за смешной у вас голос! По радио он совсем не звучит такой свистулькой!

Но Кобес решил не поддаваться. Если только она не начнет стрелять.

— По радио за меня говорит другой,— деловито ответил он.— Но я не позволю...

— Ну и пройдоха же вы, мистер Кобес!

— Я не позволю меня изнасиловать, сударыня!

— Именно это она и хочет сделать,— пояснил супруг.— Вот увидите, вам не отбиться! — В голосе его прозвучало самопожертвование и вместе с тем предостережение.

Кобес проворчал:

— Продолжим наши переговоры, иначе я могу использовать свое время продуктивнее. А вам, сударыня, лучше всего подождать в приемной.

— О нет, мистер Кобес! Там, верно, все еще сидит ваш секретарь. А другой мужчина был отнюдь не джентльменом.— И она без приглашения уселась за стол.

Кобес не удостоил ее взглядом.

— Что ж, приступим,— предложил он своему компаньону.— Итак, берем весь мир...

— И объединяем в единый сверхтрест,— продолжил его мысль компаньон.— Всё как есть...— И он сделал своей сероватой рукой округляющий жест.

— Я и вы действуем заодно, скупаем все подчистую, и — раз-два — нет больше никакого мирового хозяйства, а есть одна частная компания, а наша фирма — orbis pictus.

— Yes,— ответил компаньон с твердой решимостью. Они сидели друг против друга, как два заряженных чудовищной энергией источника могучей силы.

— Мне не хватает только одного,— сказал Кобес и, схватив маленький игрушечный локомотив, пустил его по своему

письменному столу. Тот докатился до края, опрокинулся вверх колесами и затарахтел. Кобес перевернул его и направил обратно. Он следил за локомотивом своими глубоко и слишком близко друг к другу посаженными глазами, на желтом лбу вздулись пузыри. Лицо его приняло полубезумное выражение какой-то печальной алчности. Супруги-иностранцы громко обменивались репликами на своем языке, муж гоготал, как негр. Но Кобес не слышал ничего. Печальная алчность властно завладела им.

Голосок его просвистел:

— Вот единственное, что я не сумел прибрать к рукам! Но я должен заполучить это во что бы то ни стало! Возьмите себе наши железные дороги в залог уплаты германских долгов. Создайте частное акционерное общество, скупите акции, назначьте генерального директора, а я буду иметь в деле свою руку, и с меня достаточно. Я и вы — заодно! — И, наполовину привстав в своем кресле, он уставился в компаньона гипнотическим взглядом.

Белому негру стало не до смеха. А дама сказала сверхвосторженным тоном.

— Мистер Кобес, вы неподражаемы! Чтобы отхватить у своей страны железные дороги, вы вступаете в сговор с ее иностранными кредиторами. Вместо того чтобы самому заплатить кредиторам, вы заключаете с ними наивыгоднейшую в вашей жизни сделку, а страна ваша оплачивает ее. Вы — самый величайший пройдоха на белом свете. Но меня вам не провести!

— Это так,— подтвердил супруг.— Погодите еще!

— Или вы сделаете то, что я хочу, или вашей сделке не бывать!

Но Кобес игнорировал ее.

— Мистер Кобес,— спросила дама,— скажите, и как только вы додумались до этой роскошной аферы с инфляцией, выжавшей из вашей страны последние соки? Расскажите, прошу вас! Ведь это же грандиознейшая афера со времен сотворения мира!

Кобес с трудом соображал. Когда же наконец уразумел, поднялся, желтым пальцем указал на свою крахмальную манишку, на широкий траурный галстук:

— О какой афере вы говорите? Вы, верно, меня с кем-то спутали. Иначе я попросил бы вашего супруга отправить вас домой. Я — честный коммерсант и человек исключительно твердых национальных принципов. Зарабатывая деньги, я при-

ношу тем самым пользу и своей стране. К тому же мне, вероятно, придется еще и уплатить налог. Когда терпит нужду все общество, должен приносить жертвы каждый.

— О! — с восторгом произнесла дама.— Вы это и по радио говорите! Умеете околпачивать!

— Я — против рекламы,— с убежденностью заявил Кобес.

— О! — Дама так и осталась с открытым ртом.

— И никого не околпачиваю. Я — человек простой, у меня простые мысли.

— Я грезила о вас, мистер Кобес! — воскликнула дама.— Но мне и не снилось, что вы так великолепны! Как? Вы это делаете не нарочно? И даже не знаете, кто вы такой? И тоже пожертвовали всего десять центов на туберкулезных детей, которых сами породили? Я хотела бы расцеловать вас!

— Берегитесь! — предостерегающе сказал супруг.

Кобес отпрянул. Оглядел себя донизу, все ли у него в порядке.

Дама сказала:

— Мы у себя дома тоже люди богатые, но этим свой народ еще не разорили. Что нам за радость от такого богатства! Что значит богатство, если оно не грех! А вот вы ухитрились стать даже богаче нас и при этом еще сделать свой народ самым нищим в мире. Вы — человек, познавший прелесть жизни!

Теперь пришел в экстаз и супруг.

— А если вы вдобавок приберете к рукам и железные дороги, можете смело ставить на «зеро» всю Германию! Банкомет платит выигрыш долларами. Счастливчик!

С Кобеса — как с гуся вода. Стоит печальный и недовольный.

— Верите ли вы в дьявола? — спросила дама.— Хоть раз увидеть, и вернулась бы моя утраченная младенческая вера.

Тут Кобес окончательно решил: чокнутая.

— И вот теперь я его вижу! — уверенно объявила дама. От сладкой жути у нее застучали зубы.

— Берегитесь! — крикнул супруг, а Кобес поспешил укрыться за столом.

Но дама совладала со своими нервами. Совершенно трезво она сказала:

— Мистер Кобес, я вас люблю.

Тут кобесовская печаль перешла в явный ужас.

— В присутствии вашего мужа? — заикаясь, произнес он.— Любовное признание?

— Мы — такие,— не без гордости произнес супруг.— Желание наших дам — для нас закон. Иначе ты просто не джентльмен. Моя жена хочет спать с вами, мистер Кобес. Вот и все.

У столь желанного мужчины отвисла челюсть. Руки опустились до пола.

— Как же я могу пойти на это? — пролепетал он.— Ведь я же отец семейства.

— Но прежде всего — вы величайший прохвост, мистер Кобес,— заявила дама.— Поэтому вы мне и нравитесь.

— Я? — крикнул Кобес, и ужас его приобрел оттенок возмущения.— Это я-то, с присущим мне уважением к семейному очагу и морали? Никогда!

— Тогда не бывать и нашей сделке,— сказал супруг.— Я не вправе заключить ее с вами, если вы не переспите с моей женой.

— Это немыслимо, мне грозит крах,— простонал Кобес и, заломив руки, рухнул в кресло.

— Придется все-таки решиться.— Супруг завел часы.

Дама спросила:

— Вам в самом деле это так тяжко, мистер Кобес? — Она наклонялась вперед, откидывалась назад, прохаживалась танцующей, как в «шимми», походкой, словно царица Савская.

— Ну, как, скоро? — ворковала она.

Супруг хихикал, прикрывая рот ладонью.

— Иначе мне не заключить сделки! — вырвалось из раздираемой мукой груди Кобеса, и он в приступе безумной алчности с силой пустил локомотивчик по столу.— Немыслимо! — повторил он, смертельно бледный, и встал.

И в этот самый миг с неба прозвучал громовый голос: «Кобес не обжирается, Кобес не напивается, Кобес не пляшет, Кобес не блудит...»

Супруг выглянул из окна. Смена: внизу потянулись навстречу друг другу два нескончаемых потока рабочих. Радиоголос с продырявленной красными бликами небесной выси возглашал им то, что им следовало слышать: «Кобес не блудит...»

Супруг оглянулся. Неглажено-печальная фигура Кобеса молча склонилась перед дамой.

— Что ж, приступим,— вздохнул он.

А она сказала:

— Вам надо научиться еще и танцевать, мистер Кобес.— И повернула его лицом к гремевшему с улицы радиоголосу: «Кобес двадцать часов в сутки трудится».

VII

Дверь рывком распахнули, и еще бы немного — маленький человечек свалился в пропасть. Но, не заметив его и увидев, что приемной на месте нет, дверь снова прикрыли. Вызванная наверх приемная подошла, но лишь только они открыли ее, как прямо на грудь даме, хотевшей войти, повалился кобесовский секретарь. Бездыханный, он скользнул вдоль ее тела и шлепнулся на пол. Сочтя свою карьеру конченной, он пустил в себя последнюю пулю. Труп кровоточил несильно, и убрать его было легко. Пока супруги входили в лифт, а Кобес на прощание махал им рукой, маленький человечек незаметно проник в кабинет.

Нервы его были закалены испытаниями минувшего часа. Пребывая в полуобморочном состоянии и обливаясь потом от сознания той опасности, которой подвергалась его жизнь, он все же почувствовал себя сильнее властителей мира сего. Собственными ушами слышал он, сколь жалки они, между тем как его самого не может ввести в искушение ничто человеческое! И что против него этот Кобес! Вот как уверенно чувствовал себя маленький человечек, стоя на краю страшной пропасти. Но, едва оказавшись в безопасности кабинета, он сразу утратил веру в себя. Удастся ли избежать катастрофы, столкнувшись лицом к лицу с таким богачом в его же собственном кабинете?

Возвращается Кобес. Словно он побывал под колесами, жалкие останки прежнего. Схватка алчности с предрассудком подорвала эту могучую силу! Повыламывала ему кости, превратила в отрепья его скромную одежду. Лицо вытянулось и подергивалось судорогами, как вода рябью. Заметив в кабинете человека, он крикнул: «Помогите!»

Услышав это, маленький человечек от ужаса задергал лицом, словно на пари с Кобесом. Так и стояли они друг против друга, один беспомощнее другого. Чересчур большая голова философа сообразила это первой,— знание придает силу.

— Кобес,— сказал маленький человечек,— вы — на краю жуткой бездны. Вас неотвратимо увлечет в нее раж такой страсти, какую на сей раз вам не утолить ничем, кроме как ценой своей буржуазной благопристойности. Вы человек трагической судьбы, Кобес! Одаренный корыстолюбием — единственной из всех страстей, которая рассчитывает, а не расточает,— вы вдруг встали перед необходимостью принести ей в жертву все, чем были до сих пор,— супруга, отца, высоконравственную личность. И вы хотите помощи, не так ли?

— Кто вы? — спросил наконец Кобес. И так как маленький человечек в ответ лишь показал на свой могучий лоб, добавил: — Этим и живете? — Попытка без ущерба для себя использовать материальную слабость предостерегающего.

Маленький человечек раскусил маневр. С сознанием своего превосходства он улыбнулся.

— Моя фамилия — Занд. Не Кант. Всего только Занд. Я сух и бесплоден, как песок, но зато подвижен... И не оставляю следов.

— Ну, и что мне до этого? — спросил Кобес, возвращаясь к своей прежней попытке.

Маленький человечек обрел почву под ногами. Не сел на стул, указанный Кобесом. Нет, он обрел почву и заговорил со всеми приемами ораторского искусства.

— Даю вам неслыханный шанс выиграть. Вы окажетесь в состоянии немедленно заполучить в свои руки и, более того, сразу пустить в ход новую религию, которую в муках и страшных конвульсиях рождает наш континент и которую вы тут же возвестите своей клиентуре при помощи радиотелеграфа.

— Что еще за новая религия? — Кобес играл роль безучастного.

— Миф о Кобесе,— объяснил тот.

На это Кобес:

— Я — против рекламы.

— Нет, вы только против уплаты,— терпеливо возразил маленький человечек.— Но отнюдь не против рекламы. Ведь ваш кредит живет рекламой, а сами вы — кредитом. Хотите быть разумным? Или я ухожу и без сострадания бросаю вас на произвол долговых требований вашей неумолимой иностранки. А вы — неплатежеспособны.

— Помогите! — залепетал Кобес, вновь во власти угрызений своей нечистой совести.— Как приспособить эту религию к даме?

— Дайте мне равноценный эквивалент за то, что я раздую миф о Кобесе, и я тут же покончу с дамой. На сей раз — бескровно. А вы заграбастаете германские железные дороги, больше никогда в жизни не услышав ни о даме, ни об ее ужасных требованиях.

— А это не надувательство? — просвистел Кобес на самой верхней ноте.— Представьте обоснования!

Он не желал больше слушать ни слова без готовых выкладок. Но маленький человечек не мог отказаться от своего счастья естествоиспытателя, он планировал еще куда более болез-

ненные приемы врачевания души великого Кобеса. Бросая по сторонам опасливые взгляды, он спросил:

— Мы действительно одни? Ваши технические средства могут оказаться богаче, чем мне известно.

Чтобы успокоить его, Кобесу пришлось самолично обследовать вместе с ним каждый миллиметр кабинета. Убедившись в том, что никакого, даже самого незначительного приспособления для подслушивания вроде бы нет, маленький человечек холодно произнес:

— Вот запечатанный конверт, в нем — моя идея. Вы получите право прочесть содержимое, как только подпишете этот договор. Договор предусматривает назначение меня на должность моего начальника.

— Что? — просвистел Кобес.— Ведь вы всего-навсего — технический сотрудник отдела пропаганды?

— В силу договора я стану генеральным представителем мифа о Кобесе. Не заблуждайтесь: и вы сами, и все ваше дело оказываетесь целиком в моих руках. Я создаю бога, и я же могу повергнуть его наземь. А повергнутый бог — это банкрот.

— И вы имеете наглость,— свистел Кобес,— будучи моим служащим, предлагать мне сделку! Дайте сюда письмо и убирайтесь вон!

На это маленький человечек, сунув руку в карман брюк, ответствовал:

— То, что я вытащу сейчас из кармана, если вы не станете вести себя прилично, вам неверняка придется не по вкусу.

Богач, стуча зубами, отпрянул.

— Если вы выстрелите через карман,— заикаясь, забормотал он,— выстрел услышат. Передатчик-то вы не заметили! Осторожно! Вы падаете в шахту! — крикнул он.

Но это оказалось уловкой. Стоило маленькому человечку оглянуться, как Кобес тут же бросился на него, но тот вовремя увернулся. Теперь договаривающиеся стороны стояли лицом к лицу и орали друг на друга.

Первым утихомирился Кобес. Ему пришло на ум, что иногда ему случалось бывать побежденным, но не надолго. Месть его приходила сама собою, ибо он умел собрать в кулак всю свою силу, когда у врага уже не оставалось ничего. Он мог проглатывать поражения и ждать своего часа.

— Что ж, приступим,— сказал Кобес.— Где хотите обсудить это дело? Решайте сами!

— В приемной. Но сперва — вашу подпись!

И оба они — один, обладая своей подписью, а другой — своим предложением в запечатанном конверте,— вошли в вызванную наверх приемную.

— Будем ездить вверх-вниз, пока не договоримся,— сказал маленький человечек.— Вы схватите конверт, а я — договор.

— Деловой сметки у вас больше, чем можно было ожидать,— пропзнес Кобес, быстро отведя глаза в сторону и выдавив из себя притворно-простодушную улыбочку.

Так и ездили они — вверх-вниз. Крайне заинтересованные в сделке — вверх-вниз. Дыша друг другу в лицо — вверх-вниз. Вцепившись друг в друга зубами не на жизнь, а на смерть — вверх-вниз, все в той же шахте лифта.

VIII

Народный дом. Сегодня вечером должно состояться представление, но что дадут, никто не знает, одни слухи. Бесчисленное множество рабочих вместе со своими отпрысками. Наконец-то оценили они как следует счастье быть развлекаемыми, наставляемыми, умиляемыми и ублажаемыми своим заводом. Счастье воспринимать весь мир и завод как единое целое, а не просто быть на заводе людьми. Человеческая гармония между предпринимателями и массой, сама собою возникавшая при былом патриархальном состоянии, теперь вновь обретена на самом высоком уровне. Душа рабочего уловлена в сети. Время мелкотравчатого материализма миновало. Пропаганда — это, по-существу, признание запросов души, ее уловление с целью извлечь из человека бóльшую прибыль.

Бросалось в глаза лишь отсутствие начальника отдела пропаганды. А его подчиненного с чересчур большой головой философа основательно взял в оборот прелестный юноша с акульей пастью.

— Вы, кажется, заменяете здесь генерала. Никто из нас, начальников отделов, вот уже целых три дня не знает, что с ним. Возникают всякие тревожные версии...

В ответ маленький человечек напустил тумана. Ему известно только об отпуске шефа и больше ничего.

— Что это за таинственное представление?

Маленький человечек только пожал плечами. Он был не в курсе дела, но, возможно, из-за кулис действовал его начальник. С другой стороны, нити могли тянуться и гораздо выше и, по-видимому, терялись в неведомой дали.

— А что, если сегодня к ним снизойдет бог? — произнес маленький человечек и претенциозно улыбнулся.

Но для прелестного юноши с акульей пастью это, после явления божества в картотеке, было уж слишком.

— Опять темните,— холодно произнес он и прошел дальше.

Младенцев было положено сдать в гардероб. Кормящие матери сновали туда-сюда. Мужчины необозримой толпой сгрудились у столиков, отдавая дань потреблению. Детей было видно мало, они предпочитали ползать под полом, по небольшой игрушечно-учебной шахте, тянувшейся внизу. Иногда они вылезали на свет черные и потные, считая, что повидали чудо,— они и не чуяли, что их детская игра имеет такое важное значение для будущности германской экономики во всемирном масштабе.

И вдруг наступила тишина. Она пришла незаметно. За одними столами уже смолкли, за другими еще шумели. Никто не объяснял соседу, почему замолчал сам. Островки молчания бесшумно приветствовали друг друга, словно пальмовыми ветвями. А между ними — все еще шумели, но и шумевшие наконец догадались замолчать, так и оставшись с открытыми ртами. И вот уже весь зал — во власти той тишины, что без сопротивления, капля за каплей падает в вечность. Молчащая масса устремила взоры на сцену.

Люди поглядывали туда не без уловок, почти никто не решался делать это в открытую. Бросали взгляды искоса, моргали, скашивали глаза, повернув голову в сторону. Да возможно ли! Наяву ли! Ничто не предвещало этого. Внезапно сцена открылась, на ней кто-то стоял. *Он* стоял там и вместе с тем не мог стоять там. Это было бы сверхъестественно. Безмолвный закон природы не допускал доступных органам чувств доказательств его существования. Ему надлежало царить над всем, быть недосягаемо далеким и великим, этому незримому фюреру, ради которого — все труды наши. И вот теперь он стоит там? Собирается произнести речь перед народом?

Сенсация, в которой разочарованию уже заранее сопутствовало недовольство. Но сенсация огромная: уши у всех раскрылись боязливо и жадно. А тот, наверху, сказал:

— Встаньте! — И они встали.— Сядьте! — Все сели.— Еще раз! Еще!

И они повторяли столько раз, сколько он хотел. У него был вибрирующий, просто-таки идущий из груди голос, словно он способен был петь; но он не пел, а приказывал. Облик — черное с желтым, сутул, руки чересчур длинны, взгляд пуст и почти

неподвижен. Серьезен и печален — гораздо больше, чем положено людям. И, стоя там, наверху, черный и желтый, на черном фоне, он вполне мог сойти за возникшее из прошлого видение давно исчезнувших миров. Вот он поднял руку, и все замерли в ожидании, что сейчас он, подобно обезьяне, начнет карабкаться по карнизу сцены.

Наконец он заговорил снова:

— Хватит вам загаживать мой дом. Блевать надо в сортире! — А голос был подобен виолончели. Чувствительные женщины прослезились.— Раз в неделю,— приказал он,— вы обязаны давать выкачивать свои желудки. Все без исключения. Всё, что жрете ныне. Когда терпит нужду все общество, должен приносить жертвы каждый.

Тут-то, по этим словам, они и признали его.

— Вы обязаны посылать своих жен на проверку,— повелел он. Насмешники, видно, только того и ждали, они восприняли это иронически, но прирожденные люди порядка тут же расколошматили им головы заодно со скамейкой.— Вы обязаны посылать своих жен на проверку,— повторил он.— Только выданное руководством фирмы свидетельство по форме 1-а дает право иметь потомство. Нести расходы на туберкулезных детей я отказываюсь раз навсегда.

Тут и дети тоже повыползли из своей угольной шахты; протиснувшись к сцене, они впитывали в себя каждое слово.

Но вот среди теснившихся впереди детей началось попятное движение, ибо теперь голос уже стал угрожающим, распалился, загремел раскатами:

— Вы обязаны думать обо мне ежевечерне. Начиная с десяти лет обязаны стоять в мою честь десять минут на голове. С двадцати до тридцати — совокупляться со своими женщинами, вися между спинками стульев и опираясь на них затылком и голеностопными суставами. До сорока — вешаться на крюк и в последний миг обрезать веревку. Больше от человека потребовать нечего, разве что кричать «ура» в поддувало.

— Послушайте, у вас какой-то странный вид! — сказал прелестный юноша с акульей пастью, незаметно снова оказавшийся рядом с маленьким человечком.— Не глаза, а фонари прямо. Отправляйтесь-ка домой.

— В такой момент — домой? — пробормотал маленький человечек.— Когда все идет распрекраснейшим образом?

— Что — всё? Вы знаете, что будет дальше?

Маленький человечек почувствовал, что юноша хочет подловить его, и сразу притушил блеск своих глаз.

— Ничего я не знаю! Но что за чудный голос! Даже его радиоголос не столь неотразим, как настоящий.

— Настоящий? А разве он не звучит совсем по-другому? Изобразите-ка! Ведь вы это можете.

Теперь у юноши и глаза стали акульи. Маленькому человечку поневоле пришлось взглянуть в них, и это его взвинтило. Чрезмерное напряжение вызвало в нем желание пойти на риск навлечь на себя беду шутовской выходкой. Он настроился на маленький высокий голосок и просвистел:

— Кричать «ура» в поддувало!

И оба понимающе поглядели друг на друга.

А голос на сцене все гремел раскатами.

— Кобес не обжирается, Кобес не напивается, Кобес не пляшет, Кобес не блудит. Кобес двадцать часов в сутки трудится. Поступайте так же, как я, и вы станете такими же, как я. А я, ежели захочу, могу изнасиловать собственную сестру; любому работяге путь к этому открыт. Для меня нет ничего запретного, я — по ту сторону добра и зла. Будьте же такими, как я!

То было задушевнейшее совращение, у всех по спине озноб прошел.

— Хотите, дети мои? А ведь вы можете! Только для этого вы должны быть готовы прыгнуть даже в доменную печь. Вот тогда и добьетесь своего. Кто способен прыгнуть в доменную печь, тому все нипочем, он может все, что захочет.

И в этот миг занавес позади него поднялся и на сцене выросла доменная печь. Она была небольшой, но восхищенным взорам представилась гигантской. Раскаленное дыхание раздувало в ней настоящее пламя. Домна накалилась докрасна, но шипение, потрескивание и фырчание, доносившиеся из нее, производили они сами.

Черный силуэт на фоне доменного зарева заманивал: «Ну же, детки, идите!»

И они пошли — дети, уже давно нетерпеливо наваливавшиеся на авансцену. Первым — смелый мальчуган, он горделиво оглядывался вокруг, словно борец на ринге удостоил его высокой чести подняться на помост. Черный силуэт — никто и глазом не успел моргнуть — отправил его прямо в топку. Вопль ужаса внизу. И тут же у всех снова перехватило дыхание: следующий. А за ним еще и еще.

Увидев, что это продолжается и никто не решается помешать молоху, все примирились с происходящим, как с реальным фактом. Тех матерей, что пытались сопротивляться, быстро

поставили на место. Взрывы возмущения и попытки воспрепятствовать тут же пресекла сразу объявившаяся добровольная полиция; непокорных оттеснили назад. А впереди теснилась та часть человечества, которой происходящее открывало негаданные перспективы. Самозабвенно причмокивали, бледнели, глаза повылезали на лоб. Им бы самим так! Да притомись истопник, они бы тут же помогли ему.

Сочтя, что жертв у его печи уже достаточно, он вышел вперед, воздел к небу длинные руки и возгласил:

— Освобождаю вас от всех запретов! Насилуйте своих сестер! Хватайте любого за глотку! Тому, кто не убоялся моей доменной печи, не властен приказывать никто — ни люди ни бог. Один только я! Но я дарую вам свободу!

И тут и его самого, и его доменную печь скрыл упавший черный занавес. Толпе не хватало только этого. Она пришла в буйство, тщетны были попытки благоразумных сдержать ее. Поначалу разгромили буфет, а под конец пол усеялся клубками полуобнаженных людей, которые в одно и то же время свивались в любовных объятьях и убивали друг друга. И все это тонуло в облаке чудовищного зловония разнузданной плоти.

Пробившись через эту пелену, маленький человечек и прелестный юноша с акульей пастью, полуослепшие, натолкнулись друг на друга. Юноша просто потерял голову.

— Дозволено ли это? Или следует вмешаться полиции? Знать бы, кто был этот человек на сцене! Знать, что задумано наверху!

Маленький человечек крикнул ему в ответ сквозь гам и шум:

— Наверху задумана новая религия. Новая религия, которую в муках и страшных конвульсиях рождает наш континент. Разве вы не знали? Вот так она выглядит. Кобес уже давно шел к тому, чтобы стать богом. Теперь он им стал.

— Бред! — заорал юноша.— Тот, кто не спятил, как вы, а сохраняет трезвость ума, никогда не доходит до логического конца. Это во вред любому делу. Хорошие дела делают, только держась золотой середины. Всегда оставаться трезвым! — И в этот момент из облака зловония на него повалилась до бесчувствия пьяная баба и увлекла с собой на пол. Маленький человечек, лишь в мыслях своих не знающий препон, с отвращением отвернулся.

— Трезвым! — воскликнул он и поднялся на возвышение над входом.— Будто вы творите это потому, что сильны. Ваша

слабая плоть свидетельствует о бесплодном духе. Народ, народ мой! — провозгласил он сверху, простерши руки.— Вот таким я люблю тебя. Будь свободен и велик! Тобою самим же избранные фюреры указали тебе путь, а я забочусь только о том, чтобы снять с тебя последние путы. Твой бог, народ, желает, чтобы ты принес ему свою конечную жертву: твой рассудок! А ну, подай его сюда! — И он закашлялся от поднимающейся кверху вони. Но тем сильнее кричал он, перекрывая гул: — А когда он отнимет у тебя последнее,— пойми, народ,— когда бог этот получит от тебя все без остатка,— тут ему конец. Больше пожирать он уже не сможет, ибо будет сыт по горло. А стоит ему умерить свою алчность, как он станет беззащитен. И тогда он будет уложен наповал, прикончен, прихлопнут.— И маленький человечек бросил в неистовствующую толпу: — Помни, о народ! Это свершу я! И это будет деянием одной лишь мысли!

Тут из облака вони и дыма к подножию возвышения придвинулось чье-то лицо. То был юноша, и он сказал, разевая свою акулью пасть:

— Вот теперь-то вы себя и выдали!

IX

На следующий день начальник социального отдела принимал посетителя.

— Герр Далькони, я о вас знаю. Это я ангажировал вас.

«Так, Далькони, блондин, слегка рыжеватый и вроде бы не Кон»,— думал про себя начальник отдела.

Далькони сказал:

— Но тот мужчина был мал ростом, а вы такой высокий.— Сказал тихо, деловито, не отводя глаз, кстати посаженных глубоко и близко друг к другу.

— Вы, верно, шутите,— ответил начальник социального отдела,— мужчина маленького роста, о котором вы говорите, это наш лифтер.

— Я не шучу никогда,— возразил Далькони.— Я всегда пунктуально выполняю свои обязательства и жду того же от других.

— Вы нам подходите,— поощрительно сказал начальник социального отдела.— Но как могло случиться, дорогой Далькони, что до сих пор мы никогда не слышали о вас? Мы бы вас давно купили и тем самым обезвредили. Больше вам выступать не придется.

— То есть как не придется? — Глубокий ужас.

— Да так, не выйдет, Далькони. Ведь вы подготовили не какой-нибудь обычный номер, а номер иллюзионный. Прямо скажем, первоклассный.— При этих словах Далькони засиял.— Кстати, кто его придумал? Нам нужна фамилия этого человека. И тем не менее номер ваш,— заключил начальник отдела,— для нас неприемлем.

Далькони задумался. Потом спросил:

— А если, несмотря на это, я буду разъезжать с ним?

— Попробуйте! — Начальник социального отдела распахнул и снова захлопнул свою пасть.

Далькони, с еще большим испугом в голосе:

— Не троньте меня! Я знаю, если вы надумали меня разорить... Вы уже разорили других...— И, увидя перед собой акулью пасть, добавил: — Не оплатите ли вы тогда мой контракт на четырнадцать дней? Такой жалкий неудачник, как я, сразу подумал об этом.

Тут прелестный юноша с акульей пастью проявил глубокую человечность. Положив на плечи посетителю свою длинную руку, он мило произнес:

— Садитесь, Далькони! — Движения его теперь опять были не без претензии на благородство. Он даже сумел придать сладость своему голосу. Все было рассчитано на человека, способного ценить искусство.— Что, собственно, вы теряете, Далькони? Ведь мы вас компенсируем!

— А вы можете?

«Интонация усталая, с оттенком сомнения, нет, все-таки, верно, Кон»,— подумал начальник социального отдела.

— Я начинающий артист,— сказал Далькони.— Что поделаешь, приходится работать на пригородных сценах или в провинции. И имени никакого. Что ж поделаешь. Но все-таки кое-какие виды есть. И не только в смысле заработать побольше денег.

— Ведь и Кобес работает не только ради денег,— произнес начальник социального отдела.— Разве художник рисует картины, композитор сочиняет музыку ради денег? Стремление творческой личности к созиданию...— Он словно проснулся.

— Вот именно,— сказал Далькони, не проявив никакого удивления.— Труд артиста для меня сам по себе вознаграждение. Как думаете, успех это для меня или нет, что ваш лифтер велел мне так срочно явиться сюда? На машине доставил — это ли не успех? И сразу — большую сцену, огромный зал, полный народу. Для таких иллюзионных номеров это необходи-

мо — иначе публику за живое не возьмешь. А разве вас лично не захватило?

— Отрицать нельзя, Далькони. Да и для вас самого это было наслаждение.

— Тут уж не до наслаждения, когда семь потов сойдет!

Начальник отдела оборвал его:

— Итак, вы останетесь у нас. Наш долг — не спускать с вас глаз.

Далькони огляделся по сторонам, ища дверь.

— Ради бога, лишение свободы?

— За кого вы нас принимаете? Вы будете здесь служить. Постоянно, с отличным, твердым окладом. Получите в отделе пропаганды сектор варьете. Ваше прежнее амплуа.

— Заботиться о своих коллегах? А самому больше никогда не выступать?

Мучения артиста тронули даже начальника отдела.

— Никогда? Кто вам сказал? Случай всегда представится. У нас ведь есть дом умалишенных для наших рабочих и служащих. Да не один, а целых семь — и места в них берут с бою.

— Выступать перед сумасшедшими?..

— Как вам угодно, но людям в здравом уме ваших представлений не видать.

— Перед сумасшедшими! — Он надломился, словно уже сам стал одним из них. Но постепенно стал находить в этом утешение.— В конце концов,— бормотал артист,— сумасшедшие, пожалуй, поверят охотнее.

— Вот видите,— заключил начальник социального отдела. Но когда Далькони поднялся, доверительно попридержал его.— И еще одно, мой дорогой. Сугубо конфиденциально. На днях мы ожидаем одну даму. Деловой визит, если так можно выразиться.— Легкий смешок кавалера.— Мы намерены поручить это дело вам. Но вы должны сыграть в точности ту самую личность, что и в вашем иллюзионном номере.

— Я должен в его маске эту даму?..— Далькони нисколько не удивился.— Но это будет стоить дороже,— не задумываясь заявил он.

— Дама недурна. Крупная, а это лестно. Я бы тоже не сплоховал. Но это обязательно должна быть маска вашего персонажа. Мы на вас полагаемся, считаем, что не подкачаете.

— И именно в том положении? — меланхолично спросил Далькони. Он продолжал настаивать, что это будет стоить дороже.

— Немыслимо, мне грозит крах! — восклицал начальник отдела. Но на сей раз сила была на стороне Далькони, и он знал, что добьется своего.

Наконец сошлись в цене. Далькони направился к выходу.

— Находясь с дамой, говорите тонким голосом! Свистите! — крикнул вдогонку ему начальник социального отдела.

X

В дверях Далькони столкнулся с маленьким человечком, но не уступил ему дорогу, а сунул руку в карман:

— Вот тебе, малыш!

Маленькому человечку пришлось глянуть на купюру с презрением, а на Далькони — с крайней строгостью, и только тогда он смог войти, сохраняя свое человеческое достоинство. Скрестив руки на груди, он шагнул навстречу начальнику отдела.

— Что это значит? — спросил он требовательным тоном. Поскольку противник притворился непонимающим, он протянул ручонку к двери: — Чем вы тут с ним занимаетесь?

Далькони, дабы остаться вне игры, бесшумно исчез.

— Не потрудитесь ли вы прежде всего вести себя с начальником подобающим образом? — потребовал прелестный стройный юноша с акульей пастью.

Услышав такие слова, маленький человечек забыл о всякой сдержанности.

— Это вы-то — мой начальник? Обманчивая видимость — вот что вы такое! Я позабочусь о вашем отстранении.— Он прямо-таки трясся от распиравшей его жажды власти. Юноша рассмеялся, разинув пасть до отказа,— и весь ответ.

— Не смейтесь! — крикнул маленький человечек, топая ногами.— Держите ответ! Что у вас за дела с моим Далькони?

— Только что я привлек его к постоянной работе в наших целях.— Юноша сразу стал просто покладистым.— Вы только подумайте, он сможет демонстрировать свой иллюзионный номер в нашем доме умалишенных столько, сколько нам понадобится.

— Где? В...— У маленького человечка сперло дыхание, и, лишь снова обретя дар речи, он крикнул: — Вы не просто крадете у меня мою идею, вы ее и обесцениваете! Ни на что иное вы со своей акульей пастью не способны! Никогда в жизни вам не родить идеи, вы можете лишь украсть ее и обесценить.

Юноша по-прежнему оставался предупредительным.

— При всем моем почтении к вам лично,— что стоит идея, если она у того, у кого нет власти!

— У меня есть власть.— Маленький человечек сунул руку в вырез своего жилета.

— Ну, тогда все в порядке,— еще вежливее проговорил начальник отдела.— Охотно признаю, что никто не поднимается вверх так гладко, как лифт.

— Вы забыли про клопа, ползущего по стене,— ехидно возразил маленький человечек.

Теперь юноша уже просто угодничал, так он был сговорчив:

— Клоп водится в комнате. А лифтера ждет свежий воздух на улице. Только не терять мужества, герр доктор! — сказал он, жестом приглашая его сесть.

Маленький человечек насторожился.

— Вы явно зарвались, юноша,— сказал он все еще решительно.— Я — начальник отдела пропаганды. Вот мое свидетельство! — И он вытащил свой договор с верховным божеством.

Юноша прочел его, преисполненный уважения.

— Вы назначены преемником генерала. Тут ничего не скажешь и ничего не попишешь. Однако начальником отдела пропаганды это вас отнюдь еще не делает. Пока, наряду с социальным отделом, отдел пропаганды возглавляю я. В настоящее время у него нет начальника.

— У него есть я,— произнес маленький человечек с начинающимся сердцебиением.

— К сожалению, этого сказать нельзя, сколь ни рад был бы я поздравить пропаганду с таким шефом.— Голос его стал мелодичен от дружелюбия.— Вы — всего лифтер. Ибо генерал, преемником которого вы назначены, накануне подписания вашего договора был разжалован в лифтеры. Вот свидетельство.

— Оно датировано задним числом! — крикнул маленький человечек в состоянии душевного отчаяния.— Неслыханный, дьявольский обман!

— Хотите разоблачить его? — участливо спросил юноша.— Жаловаться? Жаловаться — но на кого? На незримый, вероятно и не существующий идол той религии, которую вы сами предназначали тяжко страждущему континенту?

— Он существует! Вот его подпись! — Маленький человечек боролся.

Юноша мягко поднял плечи.

— Кто признает ее действительной? Суды, вы знаете, глубоко религиозны. Общественное мнение — тоже. Они будут полны решимости не допустить ни малейшего влияния бога на

дела земные — из страха, что это может лишить его святости. Ваша жалоба будет отклонена. Вы так и останетесь лифтером. Да...

Юноша перевел дыхание, а может, это был вздох сострадания.

— Да, кстати, если вам дадут дурной совет воспроизвести эту историю со звездой варьете Далькони и генералом-лифтером в тех немногих газетах, что еще не контролируются нами... Ах, вот тогда только и начнется ваше хождение по мукам. Придется нам тогда ответить, что Далькони, как легко можно доказать, выступает исключительно в сумасшедшем доме. А потому и ваша история могла произойти только там. И, следовательно, вы сами, в чьи сети попались эти несколько газет, тоже оттуда. А чтобы это было правдой, придется вас туда посадить.

Здесь силы покинули маленького человечка, и он рухнул. Начальник социального отдела обильно побрызгал его водой. Когда побежденный очнулся, он не стал унижать его физической помощью, а дал посидеть на полу, пока тот не смог подняться сам. Склонился над ним, как над ожесточившимся ребенком, который должен наконец заплакать и попросить прощения, и убеждающе зашептал:

— Сознайтесь же! Вы — против Кобеса. Вы хотели поднять на Кобеса руку. Вы хотели его... Ну да, свергнуть... Ваша религия должна была раздеть его, показать без прикрас, к чему в конечном счете приведет его система, нанести миру такой удар в самую грудь, чтобы он содрогнулся от ужаса. Дитя!

И, весьма озабоченный, юноша уронил слезу, между тем как из акульей пасти его стекала слюна, источаемая проповедью.

— Дитя не от мира сего! Да разве можно опровергнуть существование доменной печи, прыгнув в нее? Разве стал Кобес мертв от ваших глупых фокусов с ним? Поскольку он никогда и не был человеком, он продолжает жить. А никакого фокуса, чтобы убить эту систему, вы не знаете. Система — в еще меньшей степени человек, чем вы вообразили.

Ну и разошелся же юноша!

— Организация, национальный характер, ориентация, деловые интересы — где во всем этом человек и откуда ему здесь взяться? Что делать здесь человеку? Люди исчезают, деловые интересы остаются. Вы не постигли этого. Не понимаете системы, которую понимает самый примитивный индивидуум, раз он приносит себя ей в жертву!

Тут к маленькому человечку вновь вернулись силы, и он вскочил.

— Это я-то не понимаю! Я, философ, ум которого выше подлости! Ты еще будешь свидетелем, юноша! Ты еще увидишь, как я приволоку его сюда собственной персоной. Того, кого ты зовешь незримым, того, кого ты осмеливаешься называть несуществующим! Я, да будет тебе известно, юноша, видел его! И я, знай, юноша, доставлю его сюда!

XI

И он выбежал. Мчится так, что разлетаются фалды пиджака. Мчится мимо дверей, захлопывающихся при его появлении, через коридоры, отзывающиеся гулким эхом, через пустынные залы, словно ведущие в никуда. Так мчался и тот, усопший, из среднего сословия со своей последней вестью. О тайных западнях думать некогда, но ему удается не угодить в них.

Вот уже маленький человечек увидел круглый зал, куда сходились все коридоры, и оказался перед столом вахмистра. Тот как раз собрал свой разобранный револьвер, зарядил его, поставил на боевой взвод и, готовый принять маленького человечка, стоял теперь навытяжку, но вовсе не враждебно.

— А, это вы! — сказал он и энергично перехватил бегущего, ибо иначе маленький человечек расплющился бы об стенку.

— Наверх! — задыхаясь, крикнул тот.— Мне надо наверх!

— Знаем! — ухмыльнулся грубый вахмистр.— Мы ведь вас знаем, герр доктор! — И он уже поворачивает бронированную дверь.— Всего только и войти-то сюда! — Маленький человечек уже в лифте.

Он переводит дыхание, он не хочет пока ничего,— только бы отдышаться. И тут замечает, что все еще ждет. Ждет подъема, но лифт ни с места.

Дверь? Заперта. Крепко. Очень крепко. Окно? Тоже. Прижимает его еще крепче. Наконец-то! Он ощущает толчок, лифт двинулся вверх. Кружится голова, ведь он поднимается навстречу непостижимо высоким свершениям. Еще раз глубоко вдохнуть перед прибытием.

Он вдыхает, но не прибывает. Даже не чувствует больше скольжения лифта. Лифт остановился, застрял. Маленький человечек вскрикивает от ужаса. Ему сразу становится ясно, что лифт и не двигался. Подъем был всего лишь игрой его нервов.

Не терять присутствия духа! Еще не все потеряно. Стучит. Ни малейшего отклика.

Он ждет в своей приемной. У него есть время. Время работает на него. Он еще насладится триумфом.

Вдруг он бросается на дверь, кричит, бьет по ней кулаками. Ничего. Трясет. Ничего. Орет до хрипоты. Ничего, ничего навеки. Вскакивает, вслушивается, и тут осознает: он навсегда отрезан от всех человеческих звуков. Чтобы это не стало действительностью, одевает наушники, и в них сразу же звучит радиоголос: «Только грядущие поколения, возможно, узнают однажды всю правду о возникновении и расширении этого могущества, уже превзошедшего все мыслимое и теперь уже явно принимающего мифические размеры. Миф о Кобесе! Новая религия, которую в муках и страшных конвульсиях рождает наш континент, обретена!»

Дрожа всем телом, маленький человечек снял наушники. Эта вера людская не была его верой, и он, прегрешивший против нее, был отвергнут. А лифт, видит бог, выглядит его могилой. Маленький человечек заклинал этот лифт, простирая руки: «Поднимись!» Но тщетно. И он сдался.

Да и к чему подниматься? Поднимись он, вопреки закону, схвати он своей рукой того, кто наверху, он притащил бы вниз и бросил к ногам мира всего лишь неопрятный куль печали и алчности. А мир тысячекратно прошагал бы мимо, убрал бы этот куль с лица земли и потом отрицал, что вообще видел его. Такова человеческая натура. «А разве сам я и впрямь видел этот куль?» — подумал маленький человечек с уже могильным спокойствием. И он улыбнулся — последней улыбкой.

Тут он заметил нечто новое — револьвер вахмистра. Револьвер лежал в глубоком кожаном кресле рядом с крепко запертой дверью. Вахмистр, не без деликатности, наполовину засунул его под спинку. Сохраняя самообладание, маленький человечек шагнул к револьверу.

БАЛ-МАСКАРАД

Воспоминанья детства много значили, конечно, и в моей жизни, но мне трудно сказать что и почему,— они ведь не собраны у меня в виде какого-то катехизиса. Когда мне приходит в голову одно, оно тянет за собой другое. Выбираю наудачу.

Зимние сумерки в Любеке семидесятых годов. Я вижу улицу, круто спускающуюся под гору. Она обледенела и погружена в полумрак. Каждый газовый фонарь освещает только один дом — тот, перед которым он стоит. Где-то далеко, в сенях, дребезжит колокольчик, возвещая, что кто-то пришел. Горничная ведет за руку маленького мальчика — это я. Но я вырываюсь от нее, улица манит меня, это — настоящий каток. Скольжу вниз, все быстрее и быстрее. А вон и поворот. Но тут из-за угла появляется женщина, с головой закутанная в шаль, она что-то несет под шалью. Я уже не могу остановиться и с разбегу налетаю на женщину,— она не ожидала этого. Скользко, и она падает. Темно, и мне удается улизнуть.

Но я слышу звон разбитой посуды. Женщина несла под шалью горшочек. Что я наделал! Стою, сердце стучит. Наконец подходит Стина. Я встречаю ее словами:

— Я не виноват!

— Теперь эта женщина останется голодной,— говорит горничная.— И не только она, но и ее малыш.

— Ты ее знаешь, Стина?

— Она тебя знает.

— Значит, она придет и все расскажет папе и маме?

Стина грозится, что так оно и будет, и мне страшно.

Мы отправляемся с ней по магазинам, потому что завтра у нас праздник лучше всякого другого праздника — бал-маскарад. Но меня весь вечер томит страх. Даже лежа в кроватке, я все прислушиваюсь, не зазвенит ли колокольчик, не пришла ли та женщина. Ведь у нее теперь нет горшочка, нет еды для ее малыша. Но и мне не сладко.

На следующий день, когда Стина заходит за мной в школу, я первым делом спрашиваю: «Не приходила?» — «Нет»,— отвечает Стина, не сразу поняв мой вопрос. Но это ничего не значит, она еще придет... До самого вечера я дрожу от страха, но потом и меня охватывает то легкомысленное и радостное возбуждение, с каким весь дом ждет бала. Комнаты ярко освещены, пахнет цветами и какими-то необычными кушаньями. Мне разрешают взглянуть на маму. У нее уже сидят первые гости, ее подруги, а с ними барышня из Бремена, та, что приехала на бал и остановилась у нас,— как я рад, что ее увидел! Скоро все наденут маски, но меня не обманешь, я-то знаю, кто эта цыганка и кто червонная дама.

Пора спать, но я, полураздетый, выскакиваю из детской и крадусь по лестнице наверх. Бал уже начался. Хотя в передних комнатах никого нет, они не похожи на себя, бал и здесь все изменил до неузнаваемости. Как только кто-нибудь входит, я незаметно выскальзываю за дверь. Так прохожу я комнату за комнатой, меня притягивает волшебный праздник в зале — его радужное сияние, музыка, шарканье бесчисленных ног, нестройный гомон, запах тела и духов. Добравшись до залы, я прячусь за дверь,— это опасно, но я иду на все. Голые плечи, облитые ласковым сиянием люстр, волосы, блестящие, как золото и как драгоценные камни, кружатся в танце. Я вижу папу в каком-то чужестранном военном мундире, в напудренном парике и со шпагой,— как я им горжусь! И матушка, червонная дама, улыбается ему какой-то особенной улыбкой. Но все чувства во мне замирают при виде барышни из Бремена. Наверно, господин, что прижимает ее к себе в танце, и понятия не имеет, какая она. Зато я знаю! Семилетний человек, я стою за дверью, завороженный зрелищем счастья, за которым гонятся эти танцующие пары.

Стены и мебель залы отделаны в нежных, светлых тонах; позднее я узна́ю, что это называется рококо и что мода эта уже лет десять как завезена к нам из Парижа. Оттуда же пришли к нам все эти маскарады и танцы — кадриль, галоп. Здесь каждая мелочь — запоздалое отражение пышности и блеска, которыми так славился двор императора Наполеона III и краса-

вицы Евгении. Двор этот канул в вечность, но его обычаи только-только успели докатиться до нашего северного захолустья. Никогда еще салонные нравы не были в таком почете, никогда уже потом не придавали такого значения учтивости. Все увлекались игрой в шарады, придумывали загадки, дамы расписывали акварелью веера и дарили подругам, а влюбленные кавалеры украшали их своими вензелями. В гостиных вечно скрипели перья — поистине странное нововведение,— я только тогда разгадал его смысл, когда узнал, что в интимном кругу Наполеона III устраивались даже диктанты: играли в то, кто меньше сделает орфографических ошибок. Эти развлечения в мещанском вкусе были как раз для Любека.

Но пределом мечтаний были маскарады. Страсть к переодеваниям владела не только удачливыми авантюристами, которые еще недавно задавали тон в Париже; высшие круги Германии платили ей не меньшую дань. Маскарады неизменно заканчивались «живыми картинами»,— поистине прекрасный случай выставить напоказ свою красоту и свою значительность в положениях, которые наконец-то вас достойны... Мальчик за дверью только и мечтал дождаться живых картин.

Но вдруг кто-то потянул за ручку двери,— я обнаружен! Это лакей, он говорит, что меня спрашивает внизу какая-то женщина. Он не заметил, как я побледнел, полы его фрака вильнули и понеслись дальше. Я должен сам решить свою участь. Но полно, так ли это? Если я не спущусь вниз, эта женщина, чего доброго, ворвется в залу. Нет, лучше пожертвовать собой, чем идти на открытый скандал.

Женщина стоит в сенях, там полутемно; за ее спиной неосвещенная комната. Как и вчера, женщина укутана с головой и стоит не шевелясь. Это видение совести, возникшее в ночи. Я медленно подхожу — спросить, что ей нужно, но голос не слушается меня. «Ты разбил мой горшочек,— говорит наконец женщина глухим голосом.— Чем я теперь накормлю своего малыша?» Я плачу навзрыд, потрясенный участью того мальчика — и своею собственной, что привела меня сюда.

Не принести ли ей чего-нибудь поесть из кухни?

Но в кухне полно слуг, и я ужасно боюсь, что меня заметят. «Одну минутку»,— говорю я женщине и вхожу в темную комнату за ее спиной. Там свалено верхнее платье гостей. Я пробираюсь сквозь этот беспорядок туда, где сложены мои вещи, солдатики и игрушки. Сгребаю все, а заодно и мою любимую вазочку — лебедя с распростертыми крыльями,— хоть она,

собственно, и не моя. Несу всю охапку женщине, она укладывает игрушки в корзину и уходит. От радости я ног под собой не чую, и вот я уже в кроватке.

Спится мне лучше, чем накануне... Но каково мое удивление, когда, вернувшись из школы, я нахожу все подаренные женщине игрушки на обычном месте. Я ничего не понимаю. И Стина, которую я во все посвятил, тоже ничего не понимает. Но не может удержаться от смеха.

Мне и в голову не пришло тогда заподозрить Стину. Подозрение явилось позднее, и то лишь потому, что она засмеялась. Это она была моей ночной гостьей, воплощением совести, матерью мальчика, голодающего по моей вине.

На самом деле никто, наверно, не голодал. Может быть, и разбитый горшочек существовал только в моем воображении. Прирожденная актриса, Стина сыграла свою роль с несколько преувеличенным трагизмом. Однако у меня навсегда осталось в памяти, что семилетним ребенком я был оторван от блаженного созерцания внешнего блеска жизни, чтобы лицом к лицу встретиться с бедностью и собственной виной.

Неизгладимое впечатление! Полезный урок? По тем временам — едва ли. Бедность была не частым явлением в Любеке семидесятых годов. Когда мы с бабушкой отправлялись на прогулку, нам случалось проходить мимо каменщиков и маляров, которые, примостившись на краю тротуара, хлебали что-то из общего котелка. «Приятного аппетита, люди!» — говорила бабушка с патриархальным добродушием. И люди удивленно поднимали глаза: они уже отвыкли от этого тона. И все-таки благодарили бабушку.

ДВА ЛИЦА

В середине семидесятых годов моя мать была еще совсем молоденькой и наивной женщиной.

Я сижу за ее письменным столом и играю маленькой бронзовой шкатулочкой; от ее фиолетовой обивки так чудесно пахнет. Вдруг матушка подходит сзади, обнимает меня и шепчет: «Мы не богачи, а просто очень состоятельные люди». Должно быть, она сама только что услыхала это — именно эти самые слова.

Для нее богатство и благосостояние были, очевидно, лишь словами. Ее жизнь и домашний распорядок никогда не меня-

лись. Машины у нас не было, да в ту пору о них еще и не слыхали. Лето мы проводили тут же, за городскими воротами, в какой-нибудь тысяче шагов от дома. Матушке, вероятно, было известно, что деньги вещь стоящая, но что много денег иметь вредно и люди на это косо смотрят. Недавно один восьмидесятилетний старик, говоря о своем соседе, сказал мне: «С таким богатством с ума сойдешь!» Это звучало совсем в духе тех лет, в духе еще не отошедшей бюргерской эпохи.

Мой отец был в те годы красивым, статным молодым человеком. Веселый или сердитый, мне он всегда представлялся хозяином жизни. Он носил костюмы из мягкого сукна, низкие отложные воротнички, а волосы зачесывал на виски à la Наполеон III. Ходил он слегка враскачку и так уверенно, как капитан по своему доброму кораблю. Стоило ему войти в комнату, и все оживлялись, будто произошло какое-то событие.

Но однажды он вошел очень тихо. Мы и не заметили, как он скользнул на свое место и прикрыл глаза руками. Он застонал, я даже испугался. Он, всегда говоривший только о веселых, приятных вещах, теперь со стоном называл людей, которые окончательно разорены, все потеряли, а заодно и его деньги. Я посмотрел на матушку, мне вспомнилось, что́ она шепнула мне в тот раз. Но она, видно, все позабыла, ее беспокоили не деньги, а муж. Да и не мудрено, ведь с тех пор прошло много времени, бесконечно много времени для наивной молодой женщины и для маленького мальчика,— может быть, целый год.

Это было мое первое знакомство с непостоянством фортуны. Отцу потом понадобилась вся жизнь, чтобы возместить то, что было потеряно за несколько дней. В те мирные времена деньги наживались не так-то быстро, а уже в начале девяностых годов он умер. И тут я узнал не столько, как непостоянна фортуна, сколько то, как меняется лицо человека.

Отец пользовался большим уважением в городе, как и во всей округе, которой наш город заправлял. Ходить с ним по улице значило все время соображать — от кого ждать поклона, а кому кланяться первым, в зависимости от того, кто чего стоил. Зато поехать с ним в деревню в наемной карете, запряженной парой, было настоящим праздником. Богатые крестьяне встречали нас на пороге, угощали, а потом весь свой урожай свозили к нам в амбары. Отец был сенатором; тогда это зависело не от борьбы партий и не от широких выборов. Это было чисто семейной прерогативой. Вы либо были сенатором, либо нет, а уж раз попав в сенат, сохраняли на всю жизнь пол-

номочия всевластного министра. Мой отец ведал в сенате вольного города налогами, и его власть очень и очень чувствовало население.

Не мудрено, что ему льстили — и не только ему, но даже его сыну, и часто неискренне, что замечал и неопытный юнец. Все же я переоценивал благожелательность моих сограждан и способность даже такого многоопытного человека, как мой отец, завоевать и удержать их симпатии, невзирая на превратности жизни. Отец очень дорожил своей популярностью и с годами становился все приветливее и снисходительнее к людям. Но вот пришла смерть!

Отец лежал наверху, в своем прекрасном особняке, мостовая перед нашими окнами была устлана соломой. Стоило мне показаться на улице, как меня спрашивали о его здоровье. Из дома напротив торопливо выходил мой старый учитель. Я учился у него еще в младших классах, это был милейший и добрейший человек, честная, отзывчивая натура,— один из тех маленьких людей, которые, зажив своим домком, с восхищением смотрят на окна своего более счастливого соседа.

Настал день, когда отец испустил последний вздох. Мне, двадцатилетнему юноше, предстояло самостоятельно заменять его во всех делах. Внизу, на улице, собрались горожане, а с ними и мой добрый седобородый учитель. Я, ничего не подозревая, сбегаю вниз, ожидая обычной теплой встречи. Но что это? Мой учитель отворачивается. Он даже отходит от собравшейся толпы, возвращается в свой домик и запирает дверь на ключ.

Так поступали потом и другие, но больше всех поразил меня тогда старый учитель. Однако я понял: всем им осточертело со мной нянчиться, пришла минута, когда это стало им просто невмоготу. Прежде они чересчур старались, и теперь им трудно было даже соблюсти приличие. И дело тут было не в какой-то особой черствости, нет, просто им не терпелось освободиться от соглашения, потерявшего уже всякий смысл.

Так бывает, когда нам приходится расплачиваться за успех. Одна из набегающих волн успеха откатывается назад, и все отворачиваются от того, кто только что был в центре внимания, отворачиваются тем грубее, чем больше распинались перед ним. Как приятно наконец сменить лицо! Трудно и скучно все время поворачиваться к человеку только своим праздничным лицом. Успех миновал. Сенатор, ведавший налогами, покончил счеты с жизнью.

ДВА ПОЛЕЗНЫХ УРОКА

I

Как сейчас вижу: прекрасный день, я иду по дорожке вдоль изгороди, мне одиннадцать лет. Иду, конечно, один и, конечно, тороплюсь. В ту пору мысли у меня были смелые и дерзкие, если только унылые и тревожные не держали меня в плену. Возможно, я представлял себе торжественное вступление войск в побежденную столицу, причем, меня обуревали те же чувства, что и победоносных полководцев,— я сливался с ними всем своим существом. Встреча с маленькой девочкой, в которую я был влюблен, носила не столь героический характер: у нее были настоящие косички, настоящие глаза, и она смотрела на меня в ожидании разве что обещанной переводной картинки. Я же мечтал спасти ее от смертельной опасности и в то же время говорил себе, что я ее недостоин, любой мальчик в городе достойнее меня. И все же мы как будто неплохо ладили друг с другом.

В тот день, когда я шел по дорожке вдоль изгороди, в жизни моей открывалась новая страница: я окончил прогимназию. Это была частная школа некоего доктора Гуттениуса: в ней обучали начальной грамоте, а в остальном проходили то же самое, что и в младших классах гимназии. Поскольку все предметы были те же, оттуда можно было наверняка попасть в настоящую гимназию. Тот, кому перейти не удавалось, доказывал этим, что карьера, ожидающая юношу с гимназическим образованием, ему заказана, и единственное, что ему остается,— это заблаговременно устроиться куда-нибудь «конторским учеником».

У Гуттениуса мы не только занимались по той же программе, что и в гимназии, но и терпели те же наказания, праздновали те же школьные праздники, так же дрожали на уроках и забывали о своих страхах на большой перемене. И тут и там считалось делом чести получать когда пятерки, а когда и колы. Нам бы с гимназистами жить душа в душу. Ведь мы, как и они, были вечными мучениками: и нас и их задушили уроками, и каждый день и нам и им грозил новой бедой. Только присущая юному возрасту душевная стойкость позволяла нам все это переносить. Мы, школьники, были куда в худшем положении, чем

впоследствии, сделавшись младшими служащими или начинающими коммерсантами.

Но вместо того, чтобы жить душа в душу, мы отчаянно враждовали. Мне скажут, что это обычное мальчишеское озорство. Но, по-моему, тут другое. Опуститься до дружбы и прочих миролюбивых чувств казалось нам просто унизительным, и мы предпочитали открытую войну. При мирных, добрососедских отношениях что могут люди — пусть это будут прогимназисты или даже лица, кое-чего уже достигшие в жизни,— что могут они сказать друг другу, кроме обычного: «Да, приятель, неважные у нас с тобой дела!» Другое дело, если они враги. С врагом вы можете быть заносчивы, высокомерны. Врагу вы можете бросить с гордым презрением: «Эх ты, жалкое недоразумение!» А ведь это чего-нибудь да стоит.

Но мне было одиннадцать лет, и я, проходя вдоль изгороди, воздерживался от презрительных выкриков. За изгородью была лужайка для игр, которой на сей раз завладели гимназисты, враги моего гуттенианского отечества. Изгородь была зеленая, лужайка — зеленая, за городскими воротами стоял чудесный день, и, по правде сказать, мне очень хотелось поиграть с ребятами. Но я шел, как всегда, один, чинно выступая в своих козловых сапожках, и, как всегда, торопился, не выкрикивал оскорбительных слов и даже не смотрел в ту сторону. Я только сурово внушал себе:

«Я никуда не уйду от доктора Гуттениуса. Я навсегда останусь гуттенианцем!»

А между тем мой переход в более широкий мир — гимназию, и притом в самое ближайшее время, был делом решенным. Для того чтобы навсегда остаться гуттенианцем, мне пришлось бы навсегда остаться одиннадцатилетним мальчиком.

Это было, даже и по тогдашним моим понятиям, невозможно, а ведь я дал клятву. Было ли мое объявление войны, по крайней мере, искренним? Верил ли я собственным словам? Мне думается, что память сберегла мне эту клятву единственно благодаря ее чрезвычайной нелепости. Мало того, это была пристрастная нелепица и не такая уж простодушная.

Впоследствии, сталкиваясь с подобными проявлениями нетерпимости и у себя и у других, я часто задавался вопросом: а нет ли за всем этим намерения навсегда остаться гуттенианцем? Так же относился я и к национальной вражде, да и к прочим недостойным чувствам, с которыми мы так часто встречаемся на нашей планете. Проку от этого было, правда, не

слишком много. Да и сам я не всегда был свободен от этих чувств, поскольку существуют общепринятые условности и предубеждения. Но я, по крайней мере, постоянно начеку и с пристрастием допытываюсь у себя — а не прячется ли за этим маленький гуттенианец, который хочет навеки им остаться?

II

Это была самая обыкновенная детская скрипка, но она отливала красно-коричневым лаком и у нее было четыре настоящих струны. Смычок, как и всякий смычок, натирался канифолью, и мальчик извлекал из скрипки звуки, которые другим резали слух, но его внутреннему уху казались чистыми и нежными.

Порой эти звуки делали его счастливым, как некое лично пережитое чудо. Вот я какой! Вот что я умею! Скрипка поднимала его в собственных глазах. Бывали, разумеется, и минуты, когда она теряла свою чудодейственную силу. Достаточно было кому-нибудь из взрослых сделать недовольную гримасу, а порой и этого не нужно было... Случалось, что и сам он слышал себя уже не тем благосклонным внутренним ухом, а обыкновенные уши, те, что на голове, уверяли его прозаически брюзгливо, что он ужасно пиликает. И тогда осмелевшее сознание, которое он с необычайной силой воли держал в узде, напоминало ему, что ведь он никогда не учился играть, что скрипка его — просто детская игрушка, а сам он еще беспомощный ребенок. Так правда одержала верх.

И все же надежда на счастье, без которой мы и дня прожить не можем, в ту пору была связана для него со скрипкой. Каждое утро перед школой он вынимал ее из красивого полированного секретера, где она лежала в полной сохранности. И какие бы испытания ни сулил ему урок арифметики, он знал, что скрипка здесь и ждет его.

Так он думал. А на самом деле скрипка его не ждала. Она позволяла, чтобы на ней играл его младший брат. Малыш еще не ходил в школу и мог сколько угодно играть на скрипке. А ей было все равно, что один, что другой,— пускай себе думают, что они виртуозы. Полированный секретер не запирался на ключ. Маленький братишка не дотянулся бы до скрипки,— значит, кто-то поднимал для него крышку секретера и доставал скрипку. Но кто же? Кто решался на это злодейство, на эту ужасную несправедливость? А потом тот же неизвестный убирал скрипку на место. И всякий раз с ней что-нибудь случалось: то струна лопнет, то еще что-нибудь. Кто же помогал малышу?

Старший так и не узнал этого — ни от самого малыша, ни от матери, ни от служанки. Каждый сказал бы ему, в том числе и малыш. Надо было только проявить немного снисходительности или, по крайней мере, не выказывать такой нетерпимости, такой непримиримой убежденности в своей правоте. Когда он приходил домой из школы и видел, что скрипка побывала в чьих-то руках, гнев его был ужасен, к тому же его распаляло сознание своих поруганных прав, своей собственной непогрешимости.

Маленький братишка совсем заупрямился. Служанка от всего отпиралась. А мать обоих мальчиков с возмущением отворачивалась, она и слышать не хотела о скрипке. Каждое ее движенье, каждый взгляд осуждали. Но кого? Не виновника несправедливости, а жертву. От этого можно было с ума сойти!

Он уже больше не играл на скрипке. Он растравлял свой гнев и горе тем, что выискивал на ней все новые следы плохого обращения. Вот еще царапина! Ведь скрипка была его счастьем или, по крайней мере, тем обещанием счастья, без которого нам и дня не прожить. А теперь у него ничего не осталось. Потому он и ненавидел всех, кто, возможно, отнял у него счастье. И еще в нем говорила ревность: ведь мать заступилась не за него, а за другого сына. Его чувство справедливости было оскорблено — оскорблено в его собственном лице, а в таких случаях это чувство особенно уязвимо.

К тому же он был ребенком и не знал, что каждый сам виноват в своем несчастье. Так же как не знал, что справедливость не всегда торжествует на земле и что даже материнская любовь не всегда справедлива. Поэтому он забросил скрипку и вообще не видел выхода.

Но однажды, когда он пришел домой, оказалось, что скрипка разбита на мелкие кусочки,— и тут наконец из глаз его полились слезы. До сих пор он не плакал — какой же старший брат позволит себе реветь из-за младшего. Слишком много чести!

И вот теперь, когда он уже не топал ногами и не требовал возмездия, чья-то прохладная рука вдруг легла на его разгоряченный затылок. Это была мать. Теперь она была с ним, она утешала его и в утешение сказала:

— Видишь, теперь уже не важно, твоя это была скрипка или ваша общая,— все равно она сломалась.

Быть может, в ее словах было мало логики, но для него они были откровением. Он чувствовал — между тем как слезы отчаяния сменились у него слезами стыда, а потом слезами

радости,— что он вел себя как глупый ребенок. Ведь это просто ребячество и только мешает счастью — иметь что-нибудь и не желать ни с кем делиться. Он не сомневался, что взрослые знают это и никогда так не поступают.

ПРОПАВШАЯ КНИГА

Ребенку все ново в жизни, а особенно новы его чувства. Первые горести сваливаются на него как с неба, первое увлечение — это чудесная сказка.

Ребенком я получил в подарок книгу — в ней были стихи, рассказы, картинки,— но я владел ею всего-то одну неделю. Книгу мне подарила бабушка, и я решил оставить ее в бабушкином доме и приходить к ней читать. А это был очень большой дом — в нем что угодно могло затеряться.

К тому же у бабушки была воскресная школа. В комнаты подвального этажа, глядевшие окнами в сад, приходило много детей. Здесь она пела с ними псалмы и объясняла им Библию. Это были дети бедных родителей, никто никогда не дарил им книг, за исключением той же бабушки. А кроме того, она выдавала им книги из специально устроенной для них библиотечки. Может быть, и моя как-нибудь туда попала. И уж, наверно, маленьким читателям она скорее пришлась по вкусу, чем «Роза фон Танненберг» или журнал «Живой ключ». Так или иначе, но я никогда больше ее не видел.

А между тем книгу эту я полюбил до страсти: я и у бабушки ее оставил, потому что она была мне так дорога, чтобы всякий раз радоваться, как будто мне ее снова подарили. Когда книга пропала, я не переставал мечтать о ней, жалел, что не унес ее с собой, и оплакивал даже во сне. Но я не просил, чтобы мне купили такую же, и не единым словом не упоминал о ней, точно у меня ее никогда и не было.

Шли годы, я часто просил купить мне какую-нибудь книгу и много книг получал в подарок,— но только не эту,— а между тем я не забывал о ней и не мог без грусти думать о ее так и не испитом до дна очаровании, которое с годами становилось все сильнее.

Много лет спустя каждый раз, когда мне приходилось покупать книги для моей дочки, я вспоминал о той, давно пропавшей книге. Но почему-то так и не купил ее. А теперь и дочь моя вышла из возраста, когда читают такие книги.

Господин Геверт был красивый мужчина, темноволосый, с бледным лицом. Начинающаяся полнота нисколько не портила его юношески цветущей внешности. Одевался он хорошо. И все же я понимал, что он не тот, кого называют человеком из общества. Мне было тогда лет шесть, не больше, но я чувствовал, что у господина Геверта чересчур развязная походка. Ни консул Плессен, ни мой отец так не ходили. Они не кланялись так размашисто и низко и не оглядывались на проходящих дам. Все это не укрылось от меня, потому что я каждый день наблюдал за господином Гевертом. Перед обедом, всегда в один и тот же час, не знаю точно какой, он появлялся у нас на Беккергрубе,— на нее смотрели окна моей детской. Он либо направлялся в цветочную лавку, находившуюся на нашей стороне улицы, только несколькими домами ниже, либо исчезал в подъезде театра на противоположной стороне. Господин Геверт был сыном старой цветочницы, он играл в городском театре. И то и другое возвышало его в моих глазах над обыкновенными смертными.

Но разве он с таким же успехом не мог быть сыном жестянщика, проживавшего теперь на покое? Из всех наших соседей один только жестянщик был вполне доступен обозрению. Он вечно торчал в окне дома напротив со своей неизменной длинной трубкой. Я знал, что весь дом, квадратный, выкрашенный масляной краской, с зеркальными окнами, принадлежит ему. Он ходил в вышитой ермолке и халате, ничего не делал и только и знал, что курить. Из обитателей нашей улицы, после господина Геверта, он больше всех занимал мое воображение. И все-таки господин Геверт был не его сыном, а сыном цветочницы, я так и не знал почему. И моя няня Мина тоже не могла мне сказать.

У Мины были пунцовые щеки, она приехала из деревни и собиралась выйти замуж за огородника. Жизнь и людей она знала плохо. Затруднялась она ответить и на некоторые другие мои вопросы, и многое так и оставалось для нас неясным. Наш дом был вторым от угла, фасадом он выходил на Брейтенштрассе, а другой стороной — на Беккергрубе. Маленький угловой домик лепился к нему как-то боком, и я был убежден, что он сидит у нашего в животе, но только этого не видно. Когда-нибудь чужой дом откроется внутри нашего дома и оттуда выйдут чужие дети. Но этого Мина и вовсе не могла понять.

Зато она уверяла, будто знает, что такое театр. Городской театр стоял по другую сторону Беккергрубе и фасадом был обращен к нам. Это был дом как дом, только пошире других. Когда я прижимался носом к самому краешку стекла, мне удавалось его разглядеть. Гораздо проще было увидеть биржу, она стояла ближе к нам. И понять, для чего существует биржа, было тоже нетрудно, потому что туда ходил папа. Часто, когда уже пора было садиться обедать, он стоял с другими господами на тротуаре и о чем-то разговаривал. Биржа существовала для того, чтобы папа приходил оттуда обедать. Очень просто. А вот чем занимался господин Геверт в театре? Мина уверяла, что он играет. Но против этого говорило то, что все известные мне игрушки были слишком малы для господина Геверта и этими игрушками владели дети. Ну как это возможно, чтобы такой большой дом был полон игрушек и чтобы в них играли взрослые!

Из театра люди тоже выходили на тротуар, как их соседи с биржи, но они еще дольше стояли и разговаривали. А иногда и те и другие появлялись одновременно. В сутолоке, которая только раз на дню оживляла тишину улицы, я одинаково прилежно разыскивал и папу и господина Геверта. Я сообщал Мине, что папа сейчас вернется домой и что господин Геверт тоже вот-вот пойдет обедать в цветочную лавку своей матери. Для этого, объяснял я Мине, и бывают театры. Театр — это все равно что биржа: оттуда ходят домой обедать. Но Мина держалась другого мнения. Она ссылалась на то, что бывает вечером, когда я уже сплю. Перед театром загораются газовые фонари,— все взрослые идут туда и смотрят всякие штуки. Но какие именно, она, к сожалению, не могла объяснить, и потому, лежа в постели, я боялся этих штук.

Мина ушла из комнаты. Крошечный фитилек, плавающий в масле, еле освещает стол и небольшое пространство вокруг него. Из темноты выступают какие-то фигуры и скользят мимо стола, скользят все быстрее и быстрее, в сущности — это только тени, а миновав стол, даже и не тени больше, но уверенность в том, что они здесь, ни на минуту не оставляет меня. Их мелькание становится стремительным, и наконец все они сливаются в один образ — господина Геверта. Это выясняется примерно на третий, четвертый вечер. И не то чтобы я узнавал господина Геверта. Нет, он все такой же темный и страшный. Его кружение по комнате скорее напоминает полет птицы, чем движения человека. Ни разу он не показал мне своего лица. Впрочем, этому мешает и плащ, какой-то очень непонятный, скорее

кусок сукна, а может быть, кусок темноты, его окутывающей. Кажется, что господин Геверт придерживает рукой его полы и это место на груди слабо отсвечивает. Но что же у него в руке, откуда это странное свечение? Я высовываюсь из кровати, чтобы наконец вглядеться в господина Геверта. Он не дается, но я знаю, что это господин Геверт, мне уже не страшно. Теперь я каждый вечер жду его, как будто это желанный гость, который приходит меня развлечь. Когда же наконец нам надоедает — мне смотреть, а ему показывать всякие штуки,— мы расстаемся. Он куда-то исчезает, а я засыпаю.

Я не говорил об этих ночных происшествиях ни родителям, ни даже Мине.

Впрочем, родителям моим было, конечно, известно, что дом по ту сторону улицы, где помещался театр, занимает мое воображение. Известен им был и интерес, который во мне возбуждал сын цветочницы. Может быть, их беспокоило, что у меня слишком разыгралась фантазия. И вот однажды они объявили мне, что возьмут меня в театр. Собственно, объявила мама, когда я уже сел ужинать. Ей хотелось поскорее вырвать меня из мира болезненных грез. Я обрадовался, как она и ожидала, но не больше. Ведь если я встречусь с господином Гевертом там, то наверняка разминусь с ним здесь, когда он придет ко мне в детскую навестить меня. Я не знал, что предпочесть. И только когда увидел маму в вечернем платье — она натягивала длинные перчатки,— только тогда я понял, какое событие меня ждет. Меня умыли и одели в праздничный костюмчик. Мина тоже преобразилась. У меня сердце так и прыгало в груди, но тут в комнату, как всегда торопливо, вошел папа и сказал:

— Ну, готовы?

Мы сели в карету. До театра было всего несколько шагов, даже считая на мои детские шаги. Но выпало много снегу, а фонари были редки. Беккергрубе круто шла под уклон, и кучер Эман сдерживал лошадей. Я все время спрашивал, не опаздываем ли мы, и вертелся как на иголках, потому что совсем не узнавал улицы. Так поздно я еще не выходил из дому. Знает ли Эман дорогу?

Все же он доставил нас на место. В театре оказалось — я как-то об этом не подумал — и много других людей. Мои родители здоровались чуть ли не со всеми. Мне тоже приходилось то и дело подавать руку разным дамам и господам и все время шаркать ногой. Впопыхах я даже забыл, что меня ждет. И, только поднимаясь по лестнице, все опять вспомнил.

Места у нас были в ложе. Мой стул придвинули к самому барьеру. Мама схватила меня за руку еще до того, как я перевесился через него. Я прошелся взглядом по обитой красным балюстраде и увидел, что она огибает весь зал. За ней виднелось много маленьких открытых комнаток вроде той, где сидели мы. Все они были обиты чем-то красным; я удостоверился, что и наша тоже.

— А где же господин Геверт? — спросил я с нетерпением.

Мне пришлось несколько раз повторить этот вопрос: мои родители разговаривали с знакомыми из соседней ложи. Какой-то старичок, которому я должен был кланяться на улице, высунул из-за стенки свой ястребиный нос и спросил, кривя тонкие губы:

— Так ты, значит, хочешь посмотреть «Ночь в Гренаде»?

— Я хочу посмотреть на господина Геверта,— ответил я.— Где господин Геверт?

— Скоро ты его увидишь,— сказали в один голос старичок и папа с мамой. Но я не унимался.

— Где господин Геверт? — повторил я уже громко.

Желая меня успокоить, они показали на глухую стену, за которой, как я понимал, не могло быть никакого господина Геверта. Если бы он был там, мне бы и вовсе не пришлось его увидеть. Поэтому я решил сам поискать его. В красных комнатках вокруг было много народу. Чуть ли не в каждой у самого барьера сидели две полуодетые дамы и обмахивались веерами. Они мешали мне разглядеть мужчин, которые держались позади. К тому же под балюстрадой горели газовые лампы, проливая колеблющийся желтый свет, от которого зрители в ложах казались большими куклами, частично погруженными в тень. То тут, то там их озаряла вспышка света. Половина какого-то лица вдруг ярко освещалась в полутьме. К сожалению, это был не господин Геверт. Под потолком висела люстра из бесчисленных лампочек. Она распространяла желтоватый свет, который тоже не проникал в глубину лож. Половина чьего-то лица была по-прежнему ярко освещена, но лицо было мне незнакомо. Рядом стоял другой мужчина. Он склонился над креслом своей дамы в небрежно-свободной позе, слегка изогнув бедро. Он был освещен от колен до низенького отложного воротничка, из-под которого выглядывал широкий галстук. Никаких признаков головы, но что-то подсказывало мне, что это господин Геверт, и я, не задумываясь, объявил это вслух.

— Господин Геверт! — крикнул я на весь зал.

Папа и мама решительно запретили мне кричать. Я хотел, чтобы они подтвердили мое открытие, а они требовали, чтоб я замолчал. Мина! Мне оставалась одна только Мина, но где же она? В полном расстройстве я вспомнил, что, войдя в ложу, потерял ее из виду, забыл о ней — впервые в жизни. «Мина!» Я кричал пронзительно, как от страха. Мама пригрозила, что сейчас же отправит меня домой. Но при виде моих безутешных слез сжалилась и сказала, что Мина наверху, во втором ярусе. Второй ярус! А я его и не заметил. Едва я глянул вверх, как сразу же увидел Мину. Она так же свешивалась вниз, как я тянулся кверху. Оба мы были потрясены разлукой и свиданием. Поэтому мы все время называли друг друга по имени. Я сейчас же сообщил Мине, что господин Геверт нашелся. Она-то, по крайней мере, поверила мне, я понял это по движению ее губ. К сожалению, раздавшаяся громкая музыка помешала мне услышать, что говорит Мина. Да и рука мамы потянула меня обратно на стул.

Взволнованный, я захотел узнать, что сейчас будет.

— Замолчи! Слушай музыку.

— А господин Геверт?

— Потерпи,— сказала мама.— Скоро ты его увидишь.

— Ему еще надо намазаться коричневой краской,— шепнул мне сзади отец.

Тут я действительно замолчал,— это было так страшно, что у меня язык не повернулся спросить. Господин Геверт — но уже не с белым, а с коричневым лицом, как тот арап в книжке с картинками. Да еще открылась стена, от которой я этого никак не ожидал. Она взвилась к потолку, и я увидел пеструю картину. От волнения я ни слова не мог вымолвить. Такое великолепие мне и не снилось, даром что все это было какое-то чужое, незнакомое. А может быть, именно поэтому все казалось мне таким красивым, кроме того, меня томило желание, робкое желание тоже очутиться в этом чудесном месте. Впервые я видел даль. Я смотрел на нее, не сводя глаз, и она отодвигалась все дальше и дальше. К тому же стена каждую минуту могла закрыться. Я начал различать и людей, потому что они двигались, но и люди и движения были какие-то особенные. Я смотрел, разинув рот и вытаращив глаза. Все расплывалось передо мной, но от этого становилось только заманчивее.

— Хорошо они поют? — спросила мама.

А я и не заметил, что поют. Я спросил со стесненным сердцем: «Скоро стена закроется?» — но так и не расслышал, что ответила мама, потому что человек, который пел, оказался гос-

подином Гевертом. Я поверил в него так же беззаветно, как раньше в господина без головы.

— Господин Геверт! — крикнул я.

Но музыка играла очень громко, и он не услышал. Так пусть, по крайней мере, все кругом знают, что это господин Геверт. Я рассказал папе и маме, не забыл сообщить и Мине.

— Пожалуйста, успокойся,— настойчиво шептала мне мама и добавила, обняв меня за плечи: — Это не он.

— Дурачок! — сказал папа.— Его надо искать среди разбойников.

Где были разбойники, когда про них упомянул папа, с самого ли начала они были тут или пришли потом, когда занавес поднялся вторично? Все это вопросы, которые я задаю себе сейчас. Ребенок не замечал последовательности событий, для него все происходило одновременно. Он жадно разглядывал людей, которые явно с недобрыми намерениями подкрадывались к какому-то спящему мужчине.

Да вот же он! Подумать только, господин Геверт — разбойник! Он крался из темноты, лицо его только наполовину виднелось из-под плаща, но я его узнал. Он как-то странно завернулся в свой плащ, словно это был простой кусок сукна или кусок темноты. Но от его руки там, где он придерживал полы, исходило слабое свечение. И вдруг он выбросил ее впереди, и в ней блеснул нож.

— Это нож? — спросил я, на сей раз шепотом.

— Кинжал,— ответила мама.

И тут я понял, что все это уже не раз происходило в моей детской, до того как я засыпал. Но господин Геверт был не только разбойником; вот он и хотел рассказать мне свою тайну. Он приходил ко мне — к самой моей кроватке,— я-то думал, что просто с Беккергрубе, а на самом деле он приходил не с улицы, а откуда-то издалека. Это был отважный, суровый человек. Даже когда он прогуливался перед моим окном, его окружала атмосфера сказки и приключений. Но только теперь, когда он явился мне во всей своей красе, я стал понимать его. Мне стала понятна его необыкновенная наружность, его размашистые поклоны, все то, что отличало его от консула Плиссена и от папы. А от меня? От меня его ничто не отличало! Я предался ему всем сердцем, я растворился в нем. Глаза мои следили за ним не отрываясь. В каждом его движении я узнавал свою собственную судьбу. Только он пел, а я оставался нем. Он пел вместе с другими разбойниками. Господин, к кото-

рому они забрались в спальню, мог уже двадцать раз проснуться. Я не знал, желать этого или бояться? Ждать,— все равно, счастья или горя,— какое непостижимое волнение! Вот приближается развязка. Это я с замиранием сердца стоял и ждал своей участи.

Однако кончилось тем, что разбойники отступили и обратились в бегство. Господин Геверт бежал последним. Мне хотелось верить, что он на меня смотрит, что его прощальный взгляд предназначен мне. И тут мои чувства вырвались наружу, я позабыл обо всем, о театре, о людях.

— Господин Геверт! — заорал я что есть мочи.

Я кричал ему, чтобы он вернулся, а заодно обращался и ко всем этим людям — пусть помогут мне вернуть его. Папа схватил меня за руку, мама пыталась зажать мне рот. Я рвался из оков и продолжал требовать господина Геверта. Мой голос несся по всему залу, даже музыка не заглушала его. Все головы в ложах обратились ко мне: кто смеялся, а кто и шикал. Видно, я и вправду перешел все границы, папа и мама сказали: «Пойдем!» — и, как я ни цеплялся за стул, потащили меня из ложи. Дверь захлопнулась, я бросился на пол.

Подоспевшая Мина тщетно пыталась поднять с пола ребенка, он не переставал сопротивляться. Когда же он на мгновенье затихал, глаза его с отчаянием блуждали по сторонам, лишь для того, чтобы увидеть печальную действительность. Его неумолимые родители там, за этой дверью, а господин Геверт — господин Геверт навсегда для него потерян! Это вызывало новые приступы отчаяния.

— Не упрямься! А все твое упрямство,— сердилась Мина. Ибо в Минином лексиконе одно какое-нибудь простое слово могло означать тысячу разных вещей. Вот я лежал перед ней, беспомощное дитя, насильственно вырванное из царства грез. Меня разлучили с господином Гевертом, с которым мы составляли одно целое. Прекрасное здание, воздвигнутое мною, рухнуло, как рушится от щелчка карточный домик. Я был несчастлив, но я страдал не только за себя. Я страдал и за господина Геверта, он первый научил меня общечеловеческой скорби. И я опять брыкался, а Мина снова сетовала на мое упрямство.

И вдруг я без всяких понуканий встал и послушно пошел за ней. Я даже торопился. Мне пришло в голову, что ведь господин Геверт убежал. А если он убежал и, возможно, сейчас еще бежит, то куда же? Очевидно, вон из театра, по той самой улице, по которой он каждый день приходил и уходил. Но

только на этот раз он ушел навсегда. Он до самых бровей закутался в свой плащ, и теперь каждый шаг уводит его прочь, в темноту, больше я его не увижу! Бежать за ним, догнать его! Меня снова воодушевляла надежда. Разрушенный карточный домик сам собой вырастал на моих глазах.

Мина держала меня за руку, но теперь уже я тянул ее вперед, вниз по лестнице, прочь из театра и дальше, по глубокому снегу.

— Скорее! — требовал я.— А то господин Геверт убежит.

Она пыталась спорить, но я ей не верил, и она уже верила мне больше, чем себе. Я догадался об этом, когда она сказала:

— Все равно тебе за ним не угнаться!

Я усмотрел в этом вызов и прибавил шагу. Я бежал во весь дух, а Мина бежала за мной следом. Мою руку она давно выпустила и только смотрела, как бы не упасть. И все же мы то и дело падали на скользкой мостовой. Поднимались и молча отряхивались. Мина молчала, потому что раз бежать — так бежать, а я, кроме всего прочего, боялся плакать,— как бы она не потащила меня домой. На углу, против нашего дома, я стал показывать ей пальцем в противоположную сторону.

— Вон, вон он бежит! — кричал я, задыхаясь.

Я и в самом деле видел его плащ, но только на одно мгновение; мелькнув в слабом свете фонаря, он скрылся в темноте. Очевидно, и Мина его видела, потому что ничего не сказала. И только когда мы оба полетели в сугроб, она выразила сомнение:

— Может, это и он, да только теперь ищи ветра в поле.

Вместо ответа я побежал вперед. Мина обогнала меня,— в ней говорило участие ко мне и дух соревнования. Я помчался что есть мочи. На улице не было ни души, никто не видел нашего состязания в беге. Наконец оба мы убавили шаг и пошли молча, стараясь отдышаться и только обмениваясь взглядами. Так мы достигли городских ворот и здесь остановились. Я всматривался в ночь; она казалась бездонной. Деревья по бокам шоссе как-то сразу тонули в ней. По краю широких лугов, где, как я знал, стояли дома, теперь густело только черное небо. Желтые точки отдаленных огней лишь подчеркивали безбрежность ночи. Я невольно отступил назад.

— Небось испугался? — не без ехидства спросила Мина.

— Ты тоже испугалась,— попробовал я защищаться.

Мина честно возмутилась.

— Я по этой дороге сколько раз ездила — на возу с овощами. В глухую ночь, а ведь не старше тебя была.

Чтобы окончательно меня пристыдить, она храбро направилась за ворота. И тут же вернулась.

— Вот еще глупости,— заявила она, ибо в ней внезапно пробудилось чувство долга. Я уже не сопротивлялся, я плакал.— Вишь, реветь выдумал,— сказала она презрительно.— Вот до чего доводит упрямство!

На сей раз ненавистное слово должно было объяснить, почему оба мы в час, когда мне уже давно пора было лежать в постели, блуждаем где-то на окраине. Я чувствовал, что это заявление ничего решительно не объясняет, и только плакал в ответ. Мы побрели домой. На этот раз Мина тащила меня за руку, а я упирался. Ведь вместо того, чтобы приближаться к господину Геверту, мы от него удалялись. Вдобавок меня мучило, что я отступаю перед первой же трудностью. А ему между тем угрожали ужасы, о которых я боялся и подумать. Он бежал бесприютной тенью, всеми гонимый, и все дальше и дальше уходил в темноту. Даже воображение мое отказывалось за ним следовать. Он был окончательно для меня потерян, и по собственной моей вине. Все погибло безвозвратно!

Догадывалась ли Мина о глубине моего отчаяния? Или же ее мучили свои заботы, и она поэтому старалась со мной поладить? В голосе ее зазвучали мягкие, даже просительные нотки:

— Только смотри, сразу же в постельку, а то папа с мамой придут — будет нам тогда проборка.

Это добродушное предостережение подействовало, и мы кое-как добрались до нашего угла. Но уже по дороге ее совет был забыт, к горлу у меня подступили новые рыдания, я не хотел идти, упирался изо всех сил и отчаянно орал. Эти крики скорее даже, чем мое бешеное сопротивление, заставили ее отказаться от разумных намерений. Поняв это, я закричал еще громче.

— Ай-ай, что люди-то скажут,— боязливо шептала Мина, поглядывая то на немые дома, то на мальчика, усевшегося на тротуар.— Ну, чего ты от меня хочешь? — спросила она.

Так как я и сам этого не знал, то ничего не мог ответить. Она скрестила руки на груди, как для молитвы. Это, должно быть, помогло ей собраться с мыслями,— она сразу нашла нужные слова.

— Вздор! — заявила она.— Никуда господин Геверт не бежал. Да и зачем ему бежать?

«Ведь он разбойник»,— собрался я возразить; но она и слушать не хотела.

— Где же ему и быть, как не в цветочной лавке,— рассудила она.— А тебе давно полагается быть в постели.

В тоне ее было столько превосходства, что мне осталось лишь подчиниться. Я поднялся с земли и побрел с ней на ту сторону. Но тут я уперся в стену домика, который так загадочно врос в наш дом. «На свете немало загадок»,— очень кстати пришло мне в голову; дело не в словах, как бы внушительно они ни звучали.

— Неправда,— сказал я твердо.— Господин Геверт не в цветочной лавке. Он где-то бежит.

По правде говоря, я уже сомневался, может ли кто-нибудь, будь то даже господин Геверт, так долго бежать. Я потому и говорил твердо, что в душе совсем растерялся. Но Мина не могла в этом разобраться, она была слишком простодушна. К тому же беспокойство томило ее и заставляло торопиться.

— С тобой не сговоришься,— бросила она уже на ходу и, к величайшему моему изумлению, побежала вниз по Беккергрубе — прочь от нашего дома и от меня. Я оторопело смотрел ей вслед. Испугавшись, как бы не остаться одному, я пустился за ней и догнал ее у цветочной лавки фрау Геверт, где она остановилась.

Цветочная лавка темнела за стеклянной дверью. Мина постучала в стекло. Мы подождали, она постучала сильнее. Тогда где-то в глубине открылась дверь, и из задней комнаты выглянула старушка. Она стояла на пороге, загораживая всю дверь, и, вытянув шею, всматривалась в темноту. Ничего, должно быть, не увидев, она повернулась и пошла к столу. За столом кто-то сидел. Старушка потянулась за лампой. И, прежде чем она взяла ее, я узнал господина Геверта. Он сидел за столом и ужинал.

Но теперь это был уже не разбойник, а тот самый человек, которого я ежедневно видел на Беккергрубе. В нем не было ничего замечательного, наоборот,— он показался мне даже более обыкновенным, чем раньше. Трудно было его себе представить героем каких-нибудь сказок и приключений,— теперь я и сам это понимал. Никакие враги и зложелатели не охотились за ним в таинственных далях, да и сам он не явился к нам бог весть откуда — я должен был прямо сказать себе это. Вид спокойно насыщающегося господина Геверта отрезвил меня и в то же время глубоко опечалил. Но при этом я почувствовал стран-

пое облегчение. Только бы он меня не увидел. И не успела его мать с горящей лампой войти в лавку, как я уже отправился домой.

Я не обратился в бегство; я покидал эти места пусть и в спешке, но сохраняя достоинство человека, сознающего свою правоту. Господин Геверт был не тем, за кого выдавал себя. Это на его совести лежало все, что я выстрадал в тот вечер, все, что я пережил и выстрадал и в те другие вечера, когда он тайно посещал меня в детской. А теперь я думал, что он того не стоит, и был неправ.

Когда Мина добралась до нашего парадного, я уже ждал ее, забившись в угол, спиной к улице, как наказанный.

— Ну что, видал? — свирепо набросилась она на меня, не повышая голоса.

К счастью, мы прокрались в детскую, не встретив моих родителей. Это дало Мине право напуститься на меня с упреками. Я покорно дал себя раздеть, отделываясь молчанием. Мина опять посетовала на мое неисправимое упрямство, с которым она не знала, что и делать. Захватив с собой свечу, она поторопилась выйти из детской. Я тут же уснул.

Утром я не сразу вспомнил про театр, а о господине Геверте и вовсе не стал думать. С тех самых пор он перестал занимать меня, и, увидев его под окном, я обращал на него не больше внимания, чем на всякого другого. Удалившийся от дел жестянщик с длинной трубкой был отныне куда ближе моему сердцу, нежели господин Геверт.

Но в то утро мне из-за него опять досталось. Мина только собралась почистить мой перепачканный костюмчик, как он попался на глаза маме. Начался допрос. Я молчал как убитый, предоставляя Мине врать и выпутываться. Однако мама догадалась по моему лицу, что дело нечисто, и, как всегда, пригрозила, что обо всем узнает папа.

За обедом она стала на меня жаловаться, но папа все обратил в шутку, а тогда и мама развеселилась. Я слушал, уткнувшись в тарелку, и на все вопросы отвечал односложным «не знаю».

Да так оно, впрочем, и было. Страдания, мечты и треволнения вчерашнего вечера отступили куда-то далеко, и мне трудно было признать их своими. Со мной случилось то же, что нередко бывало потом, когда мне удавалось сделать для себя какое-нибудь открытие. Все, что привело к нему, куда-то бесследно проваливалось, и трудно было восстановить его в памяти.

Для мальчика улица тянулась от лавки Дрейфальта до гостиницы Дуфта. Тут она обрывалась — дальше шли запретные пути, уводившие в чужой мир. Зато от Дрейфальта до Дуфта мне был известен каждый дом и все его обитатели. Я знал, что наш сосед Гаммерфест пьет чересчур много пива, но это не мешает ему успешно продавать свою галантерею. Напротив торговал красным товаром старичок Амандус Шнепель — это было весьма процветающее дело. Правда, Шнепель, стоя у прилавка, имел привычку возить своим деревянным метром по рулону материи, именуемой «репсом», отчего у покупателей даже челюсти сводило. Словом, у каждого имелись свои недостатки и смешные стороны, как, например, длинные завитые локоны у мадам Шпигель. Но, в общем, улица была добропорядочная, и ее обитатели казались мне действительно тем, за кого они себя выдавали. Это были почтенные, сердечные и услужливые люди. Почти все они в ответ на поклон подавали мне руку или приветливо кивали головой.

В приготовительном классе школа еще не целиком поглощает человека. И мальчик наполовину принадлежал улице. Букварь занимал его не больше, чем громыхающая по булыжнику телега, нагруженная мешками с зерном, или чем кабриолет доктора,— где он остановится, там, значит, кто-то захворал. В ту пору мальчик еще живо интересовался житейскими делами. Школа завладела им значительно позднее. Даже товарищи у него были не школьные. Ученикам младших классов далеко не сразу открывается все значение их общего пути. Пока же не было у него лучшего друга, чем дуфтовский обер-кельнер.

Этот степенный человек пускался с ребенком в самые задушевные разговоры, по-видимому равно интересные для обоих. Происходили они на крыльце, когда у обер-кельнера выдавался свободный часок. Но, даже суетясь где-то в недрах гостиницы, он пользовался каждым случаем подмигнуть мне на ходу. И я каждый раз загорался надеждой: «Сейчас он вынесет мне трубочку с кремом. Это он за ней побежал». Как-то, в особенно задушевную минуту, он пообещал мне трубочку с кремом, и потом — напоминал я ему или нет,— но думал я о ней постоянно. Разумеется, я и дома ел трубочки с кремом. Но мне казалось, что такой трубочки, как у обер-кельнера, я еще никогда не пробовал. Мне важно было не столько вкусить, сколько завоевать ее. И чем чаще я обманывался в своих надеждах,— трубочек будто бы не доставили или их мгновенно рас-

хватали,— тем больше они меня манили. Трубочка получила для меня значение первого самостоятельного шага в жизни.

На другом конце улицы, у Дрейфальта, ожидали меня дела не менее ответственные. Матушка посылала меня к нему за кофе и пряностями. Она заботилась главным образом о том, чтобы мальчик занялся чем-нибудь полезным и не проказничал дома. И все же, придя в лавку, я чувствовал, что явился по настоящему делу. Заправдашняя жизнь,— вот что удивляло меня здесь. Эта лавка, конечно, не была игрушечной, хотя она в точности напоминала ту, что мне подарили на рождество, только увеличенную до сверхъестественных размеров. Те же ряды отливающих коричневым лаком выдвижных ящиков, но так высоко, что мне их ни за что не открыть. Те же сахарные головы, но с меня ростом, а уж до прилавка я мог дотянуться разве только взглядом. С приказчиком мы как бы обменялись местами: в моей лавке карликом был он, и я глядел на него сверху вниз. Здесь же он небрежно смотрел на меня с высоты своего настоящего прилавка. Действительность на каждом шагу давала мальчику понять, что она — действительность, а он только в игрушки играет. Мальчик верил ей разве что наполовину — и был прав.

Как-то я заметил, что верзила-приказчик украдкой лакомится изюмом из выдвижного ящика. Кроме меня, в лавке никого не было, и он сунул мне немного изюму, чтобы я его не выдал. А я подумал: большой, а в лавку играет.

Но особенно памятны стали для меня посещения Дрейфальта из-за сильной грозы и того, что потом произошло.

Вряд ли мама, посылая меня с поручением, не догадалась посмотреть на небо. Вероятно, это я, покончив с покупками, так долго слонялся по улице, пока не начал греметь гром и не засверкала молния. Гроза сразу же ударила что есть мочи. Пока я стоял на улице среди всей этой катавасии, не зная, что предпринять, я промок насквозь. Конечно, промокнуть под дождем — первое для меня удовольствие, но покупки! Им это уж никак не на пользу. Самое простое было бы бросить их. В такие минуты все оправдывает высшая необходимость. Это позволило бы мне отдаться игре шумливых и брызжущих стихий. Однако чувство долга и порядка перевесило, и я укрылся со своими свертками в ближайшем подъезде. Тут я услышал свист, и глазам моим представилась знакомая фигура.

На опустевшей улице разлились озера. Кругом гремело, грохотало, молнии прорезали небосвод, а посреди мостовой, беспечно насвистывая, шагал мой школьный товарищ Карл.

Он прогуливался, засунув руки в карманы, и смотрел на небо. Только тут я заметил, какое смелое у него лицо. Глаза его были широко открыты, а такого ясного лба я не видел ни у одного мальчика. Белокурые волосы, быть может от желтоватого грозового освещения, казались золотыми; он был без шапки, и с них лило в три ручья, но влага не развила его кудрей, щедро спускавшихся на лоб. Карл был хрупкого сложения и не выше меня ростом. Что смутило меня в тот миг и помешало его окликнуть, это его крайне независимый вид. Под проливным дождем он двигался легко и свободно. Никто не заставлял этого мальчика тащиться с какими-то свертками. Но я чувствовал, что эта независимость и легкость объясняются не только тем, что он может шагать, засунув руки в карманы. Казалось, пожелай он, и ничто не помешает ему уйти куда угодно, хотя бы и вон из города. Этот город не был его родиной. Глядя на его большие, устремленные вверх глаза, я чувствовал, что все мы здесь ничего для него не значим, в том числе и я.

Вот то новое и ошеломляющее открытие, которое я сделал и которое помешало мне окликнуть Карла.

Зато он меня окликнул. Заметив меня, он остановился и закричал под хлещущим душем:

— А ты, видать, трус, спрятался от дождя!

Я ответил так же вызывающе:

— Врешь, ты еще сухой был, когда я уже насквозь вымок.

Чтобы доказать свою храбрость, я вышел из укрытия. С достоинством, всем своим видом выказывая пренебрежение к стихиям, предстал я перед Карлом.

— Молодец,— похвалил он меня.— А теперь пошли.

И мы зашагали под ливнем, конечно, не по направлению к дому — он жил через дорогу от меня,— об этом не могло быть и речи. Мы зашагали в противоположную сторону — на другой конец города. Тут начинались запретные пути, но я чувствовал, что в присутствии Карла обычные житейские соображения ничего не стоят. Мы шли рядом, а до всего остального мира нам дела не было. Он искоса оглядывал меня, я видел это, и не поворачивая головы. Втайне я надеялся, что он чувствует то же, что и я. Когда же он не смотрел в мою сторону, я разглядывал его в профиль. Лицо его казалось мне новым и незнакомым, словно он не был моим школьным товарищем.

В первых классах дети смотрят друг на друга в упор, не опуская глаз, смотрят испытующе. Происходит встреча различных человеческих особей. Однако Карла я как-то прозевал или никогда по-настоящему не видел. Мы остались чужими. Что

бы это значило? Я вспомнил, что и домой мы всегда ходили в одиночку, хотя нам было по пути. Теперь это казалось мне каким-то диким нарушением человеческих законов. Я решил немедленно восстановить порядок, но успел только сказать: «Давай с завтрашнего дня...» — как неистовый удар грома отсек конец фразы. Мы снова переглянулись, на этот раз ища защиты. И не напрасно. Под взглядом товарища испуг сошел с наших лиц,— нам-то не пристало бояться! Но, сделав решительное лицо, каждый из нас действительно исполнился презрения к грому. И когда раскаты его утихли, Карл закончил начатую мной фразу.

— Да,— сказал он.— давай с завтрашнего дня вместе ходить домой из школы.

— Может, опять будет гроза,— подхватил я, кривя душой,— меня привлекала не гроза, а Карл, но я боялся выдать свою горячую радость. Я радовался, что он досказал мою фразу и, значит, думает то же, что и я.

Тут мы увидели в витрине игрушечные кораблики. И опять наши мысли совпали. Вода, брызгавшая из-под наших ног, принесла бы нам еще больше радости, если бы пустить по ней кораблик. Как пригвожденные, стояли мы у витрины и любовались корабликами. А тут гроза прошла, и потоки воды, бурля, устремились в сточные канавы.

— У меня есть деньги,— спохватился я и обрадовался этой замечательной мысли. Все свои свертки я сложил на тротуар,— довольно я с ними возился, они только конфузили меня перед Карлом. Не говоря уже о том, что бакалея моя безнадежно отсырела,— она теперь и вовсе не имела значения в связи с моими новыми, смелыми планами. Я вынул из кармана курточки оставшуюся сдачу.— Вот.— И я отдал ее Карлу.

— Здорово! — сказал он, и мы вошли в лавку.

Я понимал, что, как мальчик из хорошей семьи, совершаю нечто ужасное, ниспровергающее все законы. Но тут вступали в силу новые законы, и я это ясно сознавал. Будь я один, это было бы преступлением, но в обществе Карла это повелевали мне дружба и честь.

Денег хватило только на самый маленький кораблик, и через несколько минут мы, позабыв обо всем на свете, захлебываясь от восторга, резвились у сточной канавы.

Но тут нас окликнул прохожий, какой-то незнакомый человек, очевидно, первым отважившийся выйти на улицу, когда дождь слегка утих. Он сердито показывал пальцем на кучки кофейных и перечных зерен, рассыпанных кругом. Большую

их часть уже смыло в канаву и теперь уносило в решетку водосточной трубы.

— Это ваше добро? — спросил прохожий не то возмущенно, не то насмешливо.

— Нет,— задорно ответил я.— А вам какое дело?

Он сделал движение в мою сторону, я, конечно, пустился наутек. Он пробежал за мной несколько шагов, но потом махнул рукой и, ворча себе что-то под нос, пошел дальше. Когда я вернулся к Карлу, меня ожидали две новости. Наш кораблик, как и мою бакалею, снесло в водосточную трубу. Карл же занимался тем, что вылавливал из воды кофейные и перечные зерна и прятал их в карман.

Я удивился. Виданное ли это дело? Стал бы я выбирать из канавы перец и кофе! Да я бы сгорел от стыда и в первую очередь постыдился б Карла. А он выбирает. Но, не желая отставать, я занялся тем же. Тогда Карл объяснил мне:

— Мама их высушит.

Я сразу же бросил собирать зерна к себе в карман и стал отдавать их Карлу. Я очень сомневался, чтобы моей маме понадобилось что-нибудь побывавшее в сточной канаве. Но меня уже мучила мысль, что сам я вернусь домой с пустыми руками, без кофе, перца и даже без кораблика. Карл тоже задумался. Мы возвращались притихшие, с трудом переставляя ноги в тяжелых, как пудовые гири, башмаках,— я никогда не думал, что башмаки могут так пропитаться водой.

— Неужели придется их выбросить? — спросил Карл без обычной смелости.

Я не знал, что ему сказать.

— Костюмчик, во всяком случае, можно отгладить,— утешал я его.

Но вот мы и пришли. Карлу надо было только перейти дорогу. Мы расстались, не глядя друг на друга. В сенях уже ждала мама. Она увидела меня в дверной глазок. Если бы она караулила на пороге дома, чего ни одна порядочная дама себе не позволит, плохи были бы мои дела. Мне еще повезло.

— Наконец-то! — сказала мама.— Я уже собиралась заявить в полицию.

При слове «полиция» я весь похолодел и, втянув голову в плечи, прошмыгнул мимо. Не глядя на маму, я чувствовал — сейчас она поднесет к щеке кулачок, что было у нее признаком сильнейшего расстройства. Она молча смотрела, как меня раздевают.

— Все это придется выбросить,— сказала она.

Я не выдержал и зарыдал.

— И ты еще плачешь! — упрекнула меня мама.— Это мне надо плакать, а не тебе.

— А как же Карл? — воскликнул я, рыдая.— Его мама высушит кофейные зерна. Может, она и костюмчик отгладит?

— Какие кофейные зерна? — спросила мама, и только тут я понял, как она за меня испугалась. Она и думать забыла о покупках. Но меня, конечно, беспокоили не ее чувства, а Карл и его костюмчик.

— Что это еще за Карл? — с нетерпением спросила мама.

— Мой школьный товарищ,— оправдывался я.— Его зовут Карл.

— А родители его кто?

— Фамилия его мамы Фельз. Он Карл Фельз.

— Это женщина, что живет напротив?

— Та самая,— подтвердил я. Мне не понравился мамин тон. Этот тон был мне знаком: он означал, что она собирается что-то запретить мне.

— Надо, чтоб об этом узнал папа,— решила она.

В сенях задребезжал звонок. Пришел папа, и мы сели обедать.

— Ну, рассказывай, что ты сегодня натворил? — добродушно обратился он ко мне.

— И не спрашивай,— ответила за меня мама.— Он часами бегал под дождем, хорошо еще, что не холодно. И знаешь, с кем он подружился? С сынком этой «княгини».

Я раскрыл рот от удивления. Никогда я не слышал, чтобы кого-нибудь у нас называли княгиней. Так, значит, мать Карла княгиня? Но мама как-то странно произнесла это слово. Она сообщила ему какой-то скрытый смысл, предназначенный не для меня. Однако папа понял, он отрывисто засмеялся и добродушно погладил меня по голове:

— Хороших же ты себе находишь товарищей!

Эта похвала показалась мне сомнительной, но я воспользовался случаем и попросил разрешения пригласить Карла к нам. Мама, правда, ввернула, что этак и ей еще придется навестить княгиню, но папа, который в ту пору всегда бывал в отличном расположении духа, отмахнулся от ее замечания. Я добился своего.

Карл пришел ко мне, мы стали признанными друзьями. Он катался на моем велосипеде, мы вместе показывали фокусы, я объяснял ему задачи. Потом он все равно делал все по-своему,

и всегда оказывалось, что он прав. Я восхищался им и, как ни странно, много о нем размышлял.

Обычно дети не размышляют друг о друге. «Почему у Карла так много свободного времени? — думал я.— Даже после школы он сразу заходит ко мне, вместо того чтобы первым делом показаться своей маме. Почему он одет лучше меня, а собирает грязные кофейные зерна, чтобы его мама варила из них кофе?» Я надеялся, что какой-нибудь случай рассеет мои недоумения. Так оно и вышло.

Однажды после школы Карл сказал:

— Сегодня пойдем ко мне. Мама хочет тебя видеть.

Я сразу почуял опасность. Если я попрошу разрешения, меня, конечно, не пустят к «княгине». Просто не пойти домой было страшновато, я еще не позволял себе таких вольностей. Не говоря ни слова, я последовал за Карлом на ту сторону улицы, к дому виноторговца Ризе. Сам он в нем не проживал, отдавая предпочтение своей прекрасной загородной вилле. Здесь были только его винные погреба. Сын его Петер как раз показался из люка. Хоть он и лазил в погреб, но тоже был из господ и одевался соответственно. Он стряхнул носовым платком паутину с рукава.

Увидев красную физиономию господина Петера Ризе, я побежал с ним здороваться. То же самое должен был сделать и Карл. Так полагалось. Но Карл даже с места не сдвинулся. Он стоял хмурый и ждал меня.

— Ты идешь к княгине? — спросил меня господин Ризе.— Возьмите и меня с собой!

— Ни за что! — крикнул Карл с непонятной мне злобой.— Сидите лучше в своем погребе. И мама тоже это говорит.

В ответ господин Ризе громко расхохотался. Правда, когда он снова заговорил, в голосе его не слышно было особой радости. Скорее недовольство.

— Твоя мамаша придет еще ко мне на поклон,— сказал он, и каждое его слово резало меня как ножом: я еще не слыхал, чтобы так разговаривали.— Пусть тогда лезет ко мне в погреб.

Мне даже страшно стало от его слов. Я подумал, что сын виноторговца Ризе превратился в какое-то чудовище. Он прячется в темноте за бочками и так и ждет, чтобы схватить кого-нибудь за икры! Я отскочил и стремглав бросился к Карлу. Мы как угорелые взбежали на второй этаж и остановились у дверей, прислушиваясь, не гонится ли за нами Ризе.

Потом Карл без всяких объяснений ввел меня в комнату. Здесь стояла мягкая мебель, жардиньерка с цветами и пианино.

Все, как у нас, только цветы увяли. Посреди комнаты Карл остановился, мы стояли, как гости, дожидающиеся хозяев. Я не мог равнодушно видеть пианино. Не в силах противиться искушению, я поднял крышку и обеими руками тронул клавиши.

— Сейчас же перестань,— остановил меня Карл, но было уже поздно. В комнату вошла его мать.

— Что здесь за шум? — спросила она.

— Он не знал,— ответил Карл.

— Так, так,— протянула дама, делая вид, будто не сразу меня заметила; а между тем она заметила меня, как только вошла в комнату, я это прекрасно видел. Она притворялась: это смущало меня и дразнило мое любопытство.

— Что ты так смотришь? — недовольно спросила красивая дама и рассмеялась.— Ты тот друг, к которому ходит Карл? Карла приглашают в гости!

Теперь она смеялась задорно. Я было обрадовался, но радость моя тут же улетучилась. Произошло нечто неожиданное: Карл поцеловал у своей матери руку. Мальчик целует руку матери — ничего подобного я еще не видел и не слышал. Я не знал, что и думать. Я глаз не сводил с этой женщины, отвечая на ее вопросы — как меня зовут и не моя ли это мама постоянно сидит у окна за рукодельем.

— Она хорошо причесана,—заметила, к моему удивлению, мать Карла.— Кто ее причесывает? Не Филибер? Ну, конечно, ты не знаешь. Я сама ее спрошу. Или лучше спрошу Филибера.

Она отвернулась, я видел только ее плечо, на котором лежали два золотистых локона. Уж не собирается ли она сейчас же бежать к парикмахеру? Но я еще успел произнести приготовленную фразу:

— А почему вы не сидите у окошка, как моя мама?

Она снова рассмеялась, но на этот раз с другим выражением. Лицо ее стало милым, наивным и необыкновенно располагающим.

— Я не рукодельница,— сказала она и снова повернулась ко мне. И так раздобрилась, что даже руку мне протянула. У нее была длинная тонкая рука. Я покраснел до корней волос. Может быть, и мне поцеловать ей руку? Но дама уже ласково кивнула нам, на этот раз нам обоим:

— Поиграйте, но только не здесь.

И она вышла из комнаты. Мы все так же стояли, не двигаясь, и вдруг она запела. У нее был сильный, звучный голос. Я знал только нежный голосок моей матушки и даже вздрогнул. Голос то нарастал, то затихал, то широко разливался, то

выделывал трели и стаккато и наконец оборвался на густой, звучной ноте. Словно перед ним захлопнулась тяжелая, непроницаемая дверь.

«Княгиня — красавица, но кто-то ее обидел»,— почувствовал я.

— Пойдем ко мне в комнату,— предложил Карл.

А я почувствовал: «Она была бы веселая, но что-то заставляет ее грустить».

— Что же ты не идешь? — спросил Карл, и я пошел за ним.

У него в комнате меня ждал еще бóльший сюрприз. Кукольный театр — я никогда не видал такого большого. Он был выше нас с Карлом. Я с уважением смотрел на Карла. Иметь такую маму и такой театр!

— Ты умеешь представлять? — спросил Карл.— Хочешь, я покажу тебе?

И он исчез за занавесом балагана.

— Хорошо мама поет? — послышался оттуда его голос.

Он говорил тихо, но в тоне его звучала гордость. Я хотел ответить, что его мама поет замечательно, но кто-то опередил меня.

«Да, мальчик, она поет замечательно»,— послышался чей-то знакомый тявкающий голос. Я не сразу понял, что это Касперле, за которого говорит Карл. Карл смеялся — то своим голосом, то голосом Касперле, и я тоже стал смеяться вместе с ними — третьим.

Поднялся зеленый занавес. Карл посадил на край ширмы двух кукол — мужчину и женщину. Мужчина был в черном, с рожками, это мог быть только черт. Черт сказал женщине:

«Сейчас же заплатите за квартиру. А не то ступайте в погреб!»

— Догадываешься, кто это? — спросил Карл своим обычным голосом, а не тем противным, которым говорил за черта.

«Вот еще! — сказала женщина.— Сами вы убирайтесь в погреб! Пошли вон!..»

— Догадываешься, кто это? — снова спросил Карл.

Я кивнул в ответ, хотя он не мог меня видеть.

«Ах, ты вот как,— крикнул черт,— тогда я позову крокодила». И он нырнул вниз. Оставшись одна, женщина расплакалась. Она жалобно всхлипывала, да так естественно, что я готов был плакать вместе с ней. Но тут появилась пестро разодетая кукла — по-видимому, сам Касперле. Он стал утешать женщину — ничего, дескать, не будет, он не даст ее в обиду. При этом он грозно размахивал своей дубинкой.

«Это господин Ризе заставил вас плакать,— тявкнул он и опять замахал дубинкой.— Вот я ему покажу!» Едва он сказал это, послышалось ворчанье. Ворчал, конечно, крокодил. Женщина исчезла, из-за ширмы показался крокодил. Он весь состоял из огромной пасти, которая сразу же раскрылась, чтобы проглотить Касперле. Но тот не растерялся и сунул в нее дубинку.

«А теперь,— сказал он,— дубинка так и останется у вас в глотке, пока вы не пообещаете съесть господина Ризе и не оставите в покое мою маму».

Даже к крокодилу обращался Касперле на «вы», и я узнавал в его голосе взволнованные интонации Карла. А тут над краем ширмы показались и сверкающие глаза моего друга. Он уже не отделял себя от Касперле. Касперле куда-то скрылся. А когда вернулся господин Ризе, крокодил сожрал его без всяких разговоров. Все досказало ворчание чудовища и крики жертвы.

Я с горячим участием следил за событиями, захваченный ими не меньше, чем Карл. И так велико было наше возбуждение, что нам оставалось только перевоплотиться в действующих лиц этой драмы.

— Ты будешь господином Петером Ризе! — потребовал Карл.

— Ни за что! — крикнул я с отвращением.— Я не хочу быть Петером Ризе.

Но так как Карл уже видел во мне эту личность, то мне пришлось защищаться, иначе меня ожидала серьезная взбучка. Мы сцепились и полетели на пол, увлекая за собой столы и стулья. На шум и крики прибежала горничная, она разняла нас и отправила меня домой.

В тот день я принял два решения. Во-первых, папа и мама должны пригласить к нам княгиню. Второе, надо потребовать наконец у обер-кельнера трубочку с кремом,— мы поделим ее с Карлом. Какое из этих решений важнее и какое труднее выполнить,— этого я не мог сказать. Моей задачей было действовать.

За обедом я выразил желание, чтобы в воскресенье, когда мы ждали бабушку, была приглашена и княгиня. Я говорил не слишком уверенно, но очень настойчиво. Милая, наивная улыбка княгини породила во мне эту настойчивость. Я уже тогда почувствовал, что с ней обращаются несправедливо, а теперь окончательно убедился.

Мама вытаращила на меня глаза и только ахнула. А папа ласково спросил:

— Ну-ка, дружок, объясни мне, как это тебе взбрело в голову?

— Карл ей даже руку целует,— выпалил я в качестве главного довода.

— Что ж, это очень мило,— согласился папа.

— Ну и... и она тоже причесывается у Филибера,— добавил я, но, увидев, что мама поджала губы, испугался, как бы все не испортить, и отчаянно заторопился:— И она прекрасно поет, но только не рукодельничает.

— Не сомневаюсь,— вставила мама.

Но папа был само добродушие.

— Я бы с радостью исполнил твою просьбу, дружок,— заверил он.— Но боюсь, что тогда бабушка откажется к нам прийти. А кого тебе больше хочется видеть: бабушку или княгиню?

Я не мог сказать, что княгиню, и потому промолчал. Тем прилежнее слушал я все, что потом говорили между собой мои родители.

— Она даже парикмахеру задолжала,— рассказывала мама.

Папа поморщился, но не рассердился.

— Она могла бы иметь кучу денег,— заметил он,— достаточно ей слово сказать. Она, в сущности, молодчина, что не идет на это.

— Берет же она у Петера Ризе какие-то подачки,— возразила мама.

— Это он напрасно говорит,— заявил папа.— Уверяю тебя, если бы он на что-нибудь надеялся, он не стал бы болтать.

И тут я сказал — сам не знаю, что на меня нашло:

— Господин Петер Ризе — гадина!

Мама подскочила на стуле, как будто я подавился костью и уже кончаюсь. Я не ожидал такого действия моих слов и готов был уже рассказать все, что знал о Петере Ризе. Но папа погрозил мне пальцем, на этот раз довольно сердито, и, повернувшись к маме, заговорил о чем-то другом.

Оставался еще обер-кельнер. Я надеялся, что с ним мне больше повезет, ведь обер-кельнер не принадлежал к господам. Я думал: «Вот вырасту, закажу ему сто трубочек с кремом». На следующий же день мы с Карлом отправились в гостиницу Дуфта. Я взял с собой Карла, надеясь, что вдвоем мы произведем большее впечатление. Невидимо нас поддержат не только мои родители, но и княгиня. Правда, во вчерашних разговорах о ней промелькнули какие-то странные нотки, но окружающая княгиню тайна только больше сгустилась, и чело ее увенчалось новым

ореолом. Мой друг обер-кельнер, несомненно, станет на мою точку зрения. В ту пору я искал сочувствия у лиц, далеких моему кругу и стоявших ниже меня на общественной лестнице.

Обер-кельнер встретил нас на крыльце. Он стоял, заложив руки за спину, и так и не поздоровался, а только величественно оглядел нас с высоты трех ступенек. Мне это сразу не понравилось. Раньше он так не важничал и разговаривал со мной как с равным.

— Сегодня у меня не будет для тебя трубочки с кремом,— сказал он, предупреждая мой вопрос.

Меня это разозлило.

— Нам одной трубочки все равно мало,— сухо отрезал я.— Ведь со мной Карл.

— Как же, как же, знаю, княгинин сынок! — И кельнер так расхохотался, что чуть не упал. Однако он решил, что не мешает поздороваться, и даже потрепал моего друга за кудрявый вихор.

— Ну,— снисходительно осведомился он,— к сиятельному папаше в гости не собираешься? Или твоя мамаша опять поступает в актерки?

Я впервые заметил, что мой знакомец обер-кельнер говорит неправильно. Это сразу уронило его в моих глазах.

Между тем Карл сказал: «Не ваше дело»,— повернулся и пошел прочь. Я поспешил за ним, а обер-кельнер еще рассмеялся нам вслед.

— Видишь, какие они,— сказал Карл и топнул ногой.— Все, все такие.

В последующие дни я много думал над его словами.

Сравнивая господина Петера Ризе с обер-кельнером, я приходил к заключению, что они стоят друг друга. Их даже спутать можно. Господин Петер Ризе мог бы вполне командовать другими кельнерами, а обер-кельнер сумел бы постоять за себя в роли богатого виноторговца. Интересно, говорит ли господин Ризе «поступить в актерки»? Наш сосед Гаммерфест недавно напился с самого утра, и мы, несколько мальчиков, ознаменовали это событие громким ликованием; одного он поймал и вздул, другие разбежались. Такие вещи уже не раз бывали, но теперь все это вызывало во мне новый, напряженный интерес. Я не без тайного умысла опять посетил доныне безупречного Амандуса Шнепеля. Он, как и всегда, возил деревянным метром по рулону «репса», действуя мне на нервы. Кроме того, я заметил, что он совсем по-разному говорит с моей мамой и другой, не такой богатой женщиной, с которой она в одно время подошла к прилавку. Все свое

внимание и терпение он отдавал маме, а другую покупательницу небрежным кивком отослал к весьма нелюбезной приказчице и не уступал ни гроша. А моя мама торговалась бесконечно, и он еще проводил ее до самой двери.

Но только ли Шнепель такой скверный человек? А разве Гаммерфест, обер-кельнер и господин Петер Ризе случайно оказались плохими? Карл утверждал, что все они друг друга стоят, при этом он имел в виду весь город. Я же всегда принимал его жителей за почтенных, сердечных и услужливых людей и теперь не знал, верить Карлу или не верить. Ведь скольким из них я подавал на улице руку, считая их хорошими и честными! Я и теперь с ними здоровался, но только с некоторых пор стал особенно прямо и открыто смотреть им в глаза, стараясь понять, верить их дружелюбию или не верить. Моего друга и его мать они обижают,— почему же не меня? Почему даже мои радушные родители не хотят пригласить княгиню?

В то время я впервые искал и не находил в своих согражданах того, что еще и назвать бы не сумел,— справедливости. И к себе я тоже стал присматриваться. Потому что и сам я, несмотря на мой новый жизненный опыт, оставался, в сущности, прежним.

Как и раньше, я воздавал почести только тем, кому их будто бы полагалось воздавать. Значит, в этом городе все и впрямь на один лад — ведь я себя считал не хуже других! Но на них я негодовал сильнее. Они обманули меня. Я принимал город и всю нашу жизнь за нечто данное, а значит, и должное. Знакомство же с Карлом заставило мальчика критически отнестись к окружающим.

Не сомневался я в одном только Карле. Его гордость нельзя было сломить, его сердце всегда оставалось надежным и верным. Я дивился его нерушимой ненависти к господину Петеру Ризе, мне тоже был ненавистен домохозяин моего друга, но сколь же робкими были мои чувства!

Однажды мы с Карлом увидели перед собой на улице трех мужчин, посередине шел господин Петер Ризе. Мы последовали за этой тройкой — сперва на почтительном, а затем и на более близком расстоянии и зашли с ними невесть куда. Карл подбивал меня швырнуть им под ноги камень, а потом спрятаться в каком-нибудь подъезде. Я уверял его, что это невозможно, хотя и держал уже наготове камень. Когда мы подкрались ближе, я еще успел шепнуть:

— Давай крикнем у них за спиной: «Ризе сморкается в кулак!»

Такое обвинение я считал возможным ввиду полной его обоснованности. Я и в самом деле как-то застал господина Ризе за этим предосудительным занятием. Но Карл считал такую месть недостаточной; уж если кричать, а не бросать камни, так, по крайней мере, громко, во весь голос, и обоим вместе,— потребовал он. Я обещал и стал расписывать ему все разнообразные последствия нашей мести. Господин Петер Ризе будет уничтожен. Его спутники, конечно, поднимут его на смех и даже пощечин ему надают за все его мерзости. Это убедило Карла; он только ставил условием кричать как можно громче. И тут же принялся отсчитывать: раз-два — а сказав три, крикнул.

Он крикнул один. У меня в последнюю минуту не хватило духу. Вдобавок ни одно из моих предсказаний не сбылось,— трое мужчин как ни в чем не бывало продолжали идти своей дорогой. Даже Ризе не повернул головы. Скоро их заслонили другие прохожие. Теперь мы шли медленно, точно преодолевая какое-то препятствие, которого раньше не замечали. Наконец Карл остановился.

— А ты, выходит, трус,— сказал он и толкнул меня. Я тоже толкнул его, но менее стыдно мне от этого не стало.

— Трусишка, теперь я тебя знаю,— сказал Карл, повернулся и пошел. Это было даже обиднее, чем толкать. Я с вызывающим видом повторил его маневр и пошел домой по противоположному тротуару.

На другой день в школе мы упорно делали вид, будто незнакомы, и только хмуро посматривали друг на друга. Впервые за долгое время каждый шел домой сам по себе. Я выбрал более короткий путь, которым раньше не пользовался. И на кого же я здесь наткнулся? На господина Ризе! Первым моим побуждением было бежать. Но я заставил себя подойти ближе и снял шапку. Как и следовало ожидать, он остановил меня и сказал:

— Вчера кто-то орал у меня за спиной всякие глупости. Уж не ты ли с приятелем?

Я ответил «нет» и покраснел.

— Врешь! — сказал господин Петер Ризе.

Я ответил:

— Нет, не с приятелем. Я один кричал.

— А ты, оказывается, еще и сорванец в придачу? — крикнул он и сделал движение, словно собираясь схватить меня.

Я не стал закрываться рукой, а только посмотрел на него.

Он оглянулся. Кто-то показался в конце тихого проулочка. И господин Петер Ризе не без сожаления опустил руку.

— Кланяйся папе! — Он злобно захохотал и пошел прочь.

А я побежал догонять Карла, чтобы перехватить его по дороге. Догнал я его уже у самого дома.

— Карл! — крикнул я.— Ризе чуть меня не поколотил.

Но Карл, словно не замечая меня, пошел прямо к двери.

— Карл! Он спросил, кто кричал, и я сказал ему, что я.

— Врешь! — буркнул Карл и исчез за дверью.

Я был так возмущен, что не стал его убеждать. До сих пор мне всегда верили, разве только уж я говорил заведомую неправду. И надо же, чтобы именно мой друг первым без всяких оснований мне не поверил. Я глубоко оскорбился,— ведь с Карлом меня связывали самые заветные мечты. А потом пересилила боль оттого, что Карл так плохо меня знает. Теперь я все смотрел мимо него с надменным лицом,— по крайней мере, я думал, что с надменным. Скорее оно было печальным, потому что и на лице Карла не видно было оживления. Учитель, заметив на большой перемене, что два когда-то неразлучных друга стоят в разных углах и дуются, приказал нам бежать наперегонки. Мы повиновались, и Карл, конечно, добежал бы первым, но уже у самой цели он нарочно задержался — только я один заметил это,— и мы одновременно коснулись дерева. Я хотел протянуть ему руку, но она как будто примерзла. А Карл так и не поднял глаз, пока мы не разошлись в разные строны.

Завтра же протяну ему руку! Это было мое твердое намерение. К сожалению, Карл на другой день не пришел в школу. Я не посмел спросить, не болен ли он. Напрасно искал я на обратном пути предлога зайти к нему. Перед гостиницей Дуфта я опять наткнулся на обер-кельнера. Увидев меня, он вытащил из-за спины что-то завернутое в бумагу.

— Вот тебе твоя трубочка с кремом,— сказал он и даже отвесил мне поклон.

Я небрежно взял подарок.

— А для Карла? — спросил я недовольным тоном.

Обер-кельнер удивленно посмотрел на меня и даже рот разинул, но одумался. Я ждал, что он выругается. Вместо этого он с непонятной осторожностью сказал:

— Хватит и одной.

Я забыл поблагодарить его. Мне пришло в голову, что одной и правда хватит — я отдам трубочку Карлу, а сам обойдусь. Поэтому я не стал медлить. Но и не побежал. Столько радости и счастья неслось, нет — летело впереди, что мне было все равно не обогнать их. Как я ни торопился, короткий путь казался бесконечным. На лестницу я взбежал с бьющимся сердцем, как в

тот раз, когда мы с Карлом спасались от господина Петера Ризе. Дверь наверху стояла открытой, словно меня там ждали.

Но ведь я-то знал, что никто меня не ждет, и у меня защемило сердце. Однако я не догадывался, что сейчас будет. В коридоре только звук моих шагов встревожил тишину, и я увидел, что на полу уже нет дорожки. Двери повсюду стояли настежь. В комнатах ни души, какой ужас! Вот здесь я говорил с княгиней. Там она пела, прежде чем дверь заглушила ее прекрасный голос. Она, верно, и сейчас поет, но дверь захлопнулась навек. Я еще не понимал тогда, что значит — пролетело безвозвратно. Непостижимой была эта опустевшая, покинутая комната.

Все во мне восставало против этого страшного запустения. Карл! В нем, по крайней мере, я был уверен, как ни туманно было все остальное. Пройдя по коридору, я завернул за угол. Да, в комнате моего друга слышались шаги. «Карл!» — воскликнул я, еще не видя его. И кто же ответил мне? Краснорожий господин Петер Ризе! Он сказал:

— Уж не увезли ли они что-нибудь твое? Я тоже затем пришел.

— Где они? — прошептал я чуть слышно.

В каком-то беспамятстве смотрел я на место, где недавно стоял кукольный театр. Это был не мой театр. Но что-то и мое оторвалось от меня. Я только не знал что́ и, как ни старался, не мог вспомнить.

— Скоро вернется Карл? — спросил я дрожащими губами.

— Когда рак свистнет,— ответил господин Петер Ризе с бесцеремонностью судьбы и вышел из комнаты.

Наконец-то у меня брызнули слезы. Я опустился на колени и зарыдал, уткнувшись лбом в пол. Хорошо бы остаться так навеки. И даже когда у меня заболели колени и в груди не стало рыданий, я еще долго лежал, не двигаясь.

Поднявшись, я увидел на полу бумажку; она приоткрылась, из нее выглядывала трубочка с кремом. Я не сразу вспомнил, откуда она. Вот все, что осталось мне от счастливых дней. Трубочка учила меня, что́ значит — пролетело безвозвратно. Так как я был еще мал, я тут же съел ее, и это дало мне силы опять вдосталь поплакать.

ПРИМЕЧАНИЯ

Генрих Манн (Heinrich Mann, 1871—1950) писал романы и новеллы, драмы и одноактные пьесы, эссе и публицистические произведения. Однако «грандиозный труд» писателя (по выражению его брата Томаса Манна) — это прежде всего романы (их насчитывается больше двадцати). Именно своими романами вошел Г. Манн в мировую литературу. Первое произведение — роман «В одной семье» («In einer Familie») был опубликован в Мюнхене в 1893 году. Сам Г. Манн считал датой своего вступления в литературу 1900 год — выход в свет романа «Земля обетованная» («Im Schlaraffenland»). К этому времени писатель был уже автором и двух сборников новелл.

Первое собрание сочинений Г. Манна появилось не на немецком, а на русском языке в Москве в 1909—1912 годах (изд-во «Современные проблемы», 9 томов). Почти одновременно с этим увидело свет другое русское собрание сочинений Г. Манна (М., Изд-во Саблина, 1910—1912, 7 томов). Это показывает, насколько творчество немецкого писателя было популярно к тому времени в России (первое произведение на русском языке — новелла «Молодые девушки» была опубликована в 1905 году в «Вестнике иностранной литературы»).

Немецкое собрание сочинений на родине писателя появилось в 1916—1917 годах. Наиболее авторитетным (правда, включающим лишь основные художественные и публицистические произведения) является 12-томное собрание, изданное по поручению немецкой Академии искусств в Берлине (под ред. А. Канторовича): «Ausgewählte Werke in Einzelausgaben», Berlin, Aufbau-Verlag, 1951—1956.

В Советском Союзе неоднократно публиковались крупнейшие произведения Г. Манна. В 1958 году издательство «Художественная литература» выпустило в свет сочинения писателя в восьми томах.

УЧИТЕЛЬ ГНУС, или КОНЕЦ ОДНОГО ТИРАНА

Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen

Роман «Учитель Гнус» вышел в свет в 1905 году в Мюнхене, в издательстве «Albert Langen». На русском языке был впервые опубликован в 1910 году сразу в двух изданиях: под названием «Мелкий бес» в переводе В. М. Фриче (М., «Современные проблемы») и «Конец тирана» в переводе В. Корякина (М., Изд-во Саблина). Кроме того, существуют еще два перевода на русский язык: С. Уманской (Гослитиздат, М. 1937) и Наталии Ман (Гослитиздат, М. 1958). В настоящем издании публикуется в переводе Наталии Ман.

Относительно названия романа необходимо добавить следующее. В двадцатые годы по роману был поставлен фильм под названием «Голубой ангел» (режиссер И. фон Штернберг, сценарий К. Цукмайера, в главных ролях популярные актеры Эмиль Яннингс и Марлен Дитрих). Учитывая всемирный успех фильма, который познакомил с содержанием романа огромную аудиторию зрителей, Генрих Манн позволил уговорить себя выпустить в свет очередное издание романа (после второй мировой войны) под заголовком, приспособленным к названию фильма. Так, «Учитель Гнус» дважды появился на книжном рынке в качестве «Голубого ангела» («Der blaue Engel») в Берлине, изд-во «Weichert», 1947; и в Штутгарте, изд-во «Rowohlt», 1947. Однако в наиболее авторитетном собрании сочинений Генриха Манна, изданном по поручению немецкой Академии искусств в Берлине, было восстановлено прежнее название.

Стр. 34. *...не знавшего, как называется деревня, где родилась Орлеанская дева...*— Орлеанская дева — Жанна (Иоанна) д'Арк (1412—1431) — национальная героиня Франции из эпохи так называемой Столетней войны (1337—1453). Семнадцатилетняя крестьянка из лотарингской деревни Дом-Реми возглавила освободительную борьбу против англичан, вторгнувшихся в то время в ее страну. Этому событию Фридрих Шиллер посвятил романтическую трагедию «Орлеанская дева» (1801), входившую в обязательную программу для классических гимназий.

Стр. 35. *...и ему всякий раз отказывали... в аттестате зрелости, необходимом для поступления в вольноопределяющиеся* — ... См. прим. к стр. 225,

Стр. 36. *Тема: третья молитва короля.*— Проникнув ко двору французского короля Карла VII, Иоанна в доказательство своей божественной миссии рассказывает ему содержание его молитв. В первой король просит бога покарать его в случае, если французский трон незаконно достался его предкам. Во второй король молит о том, чтобы всевышний, если Карлу суждено утратить престол, сохранил ему три блага: спокойствие

души, друзей и возлюбленную. Пораженный проницательностью Иоанны, король останавливает ее, и третья молитва остается неизвестной читателю.

Стр. 37 ...*первый ученик Ангст.*— Ирония автора: Angst — страх, боязнь (нем.).

Стр. 44. «*Вильгельм Телль*» — историческая драма Фридриха Шиллера, написана в 1804 г.

Стр. 45. ...*он еще четыре раза проваливался на экзамене и, следовательно, чиновником мог стать разве что на основании своего выпускного свидетельства.*— Для продвижения по службе в вильгельмовской Германии необходимо было держать специальные государственные экзамены. Не выдержавшие этих экзаменов оставались на низших ступенях чиновничества.

Стр. 54. *Гернгутер* — член религиозной протестантской секты (другое название — «Богемские братья»), требующей возврата к первоначальному христианству. Свое название ведет от местечка Гернгут в Саксонии.

Стр. 56. *Точно жены-амалекитянки, плясавшие вокруг идола!* — Амалекитяне — легендарное библейское племя, кочевавшее по Синайскому полуострову. Напало на евреев во время исхода последних из Египта. Согласно библейским толкователям — синоним зла.

Стр. 57. ...*пиетистскую экзальтацию*...— Пиетизм (от лат. pietas — благочестие) — религиозное течение в лютеранской церкви, возникшее в конце XVII в. Первые пиетисты проповедовали нравственное самосовершенствование и благочестие в противоположность формальной стороне религии. Позднее пиетизм приобрел черты реакционно-фанатические и ханжеские.

Стр. 57-58 ...*если бы вдруг воскресли древние князья духа*...— Имеются в виду античные поэты и писатели.

Стр. 61. *За двадцать шесть лет он так и не научился понимать здешний говор.*— Жители этого портового городка говорят (в оригинале) на нижненемецком диалекте (см. прим. к стр. 203). Этим замечанием, сделанным невзначай, Г. Манн намекает на то, что Гнус, возможно, приехал в городок из Пруссии, где в школе давно уже господствовала муштра.

Стр. 69. *Вы, значит, тоже будете голосовать за социал-демократическую партию. А не то придется вам ждать до седых волос повышения учительских окладов.*— Немецкая социал-демократия выступала за улучшение условий учителей народных школ (см. следующее примечание).

Я не народный учитель, а доктор педагогических наук Нусс...— Народный учитель преподавал в народной школе, представлявшей собою элементарную начальную форму массового школьного обучения. В то время положение народных учителей было очень бедственным.

Стр. 73. *Тапер громко заиграл какую-то воинственную мелодию, и два*

голоса, звенящих честным патриотическим восторгом, с заразительной горячностью запели:

Наш черно-бело-красный флаг... и т. д.—

Г. Манн высмеивает проводившуюся в то время кампанию по увеличению немецкого военного флота, необходимого Германии для проведения империалистической политики. Эту тему писатель позднее разовьет в романе «Верноподданный». Черно-бело-красный флаг — цвета Германской империи с 1871 по 1918 г.

Стр. 83. *Котильонный орден.* — Во время котильона, основного танца бального вечера, дамы и кавалеры передавали друг другу различные сувениры.

Стр. 84. *Овидий* (Публий Овидий Назон; 43 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — древнеримский поэт. Его произведения изучались в гимназиях.

Стр. 85. *«Боги в изгнании»* — статья Генриха Гейне, написана в 1853 г. В ней рассказывается о судьбе древних богов после победы христианства над языческой религией.

Стр. 106. *... l'art pour l'art, если вам известно такое выражение.* — Ломан, а вместе с ним и автор иронизируют над традиционными представлениями преподавателя гимназии, противопоставляя классической литературе модную на рубеже XIX и XX вв. теорию «искусства для искусства» и вовлекая его тем самым в спор о поэзии классической и современной.

Стр. 107. *Собака, издыхающая при возвращении Одиссея, ничего не стоит по сравнению с собакой в «Радости жизни» Эмиля Золя.*— Когда Одиссей, герой эпической поэмы Гомера, возвратился из своих странствий на родину, он увидел, что его верный пес Аргос, всеми забытый, умирает на мусорной куче. Собака узнала своего господина, но не смогла встать на ноги и только виляла хвостом. В романе французского писателя Эмиля Золя (1840—1902) «Радость жизни» изображен пес Матье, любимец семейства Шанто. Одряхлевший и парализованный, он умирает на руках своего хозяина.

Памятник Гейне.— На рубеже XIX и XX вв. в магистрате Дюссельдорфа, родного города Гейне, обсуждалось предложение о создании ему памятника. Борьба «за» и «против» памятника захватила широкие общественные круги Германии. Немецкие националисты, хорошо помнившие сатирика Гейне, отказали ему в памятнике. Прогрессивная немецкая общественность продолжала борьбу за памятник поэту. В 1931 г. Г. Манн выступил со статьей «Генрих Гейне (призыв к сооружению памятника в Дюссельдорфе)». — См. Собр. соч., т. VIII, стр. 223.

Стр. 109. *Гунны* — кочевой народ, в I в. н. э. начал передвижение из Центральной Азии на запад. В V в. в Европе образовалась огромная держава гуннов, затем она распалась.

Стр. 113. *...и вынужден был поступить на военную службу рядовым!* — То есть прослужить три года, так как не получил аттестата зрелости.

Стр. 132. *...афинянин Перикл... возлюбленной своей имел Аспазию.*— Перикл (начало V в. до н. э.— 429 г. до н. э.) — древнегреческий государственный деятель периода расцвета рабовладельческой демократии в Афинах. Аспазия — гетера, впоследствии жена Перикла. Славилась многими своими качествами: умом, образованностью, красотой. В ее доме собирались многие замечательные люди древности.

Стр. 134. *Тит Ливий* (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — римский историк. Им изложена в ста сорока двух книгах история Древнего Рима.

Стр. 139. *...по низости превосходящие Катилину...*— Катилина Луций Сергий (ок. 108 — 62 гг. до н. э.) — политический деятель Древнего Рима. Организовал заговор против сената и был разоблачен Цицероном. Большую известность получила фраза Цицерона: «Доколе, Катилина, будешь ты злоупотреблять терпением нашим».

Стр. 143. *Педель* — так именовались надзиратели в различных учебных заведениях.

Стр. 150. *В нравственности заинтересованы лишь те люди, которые, сами не обладая ею, подчиняют себе людей, попавшихся в ее сети. ... сгорал от стыда, излагая свое дерзостное мировоззрение.*— Гнус излагает популярное в то время в Германии учение немецкого философа Фридриха Ницше (1844—1900). Ницше выступал против буржуазной морали с позиций крайнего индивидуализма и проповедовал нравственный скептицизм.

Стр. 163. *Шиншилла* — маленький зверек из отряда грызунов. Ее мех, мягкий и густой, имеет очень высокую ценность.

Стр. 165. *...проговорил еще несколько слов в Катоновом духе...*— Катон Старший, Марк Порций (234—149 гг. до н. э.) — государственный деятель Древнего Рима, автор записок по его истории. Суровый ревнитель строгости нравов.

Стр. 174. «*Bellet*» — псевдофранцузское образование от слова «bel» (прекрасный, красивый).

Стр. 181. *Авантажер* (франц.) — звание, которое присваивалось в немецкой армии кандидатам на офицерский чин. Для этого, если у них не было аттестата зрелости, они должны были сдать специальный экзамен и прослужить шесть месяцев рядовыми. Прослушав затем курс в военной школе и выдержав экзамен, авантажер получал право на производство в офицеры. Сложности, которые возникают перед молодыми людьми, желающими посвятить себя военному поприщу, но не имеющими аттестата зрелости, и дают возможность Гнусу портить им карьеру.

Стр. 183. *От певички из «Голубого ангела» до демимонденки высшего полета!* — Демимонденка (от франц. demi-mondaine) — женщина полусвета.

Стр. 184. *Это он изобрел понятие «оскорбление величества»,— во всяком случае изобрел бы, не будь оно придумано до него.*— Это понятие было придумано немецкими монархистами. Вопрос об оскорблении его

величества был так актуален в то время, что еженедельник «Zukunft» посвятил ему передовую статью под названием «О допустимости и границах оскорбления его величества как уголовного понятия в современной государственной жизни». Как известно, позднее, в романе «Верноподданный» Г. Манн построит на этом один из главных эпизодов карьеры Геслинга.

Стр. 186. *Семирамида* — легендарная царица Ассирии. Древние авторы приписывают ей большие завоевательные походы. Двор ее отличался пышностью и великолепием (одно из «чудес света» — висячие сады). Историческим прототипом Семирамиды была ассирийская царица Шаммуримат (годы правления 809—806 гг. до н. э.).

В литературе образ Семирамиды служит олицетворением богатой и могущественной, но порочной властительницы.

Стр. 187. *Киприда* — прозвище богини красоты и любви Афродиты (у римлян Венера), называемой так по острову Кипру, который считался ее любимым местом пребывания.

Стр. 189. *Парцифаль* — герой средневековых сказаний. Воспитывался в лесу, вдалеке от жизни общества, здесь он постигал рыцарский этикет и, в частности, верховую езду.

ВЕРНОПОДДАННЫЙ

Der untertan

Судьба романа поучительна. Замысел и первые наброски относятся к 1906 году. Однако потребовалось еще шесть лет, прежде чем писатель, как он сам пишет, посчитал себя созревшим для романа о буржуазии в век Вильгельма II. Рукопись «Верноподданного» была окончена в 1914 году за несколько недель до начала первой мировой войны. Еще раньше в мюнхенском сатирическом журнале «Симплициссимус» были опубликованы отрывки из первой главы романа под названием «Весна жизни» (1911) и «Новотевтонцы» (1912) — история детских и студенческих лет Геслинга. В 1914 году журнал «Zeit im Bild» начал печатание романа. Однако с началом войны публикация была приостановлена. Как сообщила редакция журнала автору, «в настоящий момент немецкие условия не могут подвергаться критике в сатирической форме». Понятно, что и издание романа отдельной книгой также было запрещено военной цензурой. Правда в 1916 году издательство «Kurt Wolf», выпускавшее собрание сочинений Г. Манна, напечатало «Верноподданного» так называемым частным изданием в количестве десяти экземпляров и разослало «для личного ознакомления», как значилось в примечании к роману, по специальному списку некоторым общественным деятелям Германии. Только после крушения вильгельмовской империи «Верноподданный» наконец в декабре 1918 года увидел свет на немецком языке и сразу же стал популярен среди читателей: за первые шесть недель было продано 100 тыс. экз.— цифра для того

времени очень внушительная. Побежденная Германия увидела в Г. Манне пророка своего несчастья. Роман принес писателю всемирную известность. Злоключения «Верноподданного», однако, не кончились. Через пятнадцать лет, 10 мая 1933 года в книжный костер, который полыхал на Оперплац в Берлине, нацисты бросили и роман Г. Манна.

Впервые в России роман был опубликован в 1914 году в журнале «Современный мир» (авторизованный перевод с рукописи А. Полоцкой). Отдельным изданием (в том же переводе) «Верноподданный» вышел в свет в 1915 году в Петрограде (два тома, т. 1 — «Власть», т. 2 — «Карьера»). Если учесть, что Россия воевала в то время с Германией, нельзя не поразиться мужеству Г. Манна, не побоявшегося обвинений со стороны многочисленных геслингов («безродный бродяга», «враг фатерланда», «бунтовщик»). С тех пор «Верноподданный» неоднократно издавался на русском языке. Кроме перевода А. Полоцкой, существует перевод М. Живова (сокращенный вариант, 1930 г.). В настоящем издании роман публикуется в переводе И. Горкиной (1958).

В «Верноподданном» представлена Германия конца XIX века. Хотя хронологически рамки романа охватывают годы с 1889 по 1897 (от поступления Геслинга в университет до открытия памятника Вильгельму I), сам Г. Манн указывал, что его действие связано «с эпохой девяностых годов до 1913 года». И это верно, потому что в романе обобщена немецкая действительность вплоть до преддверия первой мировой войны. Известный немецкий писатель Курт Тухольский метко назвал «Верноподданного» «библией вильгельмовского времени»— настолько точно роман выразил эпоху не только в основном ее содержании, но и в многочисленных деталях и фактах. Эти подробности весьма поучительны. Они показывают, насколько документальной была основа «Верноподданного». При всей любви Г. Манна к гиперболе, сатирическому заострению, гротеску, он прежде всего опирался на точные факты общественной жизни. Поэтому, хотя образ главного героя романа является художественным вымыслом-роман о «Верноподданном» можно причислить к историческим произведениям.

Стр. 195. *Геслинг* — от немецкого häßlich — отвратительный, скверный. Отрицательные персонажи Генриха Манна нередко носят имена, являющиеся их характеристикой.

Стр. 196. *...все войны своего времени.*— Захватнические войны, которые вела Пруссия во второй половине XIX в. В 1864 г. Пруссия в союзе с Австрией отняла у Дании герцогства Шлезвиг и Гольштейн. Австро-прусская война происходила в 1866 г. Пруссия совместно с Италией нанесла поражение своему бывшему союзнику (поддержанному Саксонией, Баварией, Баденом и другими мелкими немецкими княжествами) и тем самым добилась гегемонии среди германских государств. Наконец франко-прус-

ская война 1870—1871 гг., в которой Пруссия одержала победу. Война велась со стороны Пруссии под национальным немецким флагом и послужила основой для объединения Германии. 18 января 1871 г., еще во время войны, в Зеркальном зале Версаля — резиденции французских королей — была провозглашена Германская империя, в которой главную роль играло милитаристское прусское государство.

...когда деньги сами шли в руки.— Имеется в виду период после франко-прусской войны, вошедший в историю Германии под названием грюндерства (от нем. gründen — основывать). Прилив в Германию французских денег (Франция принуждена была выплатить огромную контрибуцию) вызвал пышный расцвет акционерных компаний, способствовал различного рода аферам и спекуляциям. Грюндерская горячка охватила широкие слои буржуазии и помещиков.

Голландер — машина для измельчения и промывания сырья, из которого производится бумага.

... слеза... скатилась на щетину серебристых усов. — Геслинг-старший носит усы à la кайзер Вильгельм I (1797—1888).

Стр. 201. *Был у меня товарищ...*— Слова популярной немецкой песни. Текст — стихотворение немецкого поэта Людвига Уланда (1787—1862) «Хороший товарищ» (1809). Мелодия в духе народных песен написана композитором Фридрихом Зильхером (1789—1860).

Старик Геслинг дважды — в 1866 и 1871 годах — проходивший с армией под Бранденбургскими воротами...— Бранденбургские ворота — архитектурное сооружение в центре Берлина, между главной улицей города Унтер-ден-Линден и парком Тиргартен. Представляют собой колоннаду в античном стиле, наверху конная группа с римской богиней победы Викторией. Через эту триумфальную арку торжественным маршем проходили прусские войска после побед 1866 и 1871 гг. После разгрома фашистской Германии в 1945 г. красное знамя победы было поднято не только над рейхстагом (находится рядом), но и над Бранденбургскими воротами.

Стр. 202. *...выше известных господ, что хотят все и вся лечить железом и кровью.*— Имеется в виду граф Отто фон Бисмарк (1815—1898) — знаменитый политический деятель, первый канцлер Германской империи (1871—1890). Еще в начале своей карьеры открыто высказался за проведение жестокой политики силы: «Не речами и резолюциями большинства будут решаться великие вопросы эпохи,— заявил он в 1862 г.,— а кровью и железом».

...народ потом плати по их чудовищным счетам.— Для проведения своей агрессивной политики и увеличения армии Бисмарк требовал от рейхстага все новых и новых военных ассигнований.

Господин Геппель открыто признавал себя свободомыслящим...— Немецкая партия свободомыслящих — либеральная партия немецкой буржуазии. Образована в 1884 г. Отражая интересы мелкого и среднего

бюргерства, находилась в оппозиции к правящим кругам, к политике Бисмарка. В 1890 г. на выборах резко увеличила число своих представителей в рейхстаге: 66 вместо 32.

Молодой кайзер — Вильгельм II (1859—1941), в то время только что вступивший на престол (1888), последний германский император. В 1918 г. был свергнут.

Стр. 203. *...говоривший... на мекленбургском диалекте.*— Мекленбург — местность на севере Германии между Балтийским морем и нижним течением реки Эльбы. С запада Мекленбург граничит с Любеком — родным городом Г. Манна. В настоящее время здесь расположены округа Германской Демократической Республики: Росток, Шверин, Нойбранденбург. Вследствие долгой феодальной раздробленности в Германии конца XIX в. сохранялись диалекты, довольно далеко отстоящие друг от друга. Это сказывается еще и теперь в речи даже образованных людей. В Мекленбурге, как и везде на севере Германии, разговаривают на нижненемецком наречии (Plattdeutsch), которое отличается от немецкого языка (Hochdeutsch), распространенного в центральной и южной Германии.

Стр. 204. *...вы ведь в некотором роде доктор.*— По старинной традиции химию в то время изучали на медицинском факультете (кафедра фармакологии).

Стр. 212. «*Новотевтония*». — Тевтоны — одно из древнегерманских племен. Студенческие корпорации в Германии объединяли сыновей дворян и буржуазии и являлись очагом реакции и национализма. Корпоранты посвящали свое время попойкам и дуэлям. На сборищах соблюдался строгий традиционный церемониал. Г. Гейне в «Путешествии по Гарцу» высмеял дикие нравы и привычки корпорантов (см: Г. Гейне, Соч., т. 4, 1957, стр. 8—9). Г. Манн, продолжая традиции сатиры Гейне и его борьбу против тевтономанов, запечатлел современные ему образы «новотевтонцев» и вскрыл связь некогда независимых студенческих корпораций со всем социальным правопорядком Германии. Сам кайзер Вильгельм II состоял в корпорации «Боруссия» (латинское название Пруссии).

Фармацевт — здесь — студент на кафедре фармакологии

Стр. 213. *Собутыльник* (нем. Konkneipant) — официальное звание для студента, который посещает пирушки, но не является членом корпорации.

«*Саламандра*» — название особого тоста. Корпоранты должны по команде президуса (см. ниже) поднять кружки со стола, по команде выпить и одновременно, одним ударом, поставить их на стол, при этом никто не должен опоздать, чтобы не получился «горох» — разнобой.

Президус (лат. praesidare — председательствовать) — один из руководителей корпорации. Председательствовал на сборищах и отвечал за соблюдение правил дуэли. Назывался также первым уполномоченным.

Стр. 215. *Ты словно уже выдержал свой экзамен... уже доктор!* — Вы-

пускникам университетов в Германии после защиты дипломной (докторской) работы присваивается звание «доктор».

являлся в черной шапочке.— Раненный на дуэли корпорант носил поверх повязки черную шелковую шапочку.

Стр. 216. *..он готов был танцевать от счастья...*— Шрамы на лице почитались в корпорациях как свидетельство мужества и принадлежности к касте аристократов.

Лейб-фукс — низший член корпорации, новичок, которого опекает бурш,— полноправный член корпорации, именуемый по отношению к лейб-фуксу лейб-буршем. По обычаю, лейб-фукс прислуживает старшему. Так воспитывается послушание и исполнительность.

Стр. 217. *Франц-Иосиф* I (1830—1916) — австрийский император с 1848 по 1916 г.

Стр. 218. *Референдарий* — так называется юридический экзамен после трехлетнего обучения в университете. Одновременно он является первым государственным экзаменом для чиновника, начинающего судейскую карьеру, и термином, обозначающим самого этого чиновника.

Стр. 220. *...в западной части Берлина.*— Здесь были расположены наиболее аристократические кварталы города.

Стр. 222. «*Старик*» — член корпорации, не принимающий в ее делах активного участия.

Стр. 225. *...отслужить свой год.*— В вильгельмовской Германии юноши с гимназическим образованием — обычно дети буржуазии — находились на военной службе только один год. Для остальных срок службы был три года. Только вольноопределяющиеся могли стать офицерами.

Стр. 232. *Штеккер* Адольф (1835—1909) — немецкий священник и реакционный политический деятель. Основал в 1878 г. антисемитскую «христианско-социальную рабочую партию». Ярый враг социалистического и рабочего движения, для борьбы с которыми использовал так называемый «христианский социализм». Будучи придворным проповедником, сблизился с кайзером Вильгельмом II и имел на него влияние. Идеи Штеккера, предвосхищавшие в основных чертах демагогию «национал-социализма» Гитлера, имели значительное распространение не только среди буржуазной молодежи, но и среди отсталой части рабочих. Штеккер ставил своей задачей вернуть «зараженных ядом социализма» рабочих в ряды добрых христиан и верноподданных кайзера.

Его политический идеал... это сословное представительство, как в блаженную пору средневековья...— Романтические мечты немецкого дворянства о возврате к «седой старине» находили себе поддержку в высказываниях Вильгельма II, государственно-правовые взгляды которого отличались явным архаизмом.

Стр. 233. *Тридцатилетняя война* (1618—1648) — война между немецкими протестантскими и католическими князьями, которая превратилась

в европейскую войну (участвовали Швеция, Англия, Франция, Голландия, Дания, Испания и т. д.). Германия была разорена и раздроблена. Население уменьшилось больше чем наполовину. Страна была отброшена в своем развитии на много лет назад.

Айспаласт — увеселительное заведение в Берлине, в помещении которого происходили также и собрания.

Стр. 234. «*Социал-демократию я беру на себя*», *сказал кайзер*.— Манн часто цитирует подлинные слова Вильгельма II, вкладывая их в уста героев, особенно Дидериха. После восшествия на престол (1888) Вильгельм II решил, что одними репрессиями невозможно бороться с растущим рабочим движением. В 1890 г. рейхстаг отказался продлить «исключительный закон» против социалистов, действовавший с 1878 г. Кайзер провозгласил новый курс, предусматривавший частичное урегулирование фабричного труда и введение социального законодательства, в частности, в 1889 г. был принят закон о страховании рабочих для обеспечения на случай инвалидности и старости. Новый курс продолжался недолго.

Солдатам внушают, что им, возможно, придется стрелять в своих родных и близких. ..— Обращаясь в 1891 г. к молодым рекрутам, Вильгельм II сказал: «Может случиться, что вам придется стрелять в собственных родных, в братьев. Проявите же тогда свою верность, жертвуя родной кровью».

...*вчерашние слова его величества*: «*Пусть злопыхатели отряхнут с ног своих прах Германии*»...— Эти слова Вильгельм II произнес в своей речи перед Бранденбургским ландтагом 24 февраля 1892 г. «Отрясти прах с ног своих» — евангельское выражение: уйти, отколоться навсегда.

...*в борьбе с внутренним врагом я выполнил бы свой долг до конца*.— Внутренний враг — так немецкая реакция называла социалистически настроенных рабочих и оппозиционную часть мелкой буржуазии.

Стр. 235. ...*и двадцать шестого как будто окончательно созрел*.— 25—27 февраля 1892 г. в Берлине происходили серьезные уличные волнения, в которых наряду с безработными принимали участие и деклассированные элементы. Демонстрации сопровождались грабежами и другими эксцессами. Социал-демократическая партия призвала берлинских рабочих воздержаться от участия в этих беспорядках.

Памятник Фридриху — бронзовая конная статуя прусского короля Фридриха II (1712—1786) на Унтер-ден-Линден.

Стр. 236. *Темпельгофское поле* — здесь проводились парады Берлинского гарнизона.

Стр. 237. *Он, богом поставленный владыка*...— Сущность политического мировоззрения Вильгельма II заключалась в том, что бог для достижения своих высших целей поставил во главе избранного немецкого народа род Гогенцоллернов. Никто не вправе вырвать у них из рук этой высокой

миссии, не нарушая заветов самого бога, и сами они не имеют права никому отдать своей державной власти — иначе они вступят в конфликт с божественной волей. На практике эта идея служила оправданием для попыток непарламентарного управления.

Стр. 238. *Седан* — город в северной Франции (на границе с Бельгией). Здесь 1—2 сентября 1870 г. произошло решающее сражение франко-прусской войны. Французская армия во главе с Наполеоном III капитулировала.

Стр. 239. *Тиргартен* — городской парк в центре Берлина. Примыкает к Бранденбургским воротам.

Стр. 247. *«Тех, кто хочет мне помочь...»* — Эти слова Вильгельм II произнес в речи на банкете Бранденбургского ландтага 5 марта 1890 г.

Стр. 249. *Паноптикум* — музей редкостей в Берлине.

Стр. 251. *С богачами он, по крайней мере вначале, враждовал...*— В мае 1889 г. кайзер во время стотысячной забастовки рурских шахтеров пытался играть роль посредника между ними и работодателями. Он принял делегацию рабочих. Затем, выступая перед шахтовладельцами, он говорил о плане деления прибылей:

«Рабочие читают газеты и знают, в каком соотношении находится зарплата и прибыли компаний. Понятно, что они хотят принять в них большее или меньшее участие». Однако очень скоро идиллическую мечту кайзера о патриархальной власти государя, великодушно охраняющего слабых от эксплуатации сильных, вытеснила забота о повышении доходов капиталистов. Наступала эра Круппа.

Стр. 252. *Лассаль* Фердинанд (1825—1864) — знаменитый немецкий социалист, основатель «Всеобщего германского рабочего союза», пользовался огромным авторитетом в рабочей среде. Пытался вести переговоры с Бисмарком о государственном социализме.

Гогенцоллерны — династия прусских королей и германских кайзеров, последним из которых был Вильгельм II.

Стр. 254. *Пандекты* — главная часть (гражданский кодекс) свода законов (530 г. н. э.), опубликованного по поручению римского (византийского) императора Юстиниана.

Стр. 256. *...я продал своего Шиллера.*— Фридрих Шиллер (1759—1805) — великий немецкий поэт, его творчество — олицетворение высоких идеалов человечества.

Стр. 259. *Кюстрин*—город на берегу Одера. Теперь Костшин (Польша).

Стр. 268. *...уложил ему усы под прямым углом вверх* — то есть à la Вильгельм II.

Стр. 270. *Магдебург* — город на Эльбе в средней Германии. В настоящее время в ГДР.

Стр. 271-272. *Отныне я сам становлюсь за штурвал... — тех, кто вздумает стать мне поперек дороги, сокрушу!* — Это высказывание Виль-

гельма II. Пародируя на протяжении всего романа речи кайзера, автор высмеивает не только манию величия националиста Геслинга, рассуждающего о своих маленьких делах в духе «большой империалистической политики», но и того, кому он подражает.

Стр. 272. *Лишь перед богом и собственной совестью обязан я держать ответ...*— слова из речи Вильгельма II 24 февраля 1892 г.

«*В моих глазах всякий социал-демократ — это враг моего предприятия, враг фатерланда*»... — Ср. высказывание Вильгельма II:« В моих глазах каждый социал-демократ — это враг порядка и фатерланда».

Завоевать место под солнцем — выражение из арсенала немецкой империалистической политики. Пользуется известностью с 1897 г., когда статс-секретарь по иностранным делам Б. Бюлов, позднее имперский канцлер (с 1900 по 1909 г.), выступая в рейхстаге по поводу захвата Германией китайского порта Киао-чао (Цзяочжоу), потребовал для Германии места под солнцем.

Стр. 273. *Рихтер Эйген* (1838—1906) — либеральный политический деятель, противник Бисмарка. Лидер партии свободомыслящих. См. прим. к стр. 202.

Стр. 274. *Непотизм* (от лат. nepos — внук) — кумовство, замещение по протекции денежных и почетных должностей. В Италии XV в. непотами называли родственников римских пап, которым предоставлялись доходные места.

Стр. 278. ...*очень скоро изберут вас в гласные.*— Гласный — выборный член городского самоуправления (магистрата).

Стр. 280. ...*нужно свободное волеизъявление, а где оно у нас?* — В общегерманской конституции говорилось, что рейхстаг избирается на основе всеобщего избирательного права. Фактически большинство трудящихся было лишено избирательных прав. В Пруссии, крупнейшем государстве империи, до 1918 г. сохранялась реакционная трехклассная избирательная система, обеспечивавшая преобладание голосов юнкерам и крупной буржуазии.

Гервег Георг (1817—1875) — немецкий революционный поэт. Перед революцией 1848 г. прославился сборником «Стихи живого человека». Один из немногих, кто в годы реакции продолжал свободолюбивую линию немецкой революционной поэзии. Сопоставляя Бука с Гервегом, Генрих Манн указывает на политическое одиночество таких людей, как Бук. Цитируемые строки взяты из стихотворения Гервега «Опьяненным победой» (1871).

Стр. 281. ...*флот... в ту пору мы построили бы сами.*— В начале 1840-х годов велась пропаганда в пользу создания немецкого военного флота и для этого был даже объявлен сбор средств.

«*И в бороздах, Колумбом проведенных, грядущее Германии восходит*» — строки из стихотворения Г. Гервега «Немецкий флот» (1841), написанного в юбилей Ганзейского союза.

...я защищал суверенитет Национального собрания...— Первое общегерманское Национальное собрание собралось во Франкфурте-на-Майне 18 мая 1848 г. для выработки демократической конституции будущего единого германского государства. 18 июня 1849 г., когда революция пошла на убыль, Национальное собрание было разогнано вооруженной силой.

Единство Германии, которое мы хранили в наших сердцах...— Одним из основных лозунгов немецкой революции 1848 г. было единство страны, раздробленной в ту пору на 36 феодальных государств. Это единство мыслилось на основе свободного волеизъявления, как подлинное демократическое единство «снизу». Вопреки этому Германия была объединена Бисмарком «сверху», под гегемонией Пруссии. Сторонников такого объединения Бук иронически именует «так называемыми творцами германского единства».

Стр. 282. *...народ мыслителей и поэтов...*— Такое традиционное название немецкий народ получил во времена Гете и Шиллера, Канта и Гегеля.

Регирунгспрезидент.— Прусские провинции делились на округа (Regierungsbezirke). Во главе такого округа стоял назначаемый правительством чиновник — регирунгспрезидент.

Стр. 283. *Мы и поэтами были... в ту пору.*— В период революции 1848 г. необычайного расцвета достигла немецкая политическая лирика, звавшая народ к ниспровержению тиранов. Многие выдающиеся деятели революции были поэтами.

Стр. 288. *Юнона* — в древнеримской мифологии богиня — покровительница браков и рождений. Супруга Юпитера (Зевса). У древних греков ей соответствовала богиня Гера.

Стр. 291. *...с помощью ферейна ветеранов.*— Союз ветеранов войны. Такие союзы использовались правящими классами Германии для воспитания немцев в духе национализма и милитаризма.

Стр. 292. *...обрушить... кару небесную...*— По библейскому преданию, бог наказал города Содом и Гоморру и, обрушив на них ливень серы и огня, обратил их в груды развалин.

Стр. 295. *...господами, входившими в дом масонской ложи.* — Масонские ложи ведут свое происхождение от средневековых объединений каменщиков, которые, живя долгое время вместе при сооружении церковных зданий, образовывали ложи (от англ. Lodge — помещение). В XVIII—XIX вв. масонские ложи превратились в буржуазные религиозно-философские секты с туманными либеральными идеалами. Официальная церковь преследовала масонство, считая его ересью.

Стр. 307. *Нам, офицерам, его величество молвил: «Вот люди, на которых я могу положиться».* — Эти слова Вильгельм II сказал 18 апреля 1891 г.

Стр. 310. *Воистину, господь избрал Хаммураби своим орудием!*— Хаммураби — царь Древнего Востока (1892—1750 гг. до н. э.), завершил

политическую и территориальную централизацию Вавилонского государства. Известен своим Кодексом — древнейшим сводом законов. В одном из своих писем Вильгельм II перечисляет десяток монархов (и среди них Хаммураби), которых бог избрал своим орудием. Сам кайзер неоднократно заявлял, что чувствует себя орудием в руках бога.

Вильгельм Великий.— Такое пышное наименование своему деду дал Вильгельм II. Народ же звал его «картечным принцем», так как в 1848 г. он, будучи наследником короны, требовал открыть огонь по восставшему народу.

Стр. 313. *Шерль* Август (1849—1921) — крупный берлинский издатель книг и газет. В 1883 г. основал «Berliner Lokalanzeiger» — монархическую ежедневную газету, пользовавшуюся известностью. С 1899 г. в его издательстве выходил журнал «Die Woche» («Неделя»).

«Стража на Рейне» («Die Wacht am Rhein») — немецкая националистическая песня. Текст ее был создан еще в 1840 г. поэтом Максом Шнекенбургером (1819—1849). Однако огромную популярность в Германии она приобрела начиная с франко-прусской войны, когда Карл Вильгельм (1815—1873) положил ее на музыку (в 1870 г.).

Стр. 314. *Валгалла* — в древнегерманской мифологии местопребывание павших героев.

Стр. 316. *Эшвейлер* — город в западной Германии, вблизи Аахена.

Стр. 318. *Дамоклов меч* — меч, подвешенный на конском волоске над головой Дамокла, царедворца сиракузского тирана Дионисия Старшего, во время пира. Синоним непрестанно угрожающей опасности.

Врачебная палата — государственное объединение врачей в Пруссии.

Стр. 324. *...видел себя облаченным в горностай.*— Мантия из меха горностая считалась атрибутом королевской власти.

Стр. 328. *Зачислен в ландштурм.*— В вильгельмовской Германии ландштурм предназначался для тыловой и гарнизонной службы. В него зачислялись мужчины, не вполне пригодные к службе в постоянной армии.

Стр. 333. *«Тихая ночь»*— рождественская песня австрийского органиста и хормейстера Франца Грубера (1787—1863) на слова Иосифа Мора (1792—1842). Создана в 1818 г.

Стр. 350. *...глаза великого Фридриха* — то есть прусского короля Фридриха II (1712—1786). Г. Манн писал: «Фридрих Великий, которого прославляли все прусские историки до тех пор, пока ему не стал слепо подражать Гитлер,— самый ложный из кумиров».

Стр. 351. *...что дает пищу зоилам?*— Зоил (IV в. до н. э.) — критик, осуждавший древнегреческого поэта Гомера. Зоилами называют недобросовестных и завистливых критиков.

...война, призрак которой он непрерывно призывает...— Имеются в виду агрессивные речи Вильгельма II.

Стр. 363. *«Готский альманах»* — точнее «Готская генеалогическая

карманная книга» (Gothaische Genealogische Taschenbücher). Ежегодник, издававшийся с 1763 г. в городе Гота. В нем публиковались родословные всех знатных фамилий Европы.

Стр. 367. *...справедливо названных его величеством бродягами, не помнящими родства.*— Так Вильгельм II именовал немецких социал-демократов и свободомыслящих.

Стр. 369. *Мартин Лютер* (1483—1546) — вождь немецкой реформации XVI в., основатель протестантизма (лютеранства). Своим переводом Библии на немецкий язык оказал огромное влияние на развитие немецкого литературного языка.

«Свободная община» — масонская ложа.

Стр. 373. *Какой, с божьей помощью, оборот!* — Знаменитое выражение Вильгельма I, которым заканчивалась его депеша о победе под Седаном в 1870 г.

Стр. 376. *Нет, что-то гнило в королевстве Датском!..*— Слова Гамлета из трагедии Шекспира.

Крестоносцы — участники средневековых крестовых походов. Под видом борьбы за «гроб господень» грабили население.

Стр. 378. *...я не ограничиваю себя механистической доктриной, столь милой сердцу партии так называемого бунта.* — Молодой Бук имеет в виду социал-демократическую партию и марксизм.

Стр. 382. *...он коснулся трудностей, которые чинятся в рейхстаге новому военному законопроекту.*— В конце 1892 г. правительство внесло в рейхстаг новый военный законопроект, предусматривавший увеличение численности армии (на 80 тыс. чел.) и военных ассигнований.

Стр. 383. *...на заседании Бранденбургского ландтага кайзер недвусмысленно выразился насчет рейхстага. «Если эти молодчики не дадут мне солдат, я разгоню всю эту лавочку».*— Г. Манн прибегает к интересному приему. Его герой предвосхищает крылатую фразу, произнесенную в 1910 г. в рейхстаге помещиком Ольденбургом. Последний утверждал, что за кайзером должно остаться право сказать прусскому лейтенанту: «Возьмите десяток солдат и закройте рейхстаг».

Стр. 398. *Бронированным кулаком!* — Это выражение сделалось крылатым после речи Вильгельма II 15 декабря 1897 г., когда он грозил ответить «бронированным кулаком» тем, кто покушается на интересы Германии.

Стр. 399. *Сатинировальная машина* служит в бумажном производстве для тиснения на поверхности бумаги рельефного рисунка.

Стр. 405. *Майоратное владение.*— Порядок наследования, при котором все владения феодала ради сохранения могущества рода нераздельно переходили или к старшему в роде, или к старшему из живых сыновей умершего.

Стр. 416. *...землевладельцев Восточной Пруссии.*— К востоку от Эльбы наиболее полно в Германии сохранились юнкерские хозяйства. Крупные

помещики сосредоточили здесь в своих руках 50% всей обрабатываемой земли. Юнкерские хозяйства в основном существовали за счет полуфеодальной эксплуатации батраков.

Стр. 424. «*Побочная дочь*» — пьеса в стихах Гете (1749—1832), написана в 1803 г. Главная героиня пьесы является побочной дочерью герцога.

Стр. 441... *кто страдал от произвола эпохи рококо*...— Имеется в виду время перед французской революцией 1789 г. Рококо — стиль в искусстве XVIII в.

Но бродяги, не помнящие родства, следуют за вами по пятам. Они там, в зале...— Имеется в виду пролетариат (см. прим. к стр. 367). Бук развивает взгляды, наиболее четко и образно сформулированные Гейне: «Современное буржуазное общество торопится в вихре наслаждений осушить последний кубок, подобно старому дворянству накануне 1789 года, и оно также слышит уже в коридоре мраморную поступь новых богов, которые, не постучавшись, войдут в зал и опрокинут столы». Возможно, Г. Манн имеет в виду именно это место (Г е й н е, Соч., т. 9, стр. 176).

Стр. 442. ...*это цвета французской триколоры*...— Знамя французской революции 1789 г. имело цвета: красный, синий, белый.

...*он силком тащил вас за собой*...— Имеется в виду так называемый конституционный конфликт 1862—1866 гг. В 1862 г. прусский ландтаг (палата депутатов) голосами либеральной буржуазии отверг военный законопроект. Несмотря на это, Бисмарк расходовал незаконно деньги на усиление армии, нужной ему для объединения Германии силой (об этом же мечтала буржуазия). После успеха в австро-прусской войне Бисмарк добился того, что ландтаг задним числом узаконил его действия.

Сила выше права! — Лозунг политики силы, был популярен у немецких националистов. Выражение приписывалось Бисмарку, против чего он протестовал.

Его величество кайзер сказал...— 16 октября 1888 г. после вступления на престол Вильгельм II в речи во Франкфурте-на-Одере действительно сказал: «Уж лучше положить на месте все наши восемнадцать армейских корпусов и сорок два миллиона жителей Германии, чем отказаться от какой-либо части территориальных приобретений Германии». Дальнейшие восклицания молодого Бука и Геслинга — это цитаты из речей кайзера.

Германский орел — эмблема на гербе Германской империи.

Стр. 454. *Библейские общества* ставили своей целью изучение и распространение Библии.

Стр. 459. ...*вспомните божий суд в «Лоэнгрине»*.— «Лоэнгрин» — опера выдающегося немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883), либретто на основе древнегерманских сказаний написано в 1845 г., музыка в 1848 г. Божий суд в «Лоэнгрине» должен выяснить, виновна ли принцесса брабантская Эльза в гибели своего брата, наследника престола Готфрида. Для этого объявляется поединок между обвинителем Эльзы графом

Тельрамундом и тем, кто возьмет на себя ее защиту. Вызов принимает рыцарь Лоэнгрин, который и побеждает. По понятиям, распространенным в средние века, божий суд карает зло на земле и награждает добродетель.

Стр. 464. *Ортруда* — супруга Тельрамунда, воплощает в опере злое начало. Оба — «бунтовщики», по терминологии Дидериха.

Стр. 468. *...она не могла удержаться, чтобы не выведать у мужа его политические тайны.*— Лоэнгрин принадлежит к волшебному содружеству рыцарей, охраняющих священную чащу Грааля и поклявшихся бороться за правду и справедливость. Лоэнгрин наделен несокрушимой силой, но при условии, что никто не должен знать его имени и происхождения.

Стр. 469. *В этой опере... и текст и музыка отвечают всем требованиям национализма.*— Геслинг ценит в «Лоэнгрине» не его художественные достоинства, а то, что эту оперу легко приспособить к политическим идеям немецких шовинистов. Во многих театрах Германии при постановке «Лоэнгрина» утверждалась тема мощи и величия Германии. Генрих Манн писал: «Герои вагнеровских опер пробудили в народе, который заслушался его музыкой, самые низменные инстинкты, вызвали к жизни воинственные стремления...» Об отношении автора «Верноподданного» к Вагнеру см: Г. М а н н, Соч., т. 8, стр. 325—327.

Стр. 470. *«Театр — тоже оружие».*— Высказывание принадлежит Вильгельму II.

Он предложил послать Вагнеру поздравительную телеграмму. Густа объяснила ему, что — увы! — это никак невозможно.— Вагнер умер в 1883 г. Действие романа происходит в 90-е годы.

Стр. 475. *Орден Короны* учрежден Вильгельмом I в 1861 г. по случаю коронации для награждения гражданских лиц.

Стр. 476. *...решил написать Бедекеру.*— «Бедекер» известная издательская фирма, специализировавшаяся на выпуске путеводителей по разным странам. Основатель — Карл Бедекер (1801—1859).

Одалиска (т у р е ц.) — наложница.

Стр. 477. *...кайзер собирается нанести визит королю Италии...*— Вильгельм II бывал в Риме несколько раз. В апреле 1893 г. он предпринял поездку в Рим по приглашению итальянской королевской четы, отмечавшей серебряную свадьбу. За страсть к путешествиям Вильгельма II называли путешествующим кайзером. Вильгельм II много раз посещал все столицы Европы (кроме Парижа), бывал в Константинополе и Палестине, не говоря уже о городах Германии, которым он наносил визиты по поводу всякого рода исторических годовщин.

Стр. 479. *Квиринал* — один из семи холмов древнего Рима. Здесь расположен дворец того же названия, в котором находилась королевская резиденция.

Стр. 480. *... как в некой сказке...*— Имеется в виду Свипегель — еж, персонаж немецкой народной сказки (обработана братьями Гримм). Еж

соревнуется в беге с зайцем и при помощи хитрости (используя ежиху) оказывается все время первым с возгласом: «А я уже здесь».

...точно взгляд древнегерманского воина, совершающего набег на латинские земли.— Имеются в виду нападения варваров на Римскую империю.

Стр. 483. *Капитолий* — древняя крепость в Риме, расположенная на высоком холме над рекой Тибром.

... кайзер этой же ночью отбывает из Рима и что он распустил рейхстаг! — 6 мая 1893 г. рейхстаг отклонил военный законопроект (см. прим. к стр. 382), и в тот же день указом Вильгельма II рейхстаг был распущен и назначены новые выборы на 15 июня 1893 г.

Стр. 484. *Люцифер* (л а т .) — одно из имен сатаны. По библейскому преданию, так звали ангела, восставшего против бога и низвергнутого в преисподнюю.

Стр. 489.— *Хотите, чтобы ваш кайзер подарил вам колонии?* — К этому времени Германия уже владела в Африке Того, Камеруном и так называемой Германской Юго-Восточной Африкой вместе с островом Занзибар, а также северной частью Новой Гвинеи и прилегающими островами. В конце 90-х годов германские империалисты захватили в Тихом океане Маршалловы, Каролинские, Марианские и часть островов Самоа.

Стр. 490. *Свободные профессиональные союзы* — находились под влиянием социал-демократии. Кроме них, в Германии существовали христианские профсоюзы, охватывающие довольно значительные слои отсталых рабочих, и так называемые гирш-дункеровские профсоюзы.

«Воля кайзера — высший закон».— В 1891 г. во время пребывания в Мюнхене Вильгельм II записал в книге почетных посетителей городской ратуши: «Regis voluntas — suprema lex» («Воля монарха — высший закон»).

Стр. 494. *Существует еще перебаллотировка!* — Если на выборах в рейхстаг ни один из кандидатов не получал абсолютного большинства голосов, назначалась перебаллотировка: второй тур выборов между двумя кандидатами. Победителем объявлялся получивший простое большинство. На перебаллотировку и надеется Дидерих в своих предвыборных махинациях.

Стр. 495. *...он не желает вечного мира, ибо это мечта — и даже не прекрасная.*— Здесь Дидерих повторяет выражение прусского фельдмаршала Хельмута Карла Бернгарда Мольтке (1800—1891), начальника германского генерального штаба.

Стр. 496. *Зекингенский трубач* — герой одноименной лироэпической поэмы (1854) немецкого писателя Иосифа Виктора Шеффеля (1826—1886).

Стр. 506. — *Не рассчитывайте... что... мы одобрим вам военный законопроект!* — Военный законопроект был одобрен новым рейхстагом 13 июля 1893 г.

Стр. 513. *Мар-ла-Тур* — деревня в северо-восточной Франции (неподалеку от Меца). 16 августа 1870 г. здесь разыгралось одно из решаю-

щих (наряду с Седаном) сражений франко-прусской войны, в котором французская армия потерпела поражение.

...не повторять снова и снова ошибки, которая уже была совершена в пору моей юности...—Эти слова Бука относятся к революции 1848 г., когда немецкая либеральная буржуазия, испугавшись революционного движения рабочих, способствовала кровавой победе контрреволюции.

Стр. 514. *Исконный враг снова поднимает голову!* — Исконным врагом немецкие националисты называли Францию.

Стр. 515. *...полицейский офицер, дежуривший на сцене, уже взялся за свою каску...*— Если присутствовавший на политическом собрании полицейский чиновник надевал свою каску и вставал — это означало конец собрания. Этим правом полиция пользовалась главным образом для того, чтобы воспрепятствовать критике существующего социального порядка.

Стр. 521. *...и в рейхстаг прошел социал-демократ.*— На выборах 15 июня 1893 г. социал-демократия собрала 1787 тыс. голосов (на 300 тыс. больше, чем в 1890 г.) и провела в рейхстаг 44 депутата. Свободомыслящие потерпели поражение и получили вместо 66 мест только 37.

Стр. 534. *...законопроекта против крамолы* (н е м. Umsturzvorlage) — так назывался законопроект чрезвычайных мер, внесенный в рейхстаг 6 декабря 1894 г. Он был направлен прежде всего против немецкой социал-демократической партии, претендуя на роль нового «исключительного закона». Под давлением успешной борьбы рабочего класса был отклонен рейхстагом 11 мая 1895 г.

Стр. 540. *Держись трех великих основ: «бог, кофе и дети».*— В оригинале —«трех больших» «G»: Gott, Gafee und Gören. Пародия на знаменитые три больших «К» (Kirche, Küche, Kinder), то есть «церковь, кухня, дети», которыми Вильгельм II ограничил призвание немецкой женщины.

Стр. 541. *Императрица Фридрих* (1840—1901) — имя, принятое вдовой Фридриха III (1831—1888), занимавшего германский престол всего в течение трех месяцев. Ее полное имя Виктория-Адельгейда-Мария-Луиза. Она была старшей дочерью английской королевы Виктории и матерью Вильгельма II. В придворных кругах возбуждали антипатию ее либеральные взгляды. После смерти мужа покинула двор.

...предавшую нас Англии.— По-видимому, имеется в виду конфликт из-за некоторых личных бумаг Фридриха III, которые после его смерти были увезены его вдовой в Англию,несмотря на притязания прусских архивов.

...не говоря уже о семейном скандале в замке Фридрихскрон. ...— После смерти гофмаршала императрицы Фридрих графа фон Зеккендорфа буржуазная пресса писала, что он был ее вторым мужем.

Принц Уэльский — титул наследника британской короны. Здесь имеется в виду будущий король Эдуард VII (1901—1910).

Он подписывался под каждым словом каждой речи кайзера, и именно в первом, наиболее сильном варианте, а не в смягченном, в каком они печата-

лись на следующий день.— Страстью Вильгельма II было произносить речи экспромтом. Германские министры хватались часто за голову, когда коронованный оратор, ни с кем не посоветовавшись и увлекаемый своим настроением, делал публичные заявления, противоречащие государственному устройству Германии или несовместимые с уважением к соседним народам. После этого правительству приходилось различными путями исправлять просчеты кайзера. Однажды канцлер фон Бюлов дал даже от лица Вильгельма II в рейхстаге обещание не выступать с заявлениями, которое, разумеется, было нарушено.

Стр. 542. *Трезубцем должны владеть мы!* — С трезубцем изображался бог моря Нептун. В переносном смысле означает владычество на морях.

Губертусшток — охотничий замок Вильгельма II под Потсдамом.

Мальтийский орден — древнейший в Европе духовно-рыцарский орден, основан в 1099 г. во время крестовых походов. Если какого-либо монарха награждали Большим крестом ордена, он становился его почетным членом.

Стр. 544. *Франкфуртский парламент* — см. прим. к стр. 281.

Quos ego! — Окрик бога морей Посейдона (Нептуна) по адресу расшалившихся ветров из поэмы «Энеида» римского поэта Вергилия (70—19 гг. до н. э.).

Стр. 545. *...наше будущее зиждется на морях...*— Слова Вильгельма II, сказанные 23 сентября 1898 г. при освящении нового порта в Штеттине (теперь Щецин в Польше).

Стр. 546. *Консистория* — административный орган управления в лютеранской церкви.

Стр. 547. *«Гимн Эгиру».*— Эгир — в северогерманской мифологии гигант, символ спокойного моря. Так был назван немецкий крейсер, спущенный на воду 3 марта 1895 г. Этому эпизоду и посвящен «Гимн Эгиру», автором которого считался Вильгельм II. На самом деле гимн был написан при участии лиц из ближайшего окружения кайзера.

Стр. 548. *Точно так же поступил Бисмарк с Австрией. Сначала растоптал, а потом заключил союз!* — После разгрома Австрии в 1866 г. Бисмарк в 1879 г. заключил с ней военный союз, к которому в 1882 г. примкнула Италия. Этот Тройственный союз, направленный против Франции и России, положил начало созданию военных блоков в Европе.

Стр. 550 *...львы, готовые прыгнуть на передний план...*— Описание нетцигского памятника всеми своими деталями удивительно соответствует действительному памятнику Вильгельму II в Берлине, который берлинские шутники окрестили «Вильгельм в львином логове».

Наполеон Третий (1808-1873) — французский император с 1852 по 1870 г. Попал в плен в битве при Седане, был отвезен в замок Вильгельмсгёэ, близ Касселя, где находился до 19 марта 1871 г.

Паладин — в средние века рыцарь, принадлежавший к свите князя.

Стр. 552. *Аллея Победы* — аллея в восточной части Тиргартена, в которой по приказу Вильгельма II были выставлены мраморные скульптуры прусских монархов, в большинстве своем исторически совершенно незначительных. Народ перекрестил Аллею Победы (Siegesallee) с ее безобразными памятниками в Аллею Кукол (Puppenallee).

Маркграф Оттон Могучий (912—973) — император и основатель (962 г.) так называемой «Священной римской империи германской нации». Ее расцвет относится к средневековью. Позднее ее существование было номинальным. После разгрома Австрии Наполеоном в 1806 г. окончательно прекратила свое существование. Оттон Могучий, разумеется, почитался основателем «священной немецкой империи прусской нации» (Энгельс).

Обер-президент — высший чиновник государственного управления в провинциях Пруссии.

Стр. 556. *Ландвер.* — К ландверу в вильгельмовской Германии относилась категория военнообязанных, отбывших срок действительной службы и находящихся в резерве.

«Марш гостей в Вартбурге» — марш из оперы Р. Вагнера «Тангейзер и состязания певцов в Вартбурге» (1845). Вартбург — старинный замок (под Эйзенахом) в Тюрингии (в настоящее время в ГДР). Известен также тем, что Лютер работал здесь над переводом Библии на немецкий язык.

Стр. 557 *...в своем мундире обозного лейтенанта запаса...*— Буржуа без связей не могли стать офицерами в «благородных» родах войск и, несмотря на солидный возраст, не получали высокого офицерского звания.

Стр. 558. *«Бог наш оплот»* — протестантский хорал, автором которого является Мартин Лютер. В эпоху Великой крестьянской войны 1524—1525 гг. в Германии был гимном восставших крестьян и плебеев. Энгельс назвал его марсельезой XVI в. Впоследствии превратился просто в религиозную песню.

Стр. 558 *...вот уже почти десять лет, как его великий внук вступил на престол!* — Вильгельм II стал кайзером в 1888 г.

Океан необходим для величия Германии...— Дидерих повторяет слова из речи Вильгельма II от 3 июля 1900 г.

Стр. 559. *Сила его личности... так велика, что позволяет всем нам увиться вокруг него плющом...—воскликнул он экспромтом...*— «Как плющ обвивает дупло старого дуба, украшая его и прикрывая, когда буря сотрясает его вершину, так и прусское дворянство связано с моим делом» (из речи Вильгельма II 6 сентября 1894 г.).

Нам пришлось пройти сквозь горнило Иены и Тильзита...— Иена и Тильзит — эти слова служили в XIX в. синонимом национального унижения Пруссии. 14 октября 1806 г. Наполеон в битве при Иене нанес жестокое поражение прусской армии. По Тильзитскому мирному договору

1807 г. Пруссия лишилась половины своих провинций и была переведена на положение второстепенного государства Европы.

Стр. 560. *Наполеон получил корону от народа...*— Имеется в виду провозглашение Наполеона III императором Франции в 1852 г. после народного плебисцита, который был осуществлен уже в условиях узурпации власти Наполеоном — тогдашним президентом Французской республики.

Все это нам не присуще! — возопил Дидерих...— Г. Манн проводит историческую аналогию между реакционными режимами Наполеона III и Вильгельма II.

Стр. 561 *...женственное возвышает нас...*— неточная и неверно использованная Геслингом цитата из финала «Фауста». У Гете «вечно-женственное» имеет философский смысл, служит символом обновления человечества.

Стр. 562. *«Славься в венце побед»* — старый прусский национальный гимн. Написан на мелодию английского гимна «Боже, спаси короля (королеву)». Автором немецкого текста считается пастор Генрих Гарриес (1762—1802).

Стр. 564. *Апокалипсические всадники.*— «Апокалипсис» (греч.) — откровение; раннехристианское произведение, приписываемое пророку Иоанну Богослову, пронизано мрачным духом. В нем говорится о неизбежном «конце света», для чего на землю должны ступить четыре всадника, наступлении Страшного суда (Судного дня) и установлении «на новой земле» тысячелетнего царства Христа и праведников.

НОВЕЛЛЫ

Стэрни (Sterny) Входит в «Общественно-критические новеллы». Впервые напечатана в 1924 году в сборнике «Юноша» («Der Jüngling»), Мюнхен, издательство «Paul Zsolnay». На русском языке опубликована в сборнике «Предатели» (перевод Б. Л. Кацнельсона), «Мысль», Л. 1924. В 1958 году появился перевод И. Каринцевой (Гослитиздат).

Стр. 596 *...совершенно сбитый с толку тем, что произошло...*— В ноябре 1918 г. в Германии совершилась буржуазно-демократическая революция, кайзер Вильгельм II был низложен, монархия свергнута. Несколько дней спустя было заключено перемирие — первая мировая война окончилась поражением Германии. В побежденной стране наступило время инфляции, афер и спекуляций. Для немецкого общества (прежде всего для разоряющейся мелкой буржуазии) настала пора моральной опустошенности.

...и «национальное дело» терпит поражение за поражением...— Имеются в виду происки крайне правых реакционных сил, особенно немецкой военщины, пытавшихся задушить революцию под флагом «спасения нации».

К о б е с (Kobes) Входит в цикл «Общественно-критические новеллы». Опубликована отдельным изданием в 1925 году в Берлине (издательство «Propyläen»). На русском языке появилась в переводе Е. А. Некрасовой (М.—Л. 1926). В настоящем издании печатается в новом переводе Г. Я. Рудого.

Стр. 621. *Зеро* — ноль при игре в рулетку, означает большой выигрыш.

Стр. 622. *Царица Савская* — легендарная библейская царица. Правительница страны Сава на юге Аравийского полуострова. В Библии подробно рассказывается, как она была торжественно принята царем Израиля Соломоном.

Стр. 624. *Всего только Занд. Я сух и бесплоден, как песок...*— «Sand» (нем.) — песок.

Стр. 629. *Для меня нет ничего запретного, я — по ту сторону добра и зла.*— «По ту сторону добра и зла» — одно из главных сочинений Фридриха Ницше.

Д е т с т в о (Das Kind) Входит в рубрику «Детство» («Aus der Kindheit»). Цикл новелл под названием «Ребенок» («Das Kind») был впервые опубликован в сборнике новелл «Они молоды» («Sie sind jung»), вышедшем в свет в 1929 году в Вене(издательство «Paul Zsolnay»). На русском языке впервые опубликовано в сборнике «Гретхен», Гослитиздат, 1956 (перевод Р. Гальпериной). В этом же переводе напечатана в первом томе Сочинений Генриха Манна (1958).

Стр. 639. *Любек* — родной город Г. Манна, в то время один из трех (кроме него, Гамбург и Бремен) вольных ганзейских городов, входивших как автономные единицы в состав Германской империи.

Стр. 640-641 *...и красавицы Евгении.*— Жена Наполеона III (см. прим. к стр. 550) Евгения — Мария де Монтихо, испанская графиня Теба. Слыла законодательницей мод, устроительницей придворных праздников.

Стр. 643. *Отец был сенатором; тогда это зависело не от борьбы партий и не от широких выборов.*— Сенат Любека представлял собой одновременно и верхнюю палату парламента, и исполнительную власть. Он состоял из четырнадцати пожизненных членов, которые избирались узким кругом городских бюргершафтов и самими сенаторами.

Стр. 645. *Прогимназия* — специальное школьное заведение низшего типа, включала младшие классы гимназии и готовила учащихся к продолжению образования в гимназии.

Стр. 669. *Я не сразу понял, что это Касперле, за которого говорит Карл.*— Касперле — веселый персонаж венского народного театра.

А. Подольский

СОДЕРЖАНИЕ

А Дмитриев. Генрих Манн. Основные вехи творческого пути 5

УЧИТЕЛЬ ГНУС
Перевод Наталии Ман 33

ВЕРНОПОДДАННЫЙ
Перевод И. А. Горкиной 195

ПОВЕЛЛЫ
Фульвия. *Перевод Л. Бару* 569
Сердце. *Перевод Е. Яновой* 579
Брат. *Перевод Е. Яновой* . . . 590
Стэрни. *Перевод И. Каринцевой* 596
Кобес. *Перевод Г. Рудого* . . . 604
Детство. *Перевод Р. Гальпериной* 639

Примечания *А. Подольского* 679

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 164

Генрих Манн

УЧИТЕЛЬ ГНУС, ВЕРНОПОДДАННЫЙ, НОВЕЛЛЫ

*

Редактор С. Шлапоберская
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
В. Иващенко
Корректоры
Д. Эткина и Н. Щкарбанова
*
Сдано в набор 22/III 1971 г. Подписано в печать 10/VIII 1971 г. Бумага типографская № 1 60×84¹/₁₆. 44 печ. л. 41,05 усл. печ. л. 42,96+1 вкл. +6 нак. =43,74 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 1962. Цена 2 р. 04 к.
*
Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19
*
Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по
печати при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28